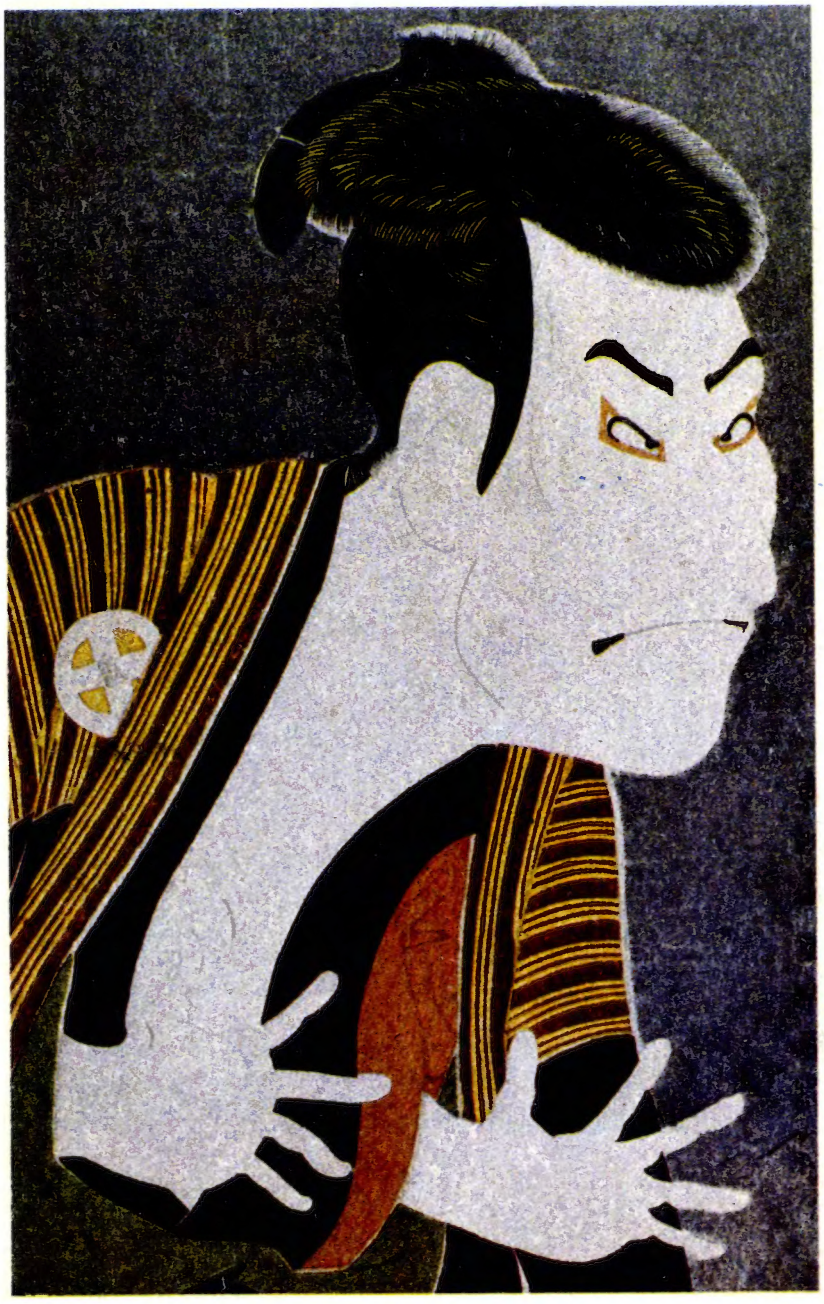
ISSN 0130-6545

8.1994

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



В номере:

Т. КОРАГЕССАН БОЙЛ
Восток есть Восток

Из польской поэзии

Д. КАПЛАН и А. ДАБРО
Якудза

寫樂画

Ил 1995

В фокусе нашего внимания по-прежнему будет находиться живой литературный процесс — самые яркие имена, самые заметные произведения. Мы предложим читателю романы, удостоенные престижных премий, попавшие в списки бестселлеров, вызвавшие повышенный интерес критики.

Где бы вы ни жили, подписавшись на «ИЛ», вы окажетесь в самом центре литературной жизни современного мира.

Стараясь сделать минимальным интервал между премьерой книги и ее появлением в русском переводе, редакция ведет переговоры о приобретении прав на публикацию целого ряда новых, но уже знаменитых романов и произведений документальной прозы. Среди наших авторов 1995 года — **Умберто Эко, Джулиан Барнс, Питер Устинов, Питер Акройд, Милош Форман, Милан Кундера, Федерико Феллини, Данило Киш, Чарльз Буковски, Гюнтер Грасс, Ханс Магнус Энценсбергер, Борис Виан, Альбер Камю** и многие другие.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи, а если у вас есть возможность получать номера в редакции, подписывайтесь прямо у нас — это гораздо дешевле.

Для организаций и частных лиц, желающих материально поддержать журнал, мы устраиваем именную подписку по цене, значительно превышающей каталожную. Обладатели именной подписки, которая продлится до 1 ноября, станут членами Клуба «Ил». Состав Клуба будет представлен читателям в январском номере будущего года. Подробности по телефону 233-51-47.

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

А. Н. СУСОКОЛОВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, М. Н. ВАКСМАХЕР, П. Л. ВАЙЛЬ,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
Д. Б. РЮРИКОВ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ,
М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

8 **август** **1994**

СОДЕРЖАНИЕ

Т. КОРАГЕССАН БОЙЛ — Восток есть Восток *(Роман. Перевод с английского Г. Чхартишвили, Л. Мотылева, И. Бернштейн. Вступление Г. Чхартишвили)* 5

Из польской поэзии

ЯН ТВАРДОВСКИЙ, ТОМАШ ГЛЮЗИНСКИЙ — Стихи *(Перевод с польского А. Гелескула, А. Базилевского. Вступление А. Гелескула)* 180

Документальная проза

Д. КАПЛАН и А. ДАБРО — Якудза *(Главы из книги. Перевод с английского Е. Богатыренко)* 188

ВАСИЛИЙ ГОЛОВНИН — Якудза отступает, но не сдается (Япония пытается покончить с легальной уголовщиной) . . 233

Критика

Возвращаясь к напечатанному

С. ФАЙБИСОВИЧ — Вызов 238

С. КУЗНЕЦОВ — 7 ½ замечаний о романе Джулиана Барнса . 244

У книжной витрины . 248

Курьер «ИЛ» . 251

Авторы этого номера . 256

© «Иностранная литература», 1994

В следующем номере «ИЛ»

Сентябрьская книжка журнала целиком посвящена немецкой литературе XX века. Тема, которая объединяет произведения известных мастеров немецкой словесности, представленных в номере,— поиск истины, фаустовское стремление к полноте жизни, извечная тайна и извечный трагизм человеческого удела.

Историю «маленького человека», «потерявшего себя в Париже» и все же не утратившего достоинства, рассказывает ПАТРИК ЗЮСКИНД (повесть **«Голубка»**), завораживая читателя так и не раскрытой до конца загадкой его жизни.

В центре романа СТЕФАНА ГЕЙМА — таинственный образ Агасфера, век за веком живущего среди людей, наблюдающего их ошибки, страдания и радости и нигде не находящего покоя. Действие романа происходит то в библейские времена, то в Германии XVI века, то в ГДР — 80-х.

Классик немецкой литературы ГЕРМАН ГЕССЕ, сам очарованный Востоком, обращается в **«Сиддхартхе»** (мы публикуем новый перевод этой знаменитой «индийской поэмы») к его мудрости, к духовно-нравственным открытиям восточного миросозерцания.

«Великое переселение народов еще впереди» — считает видный западный интеллектуал Х. М. ЭНЦЕНСБЕРГЕР. Его эссе разрушает расхожие предубеждения и обиходные представления, связанные с эмиграцией.

В рубрике «Литературная пресса мира» читателя ждет встреча с литературным журналом «Акценты», отметившим свое сорокалетие.

Цветные иллюстрации номера — гравюры
японского художника Сяраку (годы жизни неизвестны),
изображающие актеров театра Кабуки.

**По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала,
обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия»
по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.**

**В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги
на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы.**

Художественный редактор **С. И. МАРТЕМЬЯНОВА**
Технический редактор **С. В. БЕЙЛЕЗОН**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61.
Сдано в набор 05.05.94. Подписано в печать 12.07.94. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага типографская. Усл печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 28,96. Заказ № 4624.

Тираж 33 400 экз. Цена по подписке 1700 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Т. КОРАГЕССАН БОЙЛ

Восток есть Восток

РОМАН

Перевод с английского Г. ЧХАРТИШВИЛИ, Л. МОТЫЛЕВА, И. БЕРНШТЕЙН

Т. Корагессан Бойл — восходящая звезда американской литературы. Его сравнивают то с Диккенсом, то с Фолкнером, то с Гарсиа Маркесом, то с Ивлином Во. Столь мощная «корневая система» довольно быстро помогла молодому писателю попасть в число обитателей литературного олимпа. Славой Бойл обязан двум романам: «Конец мира» (1987) был удостоен Фолкнеровской премии ПЕН-клуба, а роман, публикуемый в этом номере, попал во всеамериканский список бестселлеров и сделал Бойла модным писателем. Нечасто коммерческий успех выпадает на долю произведения, посвященного такой отвлеченной тематике, как извечное притяжение и отторжение Востока и Запада. Впрочем, это краткое вступление пишется не для того, чтобы предложить собственную трактовку романа, а чтобы набросать некий предварительный фон — так сказать, создать задник, хорошо видимый американскому читателю, но, вероятно, требующий пояснений для читателя русского.

Дело в том, что роман Бойла имеет второй план: автор использует весьма популярный в последнее время прием литературного «римейка», то есть работает не с чистым холстом, а пишет «поверх» известного произведения.

Книги Юкио Мисимы, столь часто поминаемого на страницах романа, начали появляться и на русском, но все же для нас этот японский писатель еще остается до известной степени экзотическим. В Америке же Мисима давно и хорошо известен — всякий американец, даже вовсе не интересующийся литературой, слышал о свирепом японском писателе, который вспорол себе живот самурайским мечом. Не стану пересказывать здесь обстоятельства личной и литературной судьбы Ю. Мисимы (об этом можно прочитать в статье «Мученичество Св. Себастьяна, или Завороженный смертью» в № 10 «ИЛ» за 1988 г.), замечу лишь, что для Запада Мисима олицетворяет нечто истинно японское — жуткое, соблазнительное и совершенно непонятное. Неважно, соответствует ли этот образ действительности (не соответствует), но в восприятии обычного американского читателя и сам Мисима, и его духовный наставник Дзётё, чей трактат о самурайской этике играет в романе Бойла существенную роль,— наглядное подтверждение той точки зрения, что «Восток есть Восток» и что с места он не сойдет.

В 1963 году Мисима написал роман «Вечерний буксир», сразу же изданный в Америке и получивший там немалую известность — особенно после удачной экранизации (в английском переводе название книги и фильма звучит иначе — «Моряк, которого разлюбило море»). Это псевдоромантическая, по-мисимовски страшная история о японском матросе, который ради любви к женщине изменил морю и за это поплатился жизнью.

Итак, перед вами роман с весьма распространенной в наши постмодернистские времена «матрешечной» структурой (напомним, кстати, что родина матрешки — Япония): один писатель (Бойл) пишет ироническую вариацию на тему книги другого писателя (Мисимы), который писал о книге третьего писателя (Дзётё).

И довольно предварительных разъяснений. А о том, сойдут ли с места навстречу друг другу Запад и Восток, вы узнаете, прочитав роман.

Г. ЧХАРТИШВИЛИ

© T. Coraghessan Boyle, 1990

Тот, кто выбирает страшную жизнь и страшную смерть, делает прекрасный выбор.
Юкио Мисима. Путь самурая

Терновый куст — мой дом родной, Братец Лис! Терновый куст — мой дом родной!
Джоэл Чандлер Харрис. Сказки дядюшки Римуса

Часть I. Остров Тьюпело

Дела малозначительные

Он плыл то на животе, то на спине, греб руками и ногами, отдувался; казалось, он плывет уже целую вечность. Сначала кролем, потом брассом, потом иокогамским баттерфляем. Выбился из сил, вцепился покрепче в пробковый спасательный круг и застыл без движения, похожий на бесформенного обитателя морских глубин, белесый ком плоти. На пятом часу его стали одолевать мысли о супе *мисо* — жидкой, пахнущей морем похлебке, которую бабушка варила из рыбьих голов и угрей. Потом он принялся воображать ледник, весь уставленный бутылками с янтарным пивом, но со временем эти видения исчезли и осталось только одно — просто вода.

Когда зашло солнце, унеся с собой все краски и оставив позади холодную, жесткую, как лист олова, поверхность океана, язык пловца распух, а в желудке закопошились маленькие безжалостные зверьки голода. Кожа рук набухла и стерлась, каждое прикосновение к спасательному кругу обжигало огнем. Чайки летали все ниже, с явно профессиональным интересом приглядываясь к человеку.

Он мог бы сдаться. Погрузился бы в сон о постели, об ужине, о доме, плавно сполз бы в бульон океана, выпустил круг, и безымянные волны сомкнулись бы над его головой. Но нет, надо держаться! Он вспомнил о Мисиме и Дзётё, о книге, которая была прилеплена к груди клейкой лентой — где-то там, под раскисшим, липким свитером. Предварительно засунув между страниц четыре диковинные купюры зеленого цвета, он обернул книгу в несколько слоев полиэтилена. Теперь под этой заветной ношей билось его сердце.

Важные решения следует принимать легко,— говорил Дзётё.— *Дела же малозначительные требуют всестороннего рассмотрения.* Да. Вот именно. Какая разница — выживет он или погибнет, доберется до берега и получит тарелку дымящейся лапши со свининой и зеленым луком или же будет сожран акулой, которая подплывет снизу и схватит зубами за щиколотку, за колено, за ляжку? Что действительно важно, так это... луна. Маленькая, идеально круглая скобочка, выползавшая из-за темной черты горизонта. Месяц был девственно-белый и очень тонкий, как обрезок ногтя. Плывущий забыл о голоде и жажде, о кишащих жизнью морских глубинах и вступил во владение луной.

На самом деле он уже знал, что доплывет до берега, поэтому совет Дзётё принять было нетрудно. Во-первых, над водой вовсю разлетались птицы — пеликаны, бакланы и чайки дружно устремились на запад, поближе к гнездам. А во-вторых, море пахло уже совсем по-другому. Матросы рассказывали, что сладкий, струящийся издалека воздух суши способен разбудить среди ночи, поднять с койки за добрых тридцать миль от берега. Сам он, правда, ничего подобного не замечал — ведь это было его первое плавание. Точнее говоря, не замечал, пока был на борту «Токати-мару». Зато здесь, над самой гладью океана, где вся его коротенькая двадцатилетняя жизнь стала расползаться, как размокшая веревка, готовая вот-вот оборваться, аромат суши буквально ударил ему в лицо. Нос внезапно превратился в сложный, высокочувствительный аппарат, с собачьей безошибочностью определявший происхождение любого запаха: каждую травинку на затаившемся в черной тьме берегу; людей — американцев, подванивающих сливочным маслом, кетчупом, майонезом и прочей дрянью; мертвый сухой песок; ил, в котором ползали крабы и черви, догнивала дохлятина. Запахов было невероятное множество: мускусом пахли дикие звери; домом и уютом — собаки, кошки и попугаи; металлом — краска

и топливное масло; сладостью — выхлопы лодочных моторов. А ночные цветы — жасмин, жимолость и еще тысяча других, названия которых он не знал,— благоухали так сильно и пряно, что хотелось расплакаться.

Надо же, он был готов умереть, а оказывается, впереди ждала жизнь.

Оставалось совсем чуть-чуть, он знал это. Плывущий заработал ногами, отталкиваясь от темных вод.

* * *

— Слушай, а мы не должны зажечь огни?

— М-м? — уютно промычал он сквозь сон, уткнувшись носом ей в шею.

— Ну, ходовые или как там они называются,— вполголоса, почти шепотом пояснила Рут.

Покачивающаяся на волнах яхта была похожа на прочную и надежную колыбель. Или на большую кровать с массажером «волшебные пальцы», как в мотеле, где они остановились в самую первую ночь после ее приезда в Джорджию.

Дул сладко-соленый бриз, нежный, но достаточно сильный, чтоб не донимали комары. Единственный звук — плеск воды о борт яхты. Звук убаюкивающий, ритмичный, вызывающий легкую щекотку в памяти, словно давно забытая мелодия. Звезды казались живыми и разумными существами. Шампанское охладилось. Ответа на свой вопрос Рут не дождалась.

Рут Дершовиц лежала совершенно голая на носу восемнадцатифутовой яхты, принадлежавшей Саксби Лайтсу. (Собственно, не ему, а его матери, как и все в этом островном поместье.) Сам Саксби пристроился рядом, прижавшись сонной щекой к ее пышной груди. Всякий раз, когда лодка кренилась в такт волнам, его модно небритая щетина царапала Рут кожу, отчего по всему телу пробегали огненные мурашки. Прошло пять минут с того момента, как Саксби встал на колени, предварительно уложив Рут поудобней на палубе, раздвинул ей ноги и внедрился. А десять минут назад она наблюдала, как Саксби безуспешно пытается надуть резиновый матрас, а орган Саксби тем временем набухает. Зрелище было забавное и одновременно возбуждающее. В конце концов Рут прошептала:

— Черт с ним, с матрасом. Иди-ка ко мне.

И вот теперь Саксби спал.

Рут лежала, слушая шелест воды, и ни о чем не думала. Потом перед ней возникло лицо Джейн Шайн, лютой и ненавистной врагини. Рут отогнала мерзкое видение мечтами о своем неминуемом триумфе: однажды ее чахлая проза зацветет цветами высокого искусства, завоюет все журналы, потрясет мир. Тут мысли Рут обратились к большому дому на острове, к собратьям по перу, к скульпторам, художникам и единственной затесавшейся средь них композиторше — особе с огромными глазами навыкате, писавшей произведения в стиле «умирающий метроном». Рут жила в этой компании уже целую неделю, и ее пребывание на острове обещало растянуться на неопределенный срок. Она представила себе череду неспешных месяцев, похожих на маленьких горбатеньких гремлинов, резвыми прыжками скачущих прямиком в безбрежное, солнечное и совершенно бесплатное будущее. Можно больше не подрабатывать официанткой, не браться за литературную поденщину, не писать для рубрики «Обзор ресторанов», не гнать халтуру для дешевых журнальчиков про секс без риска и секс под душем. Не нужно больше ночевать у него украдкой — она вправе жить здесь открыто и сколько захочет. Хоть навечно поселиться.

Теперь и у нее есть связи.

Эта мысль подействовала на Рут расслабляюще. Она и сама не заметила, как погрузилась в дрему. Шампанское, темный полог ночи, роскошное покачивание лодки сделали свое дело. Какие-то белые морские твари заскользили вереницей сквозь ее сны. Рут снилось, что она барахтается среди волн, а со всех сторон к ней несутся стремительными торпедами быстрые тени. Она взвизгнула, но тут же успокоилась. Все в порядке, она на палубе, рядом с Саксби, сверху смотрят живые звезды, она больше не спит. Через мгновение веки опять сомкнулись. Теперь она явственно видела, что это всего лишь дельфины, они играли с ней, просовывали бутылкообразные головы меж ее коленей, катали ее на своих скользких, покатых спинах...

Потом все опять стало не так, Рут снова плыла среди волн одна-одинешенька, а из глубин вынырнула какая-то резвая зловещая тень и жестко об нее стукнулась. От удара Рут проснулась.

— Сакс! — позвала она. В первый миг она решила, что в яхту, стоявшую на якоре без огней, врезалась другая лодка. Впрочем, спросонья она еще не очень разбиралась в происходящем.— Сакс! Что это было?

Однако у Саксби сон был крепкий. Однажды в Калифорнии, пока он спал, сначала передали концерт по радио, потом произошло землетрясение — аж картина со стены упала,— потом под окнами состоялась репетиция студенческого оркестра, а он дрых себе, и хоть бы что.

— А? Чего? — пробурчал Саксби, медленно отрывая голову от ее груди.— А что было?

Тут Саксби вдруг поперхнулся. Рут почувствовала, как его тело напряглось.

— Это еще что за...? — выдохнул он.

Рут оглянулась и встретилась взглядом с привидением. В бледном свете луны над кормой маячило жуткое, ни на что не похожее лицо; в кромку борта впились две кошмарные, нечеловеческие руки. Прошло несколько секунд, прежде чем Рут сообразила, что это все же человек. Ночью, в море, посреди пролива Пиглер-саунд. Рут разглядела пряди свисавших со лба волос, какие-то странные черты лица, выражение изумления и крайней усталости. Вдруг постепенно, как в замедленной съемке, невероятная физиономия исказилась от ужаса. Раздался дикий вопль, не имевший ничего общего ни с одним из земных языков и вообще с цивилизацией,— и видение исчезло. Рут даже не успела сообразить, что она совсем голая.

В следующий миг они с Саксби вскочили на ноги и, мешая друг другу, поспешно принялись натягивать одежду. Яхта закачалась еще пуще.

— Черт бы тебя побрал! — выругался Саксби, одной рукой сжимая шорты, а второй хватаясь за канат якоря.— Эй, ты, жалкий ублюдок! Немедленно вернись!

Кем бы ни был пловец — призраком, любителем подглядывать, неудачливым серфингистом или жертвой кораблекрушения,— но возвращаться он явно не собирался. Куда там, греб вовсю. Рут слышала, как он молотит руками по воде. Она тяжело опустилась на палубу, прижимая к груди майку, и неотрывно смотрела на едва различимый в темноте силуэт: клин головы, рассекающий черные воды, и еще что-то белое — не то спасательный жилет, не то доска для серфинга. За плывущим тянулся химерический, фосфоресцирующий хвост пены.

Сыпля проклятьями, Саксби швырнул якорь на дно лодки — в ноздри Рут ударил гнилостно-фекальный запах ила.

— Что это за псих? — пробормотал Саксби, дергая трясущейся рукой шнур стартера.— Извращенец какой-то.

Рут устроилась на носу, по-прежнему не сводя глаз с движущейся тени.

— Он выглядел...— она еще сама не знала, что собирается сказать. Не могла понять, что в незваном госте показалось ей таким странным.— Он выглядел как-то чудно́.

— Ага,— кивнул Саксби. Мотор ожил.— Китаец или что-то вроде.

Он открыл дроссель, яхта развернулась вокруг оси и понеслась вдогонку.

Рут сидя натягивала шорты; бриз трепал ее волосы, сердце колотилось, в голове все путалось. Что, собственно, произошло? Куда они мчатся? Времени собраться с мыслями не было. Волны шлепали в нос лодки, в лицо Рут летели брызги, и она покрепче вцепилась в сиденье. Они уже почти настигли отчаянно работающего руками пловца, когда Рут оглянулась на Саксби и закричала.

Внезапно ей стало страшно. Впервые за месяцы знакомства с Саксби она его испугалась. Он был всегда такой воспитанный, добрый, покладистый. Обычный парень, любящий кампари с содовой и гордящийся своим размером обуви. Однако невозможно было предугадать, как этот обычный парень поведет себя в подобной ситуации.

— У, сукин сын,— процедил Саксби, и Рут увидела, что зубы его свирепо стиснуты. На миг ей представилось, как острый киль разбивает голову беззащитному пловцу, и она вскрикнула:

— Нет!

Но тут Саксби вырубил мотор, и яхта закачалась рядом с темным барахтающимся силуэтом.

— Дай-ка я рассмотрю этого подонка,— сказал Саксби и включил фонарь.

Теперь Рут смогла разглядеть незнакомца как следует. Он плыл в каких-нибудь пяти футах от борта. Рыжеватые волосы, странно непропорциональное лицо, загадочный взгляд, вспыхивающий искорками отраженного света. Потом пловец метнулся в сторону, прочь от яхты, но Саксби не отставал. Тогда незнакомец запаниковал: забился в воде, обхватил рукой спасательный круг, и Рут поняла, что бедолага вот-вот пойдет ко дну.

— Сакс, он тонет! — крикнула она.— Наверно, упал с корабля.

Мотор то оживал, то замирал, повинуясь дросселю. О борт бились волны.

— Нужно спасти его!

Рут обернулась к Саксби и увидела, что его ярость утихла: лицо спокойное, даже как бы раскаивающееся.

— Ага, ты права. Ясное дело.

Саксби поднялся на ноги — лодка закачалась еще больше — и вытянул руку с фонарем, словно луч света мог спасти тонущего.

— Кинь ему конец,— потребовала Рут.— Скорей!

Человек в воде метался, ничего не видя и не понимая. Он был очень похож на двухфутового аллигатора, которого Саксби как-то ночью высветил фонарем в большом пруду позади дома. Рептилия мирно дрейфовала на поверхности, похожая на неодушевленный предмет — бревно или кустик водорослей. Только глаза вспыхнули во тьме огоньками, а когда Саксби ударил по аллигатору веслом, тот сложился пополам на манер перочинного ножика, ушел под воду, но тут же вынырнул и бросился на обидчиков с ощеренной пастью, обезумевший от ярости и боли.

— Ты за руку, за руку его хватай,— сказал Саксби, подруливая к тонущему.

Но тот вовсе не желал, чтобы его хватали за руку. Он перестал барахтаться, оттолкнул круг и заорал на Рут — она заметила, как во рту у него блеснул золотой зуб:

— Уходи! Уходи! — после чего нырнул под яхту.

Стало очень тихо и спокойно. Мотор пофыркивал, лодка почти не двигалась. Пахло выхлопным газом — горький запах с привкусом металла.

— Может, он псих,— предположил Саксби.— Сбежал из дурдома в Милледжвилле, не иначе.

Рут не ответила. Она так крепко вцепилась в борт, что костяшки пальцев побелели. Ей еще никогда не приходилось видеть, как погибает человек. У бабушки, слава богу, хватило такта умереть, пока Рут была в Европе. К горлу подкатил ком жалости и скорби. Нет, мир определенно сошел с ума. Какую-нибудь минуту назад она покоилась в объятиях любовника, а ночь укутывала их плотным одеялом. И вот погиб человек.

— Сакс,— жалобно взмолилась она.— Ну сделай же что-нибудь. Может, нужно нырнуть и вытащить его?

Лицо Саксби стало непроницаемым. Рут очень хорошо знала своего любовника: как погладить его по шерстке, как — против шерстки; запросто могла зацепить за самую душу, повертеть ею и так и этак, а потом повесить на веревочку сушиться. Но таким она его еще не видела.

Наконец он разомкнул уста:

— Черт знает что...

Это его состояние, по крайней мере, было ей знакомо: Саксби трусил.

— Не видно же ни хрена. Куда нырять, когда я его не вижу?

Рут посмотрела на пятно света, лениво скользившее по волнам, и вдруг услышала звук, дивный звук плещущейся воды!

— Вон он! — крикнула она, и Саксби повернул фонарь.

Сначала они ничего не увидели, потом луч выдернул из темноты берег, заросший густым, похожим на бороду тростником,— словно слайд в проектор вставили.

— Гляди!

Да, это был он, их пловец. Он стоял по пояс в воде, белый свитер обвис, словно мокрая тряпка.

— Эй, ты! — взревел Саксби, вновь рассвирепев.— Я с тобой разговариваю, осел! Что ты тут устраиваешь?!

— Тише! — остановила его Рут, но было поздно. Беглец метнулся в заросли и понесся сквозь тростник напролом, как раненый олень.

В луче фонаря остались только волны, картинка опустела. В это время к самому борту подплыл спасательный круг, облепленный водорослями и мусором.

— Дай-ка я его...— потянулась к кругу Рут, а тут и Саксби повернул руль, и добыча оказалась у нее в руках.

Рут перевернула круг и увидела большие красные иероглифы. Разумеется, прочесть надпись она не могла, но загадка тем не менее разъяснилась. Саксби сопел за ее плечом, разглядывая находку с таким видом, будто перед ним бесценное сокровище. Колени Рут были залиты электрическим светом. Бриз пах близостью берега.

— Ну ясное дело,— резюмировала Рут.— Китаец.

«Токати-мару»

Однако Хиро́ Тана́ка был таким же китайцем, как Рут Дершовиц. Нет, Хиро принадлежал к народу Ямато, как называют себя японцы. Во всяком случае, по матери — уж в этом-то никто не посмел бы усомниться. А свой корабль «Токати-мару» Хиро покинул при весьма печальных обстоятельствах. Точнее говоря, не покинул, а попросту сиганул за борт. Он не проспал час отплытия в объятьях девицы из портового бара, не провалялся мертвецки пьяный в каком-нибудь закоулке — он совершил прыжок в неизвестность, навстречу гибели. Причем совершенно сознательно. В свое время так же поступил его кумир Юкио Мисима, а до того — кумир Мисимы Дзётё Ямамото. Хиро Танака был человеком решительным. Уж если покидать корабль, так смело и без хитростей: взял и сиганул.

В тот день «Токати-мару» плыл на север вдоль побережья штата Джорджия, держа курс на Саванну. На борту имелся груз: запчасти для тракторов, проигрыватели новейшей модели, микроволновые печи. Обычный день, такой же, как другие. Дул свежий ветер, палило солнце, сухогруз водоизмещением 12000 тонн утюжил волны, словно складки на рубашке. Все сорок человек экипажа, чинно распрямившись, сидели в столовой и уплетали обед. (Меню не японское: тушенка, сардины в масле, яйца всмятку, жареная картошка — причем все это перемешано вместе, полито соусом «А-I» и сдобрено горчицей.) Впрочем, нет — шесть человек отсутствовали. Капитан Нисидзава спал у себя в каюте, нализавшись *сакэ;* старший помощник Вакабаяси находился в штурманской; матрос первого класса Медведь (кличка) стоял у штурвала; матросы второго класса Дораи и Плакса (тоже кличка) несли вахту; Хиро Танака сидел в карцере.

Собственно, это был не карцер, а кладовка третьей палубы, помещение размером с квартирку, где Хиро жил вдвоем с бабушкой перед тем, как отправиться в плавание на «Токати-мару». Кладовку освещала единственная сорокасвечовая лампочка, да и та мигала. Для принятия пищи Хиро получил деревянную миску и палочки, для отправления естественных надобностей — ведро, для сна — ватный тюфяк, чтобы накрыть холодный стальной пол. Вентиляция отсутствовала, пахло дезинфекцией и топливом, которое днем и ночью пожирали огромные турбины. По стенам были развешаны двадцать швабр, двадцать ведер и шестнадцать щеток. Еще в кладовке валялся всякий мусор: какие-то стамески, пустые коробки, одна измазанная дегтем кроссовка «Найк» — похоже, ее зашвырнуло сюда во время последнего шторма. Дверь была заперта снаружи.

Хиро так старался быть предельно внимательным, вежливым, никого не задевать, все время помалкивать, поменьше обращать на себя внимание — и что же? Угодил в эту мерзкую стальную клетку, где на целый день выдавали одну кружку воды и два рисовых колобка. А все из-за поступка, столь мало сочетавшегося с его миролюбивым характером: Хиро не выполнил прямой приказ офицера, старшего помощника Вакабаяси, ветерана битвы при Раротонге. С тех пор Вакабаяси жил, весь нашпигованный шрапнелью: она засела в спине, руках, ногах, шее. Нрав у старпома был крутой. Прямой приказ состоял в том, чтобы Хиро перестал сжимать горло главного кока Тибы, который беспомощно барахтался под навалившимся на него агрессором. А весил молодой человек немало — почти восемьдесят кило при росте метр семьдесят пять. Хиро очень любил поесть. А главный кок Тиба очень любил выпить и потому весил меньше, чем мокрая швабра.

Момент был довольно сложный. Второй кок Моронобу, по кличке Угорь,

который и сам некогда плеснул кипятком в физиономию старшему чину (повздорили за бутылкой «сантори»), верещал, как попугай: «Караул! Убивают! Он его сейчас прикончит!» Главный механик, нервный молчаливый старичок за семьдесят, с больными ногами и вечно выпадающей вставной челюстью, безуспешно пытался оттащить Хиро от жертвы. С полдюжины матросов просто стояли и улюлюкали. Тут и появился старший помощник в своем белоснежном кителе. Он увидел сцепившихся драчунов, громовым голосом отдал вышеуказанную команду, но как раз в этот миг кораблю вздумалось зарыться в волну, и старпом, потеряв равновесие, налетел на котел с супом. Суп — галлонов двадцать, не меньше — вылился на Хиро и Тибу (последний и без того насквозь пропах рыбой). Невзирая на происходящее, Танака пальцев не расцепил.

Что же довело покладистого парня до такого остервенения?

Непосредственным поводом стали крутые яйца. Хиро, служивший на «Токатимару» третьим коком под началом вечно пьяного, зловонного Тибы и вкрадчиво-ехидного, тоже не просыхавшего Угря, готовил закуску для ужина. Закуска называлась *«нисики-тамаго»*. Следовало очистить сто вареных яиц, отделить белки от желтков, мелко порезать те и другие, сдобрить соусом и аккуратно уложить в миски тоненькими слоями. Рецепту Хиро научила бабушка. Он умел готовить еще три десятка разных блюд, но за шесть недель плавания третьему коку впервые доверили сделать что-то самостоятельно. Обычно его держали на подхвате — в роли поваренка, прислуги-за-все, галерного раба. Он мыл кастрюли, драил плиту, чистил горы размороженной рыбы и моллюсков, резал водоросли и снимал кожицу с винограда — до онемения в пальцах. На сей раз, однако, старшим поварам было лень возиться с ужином. Они с самого утра отмечали *Бон*, буддийский праздник поминовения усопших, и здорово набрались *сакэ*. Пока Тиба и Угорь общались с духами предков, Хиро был предоставлен сам себе. Он трудился не покладая рук, очень сосредоточенный и гордый собой. Перед ним на подносе уже стояло восемь мисок с готовым салатом. В качестве завершающего штриха Хиро посыпал сверху черным кунжутным семенем, как учила бабушка.

Делать этого не следовало. В тот самый момент, когда Хиро тряс бутылочкой над подносом, в камбуз ввалились Тиба и Угорь.

— Идиот! — взревел главный кок и выбил бутылочку из рук Танаки. Та отлетела в сторону, ударилась о плиту.

Хиро отвернулся и опустил голову. Сквозь подошвы сандалий он чувствовал равномерный гул (та-дум, та-дум, та-дум), с которым лопасти корабельных винтов рассекали прокисшую зеленую воду.

— Никогда,— шипел Тиба,— не сыпь кунжут в *нисики-тамаго*! — Впалая грудь главного кока содрогалась, тощие руки тряслись. Он обернулся к Угрю: — Ты когда-нибудь слышал про такое?

Глаза Угря превратились в щелочки. Он потер ладони, словно предвкушая угощение, и помотал головой:

— В жизни не слыхивал.— Вздохнул, подождал немного и добавил: — Разве что иностранцы так делают. *Гайдзины*.

Хиро встрепенулся. Надвигалось то, что повлекло за собой последующий взрыв. Вот она — главная причина страданий всей его жизни.

Тиба придвинулся поближе, его обезьянья мордочка исказилась от ненависти, изо рта полетели брызги слюны.

— *Гайдзин*,— процедил он.— Длинноносый. Волосатый. Маслоед поганый!

Главный кок разжал кулак, внимательно рассмотрел свою руку и безо всякого предупреждения свирепо врезал Танаке ребром ладони по носу. Потом повернулся к готовому блюду и стал крушить: замелькали острые локти, худые кулаки, и поднос полетел на пол.

— Дерьмо! — орал Тиба.— Жратва для собак! Для свиней!

Угорь же, по-прежнему щуря глаза и улыбаясь, разглядывал Танаку.

И Хиро утратил контроль над собой. Вернее, не так — он напал на своего мучителя в порыве, который Мисима назвал бы «взрывом чистого действия».

Итак, *нисики-тамаго* лежало на полу; двадцатигаллонный чайник кипел и подрагивал крышкой; Угорь ухмылялся; Тиба сыпал ругательствами. Время как бы застыло. Последняя из восьми мисок повисла в воздухе. В следующее мгновение главный кок рухнул на белки и желтки, а пальцы Хиро сомкнулись на его горле.

Тиба засипел, пупырчатая кожа на шее побагровела, и на ее фоне пальцы Танаки казались очень белыми.

— Убивают! Караул! — завопил Угорь.

Хиро ничего не видел, не слышал, не чувствовал — ни воплей, ни морского душа, ни горячего зловонного дыхания кока, ни того, как разом налилось кровью лицо Тибы, ни тщетных потуг главного механика, ни рева первого помощника. Он превратился в бешеного пса, восемь человек не могли оттащить его от жертвы. Хиро достиг уровня, где земные тревоги и боль не имеют значения. В ушах у него рефреном звучали наставления Дзётё: *Нельзя свершить великое дело в обычном состоянии духа. Нужно превратиться в фанатика, заболеть манией смерти.*

Но Хиро не умер. Вместо этого он оказался в импровизированном карцере, где должен был пялиться на голые стены, вдыхать топливные пары и дожидаться прибытия в порт Саванна, откуда авиакомпания «Джал» доставит его, покрытого позором, на родину.

Гайдзин. Длинноносый. Маслоед поганый. Эти оскорбления преследовали его всю жизнь. Он рыдал на руках у бабушки после детского сада, был козлом отпущения в начальных классах, в средней школе его без конца лупили, а из морского училища, куда его определила все та же бабушка, пришлось уйти, потому что соученики не давали ему прохода. Они называли его *гайдзином*, «иностранцем». Мать Хиро была настоящей японской красавицей, с толстыми ногами, круглыми глазами и очаровательной кривозубой улыбкой, но отец вот подкачал. Он был американец. Хиппи. Молодой парень, единственной памятью о котором осталась выцветшая, потрепанная фотография: волосы до плеч, монашеская бородища, кошачьи глаза. Хиро даже не знал его имени. *«Оба-сан* [1],— приставал он к бабушке,— какой он был? Как его звали? Какого он был роста?» «Его звали Догго»,— отвечала бабушка. Но это была кличка, не настоящее имя. Догго — персонаж из американского комикса. Иногда бабушка добавляла: «Он был высокий. С длинным носом, в маленьких цветных очках. Волосатый и грязный». А в другой раз она говорила, что он был коротышка. То он у нее получался толстый, то худой, то вдруг беловолосый, то широкоплечий, то хромой и с палкой. Еще он был в джинсах, с серьгой в ухе, ужасно грязный и волосатый (грязным и волосатым отец оставался при любой версии). Такой грязный, что у него в ушах можно было репу выращивать. Хиро не знал, чему верить. Отец превратился в чудище из сказки: утром — великан ростом до небес, вечером — мальчик с пальчик. Следовало бы расспросить мать, но той не было на свете.

Достоверно Хиро знал следующее. Некий американский хиппи, в лохмотьях, в кругленьких очках, все пальцы в перстнях, приехал в Киото постигать дзэн и заодно научиться играть на *кото*. Как и все американцы, он был ленгяй, любитель кайфа и разгильдяй. Вскоре молитвы и медитация ему наскучили, но он продолжал слоняться по киотоским улицам в надежде научиться хотя бы бренчать на *кото*. Тогда он поразил бы Америку своим открытием, как «Битлз», вывезшие из Индии ситар. Парень, само собой, играл в рок-группе — во всяком случае, в прежний период своей жизни,— и в *кото* его больше всего привлекала несуразность этого инструмента. Пяти футов в длину, с тринадцатью струнами и передвижными колками, *кото* издавал звуки, подобных которым нашему хиппи слышать не приходилось. Этакая диковинная мычащая цитра размером с крокодила. Разумеется, надо будет подключить электричество, положить эту хреновину на стол, вроде педальной гитары, и получится в самый раз: дергаешь плечами, мотаешь нестриженой башкой, отчаянно молотишь по струнам — публика просто обалдеет. Но играть на *кото* очень трудно, без учителя никак. Нужен заработок. Хиппи сидел без работы, без денег, студенческая виза подходила к концу.

Такова была ситуация, когда в его жизни появилась Сакурако Танака.

Мать Хиро была умненькая, даже очень умненькая — кончила школу с прекрасными оценками, могла бы поступить хоть в Токийский университет. Хорошенькая, милая, живая и при этом полная неудачница. Ни в Токийский, ни в Киотоский университет идти она не пожелала. Сакурако не хотела работать в «Судзуки», «Мицубиси» или «Куботё». Еще решительнее отказывалась она посвятить свою жизнь кухне и детским пеленкам. Она мечтала только об одном, и эта неистовая мечта терзала ее острее лютого голода, а по ночам лишала сна: Сакурако жаждала

[1] Бабушка *(японск.). (Здесь и далее прим. перев.)*

играть американский рок-н-ролл. На сцене, с собственной группой. «Хочу играть песни Буффало Спрингфилда, «Дорз», «Грейтфул дед» и «Айрон баттерфляй»,— заявила она матери.— И еще Джанис Джоплин и «Грейс слик».

Бабушка Хиро была обычной домохозяйкой, жившей в стране домохозяек. Она отчаянно возражала. Рок-н-ролл в ее представлении был чужеземной, дьявольской музыкой, скрипучей, чувственной и нечистой. А место молодой женщины — дома, с мужем и детьми. Что же до отца Сакурако, то он взрывался при одном лишь упоминании о рок-н-ролле. Отец всю жизнь проработал в тракторной компании «Кубота», ужинал, играл в гольф и проводил отпуск с товарищами по службе и уже облюбовал себе местечко на принадлежавшем компании кладбище.

Дело кончилось тем, что Сакурако ушла из дома. В вытертых джинсах и с гитарой она отправилась в Токио, где обошла все клубы веселых районов Сибуя, Роппонги и Синдзюку. Шел 1969 год. Женщины-гитаристы встречались в Японии примерно так же часто, как сакура в Сибири. И месяца не прошло, как девушка вновь оказалась в родном Киото, стала работать в баре. Когда в дверях этого питейного заведения появился Догго — без иены в кармане, лохматый, джинсовый, обвешанный бусами, в сапогах и выцветшей майке, с мозолистыми от гитарных струн пальцами,— Сакурако потеряла голову.

Он позволял ей кормить и поить его, рассказывал про Лос-Анджелес и Сан-Франциско, про бульвар Сансет в Голливуде, группу «Хейт» и Джима Моррисона. Сакурако разыскала *сэнсэя*, учившего игре на *сямисене* и *кото* гейш из древнего киотоского квартала Понто-тё. В знак благодарности Догго переехал к ней жить. Квартирка была совсем маленькая. Они спали на матрасе, курили хипповую травку и занимались любовью под рев запиленных пластинок с роком. Ни малейших иллюзий о матери Хиро не питал. Она была девушкой из бара — познала сотню мужчин, флирт входил в ее служебные обязанности. Жизнь Сакурако рисовалась сыну в виде мрачного документального фильма. Вот она забеременела. Комната сразу сделалась меньше, рис приобрел странный привкус, обои пропахли готовкой, а потом в один прекрасный день Догго испарился. Оставил потертую фотографию и память о гитарном переборе, еще долго звучавшем аккомпанементом ее одиночеству. Через шесть месяцев родился Хиро. Еще через шесть месяцев его матери не стало.

Таким образом, Хиро был полукровкой. *Каппа* [1], длинноносый, поганый маслоед, вечный чужак в своей стране, да еще и круглый сирота. Японцы — нация беспримесная, фанатично нетерпимая к притоку чужой крови. Но зато американцы, как твердо знал Хиро, совсем другое дело: это многоплеменный народ метисов, мулатов, а то и кое-кого похуже. Или получше — с какой стороны поглядеть. В Америке можно быть на одну часть негром, на две югославом, на три эскимосом и при этом разгуливать по улицам с гордо поднятой головой. Японское общество закрыто, а американское открыто нараспашку. Хиро читал про это, видел в кино, об этом пели пластинки. В Америке каждый может делать что пожелает. Конечно, там очень опасно. Кругом преступники, психи и крайние индивидуалисты. Но в Японии его выгнали из училища, он был хуже *буракумина* [2], последнего мусорщика, хуже, чем даже корейцы, которых привезли во время войны для рабского труда.

Вот почему Хиро завербовался на «Токати-мару», самую ржавую и трухлявую посудину из всех, что плавают под японским флагом. Сухогруз отправлялся в Соединенные Штаты. Можно будет сойти на берег, посмотреть на все собственными глазами — на ковбоев, проституток, диких индейцев. Может, даже удастся разыскать отца в каком-нибудь просторном белоснежном доме на ранчо, поесть вместе чизбургеров.

И Хиро отправился в плавание третьим коком. А ведь мог бы стать офицером торгового флота — если б дали закончить морское училище. Вместо этого он был вынужден сносить издевательства Тибы, Угря, да и всей команды. Даже в море его травили не переставая. Тогда Хиро решил попросить совета у Мисимы и Дзётё. Он нанес врагам могучий удар и теперь томился в узилище, униженный, терзаемый жалобами и стонами несчастного желудка, который был вынужден довольствоваться двумя рисовыми колобками в сутки.

---

[1] Мифическое существо, водяной с длинным носом.

[2] Хисабэцу-буракумины — потомки членов официально упраздненной касты неприкасаемых.

В эти тяжкие дни Хиро беспрестанно думал о еде, мечтал о ней, молился ей. Непосредственно перед побегом он грезил о настоящем завтраке: суп *мисо* с баклажанами и соевым творогом, вареная редька, сырой лук, рис с соусом. Потом размечтался об обеде, да не о жалкой западной стряпне, которой изводил команду Тиба, очень гордившийся тем, что когда-то плавал на иностранном судне (порт приписки — Такома, штат Вашингтон). Нет, Хиро представлял себе настоящее *тамаго-мэйси*, блюдо из риса и яиц, которым его кормила бабушка после школы. И еще — соевое и ячменное печенье, которое она покупала в кондитерской по соседству; нежнейшую лапшу *сомэн*, которую она так аппетитно помешивала в железной кастрюле. Вот об этой лапше Хиро как раз и мечтал, угрюмо глядя на тоскливую шеренгу швабр, когда снаружи загремели тяжелые шаги его тюремщика.

Порт Саванна был близко, и Хиро знал, что настает время действовать. Он много дней штудировал книгу «Путь самурая», учил наставления Мисимы и Дзётё наизусть и теперь чувствовал себя подготовленным. Заветная книга, меж страниц которой разместились четыре зеленые купюры и фотокарточка отца, была надежно прилеплена к груди клейкой изоляционной лентой — ее тайком передал узнику доброжелатель Адзиока-сан. В руках Хиро сжимал швабру, отяжелевшую от воды (они выдали ему ведро с водой, чтобы умыться).

Вялые, приволакивающие шаги замерли у двери. Роль тюремщика выполнял Нобору Курода, жалкий слизняк, прислуживавший в кают-компании и мывший офицерский отсек. Хиро так и видел перед собой сутулые плечи, вдавленную грудь, безвольно повисшие руки и вечно испуганную физиономию Куроды, которого за глаза называли «Чего-изволите». Затаив дыхание, Хиро ждал, пока в замке повернется ключ. Его буквально затрясло в лихорадке, когда ручка крутанулась и дверь подалась назад. Хиро выставил швабру наподобие копья и ринулся в атаку. Все произошло в один миг. Брыластая челюсть Куроды изумленно отвисла, мокрая швабра ткнулась ему прямехонько под дых, и тюремщик шлепнулся на пол, беззвучно разевая рот и пуча глаза, словно иглобрюх, извлеченный из морских глубин. Хиро стало жалко рисовых колобков, размазанных по рубашке Куроды, но времени на сантименты не было. Беглец перескочил через хнычущего старика и рванул вверх по трапу. Ноги несли его сами, кровь бурлила от опьянения свободой.

Палубой ниже, в столовой, матросы ковыряли палочками в тарелках, вылавливали кусочки сардин из мешанины мелко порезанных овощей, яиц и картофеля, которую состряпал для них Тиба. Это была вторая палуба, Хиро в данный момент находился на третьей, а основная громада корабля располагалась выше: на четвертой — канцелярия, электростанция и гироскопная; на пятой — радиорубка; на шестой — капитанская каюта, где дремал одуревший от сакэ капитан Нисидзава; венчал конструкцию мостик, с которого в обе стороны, подобно крыльям, расходились два обсервационных отсека, паривших прямо над океаном. Они крепились снизу на стальной арматуре и были похожи на два балкончика; в ясный день море просматривалось с них на десять миль. Туда-то, на самую верхотуру, Хиро и устремился.

Он решительно пронесся по трапу мимо канцелярии, мимо радиорубки и капитанской каюты. Однако действовал он отнюдь не вслепую. Хиро, следуя совету Мисимы, продолжателя дела Дзётё, составил четкий план. *Человек может избрать способ действия,— писал Мисима,— но ему не всегда дано выбрать нужный момент. Миг решения маячит где-то вдали и обрушивается на тебя внезапно. Разве «жить» не означает готовиться к этой минуте?* Безусловно, Мисима прав. И он, Хиро, подготовился как нельзя лучше.

Вверх по ступенькам, мимо штурманской, откуда высунулся старший помощник Вакабаяси, злобно ощерился и кинулся вдогонку; мимо рулевой рубки, где у штурвала застыл матрос первого класса Медведь. Ноги вынесли беглеца на правый обсервационный мостик, где нес вахту матрос второго класса Дораи. Тот уставился на Хиро, будто никогда в жизни не видывал существа, двигающегося на двух ногах. Итак, сзади настигал старпом, впереди загораживал путь Дораи. Хиро Танака вытащил из кармана перочинный ножик. При виде стали матрос Дораи, должно быть, сразу вспомнил все виденные им голливудские фильмы про татуированных гангстеров с их ужасными стремительными клинками. Вахтенный испуганно шарахнулся в сторону. На самом деле Хиро вовсе не собирался использо-

вать ножик в качестве оружия. Двумя быстрыми ударами он перерезал веревку, на которой крепился белый спасательный круг, и, не обращая внимания на трясущегося Дораи и топающего по трапу Вакабаяси, предался полету.

До воды было шестьдесят восемь футов, а сверху казалось, что все сто шестьдесят восемь. Однако Хиро не колебался ни секунды. Он ринулся в струи эфира, как парашютист в затяжной прыжок, как орел на добычу. Но опереться в сей равнодушной стихии было не на что, и море метнулось навстречу летящему с непреклонностью бетона. Хиро ударился о воду ногами, выпустил круг, от сотрясения драгоценный Дзётё чуть не выскочил из-под свитера. Когда Хиро вынырнул, жадно заглотнув свежего, сладкого воздуха, «Токати-мару» уже пронесся мимо, похожий на движущуюся гору.

Корабль шел на полных парах, а стало быть, ему понадобилось бы три с половиной минуты, то есть целых две мили, чтобы остановиться. Хиро знал, что судно вернется. Он так и видел, как по палубе бегают люди, вопя: «Человек за бортом!» Но знал Хиро и то, что при самом крутом развороте «Токати-мару» опишет окружность радиусом почти с милю. Поэтому беглец загребал руками, отталкивался ногами, плывя вовсе не в сторону далекого берега (этого от него, разумеется, ждут), а на юг, откуда пришел корабль. Ориентировался Хиро по солнцу.

Вода была теплая, тропическая, посверкивавшая тысячей бриллиантов. Хиро поглядывал на птиц, на облака, не выпуская из рук спасательного круга, и знай себе работал ногами. Море держало его в объятиях, прижимало к себе с нежностью давно утерянного и вновь обретенного отца.

«Танатопсис-хаус»

Все утро Рут наблюдала, как собирается гроза. В полседьмого было так сумрачно, что она чуть не проспала подъем. Шорты и майку Рут натягивала в весьма мрачном состоянии духа. Она спустилась к завтраку ровно в семь, заняла свое обычное место за «столом молчания». Ей казалось, что ночь все еще продолжается. Оуэн Берксхед, администратор колонии, зажег по углам настенные лампы, но за окнами было тускло и сумрачно, а внутри — душно, неуютно, и воздух какой-то шершавый, плотный, будто вязаное кашне. Гром пока не рокотал, молнии не сверкали, дождь не поливал, но Рут интуитивно, всем своим существом ощущала приближение бури. Это предчувствие роднило ее с природой — с забившимся под камень тритоном, с притаившимся в паутине паучком. Разумеется, поделиться своими ощущениями с соседями она не могла. «Кажется, дождь идет» или там, скажем, «Ну, сейчас ливанет». Исключалось. Ведь Рут добровольно выбрала «стол молчания».

Септима, мать Саксби, дама за семьдесят, в данный момент звучно похрапывавшая в своей опочивальне, что находилась в непосредственной близости от столовой, основала фонд «Танатопсис» лет двадцать назад, после смерти супруга. Она взяла за образец знаменитые творческие колонии — Яддо, Макдауэлл, Каммингтон. Особенно пришлась ей по сердцу традиция устраивать отдельный «стол молчания». Существовало мнение, что творческие люди определенного склада нуждаются за завтраком в абсолютном медитативном безмолвии, изредка нарушаемом разве что деликатным звяканьем чайной ложечки о край блюдца. Молчание дает художнику возможность плавно и плодотворно перемещаться из царства снов в то возвышенное состояние, когда эстетическое устремляется из сокровенных глубин души прямиком к поверхности. Были, естественно, и творцы иного темперамента, нуждавшиеся в противоположном — шуме, веселье, озорных шутках, сплетнях и кислом утреннем дыхании собратьев по искусству. Такие в живой беседе приводили в порядок свои мысли, истомленные мечтами о славе, величии и посрамлении соперников. Для этой категории Септима устроила «стол общения», находившийся во второй столовой, за двумя массивными дверьми темного дуба.

Даже в это утро, когда внутри все сжималось от предчувствия шторма и Рут ощущала в теле странную легкость, почти невесомость, и кружилась голова, и подкатывало беспричинное волнение, она все же предпочла «стол молчания». Рут

провела в колонии две недели (это было четырнадцатое утро), и ей даже в голову не пришло, что можно завтракать в каком-то ином окружении. Все именитые и солидные, за исключением Ирвинга Таламуса, чья специализация — еврейско-интеллигентские терзания — требовала постоянной суматохи, сидели в кругу молчаливых: и Лора Гробиан, и Питер Ансерайн, и прославленная скульпторша в стиле «панк» с запавшими глазами и бледной, как у трехдневного покойника, кожей. Рут наслаждалась таким соседством. Делая вид, что читает саваннскую газету (их привозили накануне днем на пароме, поэтому новости всегда были вчерашние), она не спускала глаз с Лоры Гробиан — о, эти впалые щеки и знаменитый затравленный взгляд! До чего же интересно было слушать, как великая писательница соскребает ложкой холодные хлопья, наблюдать, как сурово обошлась с ее лицом безжалостная ночь! С не меньшим любопытством изучала Рут и недавно разведшегося Питера Ансерайна, с его длиннющим носом и раздутыми ноздрями. Тот уплетал за обе щеки и недобро хмыкал, не отрывая глаз от книжки, всегда европейской и непременно на языке оригинала. Казалось, он так и родился с книгой под носом. Удобен «стол молчания» был и тем, что мимо дефилировали приверженцы утреннего общения, следовавшие в соседнюю столовую, и сразу делалось ясно, кто с кем вместе спустился к завтраку. Рут наблюдала, делала выводы, строила планы, а когда оставаться за опустевшим столом становилось уже неприлично, она вставала и отправлялась к себе в студию (четверть мили лесом). Саксби, разумеется, дрых до двенадцати.

Дождь все еще собирался, когда Рут приготовилась к трудовому дню: положила в портфель тетради, мятные леденцы, компакт-пудру, расческу и толстый, ужасно низкопробный роман, который читала тайком от окружающих; сунула под мышку вчерашнюю газету, подцепила из стойки в прихожей зонтик и выпорхнула наружу. Это время дня она любила больше всего. Вымощенная камнем и обсаженная почтенного возраста геранями и жонкилиями тропинка вела под сень сосен и бородатых дубов, там пахло болотом. Вскоре, правда, предстояли муки творчества, но аромат трясины и моря, заливавшего болота два раза на дню, пробуждали воспоминания о Санта-Монике и детстве, простом, чистом, беззаботном, не омраченном манией славы (и ее вечной проклятой спутницей — необходимостью работать) — болезнью, которой Рут заболела в шестнадцать лет. Хоть в это время года царила невыносимая жара и духота (Рут часто говорила, что весь штат похож на душевую в общежитии), хоть в листве засели в засаде комары и слепни, Рут всякий раз испытывала радостное возбуждение. Еще бы — ведь она в самом «Танатопсисе», пишет прозу или, во всяком случае, пытается писать, окруженная собратьями по творчеству: тут и Питер Ансерайн, и Ирвинг Таламус, и Лора Гробиан, и, конечно же, пучеглазая композиторша, которая, невзирая на малопривлекательную внешность, была главной звездой из всех двадцати шести обитателей творческой колонии.

Близкие друзья называли Рут Дершовиц на французский манер — «Ла Дершовиц». Ей было тридцать четыре года, но она утверждала, что двадцать девять. Писать Рут начала еще в школе, поощряемая учителем литературы Джоном Бердом, которого, скорее всего, интересовали не столько полудетские опусы ученицы, сколько ее пухлые губки и потрясающий бюст. Сверхурочные занятия длились до глубокой ночи. Рут успела поучиться почти во всех лучших творческих мастерских — спасибо щедрому папе — и с грехом пополам получила диплом захолустного колледжа (специальность — антропология). За год учебы в университете штата Айова и семестр в Эрвинском университете академических лавров она не стяжала. Творческие успехи ограничивались публикацией четырех нервных, очень мрачных рассказов в маленьких журнальчиках: два раза в «Дихондре», с редактором которого Рут познакомилась в богемном кафе, один раз в «Светлячке» и один раз в «Драгоценных пуговках». С деньгами дела шли паршиво, впереди маячила судьба вечной официантки. В Саксби, только что вылетевшего с океанографического факультета, Рут влюбилась сразу же — в ямочки на щеках, веселый смех, широченные плечи и большой дом на острове Тьюпело. И вот она тут, на острове. Навсегда. Или, по крайней мере, надолго.

Рут шла по тенистой тропинке. Под мышками уже было мокро, портфель болтался на плече. Оказывается, она оставила окна студии открытыми. В поместье «Танатопсис» творческие люди ели, спали, мылись и пользовались уборной в боль-

шом доме, но для работы каждому отводилась студия, отдельная хижина, каковых в парке имелось три десятка. Работать полагалось в полном одиночестве, всякие посещения с завтрака до пятичасового коктейля строжайше запрещались. Студии весьма заметно отличались по размеру — от пятикомнатного бунгало Лоры Гробиан до однокомнатных домиков, предназначенных для мелких сошек. Отдавая дань памяти безвременно ушедшего из жизни супруга, Септима назвала каждую обитель в честь кого-нибудь из прославленных самоубийц. Рут досталась студия «Харт Крейн» [1] — однокомнатный коттеджик в деревенском стиле: старый камин, плетеный диванчик, две тростниковые качалки и электроплитка, отличавшаяся капризным нравом. «Харт Крейн» находился дальше всего от большого дома, но Рут это устраивало. Даже очень удобно.

В первый момент при виде распахнутых окон она удивилась. Всякий раз перед уходом Рут тщательно запирала и дверь, и окна, опасаясь не только ночного ливня, но и вторжения енотов, змей, белок или трудных подростков. Воображение сразу нарисовало устрашающую картину: пишущая машинка украдена, рукопись растерзана, на стенах каракули краской из пульверизатора. Но тут Рут вспомнила, что накануне нарочно оставила окна нараспашку, бросила вызов Року, мол, будь что будет,— до такой степени ей обрыдла вся эта чушь: пишущие машинки, рукописи, искусство, работа, любовь, гордыня, свершения и даже надежда на обожание читательских масс. Потратив целый день впустую, Рут корчилась на колу отчаянья и взывала к стихиям: придите, разнесите тут все к черту, освободите меня! Ну же, давайте!

Сегодня Рут была настроена иначе. Ей хотелось трудиться. Настало утро, она должна сесть за рабочий стол, как все честные американцы. Рут взбежала по ветхим ступенькам крыльца, распахнула незапертую дверь, швырнула портфель на диванчик и решительно шагнула к древней «оливетти», сурово взиравшей на нее со стола. Итак, с машинкой ничего не случилось. И страница, над которой билась Рут, все еще торчала из каретки, разве что слегка отсырела и свернулась в трубочку. Какое-то время ушло на возню с прожорливыми, мясистыми саррацениями, которые Рут нашла на болоте и пересадила в горшки. Эти цветочки питались мухами, здоровенными тварями синего цвета, что мерзко жужжали на ржавой противомоскитной сетке, мешая сосредоточиться. Потом Рут сварила на плитке кофе, раз шесть выходила на крыльцо посмотреть на приближение бури и села работать, лишь когда почувствовала, что вот-вот вконец одуреет от безделья и скуки.

Она старалась. Изо всех сил. Но сосредоточиться толком не могла. Она писала многоплановый рассказ о японской домохозяйке, бросившейся с двумя детьми в воды Санта-Моникского залива после того, как ее покинул муж. Малыши благополучно утонули, а мамашу, наглотавшуюся воды, с распухшей шеей и красными от соли глазами, вытащил и вернул к жизни семнадцатилетний серфингист. Об этом писали все газеты. Рут собиралась изложить историю устами всех действующих лиц поочередно. С рассказом серфингиста она справилась без проблем. С детьми дело шло довольно туго. С матерью и подавно. Черт ее знает, что у нее в башке происходило!

Рут творила примерно час. Точнее сказать трудно, потому что часов у нее не было (и слава богу). Она несколько раз перепечатала абзац, но он все равно никуда не годился. Ну не лежала у нее душа к работе, и все тут. Она все время думала о Саксби. Накануне вечером они переправились паромом на большую землю и съездили в Дариен поужинать и выпить. На обратном пути Саксби притормозил у обочины, и они занялись любовью прямо на капоте. Саксби откинулся спиной на ветровое стекло, весь такой твердый, мускулистый и мужественный, а она вскарабкалась на него сверху — сама нежность, само благоухание... Потом Рут немножко подумала о надвигающемся шторме и стала размышлять о большом доме. Тридцать семь комнат, не считая помещений для прислуги. Когда-то здесь жили владельцы хлопковой плантации, на полях потели рабы, ревели мулы, орали надсмотрщики, предки Саксби разъезжали в легких двуколках, помахивали хлыстиками. Рут вспомнила «Унесенных ветром», «Корни» и «Признания Ната Тёрнера». Вернулась к рассказу. Попыталась сосредоточиться на героине, несчастной женщине, оторванной от родной культуры, представила себе глаза-щелочки, маленькие

[1] Харт Крейн (1899 1932) – американский поэт. Покончил жизнь самоубийством. Подборку стихов и статью о нем см. «ИЛ», 1989, № 9.

руки, тонкие пальчики, и тут вдруг в памяти возникло лицо Хиро Танаки, перекошенное от страха, тускло освещенное луной.

Надо же, она решила, что он китаец. Ничего удивительного, ей ведь не случалось бывать восточнее суси-баров [1] квартала Маленькая Япония или забегаловок Китайского квартала. Как-то не возникало необходимости отличать японцев от китайцев. В конце концов на вывеске все написано: вьетнамский это ресторан или, скажем, китайский. Азиаты в представлении Рут были людьми, которые подают блюда из риса. Китаец — надо же, какая дура. Сидит, выдавливает из себя рассказ о японке, про которую прочла в газете, а когда настоящий, живой японец, отчаянный малый, беглый матрос, прыгает ей, можно сказать, прямо на колени, она, кретинка, принимает его за официанта из ресторана *«Сибко вкусно»*.

Странно, она никак не могла о нем забыть. Где он? Чем питается? О чем думает? Он уже неделю на острове и все еще не пойман, прячется где-то в джунглях. Его видели в разных местах. Саксби, например, божится, что собственными глазами наблюдал, как японец удирает из супермаркета. Где же он, в самом деле? Остров Тьюпело сходит с ума — и черные из поселка Свинячий Лог, и удалившиеся на покой обитатели прибрежных вилл. Газета пишет о беглеце как о субъекте весьма опасном, бешеном головорезе, вырвавшемся из корабельного карцера, атаковавшем товарищей по команде и затем совершившем самоубийственный прыжок за борт. Береговая охрана прекратила поиски в открытом море после того, как двое свидетелей, оба из творческой колонии (Рут была немного разочарована, что ее имя не названо), сообщили, что видели, как беглец выбрался на берег в юго-восточной части острова Тьюпело. Власти ведут расследование. Есть основания полагать, что преступник вооружен и опасен.

Газету буквально рвали из рук — ведь это было самое большое событие на острове со времен эпидемии свинки; все жаждали подробностей. Номер и так пришел с опозданием, через два утра после ночного эпизода в проливе. Рут и Саксби успели дать по телефону интервью репортерам из «Атланта конститьюшн», «Саванна стар» и ежеквартальника «Тьюпело бриз», побеседовать со специальным агентом Иммиграционной службы Детлефом Эберкорном, с окружным шерифом (в местном произношении «шерф»), а также с неким мистером Сикумой из Нью-Йорка, президентом Общества японо-американской дружбы. Мистер Сикума рассыпался в извинениях и благодарностях, поздравил их с «успешным опознанием» матроса Танаки и уверил, что юный моряк, хоть и нездоров психически, значительного ущерба нанести не может.

Вообще-то Рут понравилось быть в центре внимания. С самого появления в «Танатопсисе» она чувствовала себя не в своей тарелке. Наверное, ее парализовало общество знаменитостей, все эти Питеры Ансерайны и Лоры Гробиан. А может, еще больше пугало Рут присутствие ровесников и ровесниц, что воскрешало в памяти горький опыт студенческих лет. Ну и особые отношения с сыном хозяйки, разумеется, тоже не могли остаться вне поля зрения деятелей культуры. Они наверняка сплетничали и злословили. «Рут Дершовиц? Что это еще за фифа? Она что-нибудь написала? Да ей и не нужно писать — это новый трофей наследничка». Рут вела себя тихо, ни с кем не конфликтовала, старалась держать язык за зубами. Легкий треп за коктейлем с соседом справа, с соседом слева — и не более, никаких серьезных разговоров. Ходить по этой, пока еще зыбкой, почве она только училась.

Но в ту ночь, когда они с Саксби вернулись с моря, Рут не удержалась. Было поздно, третий час, и свет горел только в бильярдной второго этажа. Они взбежали по лестнице, прыгая через две ступеньки. Рут едва поспевала за длинноногим Саксби, тащившим ее за руку. Когда добрались наверх, Рут уже совсем запыхалась. Она обвела взглядом деревянные панели, люстру, светильники по углам, тупо поморгала, словно приходя в себя после глубокого сна, и наконец разглядела присутствующих. Никаких сюрпризов, все те же жертвы бессонницы.

Там был Ирвинг Таламус, сидевший у ломберного столика и нервно перебиравший пальцами, изо всех сил стараясь не поднимать глаз, чтобы не выдать противнику, какая у него карта. С ним сражался поэт по имени Боб, очень серьезный молодой человек, выпустивший сборник в весьма солидном издательстве. Боб был похож на торговца пивом, а вовсе не на доцента университета Эмори, каковым

[1] Суси-бар — закусочная, где подают суси — японское национальное блюдо из сырой рыбы и риса.

в действительности являлся. Рядом, рассеянно почесываясь и посасывая диетическую кока-колу, сидела Айна Содерборд, плечистая квадратнолицая блондинка из Миннесоты, писавшая таким стилем, словно у нее последняя стадия белой горячки. В углу, погруженная в извечное метрономическое безмолвие, склонилась над книгой пучеглазая композиторша. У ярко освещенного бильярдного стола застыла панк-скульпторша в кожаных шортах и просторной, как балахон, майке.

Прежде чем кто-либо из присутствующих успел поздороваться или хотя бы взглянуть на вновь прибывших, Саксби разверз уста и взахлеб стал описывать невероятное происшествие в проливе, причем в своей обычной гиперболизированной манере. Встреча с пловцом в ночном море звучала в его описании не менее сенсационно, чем контакт с представителями внеземной цивилизации. Но жильцы «Танатопсис-хауса» слушали с удовольствием, они обожали Саксби — за юмор, за богатырские плечи и в особенности за полное отсутствие интереса к искусству. Рут прижалась к локтю рассказчика.

— Чтоб мне провалиться! — грохотал Саксби.— Этот тип был как две капли воды похож на Элмера Фадда из мультиков, только с волосами. Мы с Рут настроились на романтический лад. Ну, в смысле, я уже без штанов и все такое... Рут, не красней. Она покраснела, да? Одним словом, момент не самый удачный. Открытый океан, все может приключиться — здоровенный тунец, тюлень, даже кит. Но китайский Элмер Фадд? Да еще с волосами!

Рут сделала два шага назад и один влево, чтобы лучше видеть лица слушателей. Саксби размахивал руками, корчил рожи, драматически переходил с крика на шепот и обратно. Все слушали разинув рты. Когда Сакс закончил свой потрясающий рассказ — описанием того, как перепуганный пришелец бешеным бизоном продирался сквозь прибрежный тростник,— Ирвинг Таламус бросил карты на стол и поднял глаза.

— *Кусить изволите, ням-ням?* — певуче просюсюкал он, сохраняя бесстрастное выражение лица.— *Тухлая яиська или китайская о́вось?*

— Может, это спортсмен к олимпиаде готовился,— предположил Боб и собирался развить свою гипотезу, но тут вмешалась скульпторша:

— Дерьмо вы собачье, вот вы кто,— рявкнула она, с грохотом отшвыривая кий.— Хуже поганых расистов. В сто раз!

Она окинула всех свирепым взглядом, запрокинула голову, словно собираясь плюнуть на пол, и протопала прочь из комнаты.

— Чего это она? — удивился Саксби, зачерпывая из вазы пригоршню орешков.— Мы же тут не в Нью-Йорке. Это, милашка, Джорджия.— Он нарочно изобразил южный акцент.— Мы в старушке Джорджии, горячо любимом Персиковом штате. Чтоб в нашем родном проливе плавал живой китаец — да это ж чудо Господне! Китайское население архипелага резко возросло. С нуля до единицы.

Ирвинг Таламус с внушительным видом разгрыз орех, и все обернулись к великому писателю. Тот извлек из скорлупы ядрышко и сиплым басом курильщика произнес:

— Нет чувства юмора.

Поэт Боб захихикал.

Тогда-то Рут и прорвало. Она была ошеломлена, подавлена, возмущена до глубины души. Как могут эти люди быть такими циничными? Ведь произошло кораблекрушение! Она собственными глазами видела изможденного, полуобезумевшего человека, чудом добравшегося до суши. В какой панике ломился он сквозь заросли! А дорогие коллеги сыплют китайскими шуточками, на большее у них ума не хватает. Как знать, сколько несчастных тонет сейчас в черных безжалостных водах, тщетно взывая о помощи?

— Нужно позвонить в полицию,— внезапно заявила она.— И в береговую охрану. Произошло кораблекрушение, это же ясно. Кто-нибудь слушал радио?

Теперь все взгляды были устремлены на нее, даже пучеглазая дернулась и оживилась, заслышав родное слово «радио».

— Радио? — переспросила она. И тут все заговорили разом.

— Так слышал кто-нибудь сводку новостей или нет? — повторила Рут.

Айна Содерборд, жившая по соседству с Питером Ансерайном, слышала, как тот, часов в восемь вечера, включил программу новостей. Но Ансерайн давно спит, кто ж станет его будить?

На Рут накатил приступ ярости. Вдруг она почувствовала, что у нее больше нет сил выносить и этот «Танатопсис», и цинизм, и постоянное напряжение, и вечное злословие. Тщательно возведенная система защиты разлетелась вдребезги. Куда-то подевались сдержанность и осторожность — Рут решительно шагнула на подмостки.

— В это трудно поверить! — воскликнула она, испытывая легкое головокружение от интенсивности обуревавших ее чувств.

Саксби обнял ее за плечи.

— Ну-ну, все в порядке,— успокаивающе сказал он, но Рут еще не закончила:

— Возможно, там тонут люди, а вы... вы шутки шутите!

На глазах выступили слезы, но Рут подавила рыдания. Она была разгневана, уязвлена, взволнована — все так. Но в то же время она играла и очень хорошо понимала это сама. «Если б только они ко мне прислушивались,— думала Рут,— если б они только знали...» Она стояла рядом с Саксби, стройная, с длинными загорелыми ногами, дрожащая от собственной смелости, а еще больше от гнева и обиды. Как же они могли обращаться с ней так, словно она — пустое место?!

Рут почувствовала, что победила. Уж теперь-то они глаз с нее не сводили! С лица Боба исчезла ухмылка; пучеглазая выглядела так, словно ей только что влепили оплеуху; даже непроницаемого игрока в покер, каменнолицего Ирвинга Таламуса, и того проняло. Он был похож на кота, но теперь этот кот подобрался и принюхивался — ветерок донес издалека зазывное мурлыканье кошечки.

— Сделайте что-нибудь! — потребовала Рут.— Ну же, кто-нибудь! Действуйте!

Вскоре она уже сидела, совершенно обессиленная, у ломберного столика, рядом с Таламусом; Саксби и Боб отправились звонить в береговую охрану, шерифу, в добровольную пожарную команду и местное отделение радиокомпании.

— Все образуется,— сказал Таламус. Она посмотрела на морщинистую, как у ящерицы, кожу вокруг его глаз. Ирвинг откинул со лба свесившийся кок густых черных волос.

Ему было пятьдесят два года, и он считался явлением в литературе. Губы у явления были сухие и жесткие, зубы мелкие, белые и острые.

— Вы поступили правильно. Иногда всем нам на пользу пинок под задницу, верно?

Рут подняла на него глаза, вся такая убитая и несчастная, хоть на самом деле несчастной в этот момент вовсе себя не чувствовала. Таламус взял ее за руку, стиснул, и его лицо вновь приняло всегдашнее ироническое выражение.

Ныне же Рут сидела в студии и писала, точнее, пыталась хоть что-то написать. Вдруг она увидела перед собой японку как живую: печальная, обреченная героиня, глотающая соленую смерть; катятся волны, желтея в сумеречном свете; дети унесены морем — безвозвратно и навсегда. Когда над верхушками деревьев полыхнула первая молния, вся сцена уже замечательным образом выстроилась, слова сами рвались с губ, вернее, с кончиков пальцев. Домик стало продувать бризом. Холодный, угрожающий, он тряс москитные сетки, ворошил бумагу на столе. Искушение оказалось слишком сильным. Рут отодвинула пишущую машинку, встала, подошла к окну и надолго застыла там, глядя, как густеет цвет неба. Качались ветви, листья трепетали, делаясь то серыми, то зелеными, то снова серыми. Тут Рут ощутила некий зов, идущий из глубин желудка, и вспомнила об обеде.

Желудок выполнял функцию биологических часов. Между двенадцатью и часом Оуэн Берксхед, перезрелый бойскаут, бесшумно подкрадывался к студии, ступая легко, как кошка, могиканин или привидение, и вешал на специальный крюк возле двери корзинку с обедом. Такая у него была игра — человек-невидимка, старающийся не отвлечь творцов от работы. У Рут тоже была своя игра. Как только желудок подавал ей сигнал, что близится время обеда, она переставала печатать, навостряла уши и ждала, когда еле слышно скрипнет крюк под тяжестью корзинки, зашуршит палая листва или хрустнет веточка. Тогда она торжествующе оборачивалась и с преувеличенной веселостью домохозяйки, целый день просидевшей одна-одинешенька в четырех стенах, орала: «Привет, Оуэн!» Иногда удавалось его застукать, иногда нет.

Вчера получилось странно. Мало того, что она не застукала Оуэна, но и корзинки как таковой на крюке не появилось. Сначала желудок предупреждающе шевель-

нулся, потом пришел в негодование, зарычал и забулькал. Каждые десять минут Рут выходила на крыльцо, но крюк оставался пустым и заброшенным. За ужином Оуэн уверял, что обед был доставлен, и просил вернуть судки. Может, корзинку утащил какой-нибудь зверь? Она не поискала в кустах? Рут погрозила Оуэну пальцем, заметив, что Питер Ансерайн, как всегда уткнувшийся носом в книгу, прислушивается.

— Не вешайте мне лапшу на уши,— поддразнила она Оуэна.— Сели в лужу, так и скажите. Подумать только, двадцать лет ни один служитель искусства в «Танатопсисе» не оставался голодным, и вот такой конфуз!

Рут подержала паузу и звонко расхохоталась.

Оуэн покраснел. Ему было сорок, и он очень напоминал Сэмюэла Беккета, в особенности хищным носом и ежиком стриженых волос. А дотошностью и аккуратностью Оуэн был похож на ротного старшину — старшину с гомосексуальными пристрастиями, если такая комбинация в природе существует.

— Нет, я приносил обед! — упорствовал Оуэн.— И я отчетливо это помню. Отчетливо!

Конечно, ничего страшного не произошло. Но церемония обеда значила для Рут очень много. Он был как рубеж: утром — крестный путь творчества, после полудня — Голгофа с последующим воскресением и вознесением в райские кущи, когда наступал час коктейлей. Да и обед сам по себе впечатлял: паштет, салат из крабов, сандвичи с копченой индейкой или тарталетки с жареным перцем, домашние помидоры, фрукты, термос ледяного чая — и все это на настоящем серебре, с кружевными салфетками.

Рут с тоской подумала: а вдруг из-за шторма Оуэн не придет? Что, если в поместье существует какое-нибудь мистическое, освященное традицией правило, согласно которому во время грозы обед в студии не подается, а все должны идти в столовую? Вдруг собратья по искусству сидят сейчас в большом доме за накрытым столом и поднимают бокалы за бурю, так романтично бьющуюся в окна?

Рут представила себе налитые бокалы, оживленные лица, и как раз в этот момент грянула буря. Коттедж залило ослепительным светом молнии, пол дрогнул под ногами. По верхушкам деревьев с шипением ударили струи дождя; сразу остро запахло землей и перегноем; крыша и окна встрепенулись и зажили особой жизнью. Второй удар, третий. Домик дрожал, страницы летели во все стороны. Рут бросилась закрывать окна — сначала то, что перед столом, потом — угловое, возле камина. И замерла на месте.

На крыльце кто-то стоял.

Мелькнула тень, тускло блеснули судки, и Рут вскрикнула. Тогда похититель остановился, и она смогла вновь рассмотреть его, как в ту ночь, в проливе. Лицо в синяках и ссадинах, мокрые волосы цветом напоминают красную глину, глаза дикие, промытые дождем. Он тоже увидел ее — их взгляды встретились. Японец попятился, крепко прижимая к себе корзинку, и пустился наутек, мокрый, гладкий и блестящий, как только что родившийся младенец.

Свинячий Лог

На следующее утро после побега с корабля и размышлений средь вздымающихся черных валов Атлантики о малозначительности собственного исчезновения Хиро Танака проснулся в густой болотной траве. Солнце стояло высоко в небе и, пока выбившийся из сил беглец спал, успело обжечь ему лицо, руки и подошвы. Хиро лежал на спине, наполовину сползший в соленую воду,— в трясину не давало погрузиться сплетение белых корней, служившее матрасом его телу. Корни принадлежали траве, именуемой Spartina alterniflora. Если б Хиро перерезал их ножиком, предусмотрительно прихваченным с собой, то по шею провалился бы в вязкую жижу. Но он не думал ни о корнях, ни о болоте, ни о множестве мельчайших порезов, оставшихся на его коже после соприкосновения с бритвенно-острыми травами во время ночных блужданий по берегу. Хиро проснулся не от качки и спертого воздуха темницы, а от пения птиц и густого зловония трясины. Когда он оправился от изумления, его мысли сфокусировались на одном: необходимо подкрепиться.

Прежде всего ужасно хотелось пить. Нет, «хотелось» — не то слово, Хиро

буквально сходил с ума от иссушающей жажды, как выжженные засухой африканские деревни или скрюченные кустики пустыни. Последний раз пресной воды он хлебнул два дня назад, когда старый Курода принес ему очередные два колобка риса и оловянную кружку. Крупицы соли осели на ресницах, в носу, на гландах и аденоидах, сдавив горло удушающей хваткой. Хиро казалось, что в глотку ему забили кляп, что он сейчас задохнется. В панике беглец приподнялся на четвереньки — вода приятно охладила запястья, солнце обожгло спину — и чуть не вывернулся наизнанку, блюя желчью и желудочным соком. От едкого привкуса горло и вовсе вспыхнуло огнем, и, хотя Хиро, посмотревший достаточно фильмов про морские злоключения (и «Спасательную шлюпку», и «Мятеж на «Баунти»), отлично знал, что соленую воду пить нельзя, что от нее начинаешь сходить с ума, что отсюда рукой подать до каннибализма, самопожирания и кое-чего похуже, тем не менее он прильнул к поверхности болота и пил-пил-пил, пока чуть не лопнул. Ему стало нехорошо, он лег на спину и обессиленно раскинулся на своем ложе из корней. Но муки следующей по значению телесной потребности не позволили ему надолго расслабиться.

За неделю, проведенную в карцере, Хиро отощал по меньшей мере килограммов на восемь. Свитер на нем болтался, торчавшие из рукавов кисти стали похожи на какие-то свиные копытца, глаза ввалились, второй подбородок усох. Два рисовых колобка в день! Бесчеловечно! Средневековая жестокость — вот как это называется. Да и колобков он не ел уже двое суток. Хиро лежал мокрый, изможденный, оголодавший, в дурно пахнущей траве, под чужим солнцем дикой, незнакомой страны и чувствовал, как его сознание расползается, словно раскисшая конфета-тянучка, и вот он уже думает не столько головой, сколько животом. Голова размышляла все больше о безучастных небесах и отчаянности ситуации, живот же требовал, обличал и угрожал. Он был пуст, он урчал, булькал, ярился, сыпал обвинениями. «Ты дурак,— бурчал живот,— идиот несчастный, у тебя вместо мозгов дерьмо». Господи, сидел бы сейчас в самолете компании «Джал», с крахмальной салфеточкой на шее, просил бы у стюардессы добавки риса, еще кусочек норвежской лососинки, еще чашечку *сакэ*. За все платило бы японское посольство. Конечно, в аэропорту Нарита его встречали бы с наручниками наготове. Суд, обвинения по полудюжине статей: злостное хулиганство, избиение, нарушение служебного долга и так далее — не говоря уж о страшном унижении. Но хуже, чем сейчас, не было бы. Живот сурово вопрошал: «Зачем тебе достоинство и сама жизнь, если жрать нечего?»

Как большинство японцев, Хиро считал живот (по-японски *«хара»*) средоточием жизни, источником физической и духовной силы. Человек западный говорит: у него или у нее холодное сердце, горячее сердце, или сердце разбито, сердце успокоилось и так далее. Японец же связывает сферу чувств с животом, который в его глазах является органом куда более важным. «Сердечная беседа» у него превращается в беседу «животом к животу» (*хара-о авасэру*). Злодей с «черным сердцем» становится злодеем с «черным животом» (*хара га курои хито*). На два дюйма ниже живота находится *«кикай тандэн»*, то есть духовный центр тела. И акт *харакири* — это символическое высвобождение духа, *«ки»*, из живота, главнейшего бастиона плоти.

Для Хиро живот имел еще большее значение, чем для обычных японцев, ибо еда была главным интересом его жизни. В школе мальчика мучили, на площадке для игр избивали, и единственным убежищем стали кондитерская, закусочная, кафе-мороженое. Усмиряя бунт желудка, Хиро чувствовал прилив силы и решимости. Со временем еда стала единственным средством чувственного самовыражения. Конечно, Хиро случалось переспать с какой-нибудь девушкой из бара или проституткой, но большого удовольствия подобные эпизоды ему не доставляли. Он никогда еще не влюблялся — в конце концов, ему было всего двадцать — и считал, что жизнь состоит только из работы, сна и еды. Сейчас он нуждался в еде. Просто подыхал от голода. Но что можно предпринять? Он восемь часов барахтался среди волн, как какой-нибудь марафонский пловец, и так выбился из сил, что не мог даже голову поднять. Хиро вяло подумал — не пожевать ли болотной травы, чтобы заглушить бурю в животе, а потом закрыл глаза и представил себе рубашку старика Куроды с размазанными по ней колобками риса.

Когда он снова проснулся, солнце висело над самыми кронами деревьев. Сначала Хиро не мог понять, где находится. Столько ярких красок, движения, запах тины. Сориентироваться помогла вода — начинался прилив. Ах да, это Америка,

США. Прибывающая вода ластилась к подбородку, перекатывалась через живот, через плечи. С трудом Хиро приподнялся на локтях. Закружилась голова. Клейкая лента больно впивалась в грудь, левая голень саднила — кажется, он стукнулся о лодку тех поганых маслоедов, которые гонялись за ним в проливе. Неважно. Наплевать. Надо подняться на ноги и куда-то идти. Найти какой-нибудь дом, бесшумным привидением проскользнуть в окно, отыскать на кухне огромный холодильник, где американцы хранят то, что им нравится есть. Хиро представил себе белоснежного гиганта, набитого банками с маринованным укропом, хрустящими галетами, упаковками сочного мяса — всего того, без чего американцы не могут жить. Вдруг кто-то несильно, но настойчиво дернул его за ляжку с внутренней стороны. Хиро замер. Маленький пурпурный краб висел у него чуть выше колена и с интересом гурмана рассматривал загорелую кожу, видневшуюся сквозь дыру в штанине. Краб был размером аккурат с рисовый колобок.

Хиро понял, что сейчас съест незваного гостя.

Какое-то время он не шевелился, боясь спугнуть добычу. Краб ни о чем не подозревал, побулькивал себе водой, шлепал губами (если это, конечно, были губы), почесывал глазки единственной здоровенной клешней. Хиро вспомнил котлеты из краба, которые готовила бабушка, белое сочное мясо, а к нему рис, огурчики... Тварь всполошенно задергала конечностями, но было поздно — Хиро сунул ее в рот прямо целиком. Панцирь оказался жестким и неаппетитным, вроде как пластмассу жуешь, но зато мякоть, крошечный солоноватый комок плоти, придал изголодавшемуся телу сил. Хиро тщательно обсосал разгрызенную скорлупку, потом похрупал ею и тоже проглотил. Неплохо бы найти еще одного краба.

Однако поиски не увенчались успехом. Правда, роковую ошибку совершил кузнечик — зеленая спинка, толстое желтое брюшко. Взял и скакнул Хиро на свитер. В следующую секунду он оказался схваченным и проглоченным. «Еще!» — завопила *хара*.

Хиро двинулся вперед, сквозь высокую жесткую траву. Она резала своими острыми стеблями ноги, руки, лицо, но он не замечал этого. Хиро шел как в трансе; гений обоняния, впервые снизошедший на него накануне ночью, вновь сладострастно завладел всем его существом. Гений ухватил Хиро за нос и властно повлек за собой прочь от берега, в тень мшистых деревьев, что росли по краям болота. Оттуда пахло пресной водой — застоявшейся, грязной, болотной, но какое это имело значение? А еще дальше, где-то на самом краю восприятия, возник и тут же исчез магнетический аромат шипящего на сковороде жира.

* * *

Был лучший час дня, солнце размягчело и стало похоже на большущий кус масла. Олмстед Уайт, правнук раба (который был сыном раба, который появился на свет в Западной Африке свободным человеком племени ибо), готовил себе ужин. Олмстеду стукнуло шестьдесят восемь, руки-ноги стали сухими и жилистыми, будто их кто провялил, а лицо сделалось что твоя глина — вот как его обжарило солнце, особенно утреннее, которое так ярко сверкает на волнах. Он тут родился, на острове Тьюпело, тут вырос, ходил в школу, прожил до старости. На материке за всю свою жизнь побывал, может, раз двадцать. На поле у Олмстеда рос маис, в огороде — помидоры, а еще он держал свиней, ловил рыбу, крабов, устриц, креветок. Когда же нужны были деньжата — на выпивку или там купить батарейку для розового транзистора, по которому так здорово слушать на вечерней прохладе репортаж с бейсбольного матча,— Уайт отправлялся к белым на виллы и зарабатывал сколько надо. Он так и не женился, всю жизнь — все утра, дни и вечера прожил с братом, таким же бобылем. Но Уилер помер, уж полгода как лежит на семейном кладбище, в дальнем углу сада.

В этот вечер играла любимая команда Олмстеда «Храбрецы»; под хриплое рокотание приемника старик порезал огурцы и помидоры, приготовил салат из зелени, кинул на сковородку дюжину свежих устриц, сыпанул пшеничной и кукурузной муки, добавил кайеннского перца. Олмстед сейчас не думал ни о брате-покойнике, ни о племяннике Ройяле (сынок сестры Юлонии), с которым иногда допоздна смотрел музыкальные программы по Эм-ти-ви (ну и причесочки у нынешней молодежи — заглядение), да и к голосу диктора не особенно прислушивался —

«Храбрецы» в очередной раз дали маху, и тон репортажа стал совсем похоронным. Старик вообще ни о чем особенном не думал, пребывая в своем обычном состоянии легкого оцепенения. На сковородке потрескивал жир, в зарослях пели птицы, оконные стекла сияли солнечными бликами. По привычке Олмстед приготовил вторую тарелку, для Уилера. Когда стемнеет, когда звезды захолустной команды — Гант, Мёрфи, Томас — будут окончательно посрамлены непобедимыми нью-йоркскими чемпионами, он сходит к брату на могилку, заберет вчерашнюю тарелку, пустую, и поставит новую.

Как все обитатели Свинячьего Лога, старый Уайт говорил на диалекте гулла, языке своих предков. В гулла множество заимствований из хауса, волоф, ибо, кимбунду и прочих западноафриканских наречий. Вместе с древними словечками сохранилась смутная лингвистическая память о далеком континенте, племенных обрядах и суевериях, столь популярных среди пращуров. Олмстед Уайт и сам был очень суеверен. А как же иначе жить человеку в мире, где ничего толком не поймешь, где ночь прямо нашпигована всякими привидениями, духами и голосами? Старик верил и в колдовство, и в заклятья, и в чары худу и джуджу, и в призраки, и в черный глаз, и в ведьм, которые могут напустить порчу, так что будешь потом сохнуть, как трава под солнцем. Поэтому Олмстед вовсю старался не обидеть дух покойника Уилера — то одежонку подарит, то колоду карт принесет, журнальчик, что-нибудь повкуснее к ужину. И упаси боже хоть одну ночь пропустить. Наутро тарелка всегда была вылизана начисто. Может, это еноты угощались или опоссумы, кабаны, бездомные собаки, вороны — кто его знает? Только сам Уилер мог бы ответить на этот вопрос.

Стало быть, на сковородке поджаривался бекон, и устрицы пахли так, что дощатая лачуга не уступала по части ароматов какому-нибудь шикарному ресторану в Чарльстоне, где все уставлено пальмами в кадках. Домик у Олмстеда был двухкомнатный, стены покрашены в синий цвет, на печной трубе изображена синяя же пирамидка — ведьм отпугивать. Олмстед пребывал в бездумном покое, рука переворачивала вилкой жаркое как бы сама по себе. Вокруг — тишина, только вот муха разжужжалась на противомоскитной сетке. Муха сражалась за свою свободу, а мир замедлил вращение, словно старая, потрепанная карусель. И тут Олмстед вдруг почуял, что в кухне есть кто-то еще. Старик стоял к двери спиной, возил вилкой по сковородке, радио все так же бухтело про незадачливого Дейла Мёрфи — вроде бы ничего не изменилось, но Олмстед готов был поклясться, что сзади кто-то есть. Или что-то.

Он двигался медленно, словно после обморока, словно Братец Кролик, приклеившийся к смоляному чучелку. Руки Олмстеда заходили ходуном, он вспомнил про ужасный конец Варнера Армса. Того нашли мертвым в собственной кухне, все стены в кровище, а на полу черные ведьмачьи космы, будто привет с того света, из тьмы кромешной. Старик вжал шею в плечи — как бревно в землю заколотил. Потом медленно, очень медленно повернул голову, так что стоящий (стоящее) сзади мог (могло) полюбоваться на один испуганный глаз и серую щетину подбородка.

Выпученный от ужаса глаз увидел в дверном проеме такое, что хуже некуда. Там стоял Уилер, поднялся-таки из могилы: кожа стала желтая, будто пожухлый лист, а одет в красную хлопчатобумажную рубашку и джинсовый комбинезон — три дня не прошло, как Олмстед сам эту одежду на могилу снес.

— Уилер! — завопил он, неуклюже поворачиваясь и широко раскинув руки.— Я не в том смысле, ей-богу! Чтоб мне провалиться! Зря я обзывал тебя всякими словами в тот день, когда ты преставился...

Олмстед осекся, потому что увидел: это не Уилер. У брата не могло быть такой перекошенной рожи, словно он в штаны наложил. Да и комбинезон был бы Уилеру впору, а у этого едва сошелся на пузе, и штанины до щиколоток не достают. Глаза косые, волосы прямые, что твоя пакля. Да это китаеза какой-то! Что потерял китаеза на острове Тьюпело, в Свинячьем Логе, на кухне у старого Олмстеда Уайта? Загадка. Прямо головоломка. Это еще хуже, чем полдюжины ведьм и привидений! Олмстед был так озадачен, что немедленно разъярился.

— Ты-то еще кто?! — взревел он.

Хиро и сам перепугался не меньше, чем этот черный человек, который сейчас дергался и брызгал слюной. Из соленого болота на твердую землю Хиро выбрался в полузабытьи — вокруг легкими видениями порхали умершая мать и потерявший-

ся отец, протягивая сыночку бутылки с шипучкой, банки с лимонадом и глиняные кувшинчики охлажденного *сакэ*. В конце концов он нашел дождевую воду, лужицу жидкой грязи, и окунулся в нее лицом. Запах булькающего на сковородке жира к этому моменту стал оглушающим, и Хиро, напившись, вскочил и потрусил дальше. По пути ему попались могилы — грубо отесанные камни, высовывавшиеся из густой травы, совсем как в фильмах про ковбоев и индейцев. О первую из могил он споткнулся, вторая при падении окорябала ему щеку. Приподнявшись, Хиро увидел рубашку, штаны с лямками, перевернутую тарелку, связку сушеных перцев и ветхую колоду карт. Думать о чем-то, когда так роскошно пахло жарящейся рыбой — нет, устрицами, устрицами! — было невозможно, поэтому Хиро без малейших колебаний скинул свою грязную, изодранную одежду и переоделся. Он торопился, прыгал на одной ноге, нащупывая ногой штанину — словно в какой-нибудь дурацкой детской игре. Потом помчался через сад к источнику властного, божественного аромата.

И вот он стоял в ворованной одежде в доме чужака, и этот чужак на него орал. Да не просто чужак, а чернокожий, негр. Кто ж не знает, что все негры — полоумные и злобные. Они даже волосатее и зловоннее, чем их белые собратья *хакудзины*, да и мужская сила у них еще неуемней. Любой японец скажет вам, что негры свирепы, грубы, все сплошь наркоманы и думают не головой, а яйцами. Хиро один раз уже видел чернокожего. Это было в Токио, на улице. Того звали Кларенс Хоукинс, он играл в бейсбол за «Хиросимских карпов». Жуткий шкаф, прямо ходячий монумент. У него не было души, то есть *хары*. И он не понимал, что такое команда. Каждым ударом биты он посылал мяч точнехонько в цель и поэтому считал для себя необязательным ходить на тренировки, делать гимнастику, тысячу раз приседать, бегать кругами по стадиону, обливаться холодной водой — одним словом, демонстрировать командный дух, волю к победе, мужество и решимость. Питчеры подавали ему такие мячи, что бить было не по чему, а судья все равно их засчитывал, даже если они отскакивали от земли в сторону. Не прошло и года, как Хоукинс убрался в свою Америку. Вот какие они, негры. А теперь один из них размахивал перед Хиро руками и вопил что-то нечленораздельное.

Хиро тоже замахал руками, чтобы *гайдзину* было понятнее.

— Кораблекрушение! Умираю от голода! Пожалуйста, дайте что-нибудь поесть!

Олмстед Уайт услышал, но ни черта не понял, с тем же успехом Хиро мог говорить по-японски. *«Сыто-нибуч паести»* старик разобрал, но смысл этого загадочного словосочетания из-за чудовищного акцента китаезы до него не дошел. А хоть бы и дошел — Олмстед вел бы себя точно так же. Его застали врасплох в собственной кухне, напугали, разозлили! Увидев вместо ведьмы или жмурика какого-то чужака, да еще азиата-китаезу, Олмстед Уайт отреагировал естественным образом. На кухонном столе лежал мясницкий нож, которым перед Рождеством он взрезáл толстую шкуру кабанчика, а на охоте — мягкое подбрюшье опоссума или оленя. Старик посмотрел на Хиро, на стол и схватил нож.

Японец увидел, что ситуация меняется. На шее у негра напряглись жилы, белковатые глаза выпучились. Он не переставал орать, на губах пузырилась слюна. Было ясно, что негр не понял ни единого слова. А теперь в руке у него сверкал кошмарного вида тесак с зазубренным лезвием. За спиной чудовища зазывно благоухали жарящиеся устрицы.

В общем, дела обстояли паршиво. По-хорошему, надо было уносить ноги, пока не поздно,— Хиро отдавал себе в этом отчет. Нож острый, старик еще вполне крепкий, ощерился, как загнанный зверь. Но устрицы, устрицы! Вспомнились слова Дзётё: *Истинный самурай никогда не проявляет растерянности или малодушия. Он никогда не теряет мужества и уверенности в победе. Иначе он ни на что не годен.*

— *Сыто-нибуч паести,*— повторил Хиро.

Дальнейшие события застали оппонентов врасплох. Предоставленные сами себе, устрицы сначала задымились, потом обуглились, их температура достигла критической точки, и вдруг — ба-бах! — вспышка пламени, черное облако дыма над сковородкой. Инстинктивно и негр, и японец кинулись к плите. Несмотря на потерю двадцати фунтов веса, Хиро оставался весьма плотным юношей и плечом отшвырнул щуплого Олмстеда в сторону. Надо сказать, что старый Уайт страдал артритом, причем как раз правой ноги. Он потерял равновесие, хотел ухватиться за стол

или край плиты, но, к несчастью, вместо этого попал растопыренной пятерней прямо в сковородку, где горело масло и обугливались устрицы. Раздался душераздирающий вопль, от которого расплелась бы косичка даже у самого стойкого самурая. Сковородка немножко покачалась на краешке и бухнулась на пол.

Взметнулся огонь, лачуга загорелась, как спичка. Языки пламени побежали по дощатому полу, по стенам, моментально сожрали грязные желтые занавески. Хиро пустился наутек. Он выскочил за дверь, скатился с крыльца, добежал до могильных камней и только тут пришел в себя. Что он делает? Совсем рехнулся? Нельзя же бросать старого негра в горящем доме! Хиро решительно повернул назад, шепча цитату из Дзётё: *Действуй без колебаний, иначе пропадешь, покроешь себя позором, превратишься в труса.* В это время в окутанном дымом дверном проеме появился чернокожий: волосы опалены, правая ладонь красная, как вареный рак. Хиро замер на месте. Слова Дзётё утратили всякий смысл, потому что в здоровой руке старик держал двустволку, а локтем прижимал коробку с ярко-желтыми патронами. За спиной Олмстеда Уайта полыхал сущий ад.

Хиро припустил со всех ног — прочь от выстрелов, шипения пламени и криков встревоженных соседей. Откуда-то высыпала масса людей, и все орали, носились, визжали и натыкались друг на друга, как муравьи из разворошенного муравейника. Хиро ловко избежал столкновения с толстой старухой, лицом удивительно напоминавшей маску театра Но, шарахнулся от стайки перепуганных мальчишек в грязных шортах и метнулся в пыльный двор. Из-под ног с писком брызнули цыплята, хрюкающие поросята, во все горло завопили шоколадные младенцы в белых синтетических пеленках. На бегу Хиро оглянулся и увидел море черных лиц и лес вздымающихся рук, а чуть выше — горящую лачугу. От этого зрелища перехватило дыхание, трудно было вообразить картину более жуткую и безумную: темные лица, белый оскал зубов — вылитые людоеды, пляшущие вокруг костра, совсем как в книжках его детства. Нет уж, никакой голод не заставит его туда вернуться, и Хиро пустился еще быстрей. Он нырнул в спасительную тень леса, помчался по лужам, через заросли диковинных тропических растений и не останавливался до тех пор, пока крики, проклятья, собачий лай не остались далеко позади. Он сбросил с себя весь этот бедлам, как змея скидывает старую кожу.

* * *

Следующий день Хиро тихонечко просидел в кустах, жуя корни, листья, а если повезет, запихивал в рот пригоршню кислых ягод. Отовсюду доносились голоса, рычали и рвались с поводка псы. Черные обитатели джунглей, существа злобные, свирепые и мстительные, искали его повсюду, хотели расквитаться, устроить суд Линча, ведь их и самих линчуют белые *хакудзины*. На рассвете всего в пяти шагах от остролиста, под которым затаился дрожащий Хиро, прошел угрюмый негр с налитыми кровью глазами. В руках у него было ружье. Хиро запросто мог бы дотянуться и развязать ему шнурок на ботинке — так близко тот прошел. Стало очень страшно. Он чувствовал себя самым несчастным человеком на свете и ужасно хотел есть. День истек кровавым закатом и сменился ночью. Хиро двинулся вперед сквозь темные заросли, чтоб оказаться подальше от огней и лающих собак.

Проблема была в том, что он понятия не имел, где находится и в каком направлении движется. Но ряд фактов сомнения не вызывал: во-первых, он умирает с голода; во-вторых, на него охотятся местные власти; в-третьих, если его поймают, то с позором вышлют на родину. Хиро бесцельно бродил по лесу. Сбил в кровь ноги, досыта накормил комаров, мошкару, слепней и оводов, а где-то во тьме ползали ядовитые рептилии, дожидаясь своего часа. Хиро был городским парнем, вырос в иокогамском квартале многоэтажек, воспитывала его бабушка. Он и японских-то лесов толком не видел, что уж говорить о диких американских джунглях. Насколько ему было известно, эти бескрайние, смертоносные дебри кишели медведями, львами, волками и крокодилами. В темноте над головой хлопали невидимые крылья каких-то летучих тварей. Ночь оглашалась пронзительными звериными криками. В болоте что-то пугающе ухало.

На третий день, а может, и на четвертый — трудно сказать — Хиро, окруженный тучей комаров, залепленный грязью, стянутый слишком тесной рубашкой, в разодранном комбинезоне, выбрался из леса и очутился на гудроновом шоссе. Это

было как чудо. Настоящая дорога! Уже один ее запах придал ему сил. Она наверняка вела к цивилизации, к какой-нибудь маленькой чистенькой ферме, где не страшно будет попросить еды в обмен на работу по хозяйству. Может, ему даже предоставят кров, и он будет спать в амбаре, совсем как в старых черно-белых фильмах с дребезжащими смешными автомобилями и улыбчивыми длинноносыми старушками в чепчиках и юбках до полу. Неплохо бы также, чтобы дорога привела к закусочной или «Макдональдсу» — такому же, как в Токио. Хиро вспомнил, что меж страниц трактата Дзётё заложены зеленые бумажки. Можно купить жареную картошку, и «биг-мак», и куриное филе, и молочный коктейль. Но ведь ему не дадут шляться по улицам, он же не на Гиндзе [1]! Эти негры вкупе с полицейскими сцапают его в два счета. Как он объяснит пожар в лачуге? Разве они поймут, что способен сделать запах устриц с изголодавшимся человеком?

Солнце повисло прямо над дорогой. Хиро посмотрел налево, надеясь увидеть вдали амбары, силосные башни, ряды крыш, фонари, снующие такси. Ничего — только гудрон и деревья. Посмотрел направо: деревья и гудрон. Долго не мог решиться, в какую сторону идти. Потом мысленно бросил монетку и двинулся направо. Прямо по шоссе идти не решился, а стал продираться по заросшему кювету. Никакого плана у него не было. Он вообще перестал размышлять о будущем с той минуты, когда восстал против первого кока Тибы и второго кока Угря. Хиро рассеянно подумал, не отправиться ли в глубь страны — в Нью-Йорк, Майами или Сан-Франциско, где можно будет затеряться среди метисов и мулатов. Там, впервые в жизни, он окажется таким же, как все. Но география, особенно география западного мира, всегда давалась ему с трудом. Он знал, конечно, что порт Саванна находится в штате Джорджия. Это американский Юг, где негры выращивают хлопок, а белые не разрешают им пользоваться своими уборными и фонтанчиками для питья. Но о Городе Бобов — Бостоне или Городе Ветров — Чикаго Хиро слыхом не слыхивал. И тем более он не подозревал, что очутился на острове, откуда можно достичь большой земли только на пароме Рэя Манзанара, который состоит в родстве с половиной обитателей Тьюпело, а вторую половину знает не хуже, чем первую. Поддерживаемый милосердным незнанием, Хиро брел вдоль дороги. Он совсем ослабел от голода, даже не было сил отмахиваться от комаров, которые облепили его со всех сторон.

Через какое-то время чаща впереди поредела, меж стволов и ветвей стало проникать солнце. Хиро, ковылявший по щиколотку в тухлой воде, остановился и выглянул из-за кустика. Чуть левее по ходу сияло что-то неестественно-красное, знакомое глазу и отрадное. Хиро подошел поближе. От радости сердце чуть не выпрыгнуло из груди. В стороне от шоссе стояло свежевыкрашенное деревянное строение, увенчанное магической, манящей неоновой вывеской, понятной каждому обитателю Земли. Вывеска гласила: «Кока-кола». Кока-кола! У Хиро все так и поплыло перед глазами.

Он ринулся вперед, забыв об осторожности и доводах разума — совсем как накануне, под воздействием волшебного аромата роковых негритянских устриц. Спохватился лишь в самый последний момент. Ведь он черт-те на кого похож! Краденая одежда в лохмотьях, запашок — как от покойника с недельным стажем, весь драный, грязный, расцарапанный. А лицо? Они сразу увидят, что он японец (ну, наполовину японец), и тут же догадаются, с кем имеют дело. Нагрянет полиция, упрячет в тюрьму, а там на него накинутся всякие мулаты, отцеубийцы и сексуальные маньяки, которых в *гайдзинских* каталажках как тараканов. «Кока-кола»! — зазывно подмигивала реклама. «Кока-кола»! Что же делать?

Хиро осторожно выбрался из кювета и сел в высокую траву. Вокруг не было ни души. На автомобильной стоянке пусто. Дверь магазина широко распахнута.

Надо немножко привести себя в порядок, как-то замаскировать внешность, потом проникнуть внутрь и поскорее всего накупить, пока кого-нибудь не принесло. Вот именно. Он постарается счистить грязь с одежды, помоет ноги. Хиро посмотрел вниз и увидел, что его ступни и лодыжки облеплены черными слизистыми тварями, похожими на моллюсков. Он никогда не слышал про пиявок и не знал, что они сосут его жизненные соки, а точнее, выделяют секрецию, которая заставляет сердце поставлять им кровь, словно пиявки — продолжение вен и артерий. Не знал Хиро и того, что отдирать этих тварей от себя нельзя — их челюсти могут остаться

[1] Гиндза — центральный квартал Токио.

в коже, что приведет к инфекции, нагноению и в худшем случае к гангрене. Итак, он просто соскреб черные извивающиеся тельца в кулак, тяжело вздохнул — моллюски такие вкусные — и швырнул в канаву. Они ему не нужны, совсем близко настоящая еда.

Хиро разделся и попытался отстирать комбинезон в луже. С красной рубашкой возиться было бесполезно, поэтому он оторвал от нее лоскут и обмотал голову на манер *ниндзя* — для маскировки. Потом отжал комбинезон, натянул его (это оказалось совсем непросто — представьте, что вам надо влезть в мокрый водолазный костюм на шесть размеров меньше вашего) и раскрыл книгу Дзётё. Купюры были на месте, рядом с пожелтевшей фотокарточкой отца. Хиро разгладил их, с любопытством рассмотрел непонятные рисунки и символы. Это что, пирамида? Но ведь пирамиды, кажется, в Египте? Не очень верилось, что это настоящие деньги. Какие-то они невсамделишные, словно из детской настольной игры. На трех бумажках красовался дядька в парике, с высоким воротником. Лицо у него было добродушное. «Банкнота является законным платежным средством для общественных и частных расчетов,— прочел Хиро.— Билет Федерального резервного банка. Соединенные Штаты Америки».

Он пожал плечами. Корабельный радист Акио Адзиока, единственный друг на всем белом свете, дал эти бумажки в обмен на две бутылки виски «Сантори» и стопку засаленных комиксов.

— Самые что ни на есть настоящие, кореш,— ухмыльнулся Акио.— Такими расплачиваются на Таймс-сквер, на Бродвее и в Майами-бич.

Уж Акио-то врать не станет. Хиро напоследок провел ладонью по мятым штанинам, сжал в кулаке купюры и зашагал по гравию стоянки к открытой двери.

Внутри оказалось прохладно и душисто, сквозь окна лился яркий солнечный свет. Длинные полки с едой, в основном полуфабрикаты. Все в шикарных пластиковых обертках или ярких консервных банках. У стены — холодильник, два здоровенных морозильника, набитые пивом и содовой, настоящий храм Жажды. За кассовым аппаратом юная мамаша — лет шестнадцать, максимум семнадцать — кормит грудью ребенка и пялится на посетителя во все глаза.

— Эта, чего-нибудь ищете, что ли? — пропела она.

Еду. Хиро искал еду. И питье. Но не знал, как объяснить. Фразу «этачегонибудьищетештоли» он не понял, но ужасно хотел понравиться служительнице храма, совершить заветный обмен, с поклонами допятиться до выхода, а потом скрыться в зарослях и жрать-пить-жрать, пока не лопнет. Самоконтроля терять нельзя, это он знал твердо. Нужно держаться непринужденно, этаким бывалым покупателем, убедить ее, что он свой и знает обычаи *гайдзинов* не хуже, чем они сами. Хиро напрягся, как пружина. Пот лил рекой. Лицо предательски подергивалось.

— Сьто-нибуч паести,— светским тоном бросил он и цапнул с полки батон хлеба, а заодно и пакет хрустящих хлопьев. Кланяться, однако, не забывал.

Кассирша отняла младенца от груди. Хиро увидел крошечные сжатые кулачки, дернулась маленькая ножка, мелькнул мокрый розовый ротик и мокрый розовый сосок.

— Бобби-и! — позвала девушка.— У нас клиент!

Хиро прижал хлеб и хлопья к груди. Не переставая кланяться, зашлепал вдоль полок. Мокрый комбинезон немилосердно жал в паху. Хиро подбирался к морозилке. Язык шуршал по нёбу, как кусок мела. «Спокойствие, веди себя естественно»,— сказал себе Хиро.

Девушка уложила ребенка в коляску, стоявшую под прилавком, и лениво облокотилась о кассу.

— Турист, что ли? — певуче поинтересовалась она.

«Туристштоли, туристштоли»,— повторил про себя Хиро, открывая дверцу холодильника. В лицо дохнуло благословенным морозцем. Упаковка с шестью бутылочками кока-колы уже под мышкой. Что она такое говорит? Надо отвечать, иначе конец, сгоришь.

Тут из подсобки появился Бобби, вытирая руки передником. Этот девятнадцатилетний парень обладал внешностью и телосложением архангела, но чересчур низкий коэффициент умственного развития не давал ему развернуть крыла. У Бобби не очень получалось с арифметикой, поэтому у кассы он работать не мог. Читать газету тоже не научился. Ему полагалось раскладывать товар на полки и приглядыа-

вать за Бобби-младшим, когда Кара Мэй занята с клиентами. Бобби мирно стоял в дверях и хлопал глазами.

«Скажи же что-нибудь, ну!» — воззвал к себе Хиро. И на него немедленно снизошло вдохновение. Что бы сказали в такой ситуации Берт Рейнолдс и Клинт Иствуд? Уважающий себя американец для начала как следует выругается — всякий знает. Достаточно посмотреть, как это проделывает на экране Иствуд. Не такой уж он, Хиро, лопух.

— Мать твою за ногу,— поклонился он кассирше и водрузил на прилавок свои трофеи. Потом повернулся к уставившемуся на него пареньку и самым дружелюбным тоном заметил:

— Пидер гнойный, а?

Девушка не ответила на приветствие. Она застыла на месте, меж зубов замер розовый комочек жевательной резинки. Паренек замигал, потом бегом бросился к коляске и выхватил оттуда ребенка, словно чего-то испугался. Хиро же не терял времени даром — подгребал к себе шоколадки, банки, бутылки, сверкающие пакетики. Получилась целая гора.

Кассирша потыкала пальцем и ледяным тоном сообщила:

— Десять семьдесят три.

— Дерьма-то,— с улыбкой поклонился Хиро и аккуратно разложил на стойке свои четыре бумажки.— Щас ты у меня нарвешься.

Девушка решительно заработала челюстями, глаза сузились в щелочку.

— Тут только восемь,— прошипела она.

— Только восемь,— озадаченно повторил Хиро.

Кара Мэй обессиленно вздохнула. Ребенок заворочался на руках папаши, запищал. Снаружи донесся скрежет тормозов. Хиро увидел, что на стоянке появился новенький сверкающий пикап-переросток.

— Не хватает, понятно? — сказала кассирша.— Еще два семьдесят три.

Хиро сообразил, в чем дело. Зеленых бумажек слишком мало. Придется от чего-то отказываться, а ему нужно все — магазин целиком и еще много-много сверх того! Неужели она этого не понимает? Ведь он подыхает с голода! Мотор на стоянке кашлянул и затих.

— Немножко,— уступил Хиро и отодвинул пару пакетов.

— Хос-поди Исусе,— снова вздохнула девушка.— Чтоб мне провалиться.

Паренек впервые разомкнул уста:

— Вы чего, иностранец, что ли?

В магазин кто-то вошел. Хиро услышал скрип половиц и увидел, как просветлело лицо кассирши.

— Приветик, Сакс! — воскликнула она.

Оглянуться Хиро не посмел. А вдруг это начальник полиции, или береговой охраны, или той самой настырной Иммиграционной службы, о которой рассказывал Акио. С колотящимся сердцем Хиро уставился на руки кассирши. Та сложила часть отобранных им продуктов в коричневый бумажный пакет и вдобавок дала три маленькие монетки. Он взял сдачу и снова поклонился.

— Спасибо-спасибо,— залопотал Хиро, чувствуя себя на седьмом небе от облегчения, радости и предвкушения грядущей трапезы. Теперь ему не грозила медленная смерть среди болот.

— *Домо,*— перешел он на японский.— *Домо сумимасэн* [1].

Девица разинула рот. Хиро поспешно повернулся и увидел высоченного *гайдзина* с бесцветными волосами и холодными фарфоровыми глазами. Это был тот самый, который пытался задавить его лодкой! В следующий миг Хиро оказался уже за дверью. Пакет он зажал под мышкой, как футбольный мяч, и со всех ног рванул к лесу. Ни секунды колебания, ни единой паузы, хотя маслоед выскочил следом и заорал:

— Эй! Постой! Вернись сюда! Я не собираюсь... Я хочу тебе помочь!

«Как же, помочь»,— думал Хиро, с разбега ныряя в кювет. Кровь оглушительно пульсировала в ушах. Он зашлепал по грязи, провалился по пояс в трясину, кое-как добрался до края леса. «Так я тебе и поверил. Знаю я вас, американцев. Вы друг друга-то загрызть готовы, стреляете людей для забавы, старушек на улицах грабите».

Нет уж, обойдется он без их помощи.

[1] Большое, большое спасибо *(японск.)*.

Примитивнейшая нация на свете

Ничего не поделаешь, придется туда тащиться. Хочешь не хочешь — надо. А уж он никак не хотел. Пилить по такой жарище на Тьюпело, да еще со сломанным кондиционером — и все для того, чтобы побеседовать на солнцепеке с тамошними дегенератами, беспрестанно нюхающими табак и обрастающими мхом прямо на глазах. Кроме «угу» и «не-а» от них все равно ничего не добьешься. Ей-богу, уж лучше бы он в Лос-Анджелесе остался.

Детлеф Эберкорн стоял у окна и смотрел в пустое, мертвенное небо, старой тряпкой нависшее над Саванной. Было серое и душное летнее утро. Пасмурно, но знойно. Детлеф едва успел подуть на первую чашку дымящегося кофе, еще и газету-то не пролистал, а рубашка уже мокрая от пота. Десять минут назад он влетел в офис, послал воздушный поцелуй новой секретарше Джинджер, обладательнице пухлых, вечно приоткрытых губок и веснушчатого декольте, включил монитор, не ожидая никакой пакости, отхлебнул кофе и увидел, как по экрану зловеще ползут буквы НИВОБ.

В электронном досье Иммиграционной службы эта аббревиатура означала высшую степень неотложности и чрезвычайности. Расшифровывалась она так: «нелегальный иностранец, вооруженный, опасный и буйный». В Лос-Анджелесе, последнем круге ада для сотрудника Иммиграционной службы, от НИВОБов просто житья не было: гватемальцы палили в сальвадорцев, вьетнамцы племени хмонг жарили собак в микроволновых печах, турки и иранцы поджигали ковровые лавки и так далее, и так далее. Но в тихой, сонной заводи, именуемой Саванной, о НИВОБах и слыхом не слыхивали. Городишко уж никак не был центром международных интриг, да и саваннский порт не принадлежал к числу хоть сколько-нибудь значительных. Здесь никогда ничего не случалось. Вообще ничего. Поэтому Детлеф Эберкорн сюда и перевелся.

Во всем виноват япошка (не «япошка», а «японец», тут же поправил себя он), который сбежал с корабля неделю назад. Детлеф держал ситуацию под контролем с самого первого дня: побеседовал по телефону с капитаном, затребовал копию отчета береговой охраны. Поначалу случай не казался тревожным. Беглого матроса классифицировали как НИ (нелегального иностранца) и успокоились. Если он доберется до берега, местные пентюхи зацапают его и посадят в окружную тюрьму прежде, чем парень успеет два раза покакать. А будет фокусничать — освежуют, как кролика.

Потом поступило сообщение, что японец доплыл-таки до берега — были свидетели, парочка из творческой колонии, подвергшаяся нападению матроса в проливе Пиглер-саунд. Тогда Эберкорн копнул глубже. Потолковал с главным механиком японского судна — древним сморчком лет ста двенадцати, который выглядел так, словно в свое время вылупился в инкубаторе. Сморчок дополнил картину: оказалось, что беглец вооружен ножом и напал чуть ли не на половину экипажа, прежде чем сигануть в море. Эберкорн порекомендовал начальнику окружного отделения переклассифицировать Хиро Танаку из НИ в НИВО (вооружен и опасен). Тоже ничего особенно страшного. Ну что может япошка натворить в Джорджии? Там такой народец живет — крысами питается, ногой за ухом чешет, дремучий, как лесная чаща. Бедный осел япошка, то есть японец, дня, шести часов не продержится. Эберкорн ни капельки в этом не сомневался. Тут наступили выходные, он болтался по дискотекам, крепко поддавал, был обласкан удачей — тесно познакомился с девушкой по имени Бренда, подкрашивавшей груди румянами. О беглом япошке на острове Тьюпело Детлеф и думать забыл.

И вот допрыгался. НИВОБ, подумать только! Эберкорн вздохнул. Он-то предвкушал долгое спокойное утро с новым романом Ле Карре и дымящимся кофейником. Никаких дел — разве что послушать, как стучит машинка в приемной, где девочки печатают визу какому-нибудь случайно забредшему иностранному студенту и сплетничают шепотом о половой жизни дальних знакомых. И надо же, такое свинство. Эберкорн уныло придвинулся к столу, зажег сигарету и запросил у компьютера дополнительной информации. По дисплею тут же побежали строки:

Хиро Танака. Гражданин Японии. Родился в Киото 12.6.70. Мать — Сакурако Танака, умерла 24.12.70. Отец неизвестен. Последний известный адрес —

квартира бабки Вакако Танака: 74 квартал Ямадзато, район Нака, город Иокогама. Вооружен, опасен и буен. Населению острова Тьюпело (центральная Джорджия) рекомендовано проявлять повышенную осторожность. Сбежал из корабельного карцера, напал на офицеров японского сухогруза «Токати-мару» 20 июля в 13.00. Неспровоцированное нападение на свидетелей Саксби Лайтса и Рут Дершовиц. Пострадавший Олмстед Уайт — ожоги первой степени. Поджог дома. Дом сгорел дотла.

Господи, он еще и дома поджигает! Новости хуже некуда. Просто кошмар. Это псих, террорист какой-то, японский Мэнсон [1]. Чем дальше в лес, тем больше дров. Парень в розыске всего неделю, а, если верить компьютеру, его видели повсюду: и в проливе, и в деревне Свинячий Лог, и на виллах. Он выскакивает из зарослей, пугает старушек, выводит из себя ветеранов и охотников, которые целые дни палят из ружей по всему острову. Обругал последними словами людей в магазине, стащил в доме творчества с бельевой веревки три пары дамских трусов, унес с веранды миску у собаки самого шерифа. Надо положить этому конец. Детлеф Эберкорн знал, в чем состоят его обязанности.

Но у него не было ни малейшего опыта в подобных делах. Двенадцать лет он рыскал по лос-анджелесским подпольным мастерским и гонялся по заплеванным кухням Чайнатауна за юркими поварятами. Что он знал про болота и леса, да и вообще про штат Джорджия? Поймать преступника — компетенция местных властей, это само собой, но ему, сотруднику Иммиграционной службы, полагалось играть роль эксперта, то есть разработать план захвата, давать консультации. Консультации, ха-ха! Да он с трудом понимал тарабарщину, которую они там считают английским языком. И с японцами дела ему иметь не приходилось. С тонгийцами — сколько угодно. С эквадорцами, тибетцами, либерийцами, бантустанцами, пакистанцами, даяками — с кем угодно, только не с японцами. Они никогда не проникали в Америку нелегально. Зачем им это нужно? Ведь по их убеждению, в Японии есть все то же, да еще многое сверх того. Японцы, конечно, приезжали — управлять заводами, открывать банки, но это все происходило по другой линии, на самом что ни на есть высоком уровне. А на высоком уровне Детлеф Эберкорн не работал.

Плевать. Нелегал есть нелегал, и Детлеф будет в полном дерьме, если не сумеет его поймать.

* * *

Когда он вышел на автостоянку, полило как из ведра. Естественно, уж если не везет, то во всем. Шины у старого грязно-коричневого «датсана» лысые, как дыни, дворники ни к черту не годятся. Поездочка предстояла та еще.

А ведь еще нужно заглянуть домой, запихнуть в дорожную сумку смену белья, зубную щетку, сверхплотный солнцезащитный тент, каламиновый лосьон, противозмеиную сыворотку, извлечь из кладовки болотные сапоги и дождевик, а потом отправиться на поиски какой-то вьетнамской лавки. Наверное, в этом заторможенном, табакожующем, забытом богом штате всего одна вьетнамская лавка и есть, улица Де Лессепса, поворот на Скидавэй. Там будет ждать Льюис Турко, бывший фэбээровец, иногда подрабатывавший на спецзаданиях. Турко в свое время жил на Борнео, Окинаве и островах Прибылова. Он поможет выследить чокнутого япошку в джунглях Тьюпело. Вернее, пусть выслеживает в одиночестве, а Детлеф тем временем засядет в мотеле с парой ящиков пива и Джоном Ле Карре. Тем более по телевизору будут транслировать матч между «Ловкачами» и «Храбрецами».

Рубашку было не жалко, она и так вымокла от пота, но столь яростного тайфуна Детлеф все же не ожидал. Пока он добежал до машины и открыл дверцу, на нем сухой нитки не осталось, даже резинка от трусов и та промокла. Включать двигатель смысла не было — все равно с такими дворниками под ливнем далеко не уедешь. Идея бежать через всю стоянку назад в контору тоже не импонировала. Только выставишь себя кретином перед Джинджер и остальными девочками, не говоря уж о начальстве иммиграционного ведомства. Чиновники и так относились

[1] Мэнсон — американский преступник, организатор ряда убийств, позднее осужденный на пожизненное заключение.

к людям его профессии весьма брезгливо. Для них он и сам немногим отличался от какого-нибудь бродяги, клянчащего вид на жительство.

Пришлось пережидать непогоду в автомобиле. Даже приемник включить Детлеф не мог — боялся посадить аккумулятор. Просто сидел и кипел от бешенства, проклиная последними словами поганого япошку. Этого сукиного сына Эберкорн уже успел возненавидеть всей душой. Хорошо бы гаденыша поскорее отловили, обваляли в смоле и перьях, упаковали в коробку и отослали домой, в Нагасаки или откуда он там. По крыше тысячью сердитых кулачков молотил дождь.

В результате Детлеф на целый час опоздал на встречу с Турко, с которым прежде знаком не был — только один раз, в этот же день утром, разговаривал по телефону. Опоздание произошло еще и потому, что после заезда домой (кроме болотных сапог, надо было прихватить диктофон, блокноты и много всякого другого) Эберкорн никак не мог отыскать пресловутую вьетнамскую лавку. Он перебрался в Саванну лишь полгода назад, дорожный атлас всегда казался ему китайской грамотой, а чертов город состоял сплошь из улочек с односторонним движением и старых площадей с движением круговым, причем похожих друг на друга как две капли воды. Улицу Де Лессепса он в конце концов нашел, но никакой вьетнамской лавки там не обнаружил (потом выяснилось, что она приютилась в дальнем конце глухого переулка). Раз двадцать Детлеф прокурсировал по улице взад и вперед, и все впустую. Тогда он затормозил на светофоре рядом с грузовичком, за рулем которого сидел красномордый абориген, и знаком попросил того опустить стекло. Воздух терпко пах свежими устрицами, морским илом, рыбными очистками и чем-то еще менее благоуханным; дождь не унимался.

— Где тут магазин Тран Ван Дука, не знаете? — проорал Эберкорн.

Красномордый наклонился поближе. Теперь Детлеф мог рассмотреть его как следует. В костюме, жидкие белесые волосы расчесаны на прямой пробор, сам пузатый, нос картошкой — этакий морж, которого шутки ради вытащили из родной стихии и впихнули в тесную кабинку мини-грузовика. Абориген с жутким местным акцентом пророкотал в ответ нечто невразумительное: «Давай Джон» или что-то в этом роде.

— Извините, не понял,— просиял своей знаменитой обаятельной улыбкой Детлеф. Улыбку эту он в нужную минуту умел нацеплять, как галстук.— В каком смысле «давай Джон»?

Красномордый посмотрел на него, как на идиота. Над асфальтом клубился пар.

— Да — вот — же — он! — повторил абориген и ткнул мясистым пальцем в торчавшую на самом видном месте над въездом в переулок желто-красную вывеску «Тран Ван Дук». Тут зажегся зеленый, и грузовичок уехал.

Лавка оказалась совсем-совсем маленькой: два прилавка с небрежно расставленными банками вдоль стен морозилки, запах — еще похуже, чем на провонявшей рыбой улице. Эберкорн огляделся по сторонам и увидел два сморщенных азиатских лица неопределенного возраста, взиравших на него с явным ужасом. Вокруг громоздились баночки с маринадами и соленьями, прозрачные пакеты с мороженой рыбешкой весьма странного вида, коробочки со специями, бутылочки с соусами и всякая прочая дребедень, которую ни один нормальный человек покупать не станет. Эберкорн в Калифорнии сотни раз обыскивал подобные лавчонки и мог заранее сказать: у этих двоих за прилавком вид на жительство есть, а у тех двадцати, что прячутся в подвале, его нет. Кроме того, на одной торговле соусом для рыбы всю эту ораву не прокормишь — наверняка есть делишки и поинтереснее. Однако в данный момент все это его не касалось.

— Я ищу Льюиса Турко,— объяснил он.

Ничего. Ноль реакции. С тем же успехом он мог произнести эти слова про себя, пропеть их, прохрипеть, просипеть. Для парочки за прилавком он был вроде собаки или обезьяны, они и ухом не повели. Стояли, затаив дыхание, даже не моргали.

— Льюис Турко,— повторил Детлеф.— Лью-ис Тур-ко.

— Салют,— раздался голос откуда-то сзади. Из неприметной дверки в дальнем углу, отделенной занавеской из бус, появился мужчина в камуфляжном костюме. Маленького роста (пять футов и пять дюймов, предположил Эберкорн), с совершенно невыразительным лицом. Плечи слишком широкие для такого коротышки, грудь и бицепсы как у тяжелоатлета. Плюс к этому борода и длинные сальные волосы, стянутые сзади кожаным ремешком.

— Эберкорн, так? — спросил он.

Детлеф Эберкорн вымахал под шесть с половиной футов, волосы стриг коротко и несмотря на свои тридцать четыре года сохранил узкобедрую мальчишескую фигуру. Он вообще мало изменился с тех пор, когда слыл звездой бейсбола в школьной команде своего родного городка Таусенд-Оукс, штат Калифорния.

— Да,— улыбнулся Детлеф.— А вы Льюис Турко.

Ответной улыбки он не дождался. Турко медленно прошел через лавку небрежной ковбойской походкой — большими шагами, широко расставляя ноги, словно карабкался по крутому склону. Перед стойкой резко остановился, повернулся к хозяевам и что-то залопотал. Эберкорн предположил, что это вьетнамский. Азиаты внезапно ожили, словно подключенные к электросети: мужчина нырнул под прилавок и извлек оттуда битком набитый армейский рюкзак, к которому были приторочены саперная лопатка, полицейская дубинка, пара наручников и еще несколько причудливых предметов, чье назначение осталось для Эберкорна загадкой; женщина же выложила на стойку целлофановый пакет с чем-то съестным — не то корешками, не то сушеным мясом.

Чтоб разрядить паузу, Детлеф заметил:

— Вот свинство, а?

Он имел в виду и дождь, и штат Джорджия, и Иммиграционную службу, и полоумного поджигателя, сукиного сына япошку, который прячется где-то среди пиявок и сколопендр гнусного, сырого, безнадежно тоскливого острова Тьюпело.

Турко не ответил. Он взвалил рюкзак на плечи, взял сверток с едой и окинул Эберкорна цепким взглядом.

— Ну и ну,— сказал Турко после осмотра.— Что с тобой приключилось, приятель, — напалм, автомобильная катастрофа? Ведь не родился же ты таким на свет?

Эберкорн вздрогнул. Всю жизнь ему задают этот вопрос, а он каждый раз дергается. А как тут не дергаться? Детлеф был симпатичным парнем, с отличной фигурой, красивым носом, мужественным подбородком, густыми, как у ребенка, волосами. Но бесцеремонный Турко попал в самое больное место. Сколько-нибудь воспитанный человек сделал бы вид, что ничего особенного не замечает. А именно — белых пятен на лице и руках Детлефа. Многие думали, что это экзема или следы ожогов. На самом деле все с Детлефом было в полном порядке — просто чуть меньше, чем нужно, пигмента в коже и волосах. Он родился альбиносом. Точнее, наполовину альбиносом. Кожа у него и так была очень светлая, а альбинизм, или витилиго, как его называют медики, пометил все тело, включая и волосы, белоснежными пятнами. Ну, волосы, конечно, Детлеф подкрашивал, а как быть с кожей? Все бы ничего, если б не лицо. Мальчиком Эберкорн ужасно от этого страдал — физиономия выглядела так, словно ее забрызгали белой краской. Вокруг правого глаза двухдюймовый овал, еще шесть ослепительных пятен на подбородке, носу и левом ухе. А глаза! Они были не голубые, не серые, не зеленые, не карие, а розовые, как у морской свинки или белой мыши. В начальной школе Детлефа звали Белком, а когда он подрос, окреп и стал подавать такие мячи, что противник валился с ног, прозвище сменилось на чуть более почтительное — Снежок. Но теперь Эберкорн стал взрослым, и все называли его только по имени, не иначе.

Он побагровел от ярости, тем более что и вьетнамцы пялились на него во все глаза.

— Тебе-то что? — процедил Детлеф, глядя Турко прямо в глаза.— Я наполовину альбинос, понял?

Турко не стушевался. Он улыбнулся с видом человека, который не сделал ни одного неверного шага за всю свою жизнь. И ответил не сразу, выдержал паузу:

— Да ладно, приятель, я не хотел тебя обидеть. Просто мне случалось встречать парней, которые угодили под напалмовую бомбежку собственной авиации. На войне такая фигня без конца случается. Представляешь, сбросили на своих это дерьмо, оно навроде клейкого бензина. Прицепится — не отдерешь. Если б я знал, что ты такой чувствительный...

— Я не чувствительный,— отрезал Эберкорн, но голос у него предательски дрогнул.

Затем они больше часа тряслись в автомобиле. Дворники впустую елозили по залитому дождем стеклу, и Эберкорн, еще не подозревавший о том, что придется

три часа ждать парома на Тьюпело, а также о том, что на острове нет никаких мотелей, решил сменить гнев на милость. Как-никак с этим парнем ему предстоит вместе работать. К тому же всю грязную работу сделает Турко, пока он, Эберкорн, будет посиживать в мотеле, осуществляя общее руководство. Из динамиков доносилось едва слышное завывание какой-то кичовой песенки в стиле кантри. Детлеф решил нарушить молчание:

— Слушай, я насчет этого японца. В Лос-Анджелесе нам никогда не приходилось иметь с ними дело. Какие у тебя соображения?

Турко жевал нечто сучкообразное из пакета, которым снабдила его вьетнамка. Сучок был черный, жесткий и имел неаппетитный, какой-то очень чужой запах.

— Плевое дельце,— ответил Турко, работая челюстями.— Про япошек надо уразуметь главное: это примитивнейшая нация на свете. Тупее просто не сыскать. Даже бирманцы рядом с ними — ух какие хитрецы. Япошки — как члены одной большой команды, этакий отряд бойскаутов. Каждый на своем месте, каждый вкалывает до одурения на благо своей расчудесной и совершенно уникальной родины. Они глубоко уверены, что чище их и лучше их в мире нет. Кроме японцев, в Японии никто жить не должен. Один что-нибудь напортачил — всю нацию посадил в лужу, так они считают.

По ветровому стеклу хлестали струи дождя. Турко разглагольствовал, помахивая пахучим черным сучком.

— Даже ихние бузотеры, бунтари, всякие там панки с оранжевыми волосами и в кожаных куртках — а таких в Японии немного, уж можешь мне поверить,— даже они общей картины не меняют. Знаешь, как эти отчаянные ребята развлекаются, как воюют с обществом и демонстрируют, насколько они крутые?

Нет, Эберкорн этого не знал.

— В субботу они собираются в токийском парке Ёёги, с часу дня до пятнадцати ноль ноль, врубают свои дебильники и давай дергаться. Больше ничего. Только пляшут. Все как один. Я же говорю — примитивнейшая нация на свете.

Какое-то время Эберкорн молча переваривал полученную информацию, пытаясь сообразить, можно ли ее использовать для дела — того самого дела, из-за которого он трясся в грозу по скользкой дороге в компании отставного поедателя сучков из ФБР. Детлефа тошнило от всей этой истории. Девяносто девять процентов нелегалов просто въезжают в Соединенные Штаты и бесследно растворяются. Берешь туристическую визу, а оказался в стране — ищи тебя потом свищи. Или, допустим, пересек границу под днищем автобуса, поболтался семестр в колледже и живешь себе всю оставшуюся жизнь за счет службы социального страхования. Просто цирк. Границы Америки — это дырявое решето, дуршлаг, забор с выломанными досками. Но стоит какому-нибудь придурку наследить, наступить на хвост честным гражданам, покупающим новые автомобили и внесенным в списки избирателей, как тут же гремит сигнал тревоги аж до самого Вашингтона. И тогда на сцене появляется Детлеф Эберкорн.

— Э-э, так что же мы будем делать? Ведь япошки, то есть я хочу сказать японцы, иногда бывают жуткими фанатиками, так? Харакири, камикадзе, самураи и все такое.

— Угу, я тоже хожу в кино. Но ты уж мне поверь — это примитивнейшая публика. Знаешь, как мы выловим этого шута горохового?

Как раз об этом Детлеф не имел ни малейшего понятия. Ему-то казалось, что им придется здорово попотеть, раз даже местные пентюхи со своими охотничьими псами не сумели выследить преступника. Эберкорн вспомнил про японского солдата, которого нашли в пещере на Филиппинах через тридцать лет после войны. Солдат все еще воевал.

— Нет, не знаю,— тихо ответил Детлеф.

Турко мотнул головой на свой рюкзак.

— Как ты думаешь, что у меня там? Здоровенный дебильник фирмы «Санъё». Ты такой махины еще не видел. Не динамики, а звери. Как врублю на полную, у них там в лесу все дятлы попадают. Я прихватил с собой пару кассет с музыкой «диско», Майкла Джексона, Донну Саммер и прочую лабуду. Усек? Найду сукиного сына не хуже, чем это делал во Вьетнаме в шестьдесят шестом, когда шел по следу. А потом поставлю эту хреновину на пенек и врублю на полную.

Шутит он, что ли, подумал Эберкорн, не разберешь.

Турко обернулся к нему и просиял ухмылкой, выставив напоказ почерневшие от сучка зубы.

— Так-то,— сказал он, похлопывая по рюкзаку.— Я Братец Лис, а это мое смоляное чучелко.

Царица улья

Из тяжелого сна без сновидений ее вырвал Оуэн: стук-стук-стук в дверь — почтительно, но отчетливо, и вкрадчивый шепот в щелочку:

— Es la hora.— Рут с трудом разлепила веки.— Despiértese, señorita [1].

Значит, сегодня у него испанский день. Это Рут кое-как сообразила, хотя голова после вчерашнего была тяжелая и похмельная. На каком бы языке Оуэн к ней сейчас ни взывал — испанском, норвежском или на наречье индейцев навахо, ей хотелось побыстрее провалиться обратно в сон.

В будние дни Оуэн Беркстед начинал утренний обход тихих и сумрачных коридоров «Танатопсиса» ровно в 6.30, выполняя деликатную и рискованную задачу: пробудить творцов от сонного забытья, не спугнув при этом их ночных грез. Для этой цели Оуэн прибегал к самым разным языкам планеты, в зависимости от настроения: певучим романским, так сладко звучащим в ранний час; грубоватым и деловитым германским; иногда даже к русскому. То это было «Guten Morgen, Fräulein, Ihre Arbeit erwartet Sie» [2], то «Buon giorno, signorina, che bella giornata» [3]. Однажды даже попробовал по-японски: *«Охайо годзаимас»* [4]. Но больше этот эксперимент не повторял — боялся, что его резкий акцент слишком бесцеремонно вторгнется в сияющее царство художественных сновидений.

— Да-да,— просипела Рут.— Я встаю.

Сегодня у нее не хватило сил ответить в своей обычной манере: «Si, señor, muchas gracias; yo me despierto» [5]. Она поздно, слишком поздно легла и выпила слишком много виски.

Шаги Оуэна прошелестели дальше по коридору, снова раздались стук и шепот: «Es la hora, es la hora» [6].

Рут закрыла глаза. Боль пульсировала с внутренней стороны век. Горло пересохло, в виски кто-то вбил по гвоздю, и еще ей нужно было пи-пи. Причем срочно. Но она опоздала: пучеглазая композиторша Клара Кляйншмидт заняла ванную комнату за углом, а туалет по ту сторону коридора оккупировал Ирвинг Талмус — вот-вот оттуда раздастся звон его могучей утренней струи.

Но не мигрень и не естественная нужда выгнали Рут из кровати, нет-нет. Ее подняло чувство вины. Цельное, плодотворное, старомодное, переворачивающее душу. Она просто обязана встать. В конце концов она писатель, а писатели по утрам просыпаются и пишут. Ее враги (откуда ни возьмись, тут же рядом возник фантом Джейн Шайн с ее фальшивой, подлой, ненавистной скромненькой улыбочкой — так и передернуло от этого видения) наверняка уже вскочили, уселись к своим машинкам и компьютерам, знай строчат себе, чтобы обойти, словчить, узурпировать ее законные права в журналах «Харперс» и «Эсквайр», в издательствах «Кнопф», «Вайкинг», «Рэндом-хаус». Чувство вины — отличный стимул, когда работа идет хорошо, а с этим у Рут в последнее время все было в порядке.

Переворот свершился в ту памятную ночь, когда она закатила в бильярдной сцену праведного негодования. Последствия дали себя знать не сразу. Собственно говоря, следующая неделя выдалась еще тягостнее первой. Тогда, по крайней мере, она могла оправдываться акклиматизацией. Теперь же изолированность и все усиливающуюся тоску списывать было не на что. Рут по-прежнему сидела за «столом молчания», насупленная и напряженная. Единственной отдушиной были вечера с Саксби. И все же что-то переменилось, в расположении светил созвездия Танатопсис произошла некая едва уловимая передислокация. Акции Рут поползли вверх. Во-первых, ее взял под свое крыло Ирвинг Таламус. Он обратил на нее свое

[1] Пора. Вставайте, сеньорита *(исп.)*.
[2] Доброе утро, фройляйн; ваша работа ожидает вас *(нем.)*.
[3] Здравствуйте, синьорина, какой чудесный день! *(итал.)*.
[4] Доброе утро *(японск.)*.
[5] Да, сеньор, большое спасибо; я встаю *(исп.)*.
[6] Пора, пора *(исп.)*.

августейшее внимание с той самой ночи, и его благосклонность, проявлявшаяся в иронических взглядах, подшучивании и подмигивании, стала для Рут надеждой и защитой. В начале третьей недели Таламус переманил ее от молчаливых к говорливым, и она утвердилась в их шумной, сплетничающей, сквернословящей компании в качестве его главного союзника. Теперь по утрам они, обмениваясь улыбочками и шуточками, вместе проходили через скорбную, унылую обитель молчания, где Лора Гробиан тихо меркла в тревожных глубинах своей пустоглазой увядающей красы, а Питер Ансерайн и его юные последователи аскетически хмурились над головоломными книжками. По ночам же Ирвинг Таламус приводил Рут в круг бодрствующих, и там она становилась самой собой, настоящей Ла Дершовиц, которая привыкла блистать, наносить и парировать удары, очаровывать, высмеивать, уничтожать и превозносить. Этими полуночными бдениями и объяснялись ежеутренние похмелья — и позавчера, и вчера, и сегодня, да и завтра наверняка тоже.

Рут даже немножко жалела своих соперниц. После той исторической ночи они, можно сказать, сошли с дистанции. Наверное, Айна Содерборд была по-своему привлекательна — если кому-то нравятся толстомясые, грудастые блондинки с белесыми бровками,— но она ютилась где-то на периферии, в межпланетном пространстве и к тому же выбрала себе невыигрышную роль туповатой, косноязычной, слегка пришепетывающей инженю. Клару Кляйншмидт губила чрезмерная серьезность. Кроме того, от нее исходил кисловатый, неистребимый запах буржуазности — передающихся по наследству кружев, сундуков с приданым и несимпатичных смертей от старости — в кресле-качалке перед телевизором. Что до панк-скульпторши, Регины Макинтайр, которая, как выведала Рут, была продуктом частного пансиона и колледжа для девушек из состоятельных семей, то эта особа вообще не раскрывала рта, снедаемая лютой ненавистью к самой себе, разве что изрыгнет нечто ядовито-саркастическое. Ее стиль был рассчитан главным образом на облаченных в черную кожу собратьев-панков, к каковым вряд ли можно было отнести Ирвинга Таламуса, поэта Боба или недавно присоединившегося к компании Сэнди Де Хейвена, в высшей степени интересного субъекта: двадцать шесть лет, первый роман выходит осенью в очень хорошем издательстве плюс выгоревшие кудри, очаровательно спадающие на глаза, когда Сэнди наклоняется над бильярдным столом. Нет, Рут была здесь бесспорной царицей улья.

Стоило ей почувствовать себя увереннее, и работа тоже пошла на лад. Рут переделала один старый рассказ и с благословения Ирвинга Таламуса послала его в «Нью-Йоркер». Да и японский опус стронулся с мертвой точки, зацвел яркими красками; обещая из скромного рассказика перерасти в нечто большее. Тут сработал второй фактор революционного переворота в жизни Рут, не менее судьбоносный, чем покровительство Ирвинга Таламуса. Однажды на крыльце ее студии появился Хиро Танака, разбойник, беглый преступник, гроза острова Тьюпело, похититель трусов Клары Кляйншмидт, оскорбитель Бобби и Кары Мэй Криббс, головная боль шерифа и Иммиграционной службы. Хиро Танака, стащивший корзинку с обедом. Хиро Танака, ее страшная тайна, ее собственность, ее комнатная собачка. Это обстоятельство придало жизни в «Танатопсисе» особую пикантность.

* * *

Она застукала его на месте преступления в тот дождливый полдень, десять дней назад. Деревья выгибали свои стволы под порывами ветра, земля рокотала, в воздухе повисло густое зловоние серы. Сверкали молнии, хлестал дождь. Рут увидела, что злодей смущен и колеблется. По глазам поняла: он узнал ее. Он видел ее голой: груди, пупок, потайные волосы. Впрочем, выражение тупого, животного изумления тут же исчезло. Все это были глупости, второстепенно, главное — еда.

Рут ни капельки не испугалась. Да он был просто мальчишка, затравленный, грязный, с лихорадочно горящими глазами, в драной одежде, голова зачем-то обмотана старой красной тряпкой. Он и на японца-то был не похож — глаза светло-карие, волосы рыжеватые. Или все же похож? Эпикантические складки у глаз (этот термин она запомнила из курса антропологии) вполне присутствовали, лицо овальное, ноги кривые, искусанная и расцарапанная кожа смуглого цвета. Моргнет глазами — вылитый Тосиро Мифунэ; моргнет еще — нет, не похож.

Чем-то он сразу ее пронял, это точно. Все тогда произошло очень быстро, неожиданно, размышлять времени не было. Она увидела, какой он испуганный, голодный, и захотела крепко-крепко его обнять. Он выглядел точь-в-точь как осиротевший олененок, которого Рут нашла в детстве возле дачи на озере Эрроухед; как бельчонок, пойманный кошкой; как бедный сиротка в безымянной деревне, взывающий к ее милосердию с благотворительной рекламы в журнале. Сочувствие и желание помочь — вот эмоции, которые испытала тогда Рут. И никаких других. А если присутствовало еще что-то, то в таинственных глубинах подсознания, где зреют семена будущих замыслов, проектов и контрпроектов. Раз он такой жалкий, раз он заблудившийся олененок, раз единственное его спасение — корзинка с обедом, пусть берет, не нужно его пугать.

Он стоял под проливным дождем. Волосы спутались, ноздри в струпьях, губы потрескались. Прижал к себе корзинку, сделал шаг назад. Как убедить его, что ему сказать? Ешь на здоровье, я все равно на диете? Моя кровать теплая и сухая, и еды хоть завались? Я хочу помочь тебе, хочу приютить тебя, хочу, чтоб ты стал моим? Но она ничего не сказала, и он тоже. Оставалось надеяться, что выражение ее лица было достаточно красноречивым. Он пятился прочь, дождь стекал потоками слез по его лицу, чтобы напитать влагой зеленую поросль земли. Вот фигурка уже почти не видна меж ветвей. Рут плавно, стараясь не дышать, подняла руки и повернула их ладонями кверху. После чего он исчез.

На следующее утро к появлению Оуэна Рут была уже умыта и одета. «Bonjour, mademoiselle» [1],— прошептал он, предварительно постучав. Не успел Оуэн договорить, как дверь распахнулась, и на пороге с торжествующей вампирской улыбкой возникла Рут. «Merci, je suis réveillée» [2]. Оуэн только беспомощно разинул рот, а она грациозно перекинула портфель через плечо и плывущей походкой манекенщицы отправилась в столовую. Рут пребывала в крайнем возбуждении и ночью почти не сомкнула глаз. Дело было не только в японском матросе, который, возможно, вернется, и она станет помогать ему, заботиться, укрывать — и никто-никто не будет об этом знать. В увлекательном уравнении появился новый член, вернее члены: Детлеф Эберкорн, высокий молодой полицейский с квадратным подбородком, и его потешный помощник, коротышка Турко.

Они прибыли накануне вечером, вымокшие и забрызганные грязью, в самый разгар второго натиска бури. После обеда ливень выродился в занудный моросящий дождик, а когда пришло время идти в большой дом на коктейль, и вовсе перестал. Все творцы собрались в гостиной, даже Септима, облаченная в мерцающую серебристую блузку и старинные жемчуга. Затем шторм грянул с новой силой. Оконные стекла содрогнулись под напором дождевых струй, а самый волнующий момент настал, когда погасло электричество.

— Прелестно, мы зажжем свечи! — воскликнула Септима, по-детски захлопав в ладоши. Ее звонкий, неподражаемо аристократичный голос с эффектным придыханием и истинно южными интонациями изгнал из комнаты темноту и молчание. Примерно так всегда и происходило: когда колонисты за столом или в гостиной за коктейлем увлекались шумной болтовней и забывали, где находятся, певучий и безупречный выговор хозяйки возвращал их к реальности.

Саксби еще утром уехал в Саванну за снаряжением для новой ихтиологической экспедиции. Больше о его затее Рут ничего не знала — просто ихтиологическая экспедиция, и все тут.

Кто-то — не то Боб, не то Оуэн — внес в гостиную пылающий праздничным великолепием канделябр, чье появление было встречено овацией. Все выпили еще по коктейлю, а потом загорелся свет, но в единодушном порыве служители муз предпочли романтику свечей и бури, рвавшейся в запертые окна со всем неистовством донельзя разъяренной Атлантики.

Стук в дверь раздался в ту самую секунду, когда Оуэн объявил, что ужин готов. Гостиная выходила непосредственно в холл, к величественному парадному входу. В «Танатопсисе» стучать у входной двери было не заведено, тут царила свобода, поэтому громкий и нетерпеливый грохот всех очень удивил. Шум в гостиной стих, голоса смолкли. Все смотрели в спину Оуэну, который с весьма решительным и официальным видом устремился к дверям. Рут, только начинавшая ощущать

[1] Здравствуйте, мадемуазель *(франц.)*.
[2] Спасибо, я уже встала *(франц.)*.

в себе первые симптомы метаморфозы, которая вскоре спасет ее от безвестности «стола молчания» и сделает звездой клики Ирвинга Таламуса, последовала за Оуэном.

Тот распахнул двери, и вестибюль наполнился густым ароматом мокрой природы. В холл вошли, истекая влагой, двое — длинный и короткий, Эберкорн и Турко.

— Здравствуйте,— протянул Детлеф руку обескураженному Оуэну, просияв ослепительной улыбкой.— Меня зовут Детлеф Эберкорн, специальный агент Службы иммиграции и натурализации. А это,— он показал на подозрительно сощурившегося коротышку,— мой, э-э, ассистент Льюис Турко.

У Рут екнуло сердце. Это был тот самый человек, с которым неделю назад она разговаривала по телефону — сама не своя от счастья, что оказалась в центре внимания. Она рассказала ему в мельчайших деталях о встрече в проливе. И вот специальный агент прибыл сюда, чтобы выведать ее тайну. В то время Рут еще не строила далеко идущих планов, Хиро пока рисовался ей экзотическим, интригующим зверьком, которого нужно пригреть, подкормить и приласкать. Ей не приходило в голову, что его можно превратить в меч, молот, таран, который повергнет весь «Танатопсис» к ее ногам. Нет, Рут ничего такого не замышляла, но уже твердо знала, что ни в коем случае не станет помогать этому высокому и совершенно мокрому парню в дешевом плаще, какие обычно носят детективы.

Оуэн в кои-то веки утратил дар речи.

— Не могли бы вы нас выручить,— начал Эберкорн и приступил к сути дела. Рут оставалась у дверей, наблюдая и слушая. Детлеф излагал свою скорбную повесть, а Оуэн растерянно хлопал глазами. Оказывается, агенты три часа дожидались последнего парома, а когда наконец попали на остров, поняли, к своему стыду и разочарованию, что на Тьюпело гостиниц нет. Им нужно где-то перебиться до утра, прежде чем они отправятся на поиски вооруженного и очень опасного нелегального иностранца, который наводит ужас на всю округу. Собственно, Эберкорн выразился менее официально: «достает тутошнюю публику». Но все равно сразу было видно, что он никакой не свойский, а настоящий городской янки с загребущими потными лапами. И слово «шериф» он выговаривал полностью, а не «шерф», как местные. Попытался, да не вышло. Так вот, шериф Пиглер, оказывается, ему сказал, что в этом доме может найтись пара свободных коек. Он с удовольствием заплатил бы за ночлег сколько скажут — ведь они, в конце концов, на государственной службе. А альтернатива — сами понимаете (агент просиял улыбкой и комически скривился под рокотание грома): остаться под открытым небом и бесславно утонуть.

Вот почему Рут поднялась ни свет ни заря и первой поспешила к завтраку. Надо было уносить ноги, пока Эберкорн не привязался с новыми расспросами. Деревья мирно застыли, утро благоухало ароматами ночного дождя. Из холодных атлантических вод высунулось золотистое триумфальное солнце, растекавшееся медом по жестким стволам сосен. Рут шла очень медленно, вдыхая воздух полной грудью, но все равно оказалась у себя в студии почти на полтора часа раньше обычного, в самом начале восьмого. Возясь с закрутившейся вокруг каретки страницей, она думала только об одном: покажется ли он в обеденный час? Если да, то как ей себя вести и что из всего этого выйдет? Она представила своего япончика в постели, потом себя в Японии, стране многоэтажных офисов, тесных улочек и крошечных ножек. Потом, чтобы скоротать время, Рут углубилась в работу.

В тот день Хиро не появился. Как назло. Ей казалось, что он знает, как она в нем нуждается, но упрямится из-за какого-то подлого японского мачизма. Вечером, от скуки и безделья (Саксби еще не вернулся из Саванны, а в бильярдной Рут еще только-только начинала расправлять крылышки) она разговорилась за коктейлем с Эберкорном. Тот потратил целый день на бесплодные беседы с черными из Свинячьего Лога. («Я не мог понять ни единого слова, то есть вообще ничего. Чувствовал себя полным идиотом»). Тем временем «ассистент» рыскал по лесам со стереомагнитофоном. Рут тоже посмеялась над незадачливым Турко с его «дебильником». Не могла удержаться, чтоб чуть-чуть не пококетничать — просто так, для практики.

— Да-да,— кивнула она.— Мне показалось, что откуда-то доносится завывание Донны Саммер.

А где же Турко проводил вечер? Неужто все выслеживал злодея?

— Ну что вы,— ответил Эберкорн.— Он не такой фанатик. Просто крыш терпеть не может.

— Крыш? — переспросила она, слегка улыбнувшись.

— Вы не поверите,— Эберкорн поднес ко рту банку теплой кока-колы и тут же поставил ее обратно.— Вчера ночью, когда лил дождь, помните? — Рут кивнула.— Он взял свой рюкзак и ушел наружу, поставил в кустах палатку.

Они посмеялись вдвоем. Рут посмотрела в розовые глаза Детлефа и подумала, что он ничего, даже симпатичный.

Прошло еще два дня. Эберкорн бродил по «Танатопсису» тенью, и некоторые колонисты, в особенности Регина Макинтайр, уже начинали ворчать по этому поводу. Льюис Турко, наоборот, никому глаз не мозолил, сидел где-то в зарослях в своей палатке или крался среди болот, в лепешку расшибаясь ради того, чтобы лишить Рут ее драгоценной тайны — еще до того, как тайна начнет приносить плоды. В послеполуденном безветрии издалека доносились еле слышные, смертельно опасные звуки развеселой музыки. Корзинка висела на крюке нетронутая.

Хиро появился на третий день, примерно через час после того, как Оуэн бесшумно водрузил на крыльце судки с обедом. Рут слышала, как скрипнула расшатанная вторая ступенька, но не обернулась, а лишь еще яростнее замолотила по машинке. На строчке выстроилась длинная шеренга «иксов», потом еще одна, и лишь тогда Рут осторожно кинула взгляд через плечо. Она увидела стриженый затылок Оуэна, удалявшегося по тропинке в сторону соседней студии, где вундеркинд Сэнди трудился над своим вторым романом.

Рут утратила ощущение времени, хоть желудок и напоминал о себе недовольным побулькиванием. Поэтому в первый момент спутала Хиро с японкой из своего рассказа, где жалобно пищали обреченные дети и неумолимое течение влекло утопающих в бездну. К действительности помогла вернуться все та же скрипучая лестница.

Рут замерла. Тихо, главное — тихо, сказала она себе. Показала гостю профиль, зафиксировала, потом предъявила фас — поверх плеча. Хиро маячил в дверном проеме, за москитной сеткой, придававшей его фигуре некоторую призрачность. Красная повязка на голове исчезла, смененная какой-то скрученной в жгут тряпкой. Он был голый по пояс, лямки комбинезона сиротливо обвисли. К корзинке видение не прикасалось.

— Я хочу помочь тебе,— прошептала Рут.

Он не шелохнулся, не раскрыл рта, просто стоял и смотрел. Выражение его лица показалось ей сегодня более мягким, словно он вот-вот расплачется или совсем выбился из сил. Внезапно интуиция подсказала Рут, кто перед ней: просто большой ребенок, напуганный, больной и голодный.

— Бери еду. Я оставила ее для тебя. Бери,— прошептала она. Боялась, что, если повысит голос, он тут же сбежит.

У него дернулся кадык. Потом парнишка переступил с ноги на ногу, снял с крюка корзинку и крепко прижал к груди.

— Слушай,— зашептала она тихо-тихо, как охотник в засаде,— тебя ищут, понимаешь? Двое мужчин из большого дома.

Он по-прежнему молчал, но лицо стало еще беззащитнее. Рут почувствовала, что он вот-вот сломается, сдастся, выкинет белый флаг, сам подставит руки для наручников.

— Я не дам им тебя поймать,— сказала она.— Я достану тебе еду и одежду, а отсиживаться можешь здесь. Тут тебя никто не найдет.

Рут осторожно приподняла одну ногу и медленно развернулась к нему. От природы ей досталось самое обычное лицо и самая заурядная фигура, но Рут прекрасно умела обходиться тем, что имеет. Она одержала немало побед, оставила позади целые легионы поверженных мужчин, и все потому, что в ней было то самое, неуловимое, на что все они так падки. И, что еще важнее, Рут хорошо это знала. Плюс два десятилетия практики. Да, в свои тридцать четыре Рут была поистине неотразима.

— Иди сюда.— Она все еще говорила шепотом, но голос уже звучал требовательно, даже властно.— Открой дверь, входи, садись, ешь.— Рут подкрепляла свои слова жестами.— Потом можешь отдохнуть на диванчике. Я не сделаю тебе плохого. Обещаю.

Японец стоял, смотрел на нее. Он оказался крупнее, чем ей запомнилось. Глаза очень грустные, запавшие, щеки ввалились. Когда он взялся за ручку двери, ей все-таки стало не по себе. А вдруг он и в самом деле опасен? Что, если официальные сообщения не врут? Человек из чужой страны, где все по-другому. Может, он фанатик, маньяк, убийца...

Дверь распахнулась, парень шагнул в комнату. Корзинку он прижимал к груди, взгляд казался диким. Когда затянутая сеткой дверь захлопнулась за его спиной, он чуть не вскрикнул.

Теперь она разглядела, что это за тряпка обмотана у него вокруг головы: тонкий жгутик эластичного нейлона — похищенные трусы Клары Кляйншмидт. Больше Рут не могла сдерживаться. Вооруженный и очень опасный нелегальный иностранец оказался мальчишкой-переростком с трусами Клары на голове! Рут затряслась от хохота, чуть не задохнулась.

Он слопал весь обед, коробку печенья, два яблока и нитку меджулских фиников, присланных Рут матерью. Потом рухнул ничком на диванчик и заснул мертвым сном. Долгое время она просто смотрела на него — как студент-медик на труп в анатомичке или художник на натурщицу. Изучающим взглядом она исследовала его ободранную спину, израненные ноги, спутанные волосы, профиль, даже ниточку слюны, повисшую из полуоткрытого рта. Видок у парнишки был еще тот. Прямо кошмар. Полторы недели ползания по болотам дались ему нелегко. Вся кожа была покрыта укусами, ссадинами, волдырями; мочка правого уха загноилась и распухла; на лбу воспаленные царапины, словно намалеванные брови у клоуна или шлюхи. Все лицо — сплошной отек, кожа обожжена солнцем и облупилась. Единственный предмет одежды, слишком тесный комбинезон, разодран, полез по шву, лопнул на заду и задубел от грязи. Хуже всего был запашок — тухлый, какой-то первобытный. Не то гниющее мясо, не то дохлятина, валяющаяся у дороги.

Рут сама не знала, сколько времени просидела над спящим.

Он лежал без движения, если не считать ровной череды вдохов и выдохов. Солнце незаметно вершило свой путь по небосводу. Лишь когда настал час коктейля (об этом ей подсказал солнечный луч, проникший в западное оконце и осветивший цветочные горшки), Рут сообразила, что нужно раздобыть одежду, мыло и, главное, антисептик, без которого мальчик просто сгниет заживо. Она представила себе гниющий плод — банан или грушу: вот он покрывается пятнами, плесневеет, чернеет, скукоживается... Рут заставила себя встать, бесшумно выскользнула за дверь и поспешила к большому дому.

Ей не удалось войти незамеченной. Сияло безмятежное солнце, с океана дул сладостный ветерок, и собратья-колонисты решили устроить коктейль на свежем воздухе. Еще с тропинки Рут увидела, как они толпятся на веранде, посверкивая бокалами.

— Рути! — завопил Ирвинг Таламус, раскрасневшийся от шардоннэ.— Ла Дершовиц! — Он высоко поднял бокал.— О-ля-ля! Собратья по перу ждут тебя на пиру!

Деваться было некуда: нужный человек, только-только начал обращать на нее внимание. Рут ступила на залитый солнцем газон — вся такая грациозная, освещенная сиянием, в облегающей блузке и тесных джинсах, главная героиня собственной кинокартины. Она отметила, что разговоры на веранде стихли, головы повернулись в ее сторону.

— Ах, Ирвинг.

Объятие, приветственный поцелуй (чуть-чуть затянуть), кивок Айне Содерборд, Сэнди Де Хейвену, Регине Макинтайр, непринужденный монолог. Потом кто-то сунул Рут бокал вина, что позволило сделать маленький антракт. Она выдержала паузу и жалобно вздохнула: надо принять душ, переодеться к ужину, сегодня так славно работалось, время пролетело незаметно. Пустой бокал — на поднос. На дальнем конце широченной лужайки покачивали кронами высоченные дубы, в окнах всех трех этажей большого дома отражался закат. Вспорхнуть вверх по ступеням, скрыться с глаз.

Антисептик и пластырь, скорее всего, можно взять в ванной комнате. В вестибюле, слава богу, никого. Три скачка, и лестница позади. Но где достать штаны, обувь, носки, чистую рубашку? Можно пошарить у Саксби, он все равно не заметит, но у него грудь как целый стадион и узкие бедра атлета. Пареньку одежда Саксби

не подойдет. То же относится к Сэнди и тощему, долговязому Питеру Ансерайну. Поэт Боб слишком маленького роста, Детлеф Эберкорн, которого поселили на третьем этаже, наоборот, чересчур высок. В Дариене полно магазинов, но придется ждать возвращения Саксби, плыть на пароме, придумывать какие-то объяснения. А объяснять ничего не хотелось, даже Саксби.

В ванной Рут нашла и йод, и перекись водорода, и вазелин, и коробочку с пластырями, и пахнущее сиренью мыло в виде разинувшего пасть аллигатора, и полотенце, в которое завернула все это богатство. Прислушиваясь, не идет ли кто по коридору, она вдруг подумала об Ирвинге Таламусе. Вот кто подойдет идеально. Он, конечно, не такой упитанный, как япончик, но примерно того же роста, да и животик имеется. Снизу донесся дружный хохот. Надо торопиться — того и гляди принесет кого-нибудь отлить выпитое или поправить косметику. Рут тихонечко приоткрыла дверь, прижимая локтем сверток, посмотрела направо, налево, шагнула в холл.

Сердце колотилось как бешеное. Замки в «Танатопсисе» не были заведены, даже внутренние засовы отсутствовали. Септима считала, что ее питомцы заслуживают полного доверия в сфере материальной и что никакие запоры не должны мешать их сексуальному самовыражению — единственным условием должно быть обоюдное согласие. «У нас в «Танатопсисе» браков не существует,— сообщила хозяйка, приветствуя Рут в самый первый день.— Мы не признаем института семьи.— Септима одарила сияющей улыбкой своего сына, который стоял за спиной гостьи, поглаживая ей запястье.— Мы считаем, что художник имеет право самовыражаться любым угодным ему или ей образом». Вот именно. Рут сейчас как раз этим и занималась: самовыражалась весьма антиобщественным, воровским образом, бродя в одиночестве по коридору второго этажа со свертком под мышкой.

Ее комната осталась слева, комнаты Клары Кляйншмидт и Питера Ансерайна тоже. Если кто-нибудь спросит, что Рут тут делает, она направляется в малую умывальную — не хочет монополизировать ванную: вдруг кому-то вздумается принять душ перед ужином. Миновав дверь Оуэна, Рут шмыгнула за угол. Впереди — лестница черного хода, слева — умывальная, справа — заветное обиталище Ирвинга Таламуса. Рут заколебалась, прислушалась к долетавшим снизу звукам (смех, звон бокалов) и проскользнула в дверь.

Быстрее, сказала она себе, быстрее. Обидно, что у Таламуса комната гораздо просторнее и удобнее. У нее по сравнению с этими апартаментами какая-то коробка из-под обуви. Но сейчас не до обид. Рут прямиком двинулась к шкафу вишневого дерева. Быстрее! — завопил внутренний голос, руки ходили ходуном. Все было как в кино, когда герой проникает в логово убийцы, а убийца непременно возвращается и застигает его врасплох. Она лихорадочно рылась среди вешалок. Пиджаки, рубашки, брюки висели в пластиковых чехлах, прямо из химчистки. Надо взять что-то такое, чего он не хватится. В выдвижном ящике оказалось нижнее белье — розовые, красные, голубые трусы. На ощупь — чистый шелк. На миг Рут представила, как тугая ткань обтягивает волосатое брюхо Таламуса, сплющивая член и яйца. Тут ей попалось именно то, что нужно: шорты-бермуды, в которых она ни разу его не видела. Довольно дурацкие, с пылающими желтыми попугаями и шартрезно-зелеными пальмами, но это не имело значения. И простая белая майка с вырезом уголком. Рут задвинула ящик, закрыла дверцу шкафа. Под кроватью валялись стоптанные теннисные туфли. Он и не заметит, если они исчезнут.

Вдруг веранда взорвалась звуками, и Рут окаменела от ужаса. Чей-то вопль, грохот бьющегося стекла, оглушительный хохот. Кажется, где-то хлопнула дверь. Пора уносить ноги. Но куда спрятать добычу? Нельзя же разгуливать с... Наволочка! Нет, это он сразу заметит. Взгляд Рут упал на корзинку для мусора — простенькую, соломенную, с непременным черным пластиковым мешком внутри. Стараясь не дышать, Рут высыпала содержимое мешка в корзинку. Быстрее, быстрее! Секунды летели, каждый новый звук нагонял панику. А вдруг он застукает ее на месте преступления? Однако, невзирая на остроту момента, Рут успела заметить среди мусора письмо от литературного агента и разорванную пополам открытку. От кого? От сына. Так-так. Письмо и открытку приобщила к трофеям и открыла дверь.

О ужас, по коридору кто-то идет! Чей-то силуэт, шаги!

Рут захлопнула дверь. Сердце так и выпрыгивало из груди. На ум лезли оправдания одно дурнее другого: она искала комнату для стирки, а сюда зашла по

ошибке; нет, она помогает собирать мусор помощнику Оуэна, этому пуэрториканцу, как его — Рико? Ну да, у бедняги захворала мать, и... Шаги все ближе — тяжелые, неумолимые... Замерли перед самой дверью. Все, конец. Погибла. Рут представила изумленные, холодные, как у ящерицы, глаза Ирвинга Таламуса; брезгливо сморщенный нос Септимы; жесткий, непрощающий взгляд Оуэна. Скорый суд; единственная за всю историю «Танатопсиса» мелкая воровка, с позором изгнанная из обители муз. Хотя стоп! Ну конечно, она может броситься к нему в объятья, сделать вид, что поджидала его здесь специально... Хлопнула дверь ванной, и Рут поняла, что спасена. Она глубоко вздохнула, подождала, пока щелкнет замочек и снова выглянула наружу. Никого. Один шаг — и она в коридоре, комната Ирвинга Таламуса закрыта.

В это время из-за угла появился Детлеф Эберкорн. Из кармана рубашки у него торчал магнитофончик, на голове — наушники. Агент выскочил так неожиданно, что застал Рут совершенно врасплох.

— Ой, привет! — заорал он во все горло и быстрым, как бы автоматическим движением сдернул наушники.

Рут прижала к груди мешок из-под мусора и затравленно осклабилась.

Детлеф тут же расплылся в улыбке и небрежно облокотился о косяк роковой двери. Рут заметила, что взгляд агента устремлен на ее блузку.

— Знаете, наш вчерашний разговор доставил мне огромное удовольствие. Вы такая...— он заколебался. Было слышно, как в наушниках завывают металлические голоса.— Вы такая соблазнительная. Нет, правда. И я подумал... У меня ведь тут машина и все такое... Может, захотите проветриться, провести вечерок за пределами острова. Скажем, сегодня, а? Поужинаем вместе, глядишь, еще что-нибудь придумаем.

Первое потрясение прошло. Рут почувствовала себя на знакомой территории и совершенно успокоилась.

— Это было бы замечательно,— сказала она, наклоняясь поскрести якобы зачесавшуюся лодыжку.— Так и сделаем. Но не сегодня. Сегодняшний вечер, к сожалению, у меня занят.

Но отвязаться от Эберкорна оказалось не так-то просто. Он придвинулся поближе, изобразил многозначительность во взоре.

— Понимаете,— пророкотал он вкрадчиво,— вряд ли я тут долго пробуду.

Рут встрепенулась:

— Да? Поиски зашли в тупик?

Детлеф скривился.

— Этот тип исчез бесследно. Может, где-нибудь копыта откинул, кто его знает. Или смылся с острова.

— А ваш помощник? Ну этот, с чудом техники?

Эберкорн мелодично расхохотался.

— Это целая история. Как-нибудь расскажу.— Он помолчал, глядя ей в лицо. Рут встретилась с ним взглядом и подумала, что такого странного цвета глаз никогда еще не видела.

— Стало быть, тут вы и живете? — спросил он.— Может, пригласите меня...

Она схватила его за руку.

— Вы ужасно милый, но мне надо бежать. Правда-правда. Кажется, я не выключила плитку у себя в студии.

— И ваши гениальные творения обратились в пепел?

Она нырнула под его локоть и понеслась по коридору.

Но приключения еще не кончились.

Рут скакала через две ступеньки, крепко держа черный пластиковый пакет и думая только о Хиро. Ее любимый котенок, ее интригующий секрет спал сейчас на диванчике, в маленьком затененном домике среди джунглей. А может, опять исчез? Вдруг он проснулся и решил, что она побежала за полицией? Или Турко заглянул через москитную сетку внутрь, подкрался и треснул бедного мальчика своим дебильником по голове?

Уж о Саксби в эту минуту Рут никак не думала. Однако именно его она и увидела у подножия лестницы. Саксби согнулся в три погибели, поддерживая обеими руками угол гигантского шестифутового аквариума.

— Рути,— просипел он,— я вернулся!

Противоположный край аквариума покоился на сцепленных руках Оуэна. Вдвоем они пытались развернуть эту махину, чтобы через узкий коридор дотащить до комнаты Саксби. Операцию пришлось приостановить, потому что Рут подлетела к Саксби, чмокнула его в губы и прошептала:

— Я по тебе скучала.

Затем, покачивая сверкающими боками, аквариум двинулся дальше, а Рут быстрым шагом вышла из вестибюля, сбежала по ступенькам, пересекла лужайку. Достигнув опушки, она и вовсе припустила бегом.

Когда впереди показался домик, Рут совсем запыхалась, в боку кололо так, словно кто-то воткнул туда вязальную спицу. Хоть бы Хиро оказался на месте! Она бы поговорила с ним, промыла и перевязала его раны, посмотрела бы, как он ест и спит, как оживает его потухший взгляд. Но чутье подсказывало, что в студии никого нет. Снаружи коттедж выглядел точно так же, как всегда: знакомое крылечко, залитые солнцем окна, вокруг — дубы, сосны, пальмы, в ветвях щебечут птички, пряно пахнет океаном. Тяжело дыша, Рут взбежала по ступенькам и осторожно приоткрыла сетчатую дверь. Пусто.

Рут ужасно на себя разозлилась. Надо было сказать ему, куда и зачем она идет, надо было поскорее отвязаться от Эберкорна, надо было бежать еще быстрее! Рут швырнула мешок на пол и рухнула в кресло-качалку. Все, он исчез. Не поверил и теперь уже никогда не поверит. Ну и ладно, какое ей, в сущности, дело. Пусть подыхает с голоду.

Рут долго раскачивалась в кресле, глядя, как вытягиваются тени, как вечерний покой осеняет книги, пишущую машинку, плитку, цветочные горшки — все привычные атрибуты ее мини-жизни в этом временном пристанище. И лишь потом ей пришло в голову — Рут дернулась, как от укола,— что Хиро, возможно, просто ее проверяет. Вполне вероятно, что он сейчас сидит где-нибудь поблизости в зарослях и выжидает. Выжидает и наблюдает. Ну что ж, подумала она и вскочила на ноги; налила воды из кувшина в тазик и вынесла тазик на крыльцо. Потом выставила туда и кувшин. Порывшись в мешке, извлекла оттуда кусок мыла, пластырь, полотенце, одежду и все остальное, разложила на перильцах, а себе оставила только похищенные письма. Затем Рут углубилась в уютные сумерки, зашагала назад, в «Танатопсис».

Утром вещей на крыльце не оказалось. Тазик висел на своем обычном месте, у камина; в углу — аккуратно сложенный комбинезон и осквернённые трусы Клары Кляйншмидт. На обеденную корзинку в этот день Хиро не покушался, но Рут оставила провизию нетронутой. Сказала себе, что ей полезно скинуть пару фунтов. На следующее утро корзинка была пуста. То же случилось и назавтра. Рут уже решила, что их отношения обрели определенный ритм и упорядочились, но увы, ошиблась. Два дня к корзинке никто не прикасался. Еда протухла. Оуэн пребывал в недоумении.

Тем временем Эберкорн сложил чемодан, Турко упаковал магнитофон, на прощанье они уверили колонистов, что японская угроза миновала, сели в свой потрепанный «датсан» и укатили прочь. Саксби выложил аквариум камешками, посадил водоросли, налил воды. Длинными темными ночами он горячил кровь Рут прикосновениями своих губ, пальцев и прочих частей тела. А она окончательно утвердилась в бильярдной и за «столом общения». С пишущей машинкой дела тоже шли на лад: в работе появилась целеустремленность, приправленная восхитительным привкусом надежды. Рут знала, что ее япончик обязательно вернется, и может быть, уже скоро. Как же ему перед ней устоять?

* * *

Но сегодня утром у Рут с похмелья раскалывалась голова, и побудка застала ее совершенно врасплох. Удушающая жара, а она почему-то спала, с головой накрывшись одеялом. Первая неделя августа кончается. Хиро не появлялся уже три дня... Рут заставила себя подняться. Надо работать. Ей никогда еще так славно не работалось. Пора спускаться к завтраку, царствовать за столом, а голову прочистят теплый кофе и обжигающие сплетни.

Рут наскоро расчесала волосы, завязала их хвостиком, почистила зубы, подкрасила глаза, надела шорты, коротенькую майку (никакого лифчика), выудила из-под кровати белые парусиновые босоножки на пробковой подошве.

Когда она проходила через обитель молчания, Лора Гробиан взглянула на нее поверх яйца всмятку и удостоила приветствием: слегка кивнула, да еще подмигнула знаменитым затравленным глазом. Рут внутренне возликовала. Вперед — через дубовую дверь, к столу весельчаков. Там ее встретили смехом, клубами сигаретного дыма и возгласами: «Ла Дершовиц! И в такую рань! Что, не выспалась?»

За длинным столом темного дерева сидели Боб, Сэнди, Ирвинг Таламус, Айна Содерборд и еще с полдюжины творцов. Повсюду — книги, рукописи, зачитанные до дыр газеты, тарелки с пятнами яичного желтка, чашки, пепельницы. На отдельном столике большой серебристой ракетой возвышался кофейник в соседстве с вазой вафель и компотницей. Рико хлопотал на кухне, колдуя над тостами, яичницами, канадским беконом — кто что закажет. Когда Рут заглянула к нему в дверь, пуэрториканец как раз подбрасывал омлет на сковородке, причем последнюю держал за спиной.

— Ну и ну,— восхищенно присвистнула Рут.

Рико оскалился золотозубой улыбкой. Ему было двадцать два года, и до нормального человеческого роста он не дорос на добрых шесть дюймов. Еще у Рико были огромные и круглые черные глаза, взиравшие на мир с неизменной скорбью.

— Делов-то,— сказал он.

— Сделай мне яйцо в мешочек, когда закончишь, ладно? — попросила Рут, стоя на одной ноге. Кухня источала мощные, богатые запахи.— И пожалуй, еще два тостика из белого хлеба.

— Делов-то,— повторил Рико и еще раз подкинул омлет, из чистого пижонства.

Рут налила себе кофе, добавила бескалорийного сахара и подождала, пока Ирвинг Таламус расчистит место на столе.

— Хорошо спали? — спросил он, плотоядно наблюдая, как Рут опускается на стул и закидывает ногу на ногу. Веки у него набрякли, под глазами нависли мешки. Лучше всего Ирвинг Таламус сейчас смотрелся бы в бурнусе и сандалиях, пересчитывающим верблюдов и невольниц где-нибудь в пустыне Негев.

Рут жалостно улыбнулась.

— Слишком много выпила. Но потом мы с Саксом немножко погуляли, и я чуть-чуть освежилась. Спала как убитая.

Ирвинг Таламус перестал на нее пялиться и принялся сооружать на тарелке некое подобие пирамиды из яичницы. Рут вспомнила открытку. Сынок Ирвинга, первокурсник Йейльского университета, резал папочке правду-матку. Мальчик намеревался провести каникулы в горах с матерью. Отец же, судя по всему, предложил сыну в предыдущем письме приехать к нему в Ки-Уэст. Студент ответил решительным «нет», да еще написал, что считает папашу лицемером, перехваленным нарциссистом и моральным уродом, который не может удержать в штанах свой патриархальный член. Письмо от литературного агента было еще хуже. На миг Рут даже стало совестно, что она читает такое. Но только на миг. В конце концов, она ведь интеллектуал, творец, человек искусства и сама создает правила, по которым живет. Агент, один из самых почитаемых во всем Нью-Йорке, писал, что издатель, выпустивший в свет шесть последних книг Ирвинга Таламуса, не советует публиковать новый роман. По его мнению, «Собачья жизнь» — полный провал. Слабо. Невразумительно. Агент вкрадчиво, деликатно и многословно убеждал Ирвинга Таламуса не упорствовать. Пройдет полгодика, он остынет, перечтет роман и сам увидит. Правда-правда. На карту поставлена его литературная карьера, будущее место в пантеоне американской словесности. Зачем губить все необдуманным поступком? В конце агент писал, что буколическая атмосфера «Танатопсиса» наверняка пойдет Ирвингу Таламусу на пользу, даст возможность отдохнуть и расслабиться.

— Ну, как движется ваше новое творение? — спросил мэтр, двинув в сторону Рут своим массивным подбородком.

Она знала, что правда ему ни к чему. Нужно похныкать, посыпать голову пеплом, попричитать насчет творческого кризиса и собственной бездарности, а потом с почтительным придыханием спросить — как это только ему удается писать одну за другой такие потрясающие книги. Рут отхлебнула кофе, поставила чашку на блюдце и, придвинувшись к соседу, сообщила:

— В жизни так дивно не работала.

— Здорово. Просто шикарно.

Взгляд у Ирвинга Таламуса стал уязвленным.

Боб поднялся из-за стола первым, сказав, что вечерком надо будет перекинуться в покер. Айна Содерборд, облаченная в розовый спортивный костюм, которому было по меньшей мере лет девяносто, тут же вскочила, и Рут слегка приподняла брови. Ирвинг Таламус понимающе кивнул. Дверь кухни распахнулась, донеслись звуки зажигательной салсы, и в столовую, пританцовывая, впорхнул Рико. Яйцо и тосты для Рут. Она разбила скорлупку, выложила содержимое на поджаренный хлеб, посолила, поперчила и лишь потом, в свою очередь, задала Таламусу вопрос, которого требовал писательский этикет:

— А как у вас? Как «Собачья жизнь»?

Он кинул на нее странный взгляд. Взгляд человека, у которого рылись в письмах и стащили шорты. Но нет, откуда ему знать? Таламус сам без конца разглагольствовал про «Собачью жизнь», так что она никоим образом себя не выдала.

— А-а, «Собачья жизнь».— Он пожал плечами.— Хорошо. Нормально.— Помолчал.— Я тут затеваю кое-что новенькое, в непривычном для меня ключе. Так сказать, новый старт. Волнующее событие.

Особого волнения Ирвинг Таламус, впрочем, не выказывал. Вид у стареющего классика был такой, словно он размышляет, не пора ли пойти покакать после завтрака (на самом деле так оно и было).

Рут собиралась сказать что-нибудь вроде «я так за вас счастлива» или там «чего же еще от Вас ожидать, Ирвинг», но классик вдруг оживился и с просветлевшим лицом спросил:

— А вы слышали новость?

Нет, она не слышала. Рут поджала губки и в предвкушении потерла руки. Ожидала услышать что-нибудь пикантненькое, какую-нибудь сногсшибательную сплетню, о которой можно будет всласть поразмышлять и похихикать до обеда, а потом еще целую неделю острить вечерами, в бильярдной. В последний раз Ирвинг Таламус сообщил такое, что Рут прямо ахнула. Оказывается, однажды вечером Питер Ансерайн вошел к себе в комнату и увидел на своей кровати Клару Кляйншмидт, совершенно голую и раскинувшуюся на кровати в позе богини плодородия. Это с ее-то мощами! Самое же интересное то, что вышла она из комнаты Ансерайна только под утро.

— Ну говорите же,— поторопила Рут, изящно изгибая спину и исподтишка оглядывая соседей по столу.

— Услышал — не поверил,— сказал он.— Угадайте, кто сюда приезжает, да еще на целые шесть недель.

Рут терялась в догадках.

На кухне загремела посуда. Боб с Айной, взявшись за руки, не спеша направлялись к выходу. Сэнди зевнул, потянулся и встал.

Ирвинг Таламус наклонился к Рут, блеснул глазами и ощерился, как сторожевой пес.

— Джейн Шайн, вот кто. Представляете?

Чесьная игура

«Я хочу помочь тебе»,— прошептала она, когда Хиро замер в дверях, прижимая к себе корзинку с обедом. Как же, они все тут хотят помочь. То-то и палят в него из своих дробовиков и пускают по следу собак, заводят среди болот Донну Саммер на полную катушку, давят его в воде своими лодками. Как раз любовничек этой красотки, маслоед поганый, пожиратель бифштексов, голый, заросший шерстью, со своей болтающейся сарделькой, пытался утопить Хиро, когда тот и так плыл из последних сил. А потом еще набросился на умирающего от голода человека в магазине и заставил спасаться бегством. Тоже, между прочим, помочь хотел.

И все-таки что-то в ней было, Хиро сам не мог понять. Не знал таких слов ни по-английски, ни по-японски. Она сидела спиной к нему, за столом, а потом обернулась, и он увидел длинные, стройные, шелковистые, очень американские ноги, и еще тяжелую, качнувшуюся от движения грудь. Грудь Хиро запомнил еще с той роковой ночи, хоть был напуган, обессилен и вообще, можно сказать, с жизнью

прощался. Он тонул, умирал, и тут вдруг узрел ее голые груди, соблазнительно бледневшие в сиянии луны и звезд. Хиро запомнил эту белизну, американка вся была белая-пребелая, как молоко в фарфоровой чаше.

И он сделал шаг вперед.

Было страшно, несмотря на поддержку Дзётё и Мисимы. Она наверняка предаст его, завизжит истошным голосом, поднимет на ноги всех окрестных ковбоев-*хакудзинов* и курчавых негритосов. Но тут Хиро поймал ее взгляд и увидел, что она тоже боится. Он остановился и долго смотрел ей в глаза. Их выражение смягчилось, на губах заиграла улыбка, потом раздался смех. Тогда Хиро нерешительно переступил через порог и опустился на корточки в углу.

Аригато [1],— прошептал он.— Борьсое-борьсое спасибо.

Потом открыл корзинку и стал есть.

Она еще дала ему яблок, фиников и печенья. Их Хиро тоже съел, давясь от жадности. Это было унизительно. Он скрючился на полу, как животное, сам грязный, исцарапанный, зловонный, как свинья. А наряд? Краденые лохмотья. Причем негритянские. Да Дзётё облил бы его презрением. Мисима с отвращением отвернулся бы. Хиро вспомнил, какое важное значение Дзётё придает опрятности и внешнему виду. Жизнь — репетиция перед смертью. Нужно всегда быть готовым к концу, готовым до мельчайших деталей: до нижнего белья, ногтей, цвета лица, состояния рук и зубов. О, какое унижение! Хиро чувствовал себя осквернённым, раздавленным, запятнанным. Он был хуже собаки.

— Я достану тебе одежду,— сказала она.

Он был ничтожеством. Вонючкой. Сам себя презирал и ненавидел.

— *Домо аригато* [2],— пролепетал Хиро и низко поклонился, хоть и так уже сидел на корточках.

Она встала, распрямила свои чудесные призрачно-белые ноги и подошла к нему. Остановилась. Помолчала. Наклонилась. Глаза светились добротой и состраданием. Протянула руку.

— Иди сюда.

Голос низкий, грудной. Хиро подал ей руку, и женщина помогла ему подняться.

— Пойди приляг.

Она показала на диванчик.

И он окончательно капитулировал, позволил ей уложить себя, словно малого ребенка, подоткнуть подушку. Потом она еще что-то шептала ему на ухо своим чарующим голосом, и все мышцы у Хиро размякли, он вдруг оказался в какой-то густой чаще, в лесу, нет, в толще самой земли, в царстве, где можно ни о чем не беспокоиться.

Ему снился бейсбол, *бэсубору* — игра, составлявшая весь смысл его жизни до знакомства с Дзётё. Хиро сидел рядом с бабушкой, *оба-сан*, она попивала *сакэ*, а он жевал *хотто-догу* [3]. Игроки на поле размахивали битами, подающий засадил мяч прямо в таинственный капкан рукавицы кэтчера. Вдруг Хиро и сам оказался на поле, в позе принимающего. Но в руках у него была не бита, а *хотто-догу*, густо намазанный горчицей и соусом чили... Хиро замахал своей чудо-битой, и она стала расти, разбухать. Теперь запросто можно было запулить мяч в любую даль, а то и самому взлететь в небо и птицей, нет, ракетой пронестись над стадионом. Хиро обернулся, чтобы помахать рукой *оба-сан*, но она исчезла, а на ее месте сидела какая-то девчонка и кормила ребенка грудью... Постой, да их тут сотни, тысячи, и каждая кормит младенца, и у каждой груди такие чистые и белые, как... как груди. Целая нежная лавина грудей...

Он с трудом, не сразу очнулся, словно ныряльщик, всплывающий со дна темной лагуны. Сон льнул к телу, обволакивал, как вода. Одурманенный усталостью и всеми событиями последних дней, Хиро не сразу сообразил, где находится — то ли дома, в кровати, то ли в кубрике *«Токати-мару»*, то ли клюет носом на лекции в мореходке. Но вот сообразил и тут же широко раскрыл глаза. Увидел потемневшую, измочаленную спинку плетеного диванчика, наволочку в цветочек, потом собственную ладонь, грязную и ободранную. В следующую секунду Хиро слетел с диванчика, на чем свет кляня и себя, и американку. Рывком распахнул дверь,

[1] Спасибо *(японск.)*.

[2] Большое спасибо *(японск.)*.

[3] От англ. hot dog, жареная сосиска в тесте.

бросился в кусты, хватая воздух ртом. Как можно было ей довериться, думал Хиро, не обращая внимания на острые листья и цепкие колючки. Адреналин так и кипел в крови, каждый миг Хиро ожидал услышать заливистый лай шерифовых псов. Сука, подлая, коварная белоногая *хакудзинка!* Как же он мог свалять такого дурака?

Это и есть хваленая американская *«чесьная игура»* (честная игра)? Нет, так порядочные люди себя не ведут. Шулерство, вот как это называется. Она поймала его врасплох, подловила момент, когда он совсем раскис и уже был готов сдаться, умереть от позора. Она подманила его этим своим голоском и взглядами, белоснежным телом, а потом нанесла удар в спину. Но ничего, он вырвался. Хрен им всем. И он никогда больше не даст слабины, никогда. Будет таким же безжалостным и коварным, как длинноносые. *Чесьная игура* закончена. «Кто добренький, того и обыгрывают», так сказал Лео Дурочер, великий американец, тренер «Бруклинских ловкачей». То же самое говорил и Дзётё.

Хиро рывком высвободился из объятий настырных лиан, зашлепал по гнилой канаве и спугнул там что-то живое. В конце концов, выбившись из сил, плюхнулся прямо в ядовито-красную жижу и решил разобраться в ситуации. Затаил дыхание, прислушался. Погоню непременно устраивают со специальными собаками, они называются «ищейки». Это он знал. Ищейка понюхает носок, ботинок, окурок и уже ни почем не отвяжется. Хиро был слишком напуган, чтобы себя жалеть, и слишком устал, чтобы рассуждать здраво. Но время шло, и он понемногу успокоился. Солнце нырнуло за край земли и оставило деревья прозябать в жути и мраке. В ветвях ожили ночные птицы. Теперь Хиро чувствовал себя несчастным и заброшенным. В душе закопошились сомнения — не погорячился ли он.

Что, если она и в самом деле хотела помочь? Она ведь говорила, что достанет одежду. Откуда ей взять мужские тряпки в этом ее домишке? Он знал, что американка там не живет — утром приходит, вечером уходит. Наверно, секретарша или что-нибудь в этом роде, тут у нее офис. Возможно, она действительно отправилась раздобыть одежду и главное, еще еды, побольше еды: сандвичи с фаршем, овощи, фрукты, маленькие ломтики сыра в фольге, брикетик мороженого. Все это было в сегодняшней корзинке. *Хара* требовала свое, и он вылез из лужи. Во рту было кисло и как-то тревожно. Пошатываясь, побрел в обратном направлении.

Найти домик оказалось непросто. Сумерки сгустились, деревья выстроились плотными шеренгами, локоть к локтю, похожие друг на друга, словно травинки. Под ногами что-то сновало, шныряло, ползало. Два раза Хиро, споткнувшись, падал в какие-то кусты, а потом отплевывался и отфыркивался от паутины. Комары атаковали его легионами. Он уж было совсем отчаялся, но тут дебри выпустили его из плена — прямо на полянку, к знакомому коттеджу.

Хиро замер. Уже совсем стемнело, ночь выдалась безоблачная и безлунная. До домика было рукой подать, он чернел густой тенью на и без того темном фоне, безгласный и таинственный. Ни единого движения. Хиро вслушался в тишину: звон цикад, комариное жужжание, побулькивание и постукивание собственной внутренней механики, вовсю занятой обеспечением жизнедеятельности. Что, если в домике засада? Возможно, они его уже заметили — псы присели перед прыжком, ружья наготове, пальцы на кнопках фонарей?

Боязливо ступая, Хиро приблизился к сгустку тени. Он ходил в школу, жил со своей *оба-сан,* драил шваброй палубу «Токати-мару» и совершенно не задумывался о бренности своей земной оболочки. А теперь вот вынужден играть в игру с чужими мальчишками: красный свет — зеленый свет, ошибешься — ваших нет. Хиро сделал еще шажок, застыл. Еще два шажка. Потом еще. На перильцах крыльца что-то лежало. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди от радости. Одежда! Хиро пощупал ткань белевшей во мраке майки. Значит, американка все-таки не предала, она союзник, друг, помощница и утешительница, она играет по правилам, хоть наверняка ей он тоже кажется диким и непонятным. В этот миг Хиро любил ее.

Зато в следующий возненавидел. Она принесла антисептик, бинты, мыло, чистую одежду, пахнущую стиральным порошком и сушилкой, оставила воду. Но самое главное забыла! А ведь у него от голода внутри все прямо выло. Где еда?! Яблоки, финики, печенье, судки с обедом остались в прошлом, превратились в далекое воспоминание. В животе урчал и ярился лютый, неодолимый зверь. Сука, дура набитая, она забыла про еду!

Но ничего. Зато есть одежда, мыло, чистая питьевая вода. Или не питьевая?

В темноте можно было разглядеть только тазик. Хиро осторожно наклонился, отпил и с радостью убедился, что вода свежая, без вкуса болота. В жизни он не пил такой чудесной воды. Потом Хиро скинул свое рванье, нащупал во мраке мыло и мочалку, стал медленно, с наслаждением мылиться, то и дело отмахиваясь от комаров.

Тазик поднял на вытянутые руки и опрокинул себе на голову. «По крайней мере у нее хватило мозгов оставить еще и кувшин»,— пробормотал Хиро, вновь наливая воды. Но чувство благодарности тут же сменилось новой вспышкой ярости: надо же, даже пластырь притащила, а про жратву забыла! Хиро намылил голову, окатил водой. Сел голышом на ступеньку и стал с помощью перочинного ножа вытаскивать из волос веточки, шипы и колючки. Щетиной он зарос несильно — несколько волосиков вылезло на подбородке и верхней губе. Их он попытался соскрести ножиком, но ничего не вышло. Покончив с туалетом, Хиро встал и натянул чистые шорты — с огромным удовольствием, словно свежую *юкату* [1] после долгой горячей ванны.

Зажав под мышкой майку, теннисные туфли, книгу Дзётё и нож, он вошел в темный коттедж. Постоял, принюхиваясь: пахло сладостью ее тела и слегка — пряными иностранными духами. Внутри никого. Хиро вспомнил про электроплитку и банку с крекерами. Должно же тут быть хоть что-нибудь съестное! Решил рискнуть — нащупал в кромешной тьме настольную лампу и включил свет.

Комната ожила, наполнилась пространством и цветом. Нормальное жилое помещение: крыша, четыре стены, и внутри — он. Хиро всю жизнь провел в н у т р и, и вот он снова в привычном мире. Окна зловеще пялились на него, залитые сиянием. Снаружи все просматривалось, как на ладони. Но Хиро не думал об этом. Наплевать. Сейчас не до того. Главное — поесть. Где тут еда? Куда американка ее прячет?

Он осмотрелся по сторонам. Корешки книг, пишущая машинка с поникшим листом бумаги, камин, стулья, диванчик. Взгляд Хиро остановился на тщедушном столике, где стояла плитка. Рядом кофейная чашка, ложка, сахарница с пакетиками «Бескалорийной сладости», молочник, коробка с яркой наклейкой — кофе без кофеина. Все. Больше ничего. Еды — ноль.

В течение следующего получаса Хиро сидел в кубе золотистого сияния, обрабатывал свои раны и чашку за чашкой хлебал выхолощенный кофе. Он знал, что калорий в этом напитке почти нет (максимум — соевый белок), но тем не менее не забывал сыпать побольше и синтетических сливок, и искусственного сахара, говоря себе, что кофе отлично, просто прекрасно утоляет голод. Хиро осторожно трогал пальцем язвы и ссадины, изучающе разглядывал истерзанные ноги, словно старьевщик, инвентаризирующий свои богатства. Царапины, трещины, мозоли покрывали все его тело. Хиро вычистил их, вымыл, выдавил гной, прижег йодом, остудил перекисью, залепил пластырями, так что в конце концов грудь, руки и ноги стали похожи на какой-то коллаж из белых полосок. Работал не спеша, сердце билось ровно и спокойно. Истинное чудо — оказаться здесь, внутри, защищенным от жесткой земли и голого неба. Еще сладостней делалось при мысли о том, что это ее дом, что она проводит тут целые дни напролет. Впервые за долгое время Хиро чувствовал себя спасенным.

Когда он закончил — перевел весь пластырь, выпил весь кофе, съел весь сахар,— то улегся на диванчик и выключил лампу. Господи, нынешнюю ночь он проведет под крышей, по-человечески, и не по-звериному, в грязи. Будь проклята эта природа! Он ненавидел ее — гнилое зловоние, сырость, мошек, которые постоянно лезут в глаза, уши и ноздри! На плетеной соломе лежать было жестко, но это ему не мешало. Хиро закрыл глаза и устроился поудобнее. Мерзкая драма ночной жизни, с ее шнырянием и ползанием, умерщвлениями и пожираниями, пауками, змеями и сколопендрами, осталась снаружи, где ей и надлежит быть.

Но уснуть почему-то не получалось. Он устал, совсем выбился из сил, и еще одолевала лютая тоска. Нет, сон не шел. Хиро все вспоминал эту женщину, американку, ее лицо, тело: как она к нему повернулась, какой у нее шелковистый, шелестящий голос. Потом стал думать про *оба-сан*. Когда он, маленький, никак не мог заснуть, она садилась рядом, в яркий кружок света от лампы, и читала ему книжку. Мисиму бабушка не любила и была очень недовольна, когда внук променял

[1] Юката — легкий японский халат *(японск.)*.

бейсбол на Дзётё и *«Хагакурэ»*. Еще Хиро вспомнил бессонные ночи, когда внутри все сжималось из-за жестоких *идзимэ*, издевательств, которыми его изводили одноклассники. Тогда-то Дзётё и стал его надеждой и утешением.

Книгу *«Хагакурэ»*, точнее, ее пересказ, составленный Мисимой и озаглавленный «Путь самурая», Хиро открыл для себя в семнадцать лет. Он был обычным школьником, играл в *бэсубору*. На поле Хиро чувствовал себя таким же, как все, равным среди равных. Ни о Дзётё, ни о Мисиме он и слыхом не слыхивал. Играл неистово, самозабвенно, губы шептали труднопроизносимые имена иностранных звезд бейсбола — Джим Пасьорек, Матт Кьоу, Тай Ван Беркелоу, как магические заклинания. В них он черпал вдохновение и надежду. Можно быть полукровкой, безродной дворняжкой, кем угодно — неважно; главное, чтоб ты как следует лупил по мячу. Это и есть настоящая демократия, *«чесьная игура»*, страшная месть. Месть Фудзиме, Морите, Каваками и прочим пигмеям, которые награждали его тумаками, сломали нос, шипели в школьных коридорах «маслоед».

Своей битой Хиро мог заставить их заткнуться. Они строили ему рожи из-за спины питчера, кривлялись из «баз», вопили свою похабщину, махали рукавицами, чтобы отвлечь и сорвать удар, но бита хряснет по мячу — и бац! Они летят вверх тормашками. *Бэсубору* был всей его жизнью...

Но вот однажды Хиро шел после школы домой, чувствуя на себе неизменные взгляды прохожих. Те сразу видели, что он неяпонец, чужак — взглянут раз и тут же отведут глаза, словно он покойник, неодушевленный предмет, столб там или дерево, пятно на тротуаре. Внимание Хиро привлек плакат, вывешенный в витрине книжного магазина. Черно-белая, сильно увеличенная фотография: обнаженный мужчина привязан к дереву, руки заломлены за голову, из тела торчат три черные стрелы. Мужчина умирает. Одна стрела пронзила низ живота, как раз над грубой набедренной повязкой, другая впилась в бок, третья почти по самое оперение ушла в темный клок волос под мышкой. Глаза полузакрыты, затуманенный взгляд устремлен в небеса, рот искривлен свирепой гримасой муки и освобождения. Тело у мужчины мускулистое, прямо героическое.

В первый день Хиро так и постеснялся войти — просто в восхищении разглядывал витрину, не мог понять, взаправду это или понарошку. Кровь-то вроде была настоящая, стекала из ран черными, словно нарисованными ручейками. Но уж больно картинно все это выглядело, будто кадр из кино или спектакля. Может, кровь и в самом деле нарисованная? Да кто бы стал фотографировать такую сцену, произойди она в жизни? Ведь в наши времена людей не казнят лютой смертью, верно? Да еще стрелами! Может, это какой-нибудь путешественник, попавший в плен к толстогубым дикарям Новой Гвинеи или Южной Америки? Если это так, и про него написана книжка, Хиро хотел бы ее прочитать.

Назавтра он собрал все свое мужество и вошел в магазин. Там было тесно и сумрачно, вдоль стен — металлические стеллажи с книгами, пахло газетами, плесенью и фальшиво-фруктовой сладостью освежителя воздуха. Полтора-два десятка покупателей рылись в стопках иностранных газет, бродили по проходам между полками, нагруженные книгами. Было тихо, как в храме, лишь шелестели любовно переворачиваемые страницы. Хиро приблизился к стойке. Там, за кассовым аппаратом, сидел плечистый мужчина в дымчатых очках заграничного вида. Хиро откашлялся. Мужчина, безучастно смотревший в окно, коротко взглянул на него.

— Я насчет плаката в витрине,— пробормотал Хиро так тихо, что сам едва расслышал.— Это такая книга, да? То есть я хочу сказать, про это написана книга?

Мужчина посмотрел на него повнимательнее, словно решал что-то. Потом вяло ответил:

— Это Мисима.

Удача, судьба, волшебство — вот что это было. Хозяин повел Хиро к одной из полок, и тот в нерешительности застыл перед длинным рядом книг. Их тут было двадцать, двадцать пять, а то и тридцать, да каждая в нескольких экземплярах, и все написал Мисима. Само провидение руководило рукой Хиро, когда та потянула с полки не что-нибудь, а именно «Путь самурая». Блестящая суперобложка, на которой были изображены два фехтующих дуэлянта — будто танцоры, исполняющие некий сложный танец — сразу приглянулась Хиро. Внутрь он и заглядывать не стал, обложки оказалось достаточно. Ну и еще, разумеется, был плакат

в витрине. Хиро расплатился с неразговорчивым хозяином и поспешно выскочил на улицу, напоследок еще раз взглянув на кошмарную фотографию замученного автора.

Как и большинство японских мальчиков, Хиро знал самурайскую мифологию не хуже, чем американские подростки знают про ковбоев, бандитов и девушек из салуна. Бродячий самурай, родственник странствующего ковбоя — любимый герой японского кино, телесериалов, дешевых авантюрных романов и красочных комиксов. Не говоря уж о классике вроде «Сорока семи самураев», включенной в школьную программу. Лет до восьми-девяти Хиро тоже носился по двору с деревянным мечом и повязкой *хатимаки* на лбу, потом подрос, и самураи с их косичками и клинками перестали его интересовать. Книга Мисимы возвращала его в этот забытый мир. Хиро не знал о политическом экстремизме Мисимы, о его позерстве и гомосексуализме, даже не слышал о ритуальном самоубийстве. Зато понял, что попал в совсем иную вселенную.

Поначалу книга озадачила его. Это был не роман. Ни кровавых поединков, ни леденящих душу приключений, ни героических актов самопожертвования — ничего такого. Это было исследование, точнее комментарий, составленный Мисимой (тем самым истыканным стрелами писателем) к средневековому трактату *«Хагакурэ»*. Трактат представлял собой самурайский кодекс чести, написал его человек по имени Дзётё Ямамото.

Хиро не знал, что и думать. *Я открыл для себя, что истинный путь самурая — смерть,— читал он.— Человеческие существа в этой жизни подобны марионеткам... Свобода воли не более чем иллюзия.* Оказывается, самураю позволительно румянить щеки, если с утра его мучает похмелье, а лучший способ совладать с нервозностью — смочить слюной мочки ушей. Все это звучало немного комично.

Но Хиро прикипел к книге всем сердцем, хоть по форме изложения она очень напоминала учебник или руководство по эксплуатации — вроде тех, что проходили в школе на занятиях по естественным наукам или позднее, в мореходке, по штурманскому делу. Замученный автор сочинения так и стоял у Хиро перед глазами; лишь впоследствии он узнал, что Мисима позировал, с мазохистским сладострастием изображал какого-то итальянского великомученика. Юноша читал книгу так, словно она требовала расшифровки, словно благодаря этим письменам он мог приобщиться к тайным обрядам и древним секретам, которые способны вознести постигшего их из глубин унижения наверх, в мир равных. Это было как игра, как шарада, как головоломка. Само название *«Хагакурэ»* — «Потаенное средь листвы» — казалось загадочным.

В последующие недели Хиро еще неоднократно наведывался в книжный магазин, чтобы познакомиться и с другими произведениями Мисимы. Потрясающий плакат исчез, вместо утыканного стрелами героя из витрины выглядывало какое-то старческое, птичье лицо с копной седых волос [1]. Большая часть книг с той самой полки оказались романами. Хиро прочел их с удовольствием, но без замирания духа. В них не было того притягательного, необъяснимого, что ощущалось в *«Хагакурэ»*. Снова и снова вчитывался Хиро в загадочные страницы. И вот однажды воссиял свет — так солнце вдруг выглядывает из-за туч в самый разгар бури.

Он отбивался на игровом поле от шестерых или семерых одноклассников. Они били его, толкали, швырнули его бейсбольную шапочку в канаву. Хиро сначала разъярился, потом ярость сменилась отчаяньем. Когда все это кончится, спросил он себя и сам же ответил: никогда. С бабушкой и дедушкой в тот вечер почти не разговаривал, метался по комнате. Не мог смотреть матч по телевизору, слушать музыку, учить уроки, читать. В конце концов, истомившись, взял в руки затрепанный томик *«Хагакурэ»*, открыл первую попавшуюся страницу. Речь там шла о современном обществе, о его слабости и упадке. Внезапно щелкнул невидимый выключатель, и слова Мисимы наполнились смыслом. Хиро понял, о чем книга. О славе, вот о чем.

Общество, в которое он так мучительно и безуспешно пытается прорваться, загнило, выхолостилось, помешалось на вещизме, заразилось мелочностью — немножко дал, немножко взял, это купил, то продал. Где же тут слава? Неужто так уж почетно быть нацией клерков в белых рубашках и европейских костюмах, мастерить

[1] Очевидно, имеется в виду японский писатель, лауреат Нобелевской премии Ясунари Кавабата.

для всего мира видеомагнитофоны, словно племя дрессированных обезьян? Хиро явственно понял: Фудзима, Морита, Каваками и все прочие — ничтожества, евнухи, трусливые и бесстыжие сутенеры. Подрастут — будут гоняться за иенами и долларами вместе с остальными болванами, которые сегодня не дают ему прохода, нашли себе парию и радуются. Но это не он пария, а они. Настоящий японец — тот, кто живет по установлениям *«Хагакурэ»*. Поэтому он лучше и чище их. Таков высший кодекс *«чесьной игуры»*, а то и кое-чего поважнее — силы, уверенности, чистоты, которые превосходят материальное, плотское, да и самое смерть. Хиро заставляли чувствовать себя неполноценным, зато теперь у него есть способ одержать победу — не только на игровом поле, но и на улице, в ресторане, в театре, где угодно. С Фудзимой и прочими он будет сражаться древнейшим в японском арсенале оружием. Он станет современным самураем.

А теперь Хиро лежал на узеньком ложе американки, подложив Дзётё под голову вместо подушки, и прошлое казалось далеким-предалеким. Он привык всецело полагаться на *«Хагакурэ»* в любой ситуации, но тут Америка, где живут сплошь одни *гайдзины* и всем на это наплевать. Нужен новый кодекс, новый образ жизни. Мучители остались в Иокогаме и Токио, плывут себе на *«Токаци-мару»* в Нью-Йорк, а Хиро свободен. Будет свободен, если доберется до Города Бобов, Бостона, или до Города Братской Любви, Филадельфии. Эта мысль действовала умиротворяюще. Хиро представил себе город, похожий на Токио: с небоскребами, монорельсовыми дорогами, потоками машин, только лица совсем другие. Белые, черные, желтые и всех промежуточных оттенков. Лица сияли светом братской любви. Хиро долго смаковал эту картину, словно леденец сосал. Потом закрыл глаза и позволил ночи взять над собой верх.

* * *

Проснулся он от парламентских прений лесных птиц и дрожащего, водянистого света зари. На сей раз никакого замешательства — едва открыв глаза, Хиро уже знал, кто он, где находится и почему. Он сел под скрипучий вздох многочисленных пластырей и принялся разглядывать свой новый наряд: шорты, майку и разухабисто ухмылявшиеся ему с пола теннисные туфли. Они были по меньшей мере на два размера больше, чем нужно — только пантагрюэли-*хакудзины* могли носить на своих ножищах такие корабли. А шорты! Они-то были в самый раз, но расцветка! Только психу пришло бы в голову подобное сочетание красок. Ужасно, нелепо, просто отвратительно! Она что его, за шута держит? Взгляд Хиро упал на столик, заваленный пакетиками из-под «Бескалорийной сладости», на опустевшую банку кофе, и возмущение сменилось стыдом. Лютым. Американка пожертвовала своим обедом, уступила ложе, раздобыла одежду, обувь, бинты и пластырь, а он все ноет. Неблагодарный! Подлец! Лицо Хиро вспыхнуло краской стыда.

Он и так перед ней в неоплатном долгу. Даже если вернуться в Японию, шесть лет с утра до ночи вкалывать на заводе, откладывая каждую иену, все равно не расплатишься. Ужасно унизительно. Хиро почувствовал себя еще хуже, чем в ту ночь, когда предстал перед ней в жалких лохмотьях. В Японии принято считать, что любая услуга, любое одолжение, пусть даже незначительное и сделанное без расчета на благодарность, возлагает на человека долг чести, вернуть который можно лишь сторицей воздав за оказанное благодеяние. Этот обычай разросся в целый утомительный ритуал, так что со временем люди, даже попав в беду, стали бояться помощи со стороны. Если японца сбила машина, он предпочтет ползти до больницы сам, только бы ни о чем не просить прохожих. Да и прохожий наверняка поспешит улизнуть — из уважения к страданиям несчастного и из нежелания обрушивать на его плечи страшный груз благодарности.

Хиро знал эту систему во всех мельчайших деталях — *оба-сан* была, наверное, самым главным экспертом по этой части во всей Японии. Любой подарок или услугу она моментально пересчитывала на стоимость необходимого ответного жеста и безгранично презирала тех, кто недоплачивал хотя бы иену до положенной суммы. Если ты помог старушке перейти через улицу, получишь в знак признательности свитер ручной вязки, коробку вишен в шоколаде и приглашение на чай. Попробуй только принять это приглашение, и в благодарность придется везти старушку в двухнедельную поездку на остров Сайпан, где она будет разыскивать

прах своих погибших на войне сыновей. Но отказываться от приглашения еще хуже — по тяжести подобное преступление уступает разве что геноциду. Все японское общество представляет собой огромную паутину взаимозадолженностей. Чуть оступился, надорвал паутину, и все, лицо потеряно, а сто двадцать миллионов языков укоризненно зацокали.

Хиро неудержимо захотелось спрятаться. Она вот-вот придет, ступая по тропинке своими длинными белыми ногами. Что он ей скажет? И как быть, если она захочет выпить кофе? Охваченный ужасом, с пылающими ушами, Хиро проворно убрал следы погрома, аккуратно сложил свои лохмотья — в знак того, что осознает свой долг — и бросился вон из дома, затаился в кустах.

Когда американка появилась на тропинке, Хиро ни о чем не думал, просто существовал: сидел на корточках, разрисованный пятнами солнца и тени; все сто семь царапин, укусов, ссадин отчаянно ныли. Сегодня американка собрала волосы в хвост и он подпрыгивал у нее за спиной, словно живой, а сама она в мешковатых белых шортах и слишком большой майке казалась похожей на маленького беспризорника. На майке была изображена гребная лодка и написано «Команда «Танатопсиса». Хиро затаил дыхание, хотя заросли были такие густые, что американка нипочем его не заметила бы, даже если б прошла совсем рядом. Приблизившись к коттеджу, она перешла на крадущийся шаг, будто подбиралась к добыче. По ступенькам поднялась на цыпочках, осторожно приоткрыла сетчатую дверь, замерла на пороге, потом с хитрым видом огляделась по сторонам и шагнула внутрь. Дверь захлопнулась со звуком пощечины.

Весь день Хиро просидел в кустах — клевал носом, отмахивался от комаров, подавлял бунт своей *хары* и слушал, как стрекочет пишущая машинка. Когда же солнце поднялось в самый зенит, произошло нечто неожиданное. На полянку бесшумно выскользнул загорелый *хакудзин* и стал медленно подбираться к домику. Хиро встрепенулся от радости — сейчас он сполна расплатится за долг чести. Это насильник, расчленитель, беглый маньяк. Хиро Танака покажет, на что способен, сделает своей благодетельнице самый лучший подарок — спасет ее жизнь. Но тут с разочарованием (смешанным с восторгом) он заметил, что у *хакудзина* на локте корзинка, в которой поблескивают заветные судки. Мужчина был строен и поджар, на голове — здоровенная фуражка. Он беззвучно поднялся на крыльцо и, не произнося ни слова, повесил корзинку на крюк возле двери. Потом таким же воровским манером удалился.

Всю вторую половину дня Хиро не отрывал глаз от корзинки, раздираемый противоположными чувствами. Брать корзинку нельзя, он и так взвалил на себя непомерный долг. Но ведь американка сама предлагала еду, разве нет? Во всяком случае вчера. А как сегодня? Может, она тоже проголодалась, имеет же она право съесть свой обед. И выпить чашку декофеинизированного кофе с бескалорийным сахаром и сухими сливками. Нельзя лишать ее обеда. Как ей вообще на глаза показаться? Что она о нем подумает?

Но американка к обеду не притрагивалась. Бессчетное количество раз она подходила к двери и проверяла, на месте ли корзинка. Хиро чувствовал себя ужасно, каким-то зверьком, которого подманивают к капкану,— белкой или лисицей. Но голод был еще ужасней.

В конце концов американка ушла. Хиро на всякий случай заставил себя досчитать от тысячи до единицы, а потом подкрался к крыльцу, цапнул корзинку и со всех ног назад, в чащу. Еще на бегу он запихнул в рот сандвич с рыбой. Тунец, что ли?

Уже все съев, вылизав оберточную бумагу и осмотрев посуду на предмет затаившихся крошек, Хиро стал терзаться раскаянием. Он чувствовал себя опустившимся и осквернённым, как алкоголик, который не сумел устоять перед искушением выпить первый, роковой стаканчик.

Но голод брал свое. Хиро приходилось довольствоваться малой толикой привычного для него количества пищи, и следующий день прошел по тому же сценарию. Отчаянье достигло критической точки.

Он не станет перед ней унижаться! Да что с ним такое, в конце концов?! Неужто теперь всю жизнь сидеть на корточках в кустах, глазея на засиженное мухами окно единственного в этой стране человека, кто повел себя с ним по-доброму? Как жить дальше? Отрастить длинную бороду, просидеть в болоте до конца своих дней,

словно какой-нибудь троглодит или хиппи? Нет, надо ехать в Город Бобов и Город Большого Яблока [1], в Город Братской Любви, надо раствориться среди толпы, найти работу, завести себе квартиру с западной мебелью и японской домашней техникой, с тостерами, столиками и густыми, лохматыми коврами, наползающими на стены, как морской прибой. Там Хиро будет в безопасности. Можно играть в мини-гольф, есть чизбургеры, гулять по улице с полными сумками продуктов. И никто даже не взглянет в его сторону.

Покончив со вторым по счету и — решено! — последним обедом, Хиро зашагал по тропинке к гудроновому шоссе, которое, в свою очередь, выводило к широкой, залитой солнцем автостраде, а та уже наверняка вела к чудесным многоязыким городам страны свободных и отчизны доблестных.

За стеклянной стеной

— Саксби, вот попробуй только пролить хоть каплю на мою мебель...

Аквариум еще и часу не простоял на новом месте, а Саксби уже наполнял его водой при помощи пластикового шланга, зеленой змеей тянувшегося из раскрытого окна. Стеклянный куб оказался великоват, и втиснуть его в холл перед спальней Саксби не получилось. Пришлось водрузить аквариум на диван в гостиной Септимы. Саксби накрыл диван двойным слоем пленки, но мать все равно нервничала — беспокоилась за хепплуайтский комод, примыкавший к аквариуму слева, и за трехсотлетний сервант красного дерева, что стоял у стены справа.

— Не причитай,— успокоил мать Саксби.— Твоим вещицам ничто не угрожает, ты же знаешь, как я бережно к ним отношусь.

Он держал шланг в одной руке, а другой расставлял и укреплял на дне свою мебель — длинные и мокрые стебли водяных лилий, понтедерии, порфиры, филлофоры, а также поросшие мхом камни, которые накануне выковырял из волнолома и потом несколько часов кипятил в больших кастрюлях, чтобы истребить нежелательные бактерии и микрокультуры. Водоросли Саксби специально вез из Окефеноки.

— Зачем же я буду портить свое собственное наследство?

— Перестань,— улыбнулась Септима, обнажив свои длинные зубы прямо до пожелтевших корней. Она обожала, когда Саксби рассуждал о наследстве, даже в шутку. Больше всего ей хотелось, находясь на смертном одре, взять с него клятву, что он проживет в этом доме долгую и плодотворную жизнь, управляя делами колонии и наслаждаясь блестящим обществом людей искусства, для которых «Танатопсис» навек останется родным домом.

— Ей-богу, мам, вот увидишь, какая получится красотища, когда я закончу.

Септима сидела в просторном и глубоком кресле, обитом ситцем; ноги она положила на оттоманку (обивка в тон); на коленях у хозяйки обложкой кверху лежала «История производства рисовой бумаги в провинции Ву Чань в двенадцатом веке» — чтение, рекомендованное Клубом любителей книги.

— Я знаю, милый,— сказала Септима, и голос ее дрогнул, совсем чуть-чуть, словно она вдруг вспомнила о своем возрасте и бренности бытия.— Но этот комод просто бесценен, настоящее сокровище. Помню, твоя бабушка говорила...

Саксби обернулся. Рукава закатаны выше локтей, с пальцев капает вода, на лице ослепительная улыбка.

— Ты что? — улыбнулась и Септима, не закончив фразы.— Что такое?

— Ты бы себя слышала. Как будто мне шесть лет от роду. А что, я бы согласился вернуться в детство, но чтоб ты мне снова по утрам пекла кукурузные булочки с медом, а вечером укладывала в постельку.

Мать ничего не ответила, но он знал, что ей приятно, глядя на двадцатидевятилетнего здоровяка, вспоминать косолапенького сопящего малыша, обожавшего кукурузные булочки, доверчиво заглядывавшего в глаза — ведь мама знала все-все на свете,— старавшегося не отходить от нее ни на шаг. И так дни, недели, месяцы... А она была молодая, и жизнь казалась куда менее сложной...

Саксби вновь отвернулся к аквариуму, поправил шланг, подкрутил фильтр, присыпал галькой корни порфиры, которую пристроил в самом углу. Булькала

[1] Нью-Йорк.

вода, стебли водорослей ласково щекотали кожу. Какое удовольствие — работать руками, заниматься делом, творить целый мир. Минут пять, а может, и десять Саксби помалкивал, начисто отключившись. Потом, глянув на мать через плечо, спросил:

— Как тут Рут поживала?

Септима отложила книгу и посмотрела на сына поверх очков. На лбу, под самой кромкой седых волос, образовались удивленные морщинки.

— Ты с ней еще не виделся?

— Всего секунду. Мы с Оуэном тащили аквариум, а она как раз спускалась по лестнице. Сказала, в студию идет.

— Так поздно?

Саксби пожал плечами. Руки начинали мерзнуть от холодной воды.

— Она что, пропустила ужин? И коктейль?

— Наверно.— Аквариум наполнился на три четверти, вода в нем сделалась серой, как булыжная мостовая.— Ничего, я скажу Рико, чтоб он ей что-нибудь приготовил. Или купим хлеба с ветчиной в магазине.

Взгляд Септимы стал отсутствующим. Сын догадался, что она мысленно выстраивает в ряд сотни деятелей искусства, останавливавшихся в «Танатопсисе» на ее веку — от малых до великих, от безвестных до прославленных и знаменитых — и пытается вспомнить, случалось ли хоть одному из этой плеяды пропустить час коктейля. Саксби вынул руки из холодной воды и замотал их в полотенце.

— Ладно. Ничего страшного. Я просто...

— Тебе незачем беспокоиться о Рут,— внезапно прервала его Септима.

— Да я и не беспокоюсь,— взмахнул полотенцем Саксби.— Просто она тут новенькая и чувствует себя не в своей тарелке, комплексует немножко. Жалко ее. Потом, я сказал ей, что уеду на два дня, а отсутствовал четыре, и вообще...— неопределенно закончил он.

— Саксби, детка,— снова произнесла Септима затуманенным, старчески подрагивающим голосом.— Перестань возиться с этим стеклянным ящиком, иди сюда и сядь рядом с матерью.

Стенки аквариума покрылись капельками конденсата, шланг выкачивал из недр земли не воду, а какой-то жидкий дед, и Саксби понял, что раньше чем через три-четыре дня рыбу запускать нельзя: замерзнет. Это его немного расстроило. Главное наслаждение от работы — видеть ее завершенной. Шесть дней повкалывал, на седьмой кайфуешь и видишь: это хорошо. Саксби сделал шаг в сторону матери и заколебался, окидывая аквариум последним критическим взором. Водоросли кланялись и покачивались, покорные подводному течению, которое устроили шланг и фильтрационная система. На дне повсюду пещерки, гротики, сложенные из камешков, норки для рыб, а размеры-то, размеры! Шесть футов в длину, двести галлонов воды! Саксби пересек комнату и опустился на пол рядом с креслом Септимы. Она тут же положила руку ему на плечо и нежно, по-матерински, дернула за ухо.

— Я тебе вот что скажу.— Голос ее все еще слегка дребезжал, но теперь в нем звучали легкие контральтовые нотки игривости.— А ты выслушай и запомни. Мы не должны мешать художникам творить, как бы мы ни волновались и как бы поздно они ни засиживались за работой.— Она сделала паузу.— Особенно если мы просто хотим сказать, что нам не хватает их общества. Ты согласен со мной, милый?

Сын не ответил. Он прислушивался к медленному, ровному сердцебиению насоса, налаживавшего порядок в атмосфере маленького мира, который он, Саксби, построил за стеклянной стеной. Вдруг ужасно захотелось спать.

— Так заработалась, что ужин пропустила,— вздохнула Септима. Ее холодная морщинистая рука поглаживала сына по затылку.— Похоже, девочка затевает нечто выдающееся.

* * *

Лишь во втором часу ночи ему удалось увести Рут из бильярдной. Саксби даже немного обиделся, что она не торопится упасть в его объятья. Обиделся — слишком сильно сказано, ведь в конце концов они же засиделись допоздна вместе. Часов в девять съели на кухне омлет, запили бутылочкой вина. Рут была такая

хорошенькая, такая соблазнительная, что Саксби не утерпел — прижал ее к дверце холодильника и потерся бедрами о ее бедра, чувствуя, как закипает кровь.

— Пойдем покувыркаемся.— сказал он, она ответила: с удовольствием, а сама вместо этого потащила его в бильярдную.

Там собралась обычная публика: Таламус, Боб Пеник, Регина, Айна, Клара, новенький — Сэнди — и еще пара-тройка колонистов. Но за время отсутствия Саксби направление ветра переменилось, и он это почувствовал.

— Ой, Рути!— воскликнул Таламус, выскакивая из кресла с проворностью ящерицы, сбегающей с камня.

Еще кто-то крикнул:

— Ла Дершовйц!

И лишь потом соизволили обратить внимание на Саксби, хоть он был в отъезде целых четыре дня.

Рут налила себе полный стакан неразбавленного виски и уселась к карточному столу между Таламусом и Бобом.

Там же сидели Сэнди, Айна и еще какой-то жутковатый тип, которого Саксби раньше не видел — с крашеными волосами и пятнистым, словно склеенным из запчастей лицом. Играли, как всегда, в покер. Регина нависла над бильярдом, звонкими, профессиональными ударами отправляя шары в лузы. В углу устроились две дамочки — Саксби не помнил, как их зовут,— и болтали о чем-то так сосредоточенно, будто отгородились от всех плексигласовой стенкой. Куда же тут было приткнуться? Не к Кларе же Кляйншмидт, которая будет нудить про Шёнберга и двенадцатитоновую систему, пока от скуки мозги не закиснут?

Несколько раз в течение вечера Рут, правда, удостаивала его вниманием: подходила, спрашивала, чего он такой мрачный. Она совершала обход бильярдной, словно какая-нибудь майская королева, а потом неизменно возвращалась к покерному столу и садилась рядом с Таламусом. Саксби пил водку, настроение делалось все паршивее, хоть ей он в этом и не признавался. Поболтал о том о сем с Питером Ансерайном и одним из его учеников — «молчаливые» в кои-то веки наведались в бильярдную; обсудил тонкости выращивания ирисов с Кларой Кляйншмидт, пытавшейся доказать, что она не только композитор, но еще и человек; наконец, уже находясь в полном отчаянии, вызвал Регину Макинтайр на поединок и продулся всухую. Чем сильнее Саксби накачивался алкоголем, тем меньше оставалось в нем радостного волнения, вызванного возней с аквариумом и новыми планами. Радость расползалась и блекла, как масляное пятно на воде.

А потом, когда было уже очень поздно, подсела Рут, сжала руку и поцеловала взасос. Тут же подошел пятнистый, поздоровался и представился агентом Иммиграционной службы — оказывается, это с ним Саксби разговаривал по телефону. Ирвинг Таламус хлопнул Саксби по плечу и рассказал похабную историю про одну шлюху, с которой когда-то имел дело в Саванне. Рут выиграла в покер тринадцать долларов и пятьдесят два цента.

Еще позднее, в постели, после того, как Саксби снял с Рут всю одежду, погладил во всех местах и самым неопровержимым образом показал, как сильно по ней скучал, он лежал, курил и размышлял о неожиданных переменах в бильярдной иерархии. Они ночевали в его комнате, где Саксби жил с самого детства. Чуть дальше по обшитому панелями коридору — спальня Септимы. Ночь была густой, осязаемой, источавшей сквозь противомоскитную сетку запах болота, прилива и медленного, влажного умирания растений. Рут лежала чуть отодвинувшись, ее мокрая от пота кожа поблескивала в лунном свете. Потом приподнялась — одна грудь прижалась к бицепсу Саксби — и прикурила от его сигареты. Огонек разгорелся, высветил ее лицо. Рут с наслаждением выпустила струйку дыма и сказала, что отныне бильярдная принадлежит ей. Это без вопросов. Наконец-то жизнь в «Танатопсисе» становится по-настоящему приятной.

Саксби призадумался. Он лежал, прислонившись головой к спинке кровати, на которой спал с самого детства. Рут была рядом, плечо к плечу, бедро к бедру. Огонек сигареты тлел во тьме.

— Скучала по мне? — прошептал Саксби.

Вместо ответа она положила руку ему на пенис — прикосновение было нежным и шелковистым, как ветерок, наполняющий трепетом паруса.

— Угадай,— с хрипотцой проворковала Рут и приподнялась, чтобы его поцеловать.

Чувствуя на себе ее руку, Саксби заворочался, провел языком по ее губам, вдохнул ее тепло.

— А Таламус? — спросил он.

Рука Рут замерла.

— Что Таламус?

— Не знаю,— промямлил Саксби и отвел глаза, хотя в темноте она все равно не увидела бы их выражения.— Что-то он вдруг воспылал к тебе такой симпатией.

Рука вновь взялась за дело, вкрадчиво и властно.

— Ревнуешь? — шепнула Рут.

Саксби положил окурок на видавший виды ночной столик и накрыл ее ритмично двигавшуюся ладонь своей. Потом поднялся — старые пружины отчаянно заскрипели — примостился на коленях между ногами Рут и прижался лицом к ее лицу. Таламус — ничтожество, высушенный сморчок, шут гороховый, копченая колбаса в целлофане. Саксби запросто мог бы смешать его с дерьмом, обругать самыми последними словами. Но не стал. Вместо этого он честно и просто ответил на поставленный вопрос:

— Да.

Рут лежала под ним скользкая и соленая от пота, желанная, горячо дышала в лицо, шептала:

— Не стоит. Я просто... веду свою игру. Уж ты-то знаешь... Ты, Сакс, ты...

И она утянула его туда, где слова утрачивают всякий смысл.

* * *

Наутро — точнее был уже день, ибо Саксби проснулся в полпервого — он отправился в гостиную Септимы, выпил там кофе, сделал себе бутерброд с яичницей и просмотрел только что доставленную вчерашнюю газету. Он смутно слышал сквозь сон, как на рассвете Рут заворочалась, поцеловала его и отправилась к своим «общительным» завтракать. Но воспоминание было полуреальным и тут же растаяло, вытесненное ярким солнечным светом. Вертикальные лучи пронизывали окна гостиной и делали аквариум похожим на театральную сцену. За ночь резервуар преобразился. Вода обрела полнейшую прозрачность, фильтрационная система очистила ее от мелкого мусора, растения вытянулись в полный рост и поблескивали мерцающим светом, а камни на матовом дне были точь-в-точь как подводные скалы. Саксби еще раз откусил от бутерброда, хлебнул кофе и на этом с завтраком покончил. Он был слишком возбужден, чтобы есть. В следующую секунду его руки уже погрузились в воду, передвигая отдельные камни, подравнивая гальку, поправляя стебелек — так художник наносит последние мазки на готовое полотно. Самое большое наслаждение, заставлявшее забыть и об остывающей яичнице, и о холодном кофе, и о вчерашней газете, доставляло ожидание: скоро этот совершенный микрокосм наполнится жизнью. Если, конечно, улыбнется удача. Без удачи из проекта, осуществлением которого так любовно занимались мокрые и холодные руки Саксби, ничего не выйдет.

Его нельзя было назвать ученым — скорее увлеченным, страстным дилетантом. Академические премудрости, обязательный курс физики, биохимии, геологии и анатомии — без всего этого Саксби запросто мог бы обойтись. Он поучился в нескольких колледжах, причем с возрастающим неуспехом. Септима глубоко почитала науку и охотно поддерживала академические поползновения сына, хоть сама отдавала предпочтение изящным искусствам — ведь в молодости она писала стихи. Саксби же любил животных. Особенную симпатию у него вызывали морские позвоночные. Учебные программы почтенных, расчудесных, наимудрейших университетов этой страсти поспособствовать ничем не могли. В конце концов после шести лет спорадического учения, уже перевалив за двадцать пять, Саксби послал науку к черту и диплом бакалавра тоже. Вместо этого он отправился путешествовать: в Белиз, на Амазонку, на Ньясу и Танганьику, в Новую Гвинею. Потом обосновался в Калифорнии. Жил в основном на проценты с наследственного капитала, немножко подрабатывал — в океанарии, в Стейнхартском аквариуме, подручным на яхте (сажал наживку на крючки для бледных одутловатых джентльменов в костюмах для

рыбной ловли). Год назад Саксби вернулся в колледж. Матери и Рут он говорил, что учился на прославленном океанографическом факультете Скриппского университета. На самом же деле просто болтался там без дела, лишь изредка заглядывая на лекции по какой-нибудь морфологии голотурий. Инерция и скука не давали ему вырваться из трясины затянувшегося детства. Там-то, на одной вечеринке, Саксби и познакомился с Рут. Рут привезла его домой, в Джорджию.

Солнце проделало по небосводу изрядный путь; яичница на недоеденном бутерброде приобрела сначала несъедобный, а затем прямо-таки рвотный вид. Открылась дверь, в гостиную вошла Септима; старая шапочка с козырьком натянута на лоб, джинсы, сандалии, просторная блуза. Септима рухнула в кресло, словно ее кто-то со всей силы толкнул.

— Никогда не привыкну к этой жарище, хоть тыщу лет проживу,— вздохнула она.

Мысли Саксби витали далеко. Он вспоминал поочередно все аквариумы, принадлежавшие ему с детства, всех гуппий, барбусов, нонностомусов и меч-рыбу, проживших свой недолгий век под его опекой. Саксби мечтал о новом проекте, о вдохновенном замысле, который придаст детскому увлечению солидность, подобающую мужчине на тридцатом году жизни.

Внезапно Саксби встрепенулся.

— Неужели ты опять работала в саду?

На пузырящихся коленях просторных джинсов Септимы налипла земля, и мать не стала отпираться.

— Ты что, мам! В такую жару?! Да ты себя угробишь!

Септима вяло отмахнулась, как от мухи.

— Будь солнышком,— попросила она,— дай мне стакан чаю со льдом.

Саксби был сердит. Если ей так уж необходимо возиться в саду, почему бы не делать это вечером? Он прошел из комнаты в спальню Септимы, пересек еще одну гостиную и оказался на внутренней кухне. Это была старинная часть постройки, вокруг которой Де Тревиль-Лайтс, прадед Саксби, возвел дом в его нынешнем виде. Когда Септима двадцать лет назад основала творческую колонию, старую часть дома она оставила за собой, здесь располагались ее личные покои. Кухня была узкая и длинная, с низким бревенчатым потолком, дощатым полом и толстыми каменными стенами, покрытыми множеством слоев штукатурки. Здесь царила прохлада — это давал тень раскидистый, поросший мхом дуб, еще более древний, чем эти стены. Юлония Уайт, дочь Уилера, чистила креветки, стоя у кухонного стола.

— Она снова работала в саду,— пожаловался Саксби, направляясь к холодильнику.

Юлония была женщина видная, в теле, лет сорока пяти, с плохими зубами и мечтательными глазами, рассеянно смотревшими на мир из-за посверкивающих стекол очков в тоненькой оправе. На реплику Саксби она не ответила.

Он налил из глиняного кувшина чая, бросил в стакан ломтик лимона и, ощутив кисловатый аромат, вдруг понял, что ужасно хочет есть.

— Это у тебя что, Юлония, креветочный салат?

Она кивнула, стекла очков блеснули огоньками.

— Для нее. Говорит, вечером тут кушать буду.

— А можешь мне бутербродик соорудить? С черным или белым — неважно. Спроси у Рико, по-моему, у него там есть и черный, и белый. Значит, так: немножко майонеза, черный перец и капельку лимонного сока. Лады? Я у матери.

Вернувшись в гостиную, он протянул Септиме стакан с ледяным напитком и, терзаемый голодом, подобрал недоеденный бутерброд с покойной яичницей, понюхал.

— Я вот сижу тут и смотрю на твой аквариум, Саксби,— сказала мать, отпив чая.— Он и в самом деле красивее всех предыдущих. Но, скажи на милость, рыбки-то, рыбки-то где?

* * *

Уже близился час коктейлей, когда Саксби наконец заставил себя разлучиться со своим сокровищем. Септима с пустым стаканом в руке откинулась на спинку кресла и тихо похрапывала; козырек шапочки казался плотом, плывущим по волнам

ее завитых седин. Саксби тихонько прикрыл за собой дверь, сдернул с крючка в ванной полотенце, быстренько натянул плавки, взял из шкафчика ласты, трубку и маску. Он вышел через заднюю дверь и зашагал через лужайку — к океану, к яхте. Надо было немножко размяться, пока не отяжелел после еды и выпивки.

Солнце так жгло, будто его по спине размазали, но это было ничего, даже приятно. Саксби помахал рукой Айне Содерборд, загоравшей в шезлонге на лужайке, вдохнул аромат океана. Издалека донеслись звуки музыки «диско». А вот и густая тень деревьев. Здесь сильней ощущался первобытный, земляной запах живой природы. В лучах света пестрым конфетти порхали бабочки, стремительно проносились пичужки, на мшистом пне притаился хамелеон торфяного цвета. Саксби чувствовал себя просто превосходно в единении со всем сущим. Остаток дня рисовался чередой приятных и несложных дел: погрузиться в воды Атлантики, в вечное качающееся безмолвие морского дна; потом первый благоуханный глоток водки; Рут; крабное печенье и салат из цикория; брэнди; бильярд; любовь. Пьяная тоска вчерашнего вечера была позабыта. Ерунда, недоразумение, он просто не понял, что Рут ведет игру, плетет свою паутинку. На берегу настроение Саксби достигло высшей точки — радость жизни так его переполняла, что он стал присвистывать и аж подпрыгнул на ходу, словно дядюшка Римус из мультфильма, вот только птичек на плечах не хватало.

Но что это? В лодке кто-то был. Долговязый, тощий тип с фигурой баскетболиста. Спортивная шапочка, пятнистое лицо: Эберкорн. Радостное возбуждение моментально улетучилось, будто свет погасили.

— Привет,— пробормотал Саксби, чувствуя себя полным идиотом и уставившись на свои грязные ноги. Вроде как лодка уже принадлежала не ему; вода, деревья, земля, где больше двухсот лет появлялись на свет и отбывали в мир иной его предки — тоже.

Эберкорн лихорадочно строчил что-то в желтом блокноте, не обращая внимания ни на Саксби, ни на чудесный день, ни на покачивание яхты. На голове у агента были наушники. Саксби проследил взглядом за проводами, тянувшимися от белесых ушей Эберкорна к пегой шее и мятому воротнику, а далее нырявшими в карман рубашки, где лежал магнитофончик. Агент не то писал роман под диктовку загробных духов, не то переписывал на бумагу беседу с очередным недоумком из местных.

— Привет! — повысил голос Саксби.

Никакой реакции. Тогда он швырнул в лодку ласты, и Эберкорн чуть не выпрыгнул из кожи, словно атакованный откуда-то изнутри. Он вылупил глаза — надо же, они, оказывается, розовые, как у кролика,— сдернул наушники и зашлепал губами.

— Ой, то есть..,— промямлил агент с таким видом, будто только что прибыл из дальнего далека.— В смысле... ну, я надеюсь, вы не против, что я тут, в лодке... Просто такой день отличный, вот я и...

На этом Эберкорн замолк, выдохся, как детский шарик, из которого вышел весь воздух.

— Само собой,— кивнул Саксби, смущенный ничуть не меньше, чем это розовоглазое чудо природы.— Никаких проблем. Я собираюсь выйти в море, понырять немножко.

Эберкорн и не думал уходить. Вместо этого впился в Саксби острым взглядом и спросил:

— Ничего, если я задам вам пару вопросов?

Саксби вздохнул. Солнце стекало с небес сиропом, в котором тонуло все вокруг.

— У меня буквально одна минута,— заявил он, шагнул в воду, взялся за борт и перемахнул в лодку.

Агента интересовал эпизод в магазине самообслуживания, а также подробности первой встречи с преступником в проливе Пиглер-саунд. Как выглядел япошка? Какого он роста? Он что, действительно набросился безо всякой провокации с их стороны? Саксби ответил на все вопросы, попутно налаживая мотор, проверяя свечи, уровень топлива и состояние шнура стартера. На самом выигрышном месте, когда Саксби живописал кульминационный момент инцидента в магазине — как японец прижал к груди провизию, набычился, будто нападающий на футбольном поле и рванул к двери,— Эберкорн перебил его.

— Послушайте, а можно спросить?

Спросить? А чем, по-твоему, ты до сих пор занимался, подумал Саксби.

— Я хочу сказать, задать личный вопрос,— пояснил агент.

Саксби колдовал над мотором.

— Валяйте. Спрашивайте.

— Насчет вашего выговора. Сам-то я из Лос-Анджелеса, и местный южный говор для меня — прямо тарабарщина какая-то. Только не обижайтесь, ладно? И только вы разговариваете нормально. Вы ведь тоже местный, да?

Саксби спрашивали об этом раз тысячу, и ответить определенно он не мог: и да, и нет; с одной стороны, вроде местный, с другой — не совсем. Родился здесь, в Саванне и когда-нибудь будет владеть половиной острова Тьюпело, но разговаривает как настоящий янки. А все потому, что полжизни, самые важные, формирующие годы провел в Нью-Йорке и Массачусетсе. Спасибо папочке. Не успел дедушка улечься в могилу, как Марион Лайтс взял жену и годовалого сына в охапку и увез в Оссининг, штат Нью-Йорк, на реку Гудзон. Семья Лайтсов с незапамятных времен владела контрольным пакетом акций большого допотопного завода, производившего дрожжи, маргарин, джин, водку и виски, паршивее которого не было во всей истории человечества. Предки предпочитали управлять заводом на расстоянии, но Марион рассудил по-своему. Он решил стать Промышленным Магнатом, а управление угодьями на острове Тьюпело доверил одному старику из бывших надсмотрщиков, по имени Кроуфорд Шипуотер. В те времена поместье называлось Кардросс, в память о Кардроссе Лайтсе, основателе плантации, которая благополучно пережила шесть поколений владельцев, многочисленные засухи, наводнения, скачки в ценах на хлопок, нашествие янки, внедрение комбайнов и посягательства алчных застройщиков.

Саксби смотрел на Эберкорна, дожидавшегося ответа, но видел перед собой отца, человека упрямого и глубоко несчастного. Несчастным он стал после того, как годы добровольной ссылки на север не принесли ему лавров Рокфеллера, Моргана или Гарримана. Вначале Марион так и бурлил энтузиазмом. Когда Саксби было шесть, семь, восемь, отец представлялся ему эдаким смерчем, великаном, кем-то вроде Пикоса Билла или Пола Баньяна [1]. Отец был раскрасневшимся лицом над обеденным столом и твидовыми плечами, на которых отлично ездить верхом. Он любил поезда и непонятные шутки. «Саксби, видишь вон ту псину?» — часто говорил отец звучным голосом южного плантатора, показывая на какую-нибудь овчарку или гончую, резвившуюся на лужайке. Сын кивал. «Она из Огайо». Саксби много раз слышал эту шутку, но понять ее так и не мог, а потому всякий раз спрашивал: «Откуда ты знаешь?» Тогда Марион тоном профессора ветеринарных наук отвечал: «Потому что под хвостом у нее буква «О».

В конце концов отец заперся от всего мира в дальних покоях своего бело-серого викторианского особняка, выходившего окнами на Гудзон. Перед этим, последним этапом он часами бродил по комнатам с нехорошим блеском в глазах и громогласно заявлял — в любом обществе и множество раз на дню,— что «п...ец он и есть п...ец». Такую он избрал себе формулу. Допустим, сидит за столом, в окружении гостей, потом вдруг оторвется от тарелки с супом, окинет присутствующих хитрым взглядом, хлопнет в ладоши. «Знаете, что я вам скажу.— Сделает паузу, чтобы посмотреть в глаза Септиме.— П...ец он и есть п...ец. Такие дела».

Ну вот, а потом, когда жена с сыном отправились за покупками, а горничная ушла домой, Марион заперся от всего мира в дальней комнате; с собой он прихватил бутылку с бурдой, которую его завод производил для алкашей нашей великой страны, и такое количество секонала, что им можно было бы усыпить на месяц весь директорский совет компании.

Саксби тогда было девять лет. Хотя Септима родилась на Юге, в Мейконе, да и колледж окончила там же, в Мариетте, она не пожелала возвращаться в большой пустой дом на Тьюпело и предпочла остаться в большом пустом доме на Гудзоне. Охваченная горестным недоумением, Септима вновь обратилась к поэзии, некогда бывшей романтическим бастионом ее юности. Там она и нашла утешение. Шесть месяцев спустя мать и сын вернулись на остров. Так возник «Танатопсис-хаус» —

Таинственный чертог,
Где каждый обретает
Приют средь молчаливых стен [2].

[1] Пикос Билл, Пол Баньян — легендарные пионеры американского Запада.

[2] Из стихотворения американского поэта У. К. Брайанта (1794—1878) «Танатопсис», описывающего царство смерти.

«Танатопсис», храм искусства, воздвигнутый из пепла покойного Мариона. Три года Саксби жил с матерью, но затем она отослала мальчика на север, в Гротон, потому что образование, которое могла дать местная школа, годилось «только для голодранцев и черномазых». За Гротоном последовала череда колледжей, учение в коих растянулось на годы. Потом — привольная жизнь в Калифорнии, еще одном оплоте янки. Ничего удивительного, что Саксби говорил не по-южному, а как чужак. Да, он был местным, безо всяких сомнений, но как бы на полставки.

В общем, долгая история. Чтобы не вдаваться в подробности, Саксби выкатил глаза и тягуче, нараспев зарокотал:

— Эта-а, масса Эбакон, чевой-то вы пряма. Ей-богу, не пойму. Тутошние мы.

Эберкорн фыркнул.

— Ничего. Здорово у вас получается.

Он завинтил колпачок ручки, сунул ее в карман рубашки и произнес целый спич о том, что никогда в жизни не совершал морских прогулок у джорджийских берегов и не будет ли Саксби возражать, если он напросится в спутники, тем более что яхта готова к отплытию и все такое.

Саксби изучающе посмотрел на Детлефа: тяжелый подбородок, белоснежные зубы, тусклого оттенка кожа, подкрашенные волосы. Пожал плечами:

— Почему бы и нет?

После чего врубил двигатель.

* * *

Первая неделя августа была неторопливой, шелковистой и сладостной. Саксби погрузился в объятья родного дома, Рут, матери, бездумно и естественно, словно подчиняясь зову природы. Каждый вечер он допоздна засиживался с Рут — накачивался коктейлями, ужинал с поэтами, художниками и скульпторами, слушал вполуха декламацию стихов или чтение прозы, думая о своем; болтал о пустяках с завсегдатаями бильярдной. К ночи липкая, надоедливая жара немного спадала, со стороны океана чуть веяло прохладой. Утром Саксби долго спал, пока еще не очень припекало. Завтракал с Септимой, созерцая прекрасный и все еще безжизненный аквариум. Вторая половина дня была занята рыбной ловлей, плаванием и нырянием. Потом приходил вечер — снова Рут, снова все сначала.

Наблюдать за Рут было одно удовольствие. Она работала: коктейли, ужин, изменчивая атмосфера бильярдной — Рут была в своей стихии, ловкая и коварная, как профессиональный политик или диверсант. У нее находилось время перекинуться парой слов или пошутить с каждым, от неприступной Лоры Гробиан до компанейского Таламуса, причем о мелкой рыбешке Рут тоже не забывала. Она просто потрясала — когда бы Саксби ни взглянул на нее, Рут все время находилась в режиме диалога: жестикулирует, поджимает губки, приподнимает бровь, многозначительно кивает. Только что пила коктейль в обществе Питера Ансерайна и двух его тощих приспешников, и вот уже оказалась на противоположном конце гостиной, рядом с Кларой Кляйншмидт — обе хохочут-заливаются, прямо слезы на глазах. По дороге успела подмигнуть Сэнди, Регине, Бобу Пенику и, конечно, Саксби. Уж о нем-то она всегда помнила, в какой бы ажитации ни пребывала: такой взгляд кинет, что искры летят.

И вдруг наступает час коктейлей, а ее нет. Саксби стоял с бокалом в руках, стараясь быть остроумным и обаятельным, но сам все поглядывал по сторонам — где же Рут. Она появилась только во время ужина, тихонечко села рядом. Запыхалась, глаза от возбуждения широко раскрыты.

— Что случилось? — спросил Саксби.

Она взяла его за руку, чмокнула в щеку, ни на миг не прекращая кивать, подмигивать и улыбаться прочим, сидевшим за столом.

— Ничего. Просто заработалась. У меня получается что-то потрясающее. Это будет лучшая из моих вещей.

— Здорово,— искренне порадовался за нее Саксби.

Рут положила в рот кусочек телятины.

— Слушай,— сказала она.— Можешь завтра съездить со мной в Дариен? Мне нужно кое-что купить.

— Конечно.

Она откусывала мясо ровными острыми зубками.

— Чего-нибудь пожевать во время работы — печенье, сыр и так далее. Знаешь,— искоса взглянула на него Рут,— там просыпается зверский аппетит.

Аппетит. Понятно, никаких проблем. Саксби зашептал ей на ухо, они поцеловались. Ее губы отдавали телятиной, а все вокруг смотрели.

В конце недели Саксби отправился в новую экспедицию, на сей раз в надежде вплотную приступить к осуществлению своего проекта — ждать больше было нельзя. Предстояло найти и поймать одну редчайшую, почти легендарную рыбку, которая принесет ему славу и богатство. Впрочем, богатство у него уже было, стало быть, речь шла о славе — высечь свое имя на скрижалях истории аквариумистики. Рут сопровождать его не пожелала. Сказала, в другой раз. Слишком уж хорошо у нее идет работа, поток вдохновения, боится спугнуть. О, она будет скучать, хоть Саксби уезжает всего на сутки, и непременно составит ему компанию в следующий раз. Это она обещала твердо.

Полдня, а потом еще и утро после ночевки Саксби провел на реке Окефеноки. Палило солнце, одолевали насекомые, а он закидывал сеть, тянул невод, ставил переметы. Чего только не наловил — окуней-пиратов, золотистых гольянов, иглоносных сарганов, болотных шнырков, родниковых кижучей. Только той, что искал, не было. Обидно, конечно, но не смертельно. Признавать поражение было рано. Разумеется, Саксби надеялся, что ему повезет с первого раза, но настроен был реалистически — придется устроить еще сотню вылазок на болота, прочесать их частой гребенкой, и лишь тогда, возможно, улыбнется удача. В конце концов, Ахав белого кита тоже не один день ловил. Время Саксби провел неплохо: приятно было прокатиться на машине, побыть денек среди девственной природы, даже ночь, проведенная в одиночестве в мотеле, не испортила настроения — по телевизору передавали бейсбольный матч с «Атлантскими храбрецами».

К полудню второго дня Саксби решил, что хватит; вернул взятую напрокат лодку, добычу выпустил на волю. Было искушение прихватить несколько экземпляров для безжизненного аквариума — особенно серебристых, переливчатых сарганов,— но Саксби устоял. В сотворенном им маленьком мирке не должно быть места всякой дешевке. И скорее назад, в обратный путь, чтобы не опоздать на паром и поспеть к коктейлю.

Был уже ранний вечер, когда Саксби въехал на подъездную аллею и из-за поворота показался дом. На южной лужайке наблюдалось какое-то копошение. Подъехав поближе, Саксби увидел, что колонисты затеяли пикник — белые женские платья и светлые пиджаки мужчин казались бледными цветами, распустившимися на интенсивной зелени травы. Септима величественно восседала в деревянном шезлонге, увенчанная соломенной шляпой с вуалью. Саксби помахал матери рукой. Рут наверняка тоже где-то там. Он притормозил на ходу, пригляделся — но нет, ее не было. Поставил пикап в гараж, выключил двигатель, распахнул дверцу. Над машиной клубилось розоватое облачко пыли.

Саксби хотел помыться — от рук несло окунями, гольянами и жирным навозным ароматом Окефеноки; джинсы задубели от грязи и налипшей чешуи,— но не успел. В таком виде и застала его Рут. Саксби едва вылез из пикапа, а она тут как тут, в открытом платье, все волнующие выпуклости и впадинки наружу. Обняла его, простонала:

— Сакс, как я рада, что ты вернулся.

И прижала к себе, да еще поцеловала, не обращая внимания на чешую и запашок.

Саксби завелся и разогрелся моментально, как отлаженный мотор. Обхватил ее, стиснул, смущенный и растерянный, не зная, что сказать. Может быть, тихонечко отодвинуться, чтобы не испачкать ей платье? Рут тоже молчала, просто припала к его груди. Это тоже было странно, ведь молчаливостью, она не отличалась. И тут Саксби ощутил легкий толчок, первый вестник надвигающегося эмоционального землетрясения. Рут рыдала.

— Что? — спросил он.— Что такое?

Она не подняла лица.

— Что-нибудь случилось? Пока меня не было, да? В чем дело, малышка?

— Ах, Сакс,— хрипло и скорбно выдохнула Рут и снова замолчала. Обняла его еще крепче, он ответил тем же.

— Поговори с матерью. Пожалуйста. Ради меня...

Поговорить с матерью?

— Про Джейн Шайн.

Теперь она подняла голову, и он увидел ее залитое слезами лицо и холодную ярость в глазах.

— Ей сюда нельзя! Она не смеет! Она сука, снобка. Весь талант у нее между ног! Больше в ней ничего нет. Она не заслуживает такой чести, Сакс!

Он зарокотал что-то утешительно-нечленораздельное, но Рут не желала утешаться.

Ее пальцы вцепились ему в бицепсы, взгляд стал жестким.

— Сакс, я не шучу. Она не должна здесь появляться.

С лужайки донесся дружный хохот, но Рут его не слышала. Ей сейчас было не до этого.

— Она все испортит, я знаю.

Русу

Стоял тяжелый, паркий тропический день, звенящий от мух и до омерзения пропахший гнилостью отлива, день, когда Рут не испытывала ни малейшей охоты завтракать за «столом общения». Какой уж там «стол общения»; с каменным лицом поздоровавшись с Оуэном и молча взяв у Рико пару горячих булочек с маслом, она прямиком направилась к «Харту Крейну», хотя настроения работать тоже никакого не было. Настроение у нее было смотаться с острова куда подальше; настроение было, ухлопав два часа на одевание, засесть за обед из восьми блюд в лучшем французском ресторане Нью-Йорка, а потом накричать на официанта, шеф-повара и метрдотеля. Настроение было ударить собаку, вырвать зуб, явиться на один из тех бесчисленных семинаров, что доставили ей столько мук в университетские годы, и язвительным замечанием поддеть какую-нибудь дурочку с лучистыми глазами.

Мошки с лёта впивались ей в лицо. Ступни ныли. Что за поганый день. Нулевой день. Гадкий, вонючий, линялый, застойный день — день, когда Джейн Шайн во всем блеске дешевой дутой славы осчастливит «Танатопсис-хаус» своим прибытием.

С утра Рут засела за японский рассказ — она назвала его «Прибой и слезы»,— но работа не клеилась, Рут все время вязла то в одной, то в другой фразе и погружалась в сомнения из-за таких мелочей, которые, когда распишешься, едва замечаешь. Она с трудом дождалась обеда и, как только Оуэн отошел, тут же вскочила из-за стола, сдернула с крючка корзинку и, мысленно послав Хиро куда подальше, принялась есть — торопливо, жадно. Она не видела его уже неделю, и не было никаких признаков его посещений. Фрукты и сыр, которые она ему оставила, благополучно догнивали, консервные банки стояли нетронутые, печенье заплесневело от сырости. Уже одно это ее задевало — выходит, бросил ее. Он был живой литературой, воплощенной фантазией — вообразила японца, и вот он тут как тут. Он нужен ей, как он этого не понял?

Волноваться, конечно, она волновалась, само собой. Он мог утонуть, сгинуть в болоте, его мог выследить и нашпиговать свинцом какой-нибудь ретивый добытчик енотов из тех, что вечно ошиваются у дверей местного ветеранского совета. Впрочем, нет, если бы его пристрелили, дым не успел бы развеяться, как она бы уже об этом знала — какие там на Тьюпело тайны. Но он вполне мог удрать — добраться до материка вплавь или на пароме притаиться. Или — думать об этом было и вовсе неприятно — мог подкатиться к кому-нибудь еще, найти очередную альтруистку, которая, глядишь, в этот самый миг подносит ему миску горячего риса с овощами, политого соевым соусом «киккоман», и хрустящие хлебные палочки. Наверняка так оно и есть — поуютнее нашел местечко. И посытнее. Променял ее на какую-нибудь старую каргу с сизым носом и трясущимися руками, которая небось возится с ним, как с приблудным котом. А что, точно. Ее словно осенило: да он и вправду кот, тварь продажная, хоть сказал бы спасибо за весь риск, на который она шла, добывая ему чистую одежку, и за все дни, когда она без обеда из-за него сидела. Она вдруг увидела его по-новому: он использовал ее, вот и все дела, а возвращаться и не собирался. Она просто-напросто задурила себе голову — какая там взаимная тяга культур, какой там контакт, какой соблазн. А пошел он, подумала она, уплетая обед с такой быстротой, словно не ела неделю.

Позже, когда голова вконец отяжелела и работать стало невмоготу, когда она решила, что дала Джейн Шайн достаточно времени, чтобы вселиться и убраться с глаз долой, Рут поднялась из-за стола, мрачно оглядела комнату — все эти почерневшие бананы, пыльные банки с сардинами, анчоусами и тунцом — и побрела восвояси. Она хотела переждать коктейли, а потом уломать Саксби отвезти ее ужинать на материк, хотела отдалить неизбежное — нет, она просто не в силах видеть лживую рожу Джейн Шайн, нет, только не сейчас, только не сегодня. Но когда, войдя в большой дом, она собралась незаметно проскользнуть наверх, в дверях гостиной вдруг вырос Ирвинг Таламус с бокалом в руке и цапнул ее за локоть. Недолго думая, сгреб ее в объятия, неловко ткнулся губами ей в губы и уставился на нее с пьяноватой лучезарной улыбкой — а она тем временем тянула шею через его плечо, невольно высматривая в коловращении гостиной этот вздернутый носик, эту лавину переливчато-черных волос испанской танцовщицы, эти «неотмирные» глаза и тощую грудь, всю эту эфирную уродину — Джейн Шайн.

Ирвинг Таламус все тискал и тискал ее, глупо скалясь и дыша ей в лицо алкогольными парами.

— Ну дела,— сказал он, на мгновение перестав улыбаться.— Никакой тебе Джейн. Не приехала.

На Рут повеяло надеждой. Она представила себе обломки самолета, рассыпанные по каменистому склону, дымящиеся куски искореженного металла, воронье пиршество, сплюснутый в гармошку автомобиль, сошедший с рельсов поезд. *Я вам очень сочувствую, Рут, очень,*— вспомнились ей слова Септимы,— *но раз сове-ет принял такое решение, я не могу противиться. Если они сочли мисс Шайн подходящей кандидатурой — а слава о ней, надо сказать, разнеслась далеко — мне остается только приветствовать ее и устроить наилучшим образом, как всех, кто сюда приезжает.*

— Ведь ее вроде утром ждали?

Таламус пожал плечами.

— Она хоть звонила? Известила кого-нибудь?

— Ты же знаешь Джейн,— ответил он.

Да, как не знать. Они вместе учились в Айовском университете на первом году аспирантуры, пока Рут не выбыла и не поехала пытать счастья в Эрвин. С первого же дня, когда Джейн вступила в аудиторию с потупленными долу очами и бескровным лицом под высокой шапкой заколотых шпильками волос, она стала королевой со всеми королевскими атрибутами и регалиями, а Рут стала дерьмом собачьим. Джейн писала о сексе и только о сексе, писала вычурную рафинированную прозу, которую Рут считала претенциозной, но преподаватели — а работали с ними, между прочим, одни мужчины — превозносили как трепетное слово гения. Рут боролась. Боролась изо всех сил. В конце концов, это было дело ее жизни, и ей удалось все же пленить одного из педагогов — тощего бородатого дерганого поэта-внештатника из Бурунди. Но у него были трудности с английским, и, вероятно, по этой причине — а, может, потому, что он работал временно и на ушах и вокруг губ у него красовалась племенная татуировка,— его мнение мало что значило. И весной, когда определяли стипендиатов на следующий год, Джейн Шайн смела все на своем пути.

Злая и подавленная, Рут ушла из Айовского и подалась в родную Калифорнию, в Эрвин, где ей удалось произвести на свет рассказ, благосклонно принятый к публикации в «Дихондре». Но даже эта крохотная победа оказалась отравлена, поругана, задушена прямо в колыбели: когда она вернулась домой, скромно отметив событие с двумя университетскими подругами, она обнаружила в почтовом ящике очередной номер «Атлантика» с рассказом Джейн Шайн — все той же переусложненной сексуальной сагой, которую она читала вслух на семинаре в Айове, теперь напечатанной этим особым, до боли знакомым шрифтом и уютно угнездившейся между Очень Важной Статьей и Очень Важным Стихотворением. И пошло-поехало: рассказы Джейн появились в «Эсквайре», «Нью-Йоркере» и «Партизан ревью», а потом у нее вышел сборник, и повсюду замелькали ее фотографии, и критики — опять же исключительно мужчины — сплошь попадали замертво со словами высочайшей, изысканнейшей хвалы на хладеющих губах. Еще бы Рут ее не знала.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она.

— Что она любит эффектно появиться. Любит повысить градус, подержать людей в напряжении. Уж она-то разит наповал. Как чемпион в тяжелом весе.

Это была неловкая минута. Хуже: минута грызущей тоски, отчаяния, беспросветности. Она не могла атаковать твердыню Джейн Шайн в лоб — Джейн и Ирвинг Таламус вместе были на писательской конференции в Пуэрто-Вальярта, это были родственные души и закадычные друзья, если не что-то большее,— и похвала из его уст, даже простое упоминание о Джейн терзали ее, как впившиеся в мягкую плоть рыболовные крючки. Рут тщетно ломала голову в надежде подпустить какую-нибудь колкость под видом вполне невинного, доброжелательного замечания, словно она могла пожелать Джейн Шайн что-нибудь помимо потери зубов, волос, красивой внешности и какого бы то ни было таланта, и вдруг кто-то крикнул:

— Глядите, машина!

Рут так и оцепенела, ощутив прилив столь определенного, столь хорошо знакомого страха; ей показалось, что ее, как героиню дешевого фильма ужасов, уволакивают в подземелье сквозь внезапно распахнувшийся люк. В длинном полуоткрытом окне вестибюля, как в раме, возник серебристый спортивный «ягуар», плавно подкатывающий к бордюру. Верх был откинут. В спицах колес дробился солнечный свет. За рулем сидел мужчина скандинавского типа — квадратная челюсть, грива светлых волос, ослепительные зубы,— а рядом, сверкая и переливаясь, как елочная игрушка, красовалась Джейн Шайн в ярком шелковом шарфике и огромных темных очках. Небольшой стандартный трейлер, символ обыденности и убожества, поспешных переездов и мебельной рухляди, в ином случае преисполнил бы Рут неизъяснимым удовлетворением; но, прицепленный к этому сияющему обтекаемому среброкрылому чуду, он и сам ухитрялся выглядеть чуть ли не шикарно.

— Да это Джейн! — воскликнул Таламус, изумленно взвизгнув, словно ждал кого-нибудь еще. Он сдернул руку с плеча Рут, рывком распахнул дверь — и полным ходом на крыльцо. В тот же миг молодой человек с квадратной челюстью атлетически выпрыгнул из машины, спеша открыть перед Джейн дверцу. Рут с тоской увидела, что парень у Джейн просто загляденье — высокий, худощавый, мускулистый, настоящий завоеватель-викинг, а сама она вовсе не растолстела, как поговаривали, а так же стройна, очаровательна и свежа лицом, как шестнадцатилетняя девушка, завороженная тайной расцветающей плоти.— Милости просим,— гудел Таламус, сходя по ступенькам с широко разведенными руками, словно он лично клал каждый камень в стены большого дома, словно он тут родился и вырос, аристократ-плантатор, пьяница и лошадник, полковник Таламус собственной персоной.— Милости просим в сердце Юга!

Рут не стала дожидаться хищных, бесстыдных таламусовско-шайновских объятий, не стала глядеть, как раб-северянин выволакивает из трейлера багаж в большем количестве, чем брала в свои поездки по империи королева Виктория, не стала смиренно стоять в вестибюле, чтобы встретить и поздравить с блестящим успехом бывшую однокашницу, торжественно всходящую по лестнице в потных объятиях одного из светил еврейско-американской словесности. Нет уж. Кто угодно, только не она.

Едва Таламус вышел за дверь, она, резко крутнувшись, пустилась наутек — вверх по лестнице, по коридору, в свою комнату, и лицом вниз на кровать, словно подстреленная. Так лежала она среди густеющих теней,— а внизу тем временем гомон коктейлей сменился веселым звяканьем столовых приборов,— так лежала она с колотящимся сердцем, обостренно вслушиваясь в торопливые крадущиеся шаги раба-скандинава, который вносил вещи Джейн не куда-нибудь, а в комнату через стенку от нее, в просторную, светлую, полную антикварной мебели комнату на двоих, пустовавшую все время, пока Рут жила в «Танатопсис-хаусе». Она вслушивалась, как ребенок, играющий в прятки,— ребенок, который слишком хорошо спрятался, так что другие дети поискали-поискали и начали терять к нему интерес, хотя все еще бродят вокруг да около; вслушивалась до тех пор, пока звуки ужина не затихли и спортивная машина не укатила, взревев, в неведомую даль.

* * *

Она, должно быть, задремала. Когда Саксби зашел за ней, было уже почти восемь, и ей пришлось одеваться второпях, чтобы не опоздать на паром. Летом по выходным вернуться на остров можно было двенадцатичасовым, что давало им, за

вычетом дороги, только часа два на ужин, коктейли и отдых. Рут чувствовала, что ей необходимо сменить обстановку. Пока пили первый коктейль, прекрасный «манхэттен» с лимонными дольками, она даже хотела подбить Саксби взять номер в каком-нибудь мотеле на побережье, но потом передумала. Рано или поздно с Джейн Шайн все равно придется столкнуться, так уж лучше сегодня вечером в бильярдной, где хоть почва под ногами не колеблется.

После второго коктейля и нескольких устриц настроение стало налаживаться. Не зря они в ресторан поехали. Это было уютное изысканное заведение с прекрасным интерьером, очень стильное, трехвездочный «Мишелен», тут одна карта вин с хороший русский роман. А Саксби — ну, Саксби настоящее сокровище. Сколько плутовства в нем и сколько надежности, как он красив, как мягко переливаются отблески горящих свеч в золотом нимбе его волос, как влюбленно он в глаза ей глядит — милый, настойчивый, сексуальный Сакс, стоящий десятка нордических типов в их «ягуарах». Едва над тарелкой супа, ломтиком французской булки, кусочком écrevisse [1] возникал призрак Джейн Шайн, как он прогонял его шуткой, поцелуем, нежным прикосновением. И вот, в самый разгар ужина, он предложил тост.

Рут наслаждалась льдистой свежестью грейпфрутово-лимонного glace [2], и вдруг откуда-то сбоку вынырнул официант с бутылкой шампанского. Подняла глаза на Саксби — он так и сиял. Когда сдвинули бокалы, от удовольствия кровь бросилась ей в лицо. Неисправимо сентиментальный, он не уставал делать все эти ритуальные жесты — дескать, вот уже восемнадцать недель они вместе, вот уже двадцать две и так далее; но на этот раз он застал ее врасплох.

— За окефенокскую элассому,— провозгласил он.

— За кого, за кого?

— Пей давай.

Выпила.

— За окефенокскую элассому,— повторил он.— Точнее, за ее карликовую разновидность.— Он снова наполнил ее бокал. По его лицу бродила странная, внушавшая тревогу улыбка — вот сейчас вскочит из-за стола, схватит официанта и закружит его в диком вальсе.— Не путать с элассомой Эверглейда,— добавил он, заговорщически понизив голос.

Пожилой господин за соседним столиком авторитетно высморкался. Но Рут уловила легкое причмокивание, спазм беззвучного смеха. Она растерялась.

— Мой новый план, Рут,— сказал Саксби, отводя узкое зеленое горлышко бутылки от ее бокала.— Карликовая элассома. Она и сама-то по себе редкость, водится исключительно в междуречье Олтамахо и Чоктохатчи, а мне нужна еще более редкая разновидность.— Он остановился и схватил ее за руку. Глазищи так и сияли. Улыбка была прямо безумная.— Альбиноска.

Рут слегка захмелела. Они чокнулись.

— За альбиносов! — воскликнула она.

Но Саксби, похоже, ничего уже не воспринимал. Он завелся не на шутку; непрестанно жестикулируя, он сыпал сведениями о карликовых рыбах, о том, как такой-то первым описал тенденцию к альбинизму, как биологи из университета штата время от времени вылавливали в водах реки Сент-Мэрис необычные экземпляры и как он, Саксби, будет отыскивать и разводить альбиносов, превратит декоративный пруд у большого дома в садок и будет снабжать ими любителей редких рыб по всему свету.

— Им подавай Африку и Южную Америку,— рассуждал он,— они не понимают, что настоящая золотая жила тут, в болотах Окефеноки и реке Сент-Мэрис. Ты только подумай об этом, Рут. Только подумай.

Думать о рыбах при всем желании у Рут не получалось — рыба для нее существовала, пожалуй, только в вареном или жареном виде. Но и о Джейн Шайн она думать перестала. Успокаивающе журчал голос Саксби, вино было хорошее, еда — еще лучше, плеск волн за темными лакированными жалюзи навевал дремоту. Она выпила за план Саксби, с радостью выпила. Кончилась одна бутылка, заказали другую.

Потом, стоя на носу «Тьюпело куин» и глядя, как над черными водами пролива

[1] рака *(франц.)*.

[2] мороженого *(франц.)*.

Пиглер-саунд невысоким темным горбом вырастает остров, она почувствовала, как в ней растет уверенность. Подумаешь, Джейн Шайн. Пусть ее окружает хоть сотня таких Джейн Шайн — ведь у нее есть Саксби, есть Хиро (вернется, никуда не денется), есть большой дом с бильярдной и есть работа. Она чувствовала себя сильной, открытой, щедрой, чувствовала готовность предать забвению мелочную зависть, что донимала ее все эти годы. Литература — не гонка на скорость. Нет тут ни победителей, ни побежденных. Люди пишут ради самой работы, ради того, чтобы собственный мир сотворить, и если какая-нибудь Джейн Шайн лезет вперед и забирает себе премии, захватывает страницы журналов, получает лучшую комнату в «Танатопсис-хаусе» — что ж, пускай. Это не состязание. Нет, не состязание. Тут каждому место найдется.

Размякшая от вина, Рут вся отдалась этому новому настроению и, поднимаясь по лестнице в бильярдную рука об руку с Саксби, ощущала себя чуть ли не святой — феллиниевской Джульеттой, Беатриче, матерью Терезой. Там собралась обычная компания. Накурено было — не продохнуть. Стучали шары. Когда они входили, комната содрогалась от дружного хохота, сменившегося конвульсивными вздохами; Рут отпустила руку Саксби и пошла через комнату к карточному столу. Все взгляды обратились на нее. Она знала, что выглядит скромной, полной изысканного смирения и благородства. «Рути»,— сказал Ирвинг Таламус, подняв глаза от карт.

Это «Рути» должно было насторожить ее: в нем не было радости, не было оживления; это была простая констатация ее появления, обрубленная, точно ножом,— но Рут ничего не слышала. Она шла к противоположному концу комнаты, рот растянут в широкой ослепительной улыбке стюардессы, все внимание — на Джейн Шайн. Где-то слева смутно маячили Сэнди и поэт Боб, но ясно она видела только Джейн, занявшую место по правую руку от Таламуса — ее собственное место.

Все умолкли. Ноги Рут работали, новое прямое красное платье, которое она надела в ресторан, мягко колыхалось вокруг бедер — но ей чудилось, что она не движется с места, что пол превратился в колесо ступальной мельницы, что она погрузилась в какой-то гнетущий сон. А потом внезапно, слишком внезапно она увидела, что стоит у самого карточного столика и Джейн Шайн смотрит на нее в упор. На Джейн было белое плиссированное льняное платье со стоячим воротничком и множеством безукоризненных складок — притом, что жара в комнате была неимоверная. Густые завитки ее черных как смоль андалузских волос небрежно падали на лоб, а глаза — льдистые фиолетовые глаза — кололись, как две булавки.

— Джейн,— обратилась к ней Рут, и звук собственного голоса показался ей странным, как будто доносился из-под толщи воды или был записан на магнитофонную ленту и прокручен на другой скорости,— рада тебя видеть в «Танатопсисе».

Джейн не пошевелилась и не произнесла ни слова — только длила и длила молчание, полное оглушительного биения насекомых в оконные стекла.

— Простите,— сказала она наконец,— разве мы знакомы?

* * *

Ни о каком завтраке на следующее утро и речи быть не могло — Рут и кусочка бы не переварила. Она встала раньше Оуэна, раньше, чем на деревьях защебетали птицы и ночь стала размываться рассветной мутью. Сказать по правде, она и глаз-то не сомкнула. Всю ночь проворочалась на узкой кровати в убогой своей комнатенке — внутри все так и бурлило, мозг, как потерявший управление механизм, непрестанно отстукивал: «*Боже мой, как я эту суку ненавижу!*» Саксби пробовал ее утешить, но она не дала ему даже до себя дотронуться — знала, знала, что это просто извращение какое-то, но ей непременно нужно было провести ночь в своей собственной комнате, через стенку от Джейн Шайн, непременно нужно было испить обиду до дна, чтобы она отстоялась и очистилась, смогла потом принести пользу.

Тропинка к ее коттеджу, такая привычная в дневном свете, теперь казалась темной канавой — она была чернее, чем деревья, чернее, чем заросли, стеной поднимавшиеся по обе стороны. У нее не было карманного фонарика, а слова, которые вспыхивали в мозгу, были сплошь названия пресмыкающихся: щитомордник, медноголовая змея, гремучая змея. Пока они ехали сюда из Лос-Анджелеса,

Саксби развлекал ее историями о безмозглых туристах в сандалиях, о застройщиках и агентах по недвижимости, ужаленных в губу, ухо или глаз, о свисающих с деревьев мокасиновых змеях толщиной с пожарный шланг. Все эти истории сейчас пришли ей на память в самых точных и ужасных подробностях, но никакой страх не мог ее остановить. Она крадась по невидимой тропе, напрягая слух, обоняние, осязание, открытая внешнему миру до предела. Неурочный час, ощущение опасности, насыщенная густота теплого воздуха — все это оживило и взбодрило ее.

К тому времени, как последний завиток извилистой тропинки остался позади, восток уже заметно посветлел, и Джейн Шайн постепенно начала меркнуть в ее сознании. Стояла тишина, воздух был мягок. В сумеречном свете деревья позади нее давали прихотливые отражения в оконных стеклах. Через лужайку порхнул кардинал. Поднимаясь на крыльцо, она уже думала о работе, о своем рассказе, о женщине в водах залива Санта-Моника и о Хиро, об испытанных им несправедливостях и бедах, о том, как он впишется в рассказ. Ну конечно: муж героини, кто же еще. Он ее бросил, и теперь они, полиция, его ищут, и он скрывается в...

Она обмерла. Еда исчезла — почерневшие бананы и испорченные груши, рыбные консервы и заплесневелое печенье, и все прочее, и на столе был бардак, и на диванчике что-то темнело, да, какая-то масса, фигура какая-то. Ее окатило горячей волной радости. «Кто хлебал в моей чашке? — вспомнилось ей.— Кто ложился в мою постель?» — и она неслышно скользнула в дом, встала у стенки и просто стояла так, пока фигура на диванчике не обрела очертания Хиро Танаки. Но сегодня он был какой-то другой. Через секунду она сообразила: он чистый теперь. Ни тебе лейкопластыря, ни ссадин, ни волдырей, ни укусов. Во сне закинул ногу на ногу; ступни тоже чистые и без свежих царапин. На нем были те же Таламусовы шорты, полыхавшие в сумерках всеми первобытными цветами тропической радуги, но майку он раздобыл новую, серую футболку обычного фасона с подобием герба на груди. Вытянув шею, она прочла надпись: «Джорджия Буллдогс». А потом она заметила обувь: уже не стоптанные и рваные туфли Таламуса, а сияющие новенькие высокие кроссовки «Найк». Рут улыбнулась. Кот настоящий.

Ей вовсе не хотелось его будить — она представила себе испуганные глаза, отвисшую от ужаса челюсть, того и гляди дернет в окно, как девочка из сказки про трех медведей; но не могла же она весь день так стоять, хоть кофе бы глотнуть. Помедлив немного — пять минут, десять? — она на цыпочках прошла через комнату, налила чайник и поставила на плитку. Потом взялась за уборку — смела со стола в ладонь крошки, сложила пустые консервные банки в старый бумажный пакет, который валялся за письменным столом, сбрызнула водой жесткие розовые кувшинчики саррацении. Крышка чайника как раз начала прыгать, когда она обернулась и увидела, что Хиро открыл глаза. Он лежал неподвижно, скрючившись, как бездомный на скамейке в парке, но глаза были открыты, и он смотрел на нее.

— Доброе утро,— сказала она,— с возвращением.

Он сел и заплетающимся языком поздоровался. Со сна он был как пьяный. Все тер и тер глаза костяшками пальцев. Зевнул.

Рут положила в чашку растворимого кофе, залила кипятком.

— Кофе? — протянула чашку ему.

Он принял чашку, церемонно поклонившись всей верхней половиной тела, и с наслаждением начал прихлебывать, сощурив глаза до щелочек. Он смотрел, как она наливает себе кофе, потом встал, неловко навис над ней.

— Я осень вам благодарна,— сказал и осекся.

Рут, держа горячую чашку обеими руками, взглянула в эти странные желтоватые глаза.

— Не за что,— ответила она, и увидев его озадаченное лицо, произнесла как по учебнику, выделяя каждое слово, давая ему время разжевать его и переварить:

— Чувствуйте — себя — как — дома.

Он вроде как просветлел, непомерно широко улыбнулся и шевельнул рукой. Передние зубы у него росли неровно, заезжали один за другой, и от этого улыбка выходила глуповатая. Уж не первый ли раз она ее видит? Не могла вспомнить. Но улыбнулась в ответ, дивясь, из-за чего весь этот сыр-бор, из-за чего всполошились все эти Эберкорны, Турко, шерифы Пиглеры, все старые кумушки на острове. Ведь он совершенно безвреден, может, чуть-чуть жалковат даже — если раньше она и могла малость опасаться, то теперь-то все ясно.

Улыбка вдруг исчезла с его лица, он начал переминаться с ноги на ногу и водить глазами по комнате.

— Меня зовут Хиро,— внезапно выпалил он, протягивая ей руку,— Хиро Танака.

Рут вложила в его руку свою и поклонилась в ответ, словно принимая начальную позу менуэта.

— А я Рут,— сказала она.— Рут Дершовиц.

— Да,— отозвался он и вновь расцвел улыбкой,— Русу, я осень рада познакомиться.

Другая половина

Неделей раньше Хиро Танака в нерешительности стоял на обочине дороги, засыпанной щебенкой и залитой пузырящимся от жары гудроном. Дорога сулила свободу, обещала вывести его на чистую скоростную магистраль, на которой стоят все эти манящие безымянные города. Он поворачивал голову то влево, то вправо, желая выбрать направление, но в обе стороны дорога одинаково терялась в мареве. Унылый вид, ничего не скажешь. Секретарша с ее провизией осталась позади, среди болот и кустарника, а впереди клонящееся к закату солнце указывало путь на запад, где дикий материк и еще более дикий океан лежали между ним и землей, которую он покинул навсегда,— хотя теперь-то он по ней затосковал. Чего бы он только не дал за сонную скуку углового магазинчика, торгующего лапшой, где никогда не увидишь ничего интересного, кроме лапши. Или за тишину крохотного парка в двадцать татами по ту сторону улицы от бабушкина дома, где вся-то природа — аккуратно обрезанные кустики, цветы на клумбах да струйка воды поверх скрепленных цементом блестящих камушков. Он вспомнил, как в детстве проводил там время на скамейке, читая комиксы или новости *бэсубору,* и журчанье воды поднимало его над самим собой на целые часы.

Но что толку травить себе душу — все это навсегда потеряно. Он в Америке, в стране первобытной, необузданной природы, в кипящем котле, полном ядовитых змей, жалящих насекомых и липкой грязи, где за каждым деревом притаился полоумный негр или белый маньяк — он в Америке, где ему новую жизнь надо начинать. Ему хотелось повернуть направо, на север, где, как он знал, раскинулись эти исполинские города для полукровок,— но нет, для начала там будет кока-коловый магазин со всеми его безмозглыми продавцами и тронутыми покупателями, туда он уже пробовал сунуться, и с него хватит. Он двинулся налево, на юг.

На этот раз он пошел не таясь, прямо по обочине — злой, ощетинившийся. Пусть попробуют его взять. Плевал он на них, на ублюдков носатых. Первый раз за много дней он оделся в чистое — в одежду *хакудзинов* — и не собирается хорониться в придорожной помойке, как загнанный кролик. Хватит. Сыт по горло. Уж как-нибудь он доберется до Города Братской Любви. На своих двоих. И не завидует он тем, кто встанет у него на пути.

Он шел раз-два, раз-два,— озаренный закатным солнцем, окруженный роем комаров, а дорога оставалась неизменной. Деревья и кусты, вьюнки и лианы, стволы, ветви, листья. Над головой проносились птицы, у глаз плясала мошкара. То и дело он наступал на останки ящериц и змей, высушенные солнцем и расплющенные шинами до толщины бумажного листа. Он перевел глаза чуть дальше и увидел, как что-то скользнуло по асфальту. Туфлями ему вскоре натерло ноги.

А потом он услышал позади себя этот звук: ровное урчание мотора, шорох шин. Он наклонил голову и сжал зубы. Подонки. *Хакудзины* сраные. Ни за что не обернется, ни за что не посмотрит назад. Шелест мотора все ближе, шины стучат по трещинам дороги, сердце стучит у горла... и пронеслась мимо — порыв ветра, обшарпанный бампер, детские лица, прижатые к заднему стеклу. Нормально, подумал он, нормально, хотя был весь липкий от пота и руки дрожали.

И ста шагов не прошел — новая машина, вынырнула откуда-то спереди. Он смотрел себе под ноги, машина приближалась. Темная такая и длинная, ощерилась клыками блестящего бампера, неэкономный мотор, какие только и умеют делать *американдзины,* скулит на высокой ноте — и проехала мимо, бледное застывшее лицо водителя с немигающими глазами стало блекнущим, ненужным воспоминанием. Но

машина-призрак сделала свое дело — скрыла приближение третьей машины, и он вздрогнул, почувствовав, что автомобиль не просто подкрался сзади незамеченным, но тормозит, поравнявшись с ним, и белая громада крыла уже тут как тут, видна боковым зрением. Спокойно, сказал он себе, не реагируй. Под шинами шуршала щебенка. Блестящая, навязчивая, призрачно-белая штуковина, длинная стальная морда чужой расы нагло маячила рядом. Все изречения Дзётё мигом пронеслись через его мозг, но он не мог ничего с собой поделать. Повернул голову.

Он увидел «кадиллак» старого образца, с блестящим кузовом и подобием плавников сзади — в таких разъезжают по улицам Токио рок-звезды и телезнаменитости. На сиденье водителя, скрючившись так, что ее едва было видно в боковое окно, сидела высохшая старуха-*хакудзинка* с коричневым от загара лицом и волосами цвета лежалого снега. Она сбавила скорость почти до нуля и не сводила с него глаз, будто знакомого встретила. Занервничав, он отвернулся и снова ускорил шаг, но машина не отставала — большое белое крыло плыло сбоку, словно он не человек, а магнит. Он был озадачен, испуган, зол. Что такое у нее на уме? Ехала бы себе мимо и оставила его в покое. Услышав жужжание открывающегося окна, он вновь бросил на нее взгляд. Старуха улыбнулась.

— Сэйдзи! — издала она громкий возглас, полный неудержимой радости узнавания.— Это вы, Сэйдзи?

Ошеломленный Хиро как шел, так и застыл. Машина тоже остановилась. Не выпуская руля, старуха перегнулась через пустое сиденье и вылупилась на него, словно чего-то ждала. Видел он ее впервые, и вроде бы не Сэйдзи он был, хотя на мгновение почувствовал, что не прочь бы им стать. Он быстро оглядел дорогу. Потом наклонился к окну машины.

— Это я, Сэйдзи,— сказала старая дама.— Эмбли Вустер. Помните? Четыре года назад — а может, пять — в Атланте. Вы дирижировали великолепно [1]. Айвс, Копленд и Барбер.

Хиро провел рукой по всклокоченной щетине волос.

— Ах, какой был хор, какие голоса,— вздохнула она.— А какая тонкая нюансировка в «Детке Билли»! Восторг, сплошной восторг.

Секунду Хиро испытующе смотрел на нее — сердце стукнуло раз, не больше,— потом улыбнулся.

— Да, конесьно,— сказал он.— Я помню.

* * *

— Вы, японцы, шустрые такие — взять хоть эти ваши автомобильные заводы, метод Судзуки и сацумский фарфор,— тру́дитесь, как один большой улей, так ведь? Теперь вы и виски навострились делать, так мне рассказывали, и пиво варите первоклассное — «кирин», «сантори», «саппоро» — куда там нашим неповоротливым китам пивной индустрии; но вот сакэ, сакэ — я никогда не могла взять в толк, как вы можете пить эту гадость? А ваша система образования, ведь это настоящее чудо, как вы готовите всех этих инженеров, химиков и электронщиков, а все потому, что труда не боитесь, идете назад к основам и все такое прочее. Вы знаете, иногда я чуть ли не жалею, что мы выиграли у вас войну — так бы хотелось встряхнуть наше бесхребетное общество с его уличными грабежами, миллионами бездомных, СПИДом, а у вас ведь с преступностью тишь да гладь, правда? Да я сама разгуливала по улицам Токио в полночь и позже, много позже,— тут старая дама многозначительно подмигнула,— совершенно беззащитная, как вы понимаете, и не встретила ничего, совершенно ничего, кроме вежливости, вежливости и еще раз вежливости — манеры, вот что для вас самое главное. Общество создается манерами. Вы, наверно, считаете, что с моей стороны ужасно непатриотично так рассуждать; и все-таки я, как южанка, могу понять ваши чувства, чувства побежденной нации. Как, вы говорите, вас зовут?

Хиро восседал за массивным столом красного дерева в доме у Эмбли Вустер — огромном, напоминающем амбар здании в Прибрежных Поместьях. Он только что разделался с супом-пюре не поймешь из чего и смотрел в окно на серые, бьющие в берег волны, вежливо кивая и втайне молясь, чтобы из кухни поскорее выплыла

[1] Хиро приняли за Сэйдзи Одзаву (род. в 1935 г.) — знаменитого японского дирижера, работающего с американскими оркестрами.

черная служанка с тарелкой мяса или риса — в общем, чего-нибудь посущественней, чем он мог бы, как белка, набить себе рот прежде, чем кто-нибудь распознает в нем самозванца и выставит его за дверь. Старуха сидела напротив и знай себе разглагольствовала. С того момента, как он сел рядом с ней в машину, она тараторила без умолку — непонятно было, как она дышать успевает. Но теперь, глядя, как за окном сгущаются сумерки и борясь с желанием ворваться в кухню и убить служанку, если она сейчас же не принесет ему мяса, риса и овощей, он вдруг осознал, что старая дама спрашивает, как его зовут. Его охватила паника. Глаза налились кровью. Как его зовут? Сигэру? Симбэй? Сэйдзи?

Но она, не дожидаясь ответа, вновь пошла чесать языком об искусстве икебаны, о чайной церемонии, гейшах и роботах («...как это подло со стороны бульварной прессы — вот уж действительно продажные писаки, никто не будет этого отрицать, даже они сами,— как это подло и безответственно писать о таком трудолюбивом и бережливом, таком положительном, таком въедливом народе, как ваш, что вы *роботы в робах*,— позор, сущий позор, у меня просто все внутри закипает...»), и Хиро вздохнул с облегчением. Его дело — слушать. Слушать и кушать. И в этот миг, в унисон его мыслям, дверь кухни распахнулась и появилась служанка с подносом, на котором красовались две многообещающие деревянные миски.

Женщина она была крупная, нечего сказать, настоящий чемпион по борьбе сумо, с вредными маленькими красноватыми глазками и проволочными волосами, уложенными в идущие вдоль черепа плотные валики, между которыми просвечивала голая черная кожа. Приплюснутый нос был почти вровень с лицом, и запах от нее шел тошнотворный — все тот же запах *хакудзинов*, запах мясоглотов и маслоедов, только еще хуже. С той минуты, как он вошел в дом в своих рваных теннисных туфлях, весь увешанный болтающимися ошметками пластыря, и накинулся на блюдечко с орехами, стоявшее на кофейном столике, она относилась к нему с полнейшим презрением, словно к червяку, которого она с удовольствием раздавила бы, если бы не ее блажная хозяйка. Ясное дело, она видела его насквозь. И теперь, входя в комнату, она полыхнула на него глазами — погоди, мол, скоро твое времечко кончится, а уж кончится, так пеняй на себя. Хиро опустил глаза.

— Нет на свете ничего удобней футона [1], я это всегда говорила, буквально на днях я сказала Бартону — Бартон это мой муж, он инвалид,— спасибо большое, Вернеда,— так вот, я сказала Бартону: «Ты знаешь, Бартон, вся наша мебель, все это мрачное старье так громоздко, так непрактично — ведь у японцев даже нет такого понятия, как спальня».— Тут старуха на мгновение запнулась, на ее подвижном, как ртуть, лице изобразилось недоумение.— Но постойте, где же лежат ваши больные и старики, когда им плохо?.. А, понимаю, в ваших великолепных больницах, лучших в мире, обскакали вы наших медиков с их ассоциацией и всеми этими внутренними дрязгами, из-за которых несчастным нашим студентам приходится ехать учиться в Мексику или Пуэрто-Рико, во всякие грязные углы ужасного «третьего мира»...

Злым, резким движением запястья служанка поставила перед Хиро деревянную миску, и он заподозрил, что готово дело, можно не беспокоиться, она позвонила куда надо, и за ним уже едут; но мысль тут же вылетела у него из головы, поскольку все его внимание было обращено на приближающуюся еду. Мясо. Рис. Лицо его вытянулось — миска была наполнена салатными листиками.

Позднее, впрочем, за терпение, выдержку и нерассуждающую покорность новобранца он был вознагражден сладким картофелем, несколькими видами бледно-зеленых овощей, вываренных до неузнаваемости, и, наконец, мясом — свежим сочным мясом с ребрышками и всем, что полагается. Первый раз с тех пор, как он подрался с Тибой на «Токати-мару», он ел горячее, и он набросился на еду с жадностью умирающего от голода. Служанка подала пищу в больших керамических мисках, и хозяйка, прерывавшая свой монолог лишь для того, чтобы, как птичка, ухватить крохотный кусочек мяса или вареных овощей, потчевала его, как заботливая мамаша: «Сэйдзи, ну возьмите еще окры, сделайте одолжение. Господи, да мы с Бартоном и подумать не могли... еще свинины, пожалуйста, угощайтесь...» Он все подкладывал и подкладывал себе на тарелку, выскребая миски до дна, и методически обсасывал ребрышки, которых у него уже выросла внушительная горка,— а старая дама трещала и трещала о кимоно, вишнях в цвету, общественных

[1] Футон — тюфяк, используемый в качестве матраса или одеяла.

банях и волосатых айнах. Когда негодующая служанка принесла кофе и персиковый пирог, он уже начал задремывать.

Какая разница, что с ним будет, какая разница, где он находится и что с ним сделают власти, если он попадет к ним в руки,— важна только эта минута. Быть здесь, *внутри,* в этой комнате с коврами на полу и картинами на стенах, быть здесь, в самом сердце этого чудесного царства, этого обжитого пространства — вот счастье, вот настоящая Америка. В забытьи он проследовал за хозяйкой из столовой в библиотеку, и пока служанка убирала со стола, они потягивали сладко-жгучий ликер и подливали себе кофе из сверкающего серебряного кофейника, который казался бездонным.

В какой-то момент, с трудом подавив зевок, он посмотрел на часы, что стояли на камине. Второй час ночи. Служанка давно уже сходила наверх к старухиному мужу-инвалиду, сделала с ним все, что нужно, и уехала ночевать к себе домой на материк, о чем в подробностях поведала ему Эмбли Вустер. Речь старой дамы он понимал без труда — она говорила отчетливо и внятно, не то что эта неотесанная девица в кока-коловом магазине,— но вот слово «матарика» было ему незнакомо. Уже час, если не больше, он просто сидел, откинувшись в своем кресле, и улавливал только обрывки старухиной болтовни. По правде сказать, если бы не врожденная вежливость, не страх причинить обиду, не самурайская дисциплина, он давно бы уже отключился совсем. Но теперь эта «матарика» торчала в его сознании, распрямившись, как деревце, с которого стряхнули снежную шапку, и он прервал хозяйку посреди дифирамба театру Кабуки:

— Простите, позалуйста, сьто такое матарика?

Эмбли Вустер озадаченно умолкла — казалось, она спала и вот ее разбудили. Хиро только сейчас увидел, какая она старая, старше его *оба-сан,* старше птицы, тысячу лет назад отложившей яйцо, старше всего на свете.

— Да это же берег,— сказала она,— побережье Джорджии. А мы тут на острове. На острове Тьюпело.— Несколько секунд она помолчала, мигая слезящимися старческими глазами.— Как вы говорите вас зовут?

Остров. Все тепло мигом вышло из него, как воздух из проколотого воздушного шарика. Так значит, он в ловушке — шоссе никуда не ведет. Он откашлялся.

— Сэйдзи,— ответил он.

Старая дама посмотрела на него долгим взглядом, умолкнув в первый раз за последние шесть часов.— Сэйдзи,— повторила она наконец, недружелюбно глядя ему в глаза, словно только что впервые его увидела, словно изумилась тому, как это он проник в ее дом, в ее гостиную и в святая святых — библиотеку.

А может быть, тут есть мост? Или паром? Он лихорадочно соображал. Может быть, он переплывет пролив? Он выдерживал ее взгляд, изо всех сил стараясь выглядеть смиренным, благодарным, беззащитным, ни секунды не сомневаясь в том, что она собирается выдворить его из дома, вызвать полицию, чтобы эти *гайдзины* надели на него наручники и, связав, бросили его в темную вонючую камеру, которая ждет его не дождется. Но тут ему в голову заползла подлая мыслишка: а что, собственно, они могут с ним сделать, эта старая развалина и ее муж-инвалид, в глубокой, пульсирующей ночной тишине?

— Вам понадобится полотенце,— вдруг сказала она, поднимаясь с кресла; взгляд ее снова стал безмятежным, оплетенные синими венами руки вяло повисли. Она улыбнулась.— Господи, какая же я невежа — растрещалась, как старая сорока, сколько часов вас промурыжила, хорошо же вы обо мне теперь думаете, бедный вы мой.— Она повернулась и пошла из комнаты.— Идемте-ка со мной,— сказала она из двери.— Я вас в вашу комнату отведу.

Он проследовал за ней через мягко освещенный дом — сначала вверх по лестнице, потом по длинному устланному ковром коридору, посреди которого она обернулась и приложила к губам палец.

— Тссс,— прошептала она, показывая на закрытую дверь.— Там Бартон.

Он кивнул, почуяв слабый запах лекарств, услышав сосущие и клокочущие звуки трудного дыхания; и они бесшумно двинулись дальше — он видел, как под легкой блузкой шевелятся щуплые старушечьи лопатки.

— Пришли,— сказала она, открывая полированную дверь в конце коридора и пропуская его вперед.

В первый миг он подумал, что она шутит: не может эта громадина быть его

спальней, тут казарму впору устроить, гимнастический зал, бассейн. И после всех ее разговоров о футонах глазам его открылась огромная кровать с пологом, которая казалась плывущим по ковру парусником. В комнате стояли еще пухлая кушетка и кресло. За ними виднелись дверь в ванную, телевизор, кондиционер и окна, выходящие на море. Горели две нижние лампы по обе стороны кровати, пропитывая комнату роскошным золотистым сиянием. Он замер на пороге, но она взяла его под руку и ввела в спальню.

— Спите крепко,— сказала она, вручая ему полотенце,— и если вам что-нибудь понадобится, непременно дайте мне знать. Баюшки-баю.— Дверь за ней захлопнулась.

Он был пьян-пьянешенек. Вне себя от радости. Так доволен собой, что засмеялся во весь голос. Ну и кроватища — диво дивное, тут хоть всю команду «Токатимару» спать укладывай с капитаном Нисидзавой во главе. Он шмякнулся на нее, задрав пятки кверху, и, хихикая, стал раскачиваться на пружинах, как на батуте. Покачавшись, бросился в сверкающую ванную размером с квартиру, где он жил со своей *оба-сан;* он рывками выдвинул подряд все ящички — мыло, шампунь, одеколон, электробритва, крем для бритья. Нет, это уж слишком. Сон какой-то. И вдруг он нечаянно взглянул на себя в зеркало, и вся радость мигом улетучилась.

У него аж дыхание перехватило. Он посмотрел еще раз.

Нет, не может быть. Это не он, не Хиро Танака — это какой-то оборванный бродяга со свалявшимися волосами, впалыми щеками, черными, как у могильщика, ногтями, весь в отслаивающихся, как старая кожа, клочках грязного пластыря. В двадцать лет он выглядел на все шестьдесят — вот что сотворила с ним Америка. Им овладел страх. Он увидел себя сквозь унылую, беспросветную череду недель, месяцев, лет — увидел бегущим, прячущимся, попрошайничающим, живущим, как *буракумин* — неприкасаемый,— на безымянных улицах чужих городов, увидел грязным, опустившимся, потерявшим надежду найти работу. Земля лишила его своей милости, и скоро его с головой завалит грязью.

Он смотрел в зеркало, и его охватывало отчаяние; наконец перевел взгляд на душ. Месяц с лишним он не мылся под душем. Он принялся методично его изучать, словно готовился к экзамену по его устройству. Отодвинул стеклянную дверцу, потрогал все сверкающие краны, обследовал мыльницу, снял обертку с белого душистого французского мыла, наполнившего ванную ароматом цветущего сада. Потом уставился на ванну — роскошную ванну, где можно часами нежить исцарапанное, покрытое волдырями тело. Руки сами собой принялись срывать грязные ошметки пластыря, нелепые шорты и майку с пятнами пота; раздевшись, он почувствовал себя лучше. Для пробы повернул кран — из душа с шумом стала низвергаться вода, и от звука струящейся влаги, от запаха ее он приободрился еще больше. Наконец, полностью овладев собой, он переступил через край ванны и отдался сладкому, чистому, освобождающему водопаду.

* * *

Жара стояла адская, убийственная, в такой денек человеку только одно и остается — отвалиться с банкой холодного пива и тарелкой крабов да слушать по радио, как «Храбрецы» орошают бездарным своим потом бейсбольное поле. Но закавыката в том, что он обещал этой старухе из Поместий подстричь газон и подровнять кусты, а обещал потому, что ему нужны были деньги. Не для себя — у него и табачок свой был пожевать, и садик, и устрицы, и крабы, и жирная розовая кефаль исправно шла к нему в сети,— деньги нужны были для племянника. Ройял мечтал об утыканных шипами браслетах, какие носят на музыкальном телеканале, и Олмстед Уайт хотел сделать ему подарок на день рождения. Правда, не худо бы и себе кой-чего прикупить: хотя ему удалось спасти из огня бóльшую часть имущества, по крайней мере все самое необходимое, и, переоборудовав слегка курятник, он уже с удобствами туда вселился, все же некоторых вещей ему недоставало. Полотенец, например, или парфюмерии всякой — он не прочь был иной раз освежиться одеколоном или лавровишневой водой, чтобы не вонять пóтом в присутствии дам, а все эти бутылочки полопались в огне, как шутихи. Так что, жара там или не жара, он пообедал черной фасолью и рисом с луком и острым соусом, который он сам делал из перца и чеснока, приторочил нож-мачете к рулю велосипеда, перекинул

ногу через раму и покатил по твердой, черной, пышущей жаром, что твоя сковородка, дороге, на другой конец острова, к большим поместьям.

Езды было миль десять, почти весь путь без малейшего уклона, как по столу, и обычно это было ему раз плюнуть — он мог хоть дважды без остановки проехать туда и сюда, даже не запыхавшись. Но сегодня ему не по себе что-то было — видать, жара сказывалась, и хотя он отдыхал, где только можно, каждый раз, как он нажимал на педаль, ему сдавливало грудь, словно на нее петлю накинули. Едва он упирался ногой, петля затягивалась, выдавливая из легких воздух,— не вздохнуть прямо. Больное бедро тоже вело себя не ахти, да и рука, которая вздулась и мокла под полутораярдовым куском чистого бинта, горела не хуже, чем в тот день, когда чертов китаец вздумал поджарить ее в масле. Мили через три, только-только проехав магазин Криббса, он решил было вернуться, так его скрутило, но потом подумал об этой беспомощной белой старушонке с лежачим мужем, прикинул, что еще столько же — и выйдет уже больше, чем полдороги, и налег на педали.

За мостиком через Тыквенный Лог он почувствовал себя лучше. Внизу на гниющем стволе он увидел черепах, вытянувшихся цепочкой, словно костяшки домино — он мог бы плюнуть на них, если б захотел,— и ему вспомнилось, как в детстве они с Уилером выуживали черепах старым оконным крючком, вспомнился вкус похлебки, которую варила из них мать, вспомнилось, как они с братом прибивали пустые панцири к южной стене дома, пока всю ее не покрыли. Когда он проезжал через Холлиуэйс-Медоу, где из пня от каждого из дубов, срубленных на постройку флота конфедератов, выросло по новому дереву, его костлявые старые ноги задвигались живее, а петля чуток ослабла.

Под одним из этих пней мальчиком он нашел птенца совы-сипухи, неоперившегося малыша, самого слабого из выводка, в котором, кроме него, было еще двое. Этот собрался уже отдавать Богу душу — братец с сестричкой почти затоптали его когтистыми ногами и расклевали ему голову в одну сплошную рану. Он давал птенцу рыбу, которую тот не стал есть, и мышей — они понравились. Когда мама увидела, как он режет мышь на кусочки большим отцовским ножом, она решила, что он спятил; все же он выходил птенца, потом подрезал ему крылья, и тот его полюбил, но в конце концов его загрызла собака. С тех пор прошло, считай, лет шестьдесят, и теперь, въезжая в ворота Прибрежных Поместий и сворачивая налево, в проезд Соленых Ветров, он удивлялся, как это он все так помнит и какая же это сила — человеческая память: взяла и вытащила его из-за руля велосипеда и из жары этой и перенесла назад, через все тягучие годы. Но когда он подъезжал к Вустерам, невесть откуда роем налетели зеленые мухи, и петля опять стала затягиваться, и он вернулся в нынешнее. Он почувствовал вкус пота, стекавшего к углам рта.

Ладно. Посидеть минутку на корточках в теньке, где так приятно холодит высокая трава, потом вволю напиться из садового шланга, и давай трудись. И не надо идти к ним, не надо говорить ничего. Сами увидят в окно, как блестит на солнце его мачете, услышат, как он будет заводить газонокосилку, и скажут: *«А, это Олмстед Уайт — надо же, вкалывает в такую жару, скорей налить ему стакан лимонаду, да водки туда плеснуть, как он любит»*.

Он присел на корточки, и петля дала слабину. Потом склонился к шлангу, и прохладная вода его оживила, можно бы начинать, если бы не опять эта чертова боль в бедре и не соленый пот, который жидким пламенем жег больную руку. Плевать я хотел на врачей, подумал он, покрепче стянул бинт здоровой рукой, сунул ту, другую под воду и держал, пока не смыло всю соль и жжение не утихло. Потом вынул мачете и начал подрезать кусты короткими быстрыми движениями кисти.

Поработав с полчаса или побольше, он оказался с той стороны дома, что выходила к морю; там, за низенькими воротцами, увитыми глицинией, виднелся бассейн. У бортика кто-то сидел, и это его удивило — не только потому, что жарко было, но и потому, что старуха с мужем не обращали на бассейн никакого внимания и позволяли ему между приходами чистильщика бассейнов вовсю зарастать зеленью, что твой пруд. Внук, что ли, приехал из колледжа. В последние годы он время от времени тут показывался — то вокруг дома шатается, то парома ждет, то носится как угорелый в своей красной спортивной машине в магазин Криббса и обратно, в общем, ничего парнишка, хотя глаза как-то слишком широко расставлены и стрижется, как сорок лет назад стриглись. Черт, он ухмыльнулся, появись

вдруг у мальца на голове прическа с Эм-ти-ви, он и не понял бы, что это такое. Мачете посверкивало; но вот раздался всплеск, и, обернувшись, Олмстед Уайт увидел круги на воде, мокрые бултыхающиеся конечности и гладкие, как выдрина шерсть, волосы — глянул мельком и тут же забыл.

Покончив с кустами остролиста вокруг дома, он пошел к бассейну. В прошлый раз он глицинию не трогал, и теперь она разрослась черт знает как, пуская во все стороны змеиные побеги, и вид имела неважный. Он шел через лужайку, опустив здоровую руку с мачете, и вспоминал мать — вот вам еще один фокус памяти, когда окружающее у тебя из головы как ветром выдувает, и в тебя, теснясь, входит прошлое во всех своих важностях и неважностях. Сейчас он видел только одно, одна-единственная картина влезла к нему в мозг и не уходила: мама хлопочет у плиты, они с Уилером и папа сидят за столом, в ушах стоит неистовый, ведьминский вой урагана, окна трясутся, по крыше скребут чьи-то когти, а мама, как ни в чем не бывало, наклоняет чугунную сковороду, чтобы растеклось масло, и шлепает на нее новую порцию кукурузных лепешек. Пока вспоминал, ему полегчало; но вот он поднял глаза, встретился взглядом со старухиным внуком и увидел, что внук таращится на него, как на привидение.

И это было начало конца, это было узнавание. Не внук он вовсе, какой там внук — петля внезапно впилась в грудь со страшной силой — он... он... у Олмстеда Уайта не осталось слов, чтобы выразить то, что он увидел, только гнев трещал в нем, как жир на раскаленной сковороде. Подняв над головой руку с мачете, он сделал три шага вперед, вглядываясь в эти китайские глаза, нос, рот и уши, что вновь явились над ним измываться. «Сволочь!» — крикнул он или, скорей, попытался крикнуть; слово застряло у него в горле и принялось душить его — петля... удавка... две петли... и что-то у него внутри вдруг подалось, и он рухнул лицом в водяную глубь, зная, что никогда больше ему не будет трудно дышать.

* * *

В то утро — шестое утро в доме Вустеров — Хиро проснулся от запаха жареной ветчины и яичницы с помидорами, а еще от звуков смутно знакомой симфонической музыки — кажется, русской или европейской. Он облачился в свежевыстиранные шорты (Эмбли Вустер, пустившись в рассуждения о джинсовых тканях — тайваньских, корейских и фирмы «Джордаш», пыталась всучить ему джинсы внука, но они на него не налезли), натянул серую футболку и плотные хлопчатобумажные носки, обулся в высокие кроссовки «Найк», которые оказались ему как раз по ноге, и сбежал вниз завтракать.

Звуки оркестра приветственно окрепли; повернув за угол и войдя в освещенную солнцем гостиную, он встретился взглядом с утренней служанкой Долли, которая тут же, как мышка, шмыгнула прочь. Если ее сменщица Вернеда была крепко сбита и подозрительна, то с Долли все наоборот: субтильная и нервная, она все время отводила глаза в сторону. Прическа ее была настоящим парикмахерским чудом, а желтовато-коричневая кожа напоминала цветом форменную куртку, в которой Хиро мальчиком ходил в школу. Она ретировалась в столовую, предоставив Хиро отвешивать глубокие поклоны хозяину и хозяйке, которые завтракали за столом у окна-фонаря, выходящего на море. От стекла шло сияние. Над их головами висели чайки. За пением скрипок угадывался шум прибоя.

— Сэйдзи! — воскликнула старая дама, глядя на него с хитрым видом: голова склонена набок, размазанная губная помада скрадывает кривую улыбку. Он видел, как она силится сдержаться, кусает губу, стараясь укротить поток банальностей, который, как бич, гонял ее язык между нёбом и губами каждую секунду бодрствования. — *Охайо,*— поздоровалась она с ним по-японски, борясь со своим непоседливым языком, даже глаза выпучила от натуги.

Он еще раз поклонился.— *Охайо годзаимас,*— сказал он и поклонился главе семьи. Но тому было все равно — он был слепоглухонемой и торчал подпертый в своем кресле с колесами, как воронье пугало на шесте.

На столе были ломтики ветчины, яичница с помидорами, тосты, масло, кофе и джем. Не ахти какой завтрак; он предпочел бы *о-тядзукэ* — рис в зеленом чае,— но ему грех было жаловаться после скитаний по болотам, после крабов и кузнечиков, после достопамятной трапезы, состоявшей из растворимого кофе, соевой

забелки и сахарина. И все же американцы обращаются с едой по-варварски — валят все в одну кучу, не думая ни о красоте, ни о соразмерности, как будто еда — это что-то постыдное; если бы не голод, он ни за что бы не взял это в рот. Он выдвинул стул, чтобы сесть.

— Неужели вы ничего не замечаете? — спросила старушонка, вся дрожа от усилия обуздать буйную речевую поросль, потоки слогов, слов и фраз.

Он озадаченно застыл, так и не сев.

— Музыка,— сказала она.— Музыка, Сэйдзи...— и взяла себя в руки. Теперь она улыбалась, показывая слишком большие для ее рта зубы — иные мертвые, потемневшие, иные желтые, иные обломанные.

Вдруг до него дошло. Музыка. Это старуха повинность такую на него наложила. Его ушам эти звуки говорили мало — ему больше нравилась американская музыка, в основном «диско» и «соул», Майкл Джексон, Донна Саммер, Маленький Энтони и «Импириалс»,— но он уже понял, чего от него хотят. Что ж, почему бы и нет — ведь она так к нему добра, так хорошо ему живется в ее доме. Он отодвинул стул, отступил на шаг, сосредоточился и пошел вовсю дирижировать, загребая воздух мощными широкими движениями пловца-стайера.

Много позже, когда Бартона покормили, переодели и выкатили в тень подышать воздухом; когда появилась и вновь исчезла, как домашнее привидение, Долли, выдав себя только едва уловимым стуком посуды; когда Эмбли Вустер расточила все континенты, все океаны, все галактики своего красноречия и отправилась вздремнуть, Хиро вышел посидеть у бассейна и набраться новых сил.

Здесь, в замкнутом, соразмерно организованном и должным образом ухоженном пространстве, он чувствовал себя в безопасности. И вода — в первый день она была мутная, но он нашел нужные химикалии, хлор и кислоту, и за ночь она стала прозрачной,— вода успокаивала его. Все послеполуденное время, пока солнце висело в зените и жара усиливалась, он то нырял, то вылезал наружу в плавках, которыми снабдила его Эмбли Вустер,— короче, резвился, как тюлень. И при каждом погружении он чувствовал, как очищается, как становится человеком, как отдаляется от болотной трясины. Он ложился на спину, подставляя грудь солнцу, и смотрел, как по небу проплывают чайки; а когда Долли, пряча глаза, неслышно поставила перед ним тарелку с сандвичами и фруктами, он принялся за еду с тихим удовлетворением и глубокой, смиренной благодарностью.

Он начал думать, что Америка не так уж и плоха. Он даже помечтал немножко о том, как бы хорошо остаться в этом доме насовсем, превратившись в Сэйдзи, кем бы он ни был, разыскать в телефонной книге отца и пригласить его тоже. Вместе они бы вволю поплавали, он и отец, и вместе, благодаря выдержке и терпению, могли бы пробивать бреши в душном монологе Эмбли Вустер и нормально дышать. Но он понимал, что это несбыточные мечты, прихоть фантазии, он знал, что тут его рано или поздно накроют. Ведь он на острове — угораздило же, из всех мест,— и ему надо отсюда выбираться. Он подумал было, не попросить ли старую даму отвезти его на материк в багажнике машины, но с этим, конечно, предвиделись сложности. Даже заставить ее замолчать на срок, достаточный, чтобы высказать эту просьбу, казалось почти невозможным. И потом, что он ей скажет — что он преступник, грабитель, хулиган? И что зовут его вообще-то не Сэйдзи? И где он, этот материк? От бассейна был виден только открытый океан, спокойный, бесконечный синий океан, который колыхался над выпуклостью земного шара и бил волнами в берега всех континентов. Из дальней части дома он видел другой дом, за ним еще один дом, а за ним болото.

Лодка, думал он. Может, ему удастся выклянчить какую скорлупку с веслами или парусом, катамаран, что угодно. Сколько же тут плыть, интересно? Он обдумывал эту теоретическую возможность, размышлял, как бороться с волнами и как преодолеть вонючую, гнилую полосу водорослей, которая наверняка окружает вожделенную землю,— и вдруг почувствовал, что на него смотрят. Поднял глаза, и вот он тут как тут, человек, видеть которого ему уж никак не хотелось.

Да нет, это кошмарный сон. Галлюцинация. Не может такого быть. Но вот галлюцинация зашевелилась, и он понял, что никакой это не сон, это негр, каннибал, сумасшедший, который стал палить в него из ружья, когда он вышел к нему голодный, беспомощный и полумертвый от усталости,— это именно тот негр, столь же реальный, как палящее солнце. Хуже того: у него в руке было оружие, меч-*кэндо*,

и приближался он закатив глаза, все лицо — одна большая черная воронка рта. Хиро охватил страх. Священный ужас. В этой фигуре не было ничего человеческого, одна адская одержимость, одержимость колдуна или шамана, в судорогах и корчах выталкивающего проклятие из пылающей глотки.

Хиро вскочил на ноги. У Дзётё про такое нигде не говорилось. Еще один взгляд на черного оборотня — теперь он в исступлении рыл, ковырял ногами землю,— и, схватив одежду в охапку, Хиро махнул через забор, как заправский барьерист. Назад он не оглядывался, какое там,— ему казалось, он по воздуху летит. Три прыжка, и двор позади, там еще один забор и другой двор, где женщина с носом, вымазанным какой-то дрянью, вскочила с шезлонга с воплем, впившимся в него, как стремительный томагавк, и он летит в следующий двор, где на него кидается свора игрушечных собачек. Дальше, дальше, раскидывая садовую мебель, через мощеные дворики, кирпичные заборы, штакетник и цепные ограды, словно прирожденный бегун. Изо всех щелей, пригнув головы, ему наперерез выскакивали псы, вся округа уже огласилась их неистовым лаем и злобным рычанием. Он бежал и бежал.

Когда он, запыхавшись и потеряв голову от страха, опрометью влетел в рощу из декоративных сосен на склоне холма, раздался первый отдаленный цепенящий вой сирены. Это за ним. Пригнувшись к земле, прячась за деревьями, он добрался до вершины холма и тут увидел, что путь перерезает высокая кое-как оштукатуренная стена, настоящая американская стена, массивная и грубая; штукатурка местами обвалилась, отслоившись, как кожа. Футов десять высота, не меньше. Он прижался к шершавой поверхности, стараясь отдышаться; весь ад всполошившейся округи стучал ему в уши, заглушая отдаленный рокот прибоя. Он чувствовал себя голым. Беззащитным. Потерянным. Оставалось только карабкаться на стену, уповая на лучшее.

Это-то был пустяк. Он перелез в два счета. А спрыгнув, увидел, что находится в саду — роскошном, запущенном, безлюдном. Виднелись бассейн и кабинка для переодевания. Вдалеке слышались крики, лай, завывание сирен. Осторожно, крадучись, пружинистой уверенной самурайской походкой он вышел на мощеный бортик бассейна, отворил дверь кабинки и скрылся в ее затхлой темноте.

Позже, много позже, когда настала ночь и умолкло все, кроме стрекота сверчков по ту сторону стены и затихающих шумов из дома, при котором находились сад, лужайка, бассейн и кабинка, Хиро вышел из укрытия. Совершенно бесшумно, без единого плеска, он окунулся в бассейн, смывая с себя следы бегства, пятна от травы и присохшие комки грязи. Потом сел в темноте, чтобы обсохнуть; сердце билось медленно и ровно. Аккуратно, тщательно, словно исполняя некий ритуал, он надел шорты, футболку, носки и кроссовки; спешить было некуда. Он выработал план. План очень простой. Начинавшийся и кончавшийся домиком в лесу и секретаршей с белыми ногами. Он увидел ее снова — в сотый, наверно, раз — такой, какой она была в ту ночь в лодке, нагой и размякшей, увидел ее за письменным столом, оборачивающейся к нему, предлагающей кров и пищу. Он встал, высмотрел вблизи от дома ворота и бесшумно пересек лужайку. Миг — и он уже вдыхает запах гудрона и чувствует под ногами твердую плоскость дороги.

Безотчетно он наклонился и потрогал ее. Она была еще теплая.

Все еще на свободе

Теперь ясно: он остается у нее, под ее защитой, и остается на неопределенное время. По крайней мере, до тех пор, пока все не уляжется. Он попал в какую-то историю на том конце острова, в Прибрежных Поместьях, и тамошние жители малость взбудоражены. На другой день после его возвращения на шестой странице газеты, выходящей в Саванне, появилась заметка — правда, без особых подробностей, но все же быстро сработали, и заголовок гласил: «Нелегал с Тьюпело все еще на свободе». По острову прокатилась волна невероятных слухов. Двумя днями позже «Тьюпело-Айленд бриз» целиком посвятил ему первую страницу.

Рут наверняка пропустила бы статью в «Бризе», если бы не Сэнди Де Хейвен. Она провела весь день за пишущей машинкой в обществе своего экзотического подопечного — она двигала вперед «Прибой и слезы», он наслаждался какой-то книжонкой в мягком переплете, полной иероглифов, которую вытащил невесть

откуда; так что она пришла на коктейли, считай, к шапочному разбору. Сэнди стоял за стойкой бара в передней гостиной и смешивал напитки. Поэт Боб и Айна Содерборд больше не были вместе — на уик-энд приехала жена Боба, и все на этом кончилось, так что Айне, чьи бесцветные брови растворялись, как мираж, в белобрысой челке, оставалось только сидеть у стойки и мечтательно смотреть на Сэнди. Остальные большей частью уже переместились в столовую, и для Рут это было благом: по крайней мере, от Джейн Шайн и ее противного мелкого серебристого смеха она избавлена на время.

— Эй, Ла Ди,— окликнул ее Сэнди,— что новенького? — Он уже тянулся за водкой, бокалом и блестящим ведерком со льдом.

— Да ничего особенного,— ответила Рут, пожав плечами.— Работа, только и всего.— А что еще она могла сказать? Что укрывает преступника от правосудия? Она улыбнулась Айне. Та улыбнулась в ответ.

— С лимоном тебе?

Рут кивнула, и Сэнди подал ей бокал. В окнах пылал золотой закат; Рут хотелось просто стоять вот так и длить мгновение. Сакеби где-то пропадал со своими садками, неводами и высокими болотными сапогами, но она сегодня его еще увидит — он обещал ей,— а в ее студии притаился Хиро. Ждет ее. Зависит от нее. Впервые за много дней она чувствовала себя по-настоящему хорошо, была собой в полном смысле слова. Но вот гомон в столовой стал смещаться ближе, и она невольно напряглась, пытаясь выделить отвратительный хохоток Джейн Шайн. От пригубленной водки во рту сделалось горько. Благодушие исчезло.

— Видела? — спросил Сэнди, подавая ей через стойку номер «Бриза». Несколько секунд она пялилась в газету, пока не поняла, в чем дело; потом поставила бокал. ЧУЖЕЗЕМНОЕ ВТОРЖЕНИЕ! — кричал аршинный заголовок, а под ним — зернистая увеличенная фотография Хиро, вид у него был робкий. Под самым подбородком, словно там и выросла, красовалась карточка с загадочными иероглифами и семизначным номером. Он выглядел растерянным и несчастным, и если бы она не видела его живьем, дала бы ему лет двенадцать.

— Жалкий довольно тип, правда? — ухмыльнулся Сэнди. Рут ничего не ответила. Она пробегала глазами газетные колонки и взятые в рамочки рассказы свидетелей о том, какой ущерб нанес Хиро декоративным гротам и цветочным клумбам в Прибрежных Поместьях. Там же напечатали интервью с женщиной, которая приютила его, приняв за другого; далее — жалоба соседки, которую беглец напугал до смерти, ворвавшись в ее сад без предупреждения, и сообщение о смерти от сердечного приступа некоего Олмстеда Уайта, не вынесшего внезапной встречи с подозреваемым, который напал на него в его доме тремя неделями раньше.

— И чего этот япошка ссыт против ветра? — Сэнди все еще улыбался. Он облокотился на стойку, глядя на Рут из-под белесых прядей, падавших ему на лоб. Потеха, да и только.

Айна потягивала белое вино из бокала с кубиком льда. Она говорила с придыханием и странно тихо для ее комплекции.

— Оставили бы беднягу в покое — я хочу сказать, посмотрите на его лицо,— наклонившись, она постучала по фотографии лакированным ногтем.— Неужто, по-вашему, он представляет опасность?

Рут тем временем читала про шерифа Пиглера — тот поклялся не мытьем, так катаньем положить конец этому безобразию, ведь разыскиваемый даже не американский гражданин, проник в страну нелегально; и нет, он не исключает того, что (опущено бранное слово) может быть застрелен на месте.

— Зачем будоражить этих свинячьих фермеров...— тянула свое Айна.

— Вот и я говорю,— сказал Сэнди.— Выходит прямо по фильму «Погоня».— Он хлебнул еще водки с апельсиновым соком.— Помните? Марлон Брандо, Джейн Фонда, Роберт Редфорд.

Рут первый раз за все время подняла на него глаза.

— Да,— ответила она.— То есть нет, я хотела сказать. Послушай-ка, не дашь мне эту газету?

* * *

В тот вечер Рут пропустила ужин. Она только заскочила ненадолго на кухню, где хлопотал Рико под руководством шеф-повара (его звали Арман де Бушетт, и он

вознес «Танатопсис» — точнее, его кухню,— на недосягаемую высоту среди всех домов творчества). Там она положила в судки pompano en papillote, artichauts au beurre noir [1], сваренные на пару баклажаны, французскую булку и жареный картофель.— Романтический ужин вдвоем? — услышала она. Над ней возвышался де Бушетт, лихо заломив колпак и игриво вздернув брови. Ему было под шестьдесят, он скрывался от последствий нескольких неудачных браков, любил потягивать коньяк и временами как бы невзначай проводил рукой по ягодицам симпатичных колонисток.— Вы да Саксби? Или у вас что-нибудь такое на уме, о чем лучше и не спрашивать?

Рут укладывала еду, не поднимая лица. Буду работать до ночи, только и всего, Арман. Сакс появится позже, если вообще появится. Жутко романтично.— Она сполна одарила его улыбкой, умыкнула с полки над стойкой бутылку вина и скользнула в дверь, оставив протянутую к ее бедру руку ни с чем.

Когда она вернулась в студию, было уже почти семь. Солнце садилось. От океана веяло свежестью. Все было тихо. Хиро должен был ждать ее только утром, и, подходя к лужайке, она задумалась, как дать о себе знать, не напугав его. Можно было, конечно, окликнуть его с близкого расстояния: «Хиро, не бойся!» или «Это я, Рут!» — но, неровен час, услышит кто-нибудь посторонний. А если не предупредить его вовсе, то, едва заслышав шаги, он взовьется, что твоя ракета, потолок пробьет.

До дома было совсем близко, когда ее осенило: она начнет петь, затянет что-нибудь, а если кто услышит, пусть думают, что она под мухой, или спятила, или настроение у нее хорошее — ей-то какая разница. И, прижимая к груди газету и судки, она уверенно двинулась через лужайку, выводя высоким чистым сопрано, каким отличалась в певческом клубе, первое, что пришло в голову: «Где ты был, где ты был, мальчик Билли, мальчик Билли? Где ты был, где ты был, милый Билли? Я жену себе искал...»

Она осеклась — в окне, как чертик из табакерки, показался Хиро. Его лицо было застывшей маской чистого ужаса, лицом человека, проснувшегося от грохота бомбежки, свиста трассирующих пуль, атомного взрыва. Но потом, поймав его взгляд, она поняла, что он узнал ее, все в порядке.

— Я еду принесла,— сказала она еще в дверях, рассчитывая, что слово «еда» мигом его успокоит,— и еще вот это.— Она опустила серебристые судки и развернула перед ним газету.

Хиро, как завороженный, уставился на ровную простыню листа. Она заметила, что глаза его, упершиеся в заголовок, были неподвижны.

— Ты по-английски-то читаешь? — спросила она.

А как же. Еще бы. Он гордился достигнутым уровнем. Американцы с их большими ступнями и высокомерно-снисходительным отношением к остальному миру не знают никаких языков, кроме своего собственного. Но японцы, самый читающий народ на свете, учатся английской грамоте уже в начальной школе. Разумеется, поскольку в Японии живет мало иностранцев и поскольку японская система обучения построена во многом на зубрежке, средний японец куда лучше читает на иностранном языке, чем общается.

Хиро поднял взгляд от газеты.

— Ськола нас обусяет,— сказал он.

Рут сложила газету заметкой наверх и протянула ему. Он кивнул в ответ и опустил в нее затравленный взгляд.

— На тебя и впрямь все взвелись,— сказала она.— Что ты там натворил такое?

Он пожал плечами.

— Нисего, Русу. Ел еду. Старая дама говорит, говорит. Никогда не уситанет.

Он попытался улыбнуться улыбкой школьника, уличенного в проделке. В Прибрежных Поместьях произошло нечто такое, о чем он умолчал,— это было ясно.

— Кстати, о еде,— сказала она.— Надеюсь, от рыбы ты не откажешься?

За ужином (она отодвинула в сторону машинку и ворох исчерканных страниц, из которых должен был родиться ее первый большой рассказ, и они устроились за письменным столом) он рассказал ей всю историю. Рассказал об ошибке Эмбли Вустер, о том, как она оставила его ночевать, о своей радости от ванной, чистых

[1] рыбу помпано в промасленной бумаге, артишоки в масле (*франц.*).

простынь и трехразового питания, о своем смятении и ужасе от появления Олмстеда Уайта, напавшего на него без всякой причины.

— Без предупреждения, Русу, без нисего — и у него был месь. я думаю, *кэндо*. Он хосет меня резать, Русу, убить.

Как ни крути, а Олмстед Уайт умер, и Рут задумалась о юридических последствиях этой смерти.

— Ты ведь его не трогал, правда?

Хиро отвел глаза и покраснел.

— Я безал,— признался он.

Рут разлила вино, и они пили и разговаривали, пока домик не погрузился в сумерки и привычные предметы — пишущая машинка, плита, кофейник, сарраценнии в горшках и репродукция с картины Хокни [1], которую она повесила на стену, чтобы оживить интерьер,— не начали расплываться в густеющей вечерней мгле. Она рассказала Хиро о своем детстве в Санта-Монике; он поинтересовался, были ли там японцы. А негры? А мексиканцы? Он поведал ей о своем американском отце-хиппи, о позоре матери, о кличках, которые ему стали давать, едва он ходить научился. Она наклонилась к нему, вгляделась — да, точно. Волосы, глаза, пропорции тела — все говорило о том, что он наполовину американец.

Она стала рассказывать о своей работе. Так она что, писательница? Эта возможность, похоже, не приходила ему раньше в голову, хотя он весь день слышал, как она стучит на машинке. Потом она перешла к Джейн Шайн, приехавшей в «Танатопсис» и захватившей ее место. Он сочувственно слушал. «Осень опасно, Русу. Не дай загонять в угол». В свой черед, он рассказал ей о Тибе и Угре, поведал свою мечту о Городе Братской Любви.

Летом на юге темнеет в один миг. Солнечный свет блекнет, ярко-зеленый цвет буйной растительности переходит в серый, и ночь опускается стремительно, как занавес. Пока они ели и беседовали, заоконную мглу начали прорезать светляки, и Рут перестала различать черты лица Хиро.

— Попробую тебе помочь,— сказала она, помолчав.— Хоть я тогда стану вроде как твоей сообщницей, все же попытаюсь вывезти тебя с острова и отправить на север на поезде или автобусе.— Она достала сигарету, чиркнула спичкой.— Город Братской Любви ты вряд ли отыщешь, но в Нью-Йорке ты, по крайней мере, сможешь раствориться, это там проще простого.

Голос Хиро прозвучал из тьмы приглушенно и взволнованно:

— Я сто рьет буду твой дорзник.

— Бог с тобой,— отмахнулась она.— Ты бы сделал то же самое для меня, и кто угодно бы сделал.

Она не смогла бы объяснить, что имела в виду, но она чувствовала его замешательство, понимала, что тут задета некая японская мужская гордость, и ей хотелось снять неловкость. Для разрядки она предложила ему сигарету.

— Нет, борьсое спасибо.— Он теперь говорил совсем тихо.— Но Русу, как ты меня везесь с острова?

Если бы она знала. Машины у нее не было, и судя по лицу Сакса в тот вечер в проливе, посвящать его в это дело не следовало. Или все же рискнуть?

— Не знаю,— сказала она и в тот же миг поняла, что на самом деле не очень-то хочет переправлять его на материк — пока, во всяком случае.— Но сам отсюда, из этого дома не выходи. Ты понял? Весь остров тебя ищет. И эти двое — ну, с их музыкой «диско» — они вернутся, можешь не сомневаться.

Едва она вымолвила эти слова, Хиро весь напрягся.

— Тсссс. Русу, сьто там такое?

— Где? — прошептала она.

— Тсссс. Слусай.

И она услышала: треск сучка, шаги на тропинке. Вдруг замаячило пятно света, и Хиро бросился на пол.

— Рут, ты здесь?

Саксби.

В одно мгновение она вскочила на ноги и крикнула: «Да, да, я здесь», стараясь, чтобы звучало непринужденно, хотя сердце било в грудь отбойным молотком; потом кинулась к двери перехватить Саксби на пороге.

[1] Дэвид Хокни (род. в 1937 г.) — английский художник.

На нем были джинсы и футболка с короткими рукавами, волосы падали на лоб и лезли в глаза. Он держал фонарик косо, чтобы свет не ослеплял ее.

— Искал тебя, искал, — сказал он.

Она не могла сосредоточиться. Котелок не варил совершенно.

— Я здесь была.

— Что ты тут делаешь? Сидишь без света. С кем-нибудь сумерничаешь?

— Да работала я.

— Это в темноте-то?

— Я думала. Думала вслух.

Он ничего не ответил, но через секунду опустил луч фонаря и сказал с хрипотцой:

— Э, да ты у нас девушка со странностями, Рут Дершовиц, знаешь ты это? — Он облапил ее — а сетчатая дверь была настежь открыта, луч фонаря беспорядочно метался по потолку. — Что мне в тебе и нравится.

Она немного поборолась с ним, позволила себя поцеловать, обняла его.

— Пошли, Сакс, — шепнула ему в плечо. — Вернемся в дом. — Пауза. — Честно говоря, мне уже надоело работать.

Он поцеловал ее еще раз, крепко и настойчиво.

— Пора поиграться, — сказал он, шаря по ее груди.

— Не здесь.

— На диванчике, — шепнул Саксби, щелкнул выключателем фонарика, и он со стуком упал на облупившиеся доски крыльца. Саксби пытался справиться с ее блузкой, прижать ее к дверному косяку, оторвать ее ноги от пола и раздвинуть языком губы — все в одно и то же время.

— Нет, — сказала она.

— Да, — сказал он.

— Тогда прямо тут. На крыльце. — Он уже задрал ей блузку до подмышек, другой рукой нащупал бедро; она чувствовала, как он трогает соски кончиком языка. — Прямо тут, — выдохнула она, — под звездами.

Она отклонилась от него, поймала его за ремень и оттащила от двери. Мгновение спустя она уже была притиснута к шершавым доскам, он, громко дыша, устраивался сверху, и она открывала ему дорогу, хмельная, разгоряченная и беспечная, и сетчатая дверь захлопнулась за ними со внезапным сухим щелчком. *Он там,* подумала она, двигаясь под Саксби вверх-вниз, *ему все слышно,* а потом перешла за грань и не думала уже ни о чем, ни о чем.

* * *

На следующее утро она принесла ему завтрак, и оба избегали упоминаний о Саксби и о событиях прошлого вечера. По крайней мере, поначалу. Когда она пришла, он не спал, но выглядел ушедшим в себя, отчужденным. Он лежал, свернувшись в клубок по-кошачьи, глаза у него были скучные, взгляд пришибленный. Легкое одеяло, которое она ему дала, лежало скомканное в ногах, сам он скрючился, одетый только в свои яркие шорты — даже футболку и носки не удосужился натянуть. И в комнате стоял его запах — в первый раз она его, этот запах, ощутила, — правда, он не был неприятным, вовсе нет. Просто он был другим. Раньше тут пахло старым деревом, плесенью, мхом и землей — про тот запах она могла только сказать, что он «лесной» — теперь же его перебил запах Хиро. В доме обитало человеческое тело, его тело.

Пока она расхаживала по комнате, ставила кофейник, накрывала на стол, она все время чувствовала на себе его взгляд. Небо хмурилось, низко висели серые облака. Она захватила с собой яйца всмятку, пшеничные тосты, джем и фруктовый сок. — Голодный? — спросила она, просто чтобы не молчать. — Я тут принесла кой-чего. — Он не двинулся с места. Наконец еле заметно кивнул головой — не поклон, а просто пародия — и встал. Он выглядел сиротой, выглядел очень юным, сердитым, мрачным, неблагодарным. Внезапно она рассвирепела.

— Что я, по-твоему, должна была делать? — закричала она. — В шашки с ним играть?

Хиро стоял, опустив плечи, и смотрел на нее раненым взором.

— Это мой парень. Мой любовник. — Их разделял один шаг. Яйца остывали. — Ты понял?

Он помедлил с ответом.

— Да,— сказал он наконец еле слышным голосом.

— Мы с тобой,— продолжала она, показывая пальцем на себя и на него,— мы с тобой,— она долго не могла подобрать слово,— друзья. Ты понял?

Вдалеке уныло застучал дятел, где-то завела песню бензопила. На плитке закипала вода. В машинке, изогнувшись, застыла вчерашняя страница.

— Да,— сказал Хиро.— Я понял.

* * *

Следующая неделя прошла без происшествий.

Хиро проводил время, читая книги и газеты, которые она ему приносила, раскачиваясь в качалке и наблюдая за тем, как она долбит по клавишам, вписывает поправки или смотрит в толщу зелени за окном, дожидаясь нужного слова или фразы. Во время обеда он уходил с глаз долой, и она не знала, где он прячется, часто даже не замечала его ухода, такими неслышными стали его движения. Но он неизменно появлялся, с надеждой во взоре, в тот самый миг, когда Оуэн поворачивался и устремлялся прочь по тропинке. А потом начиналось ежедневное представление — смех, да и только. Он и кланялся, и улыбался, и шаркал ногами, и корчился, и заламывал руки, и не хотел дотрагиваться до корзинки с едой, даже смотреть на нее не хотел, пока Рут в десятый раз не заверяла его, что совершенно не голодна, ну ни капельки, и что все это для него и для него одного.

По вечерам, когда она уходила, он готовил себе нехитрую еду из оставленных ею продуктов — хлеба, джема, вялого салата, белого шлифованного риса, а потом сворачивался клубком на диванчике под тонким одеялом и, как ей представлялось, погружался в мечты о Городе Братской Любви. По утрам он поджидал ее, аккуратно одетый в шорты и футболку с надписью «Джорджия Буллдогс» или клетчатую рубашку, которую она позаимствовала у Саксби, и в доме не было заметно ни следа его пребывания, кроме него самого и неистребимого кисловатого запаха его тела и дыхания. Книги, одеяло и продукты были спрятаны, пол выметен, пыль с камина вытерта, ее бумаги, ручки и карандаши любовно разложены на столе в идеальном порядке. А сам он был тут как тут, ее домашний зверек, ждал ее, оскалив зубы и сощурив глаза в чистой, ничем не замутненной улыбке, освещающей радостью его большое лунообразное лицо.

Тем временем не спеша, подобно повстанческому войску, что спускается с холмов, просачивается в провинциальные города и, наконец, осаждает столицу, Рут начала прокладывать себе путь обратно, к цитадели «Танатопсис-хауса». С тех пор как появилась Джейн Шайн, Рут держалась тихо — у нее не было другого выхода, так как она не могла вынести присутствия соперницы. Позиции враждующих сторон были очерчены в самый первый вечер, когда Джейн дала ей по мозгам, когда Рут пришлось бормотать какую-то невнятицу о знакомстве в Айове, пока глаза Джейн не съехали с ее носика, как с трамплина, и не остановились на Рут, как на ничтожном насекомом или безногом нищем, дерзнувшем коснуться края ее божественных одежд; наконец Джейн вздохнула и сказала: «Ах да, кажется, я вас припоминаю — но ведь у вас тогда волосы были другого цвета?» День или два Рут вырабатывала ответную стратегию — да еще приходилось заниматься Хиро — и наконец ринулась в бой.

Джейн была поздняя пташка; ее красота нуждалась в отдыхе, ей требовалось время на уход за лицом, на поддержание формы груди, на тысячу движений щеткой для волос по чистейшему белокожему скальпу, на крем, на пудру, на румяна, на тени, на тушь и все прочее. Это-то и позволяло ей производить столь естественное впечатление девушки-по-соседству-с-волосами-цыганки-и-нездешними-глазами. И это была ее ахиллесова пята. Рут теперь взяла за правило подниматься рано, еще до стука Оуэна. Собиралась она так, словно ей предстояло свидание с литературным критиком — прическа, косметика, блузка с глубоким вырезом, литературные труды,— и каждое утро она первая занимала место за «столом общения» и последняя его покидала. Она была очаровательна, умна, соблазнительна и не упускала случая под видом общего замечания поддеть Ла Шайн, как ее тут начали называть. А когда спускался Ирвинг Таламус с мешками под глазами, лицом, изборожденным морщинами и складками не меньше, чем дно Мертвого моря, и дыханием, слегка

замутненным утренним виски, она опять становилась его девушкой. Говоря, она то и дело трогала его, прижималась к нему как бы невзначай и закидывала в смехе голову, чтобы он смог оценить ее шею и то, что под ней.

В час коктейлей она собирала вокруг себя Сэнди, Айну и Регину — и Саксби тоже, если только он не шлялся в это время по болотам в поисках своей рыбешки,— и распространяла влияние на один конец зала, тогда как Джейн Шайн сосредоточивала силы в другом конце. Иногда после коктейлей она ужинала вместе с Саксби и его матерью в комнатах Септимы — вот где была настоящая цитадель, если на то пошло,— а потом вместо того, чтобы фехтовать с Джейн Шайн в бильярдной, смотрела по видику какой-нибудь старый фильм или часами вглядывалась в светящуюся зеленую пустоту Саксова аквариума. Гордая оказанной честью, она так и увивалась около Септимы; она с удовольствием думала о Хиро и считала дни, оставшиеся до той поры, когда Джейн Шайн с ее выводком литературных уродцев уберется восвояси.

В конце недели снова появились Эберкорн и Турко, неизбежные, как рекламная почта. На этот раз Турко оставил свою громыхалку дома — дела приняли нешуточный оборот, и у него появилась новая задумка, беспроигрышная, результат — стопроцентный. Он разбил свою палатку в кустах за северной лужайкой, а Эберкорн получил комнатку на третьем этаже размером со шкаф (Рут не могла понять, чем это он так подкупил Септиму — во второй раз его приютила). Рут заметила Турко в окне вестибюля, когда поднималась на крыльцо после плодотворного вечера, уставшая, но возбужденная, довольная тем, как подвигается рассказ. Турко был в своей маскировочной рубашке и солдатских башмаках и стоял у лестницы, притиснув к ней Лору Гробиан и размахивая чем-то перед ее носом. Рут заколебалась, *Хиро,* подумала она, но спуститься с крыльца назад, не вызывая подозрений, она уже не могла, так что она собралась с духом и влетела в дверь, как ни в чем не бывало.

Лора Гробиан принужденно ей улыбнулась. Она возвышалась над Турко чуть не на целую голову.

— Взять робототехнику,— втолковывал ей тот, понизив голос до хриплого рычания,— как, по-вашему, наши друзья-японцы берут в ней верх? Они себе на уме, вот и все дела. Не сомневайтесь. Но насчет этого парня вам, милые дамы, беспокоиться нечего — никуда он от нас не денется. За неделю точно управимся, а может, и раньше...

— Лора,— сказала Рут, пересекая вестибюль, чтобы глянуть, нет ли почты; затем она повернулась к ним.— И мистер Турко. Снова к нам?

Турко отпустил Лору Гробиан и переключился на Рут. Сначала повернул голову, потом за ней последовал торс и, наконец, ноги; Рут невольно сравнила его с хамелеоном, нацеливающимся на мошку. Он помедлил, словно пришпиливая ее к месту, затем шагнул вперед и показал ей то, чем только что махал перед лицом у Лоры. Это была ткань, одежда какая-то.

— Я тут говорю, что вся эта история с нелегалом выставляет нас не в лучшем свете, но не беспокойтесь — теперь-то мы к нему ключик подобрали.

На шее у Турко надулись жилы. Маскировочная рубашка так туго облегала его грудь и плечи, что казалась нарисованной прямо на теле, и, без сомнения, он долго отрабатывал пронизывающий взгляд — малорослый человек, комплексующий по этому поводу.

Рут не могла сдержаться.

— На этот раз, значит, без Донны Саммер?

В его глазах вспыхнуло и погасло раздражение. Он сделал еще шаг вперед, наступая на нее.

— Ножные капканы,— сказал он и расправил ткань; в его руках была модельная майка с названием шикарной фирмы через всю грудь.— Это у меня наживка — это и еще две пары джинсов «Угадай», может, шейные платки еще какие-нибудь и майки со всякой белибердой типа «Будь счастлив» или «Давай-давай». Главное, по-английски. Япошки от этого балдеют.

— Простите, пожалуйста,— прошептала Лора Гробиан и выскользнула в дверь, в золотые объятия вечернего солнца.

Турко даже головы не повернул. Он стоял как вкопанный, почти вплотную к Рут, со вздувшимися шейными венами, и сверлил ее глазами.

— Это сработает,— настаивал он.— Уж будьте уверены.

Рут спокойно улыбнулась ему. Турко и Эберкорн. Идиоты, клоуны настоящие, у них не больше шансов поймать Хиро, чем у Лорела и Харди [1]. Еще одно развлечение для нее, еще одна возможность вбить клин между писательской братией и Джейн Шайн, еще одна лошадка, на которой она всласть покатается. Потолкутся тут несколько дней и, конечно, ничего не найдут. Даже следа не обнаружат. И каждый вечер, если Сакс будет болтаться где-то еще, она будет строить глазки Эберкорну, дурачку несчастному, утешать его, сочувствовать ему, в задумчивости упираться пальцем в щеку и высказывать всякие полезные соображения. А в шкафу у Клары Кляйншмидт он смотрел? А в курятнике у шерифа?

— Вы совершенно правы,— сказала она наконец.— Непременно сработает.

Она отчалила от него и начала подниматься по лестнице, но на полдороге обернулась.

— Приятной охоты,— ей стоило больших усилий не расхохотаться.— Так, кажется, говорят в подобных случаях?

Да, дела определенно начали налаживаться.

* * *

И внезапно все опять полетело кувырком. Это случилось вечером следующего дня после приезда Эберкорна и Турко, дня, когда обитатели «Танатопсис-хауса» вряд ли сильно продвинули свои многообразные труды. Они были беспокойны, суетливы, неспособны на чем-либо сосредоточиться. Весь день дул восточный ветер, и остров казался только что родившимся из морских волн; завтракали весело, потом с нетерпением ждали обеда, а что касается коктейлей, то многие пришли на них заблаговременно. В воздухе было разлито возбуждение, царило романтическое ощущение безграничных возможностей и исполнения надежд, которое всегда предшествует хорошей вечеринке.

Вечеринка, устроенная Оуэном с двойной целью — отпраздновать день рождения Септимы, которой исполнилось семьдесят два, и попрощаться с Ансерайном, возвращавшимся в Амхерст преподавать в осеннем семестре,— предполагала угощение, специально выписанное из Саванны, танцевальную музыку и бесплатный бар. Приглашен был весь haut monde [2] Саванны и Си-Айленда, многие жители острова и колонисты; ждали шерифа Пиглера и его брата Велли, который считался неофициальным мэром острова, да еще изрядное количество юристов, хозяев картинных галерей, коллекционеров живописи и засушенных вдов из Прибрежных Поместий и Дариена. Из Саванны должен был приехать фотокорреспондент, чтобы отчет о событии мог появиться на светской странице «Стар». Ждали звонка от одного лауреата Пулицеровской премии, который побывал здесь во время оно. Для «Танатопсис-хауса» это было главное событие года.

Рут припасла для такого случая наряд — черное шифоновое платье с кружевными оборками на бедрах и новые черные туфли. Платье было, пожалуй, слишком закрытым для летнего сезона — она думала начать носить его осенью, но, с другой стороны, стоял уже конец августа, чувствовался свежий ветерок, и к тому же больше у нее не было ничего подходящего, а эта вещь *действительно* от Джеффри Бина, хоть и досталась ей, считай, даром. В тот день она дотошно расспрашивала Хиро насчет Японии (А правда, что у вас вырезка стоит тридцать долларов фунт? Удобно ли тебе есть вилкой? У вас действительно нанимают парней, чтобы те заталкивали людей в электрички?) и ушла от него рано.

— Приду утром,— сказала она.— Будь паинькой. Принесу всякой вкуснятины с праздничного стола.— И на его неизменный вопрос ответила: — Скоро, скоро.

Она долго нежилась в душе, потом убила полчаса на ногти. Сакс и Сэнди хотели надеть смокинги, остальные собирались обойтись тоненькими галстучками и синтетическими рубашками. Будет шампанское, и хорошее — от Боллинджера и Перье-Жуэ. Икра. Омары. Устрицы из Бретани. Рут словно в бой готовилась идти — обдумывала каждую деталь туалета, добиваясь такого совершенства, которое сделало бы ее недосягаемой, непобедимой, и все время сознавала, что за стенкой

[1] С. Лорел (наст. имя Артур Джефферсон, 1890—1965), О. Харди (1892—1957) — американские комические киноактеры. Составляли пару: долговязый простак и самоуверенный коротышка.

[2] высший свет *(франц.)*.

Джейн Шайн делает то же самое. Дважды за ней заходил Саксби, и дважды она гнала его прочь. Расчесывала волосы, втирала в кожу крем и румяна, подводила глаза. Когда Сакс постучался в третий раз, она сказала, пусть идет без нее — она будет готовиться столько, сколько нужно.

Когда Рут, наконец, вышла, вечеринка длилась уже часа полтора. Она пересекла лужайку под звуки оркестра, игравшего что-то бразильское — не то самбу, не то боссанову,— и ее окружил гомон возбужденных голосов. Над танцевальной площадкой был воздвигнут высокий навес, не мешавший свежим дуновениям умерять пыл танцующих; над Рут висели целые созвездия китайских фонариков, медленно вращавшихся на алюминиевых кронштейнах. Она прошла через беседку, оплетенную срезанными розами, и черный лакей в черном галстуке и белых перчатках подал ей бокал шампанского с позвякивающего подноса. Тара, подумала она. Старый Юг. Прямо сцена из «Унесенных ветром».

Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, как она ошиблась.

Если она воображала, что явится на бал под гром аплодисментов, одобрительный свист и вспышки фотоаппаратов, этакая современная Скарлетт О'Хара, то ее ждало жестокое разочарование. Ей вдруг показалось, что она попала не туда — она никого не узнавала. Она минутку постояла у входа, пытаясь сориентироваться; ладонь одной руки давала опору обнаженному локтю другой, которая, элегантно изогнувшись в запястье, держала тоненькую ножку бокала. Женщины большей частью выглядели так, будто сильно экономили ткань на платья, мужчины, казалось, втиснули себя в рубашки и пиджаки на несколько номеров меньше, чем нужно. Преобладающим цветом лиц был красный, повсюду маячили лысины и голые плечи, волосы серебрились сединой. Рут предвкушала нечто чудесное — элегантное, по меньшей мере,— а попала на стариковский бал на благотворительной ярмарке.

Она обменяла пустой бокал на полный и двинулась к танцевальной площадке, высматривая публику из «Танатопсис-хауса» или, на худой конец, хоть кого-нибудь моложе шестидесяти. Обойдя древнюю старуху с подпорками из алюминия и протиснувшись сквозь группу мужчин в дорогих костюмах с редеющими волосами и неприятным выговором — юристы, подумала она,— Рут неожиданно наткнулась на Клару Кляйншмидт и Питера Ансерайна. Они стояли рядышком, склонясь над бокалами шампанского и тостами с икрой на салфеточках, быстро и жадно ели и одновременно разговаривали. Глаза у Клары были влажные. На ней красовались платье до пят с длинными рукавами и подложенными плечиками и нитка фальшивых бриллиантов через всю грудь. Выше талии платье напоминало русскую военную форму.

— Клара, Питер, привет,— сказала Рут, влезая между ними.— Прекрасный вечер, да?

— А, здоро́во,— небрежно ответил Питер Ансерайн, скользнув по ней взглядом сверху вниз, вдоль своего носа. К губе у него прилипли икринка и кусочек яйца. Похоже, он рад был ее видеть — или рад, что его тет-а-тет с Кларой прервали. Рут невольно вспомнила смачную сплетню, которая соединила их двоих — разведенного жреца литературы, властителя дум, и Клару, кроткую Клару — по меньшей мере на одну страстную ночь.

— Рут,— задохнулась Клара, в отчаянии поглощая с беззащитной ладошки кусочки поджаренного хлеба с икрой. Она таращила глаза еще больше обычного. И в них действительно стояли слезы — никакого сомнения.

— Восхитительно,— сказал Питер Ансерайн,— превосходно. Лучшая вечеринка из всех, где я бывал с тех пор, как весной уехал из Бостона.

Рут не уходила, пытаясь использовать минутное замешательство Ансерайна, чтобы разговорить его, вызвать на откровенность. Скучает он по Бостону? Теперь он, кажется, едет в Амхерст? На семестр или на год? А потом опять в Бостон или?...

— Да, в Бостон,— промолвил он в ответ на последний вопрос, провожая взглядом слугу, который маневрировал с подносом, полным закусок.— Ведь что бы ни было, это мой родной город. Там подыщу себе какую-нибудь холостяцкую берлогу. Чтобы к детям поближе.

Клара по-прежнему горбилась над закуской, стараясь сохранить в неустойчивом равновесии бокал, салфетку и деликатес.

— Замечательно,— сказала Рут,— просто замечательно. Мы тут будем по вас скучать, правда, правда.— Воцарилось неловкое молчание. Оркестр сделал паузу,

после чего пронзительно заиграл «Парня из глубинки», и Питер Ансерайн посмотрел на Рут долгим, медленным, совершенно неакадемическим взглядом. Она встрепенулась, допила шампанское и вздохнула.

— Прошу прощения, мне надо разыскать Сакса,— сказала она.— Всего хорошего.

И стала проталкиваться к бару, обмениваясь приветствиями с людьми, которых встречала в Дариене или во время поездок с Саксби на пляж; она искала Сэнди, Ирвинга Таламуса, кого угодно. Остановилась, чтобы вглядеться в танцующих и заодно взять бокал шампанского у черного слуги с непроницаемым лицом и равномерно белыми, как мыльная пена, волосами. Оркестр перешел на ударный ритм, похожий на регги, и когда пары расцепились после объятий медленного танца и затряслись в конвульсиях, Рут увидела Сэнди, отплясывающего с девушкой, которую она никогда раньше не видела,— очень юной, только-только созревающей, но истинной красавицей и знающей об этом. Рут задумалась, кто бы она могла быть, и, когда Сэнди в танце к ней приблизился, почувствовала легкий укол зависти, но тут ее внимание переключилось на крашеную шевелюру и пятнистое лицо Эберкорна — его голова возвышалась над всеми другими, словно воздетая на пику, и самозабвенно дергалась в такт музыке. А с кем же это он танцует? На секунду толпа сгустилась, потом распалась, и Рут, к изумлению своему, увидела напротив него Айну Содерборд, так вихлявшую могучими бедрами, плечами и грудью, словно она билась в предсмертной агонии. Еще одна перетасовка тел, и в нескольких шагах от Айны вдруг вывернулся Боб Пеник с женой (у той волосы цвета куриной печенки, вечернее платье с блестками и бесформенным корсажем). Они танцевали слегка измененный фруг, который Рут разучивала в старших классах школы, пока ей не надоело.

Она допила шампанское — третий, что ли, бокал — и взяла у слуги с каменным лицом еще один. (Ее так и подмывало подразнить его, как дразнят стражу у Букингемского дворца — пощекотать, дать в ухо или еще там что-нибудь вытворить,— но она вовремя опомнилась: кто знает, где предел выдержки у пожилого негра в стоящем колом смокинге на вечеринке у белых людей в Джорджии?)

Рут слегка поплыла, ей было весело даже только смотреть, не участвуя. Эберкорн плюс Айна Содерборд. Животики надорвешь: беляк и белянка. А что, если у них дети родятся? Безбровые, безволосые, белые, как личинки, с маленькими красноватыми рыбьими глазками, а вырастут в настоящих гигантов с плечами, сиськами и ногами таких размеров, что продавцам одежды и обуви кошмары будут сниться. Парни будут носить дешевые куртки, девушки — писать свою фамилию через дефис, Содерборд-Эберкорн, и люди будут думать, что это какой-то ядохимикат, которым спрыскивают посевы против гусениц. Смех, да и только. Да, Рут чуток окосела. Но куда Сакс делся?

Тут оркестр налег на духовые, зазвучали аккорды пианино в ритме буги-вуги — разумеется, сплошная эклектика,— и со стороны бара до нее долетел сухой хохоток Ирвинга Таламуса. Она повернулась и стала проталкиваться сквозь толпу, работая локтями, идя на звук столь же упорно, как кошка идет на шорох в траве. Пара мелких поэтов и несколько пожилых дам в розовом шифоне уступили ей дорогу, и вот он, Таламус, как на ладони — прислонился к стойке бара и в смехе чуть не уткнулся в подол Регине Макинтайр. Регина выставила напоказ необозримые просторы мертвенно-бледных плеч и груди, напялив черное кожаное платье, в котором она выглядела как статистка из фильма про космических вампиров. Но взгляд Рут не задержался ни на Регине, ни на Таламусе, ибо секундой позже у дальнего конца стойки она заметила Саксби и почувствовала жар, тошноту и отчаяние в одно и то же время, почувствовала себя мадам Баттерфляй, у которой отняли ребенка: Саксби любезничал с Джейн Шайн.

С Джейн Шайн.

От такого удара немудрено было и пошатнуться. Вот она — женщина, которую она ненавидела больше всех на свете, ее врагиня, ее рок, ее пугало,— и Саксби попал-таки к ней в лапы. С тошнотворной холодной расчетливостью манекенщицы она прижалась к Саксби, вцепилась ему в плечо своей бледной рукой, словно крючком. Рут видела черный шелк и бриллианты, видела голову во всеоружии прически — лавина волос обволакивала Саксби, погружала его в свою роковую ауру, и немедленно воображение нарисовало ей Саксби за рулем «ягуара», Джейн

Шайн в роли царицы «Танатопсис-хауса», саму себя, спешно укладывающей чемоданы. Нет, это слишком. Этого она не перенесет. Она отпрянула, словно увидела нечто немыслимо-гадкое — Саксби ее пока не заметил, Шайн и Таламус тоже,— а потом встретилась глазами с Региной, та улыбнулась — скорее, ухмыльнулась,— и Рут стала отчаянно продираться к выходу, удивленное «Рути?» Таламуса зависло где-то у нее за спиной, а пианист тем временем вскочил с табуретки и принялся лупить по клавишам ногами, локтями и ягодицами, и толпа подняла неистовый рев, рев, рев...

Нож в спину всадили. Предали. Только что она тайно злорадствовала по поводу слез Клары Кляйншмидт, возвышалась над ней, как олимпийская богиня, как истинная Ла Дершовиц, а теперь чувствует, как в ее собственных глазах закипают слезы. Как он мог? Как посмел даже просто заговорить с ней? Рут слепо проталкивалась сквозь толпу. Ей оплеуху дали, ее унизили, остается только бежать, прятаться. Она пихнула пожилого слугу, зло подумала: «Прочь с дороги, дядя Том», и он взглянул на нее, просто поднял слегка веки, недвусмысленно говоря «позор», и вся компания лысеющих юристов совершила маленький танец, чтобы она на них не налетела. Она едва слышала звуки духовых, которые в невыносимо-громком финале рушились в толпу, отражаясь от навеса,— и вот наконец перед ней замаячил увитый розами выход.

Она уже была там *(дай мне сил выдержать, Господи, еще чуть-чуть)*, там, под сенью беседки, чуть не бежала уже, и вдруг навстречу — Септима. Величественно шествует, помолодела лет на двадцать, волосы выкрашены и завиты, одно платье небось стоит дороже, чем вся одежка этого сборища, из сейфа извлечены драгоценности. Опирается на руку Оуэна. Едва не упала, увидев летящую на нее Рут, но, оправившись, изобразила улыбку.

— Боже мой, Рути,— одышливо проговорила она, останавливая ее сухой жилистой рукой, в которой Рут почудилось прикосновение самой смерти,— что такое с вами случилось? Вы бледная, как привидение.

Вот именно, привидение: она и не человек уже. Септиме, в сущности, на нее начхать. И Оуэну тоже — стоит себе, ухмыляется, маячит во тьме, словно палач. Может, ей уже чемоданы пакуют: ведь она тут ничто, нуль, привидение, а Джейн Шайн — всё.

— Со мной... Со мной ничего,— забормотала она, готовая разреветься.— Я просто... Просто не могу...— и она осеклась, сбросила с плеча ведьмину руку и дала деру через лужайку, чувствуя, как вся желчь, накопленная за восемнадцать лет ожиданий и неудач, поднимается к горлу.

Первая мысль у нее была — закрыться у себя в комнате, замереть, не дать миру вконец расползтись; но на веранде, в вестибюле, в гостиной, всюду было полно гостей, они болтали и смеялись, потягивали напитки и смаковали аппетитные кусочки мяса и сыра. Ну не могла она мимо них идти. Нет, только не сейчас. Только не в этом состоянии. И тут она подумала про коттедж — вот ее убежище, там она будет в безопасности, там она все еще владычица, Ла Дершовиц; и там у нее есть Хиро.

И она поспешно двинулась прочь от дома, через лужайку; светила луна, тропинка сама ложилась под ноги. Почти сразу шум вечеринки стал затихать, глохнуть в равнодушной толще листвы, и она начала улавливать мелкие ночные звуки, шорох и возню существ, борющихся за жизнь, убивающих и поедающих друг друга. Летали светляки, жужжали комары, вдалеке с придыханием ухнула сова. Ноги двигались сами собой, поднимались, опускались. Чего это она так расстроилась? Ну говорил он с ней, ну положила она ему руку на плечо. Ничего это не значит. Или значит? Все успокаивающие доводы мгновенно разлетелись в прах, и она твердо знала, что рука на плече что-нибудь да значит, значит очень много, и он это понимает тоже. Прекрасно понимает. Что ж, тем хуже для него. Гнев поднялся в ней вновь, он жег ее, как кислота, и был еще горячей оттого, что первое потрясение уже прошло. Поплатится Саксби за это — ох, поплатится.

Она и не заметила, как все знакомые зигзаги тропки остались позади, и перед ней показался омытый лунным светом коттедж.

— Хиро,— позвала она, и плевать ей было, услышат посторонние или нет,— Хиро, это я. Я вернулась.

Боясь всего на свете, он заперся изнутри на задвижку, и она стала дергать ручку сетчатой двери.

— Хиро, проснись. Это я.

— Русу? — Его голос прозвучал откуда-то из глубины комнаты, сонный и неуверенный, а потом она увидела, как его смутная фигура поднимается с лежанки и шарит в поисках шорт. На нем ничего не было, в слабом свете восходящей луны угадывались его кривоватые ноги и неловко болтающиеся руки.

— Сейсас иду! — крикнул он и отступил в темный угол; там, подняв сначала одну ногу, потом другую, он сунул их в зияющую пасть шорт.

— Который сас? — спросил он, впуская ее в дверь.— Сто-то слусилось?

— Нет, ничего.— Она шагнула к нему.

— Я свет зазгу? — Он был рядом, совсем рядом. Его дыхание было чуть несвежим со сна, кожа блестела в лунном свете.

— Не надо,— сказала она, переходя на шепот.— Мы так обойдемся.

Суфле в хроме

Он не понимал, чего это она так обозлилась, искренне не понимал. Какие уж там беседы — даже не взглянула на него ни разу полных шесть дней после вечеринки. Саксби ясно было, что это связано с Джейн Шайн и комплексами Рут, ясно было и то, что ему следует относиться к ней бережно,— но должна же она понимать, что он волен говорить с кем ему вздумается. Если Рут, едва заслышав имя Джейн Шайн, делает в штаны от страха, это еще не значит, что он обязан обходиться с женщиной как с прокаженной. К тому же, она ему нравилась. Она была — *он вспоминал ее волосы, глаза, шею, эту легкую шепелявость, словно она переводила с кастильского* — ему интересна. Да и что он такого сделал — поговорили, да и все,— и если для Рут это так невыносимо, зачем она его одного отпустила? Она что, думала, он превратится в слепоглухонемого? Будет стоять и дожидаться ее в углу в темных очках с табличкой на груди: СОБСТВЕННОСТЬ Р. ДЕРШОВИЦ?

Да, что верно, то верно, он увлекся немного: тут тебе и шампанское, и музыка, и вся эта приподнятая праздничная атмосфера — в общем, Рут на изрядный промежуток времени вылетела у него из головы. Но зачем же обращаться с ним как с преступником? Она задержалась. Одевалась, видите ли. Сказала, найду тебя позже. И вот он стоит, как дурак, у стойки, весь расфуфыренный и не у дел, а тут, откуда ни возьмись, Джейн Шайн. Привет, говорит, и он тоже здоровается, общественное животное как-никак, а она недолго думая заявляет, что, дескать, Ирвинг сказал ей, что он любитель аквариумов; так вот и сказала — любитель аквариумов. Он и купился. Она в детстве увлекалась рыбками, а бывший муж возил ее по Ориноко в пироге, и там они встретили самого Герберта Аксельрода. Кумир аквариумистов, который занимался сбором материала, пригласил их в свой базовый лагерь, где угостил *пикаруку* с луком и показал садок, кишащий харациновыми неизвестной ранее разновидности, открытой им не далее как в то самое утро.

Для Саксби это был голос небесных сфер.

Когда стало уже совсем поздно, а Рут все не появлялась, он прошел через лужайку к дому, поднялся к ее двери, и постучался в четвертый раз за вечер. Никакого ответа. Он приоткрыл дверь и убедился, что комната пуста. Озадаченный, он обследовал две ванные наверху, заглянул в гостиную, на веранду и вернулся к гостям, решив, что не углядел ее в сутолоке. Высматривая ее, он покружил в толпе, выпил бокал шампанского, поел, когда кто-то сунул ему в руки полную тарелку. Ее не было ни на танцплощадке, ни в баре. Он хватил виски со льдом, потом повторил. Потолковал с Сэнди, Эберкорном, Регином и Таламусом. Таламус сказал, что видел ее с час назад, она, кажется, шла из бара — посмотрел он на танцплощадке? Саксби ответил, что да, посмотрел, и, искренне недоумевая, опрокинул еще одно виски. Потом опять пошел в дом, принялся спрашивать о ней всех, кого встречал, еще раз заглянул в ванные, зашел на кухню. Пропала — и все дела.

Выйдя на свежий воздух, он дернул виски с Велли Пиглером и запил бокалом шампанского. Велли представлял интересы группы инвесторов, которые собирались построить на острове гостиницу и соорудить площадку для гольфа, и Саксби вдруг обнаружил, что яростно защищает неприкосновенность Тьюпело как исторического заповедника; завидев слугу с подносом, он схватил очередной бокал шампанского и сказал Велли, что он взял бы всех этих инвесторов за шкирку и засунул ему, Велли,

в задницу. А Велли хоть бы хны — улыбнулся так снисходительно и познакомил его с каким-то рыхлым, бледным и шумным типом, который отрекомендовался венчурным капиталистом, и они выпили за эту самую штуку — за венчурный капитализм, что ли,— а потом выпили за славную игру гольф и мяч в лунке. А потом само собой так вышло, что девушка, с которой у него была короткая связь, когда он приезжал навестить мать два Рождества назад, взяла его под локоть и повела танцевать. Остальное и вовсе было смазано — он помнил только, что черт знает в котором часу стоял в баре неизвестно с кем и нес невесть какую околесицу, и вдруг, откуда ни возьмись, мать, положила руку ему на плечо и спросила, куда запропастилась Рут.

Рут. Имя возникло перед ним, словно распахнулся некий платяной шкаф памяти. Он увидел перед собой ее лицо, и оно было искажено гневом. Он посмотрел на мать и пожал плечами.

С ней все было в порядке? — допытывалась мать. Может, она заболела? Или они поссорились?

Он стал оправдываться со всей искренностью — нет, никакой ссоры не было, он весь вечер ее искал; тут он снова потянулся за выпивкой, но Септима взяла его под руку и сказала слабым голосом, что она устала. Говоря всем свои бесконечные «до свидания», она не отпускала его ни на шаг, потом повела через лужайку, по ступенькам на крыльцо и в дом, где сама уложила его в постель, и сон обрушился на него, как нож гильотины.

Проснулся он с головной болью.

Рико сварил ему яиц и сделал «кровавую Мэри», но, съев яйца и выпив коктейль, он почувствовал себя совсем худо. Только в два часа дня он заставил себя отправиться наверх к спальне Рут. Загадка ее исчезновения вновь навалилась на него, когда он тупо кромсал яйцо и разглядывал вытекающий желток, пытаясь определить, выдержит ли его желудок такую тяжесть. Рут, подумал он. Боже милостивый, да что же с ней приключилось? Когда он поднимался по лестнице, им овладело предчувствие грозно и неотвратимо надвигающейся беды, но он приписал его раздрызганным нервам и яйцу, что камнем лежало у него в желудке. Рут в комнате не было. По всему туалетному столику разбросана косметика — всякие баночки, тушь, губная помада; кровать не смята. Или смята и застелена вновь. Ведь, слава богу, уже два часа. Она, наверно, у себя в студии, работает сидит. Он подумал было, не пойти ли к ней туда, чтобы немедленно выяснить, что случилось на вечеринке, и разрешить недоразумение, но ноги у него были совсем ватные, и он вернулся в свою комнату отлежаться и прийти в себя.

Он проснулся перед ужином, чувствуя себя полым, как тростник. Плеснув себе в лицо воды и пригладив волосы гелем, он опять потащился к двери Рут. На этот раз, едва костяшки пальцев прикоснулись к дереву, дверь распахнулась настежь.

Перед ним стояла Рут — маленькая, холодная, злая, неприступная, в лице ни кровинки, глаза — как две ледышки.

— Ну и дерьмо же ты,— сказала она.

— Но я...

— Рассказывай Джейн Шайн свои байки,— прорычала она, и дверь захлопнулась с оглушительным стуком, отдавшимся эхом по всему дому.

Он хотел повернуть дверную ручку, назвать Рут по имени, оправдаться перед ней, но тут услышал скрежет дерева по дереву, и дверь содрогнулась — ее приперли чем-то тяжеленным из наследственной мебели. Все же он взялся за ручку. Повернуться она повернулась, но дверь не подалась — куда там.

Выходит, так оно и есть — она видела его с Джейн Шайн. Он был огорчен, конечно, но вины за собой не ощущал. Ну не ощущал, и все. И пока он так стоял в коридоре и мимо него потоком шли на ужин колонисты, приветствуя его кивками и понимающими улыбочками, в нем крепло чувство, что на него возвели напраслину, что его обидели и унизили, приговорили без суда и следствия. У Рут характерец тот еще — ему ли этого не знать,— и нечего ему стоять препираться с ней через закрытую дверь на виду у фыркающих в кулак известных композиторов и еврейских знаменитостей. В конце концов, он уже добрых две минуты простоял тут, как истукан. Он пожал плечами и пошел вниз ужинать.

В последующие дни он не раз подкатывался к Рут, надеясь оправдаться, объясниться — хотя, видит бог, он не сделал ничего худого, разве что не проявил должного почтения к ее закидонам. Но она не желала разговаривать ни в какую.

Игнорировала его на людях, не отвечала на его стук, проводила все больше и больше времени, окопавшись в своей студии. Вся эта история начинала уже его угнетать, и чем сильнее он был угнетен, тем чаще ловил себя на том, что ищет общества Джейн Шайн — на коктейлях, за ужином, у бильярдного стола в утренние часы. Он прекрасно знал, что играет с огнем, но не только холодность Рут на него давила — еще и ход его предприятия, а Джейн Шайн с ее сочувственной улыбкой, лучезарными глазами и осведомленностью насчет рыб, казалось, понимала его беды.

Самая большая беда с его предприятием заключалась в том, что оно было полнейшей утопией. Если белая карликовая элассома и существовала когда-то в природе, то она вымерла уже, как динозавр или дронт — так, по крайней мере, ему теперь представлялось. Он объявил, что предлагает вознаграждение — пятьдесят долларов за рыбу — всем энтомологам, ихтиологам и аквариумистам-любителям, забрасывающим неводы во всевозможные заводи, старицы, ручьи, болота, лужи и водопады штата Джорджия, но все без толку. Его собственные сети кишели всякой всячиной: мальками колюшки и сомика, черепахами, лягушками, новорожденными водяными змеями размером со щеточку для курительной трубки и целыми пригоршнями окефенокской элассомы (все до одной, конечно, коричневые, неизменно и удручающе коричневые, цвета дерьма и тоски). Хоть бы один молочно-белый мутант показал свою чешуйчатую головку. В конце концов, одолеваемый скукой и нетерпением, он, вопреки своему первоначальному намерению, стал заселять аквариум. Он просто не мог ничего с собой поделать — взрослый мальчуган, у которого появилась новая игрушка.

Для начала он выпустил туда примерно сотню элассом — все, разумеется, равномерно-унылого коричневого цвета, хотя у некоторых самцов, если направить свет определенным образом, наблюдался обнадеживающий сероватый оттенок. Рыбки, едва достигавшие в длину дюйма с четвертью, чуть ли не бесследно растворились в необъятной толще двух сотен галлонов воды, и он начал думать, что меньший по объему аквариум послужил бы его целям ничуть не хуже. Но как бы то ни было, первые обитатели появились, и он был взволнован не меньше, чем восьми лет от роду, когда отец подарил ему в день рождения первый десятигаллоновый аквариум. На следующий день он добавил еще сотню карликовых элассом и кое-что из других видов — пресноводного солнечника, ушастого окуня, флоридскую гетерандрию, золотистого фундулюса и шуструю стайку бычков размером с ноготь, чтобы патрулировали дно.

Но, проснувшись на следующее утро — это был как раз день вечеринки,— он обнаружил тридцать своих карликов плавающими брюхом кверху на поверхности, уже покрытой пленкой слизи. Концентрация ионов водорода была в норме — слегка кислая реакция, как в торфянистых водах самих болот. Озадаченный, он выловил бледные раздувшиеся трупики и закопал их в цветочную клумбу под окном. Вернувшись к аквариуму позже в тот же день, он увидел, что передохла уже половина всех рыб и даже бычки плавают у самой поверхности на последнем издыхании — а эти-то живучи, как черти. Тут он заметил, что вода приобрела отчетливый желтоватый оттенок, что рыбы плавают не в чистой отфильтрованной влаге, которую он с таким тщанием накачивал, а в затхлой клоаке. Ясно, что допущен какой-то серьезный прокол; в поисках ответа он принялся листать том «Редких аквариумных рыб» Аксельрода.

Из раздела «Агрессивные организмы» он увидел, что в сотворенный им непорочный мир проникли зловредные существа. Одноклеточные — он вспомнил начатки биологии, которые проходил,— эти коварные хвостатые микроорганизмы бурно размножаются в воде — его воде! — уничтожая в ней все полезное. Он понял также, что бороться с ними поможет перманганат калия, который искоренит одноклеточные, не причинив рыбам вреда; он съездил на материк в зоомагазин, привез то, что нужно, и засыпал в аквариум, после чего увидел, как почти все оставшиеся рыбы медленно всплыли на поверхность и испустили дух. На следующий день невесть откуда появившиеся хищные жуки-плавунцы взялись за немногих уцелевших.

За неимением Рут пришлось искать утешения у Джейн Шайн. Вечером, после ужина, он провел ее через коридор в заднюю гостиную, и они постояли там вместе, глядя на скопление бледных трупиков.

— Досада какая,— сказала она.— Сколько усилий пропало зря.

Он посмотрел на нее искоса, увидел ее лицо, озаренное мягким светом из аквариума, и почувствовал укол совести. Рут узнала бы, убила бы его. Сожрала бы живьем. Но он был несчастен и подавлен, и где же она, когда он так в ней нуждается? Он вздохнул.

— Думаю, придется все это похерить и начать сызнова.— Он горько улыбнулся.— Господь Бог, я слыхал, имел те же проблемы.

— Бедная красавица,— прошептала она, не сводя глаз с аквариума.

У них на глазах искалеченная гетерандрия из последних сил выгребала к поверхности, не в силах высвободиться из паучьих объятий жука-плавунца.

Джейн повернула к нему голову.

— Это всё водоросли,— сказала она.— Зараза с ними занесена.

— Да,— ответил он.— Я знаю.

— Я бы поехала в какой-нибудь «аквариум-сити» — не знаю, есть тут такое поблизости, может, в Саванне? Взяла бы водоросли у них. По крайней мере, знала бы, что они чистые.

Он кивнул. Да, «аквариум-сити». Все проще простого: природа грязна и ненадежна, и славные ребята из «аквариум-сити» будут только счастливы ее обезвредить. Да, конечно. Сама ее манера говорить, обрамляя молчанием каждую фразу, словно все они были слишком ценные, чтобы так просто с ними расставаться, делала его совершенно беспомощным. Как мог он искать поддержки у этого голоса? Она говорила, и ему казалось, что его рубят под корень, как дерево.

— Иначе,— она показала на агонизирующих рыб,— иначе можете на всем этом поставить крест.

* * *

Когда Рут, наконец, к нему вернулась, у него гора с плеч свалилась. Спору нет, он повидал немало девиц в барах Ла-Хольи и западного Лос-Анджелеса, и, конечно, Джейн Шайн не могла бы стать более привлекательной, будь она хоть с ног до головы вымазана феромонами, но нужна была ему именно Рут. Куда Джейн Шайн с ее надмирной, выспренней красотой до этой женщины — такой близкой, такой ощутимой. Она по-своему, по-особому была хороша, эта Рут, и никогда ему не надоедала. И дело было не только во внешности, вовсе нет: в ней пульсировала жизнь, она была приливной волной, сметающей все на своем пути, и в то же время в ней ощущалась какая-то хрупкость и неуверенность, рядом с ней он чувствовал себя сильным. Ее одержимость сочинительством, все эти горы книг, кипы критических статей, все рассуждения на тему «кто есть кто в литературе» как нельзя лучше сочетались с его увлечением рыбами, эта одержимость была ему понятна, была тем, что придает жизни смысл. Если бы предметом ее страсти были почтовые марки, кости ископаемых животных или искусство Возрождения, это бы ничего не изменило; неважно было даже, хорошо или плохо у нее получается, важен был только этот огонь, который отличал ее от других женщин, казавшихся в сравнении с ней скучными. У него были его рыбы, и она была этим довольна; у нее была ее писанина.

Она подошла к нему в час коктейлей и положила руку ему на плечо (богини судьбы смилостивились над ним, и он в это время стоял у стойки в обществе одного Сэнди, Джейн Шайн поблизости не было).— Привет,— сказала Рут, и все встало на свои места, шесть дней молчания были забыты, Джейн Шайн стала запрещенной темой, вечеринка — смутным воспоминанием. Не говоря больше ни слова, она взяла его за руку и повела наверх, к себе в комнату.

Утром, прежде чем отправиться завтракать в «комнату общения», она разбудила его нежными поглаживаниями и заявила, что во второй половине дня ей нужно будет съездить в Саванну за продуктами.

— В Саванну? — переспросил он.— А почему не в Дариен?

— Ну, понимаешь,— небрежно ответила она, глядя в окно,— не все, что мне нужно, можно найти в этом забытом богом «Уинн Дикси».— Она посмотрела на него и улыбнулась, и его опять горячо и сильно обдало радостью, словно водой из душа.— Надо взглянуть правде в глаза: Дариен, штат Джорджия, не назовешь раем для гурманов.

— Ну ладно,— сказал он, пожав плечами,— давай съездим.

В четыре он отвез ее по какому-то адресу на улицу Де Лессепса и посидел за кружкой пива в прибрежной забегаловке, пока она возила туда-сюда тележку для продуктов. Когда через час он за ней приехал, она ждала его на улице, чуть не погребенная под бумажными пакетами. Он удивился, сколько она всего накупила — без малого восемь пакетов всяких консервов,— и удивился еще больше, когда она отказалась от его помощи в перетаскивании покупок в ее студию.

— Что ты хочешь этим сказать,— спросил он, заводя машину и оглядываясь на гору пакетов.— Что будешь таскать всю эту дребедень сама? И банки, и все прочее?

— Не беспокойся,— Рут рассматривала свои ногти.— Ну, схожу два-три раза, подумаешь.

— Но зачем, ведь я с удовольствием...

— Не надо, спасибо.

Но у Саксби это не шло из головы всю дорогу до парома, и пока они плыли через пролив Пиглер-саунд, и пока ехали домой по гудрону. Как она собирается доставить к себе все восемь пакетов, и на кой черт они ей сдались? В большом доме ей подают завтрак и ужин, в коттедж Оуэн ежедневно приносит обалденный обед — лучший обед на все дома творчества, хвасталась мать. Блажь какая-то. Она что, осаду держать собирается?

Когда они с тяжелой ношей протискивались в дверь ее спальни, один пакет разорвался и консервные банки посыпались на пол, но только он нагнулся их подобрать, как Рут остановила его.

— Я сама,— сказала она, присев на корточки к нему спиной и словно закрывая от него банки. Очень странно. И еще более странно было прочесть наклейки на двух банках, которые откатились в сторону.

— Жареный елец? Побеги бамбука? Ты что это, восточной женщиной у нас заделалась?

Она молниеносно обернулась, чуть ли не выхватила банки у него из рук и засунула в темную глубину пакета, стоявшего на столе.

— Да нет,— улыбнулась она.— Ну, что ты. Просто... просто мне нравится пробовать новое.

— Жареный елец? — Он покачал головой и улыбнулся ей в ответ, и она упала к нему в объятия, но все же это было непонятно, действительно непонятно.

* * *

На субботу-воскресенье Джейн Шайн уехала в Си-Айленд с каким-то придурком в серебристом «ягуаре», и Рут ожила прямо на глазах. В час коктейлей она едва не летала по комнате, да и за ужином не могла усидеть на месте, перебегая от одного столика к другому, как репортер из светской хроники на премьере спектакля. Саксби был только рад. Приятно было видеть, что она довольна собой, вновь захватывает первенство, сияет на небосводе «Танатопсиса», как сверхновая звезда. И еще он был доволен тем, что она не поминала про вечеринку, спустив на тормозах его беседу с Джейн Шайн и прочие связанные с этим прегрешения, о которых он мог даже и не догадываться, но в которых тем не менее считался виноватым. Пока она изображала кого-то, сидя за соседним столиком в обществе Таламуса, он изливал свои аквариумные горести Кларе Кляйншмидт — просто ради поддержания разговора и в порядке скромной мести за рассуждения об Арнольде Шёнберге.

После ужина было выступление Патси Арены — приземистой широколицей кубинки, которая, казалось, сошла с картины Ботеро [1]. Она приехала по рекомендации Клары Кляйншмидт только на днях и колошматила по старенькому стейнвеевскому роялю в передней гостиной, словно мясо отбивала. Всего в этот вечер она собиралась сыграть три вещи — две собственного сочинения и одну Кларину. Оуэн притушил свет. Рут прильнула к плечу Саксби. Колонисты прокашлялись, поерзали на стульях и подались вперед в страхе и предвкушении.

Бац! Патси Арена нанесла роялю нокаутирующий удар. И тишина. *Раз-и-два — и — раз-и-два* — шептала она, тряся курчавой головой. *Бац! Бац!* — дважды стукнул по клавишам увесистый кулак. Молчание. Три полных мучительных минуты она

[1] Фернандо Ботеро (род. в 1932 г.) — колумбийский художник и скульптор, использующий в своем творчестве индейские мотивы.

сидела выпрямившись и неотрывно глядела на дешевый пластмассовый будильник, стоявший перед ней на черной лакированной крышке. Наконец будильник зазвенел — *динь-динь-динь — и, бац!* — кулак опустился на клавиши. Пьеса называлась «Суфле в хроме» и длилась без малого сорок пять минут.

Потом, как бы на десерт, показали еженедельный фильм — «Женщина в песках» [1], в порядке реверанса перед Оуэном, который в очередной раз вошел в японскую фазу. Почти все высидели целиком и концерт, и фильм, у которых, как оказалось, было не так уж мало общего. Жизнь в «Танатопсисе» хоть и была, возможно, чертовски стимулирующей в творческом отношении, с точки зрения развлечений была так себе; Саксби знал, что большинство его обитателей жалуются на невыносимую скуку и что вечерние чтения, концерты и выставки, а также еженедельные фильмы хоть как-то скрашивают им унылое течение дней.

Разумеется, Рут, к немалому удовольствию колонистов, на лету принялась пародировать диалоги фильма, а в бильярдной от нее досталось и Патси Арене. Народ так и падал со смеху. Когда она взялась изображать неуклюжие наскоки пианистки на инструмент, лица у людей сделались красные, они в исступлении колотили себя в грудь; но тут в комнате возникла Клара и ее протеже, и Рут, не растерявшись, отпасовала мяч Эберкорну, который скромно хихикал в пивную кружку.

— Ну как, с добычей сегодня, Дет?

Смех умолк. Клара налила Патси выпить. Все посмотрели на Эберкорна.

Эберкорн околачивался на острове уже с неделю. Иногда он появлялся с напарником, иногда один. Вопрос Рут был с подковыркой; помешивая лед у себя в бокале, Саксби смотрел на Эберкорна, которого так и передернуло. В сущности, парень ему нравился — а может, просто Саксби было его жалко. Эберкорн взглянул на Рут большими вертлявыми кроличьими глазами. Вопрос поверг его в уныние.

— Пусто,— сказал он. Потом шумно вздохнул, почесал за ухом.— Мы с Льюисом думаем, замешан кто-то еще.

Рут отвела взгляд. Ее вдруг крайне заинтересовала игра света в бокале. В тот момент Саксби ничего не заподозрил, но было нечто в ее выражении лица, в сжатых губах, в опущенных, но настороженных глазах, что припомнилось ему потом.

— Я, признаться, не понял,— вмешался он.— По-вашему, кто-то на острове его укрывает, да?

Эберкорн медленно и важно кивнул — словно ткнул подбородком в подвинувшихся поближе колонистов. Теперь все до одного навострили уши.

— А больше ничего в голову не приходит — он ошивается тут уже пять недель, и если оставить в стороне угощение в Прибрежных Поместьях и жратву, которую он там и сям помаленьку таскал, вы не спрашивали себя, чем он питается?

Саксби об этом не задумывался — до сих пор этот увалень-японец, этот молокосос, который нагнал на них страху в тот вечер в проливе Пиглер-саунд, а потом дал от него деру в магазине, был ему только забавен. Но теперь на краткий миг и столь неожиданно, что он сразу же эту мысль отбросил, в его голове возник ответ: жареным ельцом.

* * *

В следующий вечер, в субботу, Рут не пришла на коктейли; Саксби сидел с матерью на веранде и высматривал ее. Когда Арман позвонил к ужину, а она все не шла из своей студии, он нехотя двинулся в главную столовую и сел там за один из маленьких столиков с Септимой и Оуэном. Мать трещала без умолку о делах колонии — этот приезжает осенью, той показали кукиш в Яддо, а она, Септима, почитала бы за счастье ее заполучить; он начисто отключился и знай себе работал вилкой. После ужина он забился в заднюю гостиную поразмыслить об аквариумных делах. Утром он слил зараженную воду, выкинул все водоросли, гравий и камни; теперь надо было дать аквариуму отдых на пару дней, а потом начинать все сызнова. Но теперь-то он ученый. Он поедет в «аквариум-сити» и вообще наберется терпения. Нечего ходить вокруг да около: он будет разводить альбиносов и заколачивать на этом деньгу. Более того, он должен занять место среди величайших аквариумистов-любителей двадцатого века наряду с Уильямом Фодервинклером, Дэниэлом Дикоко и Паулем Ханелем, отцом декоративной пецилии.

[1] Фильм по роману японского писателя Кобо Абэ (см. «ИЛ», 1966, № 5).

Он примерил к себе титул: *Саксби Лайтс, отец альбиносной разновидности карликовой элассомы;* затем поставил кассету — Альбинони, один из любимых композиторов матери — и сел в мягкое кресло с последним номером «Нэшнл джиогрэфик». Он попытался углубиться в статью об уменьшении упругости волосков у тихоокеанских мидий и отдаленных последствиях этого для промысла моллюсков, но не мог сосредоточиться. Ему не сиделось на месте. В тот вечер планировалось чтение — Боб Пеник выносил на суд слушателей свои новые стихи; Саксби, который с поэзией был не в ладах, пошел бы только ради Рут, но Рут все не возвращалась. Дом стал погружаться в сумерки, и Саксби потянулся к выключателю лампы.

И вдруг вскочил с кресла, приняв мгновенное решение: черт побери, какое ему дело до правил, он возьмет и отправится к ней сам. Работает двенадцать часов без передыху, где ж такое видано — за это время можно «Войну и мир» написать и переписать задом наперед. Нет, баста. Она, конечно, может сказать, что он нарушил ее творческое уединение, но завтра пусть себе уединяется снова. Сколько можно ждать!

Красноватая земля, посеревшая в сумерках зелень; тропинка прихотливо завивалась, как струйка дыма. Мошки-бабочницы уже уступали место комарам, в густом подлеске шуршали ящерицы-анолисы. Над его головой раздавалось негромкое «дак-дак» и жалобное рыдание ночного козодоя, в древесных ветвях затихал гомон дневных птах. Настал тот вечерний час, когда гремучие змеи выползают из своих нор, чуя теплое мельтешение мелких млекопитающих, которые составляют их добычу. Саксби ступал неслышно.

Когда он выходил на последний виток тропинки, прямо перед ним выползла какая-то тень. Толстая, скрытная тварь, выбрала место, где потемнее. Скорей всего, безобидная кукурузница, но несколько минут спустя ему и Рут идти тем же путем обратно, так что лучше исключить любые неожиданности. Подойдя поближе — да, это была змея, разлеглась на тропе, как петля аркана,— Саксби нагнулся и подобрал палку. Приняв позу фехтовальщика, он потихоньку переступал на полусогнутых, и вдруг его словно током ударило: с резким шорохом гремушки тень метнулась к палке. Звук был взрывчатый, скребущий, громкий, как стук кастаньет. Миг — и вновь тишина, и под еле слышный шелест травы змея растворилась в зарослях.

Саксби бросил палку и двинулся дальше; в висках стучала кровь. Одно удовольствие змею подразнить, думал он, переступая осторожно, словно шел по незастывшему цементу. Когда он подходил к последнему повороту, уже совсем стемнело, и он обругал себя за то, что не взял фонарик. Но у Рут, наверно, он есть — а если нет, он вырежет палку, и они будут прощупывать перед собой дорогу, как он делал мальчиком, возвращаясь домой затемно после вылазок в дальние болота. Он предвкушал разговор с Рут, сочинял комический рассказ о встрече со змеей — и тут показался коттедж.

Света в нем не было.

Вот тебе и раз. Он подумал было, что разминулся с ней, но потом вспомнил свое предыдущее вечернее посещение — тогда он обнаружил ее сидящей в темноте. Он набрал воздуху, чтобы ее позвать, но вдруг осекся. Она что-то тихо говорила — слова были неразличимы, но в голосе слышались резкие, повелительные нотки, как будто она бранила ребенка. Потом скрипнула, открываясь, сетчатая дверь и со стуком захлопнулась. Саксби оцепенел. На крыльцо вышел человек, и это не была Рут.

Собаки лают, гав-гав

Когда Рут пришла к нему в ту ночь, ему снилась мать — его *хаха,* его *ока-сан,* молодая, мягко улыбающаяся женщина в мини-юбке, женщина, которая произвела его на свет, вскормила его, заглядывала ему в глаза. Это был сон о младенчестве, идеальное представление, родившееся из пачки фотографий в нижнем ящике бабушкиного комода. Картинки мелькали перед глазами, словно карты в тасуемой колоде, и мать на них то стояла на пороге подготовительной школы со своей гитарой, ладными крепкими ногами и красивым широким лицом, которое он от нее унаследовал; то, похудевшая, сидела на футоне и глядела на брыкающегося малыша

в кольце ее рук; то смотрела из-за стойки переполненного бара, и бутылки у нее за спиной мерцали, как звезды. А потом ее лицо уплыло куда-то в глубину и взошло на небе, словно луна, и она превратилась в Тиэко, широкобедрую девицу, с которой он познакомился в забегаловке в Ёсиваре, ее руки обвились вокруг него, губы впились в его губы, как живые существа...

Тут он услышал, как дергается дверь, и мгновенно понял, что за ним пришла полиция со всей своей сворой псов и негров.

Но нет — из темноты донесся голос Рут. Да, ее голос. В потемках он нашарил шорты, дверную задвижку — что-нибудь случилось? Нет, ничего. Зажечь свет? Не надо. От нее шел терпкий запах, запах духов, который возвращал его в сновидение, к Тиэко и мерцающим огням Ёсивары.

Рут поцеловала его прохладными губами, он ощутил ее язык у себя во рту. От шифонового платья к его обнаженной коже проскочила искорка. Он ничего не мог понять — ведь они друзья, так она сама сказала, просто друзья, и у нее был любовник, этот маслоед непомерного роста с волосами цвета рисовой бумаги и бегающими бледными глазами. Но платье упало на пол, словно его сдернула невидимая рука, и она обняла его, ее плоть соединилась с его плотью, чистая белая длинноногая загадка проникла в его нутро, и он не пытался ее разгадать, не мог, не хотел.

Утром, когда уже было совсем светло, она подняла голову с его груди и заглянула ему в глаза. Он ощущал ее всю, прильнувшую к нему во сне, слышал легкий трепет пробуждающейся в древесных ветвях жизни, и прохладный взгляд серых глаз вызвал в нем всплеск переживаний, который, должно быть, отразился в каждой черточке его лица. Ему казалось, она что-то решает, взвешивает на каких-то весах, вспоминает прошедшую ночь и свой внезапный порыв.— Просто друзья,— прошептал он, и это-то как раз и нужно было сказать. Она улыбнулась, раскрылась, как цветок, потом поцеловала его, и все встало на свои места.

Она ушла в другой дом, в большой дом, когда солнце еще не поднялось над деревьями, а потом принесла ему булочки, фрукты и нарезанное кусочками мясо. Он начал есть, а она села за пишущую машинку и яростно забарабанила по клавишам. Прошло около часа, и, дождавшись одной из долгих пауз, когда она смотрела в окно и что-то тихо и задумчиво бормотала, он кашлянул и спросил, что она такое печатает.

— Рассказ,— ответила она, не оборачиваясь.

— Триллер?

— Нет.

— Про рьюбовь?

Она повернулась на стуле и посмотрела на него. Он развалился на диванчике, рассеянно проглядывая журнал — наркотики, СПИД, застреленные в школьном дворе дети — и, как видно, изнывал от скуки.

— Это трагическая история,— сказала она,— очень печальная,— и она изобразила скорбь, опустив углы рта.

Она опять стала печатать, а он на минуту задумался. Трагедия. Ну конечно. Что же еще? Жизнь и есть трагедия.

— Про сьто? — спросил он, понимая, что отвлекает ее от работы, и уже чувствуя себя виноватым.

— Про японца,— ответила она, не поворачивая головы.— Про японца в Америке.

Этого он не ожидал.

— Как я? — вырвалось у него само собой.

На этот раз она повернулась.

— Да, как ты,— и опять застучала по клавишам.

Ближе к обеду он вышел из дома и сидел в кустах, пока *хакудзин* с прямой спиной и жесткой щеткой волос не повесил корзинку с провизией на крючок и не отошел по тропинке достаточно далеко. Рут поначалу и вовсе не хотела притрагиваться к еде — маленьким бутербродам с сосисками и огурцом, овощам прямо с грядки и малине со взбитыми сливками на десерт,— но он настоял. От голода у него мутился разум, но он чувствовал себя таким виноватым, он столь многим был ей обязан — особенно после сегодняшней ночи,— что не мог видеть ее обделенной. Она такая худенькая, а он ее объедает.— Делим,— сказал он, встав перед ней на колени и коснувшись лбом пола,— позаруйста.

Увидев его простертым на полу, она рассмеялась и наконец сдалась — отодвинула машинку в сторону и освободила место на письменном столе. Они ели молча, но он видел — и это преисполнило его благодарности и любви,— что львиную долю она оставила ему. Потом он убирал со стола, а она курила сигарету, и неожиданно для самого себя он спросил:

— Русу, прости меня, позаруйста — скорико тебе рьет?

Она откинула голову, затянулась и, выдыхая дым, ответила:

— Двадцать девять.

— Ты была замужем?

Она покачала головой.

— Нет, никогда.

Он раздумывал над тем, что услышал, пока смахивал со стола крошки и ходил к двери повесить корзинку обратно на крючок.

— У нас в Японии,— сказал он,— выходят замуж в двадцать четыре года. Женятся — в двадцать восемь.

Рут улыбалась ему хитро и насмешливо, а он вдруг вообразил ее в Нью-Йорке, в роскошных апартаментах с ванной величиной со всю квартиру его *оба-сан,* с картинами на стенах, с обтянутой кожей мебелью и мягким ковром по всему полу, вообразил, как он возвращается к ней домой со службы в костюме и галстуке, с дорогим «дипломатом» в руке.

— А тебе сколько лет? — спросила она.

Ему было двадцать. Всего-то. Но он знал, что выглядит старше своих лет, и не хотел огорчать ее возрастным несоответствием.

— Тридцать один,— ответил он.

Она подняла брови и выпустила из ноздрей две тонкие струйки дыма.

— Правда? Выходит, ты уже опоздал на три года. Как же так, Хиро,— тебе давно пора быть женатым.

* * *

В последующие несколько дней она почти все время была с ним, возвращаясь в большой дом только ночевать. О том, как она проводит ночь, он ее не спрашивал и был полон терзаний. Он хотел ее и пытался показать ей это выразительными взглядами или как бы случайными прикосновениями, когда она вставала из-за стола. Однажды, тихо просидев у нее за спиной весь бесконечный день, он подошел к ней сзади и положил руку ей на плечо.

— Потом,— сказала она, притянула его к себе и поцеловала по-американски: — словно птичка клюнула.— Я еще работаю.

Позже, когда она пришла из большого дома с ужином для них обоих, он немо взмолился к ней движением рук, мягким наплывом глаз — и она увидела, поняла, но сказала, что не совсем хорошо себя чувствует.

— Ох уж эта жара,— и она переменила тему, начав расспрашивать о Японии: там ведь не так жарко, правда?

А однажды вечером она отправилась в большой дом выпить коктейль и не вернулась. В семь часов его живот забурчал. В восемь солнце зашло, и он начал терять надежду. Но вдруг все же — чего не бывает — она придет ночью? Он ждал долгие часы и травил себе душу. Чего, в конце концов, она от него хочет? Неужели он для нее только игрушка, забава? Когда она собирается исполнить свое обещание и вызволить его из этой дыры? Сидя один в темноте, он испытывал горечь — горечь и, хоть он и не признавался в этом самому себе, ревность. Он уже не чувствовал к ней благодарности, забыл о своем неоплатном долге; он встал из кресла-качалки и зажег настольную лампу.

Вот он лежит, ее рассказ. Одна страница вставлена в машинку, другие разбросаны по столу словно внезапным порывом ветра, исчерканные, исписанные вдоль и поперек, покрытые пятнами кофе и чернил. Сколько раз он приводил ее стол в порядок, сколько раз раскладывал ручки и карандаши и споласкивал чашку из-под кофе. Ему и в голову не приходило прочесть хоть слово. Любопытство-то было, но совесть не позволяла. Разве мог он беспардонно лезть в ее частную жизнь после всего, что она для него сделала? Так он думал, ибо так воспитала его *оба-сан.* Но теперь, просидев в темноте невесть сколько и измучившись ревностью, он думал

по-другому. Плевать ему было на ее частную жизнь. Он уселся, пошелестел страницами и начал читать:

> Он был японец в полном расцвете японской мужественности, крепкий и неподатливый, он пришел с работы после полуночи и с силой потянул ее за кимоно. Дети давно спали, «сони» был выключен, крохотная квартирка сияла чистотой. От первого же его прикосновения Митико вспыхнула, как порох. От него несло виски, импортным виски, которое он пил каждый вечер в баре, и запах возбуждал ее. Она любила его за полную луну широкого лица, за тугие мышцы живота, трущегося о ее живот, и за зубы, главное — за зубы. Они заходили друг за друга, как радость и печаль, и путь к его улыбке был столь же извилист, как тропка к вершине горы Фудзи.
> Он грубо вошел в нее, и она исторгла крик. «Хиро,— стонала она, стискивая его, цепляясь за него, как утопающая,— Хиро, Хиро, Хиро!».

Хиро поднял глаза от страницы. Он не узнавал комнату — она вдруг показалась западней, стены давили, свет лампы охватывал запястья, как наручники. Читать дальше не хватило духу.

* * *

— Когада? — настаивал он.

Она раскладывала припасы — столько, что хватило бы для целой армии, хватило бы, чтобы месяц держать в теле домашнее животное.

— Я же тебе говорю: у Сакса пикап, а для тебя мне нужна машина с закрытым багажником.— Руки ее безостановочно работали. Гора консервных банок на столе все росла.— Вот матери его машина — это другое дело. Мне только надо хороший повод придумать, чтобы ее взять.

— Русу, ты тянесь время. Не хотесь меня выпускать. Ты запирать меня хотесь тут.

Яркий, тропический свет сиял в ее волосах, дробился в глазах. Она запустила руку в рюкзак за очередной банкой консервов.

— Думаешь, там тебе лучше будет?

— Когада, Русу? — повторил он.

Она встряхнула пустой рюкзак и повернулась к нему.

— Я не собираюсь держать тебя тут насильно — правда, Хиро, не собираюсь. Кстати, это для меня и небезопасно. Ты мне нравишься, даже очень. Я хочу, чтобы ты отсюда выбрался, только... только пойми, это не так просто. Попасться ничего не стоит.

Он стоял рядом, уперев руки в бока, и ничего не отвечал.

— У нее старый «мерседес», там багажник с Большой каньон величиной. Как раз то, что надо.

Она взглянула на него своими неотразимыми глазами, улыбнулась, показав безупречные розовые десны, и он вдруг обмяк.

— Ладно,— сказал он, глядя в пол.— Знасит, скоро?

— Скоро.

А потом, через два дня, когда она поднялась на крыльцо с очередным грузом консервов, от него не укрылась ее заговорщическая улыбка.

— Я тебе сюрприз приготовила,— сказала она, переводя дыхание. Затем подошла к столу и выпросталась из лямок. Она выпятила грудь, развернула плечи, и рюкзак съехал вниз. От нее шел густой, темный аромат, в котором перемешались запахи духов и пота.

— Сюрпризу? — Он подвинулся ближе, глядя на ее пальцы, развязывающие горловину рюкзака. Хорошо бы что-нибудь вкусненькое — кусок пирога, например, или шоколадку «Марс», она ведь знает, что он «Марс» любит, но вместо этого она извлекла из глубины рюкзака еще одну банку жареного ельца и целлофановый пакет с какими-то сушеными кореньями. Его лицо выразило разочарование. Неужели она всерьез думает, что ему может понравиться эта дрянь? Сушеные рыбьи головы, наструганная кора в целлофановых пакетах, сплющенные черные грибы, подобные клочьям сошедшей кожи, бесконечные банки с побегами бамбука — да за кого она его принимает, за голодранца? Сушеные головы. Да он бы предпочел что угодно —

тушенку, спагетти, набор «все для гамбургера» — но говорить такое было неудобно. Дареному коню в зубы не смотрят.

Она повернулась к нему, положила руки ему на плечи и обозначила очередной бесплотный поцелуй в направлении его щеки.

— Все решено,— сказала она.— Послезавтра. Сакс отправляется за своими карликовыми рыбками, и мне, чтобы поехать в Саванну купить кое-что из одежды, придется взять машину Септимы.

Он не сразу понял.

— Так знасит...

Улыбаясь, она смотрела ему в глаза.

— Русу! — воскликнул он, не в силах сдержать свою радость, готовый ракетой взвиться в небо. Он стиснул ее в объятиях — ура, он выберется отсюда, путь открыт, жизнь начинается сначала! — но с ощущением ее прижатого тела пришло острое чувство утраты. Она увезет его в город, и там он с ней расстанется, растворится в толпе. И никогда больше ее не увидит.

— Ну,— сказала она, отклонившись назад и вглядываясь ему в лицо,— ты рад?

Он не знал, что сказать. Искал слова и не мог найти — да, рад, конечно, но и не рад тоже,— и вдруг из темноты до них донесся яростный стук, смешанный с шипением. Оба вздрогнули. У кого-то на шоссе лопнула шина, подумал Хиро, но звук все не умолкал, и он не знал, с чем сравнить это шипящее тарахтение. Глаза у Рут забегали. Он насторожился.

— Змея,— прошептала она, схватив его за руку.— Гремучая змея. Кажется, кто-то идет по тропинке.

Гремучая змея. Откуда-то из глубины сознания поднялась, качаясь, отвратительная приплюснутая головка, глянули холодные безжизненные глаза. Он вспомнил себя мальчиком в токийском зоопарке, цепляющимся за руку *оба-сан* и всматривающимся с восхищением и страхом в заляпанное ядом стекло террариума.

— Быстро прячься,— кровь бросилась Рут в лицо.— Туда, за дом.

Отвратительная приплюснутая головка, трепещущий язык. Нет, он пока еще в своем уме. Не пойдет он никуда.

— Ну! — ее голос был жестким, неумолимым.— Иди, кому сказала!

Ее руки толкали его к выходу, сетчатая дверь распахнулась, потом захлопнулась за ним, как хищная пасть. Он стоял на крыльце, вглядываясь в жерло ночи и соображая, не притаиться ли прямо тут, не переждать ли, пока встревоженное пресмыкающееся и все его плоскоголовые родичи не попрячутся обратно по своим норам. Он перевел дыхание и затаился, вслушиваясь. Все кругом было тихо. Ни змеи, ни человека. Но он вспомнил прошлый раз, вспомнил, как скрипели доски крыльца под Рут и ее *бойфурендом*,— и, перемахнув через перила, спрятался под стеной дома.

На всякий случай.

* * *

Проснулся он с первыми лучами рассвета. Что-то его разбудило, какая-то звуковая рябь на периферии сознания. Его взгляд упал на знакомые потолочные балки, на усталую, мертвую древесину; комната была залита ядовито-зеленым болотным светом. Он моргнул раз и еще раз, пытаясь понять, что за шум его потревожил. Птицы знай себе честили друг друга в гуще ветвей, временами важно подавала голос лягушка, или ящерица, или кто там еще, и кто-то прерывисто лопотал, вроде как обезьяна — если тут вообще обезьяны водятся. Но в этом не было ничего необычного, такие же звуки он слышал день и ночь с тех пор, как выбрался на берег. Природа, одним словом. Мельтешение бесчисленных маленьких жизней — жабы, и гусеницы, и прочее, и прочее... Чего бы он только не отдал за хорошую дискотеку, за гам голосов поверх грохота музыкального автомата, за взрывы смеха и возгласы из бара, за рев подъезжающих и отъезжающих больших «хонд» и «кавасаки»... Но вот, вот оно опять. Какое-то пыхтение, скулеж — то ли собака рвется с поводка, то ли старый астматик поднимается по лестнице.

Слушая в полудреме это подвывание, он вспомнил дедушку. Когда Хиро был маленьким и они жили в Киото, он спал со стариком в одной комнате, а потом дедушка умер, и *оба-сан* вернулась в Иокогаму, где у нее была родня. Хиро часто пугался по ночам, пугался движущихся по стене теней, трудного дыхания деда, а еще

пугался вещей потусторонних — вампиров, оборотней, белых скелетов, лис в облике человека. Его *одзи-сан* тогда уже ушел с тракторного завода Куботы на покой и получал хорошую пенсию, и за ним было закреплено место на кладбище фирмы, но *оба-сан* все еще ходила в ночную смену на стекольный завод. Иной раз, когда Хиро казалось, что вот сейчас он лопнет от страха, как разварившаяся сосиска, он будил деда, и старик усмирял свое дыхание и гладил внука исхудалыми руками. «Не бойся, малыш,— шептал он,— *ину га ван-ван хоэру,* собаки лают, гав-гав». Просто лают собаки.

Но вот — странное дело — разбудивший его скулеж превратился в гавканье, настоящее гавканье, вполне отчетливое, и на миг ему пригрезилось, что рядом спит его *одзи-сан,* что в комнате раздается его негромкое, лающее, с присвистом дыхание. Тут его словно током ударило, и он рывком сел в постели: да это и вправду собака. Полицейская. Ищейка шерифа. И она не будет так просто лаять, эта собака укусит. Да еще как укусит.

* * *

Двумя часами раньше в каких-нибудь полутора милях оттуда сын Юлонии Уайт Петтигру проснулся от тонкой трели часов-радио, сменившейся приглушенными звуками барабана и гитары. Ройял выключил радио и сел; темнота стиснула его, словно кулак. Заснул-таки, хотя знал, что к четырем надо быть как штык, так Джейсон Армс сказал, иначе проворонит все на свете. Но теперь-то он бодрствовал, вдыхал запахи земли и слышал ее звуки — все звуки до единого, вплоть до мышиной возни на кухне, полета летучих мышей, легчайшего шороха спаривающихся земляных червей в траве под окном. Глубоко и размеренно дыша, стараясь утихомирить бешено крутящееся в груди колесико, он обонял мир, который казался ему свежим, заново рожденным из ночной гнили и восхитительно сладким, бодрящим и желанным, как неразвернутая палочка жевательной резинки «биг ред».

Светящиеся стрелки часов-радио показывали 3.35. *У меня больше права там быть, чем у любого из них;* застегивая браслет с шипами, он не мог унять дрожь в пальцах. Из дальней комнаты доносилось уютное дыхание матери, вздымался и опадал ее бархатистый храп. Он подумал о шоколадках на кухне, но как-то коротко и вяло — он был слишком возбужден, чтобы есть.

Снаружи свежесть ощущалась сильнее, слаще, она пропитывала буквально все, уничтожая привычную вонь крабов, свиней и собак с задов армсовского дома. Ройял с размаху опустился на ступеньку крыльца зашнуровать кроссовки, и вдруг его как ударило: он уловил запах трубочного табака, это был особый табачок Ерделла Картера с корицей и молотыми плодами шиповника. Что ж, выходит — пальцы его, державшие шнурки, замерли,— опоздал он, что ли? До него стали долетать еле уловимые звуки пробуждающейся жизни — кто-то вдалеке чиркнул спичкой, где-то раздался заговорщический шепот. Похоже, секрета тут ни для кого уже нет. У него вырвалось короткое ругательство, и колесико в груди заработало чуть быстрее. Он вспомнил, как папаша каждую осень собирает охотников на енотов перед домом у большого дуба — скулят собаки, мельтешат тени, челюсти жуют табак, незлые шуточки понимаются на лету, с полуслова. Ройял с силой дернул шнурки, кровь стучала в ушах — *больше права, чем у любого из них,*— соскочил с крыльца, сжавшись в тугой жаждущий комок, и рванул через лужайку к дому Армсов.

Джейсон уже встал — занимался с собаками, держа в руке чашку кофе; сегодня он корчил из себя важную персону, хотя был старше Ройяла всего на два года, восемь месяцев и одиннадцать дней. Одинокая тусклая лампочка в 25 ватт, горевшая над крыльцом, выхватывала из тьмы желтоватый клин, и, дойдя до середины лужайки, Ройял уже различал темные силуэты сидящих мужчин — их было, наверно, с десяток, они не спеша дожевывали бутерброды, которые сделала в темной кухне Джейсонова мамаша. Глаза подтвердили Ройялу то, что нос давно уже чувствовал: среди них был Ерделл Картер с неизменной трубкой во рту и зажатым между колен крупнокалиберным ружьем. Прочие (он узнал Дженкинса, Баттертона, Крида — всё приятели отца и заядлые охотники на енотов) ссутулились над своими дробовиками, держа тускло поблескивающую сталь так же небрежно, как могли бы держать зонтики в пасмурную погоду.

Трава была вся в росе, кроссовки Ройяла чавкали на ходу. Он часто-часто

дышал. В свои шестнадцать немыслимо долговязый, нескладный, с длинными, как у отца, ногами и тонкими негритянскими щиколотками, с тщательно обработанными, обесцвеченными и низко свисающими патлами он выглядел, мягко говоря, необычно и знал, что кто-нибудь наверняка примется его подкалывать. Эрделл Картер не заставил себя долго ждать. Громко прихлопнув очередного комара, он улыбнулся своим морщинистым старым лицом и спросил Ройяла, что он сделает с китайцем, если поймает.

Ройял промолчал. Тут полагалось быть его отцу, а не ему, но отец усвистел на грузовике в Канзас, или Вайоминг, или еще какую тьмутаракань, которую Ройял только по телику и видел. Отец мотался на грузовике примерно две трети всего времени, но зато когда приезжал домой, так уж приезжал. В шестнадцать лет Ройял недобрал фунтов двадцать до нормального веса — жердь жердью, сплошь хрящи да кости. Но куда Джейсон с собаками, туда и он. Пусть попробуют ему запретить.

Джейсон оторвался от собак покойника отца и протянул Ройялу белый хлеб с копченой колбасой. «Не,— сказал тот, крутя головой так, словно ему предлагали теплое тело и дымящуюся кровь Христа.— Не, не голодный».

Вчера вечером — в сущности, всего шесть часов назад,— они с Джейсоном и Родни Кэткартом смотрели по джейсонову видику «Школу рок-н-ролла», и тут, откуда ни возьмись, шериф Пиглер стучится в дверь. Мать Джейсона уже спала, и, увидев шерифа, они все трое чуть не уссались со страху: они курили травку, собрав и скатав в один жалкий комок все сбереженные за лето бычки, и так навоняли марихуаной, что хоть топор вешай. Но шерифа это мало волновало. Его волновали две большие охотничьи собаки и маленькая рыжая сука, за которую покойный папаша Джейсона выложил в Брансвике аж сто десять долларов.

Шериф был сухопарый белый человек с глубокими морщинами по лицу и острыми голубыми глазами, которыми он сразу, как булавками, тебя пришпиливал. В школе он был звездой футбола, крайним нападающим, и заработал на этом стипендию в каком-то колледже на севере, но вылетел через два сезона. Как положено, он носил шляпу и бляху, но, помимо них, на нем всегда были только футболка, джинсы и ботинки, как на простых смертных. Он стукнул разок в дверь, просунул голову и говорит:

— Джейсон, не выйдешь на минутку?

Так вот в чем дело-то. Вот почему десять мужчин (теперь уже двенадцать, а скоро будет и пятнадцать) пришли к дому Армсов, словно енотов собрались травить, вот почему Джейсон так важничает, вот почему Ройял и куска проглотить не может: выследили этого говнюка, этого японского китаезу, который взял и убил его дядьку. Шерифу нужны были собаки, и он посулил Джейсону двадцать пять долларов за них и за услуги, но велел ему держать язык за зубами.

— Мне надо сцапать правонарушителя, отправить раз и навсегда за решетку,— сказал он, употребив для пущей убедительности официальное словечко,— и я не хочу, чтобы половина острова болталась под ногами, понял?

Но Джейсон, деваться некуда, сказал ему и Родни, пока шериф выруливал на машине обратно на шоссе, а на экране группа «Рамонес», вся в черных джинсах-дудочках, знай себе дребезжала гитарами; Родни пошел домой и сказал матери и, наверно, еще троим братьям, шестерым сестрам и папаше с дедушкой впридачу, и теперь, когда в четыре шериф прикатит за Джейсоном и собаками, его будет ждать порядочная толпа.

* * *

Голос прозвучал оглушительно, раскатисто, как гром из грозовой тучи, и в тот же миг поверг его в полнейшее смятение — у него даже зубы заныли от страха, и помощи от Дзётё ждать не приходилось: — *Хайро Танейка, ну-ка вылазь давай оттудова, как миленький, и руки за голову, чтоб все видели.* А позади этого голоса слышался собачий лай — бешеный, исходящий слюной, задыхающийся от ярости, лай псов-убийц, псов-душегубов, охочих до свежатины.

Шорты схвачены с пола и надеты в долю секунды, кроссовки побоку, и вот он уже лезет на письменный стол Рут к заднему окну. Рама вверх, одна нога на столе, другая на подоконнике, и — он так и обмер. *Хара* съежилась, сердце обратилось в пепел. Ибо он увидел негров, негров с ружьями и псами. И *хакудзинов*

в форменной одежде при бляхах, тоже с ружьями и псами. Все, он окружен. Кончено. Крышка.

— *Хайро Танейка,*— громыхал голос со стороны двери,— считаю до десяти. *Если до десяти не выйдешь, я за последствия не отвечаю. Раз. Два. Три...*

Понял он, понял, что это за люди. Он на их землю и не ступил еще толком, а они уже возненавидели его, из Свинячьего Лога его поперли и от Эмбли Вустер. Вот вам американцы. Убийцы. Индивидуалисты бешеные. Он поник головой и поплелся к двери, поверженный, раздавленный, не ожидая пощады — какое там, здесь закон джунглей, особенно жестокий к дворняжкам и полукровкам. Если он выйдет к ним с опущенным хвостом и руками за головой, то... то...

И вдруг по какому-то наитию, чудом каким-то внутри у него прошелестели слова Дзётё: *Путь самурая есть вожделение к смерти; порой десять человек не могут сладить с одним, если им владеет эта страсть,*— и вот он уже снова японец, не дворняга, не *каппа,* не полу-*хакудзин,* а настоящий японец, сила вернулась к нему, в животе разгорался жаркий комок. Он прошел в дверь с криком «Не стреляйте!», с руками на затылке, но с блеском в глазах.

И тут-то все они — шериф, полицейские, красноглазые негры, глупый верзила *хакудзин* с пятнистым лицом и коротышка в камуфляжной форме, о котором ему рассказывала Рут,— все они на мельчайшую долю мгновения расслабились. Вот он показался в двери, вот вышел на крыльцо, а они глазеют, разинув рты, словно никогда раньше не видели человека, у которого есть *хара.* Больше ничего ему и не требовалось, только эта мельчайшая доля мгновения, когда шериф отнял от губ мегафон, а негры, полицейские и белая шваль позабыли о пальцах на спусковых крючках...

— Кто на меня! — вдруг закричал Хиро, падая на доски крыльца, и со всех сторон загрохотала изумленная, яростная стрельба, посыпались щепки, зазвенели осколки стекла, пули отскакивали от пишущей машинки «Оливетти» и отплясывали смертельную чечетку на консервных банках с побегами бамбука и жареным ельцом. В следующий миг, уловив крохотное затишье между первым и вторым залпами, он перемахнул через перила и рванул головой вперед на того, кто стоял на пути,— это был старый негр с дымящимся ружьем и зажатой в зубах трубкой. Старик был ветошью, тряпкой, гнилой паклей. Он остался позади, но за ним вырос еще один, а за ним белый, и Хиро прошел сквозь них, как сквозь бумагу, мелькнули глупые озадаченные лица, черное и белое, шлепнулись на землю зады, в воздух, как по мановению волшебной палочки, взлетели ружья, очки и сигареты.

Его обступили джунгли. Раздался еще один залп, за ним оглушительный вопль и поток ругательств, и широкие голые ступни Хиро почувствовали мягкую грязь тропы, которую он уже знал не хуже, чем лестницу в доме *оба-сан.* Он услышал за спиной полный хищной радости лай собак, спущенных с поводка, но он был самурай, боец, герой, он бежал прямиком к болоту, где захлебнется и сотня собак. Что ему терять — он прыгнет головой в болотную гниль, будет в ней жить, дышать ею, вымажет в ней свое обнаженное тело, навеки останется здесь, в зарослях, в первобытном раю — Тарзан, Человек-Обезьяна, непобедимый и...

Кипение мыслей внезапно стихло. Перед ним, прямо посреди тропинки, пригнув голову и плечи в борцовской стойке, стоял негр. Мальчик еще. Кроссовки. Джинсы. Прическа каннибала из Новой Гвинеи. Хиро бежал, не помня себя, листья хлестали лицо, солнце в деревьях то вспыхивало, то гасло, тропинка извивалась под ногами, и — на тебе. Негр. Хиро был ошеломлен — откуда такое? — но выяснять было некогда. Сзади заливались лаем собаки, гремели выстрелы, перебивали друг друга разгоряченные голоса; Хиро мчался, как выпущенный на волю бык, готовый смести все со своего пути.

— Прочь с дороги! — завопил он, отпихивая парня ударом локтя. И в следующий миг он почувствовал удар, столкновение плоти с плотью, чужие руки обхватили его за талию, как клешни, ноги его заскользили, и вот он уже барахтается в грязи и ловит ртом воздух. Прежде чем он понял, что происходит, мальчишка навалился на него и принялся молотить его крепкими костлявыми кулаками.

— Сукин сын, дерьмо поганое! — вопил парень, обдавая Хиро запахом пота, и Хиро пытался скинуть его, встать на ноги, и слышал приближающийся лай собак, вот они уже рядом, и мальчишка уже не кричит, а воет, изрыгает нечеловеческие звуки, которые пронзают как пули: «Ты — убил — моего — дядю!»

Часть II. Окефеноки

Ни для кого не секрет

Она попала в беду, в настоящую беду, и поняла это чуть ли не в ту же секунду, как Саксби отворил дверь. Во-первых, он должен был уже уехать, давно должен был уехать в Окефеноки невод закидывать и рыбешек пугать. А еще она увидела его лицо, угрюмое и недоверчивое, лицо человека, обманутого в лучших чаяниях, меняющего взгляд на мир, лицо возмущенного моралиста, инквизитора, судьи-вешателя. В ее памяти забрезжил вчерашний вечер. Когда она наконец пришла из своего домика, он ждал ее в бильярдной, и хотя они еще разговаривали целый час, а потом занимались любовью, он был какой-то замкнутый, холодный, отчужденный. Все это промелькнуло в ее мозгу в один краткий миг после пробуждения, пока Саксби входил.

У нее было еще темно — ложась в постель, она плотно задернула шторы, собираясь поспать подольше,— но внезапно проникший в комнату резкий и бескомпромиссный дневной свет не собирался сдаваться, даже когда дверь вновь захлопнулась. Он трепетал в щели между шторами, предательски сочился под дверь. Было воскресенье. Часы показывали 7.15.

— Саксби, ты? — спросила она, мгновенно пробудившись, сна уже ни в одном глазу.— Случилось что-нибудь?

Да, случилось, можно было и не спрашивать — ведь ему полагалось добрых два часа назад уехать. Саксби молчал. Просто стоял, прислонившись к двери спиной. Потом вдруг ринулся к окну, двумя гигантскими яростными шагами пересек комнату и рывком распахнул шторы. Свет ворвался в комнату, как снаряд. Рут зажмурила глаза — атака, вторжение.

— Взяли его,— сказал он.— В тюрягу отправили.

Вот уж к чему она не готова была. Ее застали врасплох, и у нее сработала детская защитная реакция. Она села, прикрывая грудь простыней. Рот сжат, глаза широко открыты.

— Кого? — спросила она.

Он выглядел злым, опасным, как бык на арене.

— Да брось придуриваться, Рут. Будто не понимаешь, кого. Любимчика твоего. Собачку комнатную. Уж я не спрашиваю, что там у вас было. «Мне нравится пробовать новое», твои ведь слова? Новенького, значит, захотелось.

— Сакс.

Он стоял теперь у самой кровати, солнечный свет бил ему в спину, рельефно бугрились мышцы. Она видела, как набухли жилы у него на руках.

— Сакс, Сакс,— передразнил он.— Да был я там, Рут. Вчера вечером. И видел его.

Она уселась получше, зажала простыню под мышками.

— Ладно,— потянулась за сигаретой.— Хорошо. Я ему помогла. Но это не то, что ты думаешь.— Она зажгла спичку, затянулась, затушила огонь и бросила обгорелый остаток в пепельницу на ночном столике.— Пойми, мне жалко его стало. Как бездомную собаку, кошку. Облаву прямо на него устроили, а ведь он мальчик еще. И не только я ему, он мне тоже был нужен — для рассказа, я, конечно, не сразу это поняла...

Но Саксби высился скала скалой. Он сделался таким же, как тогда, в лодке, в проливе Пиглер-саунд — каменно-собранным, непоколебимым.

— Сколько это продолжалось? — допрашивал он ее.— Две недели? Три? Месяц? Ничего себе шуточки. Всех нас в дерьмо посадила. И Эберкорна, и этого задрипанного коротышку-морячка или кто он там есть, и Таламуса, и Регину, и Джейн — и мать мою даже. Но главное, от чего меня зло берет,— ты и надо мной здорово посмеялась. Это ж надо — ни словечка не сказать. Да отвечай же, черт тебя дери!

Она сосредоточилась на сигарете. Иначе никак не сдержала бы улыбки — улыбки и виноватой, и вызывающей, которая вконец бы все испортила. А поддержка Сакса была ей нужна — нужна больше, чем когда-либо. Если он знает — от этой мысли живот у нее свело судорогой,— то знают и другие, и ничего смешного они тут не увидят. Она — сообщница, укрывательница, соучастница. За это в тюрьму сажают.

— Сакс, я хотела тебе сказать, собиралась...— начала и осеклась. Утро разгоралось. В комнате стояла тишина.— Как тебе объяснить, ну, это игра такая была. У меня появилось что-то, о чем никто из них не знал — ни Ансерайн, ни Лора Гробиан, ни Таламус. Ты видел, наверно, как не по себе мне тут было. А за это я могла уцепиться, это было мое, личное...

— Ясно-ясно,— сказал он голосом, глухим от раздражения и обиды.— А как же со мной все-таки?

Вдруг она рассвирепела. Ведь по его милости она попала в беду, большую беду.

— Нет,— сказала она, тыча сигаретой в его сторону для вящей убедительности,— как же со *мной* все-таки? — Стоит тут, видите ли, возлюбленный называется, близкий человек, славный такой парень с большим размером ноги, взял и предал ее.— Ведь это ты его заложил? — перешла в наступление.

Он изменился в лице. Да, она любит его, без сомнения, но она нащупала у него слабое место, и он дрогнул.

— А ты, ты почему мне не сказала? — зачастил он.— Я увидел его на крыльце, вспомнил про все эти банки с ельцом и бамбуком — что тут прикажете делать? Хоть бы слово мне...

— Ну и дерьмо же ты, Сакс.— Заплакала. Плечи задрожали, простыня сползла до бедер. Она поддернула ее, закрыла грудь, но простыня упала снова. Рут отчетливо видела себя со стороны, словно смотрела в объектив фотоаппарата,— видела в лучах утреннего солнца, рыдающую, обнаженную до пояса, отданную близким человеком на растерзание властям. Это был острый момент, момент настоящей жизни. Она подняла глаза на Саксби. Он как онемел.

— Ты понимаешь хоть, что ты наделал? — выдохнула она.— Не дошло еще до тебя? Они и за *мной* теперь явятся, *меня* начнут допрашивать, арестовать запросто могут.— Она здорово себя завела. Грудь вздымалась, кровать ходила ходуном. Ее переполняли страх, злость, жалость к себе.

Саксби приблизился к ней. Сел на постель, погладил ей руку.

— Ну-ну-ну,— сказал он.— Ты же знаешь, я тебя в обиду не дам.

— Я боюсь,— она уцепилась за него обеими руками.— Он был, ну — ну как бездомная собака, кошка,— и опять затряслась в рыданиях.

* * *

Шериф Пиглер появился в полдень, сопровождаемый угрюмым Эберкорном и еще более угрюмым Турко. Утром в воскресенье парома не было, поэтому до восьми вечера Хиро поместили в допотопную камеру, где во время оно держали негров-рабов (уехать можно было и раньше, в шесть, но, как шериф с плотоядной улыбкой сообщил Рут, им нужен был весь световой день, чтобы собрать необходимые улики). Рут видела эту камеру — ее дверь выходила на зады «Джона Берримена» [1], самого близкого к большому дому коттеджа, который теперь занимала Патси Арена. Темницу, местную достопримечательность, Саксби ей показал еще в день их приезда. Там вообще-то было две камеры с покрытыми осыпающейся штукатуркой каменными стенами и запирающимися на засов массивными дубовыми дверями; камеры соединяло зарешеченное окошко в двенадцати футах от пола. В одну плантатор сажал новенького раба, дрожащего, дико озирающегося, только-только из Дакара или с острова Горé и еще не отошедшего после жуткого путешествия по бешеному морю; в другую помещали давным-давно сломленного, шамкающего старого негра, и тот успокаивал новичка, рассеивал страхи, наставлял его. Строение располагалось позади коттеджа, и если бы не деревья, его было бы видно из большого дома.

Рут не трогали еще четыре часа, хотя «Танатопсис» уже вовсю гудел, как растревоженный улей. Она поручила Саксби охранять дверь — подходили Ирвинг, Сэнди, Боб, Айна, Регина, даже Клара с Патси, но Саксби никого не впускал. Она слышала стук, видела, как Саксби встает, открывает дверь и выходит; потом, напрягая слух, пыталась разобрать доносящийся из коридора шепот. В одиннадцать к ней, отдуваясь, поднялась сама царственная Септима в жемчугах и синем шелковом платье с кружевной отделкой. Матери Саксби не мог отказать, и, опираясь на

[1] Джон Берримен (1914—1972) — американский поэт. Покончил с собой. Подборку стихов и статью о нем см. «ИЛ», 1973, № 7.

его руку, она прошла в комнату. Рут еще лежала в постели, чувствуя себя совсем больной, хотя все же надела блузку и шорты.

— Я понятия не имею о том, что случилось,— начала Септима своим грудным материнским голосом,— но я совершенно убеждена, Рути, что вы не сделали ничего предосудительного, ведь так?

Рут заверила ее, что да, так.

— Септима, если он туда забрался — меня мучает мысль, что всю эту прекрасную старую обшивку изрешетили пулями и бог знает, что там сталось с моей машинкой и рукописью, над которой я корплю вот уже полтора месяца,— если он туда забрался, то знайте, что это произошло совершенно без моего ведома и согласия. Должно быть, он ночью влез. Кто мог ему помешать?

Септима шумно вздохнула и направила взгляд слезящихся серых глаз куда-то за окно.

— А вы не заметили какой-нибудь пропажи, Рути? Все на своих местах осталось?

К этому вопросу Рут подготовилась. Она выдавила из себя улыбку и пожала плечами.

— Мне неловко это говорить,— сказала она, обводя рукой разбросанные как попало блузки, лифчики, носки, туфли, искалеченные книги, рулоны туалетной бумаги и мятые журналы,— но вы знаете, я ведь ужасная неряха. Творческий темперамент, что ли, сказывается.— Она взглянула на Сакса. Он смотрел в сторону.— Вот и Сакс вам подтвердит: где что брошено, там то и валяется.

Шериф Пиглер интересовался тем же самым.

Полдень. Они сидят в передней гостиной, закрыв за собой дверь,— она, Саксби, Пиглер, Эберкорн и Турко. Стоит одуряющая жара, сквозь распахнутые окна не проникает ни малейшего дуновения. Дом как вымер. Самые упорные из колонистов разошлись по своим студиям печатать, рисовать, мять глину или колдовать над партитурой; бóльшая часть отправилась кататься на яхтах, рыбачить или просто проветриться в Саванну.

Шериф Пиглер — Терон Пиглер, во всеоружии двух лет колледжа и холодный, как змея,— подался к ней всем телом. Он сидит в обитом кожей кресле с подлокотниками и держит в руке непригубленный стакан воды со льдом. Через минуту он попросит Саксби выйти из комнаты. Но пока что, наклонясь вперед, спрашивает Рут, не замечала ли она в коттедже каких-либо изменений — скажем, мебель стоит не так, окно открыто или еще что-нибудь.

Рут потратила немало времени на косметику, мобилизовав весь свой арсенал. Она чувствовала, что это необходимо. Когда они входили в комнату, она взглянула было на Эберкорна, но вот ведь как бывает — не смогла смотреть ему в глаза. Пока, во всяком случае. Она помедлила. Разгладила юбку. Собралась.

— Септима — то есть миссис Лайтс — то же самое у меня спрашивала. Надо было вам видеть помещение, я хочу сказать, еще до того, как вы там все расколошматили,— так их, нападай,— беспорядок был полнейший. Ничего не могу с собой поделать. Ну не хозяйка я. Бросаю все, как придется.

Тут-то шериф и попросил Саксби покинуть комнату, бросив на него вначале быстрый взгляд.

Саксби посмотрел сначала на Рут, потом на шерифа, наконец нехотя встал с кресла и двинулся через всю комнату к выходу. Рут считала шаги — восемь, девять, десять — потом негромко хлопнула тяжелая, хорошо смазанная ореховая дверь. Ее бросило в жар и холод одновременно, удары сердца звоном отдавались в ушах. Она слышала дыхание сидящих по обе стороны мужчин. И никаких больше звуков.

Молчание длилось. Жар и холод. Разглядывая ковер, Рут подумала было, не упасть ли в обморок от жары, но тут же отбросила эту идею — так она навлечет на себя еще больше подозрений. Играют с ней, догадалась она, играют в кошки-мышки, подонки несчастные. Почувствовав взгляд Эберкорна, она подняла голову.

Пятнистая кожа, розовые глаза, волосы, как накладные бакенбарды; и какую еще привлекательность она в нем находила? Хочет сломить ее волю взглядом, между немигающими кроличьими глазами залегла гневная складка. Пусть себе старается. Не отведет она глаз.

— Мисс Дершовиц.— Это опять шериф. Она держала взгляд Эберкорна на

секунду дольше, чем следовало, потом повернулась к коренастому человеку с обветренным лицом, в джинсах и рубахе со звездой на груди. Он казался хитрованом, себе на уме, человеком, который слыхал все алиби на свете и на все вопросы знает ответы заранее. Храбрость мигом улетучилась. Расколет он ее. Расколет, вынудит все признать.

— Давайте-ка насчет еды уточним. Мы нашли в доме, как бишь это зовется, в общем, восточную пищу — водоросли, коренья сушеные и так далее. Как вы это объясните?

— Понятия не имею.— Собственный голос показался ей странным, далеким каким-то.— Может, он ночью это принес. Я сушеных кореньев не ем.

— А ну кончайте нам мозги засирать,— рявкнул Турко, словно кулаком под ребро ударил, и она гневно вскинула глаза; он сидел на самом краешке кресла, губы в кольце растительности подергивались — ни дать ни взять злобный карлик, гном из страшной сказки, который бесчестит невинную девушку.— Хрен ли тут придуриваться! Полтора месяца людей за нос водит.

Рут отвернулась. Да, в обморок она упадет, но пристойно и когда сама сочтет нужным.

— Все, хватит,— Эберкорн брызнул слюной, и Рут была поражена его яростным тоном. Да он ведь атлет в своем роде — худой, жилистый; пожалуй, она его малость недооценивала. Что-то у нее внутри шевельнулось, хотя момент был, мягко говоря, неподходящий.

— Рут, вот что я вам скажу,— он понизил голос, перейдя от злобного рыка к грозному ворчанию,— у нас достаточно улик, чтобы хоть сейчас завести на вас дело о соучастии в непредумышленном убийстве Олмстеда Уайта и поджоге в Свинячьем Логу, об укрывательстве преступника, скрывающегося от правосудия, и о даче ложных показаний органам правопорядка.— Он помолчал, чтобы терминология произвела должное действие.— Так что нечего отпираться, ясно вам? Шериф Пиглер в любой момент может надеть вам наручники, этого вы добиваетесь? А ведь вовсе не обязательно доводить дело до ареста. Нам правду надо знать, только и всего.

Эберкорн откинулся на спинку кресла, словно приготовился насладиться первым актом представления.

— Итак,— сказал он мягким, спокойным голосом, голосом человека, который уже имеет то, чего хочет,— итак, когда вы впервые встретились с подозреваемым Хиро Танакой?

* * *

День превратился в злобное существо, зависшее над окнами, высосавшее из воздуха весь кислород, разбухшее, неуничтожимое. Рут потела в таких местах, где никогда не потела раньше — между пальцев ног, во впадинах ушных раковин — и в обычных местах, разумеется, тоже. Ляжки склеились, трусики превратились в губку, в компресс, мокрые тяжелые груди давили на ребра. Эберкорн зачитал ей ее права, отчего она взмокла еще больше. В ином повороте это могло быть даже забавно, как эпизод из теледетектива вроде «Невода» или «Блюстителей нравов в Майами», но здесь, сейчас, ей было тошно и ничего больше: самой выступать в подобной роли у нее не было ни малейшей охоты. Когда он обещал, что если она расскажет все как на духу и повторит в суде, то ей ничего не будет, она с радостью ухватилась за эту возможность.

— В общем-то, Рут,— сказал он, жестко глядя на нее кроличьими глазами,— *вам* никто тут зла не желает. Хотя я не хочу недооценивать серьезность вашей, скажем так, проделки. И ту строгость, которую наше ведомство, и, в частности, мое начальство, и его начальство в Вашингтоне проявляют к нарушителям закона и пособникам лиц, нелегально проникающих в нашу страну.— Он поизучал свои ногти.— Особенно если эти лица совершают уголовные правонарушения и нападают на граждан.

Еще порция терминологии.

Она согласно кивала. Ему виднее, ее дело — каяться.

Всего ее промурыжили часа два. Это был классический допрос с пристрастием, хоть включай в учебник. Прикинувшись доброжелателем и защитником, Эберкорн всячески ограждал ее и от Турко с его матерным рыком, с его злобными бессвяз-

ными выкриками, и от Пиглера с его настырностью хорька; в итоге он получил от нее, что хотел. В основном. Она рассказала, как Хиро увел у нее корзинку с обедом, как она обнаружила пропажу и как прониклась к нему жалостью. Признала, что купила восточную еду — ведь он был как собака бездомная. Или кошка. Неужели вам непонятно? Это все равно, как сыпать птицам крошки или зверям соль. Но насчет предоставления убежища она держалась твердо — все начисто отрицала. Если он ночевал в ее студии, она об этом ведать не ведала: дом-то не запирается. Она знала только, что он приходит в полдень кормиться, как дикое животное. Нет, она не давала ему ни одежды, ни денег, только оставляла на крыльце еду.

Наконец настала минута, когда все трое допрашивающих замолчали. Красная и потная, с растрепавшимися волосами и потекшей косметикой, она сидела, рассматривая свои ступни, и чувствовала на себе их взгляды. Тут-то у нее голова и заболела. Словно маленькое сверлышко начало буравить череп, ото лба к затылку, от затылка ко лбу, туда-сюда.

— Вы свободны, мисс Дершовиц,— сказал шериф, и Рут, поднявшись, вышла из комнаты, как сомнамбула. Хорошо, коридор был пуст.

Она доковыляла до своей комнаты, скинула одежду и подставила себя вентилятору, чтобы осушить пот. Потом приняла аспирин, дважды глотнула виски из бутылки, стоявшей на ночном столике, и почувствовала себя лучше, физически по крайней мере. И тут пришла мысль о Хиро. Бедняга томится сейчас в адском пекле, среди крошащихся стен, и впереди у него тюрьма, депортация и еще невесть какие мытарства в Японии. Ей невольно пришли на ум нанкинская резня, смертный марш батанского гарнизона [1], Алек Гиннесс, выходящий из застенка в фильме «Мост через реку Квай»,— она повернулась на кровати лицом вниз и принялась тереть виски.

Хиро. Несчастный Хиро. Что ни говори, она спала с ним — отчасти, конечно, из любопытства и под влиянием минуты, но и симпатия ведь тоже была. Была, а как же. И она волновалась за него, брошенного в раскаленную душегубку, Эберкорн и Турко с их поганым ненасытным любопытством уже небось за него взялись. Да, она волновалась за него, но и сама ведь она прошла через муки мученические, и теперь, в тихие послеполуденные часы, она сомкнула глаза и погрузилась в чистый, безмятежный сон.

Она проснулась от негромкого, осторожного стука в дверь. Было пять вечера. От выпитого виски и выкуренных сигарет во рту стояла горечь.

— Да,— отозвалась она.

Это был Саксби, второй раз за день ее разбудил. Но теперь уже не для того, чтобы донимать ее упреками. Теперь он весь сиял, лучился, его так и распирало от детского восторга.

— Рут! Рут! — словно собака у двери залаяла, и он ворвался в комнату, бросился к постели, стиснул ее руки.

— Рут! — крикнул он снова, как будто не видел ее долгие годы. Его глаза блуждали. Вид был прямо безумный.— Рут! — заорал он, хотя был совсем рядом, сидел на кровати. Он не спросил, как она себя чувствует, как прошел допрос, не погонят ли ее на каторгу вместе с убийцами и насильниками, не вздернут ли на дыбу — он все повторял и повторял ее имя, как заведенный. Она поинтересовалась, с чего это он так нализался.

— Нализался? Да перестань ты. Рут! — и потом опять: — Рут! — и потом: — Рой Дотсон звонил!

— Ну и?

— Нашел он их. Альбиносиков моих. Сию минуту выезжаю.— Он вскочил, едва удерживаясь, чтобы не пуститься в пляс, ноги его дергались, руками схватил себя за уши — помешанный, да и только.

— Правда? — Теперь и она заулыбалась, почувствовала себя хорошо, обрадовалась за него, хотя все эти рыбные дела были для нее тайной за семью печатями. «Да на что они тебе сдались?» — этот вопрос часто вертелся у нее на языке. Какая такая от них радость? Тюлени — еще куда ни шло, ну там выдры или

[1] Нанкинская резня была учинена японцами в декабре 1937 г. Смертный марш батанского гарнизона — пример жестокого обращения японцев с американскими военнопленными на Филиппинах в 1942 г.

пернатые какие-нибудь, но рыбы? Холодные, тупые, только и умеют, что рты разевать да пялиться нарисованными глазами — нет, не любила она рыб. И аквариумы тоже. Сети, неводы, каноэ, реки, озера, болота — всего этого она терпеть не могла. Но теперь, глядя на него в узорчатом полумраке кружевных занавесок, заражаясь его восторгом, она была счастлива.

Он поцеловал ее долгим, крепким поцелуем — поцелуем покидающего дом путешественника, естествоиспытателя, спелеолога — и спустя мгновение был уже за дверью. Но вдруг опомнился, просунул голову обратно.

— Да, я и забыл,— а сам едва стоит на месте, мотор внутри работает на холостых оборотах, на уме рыбы одни,— как у тебя все прошло? С шерифом там и прочей публикой?

Вопрос вернул ее вспять, и на секунду ее снова охватил страх, но сразу прошел. Она в порядке. Никакого раздрызга. Хиро упекли в тюрьму, рассказ весь в дырах — в буквальном смысле,— но ей они ничего не сделают. Можно написать новый рассказ, выкинуть из головы всех этих японцев с их идиотскими обычаями и ритуалами, пусть другой кто-нибудь живописует самоубийство в волнах прибоя и секс в кимоно. У нее есть ее Сакс, есть Септима и «Танатопсис-хаус», есть Ирвинг Таламус и Лора Гробиан — а Джейн Шайн как раз на уик-энд умотала. Нет, беспокоиться не о чем, не о чем абсолютно.

— Как прошло? — переспросила она, протягивая руку за сигаретой и чувствуя себя на вершине Олимпа, невредимой, неуязвимой, подлинной восходящей Ла Дершовиц. Она помедлила с ответом; Саксби ждал, стоя в дверях, лучи заходящего солнца подсвечивали волнистые занавески, казавшиеся рядами массивных колонн.— Замечательно,— ответила она.— Лучше не бывает.

* * *

По воскресеньям Арман подавал ужин в семь или даже чуть позже, смотря по своему настроению и степени готовности колонистов. В конце концов это же день отдыха, рассудила в свое время Септима, и задолго до того, как она наняла теперешнего шеф-повара, по воскресным дням коктейли и ужин стали сдвигаться на час, что сделалось в «Танатопсисе» своего рода традицией. В ленивые воскресные послеполуденные часы первые шевеления наблюдались не раньше шести, когда разморенные и обуглившиеся на солнце деятели культуры потихоньку начинали подтягиваться к гостиной и внутреннему дворику на коктейли. Порой звучала музыка — то поэт присаживался за пианино, то биограф обнаруживал скрытый талант к игре на кларнете и срывал аплодисменты моцартовским адажио или попурри из Гершвина; ритмичное постукивание кубиков льда, сыпавшихся в подставляемые стаканы и бокалы, сулило обессилевшим от жары райское блаженство.

Когда Рут спустилась ужинать, было почти семь. До этого она яростно намыливалась, окатывалась душем и опять себя терла, стараясь избавиться от малейших остатков той липкости, что днем обволакивала ее, забивалась в поры и заставляла чувствовать себя грязной и уязвимой для наседавшего с недоделанным своим лицом и вкрадчивыми вопросами Эберкорна. Надев белую гватемальскую блузку в крестьянском стиле с вышитыми ярко-синими цветами и широкую юбку в тон, она спустилась по лестнице и пересекла вестибюль, ощущая себя легкой, воздушной, очищенной и вновь совершенно непобедимой.

Когда она вошла в переднюю гостиную, за пианино сидел Сэнди; он нежно поглаживал твердые клавиши, словно цветочные лепестки, цедя по капельке одну сладкую битловскую мелодию за другой. Ритмы эти как нельзя лучше пробуждали воспоминания юности — иные сладкие, иные не очень,— и после третьего или четвертого коктейля колонисты пребывали в размягченном настроении. Шагнув в открытую дверь, Рут увидела их разом, друзей и собратьев по профессии, родное сообщество, родную семью — одни расселись по софам и оттоманкам, другие толпятся у бара, каждое лицо несет радость и успокоение.

Как обычно, первым произнес ее имя Ирвинг Таламус — еще бы, он всегда впереди, живая легенда; и тут все наперебой заговорили, бросились к ней, словно к бегунье, только что разорвавшей финишную ленту.

— Ах ты лисичка,— сказал Таламус, покачивая легендарной головой,— ах ты хитрая лисичка.— Он обернулся к другим.— Вот как надо секреты хранить.— Он так

и лучился ей навстречу, облапил ее, сдавил в объятиях, словно хотел выжать из нее сок.— Перед нами,— провозгласил он,— настоящий писатель.

Рут обняла его в ответ, одарив всех знающей себе цену, хоть и протестующей, улыбкой, и слегка покраснела. Айна смотрела на нее во все глаза. Боб так и сиял. Регина, в желтовато-зеленом кожаном платье, подняла глаза от пасьянса и вынула изо рта сигару — с некоторых пор она к ним пристрастилась; Сэнди, прервав игру посреди песни «Дурак на холме», ринулся к бару, чтобы торжественно сделать для Рут «мартини» — немного вермута и три оливки, как она любит. Чуть в стороне от общей кучи-малы держались Клара с Патси — в одинаковых брючных костюмах они были вылитые Твидлдам и Твидлди [1].

— Привет, Ла Ди, ты как раз вовремя,— крикнул Сэнди, проталкиваясь к ней с бокалом в высоко поднятой руке.— Мы только-только послали за суси.

Ну и хохотали же над этой шуткой коллеги-творцы, размякшие и довольные, с влагой в глазах, уже смакуя предстоящий вечер, неделю, месяц с их нескончаемым потоком подколок на японскую тему, с хохмами о мусорах и урках и с подспудным благоговейным, захватывающим дух: «Уж чего только не сотворит наша Ла Дершовиц ради словесности». В воздухе уже витали, ожидая разрешения, мучительно-сладкие вопросы: сколько раз она с ним трахалась? Что шериф ей сказал?

Пока ели суп, Рут успела перекинуться парой слов с Ирвингом, Сэнди, близоруким поэтом в купальном халате без завязок, с которым не говорила до этого ни разу, и бессмысленно хлопающей большими глазами Айной Содерборд. За салатом Клара с Патси клещами тянули из нее подробности, а пока она расправлялась с главным блюдом — от всех дневных переживаний у нее разыгрался волчий аппетит,— сама Септима обратилась к ней за разъяснениями некоторых ее утверждений. Не ужин, а сольное выступление. Когда Рико принес десерт и большой сверкающий кофейник, Рут уже стала центром притяжения целой системы небесных тел, описывающих круги, улетающих по касательной и возвращающихся вспять, не в состоянии противиться мощной центростремительной силе сенсации.

Напитки подали во внутреннем дворике.

Рут преспокойно болтала с Бобом и Сэнди, наслаждаясь относительной прохладой, чувствуя себя заново родившейся, и вдруг чья-то рука дотронулась до ее руки, и на нее глянули потусторонние, лишенные глубины глаза Лоры Гробиан. В свои пятьдесят лет Лора была старейшиной кружка подавшихся из богемы в мистику белых англо-саксонско-протестантских романистов из верхушки среднего класса и прославилась бескровной 209-страничной трилогией, действие которой происходило в 1967 году в Сан-Франциско. С тех пор она опубликовала еще несколько тоненьких книжонок (каждая фраза выточена резцом скульптора — или дантиста, это как посмотреть), ее снимали Карш, Эведон и Лейбовиц, известнейшие фотографы, ее впалые щеки, черная челка и трагические глаза впечатались в память публики не хуже, чем шляпа Трумэна Капоте или борода Хемингуэя. Нервно мотнув головой, она отстранила Боба и Сэнди и потянула Рут в сторонку.

— Ох, Рут,— выдохнула она, обмахиваясь веером, отгоняя назойливых комаров и норовящих спикировать летучих мышей,— я все, все знаю. Какой же ужас ты пережила...

Рут смотрела на нее с изумлением. Если Ирвинг Таламус был живой легендой, то Лора Гробиан — божеством, существом высшим, и вот она стоит перед ней во плоти, и мало того, что признает факт ее существования,— ищет ее общества, домогается ее, расспрашивает! Рут наклонилась к ней и понизила голос до театрального шепота:

— Лора, я в жизни не была так напугана.— Она помедлила, чтобы посмотреть, как призрачноокая Лора Гробиан восприняла эту маленькую фамильярность.— А шериф, тот хуже всех. Южные эти манеры у него, конечно, есть, но как он посадит тебя на стул, да как возьмет в оборот — в первый раз я столкнулась с таким властным, таким порабощающим человеком. Знаете, что он делает?

Привидение смотрело на нее умудренным, сосредоточенным взглядом. Лора не упускала ни единого слова.

В этот миг в нестройное жужжание голосов и писк насекомых исподволь вошло фырчание ставшего уже знакомым автомобиля, и колонисты, живо подняв головы

[1] Твидлдам и Твидлди — человечки-близнецы из английского детского стихотворения.

от своих «гран-марнье» и «реми-мартенов», увидели бегучий блеск фар. Под фонарями дорожки проплыло серебристое сияние, возвысился и утих шум выключаемого мотора, раздался негромкий элегантный стук сначала одной, потом другой двери: Джейн Шайн вернулась.

Рут кожей почувствовала, как вся эта бражка, вся колония, еще секунду назад возбужденно гудевшая из-за *ее* предприимчивости, *ее* отваги, *ее* хитрости, способных поставить в тупик любую власть, теперь в нерешительности примолкла. Сердце ее упало. И вдруг в тишине раздался горестно-изысканный голос Лоры Гробиан: «Так все же, Рут, скажи откровенно, ты постоянно прятала у себя этого несчастного, да?» — и опасность миновала. Все как один вновь оживленно заговорили, вспомнив о бокале в руке и собеседнике рядом. Ну, Джейн Шайн вернулась. Подумаешь, новость большая.

Для Рут, вновь ставшей царицей улья, все шло как нельзя лучше — она даже начала размышлять, как пройдет неизбежная аудиенция, которой она милостиво удостоит Джейн Шайн в бильярдной, а может быть, надо проигнорировать ее, да, наверно, надо — все шло как нельзя лучше, и вдруг со стороны «Джона Берримена» прозвучал дикий одиночный вопль, за которым последовала мешанина выкриков и ругани, сменившаяся бешеным топотом ног по внутреннему дворику.

— Что там такое? — раздался голос, и Рут увидела бледного от ярости шерифа, плотно сжатые губы и злобные глаза Турко с Эберкорном, и шериф, заметив знакомое лицо, кинулся к ней.

— Телефон,— гаркнул он,— где телефон?

Она обомлела. Опять лезут на нее, как свора собак. Все вокруг завертелось, лица заколыхались, как простыни на ветру.

— Телефон? — тупо, ошеломленно повторила она.

— Да, мать твою так,— прорычал он, глядя на нее с ненавистью, настоящей ненавистью, потом с досадой повернулся и кинулся к Лоре Гробиан. Но от этой проку не больше — он в бешенстве отпрянул и замахал руками, заорал собравшимся во внутреннем дворике любителям сладких ликеров и темных коньяков: — Мне помощь ваша нужна, помощь, ясно? — и вдруг голос его упал, и он закончил чуть ли не шепотом: — Сукин сын сбежал и опять гуляет на свободе.

Четыре стены

Поймали. Затравили. Наставили ружья, напустили собак и черномазых. Поймали, ага. Скрутили, надели наручники, дали тычка в грудь, живот, поясницу. Пинали, материли, унижали, сквозь строй проволокли, как свирепые лесные индейцы, и улюлюкали, и плевали в него, и честили его косой образиной, китаезой, желтым дерьмом. Да. Но при чем тут индейцы? Там были белые лица и черные лица, голубые глаза и курчавые волосы, они воняли маслом, виски и глинистой землей, которая чернела у них под ногтями, они-то как раз и уничтожили краснокожих индейцев, уничтожили с такой первобытной жестокостью, что рядом любой дикарь покажется верхом цивилизованности. Да. Это уж точно. Как же они его ненавидят. Мороз прямо по коже от их ненависти, глубокой, нутряной — вот вам американская жестокость, сидящая у них в крови. Закон толпы, собачья свора, кто кому горло перегрызет.

Эта ненависть. Вот уж не думал, не гадал. Ведь он, в сущности, одной с ними породы, вот в чем все дело-то, неужели они не поняли? Тоже из их своры. Но не видят, не чувствуют. Надели наручники, дали под дых, извергли, плюясь, поток ругательств, и только ненависть он увидел в холодных водянистых глазах *хакудзинов*, и она же блестела на черных каменных лицах негров — он был насекомым, гадом, которого растоптать надо, вдавить в землю подошвой. Лицо черного парня, который, напружинившись, стоял на тропе, было от гложущей ненависти почти экстатическим, безжалостным, хуже, чем песьи морды (псы тоже были тут как тут, лезли Хиро прямо в лицо, давились слюной и лаем, дышали, обдавая его зловонием тухлого мяса, дрожали от желания немедленно кинуться и разорвать на куски).— Дядя! — вопил мальчишка, словно издавал боевой клич.— Дядя! Дядя! — кулаки стиснуты, глаза дикие, язык распух, сама кровь обратилась в яд от бешеного гнева.

Возник самодовольный коротышка в камуфляжной форме, оттащил от него

парня и защелкнул наручники, потом появился еще один негр и приструнил собак, за ним — пятнистая рожа из Иммиграционной службы и шериф; ни проблеска человечности ни в ком. Словно они никогда не улыбались, не шутили, не наслаждались обедом, дружбой, любовью, не играли с собакой, не гладили кошку, не водили ребенка в школу. Нет. Это были охотники. Убийцы. А Хиро был их добычей, чужаком, существом низшей породы, достойным внимания не больше, чем таракан, упавший с потолка в их утреннюю овсянку.

Руки крепко его держали, сильные, железные руки, браслеты впивались ему в запястья. Шериф грубо поднял его на ноги и повел по тропинке назад, мрачный и целеустремленный, нетерпеливо дергая за скованные руки; помощник подгонял его тычками в спину. Впереди раздавались гиканье, веселая ругань и выстрелы в воздух, но шериф хриплым яростным окриком осадил разгулявшуюся братию, и пальба мигом смолкла, оставив медленно гаснущее эхо. Опустилась тишина, и в ней Хиро стал одолевать страх. Он сжал внутри себя этот страх в комок, не давая опухоли разрастаться; пригнул голову и уставил взгляд себе под ноги.

За Хиро и шерифом, не отставая, топали человек в камуфляжной форме и малый с собаками — теперь звери успокоились, только слегка повизгивали и пыхтели, как мирные домашние псы на прогулке в парке; следом шли сыщик и этот черный паукообразный парнишка, чья могучая негасимая *американдзинская* ненависть сыграла с Хиро злую шутку. На парад смахивало. На угрюмый, злой, безмолвный парад во славу ненависти. Впрочем, Хиро было не до философских обобщений — они уже вышли на поляну перед домиком Рут, и вокруг послышалось движение. Он упорно смотрел в землю, но всем телом ощущал, что они тут, белые и черные, толпа, и вдыхал запах ружейного дыма. Все молчали. Ни ругани, ни оскорблений. Вдруг подскочил кто-то сохлый, как ветка хвороста, прорычал:

— Зачем брата Джимми убили, черти косые? — и Хиро почувствовал удар в поясницу, локтем в почку, и тут она из всех поперла, ненависть эта, и наконец шериф затолкал его в машину и повез оттуда, из джунглей, по черной щебеночной дороге в тюрьму.

И вот он тут, в *гайдзинской* камере, ждет своей судьбы.

В кладовке «Токати-мару», в огромной спальне у Эмбли Вустер, на узком диванчике у Рут и, наконец, в этой унылой коробке из камня и осыпающейся штукатурки — всюду он был жалким, безнадежным узником. Город Братской Любви — выдумка, сказка, теперь это совершенно ясно. Он вспомнил Дзётё и Мисиму. Побежденному остается одна дорога чести, и дорога эта — смерть. Мисима в день своей гибели воззвал к солдатам сил самообороны, заклиная их подняться вместе с ним и очистить Японию от скверны, а когда он увидел, что они не слышат его, что они хохочут и улюлюкают, он вспорол себе живот мечом и так посмеялся над ними всеми. В одиночестве камеры, одолеваемый стыдом и досадой, Хиро обратился к Дзётё. У него больше не было этой истрепанной и запачканной книжки — ее забрал шериф вместе с фотографией Догго и несколькими чудными монетками, которыми дала ему сдачу девица в кока-коловом магазине,— но он знал все изречения, знал наизусть. Чем сильнее они его ненавидят, тем больше в нем от японца.

Было, наверно, только начало восьмого утра, но зной уже давил нестерпимо, и всеми этими фунтами на квадратный дюйм тела измерялась тяжесть его унижения. Он сидел на каменном полу, щупал, примеряясь, руками себе живот, представлял себе меч и обретал честь, чувствовал освобождение, а помимо него — еще и голод. Весь в синяках, в вонючей спекшейся грязи, избитый и оскорбленный, униженный так, что не оставалось иного выхода, кроме самоубийства, он хотел есть. Есть. Это обескураживало. Что еще за шуточки? Позывы жизни на погребальной церемонии, мысли о смерти, перебиваемые мечтами о пирожных из бобовой муки и мороженом.

Так, ладно. Допустим, это еще не окончательное поражение. Ведь все зависит от взгляда, верно? *Дела малозначительные требуют всестороннего рассмотрения,* сказал Дзётё. Что ж, голод — это дело малозначительное, и поэтому он отнесется к нему со всей серьезностью; а вот к более значительным обстоятельствам, к обстоятельствам его одинокой и вечной судьбы, он отнесется легко. Что касается кормежки, он мог быть уверен, что покормить они его покормят — даже *хакудзины* не опустятся до такого варварства, чтобы уморить узника голодом. Что до более значительного, он ведь, кажется, имеет право на беспристрастный суд? На минуту

он себе это представил — беспристрастный суд: присяжных в траурных мантиях, жюри из долгоносых, созванное, чтобы выплеснуть всю ненависть на него, Хиро Танаку, невинную жертву, *каппу* из Японии со связанными, как крылья индейки, руками, изучающего узоры истертой плитки пола в зале суда, словно они могут дать ключ к ребусу его злосчастной судьбы... и вдруг великолепное решение пришло ему в голову, решение, которое смело в сторону все беспристрастные суды, всех злобных шерифов, собак, негров и белую шваль с ружьями, словно это был ничтожный мусор, обертка лакомства столь сладкого и питательного, что его *хара* вспыхнула огнем: он убежит.

Убежит. Конечно. Вот оно, решение. Три слога засияли в его сознании, и сердце погнало горячую кровь, наполняя мельчайшие капилляры. Он человек, у которого есть *хара*, он самурай наших дней, и если он сбежал из кладовки «Токати-мару», от Вакабаяси и Тибы, значит, ему хватит мозгов, храбрости и воли, чтобы посрамить всех *гайдзинских* ковбоев со всех бессчетных улиц, из всех притонов этой забытой Буддой страны, значит, и отсюда он выберется.

И в первый раз с тех пор, как за ним заперли дверь, он огляделся вокруг, огляделся как следует, задерживая взгляд на мелочах. Камера была древняя и грязная, она постепенно возвращалась в тот хаос, из которого родилась в незапамятные времена. Настоящее лошадиное стойло, только без воды и соломы, негде даже нужду справить — ни ведра, ничего. Встроенная в дальнюю стену деревянная скамейка да два сложенных садовых стула в углу — пластиковая сетка на алюминиевом каркасе — вот и вся меблировка. Над скамейкой, футах в двенадцати от пола по меньшей мере, виднелось единственное зарешеченное окошко, открывающееся, судя по освещению, в соседнюю камеру. И все, если не считать двери, через которую его полчаса назад проволокли.

Он сидел на каменном полу, там, куда его, торопливо и гулко топая, швырнули; в грудной клетке пульсировала боль, по левой голени шел длинный нехороший шрам. Облизав губы, он почувствовал в углу рта кровь; скула под правым глазом распухла. Хоть наручники сняли — впрочем, после всего это казалось мелочью. Он потер запястья. И вновь обвел камеру взглядом в надежде, что в первый раз упустил что-нибудь существенное. Нет, не упустил. Заперт. Избит и унижен. Поди выберись.

Но потом, поглядев на тусклое недосягаемое окошко, а вслед за ним — на садовые стулья, он вдруг вспомнил двоих жонглеров, которых мальчиком видел по телевизору: один держал равновесие на поставленных друг на друга стульях, а другой кидал ему ножи, булавы и горящие факелы, которые тот крутил у себя над головой. Если поставить стул на скамейку, другой на него, а самому взгромоздиться наверх, можно добраться до окна; а если добраться до окна, можно увидеть, что там по другую сторону, и проверить, не шатается ли какой-нибудь прут решетки. Правда, с чего бы ему шататься, размышлял он, сидя без движения, маясь от ровной, нескончаемой боли. А кто знает? Помещение старое и заброшенное, осталось еще с тех времен, когда негров заковывали в цепи и индейцев выводили под корень. Наверняка в этой камере *хакудзины* держали негров, которых потом выволакивали сечь, линчевать, жечь живьем.

Мысль подняла его на ноги.

Он постоял, рассматривая дверь — кусище дуба без особых затей, стоит незыблемо, как скала,— потом бесшумно пересек камеру и занялся стульями. Они были истертые и грязные, шарниры заржавели, но в конце концов разложить их удалось. Дальнейшее напоминало не столько демонстрацию мастерства на цирковой арене, сколько испытание человеческих костей на прочность. При первой попытке он так хорошо приложился к каменному полу, что копчик, казалось, угодил ему прямо в рот. При второй — расшиб колено, сильно ударился локтем и погнул раму одного из стульев. Шуму, конечно, было хоть отбавляй — грохот падающих со скамейки стульев, шмяканье потной плоти на грубый камень, сдавленные крики, всхлипы досады и боли, но никто не подошел к двери, пока он задыхался и корчился на полу. Хоть на этом спасибо.

Он снова и снова устанавливал стулья, залезал, балансировал, хватался за стену и падал, и наконец, при восьмой попытке, когда стулья предательски поехали, он в очередной раз выбросил вверх руки, хвать — и, к своему изумлению, поймал два прута решетки. Секунду он висел, не выпуская из рук добычу, потом прутья

подались, и он рухнул вниз, задев по дороге скамейку и вновь разодрав себе в том же самом месте раненую голень. Придя в себя, он обнаружил, что все еще сжимает шершавые прутья, словно гантели. Окно над ним зияло, как рот, лишившийся части зубов: было шесть прутьев, осталось четыре. К своей радости, он увидел, что вытащил два соседних прута — второй и третий — и в получившуюся брешь вполне можно протиснуться. Правда, за окном, как он успел заметить, тоже была камера, только без стульев. Цепляясь за решетку, в краткий миг между отчаянным рывком вверх и оглушительным падением в туче пыли и известковой крошки, он углядел такую же скамейку, мусор на полу и массивную старинную дверь из цельного куска дерева, плотно закрытую и, надо думать, столь же непроницаемую, как дверь в его камере.

Если он и был обескуражен, расстраиваться было некогда, ибо мгновение спустя задвижка с внешней стороны двери заскрипела и послышались мужские голоса. В панике он вскочил на ноги. Оглянулся. Стулья валялись на полу, дыра в решетке бросалась в глаза, а выдернутые прутья — их он все еще сжимал в кулаках! *Шевели мозгами* — так, кажется, любят говорить американцы? Швыряют тебе гранату с выдернутой чекой — *шевели мозгами!* Но Хиро мигом перепрыгнул из области рассудка в область чистого действия: пока дверь открывалась, он пропустил холодные железные прутья сзади через резинку шорт и плотно уселся на гнутый стул, одновременно отшвырнув второй стул в угол точно рассчитанным движением ноги. Наружный жар ударил в него, как тяжелый кулак, и в камеру осторожно протиснулись шериф и двое агентов Иммиграционной службы.

Все трое медлили в дверях, разглядывая его, как животное на привязи, и словно определяя, насколько он может быть опасен, насколько далеко и внезапно может прыгнуть. Хиро сидел на своих прутьях и, в свою очередь, разглядывал вошедших. У долговязого с пятнистым лицом были глаза грызуна, розовые и пылающие, самые странные глаза из всех, какие Хиро видел у людей. Эти глаза смотрели на него с любопытством и недоумением. Глаза шерифа были глазами призрака-скелета — голубые, холодные и острые, как лезвие бритвы. Коротышка — его вдруг поразило, как он похож на фотографии Догго: длинные светлые волосы, борода, настоящий хиппи, несмотря на военную одежду,— коротышка глядел спокойно. Если долговязый был полон священного ужаса, как перед инопланетянином, если шериф являл собой образец неумолимой *гайдзинской* ненависти, то в глазах коротышки читалось: *видали мы таких*. Пауза длилась. Ни один не раскрывал рта, и, хотя окно кричало о себе, парило над ними, как огромная, расправившая крылья птица, ни один не замечал его зияния.

— Держи,— сказал наконец коротышка и что-то ему сунул — оказалось, бумажный пакет, белый пакет с яркой надписью прямыми буквами: ХАРДИ [1].

Хиро взял пакет и поставил себе на колени. Коротышка протянул ему кружку-термос. Хиро взял и ее, уловил запах кофе и легонько кивнул.

Массивные жесткие прутья впивались в ягодицы, сердце колотилось все быстрее.

— Шериф Пиглер,— объявил долговязый со странными пятнами по всему лицу; голос его прозвучал холодно и официально, как голос прокурора, вызывающего очередного свидетеля. Шериф дотянулся до двери и закрыл ее.— Спасибо,— буркнул он и вновь повернулся к Хиро, но теперь в его глазах удивление уступило место чему-то более жесткому, профессиональному.— Попрошу ответить на наши вопросы.

Хиро кивнул. Он разглядывал их обувь — ковбойские сапоги шерифа со стальными носами, беспокойно дергающиеся блестящие мокасины долговязого, потертые замшевые походные ботинки, облегающие маленькие ступни коротышки. Все три пары придвинулись ближе. Снаружи, за тяжелой дверью, насмешливо попискивала пичуга. И как насели они на него, как начали давить, копать, запугивать, так и промурыжили почти четыре часа.

Слыхал ли он о Красных Бригадах? Говорит ли ему что-нибудь имя Абу Нидаль? Где он научился так плавать? Знал ли он, что нелегальное проникновение в страну уголовно наказуемо? Как звучит его имя полностью? Чего ради он напал на покойного Олмстеда Уайта? Это попытка грабежа была? Хулиганское нападение? Когда он познакомился с Рут Дершовиц?

Становилось все жарче и жарче. Хиро скрючился над бумажным пакетом,

[1] «Харди» — сеть закусочных типа «Макдональдс».

сжимая в руке кружку с еле теплой черной бурдой. Его *хара* урчала, неровности железных прутьев впивались в ягодицы, как зубья напильника. Но он не смел шевельнуться, не смел даже поднести кружку к губам — малейшее движение могло нарушить равновесие, и он распластался бы на полу под звон железа и алюминия, его добыча стала бы видна, и все, пиши пропало. Он застыл, как сидячая статуя.

А допрашивающие были неутомимы. Они хотели знать все — в какую он ходил школу, бабушкину девичью фамилию, из чего состоял каждый обед у Рут вплоть чуть ли не до числа зерен в гранате; но при всей этой въедливости ни разу никто не поднял глаз и не обратил внимание на очевидную улику, зияющую у него над головой. Первые полчаса они стояли вокруг Хиро, швыряя вопросы, тыча в его сторону пальцами и кулаками. Точное время? День? Час? Почему? Как? Когда? Их несло потоком жестикуляции и холодной *хакудзинской* ненависти; но постепенно, по очереди, начиная с долговязого, они уступили жаре и уселись рядком на узенькую скамейку под окном, откуда продолжали вести согласованный словесный обстрел, делая быстрые заметки в маленьких черных блокнотах, которые достали из карманов рубашек.

Хиро старался отвечать как можно лучше, голова склонена, глаза потуплены, весь сдержанность и смирение, которые воспитала в нем *оба-сан*. Он говорил им правду, правду про Тибу и Угря, про то, как негр напал на него, а он пытался спасти старика, когда все вокруг вспыхнуло,— но они не слушали, не вникали, скользили по поверхности его слов и руганью затыкали ему рот.

— Да ты воровать туда пришел, нечего придуриваться,— орал пятнистый.— Ты напал на судового начальника, облапошил безобидную старушку и ее мужа-калеку, поджег дом ни в чем не повинного человека, когда он оказал тебе сопротивление,— что, неправда?

Хиро не давали времени ответить. Вступал коротышка. За ним шериф. Потом опять пятнистый, и так по кругу.

— Ты вор.

— Лжец.

— Поджигатель.

Они заранее знали ответы на все вопросы — им нужно было только его признание.

Но наибольший интерес, способный оживить даже все более сонные глаза шерифа, вызывала у них Рут. Они копали под нее, и ближе к полудню это стало чуть ли не единственной их заботой. С Хиро все уже было ясно, он был уличен и приговорен, готово дело. Но Рут — она была величиной неизвестной, и они кидались на любое упоминание о ней, как акулы на след крови. Предоставляла она ему еду, одежду, деньги, секс, наркотики, алкоголь? Пригрела его, подтыкала ему по ночам одеяло, собиралась помочь ему перебраться на материк и избежать наказания — так? Обжималась с ним, гладила его тело, соединялась с ним губами и интимными частями? Она коммунистка, хулиганка, шлюха? Поет народные песни? Носит гуарачи [1]? Ходит на митинги? Ест мацу? Она еврейка? Еврейка, да?

Нет, отвечал он, нет. На все вопросы — нет.— Она не знакома. Она уходит, я ем, сплю.

От долговязого ему больше всех доставалось.

— Да врешь ты все,— насмехался он, тараща глаза, как большой линялый грызун.— Она все время тебя укрывала, спала с тобой, приносила еду и одежду.

— Нет. Она нет.— От напряженной неподвижности все тело мучительно ныло. Он хотел разорвать пакет и наброситься на еду, увлажнить пылающие губы тепловатым кофе — но не решался. Железные прутья уже стали его частью. Стул скрипел от каждого произнесенного им слова. Окно зияло.

— Ну ладно,— сказал наконец высокий, встав и посмотрев на часы. Он обменялся взглядами с шерифом.— Полдень уже. Я еще сам с ним поговорю — я и Турко, когда с ней разберемся.

Шериф тоже поднялся. Выпрямившись, он покрутил головой, растирая затекшие шейные мышцы.

— Само собой, вам теперь карты в руки. Вам с ним дальше возиться, мое дело сделано.— Он вздохнул, щелкнул суставами пальцев и посмотрел на Хиро, как на

[1] Гуарачи — мексиканские кожаные сандалии.

какую-нибудь двухголовую змею, заспиртованную в банке.— Что я хотел услышать, я, в общем, услышал.

Встал и коротышка, и все три пары ног зашевелились в такт, словно исполняя какой-то ритуальный танец кожаной обуви; наконец, они вышли, и дверь с грохотом захлопнулась. Удар отозвался в самой сердцевине его существа, и вдруг он почувствовал, что снова может нормально дышать. Он осторожно шевельнул сначала одной ногой, потом другой и выпростал железные прутья, которые, казалось, уже вросли в его плоть, как врастает в живое дерево ржавый гвоздь или цепь брошенной и давно издохшей собаки. Он позволил прутьям упасть на пол и, пошатываясь, встал на ноги, кружку и пакет он по-прежнему сжимал в руках. Израненные ноги свело судорогой, ягодицы онемели, плечи ныли так, словно он неделями, месяцами взваливал на них и сбрасывал жирных борцов сумо... но, взглянув на окно, он не смог сдержать усмешки.

Ха! Он ликовал. Ха! Идиоты несчастные. Глупость ихняя просто умиляет. Четыре часа сидели-посиживали и ни разу на окно не взглянули. Вот вам американцы. Злобные, зажравшиеся, одурманенные наркотиками недоумки, куда им мелочи примечать. Вот почему закрываются их заводы, вот почему пускает пузыри их автомобилестроение, вот почему три профессиональных сыщика проводят несколько часов в камере восемь на десять футов и не видят, что из решетки два прута выломаны. От радости Хиро едва не захохотал в голос.

Продолжая стоять, он заглянул в пакет. Там он обнаружил два твердых, как камень, крекера с начинкой в виде засохшего нарезанного яйца и тоненького розового слоя того, что некогда, вероятно, было ветчиной. Он не уставал удивляться, как американцы могут есть такую дрянь — это что угодно, только не еда. Рис, рыба, мясо, овощи — вот еда, а это... крекеры, одним словом. Неважно; он был так голоден, что проглотил все, почти не жуя. Умял соленые крекеры, отдававшие грубой овсяной мукой и жиром столь древним, что он, наверно, мог быть отцом всех жиров, и запил остывшим кофе.

И недолго думая снова полез на стену. На этот раз понадобились только две попытки с судорожными движениями рук, с вихляньем подставленных стульев. Пальцами ног он нащупал выступы в грубой кладке и несколько секунд висел, вцепившись в оконную нишу и раскачиваясь, как маятник. Переведя наконец дыхание, он поставил оба прута на место, ухитрился даже присыпать концы известковой крошкой. Он знал, что *американдзины* во второй половине дня вернутся, и не хотел лишний раз испытывать судьбу. Знал он и то, что вечером они собираются везти его на пароме на таинственную *матарику*, где его ждет современная камера. Знал, как не знать. Ведь они открыто обсуждали при нем свои планы, словно он был глухой и слепой, словно он вдруг перестал понимать по-английски, хотя они только что задали ему шеститысячный по счету вопрос на этом самом языке. Недотепы. Высокомерные недотепы.

Как бы то ни было, ни в какую современную камеру Хиро попадать не собирался. Когда они кончат его допрашивать, когда примутся за свою фасоль в остром соусе, жареное мясо и стандартное пиво, когда из каждой двери, из каждого окна польются гипнотические звуки телевидения, когда даже собаки станут вялыми и сонными — вот тогда придет его час. Тогда он в последний раз вскарабкается на стену, по-кошачьи проберется в соседнюю камеру, а там — там как повезет с дверью, лишь бы только она не была заперта. Да не будет она заперта. Он знал это наверняка. Был совершенно в этом уверен, как только можно быть в чем-нибудь уверенным, и уверенность не покинула его, даже когда усталость взяла свое и он начал засыпать. Что-что, а ту дверь маслоеды в жизни не догадаются запереть.

* * *

Он проснулся от того, что в глаза ударил свет и накатила волна жара, словно открыли горячую духовку. Он спал крепко и беспамятно, так что они застали его врасплох — долговязый с кроличьими глазами и его напарник-коротышка. Дело, похоже, шло к вечеру: тени в амбаре, куда выходила дверь камеры, сгустились и удлинились, и лишь поодаль, за большими воротами амбара, куда во время оно свободно въезжал фургон, ослепительно сверкнула зелень. Хиро сел. Одежда на нем была хоть выжимай, пересохшее горло пылало. «Пить»,— прохрипел он.

Высокий закрыл дверь, и снова стало темно. Коренастый ухмыльнулся. В руке у него что-то было — магнитофон, понял, приглядевшись, Хиро, японский и большой, как чемодан; он обошел Хиро, чтобы поставить штуковину рядом с ним на скамейку. Ухмылка у коротышки теперь была другая — жестокая, переменчивая, куда девалась былая задумчивость. Неужто они хотят выколотить из него признание, как это делает японская полиция? Запишут все на ленту, а стоны и мольбы о пощаде сотрут. Хиро отъехал на краешек скамьи. Но тут коротышка, поглаживая плечевые и шейные мышцы, потянулся к магнитофону, нажал кнопку и наполнил камеру музыкой «диско». Хиро сразу узнал мотив. Это...

— Донна Саммер,— сказал коротышка, разминая мускулы и посмеиваясь.— Как, пойдет?

Новый допрос, казалось, длился несколько дней, хотя на самом деле, как высчитал потом Хиро, прошло от силы часа два.

Ему снова и снова задавали все те же вопросы. О политике, о компаниях «Хонда», «Сони» и «Ниссан», о Рут, об Эмбли Вустер, о старом негре и его сгоревшей хижине. И все время в ушах стучали ритмы «диско», и собственный голос трещал, как ореховая скорлупа, обнажая засохшее ядро гортани. Они использовали воду как козырь для торга: будешь слушаться — дадим напиться, нет — помирай себе от жажды, никто и пальцем не шевельнет. Он слушался. Снова и снова рассказывал им про Тибу и Угря, про Рут и ее обеды, про все-все-все в сотый раз подряд, только теперь под аккомпанемент Донны Саммер и Майкла Джексона. Но коротышка то и дело поражался сказанному, словно слышал впервые, и тогда он прерывал Хиро, смотрел на долговязого и говорил: — Ну а ты не верил. Примитивнейшая нация на свете.

Они оставили ему пластиковый кувшин с тепловатой водой и новый пакет «Харди», покрытый масляными пятнами и до отказа набитый холодными и жирными на ощупь картофельными палочками вкупе с двумя безупречно круглыми гамбургерами.

Хиро заставил себя все это съесть. И воду выпил всю до последней капли: кто знает, когда в следующий раз доведется пить, и доведется ли вообще. За дверью дежурили два помощника шерифа — он видел их, когда допрашивающие входили и выходили. Он слышал их приглушенные голоса и ощущал запах их курева. Двадцать минут. Двадцать минут он им даст, чтобы доели свои корнфлексы, хот-доги, пиккалилли под острым соусом и сливочное мороженое, двадцать минут, чтобы вконец одурели от джина, виски и пива. Вот тогда он пойдет на прорыв.

Отсчитывая эти бесконечные минуты, секунду за секундой — *тысяча один, тысяча два, тысяча три*,— он услышал слабое, но отчетливое шипение пива в открываемых банках, и чувствовал запах горячего масла и табака, и наконец голоса за дверью затихли. Время пришло. Время действия. Время, когда человек действия *должен решиться за семь вдохов и выдохов*. Хиро хватило одного вдоха. Он прыгнул на стену, ящерицей вскарабкался по скользким камням, выдернул вставленные прутья и протиснулся в соседнюю камеру. Сначала голова, потом плечи, торс и правая нога, потом поворот — и легкий прыжок на стоящую под окном скамейку. Кровь в нем пела. Он движется, действует, снова взял судьбу в свои руки — ну, а дверь? Его рука лежала на ржавой ручке, медлила — это был момент истины, момент, от которого зависело все. Он нажал — дверь подалась. Ха!

Ржавые петли. Скрежет. Выглянул. На стуле, стоящем у двери первой камеры, расселся охранник: красная *хакудзинская* рожа, пшеничные усы, нос длиннющий, рот полуоткрыт. Голова откинута назад, в пальцах дымится сигарета, сбоку — пивная банка и промасленный пакет, дыхание глубокое, ровное, сонное, воздух втягивается в жерло гортани и выходит с легким храпом. Дрыхнет, идиот носатый!

Хиро возликовал: *дрыхнет!* Но сдержался — дисциплина, дисциплина — и выскользнул, как тень, как ниндзя, проворнейший из убийц, кравшихся когда-либо на двух ногах. Но второй-то охранник где? Куда подевался? Не видать. Осторожность, осторожность. Красные щеки и пламенеющий нос, всасываемый и извергаемый воздух — Хиро не смог удержаться. Наклонился над спящим и вытащил у него из пальцев сигарету, убеждая себя, что поступает предусмотрительно: иначе через минуту-две олух проснется от ожога. Но цыпленок — а в пропитанном жиром пакете был цыпленок, зажаренный в сухарях, крылышки, грудка, окорочка — цыпленок это дело другое. Небрежно — так же небрежно, как самурай набрасывает

свою юкату или как Грязнуля Гарри [1] скребет свою щетину,— Хиро нагнулся, выудил из пакета сочную ножку и с наслаждением стал жевать, уже перемещаясь вдоль стены и высматривая какую-нибудь боковую дверь.

Где же он оказался? Сумрачное пространство, стропила и поперечные балки, запах мочи, гниения, испражнений животных, сдохших добрую сотню лет назад. Он двинулся влево, распластываясь по холодной каменной стене, удаляясь от охранника и настежь открытых высоких двустворчатых ворот — основного входа в амбар. В помещении было почти совсем пусто; виднелись прислоненные к сырой стене древние вилы, стойла, где когда-то держали скот, на полу — клочья доисторического сена, словно пряди выпавших волос. Что-то затрепетало в стропилах у него над головой; он взглянул наверх, в ребристый мрак, и увидел пару заблудившихся ласточек. Где же второй охранник? Хиро двигался легко, бесшумно, как призрак в этом царстве призраков. Там, где кончались стойла, из-за угла шел слабый свет. Туда Хиро и направился.

Он пошел по проходу направо, исполненный гордости и презрения, готовый ко всему — он спасается, вновь спасается! — и свет разросся, готовый принять его в объятия. Там был дверной проем, куда безучастно струился красноватый свет заката,— дверной проем без двери, а саму доску с задвижкой и ручкой, видно, унесла какая-нибудь *хакудзинская* катастрофа. Выглянув, он увидел листву — зеленое пламя свободы, кипящую жизнь джунглей — и рванулся вперед.

Но не сразу.

Сначала помедлил в грубом каменном проеме двери, взглянул направо-налево — асфальтовая дорожка, машины, кусты, деревья, лужайка — и потом дернул к густым спасительным зарослям, замыкающим лужайку шагах в тридцати. Пригнулся, распластался крабом, вот уже десять шагов от амбара, у всех на виду — и обмер. Собака, прямо по курсу, подняла ногу у деревца. Собака. Это, конечно, не сорок собак, не та хрипящая осатанелая свора, которую спустили на него у домика Рут,— но все же собака, и не комнатный песик, а большая, костлявая, долговязая овчарка из тех, что кажутся собранными из запчастей. Собака как раз кончила свои дела, прыгнула к нему — Хиро почудилось, что в ее глазах мелькнуло узнавание,— и зарычала, пока еще лениво, по-стариковски. Хиро застыл, врос в землю, пустил корни, превратился в куст, безнадежный и неподвижный. Вот-вот рычание вызовет цепную реакцию, перекличку рычаний, за которой последуют обнаженные клыки, леденящий душу рев, злобные людские крики и, наконец, щелканье наручников в качестве финального аккорда. Неужто так и будет? Что, кончена игра?

Была бы кончена, если бы рецепторы его пальцев не послали в мозг молниеносный сигнал: он держит наполовину обглоданную цыплячью ножку. Мясо. Курятину. Сочную, манящую. А что собаки любят? Мясо любят.— Ну-ка, дружок,— прошептал он, причмокнув губами,— хороший, хороший,— и сунул жирную косточку в разом замолкшую пасть. Но едва он это сделал, едва собака, наслаждаясь лакомым кусочком, отвернулась, как раздался грубый визгливый смех, и трое *хакудзинов* — двое мужчин и женщина — вышли из той самой рощи, где он хотел спрятаться. Они были одеты в белые теннисные костюмы, держали в руках ракетки и пока что его не видели — или скользнули взглядом и не врубились, занятые только собой. В неудержимом бесстыдном хохоте женщина повисла на плечах у мужчин, и все трое от смеха чуть с ног не валились.

Хотя Хиро в этот миг вспомнил слова Дзётё — *Истинный самурай никогда не впадает в уныние и не теряет бодрости духа* — он был на грани паники, безумия, обморока. Он с места двинуться не мог. Словно увяз в кошмарном сне, словно его околдовали: руки-ноги стали бессильными, как у паралитика, а эти люди, казалось, пришли за ним, пришли сожрать его мясо и сокрушить его кости! Глаза заметались туда-сюда: вот наслаждается курятиной собака, вот сулившая спасение роща — и как раз между ним и желанной целью вклинились теннисисты, вот сейчас кто-нибудь взглянет, ошеломленно замрет и завопит от ужаса благим матом. Что делать? Ничего не приходило на ум. Шевельнешься — и погиб. Будешь столбом стоять — тоже погиб. И в следующее мгновение все разрешилось само: из-за угла амбара с веселыми криками появились две коренастые женщины в панамах и широченных летучих платьях.— Ну вылитые Макинрой

[1] Грязнуля Гарри — грубоватый полицейский из американских гангстерских фильмов, персонаж актера Клинта Иствуда.

и Коннорс! — завопила теннисистам та, что поменьше.— И Крисси Эверт [1] в придачу! — пронзительно завизжала другая.

И все. Больше ничего и не нужно было. Наклонив голову, Хиро двинулся назад, к этим двоим, пошел уверенно и целенаправленно, словно он тут свой человек, обитатель дома творчества. Прямо по курсу виднелась асфальтированная площадка, где стояли машины, рядом — кустики, деревья и чахлые цветочные клумбы; чуть поодаль возвышался большой дом. Будь его воля, ни за что бы не пошел в этом направлении.— Патси! — зазвенел позади него женский голос.— Клара! — Потом вступил мужской: — Соль с перцем! — Последовал общий рев, взрыв разнузданного хохота.

— Надо же, прямо к нам рулят!

— Давайте с нами!

— С вами? Это вы давайте с нами — ну, кто кого обгонит?

Еще вопли.

— Кто последний,— уже на бегу, запыхавшись,— кто последний, тот дурак!

Хиро продолжал идти, женщины и троица теннисистов остались позади, и в любую секунду на него могла понестись лавина криков и ругани, объять его, поглотить. Впереди меж деревьев петляла асфальтовая дорожка, огромный куст форсайтии загородил от него дом. Он увидел «тоёту», американскую машину вроде «тоёты», и «мерседес», большой роскошный синий «мерседес-седан», стоящий у обочины с открытым багажником. Под ногами уже не трава, а асфальт, вопли за спиной сменились всхлипами и спазмами смеха, и тут ему на память пришли слова Рут: *там багажник с Большой каньон величиной.*

Дальнейшее походило на вихрь — хоть и подконтрольный сознанию, но самый настоящий вихрь. Послышались еще голоса, мужские, и шаги где-то слева. Надо решаться. Борясь с желанием броситься наутек, он пошел по асфальту быстрой, деловитой походкой — компания уже за форсайтией, видны ноги, сандалии, слышен разговор,— и одним точным движением он прыгнул в багажник «мерседеса», словно в постель плюхнулся. Разнообразные предметы въехали в него выступами и острыми углами — рыболовные сачки, походная плитка и прочее, но обращать на это внимание было некогда. Он поднял из глубины багажника правую руку, взялся за стальное ребро крышки и захлопнул ее таким же естественным движением, каким натягивают на голову одеяло.

Белизна рыб

Сукин сын. Треклятый сукин сын. Вот уж обосрались так обосрались. Сколько они, полтора месяца этого придурка ловили? Полтора месяца на одного жалкого толстожопого хиляка-япошку, который и на двенадцать-то лет не выглядит. И теперь, когда дело сделано, когда его наконец сцапали, выпотрошили и заперли, как миленького, эта инвалидная команда позволяет ему слинять. А как же. Само собой. Ну и что прикажете, Национальную гвардию вызывать?

Ух, и зол же был Льюис Турко. Пылал просто. Становилось темно, и дела выглядели мрачно. Никто ни хрена не знал, в том числе и дурья башка помощник, который отпер дверь, чтобы доставить заключенного на паром, и узрел пустую камеру. Ну, не совсем пустую, конечно,— стулья-то там были, под окном валялись, и пара прутьев еще оставалась в оконном проеме. Но никакой вам косой образины. Он к напарничку — дескать, как это понимать, а тот отлучался с поста, было дело, отлить ходил, и они смекнули, что надо бы шерифу сказать, и теперь сбежались уже все, носятся взад-вперед и орут, как ненормальные. А ведь ночь уже почти, люди искусства, как стадо, высыпали поглазеть на представление, собаки дрыхнут себе в своем Ниггертауне, а шериф выглядит так, будто только что съел здоровый кус своей жопы. А япошка — он-то, небось, уже на полпути к Хоккайдо. Непробиваемая тупость. Мудизм сплошной. А, черт.

Да еще литераторы эти. Держите меня, сейчас блевать буду. Обер-клоун жопы им всем лизал, особливо этой маленькой сучке еврейской, что прятала субчика, прятала и врала, за нос всех водила. Ну, подшутила. Уписаешься со смеху. И теперь вон стоит, красуется, коктейль потягивает и большими такими невинными глазами на всех смотрит, ну прямо Ребекка с фермы Саннибрук, ангел божий.

[1] Макинрой, Коннорс, Эверт — звезды американского тенниса.

Уж он-то раскрутил бы ее в два счета. Если бы только Обер-клоун позволил, он бы все сто и пять процентов из нее вытянул на любую тему, от номера папашиной кредитной карты до числа волос у нее сами знаете где. Довелось ему поучаствовать в крутых допросах, и мужчины были, и женщины, вьетконговцы, кремни, а не люди, и никто так не умел страху на них нагнать, как он,— а сегодняшний допрос, так это не допрос, а легкая прогулка. Два часа битых потел, как мышь, с Обер-клоуном и шерифом, еле сдерживался — так и хотелось намотать ее волосенки себе на руку и тянуть, тянуть назад, пока у нее горло не прочистится, как дренажная труба, где змея застряла. Черт. А Обер-клоун и остолоп-шериф обращались с ней, как с супругой сенатора,— чего ж тут удивляться, что она кинула им несколько крошек, и до свидания. И половины правды не рассказала. С какой стати она будет? Ведь сочинительница.

Стоял, кипел от злости, и тут чья-то рука его трогает — еще одна артистка, пухлая такая баба-гренадер с выпученными глазами и голосочком тоненьким, как у флейты.

— Что тут происходит,— с придыханием.— Что случилось?

Ну не мог, не мог он больше сдерживаться, понесло, повело его, не хватайся, дура, за оголенный провод.

— Что случилось, мать твою...— прорычал, отдергивая руку.— Конец света, вот что случилось, тут люди собак трахают, мясо человечье жрут. А ты все спишь, сука.— Она отпрянула, а он так и стоял, полыхая гневом.

Ну и что мы имеем? Шериф в дом потопал, слева, как заплутавшая планета, восходила пятнистая рожа Обер-клоуна, помощники шерифа толклись вокруг, как обоссанные,— ну сукин сын япошка. Турко ведь уже и вещи все собрал, аппаратуру уложил, слопал на какой-то провонявшей жиром кухне кусок пережаренного мяса, запил парой банок теплого «будвайзера», и думал, как домой закатится, травки курнет, а потом выйдет в море под парусом, может, разыщет ту официанточку из «Стаккиз» — как там ее зовут, Линда, что ли,— а теперь вот давай, начинай все сначала.

Тут во всем доме вспыхнули огни, разом блеснули три десятка пар выходных туфель. Турко развернул плечи и огляделся: ну вот, попал, значит, в переплет, и как же он, Турко, действует? Да никак не действует, стоит столбом, как те говнюки, ноги уже, небось, к полу приросли, рука вот-вот за коктейлем потянется, и сам в растреклятого художника слова превратится.— Льюис! — это Обер-клоун, теперь уже он руку на него возложил, сговорились они все, что ли.— Льюис, нам надо...

— Заткнись,— вызверился Турко.— Пасть порву.

А Дершовиц голову запрокинула, да как захохочет, как заржет, что твой платный смехач на концерте комиков, чуть не вдвое согнулась и по груди себя рукой хлопнула, чтоб сиськи лучше колыхались у всех на виду. И вся ихняя бражка — и красавчик пляжный с модным таким крашеным чубчиком, и старый хрен с волосатыми лапами — все хохочут себе, заливаются. Этот смех — смех *артистов* с их коктейлями, с их двадцатипятидолларовыми стрижками, с их ровными, белоснежными, словно из-под резца скульптора, зубами — этот смех уж никак не мог Турко стерпеть.— Льюис,— талдычил Обер-клоун,— Льюис, я к тебе обращаюсь... — Бесполезно. Ноль внимания.

Турко бросился на них без предупреждения — врезал старой образине локтем так, что тот чуть в собственной блевотине не захлебнулся, свалил плейбоя прямым в грудь, и вот он уже ее, суку, за волосы держит, на полу стекло зазвенело, зажал ей сзади руки-ноги.— Где он? — гаркнул, рявкнул, оттягивая ей голову назад, словно по канату лез.— Где, говори, мать твою...

Мгновение длилось и длилось, как взрывная волна, а потом как поперли все на него — и Обер-клоун, и волосатый старый пердун, и пляжный красавчик, и стриженный ежиком пидер, все, даже засранцы помощники шерифа,— а все-таки он хорошо дал одному в пах, другому вмазал ребром ладони, но сучку пришлось выпустить, и они одолели его числом. Как собаки разбрехались, хоть уши затыкай, началась дикая свалка, и она набросилась на него, как фурия, все лупила и лупила острым носком красной туфельки.— Отец тебе покажет,— орала она, а косметика размазана, солнечные очки вдребезги,— сволочь... Если бы Саксби был здесь...

Саксби? Кто такой, к чертям, Саксби? А, да какая, в сущности, разница, ведь уже Обер-клоун обхватил его своими обезьяньими ручищами, да еще на него десятка полтора всяких тел налипло, и общими усилиями они вытащили его на

лужайку, куда от деревьев опускались вечерние тени, как занавес над последним актом драмы. Да не драмы даже — трагедии.

* * *

Когда во внутреннем дворике шла потасовка и Рут выкрикивала имя Саксби, его на острове Тьюпело уже не было. Он катил в материнском «мерседесе», выжимая семьдесят пять миль в час и направляясь к Уэйкроссу, Сисеровиллу и, наконец, к западному краю Окефенокского болота. На заднем сиденье, слегка подрагивая от езды, лежала грязная желтая спортивная сумка, куда он кинул зубную щетку, бритву, смену белья, три пары носков, две пары шорт, майку и головную повязку. Рядом в нейлоновых чехлах покоились спальный мешок и одноместная палатка. Сети, болотные сапоги, баллон с кислородом и рулон особо прочных пластиковых мешков — для рыб, с проволочными завязками,— он кинул в багажник. «Мерседес», конечно, мало подходит для экспедиции, но его пикап был в ремонте — оборзеть, шесть тысяч миль какие-то жалкие, а из драндулета уже масло течет,— и, главное, когда позвонил Рой Дотсон и сказал, что вытащил целое ведро альбиносов из заводи, что позади острова Билли, ему некогда было раздумывать: этой самой минуты он ждал с той поры, как приехал из Ла-Хольи.

Он был взволнован, что и говорить,— не ехал, а летел сквозь длинные вечерние тени, врубив радио на полную громкость. Музыка была, конечно, в стиле «кантри» — он-то любил мягкий рок, «Стили Дэн», к примеру, но за городом ничего не ловилось, кроме этой дешевой, агрессивной сельской групповой психотерапии,— а все равно не выключал. Карликовые альбиносы. Целый аквариум, значит, наловил Рой Дотсон. И всё — его, Саксби, добыча. Его собственность. Не в силах сдерживаться, он отбивал такт на рулевом колесе и, фальшивя, подпевал пронзительным фальцетом, способным в десять секунд очистить от публики «Гранд Оле Опри» [1]:

Не страшен снег, не страшен гром,
Когда под ветровым стеклом
Приклеен мой пластмассовый Христос.

Он промахивал дощатые бензоколонки, поселки, состоящие из трех фермерских домов у единственного перекрестка, отдельные хижины, тупо глазеющих коров, бело-розовые поля низкорослого хлопчатника, дальше, дальше в густеющие сумерки под ритмичное урчание мотора. Он чувствовал себя прекрасно, как никогда, воображению рисовались декоративный пруд перед большим домом, превращенный в разводной садок, молочно-белые альбиносы, на лету хватающие корм, заказы от аквариумистов со всего света, поток приглашений прочесть лекции, проконсультировать... но тут он вспомнил о Рут, и картинка в мозгу сменилась. Нехорошо, конечно, что он так вот уехал,— звонок Роя завел его, наэлектризовал, и он говорил себе, что с ней все будет в порядке, пока возбужденно носился по дому, собираясь на шестичасовой паром. А если что-то и не будет в порядке — тут он вспомнил, до чего он был уязвлен,— сама виновата. Не доверилась ему, скрыла все. Он почувствовал себя преданным. Униженным. Захотел дать сдачи. И вот он пошел к Эберкорну — кто бы удержался на его месте?

Да ничего такого с ней не сделали. Он взял с Эберкорна слово не слишком усердствовать, и уж никаких обвинений в ее адрес не будет, это точно, и он сидел с ней на допросе, пока Терон не встал и не попросил его выйти. Целуя ее перед отъездом, он видел, что она вполне оправилась, пришла в норму. А если ей пришлось все же пережить неприятные минуты, она это, может, и заслужила. Он поверил ей, когда она сказала, что япончик для нее просто забава — и вправду смешной, жалкий дурачок с недолепленным лицом из сырой замазки и слишком большой для такого тела головой,— но нельзя, нельзя ей было так далеко заходить. Подумать только, ничего не сказала ему, своему любовнику, своему мужчине — а он бы все для нее сделал, знала ведь — нет, как ни верти, она ему нанесла обиду.

Впрочем, Саксби был не из тех, кто надолго задумывается. Он нажал другую кнопку на радиоприемнике, и светлая, по-немецки аккуратная кабина в момент наполнилась пиликаньем скрипок и гитарным перебором, и вот он уже подтягивает тирольским йодлем песенке о шоферах и гончих собаках. Рут улетучилась

[1] «Гранд Оле Опри» — огромный концертный зал в Нэшвилле, штат Теннесси.

из его сознания, вытесненная ослепительным беломраморным видением карликовой элассомы, скользящей сквозь безмолвные травянистые глубины Окефеноки.

Когда Саксби доехал до Сисеровилла, уже стемнело. Он заправился у Шерма на бензоколонке «Шеврон» и остановился под вывеской «Мотель ВЕСЕЛЫЕ МОРМЫШКИ. Мистер Гоби Алу». Крохотный, засиженный мухами вестибюль был пуст, но когда Саксби нажал кнопку звонка, Гоби выскочил из задней комнаты, как джинн из бутылки. Сияя от радости, коротышка живо вкатился в дверь и бочком протиснулся за письменный стол, распространяя запах восточных пряностей.

— Да кто к нам пожа-а-ловал, Саксби Лайтс собственной персоной с острова Тью-у-пело, Джорджия.— Давно переняв размытость местного говора, уроженец Пенджаба словно катал и раскатывал за щекой слоги.— Са-а-ксби,— тянул он, покачивая изящной головкой, но кончил, как с ним иногда случалось, типичным для индостанца понижением голоса,— что же вас в наши края привело? Рыбы, осмелюсь предположить.

— Угадали, Гоб.— Саксби не мог сдержаться, его распирало.— Рой нашел то, что надо. Сейчас ключ возьму и прямо к нему дуну, взгляну на его добычу, а утром закину сети и, может, мне тоже повезет. По-настоящему повезет. Джекпот хочу сорвать.

Гоби расплылся в улыбке — маслянистый человечек в грязной кепочке, мешковатой майке и широких рабочих брюках. Если бы не знак касты между бровей, его вполне можно было бы принять за смуглого от загара коренного джорджийца. В ходе разговора его голос снова зазвучал совсем по-местному:

— Я-то зна-ал, что вам подфартит. Кому-кому, а такому парню...— Отвернувшись, он сплюнул коричневую от табака и бетеля слюну в задвинутую под стойку корзину для мусора.

В два последних своих приезда на Окефенокское болото Саксби останавливался именно здесь, в Сисеровилле, в мотеле «Веселые мормышки». Отсюда, правда, было целых сорок семь миль до пристани в заповеднике имени Стивена Фостера на западном краю болота, но зато до дома Роя Дотсона — всего пять минут ходу. Чем и удобно. Он заполнил регистрационную карточку, которую Гоби подал ему через стойку.

— На одну ночь, на две?

— На одну,— ответил Саксби, вкладывая в протянутую ладонь двадцатку и получая сдачи замусоленный доллар и три пятицентовика. Если ему сразу повезет, он завтра же вечером вернется на Тьюпело; если нет — не беда, Рой выхлопотал для него специальное разрешение, и он сможет жить в палатке на острове Билли сколько понадобится.

— Поосторожней там,— сказал Гоби, давая ему ключ от комнаты; в горле его клокотал хриплый бас истого южанина и первопроходца,— в оба смотрите, лады?

Саксби не стал заглядывать в комнату. Он положил ключ в карман, поставил «мерседес» в ячейку, зарезервированную за № 12, и двинул по улице к дому Роя. Он едва сдерживал радость. Ощущал особое родство со всем окружающим, чувствовал себя безгрешным, вторым Уитменом, человеком, наделенным живой связью с тайнами природы и белизной рыб. Вечер явно вступил с ним в сговор. Так великолепен он был, так тих, тепел и безмятежен, что небо над городом казалось шатром из мягкого бархата; ноздри ему щекотал сладкий запах жимолости и жасмина, он слышал дальний отрывистый лай собаки, и нутро его отзывалось на густое, ритмичное стрекотание сверчков и голоса древесных лягушек. Над каждым крыльцом, разгоняя душный сумрак, горел фонарь. Улицы были пусты. Сисеровилл лежит в засушливых краях, и ничего удивительного, что все 3237 человек его населения уже коротали вечер у телевизоров с банками кока-колы, лимонада и пива, которые сжимали в потных руках, как контрабанду.

Рой поджидал его на крыльце. Саксби едва не бежал, сердце колотилось, и вот наконец Рой посиживает на ступеньках с дочкой Элли и детской книжкой на коленях.— Приве-ет, Сакс,— протянул он.

— Рой,— Саксби был так взволнован, что не смог даже поздороваться по-человечески, один слог — это был максимум возможного.

— Саксби, Саксби, Саксби! — завизжала Элли, и в следующий миг она уже спрыгнула с крыльца и повисла, извиваясь, у него в руках. Рой все посиживал,

поглядывал на него с улыбкой. Над его головой в свете фонаря трепетали ночные бабочки.

— Нашел, значит,— выдавил из себя наконец Саксби; Элли знай себе хихикала, вцепившись в его руки; он держал равновесие, следя, чтобы она не ударилась о столб беззащитной головкой или тонкими ручонками.

Рой кивнул. Ему шел тридцать второй год, у него был внушительный нос, скошенный лоб и светло-русые волосы, зачесанные назад и собранные конским хвостом. Он работал в службе национальных парков и был вторым человеком в администрации Окефенокского государственного природного заповедника. Он-то и устроил Саксби специальное разрешение на сбор материала, подобные мелкие услуги между бывшими однокашниками — нормальное дело, как он сам тогда сухо заметил.— Сразу пойдем смотреть,— спросил он,— или сперва дашь мне дочитать ей «Зеленые яйца с ветчиной»?

— Отдышусь сначала, Рой,— сказал Саксби, но сам уже поставил Элли на землю, как багаж, который не хотел заносить внутрь, и стал подниматься на крыльцо.— Где они, в доме или там, в гараже?

Рой уже был на ногах.— Ну пошли, если хочешь; но, может, все же взглянем, как «Храбрецы» играют? Сегодня два матча в один вечер.

Саксби не стал лишать его удовольствия, но когда наконец Рой сбежал по ступенькам и легкой походкой двинулся во двор, он едва не наступал ему на пятки. Они направлялись к гаражу, отдельному неказистому двухэтажному строению, отчаянно нуждавшемуся в краске, штукатурке, гвоздях, досках, половицах, потолочных балках и четырех-пяти сотнях черепиц на крышу. Хрустя прошлогодними листьями, они миновали пикап Роя и «хонду» его жены, стоящие под открытым небом; впереди мягко и многообещающе светились заляпанные грязью окна гаража.

Ничего удивительного, что там негде было ставить машины: в гараже Рой хранил свои коллекции костей и чучел, свои капканы, клетки и прочие приспособления, и помимо этого там скопились такие напластования бытового хлама, на которых десятка два археологов могли бы сделать себе имя. Разломанные карточные столики и увечные стулья; рулоны грязных обоев и дырявые ковры; громоздящиеся до потолка ряды картонных коробок, полных битой посуды, безногих кукол, пожелтевших журналов, ржавых ножей; горы пустых банок из-под краски и олифы, бальзамирующего состава и формалина. Посреди этого хаоса Рой всегда держал несколько проволочных клеток со змеями, черепахами и опоссумами, а также с полдюжины старых аквариумов с графитовым дном, пузырящихся при свете ламп-времянок. Он тащил сюда все интересное, что находил в болоте.

И вот под водительством Элли, распевающей в нос: «Есть у нас для Саксби рыбы, нам спасибо, нам спасибо», они вступили под этот священный, хоть и дырявый, кров. Взгляд Саксби тут же наткнулся на чучело броненосца, водруженное на вешалку для пальто, воздетую рысью лапу, которую животному пришлось оставить в капкане, и чьи-то блестящие глаза в клетке; потом в дальнем углу он увидел аквариумы, тускло освещенные, и все же манящие, как ларцы с сокровищами. Он часто дышал, едва не задыхался, пробираясь сквозь завалы мусора к светящемуся стеклу, перед которым уже стояла Элли. Присев на корточки и жадно вглядевшись в тинистую зеленую воду, он увидел... сморщенную морду и мертвые глаза рептилии. Элли пронзительно захохотала, ну прямо пожарная сигнализация.

— Обманули, обманули! — ликовала она.

— Дальше там, Сакс,— пришел на выручку Рой.— Справа от тебя.

Саксби повернул голову — и наступил миг торжества: вот они. Они, его альбиносы. Вздымаются жаберные крышки, машут плавники, холодные маленькие рты шлют ему поцелуи. Чудо, настоящее маленькое чудо.

Он пригляделся получше. Ни одна из рыбок — а всего их было восемнадцать — не превосходила в длину колпачка от шариковой ручки, и почти у всех плавники и хвосты были повреждены из-за нападений сородичей. Несмотря на крохотные размеры, это был агрессивный вид, страшно недружелюбный и ревниво оберегающий свои владения. Для проформы Рой набросал туда камушков и водорослей, но они совершенно не защищали рыбешек друг от друга. Балда, чем он думал? Неужели не понимает, что у него тут хранится? Саксби почувствовал поднимающуюся злость, но сдержался — в конце концов, вот они перед ним, альбиносы, карликовые элассомы, белые и гладкие, как кусочки мыла, а все остальное не имеет значения.

Долго, долго сидел он на корточках перед аквариумом и наблюдал, как они неподвижно висят в воде, описывают круги, поднимаются, опускаются и совершают друг на друга внезапные яростные рейды. Просто потрясающе — ведь они взаправду были белые. Он знал, какими они будут, но знал умозрительно, и действительность ошеломила его. Раньше он видел и сомиков-альбиносов, и нежно-розовых, как вишневый йогурт, цихлид, и слепых пещерных рыб, обесцветившихся за бесчисленные века прозябания во тьме, но тут было нечто иное. Тут была сказочная, чистейшая белизна, белизна июньских невест [1], белизна «Бегущей изгороди» Христо [2], белизна внутренней стороны бумажки от шоколада «Херши». Он будет их разводить, да, вот чем он займется, потому что это каприз природы, редкость, мутация, потому что они белы, как балахоны и колпаки ку-клукс-клана, белы, как снег, бессердечны, холодны и совершенно необходимы.

Он поднял глаза. Элли ушла. Рой смотрел на него.

— Сможем еще раздобыть?

Рой улыбался своей спокойной улыбкой. Он прекрасно понимал этот восторг, который заставляет сердце биться часто-часто при виде какой-инбудь бабочки, улитки или блестящей бледной рыбки с ноготь величиной.

— Почему же нет, попробуем,— ответил он.

* * *

Ранним утром телефонный звонок извлек Саксби из бесцветных глубин сна. Телефон звякнул только раз, и он схватил трубку, как добычу, словно лежал всю ночь в засаде и дожидался, когда она наконец дастся ему в руки.— Да? — выдохнул он.

Это был Гоби.— Утречко, подъем,— проворчал он нараспев в своей индо-джорджийской манере.— Пять пятнадцать.

Через десять минут Рой уже был тут как тут со своим пикапом и лодочным прицепом. На прицеп была водружена длинная узкая лодка-плоскодонка с надписью на носу «Пекод-2» [3] — это была одна из шуточек Роя.— Привет,— бросил он, неспешно улыбаясь, и протянул Саксби пакет с завтраком из закусочной «Харди» и термос с черным кофе.

Саксби мог открыть багажник «мерседеса» именно тут, и как же потом он клял себя за то, что передумал — решил не возиться. Перегружая болотные сапоги, сети, кислород и прочее в пикап, он потерял бы несколько драгоценных минут, а он весь был заряжен ехать. Кроме того, не мешало иметь под рукой свою машину на случай, если придется на день-два задержаться. Так что он взял кофе и пакет, пожал плечами и сказал: — Давай ты вперед, я за тобой. Лады?

Всю дорогу до Фарго над шоссе висел бледный призрачный туман, а когда они свернули на 177-е шоссе, ведущее к самому болоту, стал накрапывать дождь. Саксби слушал шорох мокрых шин, смотрел на покачивающуюся впереди лодку. Он ощущал невыразимый покой, мир, единение с природой. На обочине картинно стоял олень, взлетали, махая широкими крыльями, вспугнутые болотные птицы. В этой поездке он получит все, чего хочет,— он знал это наверняка.

Морось опять сменилась туманом, туман уплотнился, и вот они уже на месте. Он проследовал за Роем через автостоянку у туристического центра и выехал вперед на узкую полоску суши, с которой спускали лодки. По одну сторону от нее был углубленный и расширенный пруд, где держали лодки, сдаваемые напрокат, по другую — канал, который ведет к озеру Билли и бесконечному лабиринту проток, прорезающих болото за озером. Снова закапало, унылое свинцовое небо чуть не касалось макушек деревьев. Было почти безлюдно — лишь несколько рыболовов снаряжали свои лодки, тихо разговаривая в предвкушении отплытия, да в ветвях время от времени переругивались сойки и дрозды. Теплая торфяная вода напоминала цветом свежезаваренный чай.

[1] Июнь — традиционный месяц свадеб.

[2] Христо (род. в 1935 г.) — американский художник болгарского происхождения и мастер ландшафтного искусства. «Бегущая изгородь» в Калифорнии — длинный ряд колеблющихся на ветру белых полотнищ.

[3] «Пекод» — в романе Г. Мелвилла «Моби Дик» название китобойного судна, охотившегося на легендарного Белого Кита.

Саксби стоял у дверцы «мерседеса» и наблюдал, как Рой подает прицеп задом к лодочному спуску. Когда прицеп погрузился в воду, Рой выключил мотор, поставил машину на тормоз и пошел освобождать лодку, а Саксби двинулся к багажнику «мерседеса» доставать свое добро. Кислород и пакеты понадобятся только на обратном пути, когда он повезет домой то, что положит начало его рыбному хозяйству, а вот болотные сапоги, сети, сачки на мелкую рыбу и небольшой тридцатифутовый невод для чистой воды — все это надо взять. Он не открывал багажника с тех пор, как в спешке загружался двенадцать или тринадцать часов назад, но, вставляя ключ в замок, он словно видел перед собой все снаряжение и уже представлял себе, как оно будет лежать в лодке Роя и как сама лодка заскользит по гладкой воде, послушная уверенным бесшумным ударам весел. Ключ вошел в замок. Повернулся в замке.

Все как обычно.

Джунгли

Что с ней случилось? В чем дело? Куда исчезла вдохновенная служительница муз, которая с утра просыпалась вся в творческом горении и, жертвуя завтраком, смело устремлялась через мокрый лес в студию-скит — нести крест своего искусства? Рут недоумевала. Знала только, что чувствует страшную слабость, как когда-то в отрочестве, когда болела мононуклеозом. Болит голова; впечатление такое, будто она болит уже давным-давно, недели, месяцы, чуть ли не всю жизнь. И руки-ноги вялые, словно бы не накрепко приделанные к туловищу. Может, правда она заболела, может, дело в этом?

Только-только рассвело, кругом разлит белесый безрадостный свет, Рут спросонья сразу быстренько проскользнула в ванную — слава богу, что никто еще не встал,— а потом так же тихонько вернулась и рухнула на кровать, будто вдруг обезножела. Еще бы полминуты, и она бы канула, затянутая обратно в глубины сна,— но вдруг где-то в недрах дома зазвонил телефон, и поневоле пришлось проснуться. Слабый такой, отдаленный звук, вроде жужжания букашки на другом конце комнаты, но Рут знала, это звонят ей. Знала, и все. Потом еле-еле слышные и тоже где-то немыслимо далеко раздались шаги, шаги Оуэна, бредущего через нижний вестибюль к телефону. Рут изо всех сил старалась не разжимать веки, затаиться. Но телефон продолжал звонить, и она знала, что это — по ее душу.

Три звонка, четвертый, затем в середине пятого аппарат поперхнулся и смолк. Что бормочет Оуэн, ей, естественно, слышно не было, но нетрудно было вообразить, а потом снова раздались шаги, глухое, осторожное шарканье через вестибюль, вверх по лестнице и по коридору второго этажа. Рут села в постели. Совершенно ясно: что-то с папой. Врач предупреждал: эти нагрузки в суде, и работа допоздна, и его сумасшедшее увлечение теннисом и бадминтоном, и сигареты, и коктейли... И бифштексы по-ньюйоркски. Отец! Горе захлестнуло ее. Отчетливо, словно он стоял вот тут, перед нею, она увидела его лицо, очки в тонкой оправе поблескивают, в бороде серебрится седина, взгляд ответственного человека, диктующего законы, мудреца и миротворца... Теперь, конечно, похороны, и придется минимум на неделю, если не больше, уехать из «Танатопсиса». Траур ей пойдет. Черный цвет подчеркнет узость бедер, высветит загар... Но ведь отец, ведь это же ее отец, папочка, теперь она осталась нагая и беззащитная перед миром...

Шаги остановились за ее дверью, а затем раздался стук Оуэна и его голос, приглушенный и скрипучий, безо всяких иностранных языков, не до шуток:

— Рут, вас. Междугородный.— Она знала. Она так и знала!— Саксби.

Саксби? Сразу перебивка: отец жив-здоров, здоровее самого министра здравоохранения, он спит себе сладким сном в Санта-Монике, по одному из самых шикарных адресов в городе. Время-то... сколько сейчас? Всего шесть часов? Но что могло понадобиться Саксби в такую рань? Сердце Рут слегка екнуло: попал в аварию? Но нет, чего бы он стал звонить ей, если бы с ним что-то случилось? Позвонил бы в полицию или в больницу, разве нет? Тут она вспомнила про его рыбку. Если он решил вытащить Рут из постели из-за какой-то сволочной лупоглазой рыбешки...

— Рут, проснитесь! К телефону.

Она опомнилась.

— Да. да. Я проснулась. Скажите, что сейчас подойду.

Шаги удалились. Она нагнулась, пошарила в ворохе одежды на полу, разыскивая мохнатый купальный халат, и сигареты, и, может быть, что-нибудь на голову,— вдруг кто-то уже встал. Халат нашелся — она прихватила его из гостиничного номера в Лас-Вегасе, когда ехала сюда, на нем было густо-красное пятно слева на груди, это она перевернула стакан клюквенного сока,— и сигареты тоже вот они, но нет ни зажигалки, ни косынки. В зеркале на бюро мелькнуло отражение: запавшие глаза, чересчур крупный нос, углы рта оттягивает сетка панически ломаных линий... Рут выскочила из двери, прижимая к груди пачку сигарет, и уперлась взглядом прямо в большие цыганские очи Джейн Шайн.

Джейн шла в ванную. На ней поверх белой кисейной рубашки было надето старинное шелковое кимоно, на ногах изящные розовые атласные туфельки на каблучках без задников. А волосы, слегка всклокоченные после сна, более густые, курчавые и блестящие, чем вправе быть волосы простых смертных. Лицо, лишенное грима, было блистательно в своем совершенстве.

А Рут стояла в тайваньских шлепанцах по пятьдесят девять центов за пару, в украденном халате, который ей на шесть размеров велик и от грязи стоит колом. И это лицо, мелькнувшее в зеркале, ну, просто лицо ходячего трупа! Заспанная, расхристанная, Рут вышла из комнаты, на уме у нее был только телефонный разговор, и тут навстречу — Джейн Шайн, ее главная врагиня, похожая на какую-нибудь киногероиню сороковых годов, которой подают завтрак в постель среди выгородки на студии «Метро-Голдвин-Майер».

Джейн приспустила веки. Взгляд настороженный, но спокойный. Два раза моргнула и обошла вокруг Рут, словно та — какое-то неодушевленное пустяковое препятствие на ее триумфальном пути — груда оставленных в коридоре чемоданов или кадка с пальмой, которую не задвинули на место после уборки,— и, шурша шелками, плавно пошла дальше. Ах, сука! Ах, дрянь! Ни словечка, ни тебе извините-пропустите, ни доброго утра, здравствуй-до свидания, да хоть бы—сдохни на месте, и то бы лучше, чем вот так. Нахалка хладнокровная!

Рут осталась стоять как вкопанная, обессилев и вся окаменев от ненависти. Дождалась, пока за спиной защелкнулась дверь ванной, и только тогда двинулась дальше по коридору, с такой силой сжав челюсти, что, пока спустилась к телефону под лестницей, у нее заныли все зубы.

— Сакс? — чуть ли не рявкнула в трубку.

Он сразу ответил, будто совсем рядом. Взволнованный чем-то — все эта рыба его, конечно,— и настроение у нее, и без того не благодушное, еще больше испортилось.

— Рут,— возбужденно бормотал он,— слушай, я должен сказать тебе, пока еще никто не знает...

Она перебила его. Ему дела ни до чего нет, кроме своей рыбы. Ей вправду было больно, Льюис Турко вцепился в волосы, а Саксу ни до чего, кроме рыбы, нет дела.

— Он схватил меня за волосы, Сакс, и обозвал сукой, прямо при всех, лживой еврейской сучкой, тут же во дворе, и все слышали.— В трубке эхом отразился ее голос, дрожь негодования, лезвие злости, заостряющееся в обиду.— Если он думает, что ему это сойдет, то он просто не в своем уме... Да я его засужу. Вот увидишь. Подам иск... Сакс! — блеяла она.— О, Сакс, ты бы знал!..

На том конце провода молчание. Саксби растерялся. От неожиданности он всегда теряется.

— Не понял, кто, кто схватил тебя за волосы? — И тут его осенило: — Это что, тот японский малый? При побеге?

— При чем тут японский малый. Я про Турко говорю. Маленькое фашистское дрянцо, что таскается с Детлефом. Он вчера вечером взбесился и, представляешь,— у нее пресекся голос,— набросился на меня. И еще на Ирвинга и на Сэнди. Ты бы видел синяки у Сэнди на груди! При тебе бы он меня не тронул, не посмел бы, а тут...

Она чувствовала, что сейчас расплачется.

— Рут, постой. Послушай меня.

Бесполезно. Саксби даже слушать не хочет. У него новости поважнее, чем то, что какой-то накаченный выродок избил его подругу: он нашел чудо-рыбу — вот это известие! Оно потрясет весь мир взрослых младенцев, готовых тратить жизнь на наблюдения за спариванием рыбок в аквариуме. Рут разозлилась.

— Нет, ты сам меня послушай. Эта сволочь на меня напала...

— Рут, тот японский малый здесь. Хиро. Хиро Танака. Он здесь.

Что он говорит? Рут подняла голову и заметила, как Оуэн метнулся за поворот коридора. Вся злость у нее моментально прошла.

— То есть как? Где?

— Здесь. В Окефеноки. Открываю багажник, а он там, свернулся, как змея. В багажнике, представляешь?

Было еще совсем рано, у нее болела голова; она не сразу усвоила поступившую информацию. Саксби уехал, ищет свою рыбку-малютку на другом конце штата. Хиро удрал. Небо вверху, земля под ногами. Сила тяжести действует, есть еще магнитное притяжение, слабые воздействия. Прекрасно. Но Хиро у Саксби в багажнике? Хиро в Окефенокских болотах? Это чересчур. Просто шутка такая, острота, Саксби над ней смеется. Прямо сейчас в эту самую минуту Эберкорн с шерифом и целая свора тявкающих собак и местные жители с ружьями прочесывают все колючие заросли и канализационные ямы на острове, а Хиро — беглец, беглый узник, большой мягкотелый ребенок с жалобными глазами и толстым животиком — находится за сто миль отсюда. В болотах. В знаменитых, не имеющих себе равных Окефенокских болотах. Бедный Хиро. Бедный Детлеф. Бедный Сакс. Да нет, не может этого быть, так в жизни не бывает.

— Это точно?

— Еще бы не точно!

— Ты его не...— Рут хотела спросить, не обидел ли его Саксби, не проявил ли свою вторую, грубую и жестокую, натуру; но раздумала и не договорила.— Я спрашиваю, он объяснил что-нибудь или опять скрылся? Ты предложил ему помощь?

Саксби ответил взволнованно, одышливыми, короткими фразами:

— Там были Рой и я. А он в багажнике. Я не успел сообразить, а он уже сбежал.

— Сбежал?

После этого она выслушала его рассказ целиком. Саксби изложил ей подробно, как вчера загрузил машину, но не помнил точно, запер ли багажник, не до того — открывались такие перспективы,— а когда вырулили на узкую песчаную косу, с трех сторон вода, и Рой стал спускать лодку, а тут Хиро как выскочит из багажника, глаза безумные, и плюх в лодочную заводь. («Этот парень, когда ни попадается мне на глаза, всякий раз шлепается в какую-нибудь лужу».) Он побежал по воде к противоположному берегу, где начинаются топи.

— Он фанатик,— заключил Саксби.— Псих ненормальный. Если ему на Тьюпело не нравилось, теперь узнает, почем фунт лиха.

И тут Рут вдруг расхохоталась. Не смогла удержаться. Мимо, по пути к завтраку в «комнате молчания», прошла Лора Гробиан и сделала большие глаза — Рут заливалась смехом, давилась чуть не в истерике, слабея и едва удерживая трубку возле уха. Она представила себе эту картину: Саксби стоит растерянный, расставив крепкие ноги, свесив беспомощные ладони; Хиро, кривозубый и круглолицый, как большая луна, опять спасая жизнь, шлепает по воде, взбивая пряску, уходит все дальше и дальше в болота — из одного болота в другое. Нет, это уж слишком! Что-то из «Сердца тьмы» — или из комических фильмов «Кистоунские полисмены». Да, вот именно: «Кистоунские полисмены в сердце тьмы». Такая умора, ну просто нет сил! План сработал, Хиро добился, чего хотел — вырвался с острова Тьюпело, воспользовавшись багажником машины, принадлежащей матери Сакса! Нет, немыслимо! Ну, просто умереть со смеху!

— Ничего смешного, Рут, совершенно ничего смешного.— Саксби взбешен, голос сдавленный, с сипотцой.— Слушай, Рой уже вызвал полицию. Я звоню, чтобы предупредить тебя. После вчерашнего... Я хочу сказать, малый оказался у меня в багажнике, и думаешь, они поверят, что это не с моего ведома? И не с твоего?

Об этом она не подумала. Но все равно ситуация очень смешная.

— Ты же ни в чем не виноват, Сакс. Невиновного не повесят.

Она понимала, что раскается в этих словах, но ничего не могла с собой поделать: настроение у нее исправилось. Голова приятно закружилась. Весело!

— Черт возьми, Рут! Дело твое. Это ведь ты...— Он не договорил, смолк, иссяк. На линии пошли какие-то щелчки, треск. Солнце за окнами выглянуло из тумана, раскопав неглубокую могилу.

— Сакс?

— Скажи мне правду,— потребовал он,— и никакой больше лапши на уши, ладно? Ты помогла ему сбежать или нет?

* * *

Позднее — заснуть после этого телефонного разговора она уже не смогла, понимала, что теперь они снова за нее возьмутся,— шериф, Детлеф и тот недомерок, мразь, ему-то она никогда больше слова не скажет, никогда! — позже она пошла пройтись до студии, взглянуть, что они там натворили. По пасмурной погоде немного посвежело, в мелком дождичке ощущалось первое придыхание осени, и от этого она почувствовала себя бодрее, однако, пока прошла второй поворот, вымокла вся до нитки. Еще до того, как показалась студия, стали заметны кое-какие следы вторжения: отпечатки сапог на мокрой земле, проломанный кустарник, а дальше, прямо на тропе — горстка стреляных гильз, красный пластик и блестящая медь. Рут нагнулась, подобрала парочку гильз, подержала в руке и с отвращением выбросила. Сделав последний поворот, она вышла к коттеджу.

На расстоянии все выглядело так же, как и позавчера вечером. Те же сонные дубы, свесившие над крышей лишайные бороды, и пальметто, и ягодные кусты; то же крыльцо, и дверь, и бесхитростно глядящие окна. В воздухе вьется мошкара, летают взад-вперед птицы, садясь на высокие ветки,— все вроде бы как было. Но подойдя ближе, Рут увидела осколки стекла на затоптанных ступеньках и дыры в сетке на окнах, и простреленную дверь. Вся земля вокруг домика усеяна гильзами от патронов, и щепками, и лучиками стеклянных осколков. А крыльцо! Оно было так изрешечено пулями, словно его долбили все дятлы Джорджии, и в одной из стоек выбит кус древесины размером с кулак. До Рут вдруг дошло, что́ все это означает,— не отвлеченно и не в телефонном разговоре, когда разбирает смех и кажется, что мир остался где-то за горизонтом,— а вот прямо здесь, в действительности, в парно́й духоте и гнилом зловонии. *Его хотели убить.* Расисты, местное хулиганье, Турко, Эберкорн — толпа, чернь. Рут похолодела. Это уже не шутки. Самое ее близкое знакомство с огнестрельным оружием было из первого ряда кинотеатра — на Уилширском бульваре не устанавливают автоматы в окнах автомашин, не ковыряют ими в зубах, не стреляют ими уток или кабанов, или кого они убивают в здешней глуши. А если оружие, настоящее, реальное огнестрельное оружие направлено прямо на тебя? Разве можно представить себе, что пережил Хиро?

Внутри было и того хуже. Тут Рут подбирала уже не стреляные гильзы, а пули. Доски, которыми обшиты стены, были все в щербинах, спинка диванчика под окошком пробита навылет, одно из насекомоядных растений, которые росли у нее в горшках, срезано чуть не под корень. Пол усыпан битым стеклом вперемешку со сплюснутыми кусочками свинца, в углу, перевернутое кверху ногами, валяется плетеное кресло-качалка. Кажется, единственный непострадавший предмет — это ее машинка. Стоит себе как стояла, и старый лист завернулся вокруг валика.

Уж лучше бы и машинка не сохранилась, лучше бы ее изуродовали до неузнаваемости, валик искорежили и пробили, литеры рассыпали по всей комнате, как рис на свадьбе. Рут прочла в ее сохранности немой укор себе, и на душе у нее стало до противного пусто, тягостно, неспокойно — нервы, как ни назови, больная совесть, проклятие писателя в простое. Из «Прибоя и слез» ничего не выйдет, продолжать работу у Рут нет душевных сил, тем более теперь. Его хотели убить. Разве это выразишь на бумаге?

А что же делать? Она живет в писательской колонии, вокруг — одни писатели, а она за целую неделю не создала ни строчки. Сегодня-то ей, конечно, не до работы, и никто бы от нее сегодня работы и не потребовал, но все-таки, если начистоту, хорошо бы разгром выглядел картиннее, полнее, бедственнее, когда нечего и думать садиться за машинку. А так, если бы ей уж очень захотелось, если бы стих напал,— пожалуйста, можно вымести битое стекло, и садись вкалывай, не обращая внимания на рабочего, которого Оуэн пришлет латать сетки на дверях и окнах, вставлять новые стекла и штукатурить на стенах дырки от пуль.

Чтобы чем-то заняться, Рут взяла швабру и совок и стала сметать стекляшки и маленькие сплюснутые кусочки свинца, которым не удалось ни застрять в стене, ни вылететь насквозь в бесконечность. Потом выбросила сломанное растение —

вывернула горшок через перила крыльца; другому, которое уцелело, скормила дохлую навозную муху, завалявшуюся среди мусора на подоконнике. И наконец все же присела за письменный стол — но как бы невзначай, на пробу: удобно ли сидится?

Посидела, глядя перед собой сквозь зияющее окно. Потом собрала всю толстую пачку испещренных буквами перечеркнутых листов, представляющих собой рукопись «Прибоя и слез», и засунула подальше в ящик. В глубине ящика нашлась еще другая рукопись — недописанный старый рассказ, который Рут когда-то собиралась переработать. Назывался он «Два пальца на правой ноге», сюжет тоже позаимствован из газет, она его только развила. В свое время этот случай приобрел известность по всей стране и встряхнул сонную, эгоцентричную публику. Он был известен всем и каждому. В Техасе полуторагодовалая девочка Джессика Макклюр упала в шахту и застряла вниз головой в проеме менее фута диаметром, а через двое с половиной суток в результате совместных героических усилий шахтеров, пожарных, полицейских и проповедников ее удалось спасти ценою потери двух пальчиков на правой ноге. В чем там точно было дело, Рут не разобралась, вроде бы потребовалась ампутация из-за пережатого сосуда, но замысел был изобразить ее уже подростком или лет семнадцати, может быть, даже восемнадцати. Она выросла с памятью о тех страшных днях, превратившись под бременем своей быстротечной, угасшей славы в саморазрушительное, отталкивающее существо — наркоманку, алкоголичку, шлюху. Больше о ней никогда уже не будут писать в газетах и передавать по телевидению, она это знает, вся ее жизнь, начиная с полутора лет — одна беспрерывная спираль вниз. И что же ее ждет впереди? Она выйдет замуж за татуированного латиноамериканца на пятнадцать лет старше себя, барабанщика из рок-ансамбля, и — но дальше Рут так и не продвинулась. И теперь, перечитывая рукопись, просматривая свои заметки, она ощутила одно глухое отчаяние. Никуда не годный, дрянной замысел. И сама она дрянь. И дрянь весь этот дурацкий мир в духоте и мороси.

Она тяжело поднялась из-за стола и вышла на крыльцо. Было всего часов десять, ну, может, пол-одиннадцатого, хотя из-за этих обложных туч сразу и не разберешь. Интересно, принесет ли Оуэн ей обед? Здесь всякого повидали за многие годы, от нервных срывов и кулачных драк до инфарктов и всевозможных пьяных дебошей — такие уж люди художники, что с них взять? — но ничего подобного им, конечно, видеть не приходилось. Хиро Танака, отчаянный японский разбойник; Ла Дершовиц, его самоотверженная сообщница — или нет, вернее, покровительница; и цветная широкоэкранная массовка под рев механической стереомузыки; нападение грубой толпы! Чтобы расколотили, расстреляли студию, этого еще не бывало. Если не из-за чего другого, то уж за одно это о ней здесь будут помнить, пусть она даже не напишет больше ни слова. Много лет спустя, расположившись у стойки в баре, или отодвигая тарелку после ужина, или сгрудившись за «столом общения» вокруг кого-нибудь вновь прибывшего, вокруг какой-нибудь наивной простушки, они будут изумленно вздергивать брови и переглядываться, не веря своим ушам, а один из их среды, царица улья или царь джунглей, воскликнет: «Неужели вы не слышали о том, как изрешетили пулями студию «Харт Крейн»?!»

Так что обед ей Оуэн, конечно, принесет. Работа есть работа. Мало ли что случалось в «Танатопсисе»; то, что произошло теперь, останется в преданиях, но Септима никогда не допустит нарушения творческого режима, тем более — бесчинства толпы, покушений на убийство, анархии и хулиганства. Другое дело, что обед, принесенный Оуэном, некому будет есть. Рут слишком расстроена, взволнована, даже подавлена и работать сегодня не может. Да и, пожалуй, сейчас уже скоро одиннадцать, наверно, почта пришла. Лучше Рут пойдет не спеша в большой дом, поглядит, нет ли чего-нибудь для нее. Все равно не работается. Какая сегодня может быть работа, после всего. Любому понятно.

* * *

И действительно, ей пришло письмо. Даже целых два письма. Она заглянула в свою ячейку на почтовой доске в гардеробе, по привычке скользнув предварительно взглядом по другим отделениям — вон как набито у Лоры, у Ирвинга и даже у Джейн, а у нее, Рут, всегда такая вопиющая и унизительная пустота! Они получают

письма от издателей, агентов и редакторов, и высоколобые журналы, и оттиски рецензий, и отклики читателей. А Рут — ничего. (Одно время она даже подумывала насовать потолще бумаги в конверты и отправить на свое имя, но побоялась, что почтовые штемпели ее выдадут, по крайней мере — Оуэну. Почту разбирал он, и любой секрет, любая сплетня делалась в «Танатопсисе» общим достоянием; нравы ну просто как в джунглях! — и если такая вещь станет о ней известна, она уже никогда больше не сможет здесь показаться.)

Рут завидовала Лоре Гробиан — та получала письма от поклонников со всего света. Если Рут оказывалась у почтовой доски одна и никто не видел, она вынимала все ее письма и просматривала адреса на конвертах: какие штампы и экзотические названия, наклейки, марки! Она и Ирвингу тоже завидовала. И этой суке Джейн, хотя даже самой себе не решалась в этом признаться. Джейн, естественно, получала письма от издателей и гранки, а один раз ей даже пришло письмо из «Харперса», на ощупь и на вид подозрительно смахивавшее на уведомление о принятии к публикации какого-нибудь рассказа; не говоря уж об авиаписьмах на голубых бланках из Италии, поступавших по два-три раза на неделе. Сама же Рут, как правило, не получала ничего — и об этом, конечно, все знали. Шутили, должно быть, между собой: мол, кому охота ей писать? Своего издателя у нее нет. Агента тоже нет, нет и таинственного пылкого любовника-венецианца, который вместо адреса отправителя ставит только инициалы: «Ч. из В.»; и вообще она ни с кем не переписывается. Родная мать — и та ей не пишет.

И вдруг сегодня — сюрприз!

Она заметила торчащий из ее ячейки коричневый конверт, как только вошла. И сразу догадалась, что в нем: рукопись «Дневного огня, ночного пепла», возвращенная из «Атлантика». «Нью-Йоркер» вернул сразу, но Рут уговорила Ирвинга еще раз употребить свое имя и авторитет в поддержку ее творчества и возлагала на «Атлантик» большие надежды. Там продержали рукопись три недели. И вот пожалуйста, она опять у нее, точно мертвый альбатрос на шее [1], отказ в большом квадратном конверте. Опять она отвергнута миром! Рут схватила коричневый конверт, и тут на пол упало еще кое-что. Оказалось — открытка, глянцевая и соблазнительная, с изображением солнечного пляжа в Хуан-ле-Пэне. На обороте — шесть строк от Бетси Батлер, знакомой поэтессы из Айовы, печатающейся, пожалуй, даже меньше, чем Рут, и поэтому с ней еще можно по-прежнему поддерживать дружбу. Бетси сидит на пляже. У нее скоро должна выйти поэма в одном журнале, название которого Рут никогда не слышала. И прекрасно. Замечательно. Но там еще был постскриптум: слышала ли Рут новость? Насчет Эллиса Дайсика, который учился с ними в Айове. Его роман продан на аукционе за 250 000, право экранизации купила кинокомпания «Юниверсал», а книга поставлена первым номером в списке «Книги месяца за весенний сезон»; это уж слишком, верно? До скрежета сжав зубы, Рут мрачно вскрыла конверт из «Атлантика». Из конверта, как она и ожидала, выглянула ее слегка потрепанная рукопись. Бумажка с отказом, подписанная неразборчивой каракулей, кратко гласила: «Для нас слишком смачно. Попробуйте какой-нибудь порножурнал».

* * *

Остаток дня Рут провела в постели. Зализывала раны; страдала; рассеянно перелистала чешскую книжку, которую с интеллектуальным энтузиазмом рекомендовал Питер Ансерайн, многозначительно затрепетав браминскими ноздрями; и, погруженная в пучину отчаяния, съела целую двухфунтовую коробку шоколадного печенья. Сейчас очень не хватало Сакса, доброго старины Сакса, пылкого ее любовника, у которого в последнее время вся сексуальная энергия сублимировалась в охоте за карликовыми рыбками. В конце концов душевная тоска чуть было не пересилила в ней тяги к обществу и коктейлям. Однако она перебрала в памяти все, что было, начиная со своего публичного позора во внутреннем дворике и разоренной студии и кончая собственной победой во всей этой истории с Хиро, и это ее приободрило. Тут еще найдется чем попользоваться. Да к тому же сегодня день заезда, приедут новенькие, и пропустить такое событие ну просто никак нельзя. Рут полчаса накрашивалась, потом перерыла свой гардероб в поисках чего-нибудь

[1] Образ из поэмы Сэмюэла Тейлора Колриджа «Сказание о Старом Мореходе».

красного. И в час коктейлей спустилась по большой парадной лестнице, как королева на коронацию.

Первой, кого она увидела, оказалась Брай Салливан, она растерянно стояла посреди вестибюля, вся заваленная разномастными чемоданами. Рут была знакома с Брай по Бред-Лофской писательской конференции и относилась к ней всегда с симпатией — за то, как она беспомощно морщит губы и брови, во всех ситуациях оставаясь нескладной, неопытной дурехой, и за то, что, вроде Бетси Батлер, мало печатается и вряд ли когда будет печататься больше, если судить по студийным работам: у нее там действуют одни только человеческие головы без тел да говорящие единороги. И внешность у нее соответствующая: широкий гладкий лоб, крупные кисти рук и легкие волосы, разлетающиеся во все стороны, словно вокруг нее постоянно бушует своя маленькая буря.

— А, Брай! — Рут покровительственно протянула к ней ладони, с величавой грацией сходя по ступеням.

Ответный возглас Брай, начинающийся где-то между лаем и визгом, тут же переходит на высокие частоты, различимые лишь более восприимчивыми биологическими формами, смысл же его можно приблизительно передать словом «Рути!». И вот они уже заключили друг дружку в жаркие объятия — две сестры, разлученные безжалостной судьбой и наконец-то воссоединившиеся. Припали одна к другой, потом отодвинулись на вытянутую руку, чтобы, не разжимая объятий, окинуть друг друга оценивающим взглядом. Брай выглядела прекрасно, как вынуждена была признать Рут. Еще бы ей не прекрасно выглядеть, когда ей всего двадцать шесть лет.

— Ой, я без ума,— восторженно произносит Брай, обводя матово-серыми глазами вестибюль и мельком заглядывая в дверь гостиной, где любители коктейлей бережно склоняются над своими бокалами, и снова обращая взгляд на Рут.— Честное слово. Тут потрясающе шикарно, я даже и не думала...

— Да,— соглашается Рут, как бы принимая ее восторг на свой счет.— Здесь все по высшему разряду. Септима, ну, ты знаешь, мать моего друга Сакса, она содержит дом на уровне, это уж точно. Тут умеют делать все для вашего удобства. Одна кормежка чего стоит! — Рут с пониманием дела сложила в щепоть пальцы.

Брай угостила ее откровенно восторженным взглядом и с чистосердечной радостью призналась, как пролаяла:

— Ой, до чего я рада, что ты здесь! Я ведь думала, что буду здесь единственная... Единственная изо всех...

Единственная — кто? Рут не поняла. Говорящая голова без тела? Или единственная белобрысая дурочка? Или единственная только-только начинающая писательница? Может, в ее словах содержится оскорбительный намек на то, что она ожидала найти здесь только Гробиан, и Ансерайна, и Кляйншмидт, и Таламуса, одних знаменитостей и помазанников Божьих, а оказывается, есть и простолюдины, и Рут — одна из них? Не лучше ее самой? Рут почувствовала, что у нее горят уши.

Брай не договорила, а только проверещала что-то невразумительное и в заключение повторила:

— Ой, Рути, как я рада тебя видеть!

После чего опять последовали обязательные объятия, хоть и чуть менее жаркие, и Рут ввела Брай в бар.

У стойки она представила вновь прибывшую Регине, Сэнди, Айне и Бобу, и каждому из них достался в ответ взгляд, исполненный такого трепета и обожания, словно это и не они вовсе, а Сэлинджер, Невельсон, Уэлти и Эшбери. После этого Брай принялась допекать их вместе и порознь самыми банальными личными вопросами, кончая совершенно запретным: «А над чем вы сейчас работаете?»

Рут только слушала и улыбалась, переглядываясь с ними и время от времени сочувственно пожимая плечами. Она же здесь общепризнанная королева все-таки, во всяком случае была до выхода на сцену новой претендентки Джейн Шайн. А где она сейчас, знаменитая Шайн, со своими испанскими волосами и фальшивой улыбкой? Подавилась маринованным трюфелем у себя в апартаментах? Или поехала кататься со своим нордическим рабом? Неважно. Осенив появившуюся среди них Брай собственным высоким покровительством — если Брай приемлема в глазах самой Ла Дершовиц, значит, она приемлема вообще, и точка,— Рут чувствовала себя всемилостивой благодетельницей: пустяки, пустяки, пожалуйста. Мне это ничего не стоит.

Она немного переждала. (— А вы тоже Скорпион? — наседала Брай на Айну, сидя с ней плечом к плечу и смешивая свои разметанные волосы с ее.) А затем взяла ее за локоть и сказала:

— Тебе надо распаковать вещи. Я позову Оуэна. Если только ты не хочешь сперва,— маленькая пауза, невзначай, словно зевок,— познакомиться с Ирвингом Таламусом?

Брай выступала в телевикторинах, заняла второе место в конкурсе «Мисс Америка», выигрывала в лотерею, сорвала один раз банк в Лас-Вегасе. Но вопль изумления и восторга, который она издала в ответ, взвился прямо за пределы слышимости, и Сэнди, Айна и Боб обменялись снисходительными улыбками, словно умиляясь на ребенка или щенка; а панк-скульпторша Регина смотрела исподлобья.

— Правда-правда? — переспросила Брай, когда смогла перевести дух.— Сам Ирвинг Таламус? Он тоже здесь?

Рут подвела ее к креслу, в котором, отвалясь, сидел Ирвинг, держа в руке стакан с двойной порцией водки, а на коленях номер литературного журнала, целиком посвященный его творчеству. Увлекательное чтение. Ирвинг был поглощен и ничего не замечал вокруг из-под мохнатых бровей патриарха и крохотных очечков для чтения, сидящих на самом кончике носа. Он осчастливил девушек улыбкой, и когда Брай кончила выражать восторги (вот-вот описается и будет кататься по полу), Таламус включил на всю катушку свое знаменитое обаяние и угостил их глубоким и подробным анализом достоинств и недостатков, присущих критикам, которые были уполномочены почтить его, Таламуса, на страницах журнала.

Рут взяла для Брай «калистогу», а себе — виски и сидела от Ирвинга по правую руку, слушая, как он проезжается насчет некоего Мориса Розеншвейга из университета Тафта, вкладывая в свою речь столько изящества, юмора и скромной самоиронии, как будто он действительно все еще писатель с большим будущим. Рут смотрела, слушала и не могла не отдать должное его актерству.

Потом была очередь Клары и Патси, за ними — кое-какая мелкая сошка, встретившаяся в дверях, когда Рут вела Брай в бар. И наконец, Лора Гробиан. Лора, как всегда, сидела одна в дальнем углу, и свет настольной лампы на ее столе отражался в стоящем рядом бокале с хересом. Перед Лорой лежал блокнот — с блокнотом она никогда не расставалась, с ума сойти! — и она, низко склонив голову, что-то писала.

— Лора,— обратилась к ней Рут ровным дружеским панибратским тоном,— позволь познакомить тебя с Брай Салливан, новым членом нашей колонии.

Лора подняла на них глаза из-под прославленной черной челки, и Рут прямо вздрогнула. Она выглядела ужасно. Ввалившиеся щеки, затуманенный взгляд, как будто она тайно пьянствовала в одиночку, как будто вела бездомную жизнь, как будто она призрак, восставший из могилы. *«Рак,*— вспыхнуло слово у Рут в мозгу — *неоперабельная опухоль. Два месяца осталось. Три»*. Но тут Лора улыбнулась и стала прежней — царственной, недоступной, бесплотной красавицей средних лет с жадными очами и потрясающе эффектными скулами. Она протянула руку Брай и сказала:

— Очень рада видеть тебя в наших рядах.

Брай напряглась, развела плечи, сдула волосы с лица. Набиралась духу сказать что-то. Лора недоуменно моргнула, и тут, наконец, плотину прорвало:

— Для меня такая честь,— запричитала Брай, но не сладила с голосом, он у нее взвился кверху и задрожал от преклонения и восторга.— Ну, то есть у меня нет слов! Правда-правда! Вот, например, трилогия «Свет в окне», я как прочитала ее, так больше ничего читать не могла несколько лет... Я, мне кажется, всю ее наизусть знаю, каждое словечко... И я... я... это просто с ума можно сойти, такая честь, я даже не знаю...

— Вы знаете историю Масады? — вдруг спросила Лора, заглянув в блокнот и снова подняв глаза на Рут и Брай.— Ну, ты-то, Рут, конечно, знаешь?

Масада? О чем это она? Экзаменует, что ли?

— Это где евреи поубивали себя?

— Семьдесят третий год до нашей эры, пятнадцатое апреля. Массовое самоубийство. Я как раз читала об этом. И о Джонстауне. И про японцев на Сайпане и Окинаве. Про Сайпан вы слышали? Женщины и дети прыгали с обрывов, взрезали себе животы, пили бензин и цианид...

Лорин голос звучал ровно, сипловато, обтекая острые края экзотической погибели.

Брай сдула с лица прядь волос, переложила рюмку из одной руки в другую; она явно растерялась. Но и Рут тоже растерялась, странный какой-то разговор, не обычная болтовня за коктейлями, не сплетни, не шуточки, не обсуждение дел издательских, а что-то мрачное, беспросветное. Не удивительно, что Лора всегда сидит одна, и не удивительно, что вид у нее, можно сказать, полуживой.

— Ужас какой-то,— произнесла наконец Рут и переглянулась с Брай.

— Ожидалась высадка американской морской пехоты, и гражданское население оставили на произвол судьбы. А слухи ходили, что для поступления в морскую пехоту надо зарезать собственных родителей. Можете вообразить? Это они так нас себе представляли. Японцы — мирные жители, женщины, дети — бросались с обрыва в море, чтобы только не попасть в лапы таким чудовищам.

Рут молчала. Она нервно отпила глоток от своего второго «бурбона» — или это был уже третий? К чему Лора клонит?

— Я читала рассказ на эту тему,— объявила Брай, устроившись на подлокотнике кресла против Лоры,— вроде бы люди на самом деле наподобие леммингов. Мне даже кажется, он так и назывался: «Лемминги». Ну да, точно, кажется, так.

— Именно.— Лора Гробиан не сводила с них одержимого, даже, пожалуй, сказала бы теперь Рут, чуточку сумасшедшего взора.— Массовая истерия,— нажимая на шипящие, продолжала Лора.— Массовое самоубийство. Женщина становится на краю обрыва, к груди прижат младенец, сбоку — ребенок пяти лет. Слева и справа от нее люди уже прыгают вниз, плача и визжа. Все ее инстинкты восстают, но она сталкивает сначала пятилетнего, и он летит, неокрепшими ручками и ножками цепляясь за воздух, а потом и сама прыгает за ним следом в пропасть. И все потому, что они считали нас чудовищами.

У Рут был сегодня день, полный переживаний: студия разорена, труды все — псу под хвост, задуманный рассказ никогда не будет написан, а сколько волнений в связи с побегом Хиро и звонком Сакса, не говоря уж о вчерашней сцене во внутреннем дворике — так что ничего такого она сейчас больше слышать не может, хоть бы и от самой Лоры Гробиан. А как отвязаться? Минута неловкости затянулась, и Рут, не сдержавшись, задала запретный вопрос:

— А ты пишешь эссе? Или новый роман?

Лора ответила не сразу, Рут уже думала, что ее не услышали. Но потом все-таки невнятно, словно бы издалека, прозвучало в ответ:

— Да нет, не то чтобы пишу... Но эта тема меня... я бы сказала... занимает...

Она тут же словно бы опомнилась, пожала плечами и взяла со стола за ножку бокал с хересом.

Вот и удобный момент для того, чтобы уйти. Рут уже размышляла о том, как бы это можно было описать — рок и мрак Лоры Гробиан; вот только хватит ли смелости? — но в это время гул разговоров стих, и все головы повернулись к двери. Появились еще двое новоприбывших. Оба сразу. Вместе.

Рут увидела, как Брай вглядывается, ожидая явления новых небожителей, но вдруг лоб ее наморщился и губы сложились в слова:

— Но ведь это...

— Орландо Сизерс,— кивнула Рут.

Ошибки быть не могло. Рут хотя и не имела прежде случая с ним познакомиться, но видела фотографии. Мужчина лет шестидесяти, чернокожий, с бородкой, передвигающийся в инвалидном кресле. В нем он сидел и сейчас. Во время университетских беспорядков шестидесятых годов он получил увечье, повздорив со студентом, который требовал, чтобы его пропустили на занятия. Это было, помнится, в Нью-Йоркском университете, на лестнице. До несчастного случая Сизерс писал меланхолические белые стихи в блюзово-джазовых ритмах и пламенные полемические статьи, так что его даже сравнивали с Джеймсом Болдуином и Элдриджем Кливером; а с тех пор переключился на секстины и пользующиеся бешеным успехом комедии нравов из жизни аристократов в Верхнем Ист-Сайде.

— И с ним?..— вопросительно протянула Брай, вся сощурившись до неузнаваемости.

— Миньонетта Тейтельбом.

С ней Рут тоже не была знакома, хотя знала от Септимы, что она ожидается вместе с Орландо Сизерсом,— «Говорят, они совершенно неразлучны»,—но наслышана о ней, конечно, была. Тейтельбом — Ла Тейтельбом, это само собой — была высоченная, что твой гренадер, шести футов трех дюймов ростом, плоскостопая, плоскогрудая и плоскозадая дама на тридцать лет моложе Сизерса. Выпустила два сборника минималистской прозы, где местом действия служит лесная глушь Кентукки, хотя сама авторша родилась и выросла в Нью-Йорке, на Манхэттене, училась в «Барнарде» и в «Колумбии» и почти всю взрослую жизнь прожила в Европе. По слухам, они познакомились в дансинге в Нью-Йоркском артистическом квартале Сохо.

Живописная чета медлила у порога, покуда не вскочил Ирвинг Таламус и с оглушительным ревом: «Орландо! Миньонетта!» — бросился их обнимать. Гул голосов возобновился. Брай, ошалев от восторга, сделала несколько лунатических шагов, влекомая к триумвирату обнимающихся львов. Тут Лора Гробиан выбросила руку и ухватила Рут за локоть. Брай это заметила и сразу остановилась. Рут посмотрела на Лору еще без испуга, но с опаской, как бы та снова не затеяла допрашивать ее про Масаду и последние драгоценные минуты в баре не ушли впустую.

— Рут,— произнесла Лора, не сводя с ее лица бездонного взгляда,— увидимся сегодня после ужина?

— Конечно,— бодро ответила Рут, хотя земля у нее под ногами неприятно качнулась. Да, конечно, она с Лорой Гробиан на короткой ноге, это все могли видеть. Но теперь-то что Лоре от нее надо?

Лора смотрела на нее снизу вверх и улыбалась так, будто они только что проделали вдвоем кругосветное путешествие под парусом.

— На вечере Джейн. Джейн Шайн сегодня читает свое. Ты не забыла?

Тут же, услышав имя Джейн, подскочила и Брай.

— Джейн Шайн? — с придыханием повторила она, нависая над ними, словно ей сейчас открылось одно из тайных имен Иеговы.— И она тоже здесь?

Плиты земной коры задрожали и со всей тектонической мощью столкнулись. Рут, теряя равновесие, смогла только кивнуть.

— Ой, Руги! — Брай перевела безумный взгляд с Рут на Лору и обратно,— ты с ней знакома?

Где дрожит земля

Огромное, первозданное, бездонное, неодолимое, родина гремучих змей, ядовитых щитомордников и пиявок, мать растительности, отец комаров и душа ила, Окефенокское болото — всем болотам болото, великая топь легенд, народной памяти и Голливуда. Оно дает начало двум рекам, Сент-Мэрис и Сувонни, и покрывает в общей сложности добрых четыреста тридцать тысяч мокрых, как губка, акров густейших, беспросветных зеленых зарослей. Четыреста тридцать тысяч акров жалящих, зудящих, кровососущих насекомых, непролазных камышей, кипарисов, туи, пальметто, карибской сосны и торфа, гнили, слизи, грязи, жижи. Здесь все киснет, гниет, размокает, разлагается. Здесь водится двести двадцать пять видов пернатых, сорок три вида млекопитающих, пятьдесят восемь — рептилий, тридцать два — земноводных и тридцать четыре — рыб, и у всех — когти, клешни, клювы, зубы, жала и клыки, не говоря о несметных тучах комаров, оводов и мошек, клещей, глистов и инфузорий, существующих только для того, чтобы умножать горечь жизни. Есть тут аллигаторы, медведи, пумы, рыси и окуни-пираты, черепахи каймановые и обыкновенные, опоссумы, еноты и сарганы. Все они едят друг друга, писают и какают на деревьях, в тине и на песке и на плавучих торфяных островках, истекают слизью, откладывают яйца, чешутся, воняют, нюхают себя, гогочут, гудят, верещат каждую минуту весь день и всю ночь напролет, и гомон стоит, словно в каком-то адском зоопарке.

«Осушим болота» — было провозглашено в эпоху, когда надежды возлагали на технику. Попробовали. В 1889 капитан Гарри Джексон, человек идеи, основал компанию «Канал Сувонни» с тем, чтобы провести дренажные работы и откачать из болот воду вместе с пиявками, аллигаторами, змеями, черепахами, лягушками

и усатыми сомами и отдать вновь образованную плодородную сушу под сельское хозяйство. Он собрал кое-какие средства, ввез полдюжины исполинских дренажных паровых агрегатов, способных рыть канавы в сорок пять футов шириной и шесть футов глубиной со скоростью сорок четыре фута в сутки. Построил лесопилку, чтобы поставлять дрова для паровых агрегатов, а также на продажу, и приступил к круглосуточным дренажным работам. Но чем больше они рыли, тем больше набиралось воды. Однако капитан Джексон не отступался и продолжал прокладывать канавы со скоростью три мили в год. Да только беда в том, что по всем расчетам, чтобы эффективно осушить Окефенокские болота, требовалось триста миль дренажных канав, а даже человек идеи, и тот едва ли мог бы дожить до ста сорока лет. Капитан Гарри Джексон не дожил. Он скончался в 1895 году, оставив небольшую ранку в боку непобедимого болота, и эта ранка наполнилась водой, словно кровью. Агрегаты проржавели и затонули, лесопилка развалилась. И листья, лианы и молодые деревца сомкнулись над бывшим местом работ.

Но если не удалось ликвидировать топи Окефеноки, можно, по крайней мере, их использовать. И появилась компания по лесодобыче. Через все болото прямо до девственных кипарисовых рощ протянули на высоких опорах железнодорожную линию длиной в двести миль, на острове Билли построили поселок с отелем, универсальным магазином и телефонной подстанцией, осуществлявшей связь с внешним миром. С 1909-го по 1927-ой годы над болотами стоял оглушительный вой многих пил. Однако свели кипарисовые рощи — и исчезли лесопромышленники. Железнодорожные составы возвратились в лоно цивилизации, опоры обрушились, отель, магазин и даже телефонная линия исчезли, будто цирковые декорации или мираж, и через десять лет ничто уже на напоминало о том, что на острове Билли когда-то был поселок, только ржавые остовы никому не нужных машин прятались в высокой траве.

В 1937 году федеральное правительство приняло единственно разумное решение — объявило болото заповедником дикой природы и в ходе его организации извело всех бродяг, браконьеров, охотников за аллигаторами и самогонщиков, а также последних доживавших здесь диких индейцев заодно с беглецами от цивилизации, нашедшими пристанище на этом краю земли. И Окефеноки стало убежищем для любой мельчайшей твари, которая плавает, летает или пресмыкается на брюхе, но перестало давать приют потравщикам и нарушителям законов. Уровень воды поднялся, деревья заматерели, камыши и болотные травы разрослись, в тине резвились и размножались аллигаторы, и вечная, непобедимая первобытная жизнь восторжествовала.

* * *

Ничего этого Хиро, разумеется, не знал. Он знал только багажник «мерседеса», знал свои ободранные лодыжки, и затекшие суставы, и тошноту; да под конец сообразил, что невидимый водитель, крутящий баранку то так, то эдак, будто пьяный, и есть не кто иной, как сам *маслоед поганый*, сам *длинноносый*, его злой рок и соперник в любви, здоровенный, волосатый *бойфуренд* Рут..,— и думал только о миге освобождения.

О, как он ждал этого мига при каждом повороте, каждом заносе, каждом подскоке автомобиля, при каждом зигзаге и визге колес, и всю долгую знойную ночь в мотеле — да, это был мотель: слышно было, как подъезжают и отъезжают машины, хлопают дверцы, переговариваются люди. Когда все затихло, он попытался проломить стенку багажника и проникнуть в салон, но было слишком тесно, не развернешься, да и стенка не поддавалась — прочная, немцы мастерили на совесть. И он лежал, терпя боль, стараясь растереть схваченные судорогой мышцы и настойчиво, сосредоточенно вдыхая и выдыхая душный воздух,— он ждал, как самурай, как Дзётё, как Мисима, как японец, ждал мгновенья, когда ключ войдет в замок.

Миг настал, и Хиро был готов. Усталый, истерзанный, изголодавшийся по воздуху и свету, кипящий медленной, неутолимой яростью за все свои обиды и страдания, за наглый обман с Городом Братской Любви и утрату Рут, он был готов, готов ко всему. Но когда наконец ключ повернулся в замке и крышка багажника поднялась, словно крышка гроба, взрыв света ослепил его, и он замешкался. Загородившись ладонью от света и сощурившись, взглянул он в нависшее над

ним лицо, знакомое, недоумевающее, потрясенное лицо *бойфуренда*. Но этого было достаточно. Остальное делается механически, как работает двигатель, обеспечивающий биение сердца, и накачивается кровь в сосуды.

Он выпрыгнул, воспользовавшись замешательством противника. Но пустить в ход приемы карате, старательно выученные по чертежам в журнале о боевых искусствах, вцепиться, подсечь ногой, ткнуть пальцем в глаз — ничего этого не понадобилось: *бойфуренд* с перепугу шлепнулся на спину, глаза выпучил — взгляд человека беспомощного и страдающего запорами. Ну и прекрасно. Отлично. Хиро, было занявший воинственную стойку — пригнувшись, колени полусогнуты,— выпрямился, быстро осмотрелся. И вот тут-то, словно пощечина, пришло еще одно неожиданное открытие: оказывается, кругом, куда ни глянь — только вода, топь, лианы и кустарники, бескрайняя, зловонная, дикая Америка, будь она проклята. Но ведь не может же этого быть! Неужели вся эта несчастная страна — одно сплошное гнилое болото? А где же супермаркеты, кондоминиумы, шоппинг-молы и тату-ировочные салоны? Где синие горы и широкие пространства? Неужели не мог *поганый маслоед* отпереть багажник возле «Макдональдса» или «Сэкс Фифт авеню» [1]? Почему обязательно здесь? Зачем эти деревья, и листья водяных лилий, и вся эта разлагающаяся американская выгребная яма? Может быть, над ним кто-то вздумал пошло пошутить?

Никто не шевелился. Хиро замер, завис на грани между бегством и пленением, *бойфуренд*, ошалевший, сидел на земле, а его сообщник стоял по колено в тине, недоуменно разинув рот. Хиро мог бы рвануть в обход *бойфуренда* по узкой полосе суши, но дальше за ним было еще много *поганых маслоедов*, легионы с удилищами, пикапами и лодками на прицепах, и выражение вражды, брезгливости и высокомерия уже, конечно, появилось в их глазах. Выбора не было: замешкаешься, и ты труп. Три быстрых шага, разбег, прыжок — и Хиро в своей стихии, в воде, опять в воде, к которой он привык, в которой он как дома, по-дельфиньи стремительный, ловкий и обтекаемый. Все это уже один раз было.

Но теперь вода не соленая, а какая-то мыльная, грязная, пузырящаяся, вроде тех помоев, что сливают в канаву, когда помылась вся деревня. Хиро выкидывал вперед руку, разбивая ряску и зеленую болотную пену, торопясь достичь противоположного берега заводи, прежде чем все эти рыбаки опомнятся и, побросав снасти, заведут моторы своих тупоносых болотных лодок. Вот и берег. Но это оказалась вовсе не земля, а что-то другое, оно вибрировало под ногами, наподобие батута, между тем как позади уже поднялся знакомый гомон, и взревели подвесные лодочные моторы, будто хищники, бросающиеся на жертву. Неважно: он от них ушел.

Да, но дальше-то что? Если ему на острове не нравилось, осточертели там все эти трясины, и комары, и непросыхающая одежда, то уж тут, на ихней большой земле, и вовсе настоящий ад. Хиро продирался сквозь кустарник, удаляясь от криков и рева моторов, раздирал пальцами переплетенные побеги, и не видно всему этому ни конца, ни края, ни намека на передышку, некуда ногу поставить, нет опоры, чтобы выкарабкаться из грязи. Вода где по колено, где по пояс, где с головкой, да еще вместо дна — ил чуть не до паха, он засасывает, тянет вниз. Хиро бьется, вырывается и с каждым взмахом погружается все глубже. «Бесславная гибель»,— говорит он себе и, обращаясь к заветам Дзётё, раздувает живот; но все равно продолжает погружаться. Наконец, когда мускулы совсем онемели от усталости, хватая ртом душный, черный от комаров воздух, он все же умудрился выдраться из топи и подтянуться на скользкое, костлявое колено изогнутого дерева, которое высилось перед ним, подобно гранитному столпу.

Он растянулся на пологом стволе и лежал, тяжело дыша, не в силах даже согнать мошкару с лица, а вокруг высились замшелые бородатые деревья и застили утренний свет, так что казалось, будто настала ночь. Болото! Он опять угодил в болото! Да еще такое огромное, что в него уйдут без остатка и домик Рут, и вилла Эмбли Вустер, и большой дом, и все лужи и лужицы, какими изобилует остров Тьюпело. Вот дрянь, думал Хиро, со свистом втягивая воздух. *Бакаяро*. Сволочь. Он чувствовал себя как скалолаз, который с мучительным трудом, дюйм за дюймом, взобрался по отвесной каменной стене, и оказалось, что за ней возвышается другая, еще выше этой. Что с ним случилось? Как он сюда попал? Долго, бабушка,

[1] Очень дорогой нью-йоркский универсальный магазин.

Тиба и Угорь — теперь это были лишь полузабытые лица. А вот Рут он видел перед собой отчетливо, с фотографической резкостью, видел во всех перевоплощениях: стройной белоногой секретаршей, женщиной, полной соблазна, любовницей, покровительницей, тюремщицей. Она давала Хиро еду и постель, и губы свои, и ноги, и собиралась переправить его на большую землю — не сюда, где все гниет и воняет, где природа обезумела, а на большую землю с городами, улицами и магазинами, где чистокровные и полукровки ходят рука об руку.

И тут его, вырвавшегося на свободу из багажника и снова очутившегося в болоте, настигла мысль, от которой он похолодел. Уже двое суток, с того момента, как они, льдистоглазые, со своими ружьями и собаками, выследили его, и когда он потом сбежал из их темницы; и все часы тупого распирания, что он провел похороненный в «мерседесе»,— все это время в голове у него вертелся один немыслимый вопрос: «Кто меня предал?» И в развитие первого — не менее болезненный вопрос-уточнение: «Кто знал, что я прячусь в лесном домике?» Теперь пришел ответ, один на оба вопроса, четкий, звучный и односложный: *Рут.*

* * *

Когда работаешь веслом, опускаешь лопасть вертикально в воду, одним быстрым движением кисти поворачиваешь, выдергиваешь, а вторая лопасть уходит под воду — во всем этот есть ритм и координация и возможность совершенства, и это очень приятно. Приятно и ловко. Экономично. Гребля и сохраняет, и наращивает силы — не в пример этим идиотам на моторках, принимающим участие в организованных походах. Такая нагрузочка на плечи и трицепсы. А тихо как! Воображаешь себя индейцем-семинолом или криком, подкрадывающимся к аллигатору, или ибису, или даже к кому-нибудь из бледнолицых, которые вытеснили твое племя в болота во времена Кривоногого Билли.

Джеф Джефкоут плыл по водам своей мечты. Еще мальчишкой в Патнем-Вэлли, штат Нью-Йорк, он грезил о том, как совершит путешествие через самое большое болото Америки, столкнется с опасностями, откроет для себя чудеса, увидит аллигатора, мокнущего на мелководье, и птицу-змеешейку на гнезде, и змею-щитомордника, свернувшуюся на ветке смертельно ядовитым запретным знаком. И вот он здесь — ему тридцать восемь лет, он недавно переехал в Атланту работать в лаборатории по расцвечиванию старых фильмов на студии Ти-би-эс, жена его Джули сидит в середине лодки на подушке, а сын Джеф-младший на носу работает вторым веслом. Мечта сбылась. Они плывут, и за каждым поворотом открывается что-то новое и поразительное. Жарко, конечно, это приходится признать, и комарье свирепствует, несмотря на репеллент, который щиплет глаза, разъедает углы рта и капает с носа вместе с обильным потом. Но что все эти мелкие неприятности в сравнении с возможностью своими глазами увидеть в природных условиях охотящегося аллигатора в полтораста фунтов весом, с толстым брюхом, круглым, что твой коктейльный столик, или легендарную черную пуму, или редчайшую из редкостей — белоклювого дятла?

— Пап,— вдруг сдавленным шепотом разведчика окликнул его Джефи-маленький; сразу насторожилась Джули, и сам Джеф принялся всматриваться в заросли тростника впереди по курсу.— Пап, направление — одиннадцать часов, расстояние — тридцать ярдов, примерно.

— Что там? — заволновалась Джули, хватаясь за бинокль. На ней была сетка от комаров, шорты с фруктовым рисунком и пробковый колониальный шлем, шуточный подарок Джефа. Она воодушевилась не меньше его.

А у Джефа душа взыграла. Вот это жизнь! С настоящими приключениями, какие на каждом шагу, каждый миг поджидают путешественников-первооткрывателей!

— Джефи, что ты видишь?

— Какой-то...

— Тс-с-с! Тише. Спугнешь.

Еле слышным шепотом:

— Кто-то большой. Гляди, вон там, где кусты кончаются.

— Где-где? — Джули прижала к глазам бинокль.— Я ничего не вижу.

Джеф чуть-чуть придержал в воде весло; байдарка скользила вперед уже по

инерции. Не иначе как аллигатор, они тут кишмя кишат. Джефкоуты только вчера вышли в плаванье, и прошел целый час, пока они увидели первого аллигатора — так, недомерок, фута в два, если не меньше,— но все-таки это было потрясающе! Они с полчаса просидели, затаившись, в лодке, не сводили с него глаз, а он лежал в воде, как неживой, как упавший древесный ствол, как растущие вокруг кипарисы. На него одного у Джефа ушло почти две пленки, а чего было снимать? Все одно и то же: аллигатор в тине. Увлекся. Позже, когда аллигаторы стали попадаться на каждом шагу — что твои пудели в городском парке, Джефкоуты уже так на них насмотрелись, что Джеф-младший даже сделал одну порядочную глупость. Здоровенный аллигатор, футов в десять, а то и все двенадцать, подплыл к байдарке, когда они сидели и ели сандвичи с авокадо и куриной грудкой, приготовленные Джули накануне, и юный Джеф со скуки ли, из равнодушия, или это просто была мальчишеская шалость, но он принялся бросать в воду куски хлеба и салатные листья, а гигантское земноводное их подхватывало. И это бы ничего. Но фамильярность приводит к неуважению, как говорил когда-то отец Джефа. Джефи вдруг возьми да и запусти в чудовище яблоком. Со всей силы. А он неплохо бросал мячи в бейсбол, этого у него не отнимешь — краса и гордость своей команды в Малышовой Лиге. Яблоко угодило аллигатору точно между глаз — и что тут началось! Чудище выпрыгнуло из воды и плюхнулось обратно, подняв тучу брызг, как плохой прыгун с вышки, а затем исчезло, так сильно раскачав байдарку, что вода захлестнула через борт и промочила кофр с фотоаппаратом, корзинку с едой и рюкзак Джефи. Опасная была минута, и Джеф-младший до того расстроился — глаза вытаращил, плечи вздрагивают,— что папа Джеф даже отложил нотацию на вечер, когда станут лагерем.

Но теперь они шли на сближение, хотя кто это там, было неясно — кто-то плескался впереди в камышах. Джефи вдруг закричал:

— Медведь! Большой и вроде коричневый!

Медведь! У Джефа захолонуло сердце: медведь может наброситься, перевернуть байдарку, а их отдать на пожрание змеям, аллигаторам и кальмаровым черепахам. Джеф отчаянно затабанил, не отрывая глаз от зеленеющих впереди зарослей — вон, вон мелькнуло коричневое, камыши ходуном ходят, всплеск, еще всплеск!..

Но оказалось в конце концов, что это не медведь — то-то смеху потом было, а всего лишь пара выдр. Выдры, надо же!

— О, Господи! — переводя дух, вся бледная, произнесла Джули.— Ну, и напугал же ты меня, Джефи, прямо чуть не до смерти.

И уронила бинокль себе на колени.

Выдры поднырнули под байдарку, всплыли с другой стороны и выставили головы, глядя на них с любопытством.

Щенята, вот на кого они смахивают, подумал Джеф. Гладкие, игривые щенята. Они сразу же приняли лодку в игру, резвились, вертелись вокруг, Джефкоуты наблюдали их целые полчаса, покуда Джеф не опомнился и посмотрел на часы. Пришлось двигаться дальше.

У них было строгое расписание, и требовалось его неукоснительно придерживаться. Джеф записался в этот лодочный поход заранее, за целый год, как только получил от Тернера подтверждение и объявил о продаже дома. В болото с ночевкой допускалось одновременно не больше шести лодок, и желающих на эти шесть мест было множество. Каждая группа получала определенный, точно расписанный маршрут, и к шести часам полагалось становиться лагерем на специальной платформе для ночлега, охрана закрывала доступ на территорию заповедника, а все рыболовы, наблюдатели за птицами и другие дневные посетители должны были вернуться на базу. В брошюрах, отпечатанных администрацией заповедника, разъяснялось, что это правило — после шести вечера все весла из воды вон, все ночующие на платформы — имеет целью благо самих же туристов. Здесь ведь много всяких опасностей: и аллигаторы, и гремучие змеи, и щитомордники, и коралловые змейки — как подумаешь, дух захватывает, но будучи человеком рассудительным и пунктуальным, Джеф не любил сюрпризов и всегда очень точно исполнял законы, даже на шоссе упрямо трюхал со скоростью пятьдесят пять миль, а многосильные седаны и спортивные японские марки проносились мимо, будто он просто стоит на месте посреди проезжей части.

Администрация заповедника предоставляла им по восемь часов на то, чтобы добраться от платформы до платформы, так что времени было вдоволь и на то, чтобы насмотреться, и чтобы побездельничать в свое удовольствие; но с этими выдрами они слишком промедлили, и близился заветный срок. Джеф подналег на весло.

Было уже без четверти шесть, и у Джефа на душе начинало припекать: может, где-то свернули не туда? — но тут Джефи подал голос:

— Вижу, вижу! Прямо по курсу!

И действительно, впереди показалась высокая платформа, где назначена их вторая ночевка. Из сплошной стены зелени выступили замшелые столбы-опоры и простой навес, с него, громко хлопая крыльями, поднялась в воздух большая голубая цапля. Приехали. Байдарка скользнула по воде, позолоченной закатным светом, и пристала к платформе. Как и вчерашняя, она имела площадь футов в триста и крышу из старого теса и возвышалась над уровнем болотных вод всего на каких-нибудь три фута. Удобства здесь состояли из химического туалета, угольной жаровни и журнала наблюдений, куда каждый ночующий обязан внести дату и час своего прибытия и отбытия. Джеф-младший и Джули придерживали лодку, пока папа Джеф, вскарабкавшись на платформу, зорко осматривал все щели — нет ли каких змей, ящериц и прочих тварей, способных ползать, лазить и пресмыкаться. Накануне вечером Джули издала такой вопль, что в Атланте, наверно, слышали: со стропил в миску с картофельным салатом плюхнулся мексиканский полоз, взвился, вылетел на пол и метнулся с платформы в ряску. Второй раз надо уж быть начеку. Джеф исследовал все самым тщательным образом, осмотрел крышу и настил с исподу, в каждую ямку, в каждый уголок потыкал палкой. А после этого обратился к журналу наблюдений. Последними перед ними здесь ночевали Мердоки из Чилтонберри, штат Арканзас. И в графе «Замечания» оставили запись: «Адское комарье». Перед ними были Аузелы из Софт-Споука, Виргиния, эти только отметили: «Красивые звезды». А вот — запись строчкой выше Аузелов привлекла внимание Джефа: некто, подписавшийся только именем «Фриц», мелко-мелко, тесня буковку на буковку, так что трудно разобрать, оставил следующее соображение: «Четырнадцатифутовый аллигатор способен взобраться на платформу». И слово «способен» три раза подчеркнуто.

— Джеф, ты что так долго? Мне надо в дамскую комнату.

— Ага, сейчас,— рассеянно отозвался Джеф. Он размышлял над тем, стоит ли рассказывать об акробатических достижениях аллигаторов, и решил, что лучше отложить на после ужина, когда они все трое улягутся спать.

— Путь свободен,— коротко объявил он.

Джеф развел огонь на настоящих дубовых угольных брикетах, закупленных в Атланте. Джули достала из сумки-холодильника три здоровенных куска вырезки. Пока жарились на углях бифштексы, муж и жена выпили на двоих банку пива, а Джеф-младший получил колу. Мясо источало головокружительный запах, он на время перебил гнилые болотные испаренья и сбил с толку комаров. Позади платформы было мелко, наверно, всего по щиколотку, а вот с передней стороны образовалась внушительная продолговатая заводь, не иначе как аллигаторы здесь бултыхаются, и Джеф то и дело поглядывал: не появился ли предприимчивый земноводный хищник, питающий пристрастие к недожаренным бифштексам? Джефи достал удочку, однако Джеф и Джули сказали, что сначала ему следует поупражняться на кларнете, они оба считали, что человек должен быть развит всесторонне, вроде шара, и хотя Джефу-младшему было всего десять лет, они уже подумывали о поступлении в институт,— и потому, пока поспевал ужин и Джеф-старший взбалтывал согревшееся пиво в походной пластиковой кружке, над топью, рощами и водной гладью поплыли тоскливые мелодии Карла Нильсена, внося в безалаберный щебет птиц и древесных лягушек свою тоненькую четкую ноту.

После ужина стали собираться тучи, и Джеф для защиты от ветра растянул брезент между столбами с юго-восточной стороны, где уже начали раздирать небо молнии и слышалось дальнее диспептическое урчание грома. Потом он поджег охапку соснового лапника, предусмотрительно набранную еще днем, и они всей семьей уселись вокруг огня — запекать пастилу, бить комаров и рассказывать истории.

— Ну-с,— начал Джеф под хлопанье брезента, сидя рядом с Джули и глядя

на завивающийся столбик дыма,— вам известно, почему это болото называется Окефеноки?

— Да ладно тебе, па, ты уж раз пятьсот это объяснял.

— Джефи, не смей разговаривать с папой таким тоном!

— ...то есть дрожащая земля, что очень важно для рассказа, который вы сейчас услышите, трагического и даже, я бы сказал, жуткого...— Джеф сделал паузу, чтобы зловещие эпитеты произвели на слушателей должное впечатление; урчание грома заметно приблизилось.— Это будет рассказ о Кривоногом Билли, последнем великом вожде семинолов.

Джеф-маленький сидел по-турецки на надувной подушке. Он весь подался вперед, наморщил детский лоб и свел брови, как во время занятий на кларнете или приготовления домашних уроков.

— Потому что торф всплывает такими островками, и на них вырастают деревья и всякие растения, и потом, если на него наступить, то проваливаешься, как мама вчера. Смехота! Будто те деревца,— он начал отвечать, неохотно гнусавя, но теперь разошелся и вспоминал самоуверенно, со вкусом,— будто они со всех сторон на нее набросились, правда-правда!

Папа Джеф одернул сына:

— Так, Джефи, верно. А что такое торф?

— Н-ну, это наподобие угля, да?

Джеф и сам точно не знал, хотя изучил все имеющиеся пособия по Окефенокскому заповеднику. К тому же урок и так слишком затянулся, пора было переходить к рассказу.

— Верно,— сказал он.— Это важно, чтобы понять, что случилось с Кривоногим Билли после самого, можно сказать, кровавого побоища в истории здешних мест. Итак, было это, я думаю, где-то в 1820-м году. Кривоногий Билли с тремя десятками товарищей, совершив набег на хижину очередного поселенца и спасаясь от преследования, укрылся в здешних болотах. Билли ненавидел белых людей лютой ненавистью, хотя сам не был чистокровным индейцем — согласно легенде, у него был белый отец, преступник, сбежавший от суда Линча и скрывавшийся в болотах.

Первые капли косого дождя забарабанили по натянутому брезенту, и Джеф мысленно похвалил себя: хорошо, что он догадался закрепить полотнище не только сверху, но и снизу. Полыхнула молния, басовито раскатился гром, и семья Джефкоутов, оглянувшись вокруг, с удивлением обнаружила, что наступили сумерки. Джефу захотелось курить, однако курить он бросил — вредная привычка и дурной пример Джефу-младшему, они с женой в этом единодушны,— поэтому вместо сигарет вытащил пачку жевательной резинки без сахара и пустил по кругу.

— Близко ударило,— заметила Джули. По ее гладкому, надежному лицу пробегали отсветы костра. Прекрасная женщина, воплощенное мужество, настоящая жена пионера, из тех, что одной рукой будут отстреливаться от индейцев, а другой похлопывать по спинке младенца, чтобы срыгнул после кормления.— Хорошо, что ты натянул брезент. А палатку-то ставить будем? Крыша есть и брезент этот...

Он ответил отечески авторитетно и твердо:

— Ни к чему. И так хорошо.

— А дальше, дальше что было, пап?

— Ах да. Так вот. Ночью разразилась гроза, как сейчас. Кривоногий Билли с товарищами измазали себе лица болотной грязью и подошли на долбленых челнах к краю болота. А там как раз жила семья белых поселенцев, недавно перебравшихся из... ну да, из Нью-Йорка.

— Да ладно тебе, пап, ты же выдумываешь.

— Нет, нет, я читал. Правда. Жили они втроем: муж, жена и мальчик — твоего возраста, Джефи,— и при них собака, немного скота и мул, кажется. Словом, фермеры. Осушили площадь в два-три акра и засеяли жирную землю хлопком и табаком. Всего несколько месяцев как приехали, не успели еще даже дом поставить, спали вот на таком же помосте под крышей, а с боков открыто во все стороны...

— Пап.

Джеф не стал отвлекаться. Он знал, что завладел вниманием сына. Подмигнув исподтишка Джули, он продолжал:

— Кривоногий Билли приказал своим ребятам женщину взять живьем, а мужчин убить и тела бросить на месте. Но хлынул дождь, и один индеец поскользнулся и упал, мушкет у него выстрелил, и все это как раз в тот момент, когда остальные, улюлюкая, выскочили из кустов. «Бегите!» — крикнул отец, и сразу в воздухе замелькали томагавки и стрелы, но мать и сын уже бросились бежать, и отец, сделав несколько выстрелов из ружья, чтобы они успели оторваться от погони, побежал за ними. Но знаете что?

— Что? — прерывающимся голосом переспросил Джеф-маленький, весь подавшись вперед и опираясь локтями о коленки.

— Они выбежали на торфяную закраину, но она отломилась от берега во время бури, и получилось словно во сне, они бегут что есть силы, но — ни с места, а Кривоногий Билли, лицо в потеках черной грязи, над головой занесен томагавк...

В этот миг мощным порывом ветра оборвало вверху завязки брезента, полотнище упало на воду, обдав их тучей океанических брызг. Сбоку и сверху, сквозь решето крыши, хлынул ливень. Джеф младший и Джули с воплями бросились доставать плащи, а Джеф, вскочив, очутился лицом к берегу. То, что он там увидел, заставило его похолодеть. В полутьме на берегу, позади платформы, обозначилась некая фигура, и это не был ни аллигатор с акробатическими наклонностями, ни медведь, которого они чуть было не встретили,— нет, весь в лохмотьях, ноги колесом, с лицом, перемазанным грязью, там стоял Кривоногий Билли собственной персоной.

* * *

Хиро, со своей стороны, не знал, что подумать. Собиралась гроза, заметно стемнело, и не было на всем болоте комара, мошки, клеща, пиявки, овода и прочей кровососущей братии, которая бы не успела его ужалить каждый не менее пяти раз. Перемазанный грязью и блевотиной, весь пустой внутри, как тыквенная калабашка, он, распугивая птиц, рептилий и лягушек, на ослабевших ногах выбрел из трясины под деревья, где вода стояла не так высоко и дно под ногами было потверже. Несколько часов назад, когда солнце жарило прямо над макушкой, он наткнулся на россыпь иссиня-черных ягод и, присев на корточки, набивал рот и глотал, покуда они не полезли назад, поднимаясь кверху, точно осадок в бутылке прокисшего вина. Потом долго лежал без сил и клял самого себя, своего инородца-отца, и крепконогую мать, и Рут: она предала его, дрянь, использовала, вставила в рассказ, употребила по своему капризу, а потом вышвырнула, как мусор. Вода колыхалась, будто колыбель. Он смежил веки под комариное зудение и, всплыв, заснул. Но когда солнце соскользнуло за горизонт и все живое в болоте низринулось на него, чтобы испить свою законную порцию японской крови, он поневоле очнулся. На самом-то деле его разбудили звуки — тихая, напевная мелодия, совершенно неуместно вплетавшаяся в какофонию рева, кряка и писка, беспощадно раздиравшую уши. Флейта, что ли? Неужели здесь, на задворках мира, кто-то играет на флейте? Следом проснулось обоняние и принесло весть об очаге и жарящемся мясе.

Гроза разразилась, когда он, нетвердо ступая, вышел из-за деревьев и ощутил под ногами колеблющуюся, мягкую, но все-таки почву — само по себе уже чудо,— но то, что он увидел, было и вовсе фантастика. Футах в ста впереди из тростника и кустарника поднималось некое примитивное строение, просто навес на столбах, но в нем жили люди, *хакудзины*, они сидели вокруг огня. Кто это, местные крестьяне? И вот такие у них жилища? Но как могут люди, даже самые грубые, обитать в болоте? Впрочем, это ведь Америка, и здешние жители ничем уже не способны его удивить. Кто бы они ни были — ковбои, молодые республиканцы или торговцы наркотиками, ему совершенно безразлично, он истерзан голодом и отчаянием, весь пропитан болотной водой, он на краю гибели, и эти люди ему нужны.

Однако даже и на краю гибели лучше действовать осмотрительно. Он вспомнил лупоглазого негра, полезшего в драку за своих устриц, и девицу в магазине, где продают кока-колу, и Рут, которая усыпила его бдительность, подчинила его себе, а потом сама же перешла на сторону его врагов и вырвала у него сердце. Он чуял запах мяса, видел укрытие. Хорошо было бы обсушиться, хотя бы минуту посидеть

в тепле!.. Но как к ним подступиться, к этим дикарям? Объяснять им, что он голоден,— бесполезное дело, это показал опыт с негром. Подход в духе героев Клинта Иствуда тоже ничего не дал, хотя ругался он правильно и может этим гордиться. Единственный действенный способ — это обман: Эмбли Вустер поверила, что он — некто по имени Сэйдзи, а если поверила она, то, может быть, и эти люди поверят. Но нужна сугубая осторожность. Люди, которые живут в таких невозможных, немыслимых условиях, что в это даже трудно поверить, должны быть грубыми и порочными. Какое-то даже кино такое было, где горожане плывут на лодках, а на них нападают дикари, засевшие среди скал.

Но они уже его заметили. Полыхали молнии, струи дождя хлестали наискось. Перед Хиро на помосте стоял мужчина, вид у него был растерянный, испуганный — уже нехорошо,— и он что-то кричал, а двое других — женщина и мальчик — замерли на месте. Что он кричит? А, ну да, конечно. Боевой клич *хакудзинов:* «Помощь не нужна?».

Хиро постоял, глядя на них, потом оглянулся вокруг на топь под дождем. Он отчаялся во всем, он изнемогал от голода и весь распух от комариных укусов, грязный, насквозь вымокший, потерявший много крови, он словно бы всю жизнь ничего другого не видел. Чего ему опасаться? Пусть его застрелят, пусть привяжут веревкой и прибьют гвоздями к кресту, пусть сдерут с него кожу, пусть сожрут — наплевать. Рут его предала. Город Братской Любви обернулся обманом. А есть только болото, и ничего кроме болота.

— Тури-ист! — крикнул Хиро, повторяя за девицей в магазине,— упал за борт!

Никакой реакции. Ничего. Два лица поменьше появились справа и слева от первого, и три пары водянистых глаз впились в него, как три пинцета. А ветер выл. И деревья ходили ходуном.

— Тури-и-ист! — еще раз проорал Хиро, поднеся ко рту ладони рупором.

И тут случилась еще одна, самая удивительная вещь в цепи удивительных вещей, происшедших с ним после прыжка с верхней палубы «Токати-мару»: они поверили. «Держись!» — крикнул ему мужчина, словно тонущему ребенку, и, в одно мгновенье спрыгнув с помоста, двинулся к берегу по колено в болотной жиже. Спасение было проведено по всем правилам. Мужчина ухватил Хиро за одну руку, взвалил себе на спину, словно раненого, как будто дождь — это не дождь, а град пуль или раскаленная шрапнель, и рысью побежал с ним в укрытие, а там уже хлопотали женщина и мальчик, они подвесили нечто вроде театрального задника для защиты от непогоды. Не прошло и нескольких минут, как у них уже вовсю полыхал огонь, и Хиро вытирал волосы полотенцем, а мужчина протягивал ему спальный мешок — завернуться. Закипела вода, ему дали в кружке, изолированной пенопластом, моментального бульона с лапшой, и он ел, а они суетились вокруг, подкладывали дрова в огонь, затыкали прорехи в крыше и смотрели на него покрасневшими глазами.

— Еще? — предложил мужчина, когда Хиро опустошил первую кружку; он только кивнул утвердительно в ответ, как перед ним, словно по волшебству, появилась новая порция.

— Надо переодеться в сухое,— сказал мужчина и не успел обернуться к женщине, как она уже принялась рыться в рюкзаке, плотно набитом рубахами, трусами, носками и полотенцами. Рюкзак? Значит, они туристы? Но почему они тогда не устроили лагерь среди чистой сухой широкой прерии, а полезли в эту клоаку? *Гайдзины.* Никогда ему их не понять, проживи он хоть сто четыре года. Ему дали одежду, футболку с дурацким детским рисунком во всю грудь — какая-то улыбающаяся рожа, а снизу подписано: «Самый лучший на свете папа», пару тесноватых трусов и синие джинсы с неподшитыми штанинами, которые никогда бы на нем не застегнулись, если бы не бесконечные лишения, которые претерпела его бедная *хара.* Хиро отошел в сторону переодеться, не переставая признательно кланяться, прикидывая, сможет ли за всю жизнь расплатиться, и так щедро расточая слова благодарности, ну прямо боготворя своих благодетелей. Не хочет ли он еще есть? Хочет. И вот на решетке с треском жарится мясо, и дают хрустящий картофель, и крутые яйца, и морковные палочки, и капустный салат, и кекс.

— *Домо,*— повторял он еще и еще,— *домо аригато.*

Они смотрели на него во все глаза. Сидели перед ним полукругом, упираясь ладонями в колени и устремив на него глаза, горящие милосердием и человеколюбием. Они умиленно любовались тем, как он ест, словно молодая мать, провожающая

взглядом в рот своему чаду каждую ложку овощного пюре. Однако они спасли его и накормили, и теперь неотвратимо наступила очередь расспросов.

— Вы филиппинец? — спросил первый мужчина, когда Хиро целиком затолкал в рот кусок кекса.

Осторожнее! Он уже принял решение, что лучшей тактикой — единственно приемлемой тактикой — является ложь.

— Китаец,— ответил он.

На их лицах ничего не отразилось. Дым, завиваясь, поднимался вверх. Хиро потянулся за последним куском кекса.

— И вы здесь были на дневке?

На дневке, на дневке... Что бы это значило?

— Прошу меня извинить и простить, но сто такое — дневка?

— Ну, посещение болота... туризм. Вот и мы тоже,— почему-то мужчина при этом рассмеялся, от души, свободно и раскованно, демонстрируя непринужденность, безупречное здоровье, преуспеяние и зубы — настоящее чудо ортодонтии.— У вас что же, лодка перевернулась? Никто не пострадал? Или вы были один?

— Один,— ухватился за подсказку Хиро. Он почувствовал, что здесь как раз кстати пришлась бы улыбка, и поэтому с готовностью оскалил свои неровные, разнокалиберные зубы. Лгать и притворяться — это, оказывается, вовсе не трудно. Это по-американски, как он теперь наконец понял. Даже странно, что он испытал такие трудности у Эмбли Вустер.

Они сказали, что их фамилия Джефкоут, живут в Атланте, штат Джорджия. А вообще-то из Нью-Йорка. Джеф, Джули и Джеф маленький (мальчик покраснел, когда отец представлял его гостю). Хиро поклонился каждому по очереди. И снова они уставились на него, и в глазах их — ожидание. Чего от него ждут? Чего вам еще? — подмывало его спросить.

— А вы... Вас как?..— намекнул мужчина.

Хиро смущенно охнул. Ну конечно! Как же он упустил? Он начал было им рекомендоваться, но сразу замялся. Он же сказался китайцем. А если он китаец, то какие у них, у китайцев, имена? Ли, Чань, Вонг? «Сунь Вынь» — так назывался китайский ресторан в двух кварталах от дома, где жила его бабушка, но это имя дурацкое, смехотворное, не может он, Хиро Танака, знаменосец Мисимы и Дзётё, носить такое имя. Этого не может быть никогда.

— Да? — Они подались к нему, улыбаясь дурацкой улыбкой: уж так-то им, глупеньким, приятно обменяться любезностями с каким-то чумазым китайцем в этом мокром, протекающем аду на краю света. Дождь сочился сквозь крышу у них над головами и сыпал мелкой дробью по водам вокруг.

— Я... меня зовут Сэйдзи,— решился наконец он: разве они понимают, американцы? Им что китаец, что угандиец, без разницы.— Сэйдзи... Тиба.

И расщедрившись, в тепле под крышей, да еще завернутый в пуховое одеяло, с полным, впервые за много дней, желудком, он поведал им жалостную историю своих страданий в болоте. Его лодка перевернулась, да, два дня назад; крокодил напал. Прыгнул в лодку с дерева. Он, Хиро, стал с ним сражаться, но лодка затонула, и он остался без всего: без пакетиков мяса и без кукурузных крекеров в коробках, без джинсов «Левайз» и без доски для серфинга. Он блуждал в болоте, обреченный на голодную смерть, питался одними ягодами, пил болотную воду, но они его спасли — и в заключение рассказа он не менее пяти минут кряду возносил хвалу своим спасителям на английском и японском языках.

Когда он кончил, воцарилось молчание. Гроза унялась, во взбаламученном воздухе опять заныли комары и гнусы. Из ночной дали донесся чей-то рев.

— Ну-с,— проговорил мужчина, хлопнув в ладоши, как судья на игровой площадке.— Будем укладываться, а? Денек был не из легких.

* * *

Где-то в глубокой, пульсирующей сердцевине ночи, когда стрекот, гуканье, звон приутихли, сменившись слитным глухим гулом, и новое поколение комаров только-только изготовилось к вступлению в жизнь, Хиро проснулся, весь дрожа, и оказалось, что дождь припустил с новой силой. Хиро сразу сообразил, где находится, сообразил и то, что непромокаемое одеяло, которое ему дали — уж эти американцы,

у них все есть запасное,— насквозь промокло. Ветер зашел с севера, и в нем безошибочно ощущался запах осени. Но месяц-то сейчас который? Август? Сентябрь? Октябрь? Хиро представления не имел. Он уже так давно выпал из жизни, так давно ведет существование бездомного бродяги, первобытного пещерного варвара, что даже не знает, какой сейчас месяц, не говоря уж о числе. И тем более — часе. Он лежал, дрожа мелкой дрожью, и думал обо всем этом. Ему стало ужасно себя жалко.

Скоро до него сюда доберутся, это ясно. *Бойфуренд*, конечно, сообщит в полицию, и вислоносый шериф созовет своих негров и собак и введет в болото целую флотилию моторок, надувных лодок, каноэ, яликов, плавучих тюремных камер. И Пегая Морда со своим несгибаемым помощником тоже, конечно, примут участие, и Рут, и капитан Нисидзава, вертолеты переломают деревья, и небо задрожит от оглушительных сирен и протяжного воя кровожадных псов. Если два дня назад они все были его врагами, то уж теперь ненавидят его всеми фибрами души. Он ведь оставил их в дураках. И они ему этого не простят.

Обидно. Досадно. Если бы владельцем «мерседеса» оказался не сам главный маслоед собственной персоной, а какой-нибудь странствующий торговец, распространитель энциклопедий, просто бродяга, Хиро мог бы сейчас уже находиться в тысяче миль отсюда — в Стране Широкого Неба, в Городе Моторов под названием Детройт, у Золотых Ворот. Но вышло иначе, и вот он здесь. Что ему сейчас необходимо, вдруг осенила его мысль, так это лодка. Была бы у него лодка, он доплыл бы в ней до конца болота и побрел бы в глубь суши, покуда не наткнулся на шоссе, а тогда... а что тогда? Снова криводушие и обман? Снова ненависть? И *хакудзины*, норовящие всадить в спину нож, и свирепые негры? Но деваться все равно некуда, так или иначе, его выследят и изловят, как зверя. Хиро лежал мокрый, несчастный, весь с ног до головы в путах собственной лжи и старался ожесточить свое сердце. Он знал, где есть лодка. Байдарка. Узкая, быстрая и нагруженная провиантом на целый полк.

Джефкоуты дружно спали, посапывая синхронно, приняв сон как награду и разложив вокруг свои пожитки, точно императорский выкуп. Тут же, у самого края платформы, тесно покачивалась привязанная байдарка. Совсем рядом, доплюнуть можно, не вставая с места. Но о чем это он? Они были к нему добры, они и Эмбли Вустер. Их глаза не выражали ненависти, а лишь здоровье и уверенность в себе. Как можно ограбить их, бросить на произвол судьбы вдали от людей, под ветром и дождем?

Как? Да очень просто. Они же *хакудзины*, всего только *хакудзины*, не лучше остальных. Стоит им проведать, кто он такой, и они своими руками бросят его за решетку, туго-натуго завинтят на его запястьях наручники, и в глазах у них будет фарфоровый блеск от сознания собственной правоты. А он японец. Самурай. В беспощадности — его единственная надежда.

И он уже приготовился сделать первый шаг по пути предательства — выскользнуть из-под мокрого одеяла и приступить к действию, но тут вдруг мальчик застонал во сне. Такой душераздирающий, посторонний звук среди болотной ночи. «Аааах! — мучился мальчик в тисках сновидений.— Аааах!» И пока длился этот сон, Хиро одним рывком перенесся в собственное отрочество, где были демоны, преследовавшие его по ночам, и слабые дедушкины руки, обнимавшие его,— и тут в темноте поднялась человеческая фигура — фигура отца, мальчикова отца — и Хиро услышал тихое «Ш-ш-ш», баюкающий, успокаивающий шепот. Отец, мать, сын — семья. Душа Хиро затрепетала от тревожных предчувствий, предчувствия обрели плоть, стали неоспоримы, и Хиро понял, что байдарка, его единственная надежда, останется там, где стоит. Вторично его разбудил запах яичницы с тушенкой, запах непривычный — помимо помойной стряпни кока Тибы, Хиро был плохо знаком с иностранной едой,— но он все же отличил в его составе непременную у *хакудзинов* гарь пережженного мяса.

— Сэйдзи,— позвал нежный голос, как только Хиро открыл глаза; он принадлежал Джули Джефкоут. Джули была в шортах и длинном, акцентирующем груди лифе,— вид одновременно и материнский, и соблазнительный.— Спали хорошо? — справилась она, переходя через платформу и отдавая в руки Хиро кружку кипящего черного кофе.

Солнце поднялось. Уже чувствовалась жара. Джеф-младший, пристроившись на

краю платформы, снова и снова неутомимо забрасывал крючок с наживкой и сразу же притягивал его через всю заводь обратно, а отец хлопотал в байдарке, рассовывая их пожитки по тугим тючкам, и негромко насвистывая за работой.

— Ну как, браток,— оглянулся он на Хиро,— к завтраку готов?

Ошалев от напора их бодрости и энергии, Хиро только кивнул в знак согласия. Его слегка мутило — естественно, после всего, через что пришлось пройти,— может быть, от еды полегчает?

Джеф Джефкоут вернулся к погрузке. Леска Джефа-младшего снова просвистела по колесикам, и раздался отдаленный всплеск. Хиро приподнялся и сел, и Джули Джефкоут подала ему пластмассовую тарелку, а на ней — яичница, и рубленое мясо, и разварные картофелины, и фруктовый салат из банки — мешанина, вроде европейских блюд кока Тибы.

— Кетчуп? — предложила Джули, и когда Хиро кивнул, выдавила на все содержимое тарелки оранжевую пасту.

— Омлет по-денверски, да? — сказал Хиро.

Джули Джефкоут улыбнулась. То была красивая улыбка *американцев*, немудрящая, открытая улыбка, место которой — на журнальной обложке.

— Вроде того,— кивнула она.

Через полчаса Хиро уже смотрел, как Джеф придерживает лодку, и маленький Джеф первым, а за ним Джули пролезают вперед и рассаживаются в узком, неустойчивом пространстве. Лодка по самые борта плотно загружена всевозможным снаряжением, необходимым для их путешествия по безлюдным болотам — тут и сумка-холодильник, и запас древесного угля, и горючая жидкость, и бинокли, и удочки, и набор пластмассовой посуды, палатки и спальные мешки, и перемены одежды, книжки в дешевых переплетах, электрические фонарики, мазь для губ и лакричные конфетки. Для Хиро места нет. Джеф Джефкоут заверил его, что они прямым ходом направятся отсюда к лодочной базе и проследят за тем, чтобы кто-нибудь из смотрителей немедленно отправился вызволять его. Хиро принял огорченный вид — собственно, он и был огорчен — из-за того, что они никак не могут взять его с собой. Но Хиро — вернее, Сэйдзи, ведь они знают его под этим именем — забыт не будет, на сей счет он получил твердое слово Джефа.

Перед тем как отчалить, Джеф Джефкоут вдруг вылез из байдарки на платформу, скинул с ног кроссовки и вручил Хиро.

— Возьмите,— сказал он,— у меня в рюкзаке еще две пары, а вам они тут нужнее, чем мне.

Хиро с поклоном принял подарок. Кроссовки оказались на пупырчатой подошве, в таких ходят белокурые курортники в японских рекламных клипах. Хиро сунул в них ноги и, одетый в подвернутые джинсы и просторную майку с чужого плеча, тоже почувствовал себя богатым курортником на пляже.

Джеф забрался в байдарку, сел на корме и оттолкнулся веслом от платформы.

— Пока! — крикнул он.— И ничего не бойтесь, за вами придут еще до полудня. Я обещаю.

— До свиданья! — пронзительно, как птица, прокричал Джеф-маленький.

Джули оглянулась, помахала:

— До скорого свиданья! — голос совсем как у Рут; Хиро на минуту ощутил волнение.— Берегите себя!

Само собой, они оставили ему еду — шесть сандвичей, целлофановый пакет с пастилками, три сливы, две груши и мешок пряных сухариков размером с хозяйственную сумку, не говоря уж о двухлитровом баллоне газированного апельсинового напитка.

— Спасибо! — кричал Хиро.— Спасибо борьсая!

А сам прикидывал, зачтется ли в его пользу то, чего не сделал? Он у них в долгу, в огромном долгу, но ведь и они ему кое-чем обязаны. За то, что он не перебил их во сне, что не украл их провиант, их лодку, весла, удочки и угольные брикеты. Если разобраться, он ради них пожертвовал собой — а это чего-нибудь да стоит.

Он долго стоял и смотрел с платформы, как они уходят узкой протокой — лопасти трех весел взблескивали синхронно, в полной гармонии: отец, мать, сын.

«Веселые мормышки»

В Сисеровилле, этих «воротах знаменитого Окефенокского заповедника», как написано в буклете, имелось два мотеля, хотя, на взгляд Детлефа Эберкорна, они ничуть не лучше перевалочных лагерей нелегальных иммигрантов. Один, «Спальная зона», располагал миниатюрной площадкой для гольфа, прямо посреди автостоянки, и кафетерием, в котором, согласно написанному от руки объявлению, можно получить завтрак за 99 центов — «а добавки кофе и каши не ограничены». Здесь свободных номеров не было. Второй мотель, под названием «Веселые мормышки», завлекал усталого путника плавательным бассейном, до краев наполненным жидкостью, напоминающей по цвету и консистенции гороховый суп. Недаром вдоль шоссе стоит столько рекламных щитов, воспевающих «суп-пюре гороховый, домашний», хотя ни один нормальный человек, раз попробовав, никогда больше в рот его не возьмет. А вот тут — другое дело, тут тебе представляется возможность в нем поплавать. Эберкорн пожал плечами и въехал на стоянку.

Ему сейчас совершенно не до того, чтобы бултыхаться в бассейне. Поставлена на кон его служебная карьера, можно сказать, все его будущее. Так что придется забыть Ле Карре, и пиво коробками, и тихую комнату с кондиционером, где все замерло, только успокоительно мерцает телеящик. Отныне жизнь Эберкорна будет полна лишений, как описывается у Дж. М. Кейна: кружка мутной воды с несколькими каплями йода, пот, обожженная солнцем кожа, боль в суставах. Утром ему позвонил из Атланты Натаниель Картерет Блюстоун, районное начальство. Не просто утром, а рано утром. Чуть свет. В шесть тридцать утра. А Детлеф Эберкорн и вообще-то в шесть тридцать утра бывает не в самой лучшей форме, а тут еще накануне они с Турко, шерифом и шестью сотнями повизгивающих псов до третьего часа ночи шли по чуть теплому следу Хиро Танаки. И когда Эберкорн, еле живой от усталости, поднял трубку, с соображением у него было туговато.

Н. Картерет Блюстоун желал узнать, почему спецагенту Эберкорну непременно нужно делать посмешище из Иммиграционной службы? Он видел утренние газеты? Ах, нет еще? Ну, так он найдет в них кое-что небезынтересное для себя. Этот япошка — японец, сразу же поправился Блюстоун — вдруг неизвестно почему попал на первые полосы. Эберкорн попытался объяснить, что в «Танатопсис» газеты попадают с опозданием на сутки, но Блюстоун даже не сделал паузы, чтобы его выслушать, а стал язвительным тоном зачитывать газетные заголовки: «На свободе шесть недель, за решеткой шесть часов». «Японец против Иммиграционной службы, счет один-ноль». «Побег из тюрьмы на острове Тьюпело; иностранец осуществил его с легкостью». А что это еще такое насчет Льюиса Турко, что будто бы он набросился на какую-то женщину с обвинениями, идиотскими и, прямо сказать, подсудными? В высшей степени неудачный способ вести расследование, в высшей степени неудачный.

Тут Эберкорн ничего не мог бы ему возразить, разве что добавил бы от себя, что «неудачный» — это еще очень мягко сказано. Имеются, конечно, смягчающие обстоятельства — задержанного упустили люди шерифа; лично он, Эберкорн, ни на кого не набрасывался с идиотскими обвинениями и за Турко не отвечает; а народ там разговаривает — ничего не разберешь, соответственный у него и интеллектуальный уровень. Но он оправдываться не стал. А только сказал:

— Приложу все старания, сэр.

На что Блюстоун высказался в том смысле, что все его старания, возможно, немногого стоят, чрезвычайно немногого.

— Я выложусь весь, сэр,— поправился Эберкорн.

На том конце провода выдержали паузу.

— Да уж, будьте добры,— произнес наконец Блюстоун.— И на этот раз наручники задержанного пристегните, черт возьми, к своему запястью, ясно? Да, и сделайте мне одолжение...

— Да, сэр?

— Ключ проглотите, чтобы он вышел наружу только через задний проход, вы меня поняли?

О втором телефонном звонке — звонке Роя Дотсона — Эберкорн узнал только в четыре часа дня. А почему? Да потому, что лазил по задворкам этого Богом проклятого острова Тьюпело, следы искал, хотя каждому ясно, что ничего это не даст. Какие там следы? Вот если бы они лягушек искали, тогда другое дело, лягушек

там сколько душе угодно. Или комаров. Была сорокоградусная жара, солнце повисло над макушкой, как прибитое, и Эберкорн уже думал, что сейчас задохнется от вони, когда вдруг, хлюпая по грязи, явился один из помощников шерифа с известием, что они здесь попусту теряют время. Подозреваемый с острова бежал. Да? И где же он теперь? Отсиживается в сарае у какого-нибудь местного издольщика? Или голосует на Джексонвильском шоссе? Или уже в Атланте в китайской забегаловке тыкает палочками в тарелку со строганым мясом и луком? Да нет. В болоте. В другом болоте, в сравнении с которым здешнее — просто лужица.

Вот как Эберкорн оказался вечером в мотеле «Веселые мормышки», что в Сисеровилле, штат Джорджия, на пороге Великого Окефенокского заповедника. Была уже половина восьмого, неоновая надпись лучилась на фоне меркнущего неба робким намеком на цивилизацию. Льюис Турко дрых на пассажирском месте, источая вонь, как выгребная яма. Засохшая грязь облепила его сапоги, висела лепешками на комбинезоне, в волосах и на бороде. Они поцапались из-за того случая с мадам Дершовиц и за весь день не обменялись и десятком слов. Как только поступило новое сообщение о Танаке, Турко отшвырнул палку (он в буквальном смысле бил палкой по кустам) и без единого слова потопал к большому дому, вынес свои пожитки, пошвырял в «датсан» и расположился на пассажирском сидении. К тому времени, когда у машины появился Эберкорн, Турко уже был в отключке.

Эберкорн подрулил к конторе мотеля и вырубил задыхающийся мотор. Он рассчитывал, что получит номер, быстренько примет душ, проглотит чашку кофе, свяжется со здешним шерифом и снимет показания у Роя Дотсона. А потом часа два поспит и с утра снова примется за преследование. Таков был его план. Но он страшно устал, с трудом языком ворочал, и от него тоже едва ли так уж хорошо пахло.

Хозяин за стойкой был низкорослый и смуглый, плечи узкие, руки-ноги без мускулатуры, как у ребенка. Зато вполне взрослое, откормленное брюшко, и на лбу под засаленным козырьком кепочки — красный знак касты. Он устремил угольно-черные глаза прямо в лицо Эберкорну — еще бы, работая на острове, Эберкорн сильно загорел, и от этого белые пятна на коже стали еще заметнее. Почему-то он вдруг застеснялся.

— Дайте одну двойную,— заплетающимся языком проговорил он.

— Вам двойник? — переспросил чернявенький.

— Двойную. С двумя кроватями. Для меня и... вон для него.— Эберкорн указал пальцем через плечо в сторону машины, в которой за стеклом виднелась белобрысая шевелюра и задранная борода Турко.

Чернявенький рассмеялся, обнажив ярко-красные пеньки зубов. Он проворно нагнулся под прилавок, сплюнул в корзину для бумаг и снова вынырнул на поверхность.

— Ну да, двойник, я так и понял. А знаете, сначала подумалось... Вы ведь приезжий в наших местах, я не ошибаюсь?

Усталость гудела у Эберкорна в жилах, точно хмель, когда принял натощак двойную порцию доброй мексиканской водки. Японцы какие-то. Сидел бы у себя в Ист-Рокс, шугал мексиканцев и горя бы не знал.

— Из Саванны,— с трудом ответил он.— А вообще-то Лос-Анджелес.

— Вот-вот,— страстно закивал его собеседник.— Я сразу догадался. Я даже чуть было не принял вас за янки. А сначала так смешно показалось: одна двойная порция на двух взрослых мужчин!..

В осоловелом мозгу у Эберкорна вдруг вспыхнула искра вдохновения.

— Пенджаб, а? — спросил он.

Тот сразу расцвел:

— Да, Чандигарх.

— Давай, двойник так двойник. Как раз то, что мне надо.

— Обязательно! — Чернявенький так просиял, что мог бы, наверно, один осветить все помещение.— Мы тут на это не смотрим, принимаем всех.

* * *

Утром Турко был в отличном расположении духа, он рассуждал о человеке, которого им предстояло изловить, словно вырос с ним вместе, словно они спали бок о бок в сиротском приюте и женаты на сестрах.

— Он у нас хитрюга, япоша наш, мы с тобой даже и не думали, факт. Устроился, чтобы та сучка его кормила — вернее, две сучки его кормили, не забудь еще старуху, — а потом имел наглость драпануть из-под замка и скрыться в таком месте, что никто и ожидать не мог.— Он задумался и поскреб только что умытую бороду. — Но они, япошки, на природе не приживаются, это публика городская, метро, голуби на площади, в таком духе, кончится тем, что он сам себя в угол загонит и сдастся, я в этом уверен на семьдесят пять процентов.

Они ехали в «датсане» по направлению к болоту. Ночью прошел дождь, на шоссе было скользко, но солнце уже поднялось, и сырость быстро испарялась, отлетая назад сонной дымкой. Эберкорн спал дай бог четыре часа, и то некрепко, урывками, а Турко навесил над второй кроватью гамак, улегся и знай себе похрапывал в свое удовольствие и проснулся, только когда уже совсем рассвело. Выехали без завтрака, в такую рань еще все было закрыто, кроме чайной для шоферов дальнего следования, а там набилось этого быдла толстобрюхого — невыносимо, и Эберкорн ограничился бумажным стаканом кофе с собой. А Турко — ему вообще горя мало, у него по всему рюкзаку был распихан неисчерпаемый запас всяких корешков и полосок вяленого мяса. Сейчас, например, разглагольствуя, он держал на коленях целлофановый мешочек с чем-то сушеным, вроде рыбьих мальков, время от времени засовывал руку, доставал и грыз, как воздушную кукурузу.

— Но если ты думаешь насчет поп-музыки и маек с рисунком, то этот тип на них не купится,— продолжал Турко, как будто это не он собирался ловить японца на джинсы и оглушительный дебильник.— Нет, тут понадобится подход похитрее.

Он поскреб в бороде, и крошки от сушеной рыбы, плавно витая, осели ему на колени.

Эберкорн старался не слушать. После разговора с Роем Дотсоном у него в душе остался неприятный осадок. Это было связано с Саксби. Саксби ему положительно нравился. Не может быть, чтобы такой парень был виновен в сознательном пособничестве и подстрекательстве преступника — да еще нелегального иммигранта, буйного и опасного. Тем не менее факты свидетельствуют не в его пользу. Рут — другое дело, она способна на все, как он сам убедился, и она могла втянуть Саксби. Запросто могла.

— Что ты думаешь насчет Саксби, Льюис? То есть насчет его участия в этом деле?

Турко повернул голову, посмотрел на него.

— Ты это о ком?

— Да Саксби, ну знаешь, приятель Рут... я хочу сказать, приятель Дершовиц...

— А-а. Ну да. Виновен. Виновен не меньше ее. Или ты думаешь, он случайно вывез япошку сюда и выпустил, как Братца Кролика, в терновый куст? Виновен, как виновен Чарли Мэнсон и Адольф Гитлер,— а если нет, то что он делает в самом сердце Окефенокского болота? — Льюис достал еще горсть сушеных мальков.— Если хочешь знать мое мнение, все это очень даже подозрительно.

Они уже проехали щит с надписью «Добро пожаловать в Заповедник имени Стивена Ч. Фостера», но до сих пор не увидели никаких следов пребывания здесь человека — не считая, конечно, дорожно-строительной бригады. Дорога по прямой линии рассекала топь и зелень, зелень такой интенсивности, что хотелось определиться по небу: на какой ты планете? Эберкорн допускал, что кому-то это может нравиться, дарить, как говорится, свежесть и бодрость, но ему лично подобный ландшафт не доставлял ни малейшего удовольствия — по нему, так хоть бы устроили здесь стоянку для автомашин вместо этого чертова заповедника. Мысли его все время возвращались к Саксби — как неловко будет, если дойдет дело до наручников. Кроме Саксби, он еще думал о япошке — вот именно что о япошке, так он и будет его называть, и пусть они все катятся со своим служебным этикетом. И еще о том, что неужели ему теперь до конца жизни загорать здесь в три оттенка и отдавать свои уши на съедение комарам величиной с птицу колибри? (Это особенно злило: почему именно до ушей они так охочи? У него уши никогда не отличались миниатюрностью, а теперь раздулись раза в два, похоже, будто два ломтя толстой колбасы прилипли к голове, глаза бы не смотрели.) Он вел машину и старался не глядеть на себя в зеркало заднего обзора.

Наконец показались дома — низкие, длинные сооружения, музей, турбаза — и Эберкорн свернул на незаасфальтированную автостоянку, где уже выстроилась

когорта полицейских машин, два пожарных грузовика и одна «скорая помощь». От туристских автомобилей и пикапов было не проехать, и куда ни взглянешь, всюду люди, хотя еще совсем рано, так невозможно рано, что, в сущности, не кончилась ночь. Люди толкались на пристани возле лодок, заглядывали в окна полицейских автомобилей, подносили к глазам висящие на груди бинокли, завтракали бутербродами из пакетов и запивали питьем из бумажных стаканов. По проезжей части носились голоногие ребятишки, безуспешно вскидывая в неподвижный воздух змеев, в одном ободранном джипе старик смотрел телевизор, а какая-то плечистая и грудастая дама пятилась перед стареньким «фордом», держа в руках птичью клетку, и в конце концов поставила ее на землю прямо посредине стоянки.

Сумасшедший дом! Как на Четвертое июля или перед открытием поп-фестиваля, только еще хуже. У Эберкорна екнуло сердце.

— Льюис, как ты думаешь, вся эта публика?..— начал было он, но при одной только мысли у него от ужаса язык прилип к гортани. Люди эти были не жизнерадостными туристами и экскурсантами, по чистой случайности собравшимися здесь в будний день уже к семи часам утра. Какое там. Они съехались сюда, потому что они съезжаются на место всякого несчастья, и терпеливо, как стервятники, ждут кровопролития, насилия, уголовщины и отчаяния. Ждут эксцессов и унижения, словно лекарства, чтобы разорвать коросту скуки на своей жизни.— Но как они, черт возьми, пронюхали? Мы и сами только-только узнали, что япошка, то есть японец, то есть, ну да, япошка — здесь. Или я не прав?

Турко не ответил, но сурово насупился.

Как только Эберкорн распахнул дверцу «датсана», от толпы отделились несколько человек и пошли на сближение, наступая со всех сторон. Он их заметил, еще когда выруливал на стоянку: чересчур чисто одеты для туристов и нервные, настороженные, словно каждую секунду готовы сорваться с места рысью. И что это вон там? Телекамера? Теперь все стало ясно: пресса. Окружили его, не успел он еще ступить на землю, и вот уже на него смотрела собственная обгорелая пегая физиономия с распухшими ушами по бокам, контрастно, в три цвета, отразившаяся в черном глазу телекамеры.

— Мистер Эберкорн! — окликают. Узнали его фамилию.— Мистер Эберкорн!

Вперед выступила женщина с лицом как из пластика и замороженными волосами, стала перед ним в борцовскую стойку. Вроде бы знакомая, вроде бы он видел ее по телевизору, еще когда у него была квартира и офис, когда он был просто обывателем и ходил на обыкновенную работу с девяти до шести — как все. Телекомментаторша, ишь ты, меня покажут по телевизору, подумал он и ощутил вчуже приятное волнение. Но тут же сообразил, что его обязательно увидит Н. Картерет Блюстоун, и почувствовал сжатие глубоко в желудке, где плескался дешевый кофе, разъедая стенки, как аккумуляторная кислота.

Началось с незначительного эпизода — едва хватило на заметку в шесть строк на двадцать восьмой странице в газете «Саванна стар», просто чтобы заткнуть дыру между рекламами новой породы кур без костей, и туалетной бумаги; а выросло в событие, заслуживающее внимания телевидения. Это можно было предвидеть. Действительно ведь богатый материал: тут тебе и секс, и насилие, и межрасовые половые связи, и побег из тюрьмы, и болото, кишащее змеями и аллигаторами, и разговоры о бессилии властей и о шайке подозрительных писателей и художников. Ну просто мыльная опера. Целый телесериал. «Когда болото прибывает», «Отсюда — и в Окефеноки», «Охотник за япошками».

Женщина с пластиковым лицом пожелала узнать, почему у Иммиграционной службы на ловлю беглеца ушло добрых шесть недель, и что бы Эберкорн мог сказать в ответ на обвинения в некомпетентности? При этом она хмурила брови и морщилась, словно сама страдала от своих беспощадных вопросов.

Не успел еще Эберкорн сформулировать ответ, как вылез мужчина лет пятидесяти с хищным носом и руками в седой поросли до локтей и, сунув ему в лицо микрофон, поинтересовался, как обстоит дело с надежностью мест заключения на острове Тьюпело? Нет ли там разинь среди обслуживающего персонала, и если да, то кого именно он бы назвал?

Тут все голоса слились в общем гаме. Как ему нравится сотрудничать с местными властями? Чем питается в болоте подозреваемый? Скоро ли они рассчитыва-

ют его изловить? Действительно ли он опасен? А как насчет зыбучих песков? И змей? И аллигаторов? Что он может сказать о Рут Дершовиц?

Эберкорна прижали к машине, он стоял, чуть не на два фута возвышаясь над толпой, чувствуя себя голым, выставленным на всеобщее обозрение, с горящей, как колбаса на сковородке, рожей. Их, наседающих на него, было слишком много, и все орали одновременно. Ему еще никогда не случалось выступать перед публикой, держать ответ по поводу следственного дела, даже по телефону, даже в тот раз, когда вьетнамцы из племени хмонг зажарили в микроволновой печке собаку, а Общество защиты животных сравнило их с нацистами в Освенциме. Язык Эберкорна не слушался. Да он и не знал, что отвечать. Так бы он и стоял там до второго пришествия, болван болваном, на виду у Н. Картерета Блюстоуна и всего человечества, если бы не Турко. Турко только рявкнул: «Комментариев не будет!» — и пошел, с ухмылкой убийцы, врезаясь в лес микрофонов и волоча за рукав Эберкорна. В одну минуту они проделали путь сквозь толпу от машины до полицейского кордона, за которым скопилась группа бритых мужчин в форме.

Человека в центре Эберкорн узнал: шериф Булл Тиббетс, из полицейского управления Сисеровилла. Если Тирон Пиглер преподнес ему сюрприз — оказался с высшим образованием, говорил негромко и внятно,— то шериф Тиббетс предстал перед ним как раз таким, как он ожидал: мрачным толстяком с вечной табачной жвачкой за щекой, широкополая армейская шляпа сдвинута на затылок, и за зеркальными солнцезащитными очками прячутся глазки, такие маленькие и мутные, что словно бы и не человечьи. Накануне ночью в сисеровиллском участке он удостоил Эберкорна всего одним презрительным взглядом, а сейчас, когда они с Турко подошли, и вовсе даже не оглянулся. Между стоящими людьми происходил какой-то спор, но о чем, Эберкорн был не в состоянии разобрать — выговор у здешней публики просто кошмарный, не говорят, а носок жуют.

— Ты шел бык,— хмуро произнес шериф.

Возражавший, низенький человечек, совсем недомерок рядом с шерифом, низколобый, развинченный, как Сноупс какой-нибудь, не отступался. Он махал руками, почти кричал, словно от боли.

Шериф минуту помолчал, задрав кверху массивную башку, обнажив раздражение кожи под подбородком и сверкнув в небо двумя лучами отраженного от очков света.

— Да шел бытык — повторил он.

Турко скрестил руки на груди, вид его выражал скуку и нетерпение. В отдалении по раскаленному небу, вытянув длинные ноги и хлопая крыльями, пролетела какая-то птица.

— О чем они? — спросил Эберкорн.

Турко вполголоса ответил:

— Маленький хочет задействовать собак, а шериф говорит нет.— Он устремил взгляд вдаль, над заводью, сощурившись, словно ожидал увидеть сквозь буйную растительность, как из-за горизонта выплывает на веслах тот, кого они все ищут. И пояснил: — Тут собаки запрещаются согласно распорядку заповедника, аллигаторы их обожают до одури, лодки переворачивают, из воды выскакивают, норовят цапнуть прямо с пристани. Вроде как валерьянка для котов.

Эберкорн ужаснулся. Аллигаторы! Час от часу... Чем больше он узнает об этих местах, тем сильнее его тянет назад в Лос-Анджелес.

Они постояли еще минуту, слушая, как шериф и его люди жуют носки, а затем вдруг снова куда-то понеслись, Турко впереди, Эберкорн за ним.

— Эта вся публика — дрянь,— на ходу бросил через плечо Турко.

Эберкорн не мог с ним не согласиться, он только не понимал, куда они рысят и как это им поможет изловить, предать суду, получить приговор и выслать из страны Хиро Танаку, чтобы Н. Картерет Блюстоун от него, Эберкорна, отвязался. А уж тогда можно будет выдраться из этой Страны толстошеих и вернуться на сонные, замшелые улицы Саванны, где девочки такие, как Джинджер и Бренда, и на уме у них всего только виски с сиропом, тарелка устриц да атлетический секс на коврике перед вентилятором. Но Турко волок его назад через полицейский кордон к находящемуся за ним туристическому центру.

— Куда мы идем, Льюис? Что ты задумал?

Турко остановился на ступеньке, обернулся и оказался с ним вровень. глаза в глаза.

— Я считаю, надо успеть взять здесь моторку и зацапать этого клоуна Саксби. А уж он-то скажет, где прячется японец, можешь не сомневаться.

Эберкорн был не уверен, что так уж хочет зацапать Саксби — какое обвинение можно ему предъявить? — но потолковать с ним как будто бы действительно стоило. Все лучше, чем болтаться здесь и иметь дело с этим шерифом, который не понятливей сторожевой собаки. Эберкорн пожал плечами и следом за Турко вошел в помещение турбазы. За конторкой сидели шесть блондинок разных оттенков и возрастов и наперебой приветливо улыбались клиентам.

Турко решительно протопал к самой молодой девице, у которой были бледно-голубые водянистые глаза и табличка на лацкане с именем «Дарлин».

— Нам требуется моторка,— заявил Турко и посмотрел на нее пронзительным взглядом тайного агента ФБР, однако не произвел, по-видимому, никакого впечатления.

— Очень сожалею,— ответила девица голосом сладким, как дождевая вода, и с заметным болотным акцентом,— но у меня распоряжение от мистера Чивверса и мистера Дотсона никому лодок не давать.

— Фактически заповедник в настоящее время закрыт,— вмешалась соседняя блондинка, лет, по-видимому, около сорока, с замысловатой высокой прической.— Мы сожалеем, что причиняем неудобство, но в болоте прячется маньяк-убийца.

— Восточный человек,— добавила третья.

— Уже убил кого-то неподалеку отсюда, насколько я слышала,— пояснила самая старшая, блондинка лет семидесяти, отличавшаяся способностью говорить, не разжимая губ.

— Троих взрослых и младенца. Руками удушил,— уточнила блондинка с прической, и все шесть испуганно вытаращились с дежурными улыбками на устах.

Надо было вступать Эберкорну. Пока разговор вел Турко, он держался на заднем плане, но теперь шагнул вперед.

— Специальный агент Детлеф Эберкорн, Иммиграционная служба,— представился он и показал удостоверение.— Из районного управления в Саванне. Мы как раз идем по следу этого самого человека.— Он тоже сделал попытку изобразить улыбку.— Именно поэтому нам и нужна моторная лодка.

— Н-ну, я не знаю...— замялась первая, Дарлин.— Она повернулась к соседке, блондинке неопределенного возраста в секретарских очках и пестрой косынке,— как ты считаешь, Лу Энн?

В эту минуту в помещение через внутреннюю дверь вошел Рой Дотсон, в егерской форме и высоких болотных сапогах.

— Все правильно, Дарлин,— распорядился он,— выдайте им, что они просят.

Дарлин подняла глаза на Эберкорна. Ей было не больше семнадцати, ее прилежно улыбающийся рот уважительно округлился. У Эберкорна мелькнула неизбежная похотливая мыслишка, но Дарлин уже деловито потребовала:

— Будьте добры, ваши водительские права и кредитную карточку.

* * *

У руля на корме большого плоскодонного катера сидел Рой Дотсон и гнал полным ходом — что, впрочем, выходило не ахти как быстро. На носу залег Турко во всем своем субтропическом снаряжении — саперная лопатка, кусачки для колючей проволоки и прочие причиндалы болтались, притороченные к рюкзаку у него на спине. А посредине катера — и не без удовольствия — располагался Детлеф Эберкорн. Он был обут в высокие болотные сапоги и к животу так крепко прижимал планшетку, набитую таблетками хализона, кремом от ожогов, двумя видами репеллентов и каламиновым лосьоном, словно опасался, что у планшетки вырастут крылья, и поди тогда ее поймай. Еще он согласился, по настоянию Дотсона, надеть ярко-оранжевый спасательный жилет, хотя и чувствовал себя теперь в нем подурацки. У него для такой уступчивости имелись две причины. Первая — дипломатического свойства. Дело в том, что Турко в ответ на аналогичное предложение Дотсона посулил затолкать спасательный жилет ему, Дотсону, в задний проход, если тот еще хоть словом об этом заикнется, так что Эберкорну, в миротворческих целях, только и оставалось безропотно напялить свой. Вторая же и более существенная причина состояла в том, что он ужасно боялся аллигаторов и змей, и чтобы

обезопасить себя от них, был готов на все. В болотных сапогах и спасательном жилете он, по его мнению, был от змей защищен повсеместно, кроме лица, а эту часть тела он предполагал хранить сухой и держать на недосягаемой высоте.

И все же поездка была при всем том довольно приятной. Ветер сдувал комаров с его распухших ушей и высушивал выступавший на висках пот. Словом, болото, когда в него попал, оказывается не таким уж страшным. В сапоги никто не забирался, не жалил и не кусал. С деревьев на голову не падали змеи, а единственный увиденный аллигатор был размером с дамскую сумочку. В болоте оказались на удивление большие пространства открытой воды, и если сощурить глаза за стеклами медицинских противосолнечных очков в прозрачной пластиковой оправе, можно вообразить, что ты опять мальчишкой с папой, мамой и братом Хольгером плаваешь по озеру Каситас.

Удивил и причал на острове Билли, настоящая пристань, правда, всего на двух сваях, вбитых в топь, но все-таки. А позади нее — твердая земля. Почти. На сухом месте в болотных сапогах и спасательном жилете чувствуешь себя достаточно глупо. Он-то ожидал, как в фильме «Царица Африканская», жижи и зыбучего песка по пояс. А тут обыкновенные лужи и грязь. Немного пружинит под ногой, но и только, вполне сгодились бы просто джинсы, футболка и туристские башмаки.

Рой Дотсон шел первым, за ним неотступно, неслышными шагами настороженный, бдительный и скрюченный под тяжестью рюкзака, двигался Турко. Замыкал процессию Эберкорн — размашисто шагал на своих длинных, как жерди, ногах, стараясь увернуться от комариных полчищ, слетавшихся на каждый сделанный им шаг и тучей выдвигающихся вперед, предвосхищая еще не сделанный. Они шли еле видной тропой на другую сторону острова, где, по сведениям Дотсона, накануне утром разбил лагерь Саксби. («Карликовая рыба,— хмыкнул Турко, выслушав Дотсона.— Не иначе как предлог, вот что это такое, можете мне поверить».)

Они топали гуськом добрых четверть часа. Солнечный свет пятнами падал под ноги, просачиваясь сквозь кроны высоких сосен. Воздух здесь был тяжелый, густой, не как всюду, и знойный, пот лил прямо ручьями, и скоро они уже шли насквозь мокрые, словно добирались сюда от турбазы вплавь. Надо принять таблетку соли, вспомнил Эберкорн, но тут же выругал себя: эти таблетки он как раз забыл! А что бывает, если организм останется совсем без соли? Гибель, кажется? Принцип — как в электрической батарейке. Или как в аккумуляторе? Тут Турко вцепился Дотсону в локоть. Все трое остановились.

— Что такое? — тихо спросил Дотсон.— В чем дело?

Турко еще сильнее сдавил ему локоть.

— Лагерь,— чуть слышно шепнул он. Где-то за деревьями принялась громко орать какая-то птица, словно ее ощипывали живьем. Рой Дотсон хотел было что-то сказать, но Турко шикнул, не дал ему раскрыть рот:

— Ш-ш-ш,— глаза его холодно сверкнули.— Вы оба оставайтесь здесь. Я пойду один.

Эберкорну ничего не было видно — только древесные стволы и ветви. Ноги его в резиновых сапогах совсем спеклись, спасательный жилет сдавил грудь. Он тяжело втягивал воздух и откашливался насекомыми.

— Да тише же!

— Льюис...— Эберкорн хотел ему напомнить, что здесь все-таки не тропа Хо Ши Мина, хотя, может быть, и похоже, и Саксби — не коварный, вооруженный до зубов коммунистический партизан, а вполне неплохой малый, который любит рыбешек и Рут Дершовиц, да к тому же американский гражданин со своими неотъемлемыми правами, и похоже, он вообще никакого отношения ко всей этой истории не имеет или, если имеет, то самое поверхностное,— но Турко посмотрел на него с такой беспощадной яростью, что он так и закрыл рот, ничего не сказав. Это работа для Льюиса Турко, за нее ему деньги платят. Он высвободился из-под лямок рюкзака и бесшумно скрылся в гуще подлеска. Эберкорн и Дотсон посмотрели друг на друга. Ничего достойного внимания не было видно — никаких следов лагеря, палаток и вообще признаков цивилизации, но все-таки Эберкорн ощутил волнение и достал из карманов диктофон и блокнот. Кто его знает, может, Льюис и прав, может, япошка и вправду прячется там у Саксби и представляется реальная возможность нацепить на злодея наручники, покончить со всей волынкой и навсегда убраться из этой вонючей дыры.

Но Рой Дотсон был иного мнения. Он сжал губы в полоску, сердито свел брови.

— Он полоумный,— взволнованным шепотом произнес Рой.— Я же рассказывал, Сакс был поражен не меньше моего, когда увидел японца у себя в багажнике.

Эберкорн не ответил. Он продолжал вглядываться в гущу подлеска, скрывшего Турко, и вдруг двинулся туда же, ступая со всей осторожностью и легкостью, какую только можно в принципе требовать от долговязого альбиноса в высоких болотных сапогах. Рой Дотсон, пожав плечами, пошел за ним.

Лес стоял неподвижно, оцепенев от зноя. Снова закричала, заплакала одинокая птица, не вынесшая глубокого страдания. Эберкорн старался держать в поле зрения одно определенное пересечение ветвей впереди, хлопая и чавкая резиновыми подошвами, прилипшими к потным ступням, и переступая через пни. Руки и лицо облепили комары, но он даже не пытался их согнать.

И вот то, чего он ждал: громкий возглас. Он взорвал тишину, единственный изумленный вопль, взметнувшийся к перегретым верхушкам деревьев. Эберкорн и Дотсон бросились бежать, уже ни на что не обращая внимания, кроме хриплых голосов впереди, внезапного треска веток и возни в кустарнике. «Япошка! — думал на бегу Эберкорн.— Турко сцапал япошку!» Забыв про Дотсона, он рванул вперед что есть духу, ноги заработали мощно, как поршни, съехавшие вниз раструбы голенищ хлопали, словно паруса на ветру. Вон палатка. Надо же, под самым носом, а он не заметил. Закопченные камни вокруг кострища, между стволами растянута на просушку рыбачья сеть. Снова кто-то вскрикнул. Выругался. И как раз когда Эберкорн, споткнувшись об остывшую головню, чуть не упал, из колючего кустарника выкатились Саксби и Турко. Они извивались по земле, обхватив один другого руками, дрыгая ногами и круша шиповник. Турко одолевал, хотя его противник имел преимущество в шесть дюймов и пятьдесят фунтов.

— Пошел вон! — орал Саксби, но Турко применил к нему спецприем и вдавил его лицом в сырую почву. В луче солнца блеснули наручники.

— Льюис! — крикнул Эберкорн. Но Турко уже заломил противнику руки за спину и окольцевал его запястья.— Льюис, какого черта?..— голос Эберкорна стал тонким и оборвался. Дело приобрело не тот оборот. Разве так должно было все происходить?..

— Дет, вы что, сбесились тут все? — Саксби был в ярости. На щеке у него, точно широкая ссадина, виднелось пятно красной глины.— Уберите его от меня.

Но Турко схватил его и не собирался отпускать. Он оседлал Саксби, точно зловредный гном, упершись коленом в поясницу и вдавив пальцы левой руки в основание черепа.

— Цыц, ты,— произнес он твердым ровным голосом, без примеси адреналина.— Ты арестован, так твою мать.

Дешевые страсти

Все другие читали в маленькой гостиной под старинной бронзовой люстрой в непринужденной дружеской обстановке — слушатели размещались кто в креслах, а кто и вовсе растянувшись на полу. Для желающих выставлялся кофе, и херес, и непременно что-нибудь сладкое — сухарики или пирожные, обычно испеченные самой Септимой. Атмосфера вполне домашняя, нисколько не устрашающая, наоборот, подбадривающая: автор, какое бы место он — или она — ни занимал вне этих стен, просто делится с коллегами самым сокровенным, показывает, над чем работает. Старались обходиться безо всяких эффектов, без театральщины, ухищрений и дешевки, просто вставали и читали ровным, ненастырным голосом, пусть вещь говорит сама за себя, любые уловки выглядели бы неуместно, нарушали бы неписаные правила и причиняли беспокойство твоим товарищам. То есть иное поведение было бы невежливым. Словом, все читали в маленькой гостиной, под люстрой.

Все — но не Джейн Шайн.

Она — нет. Ей понадобилось читать во внутреннем дворике, после наступления темноты, и чтобы сверху на нее был направлен луч единственного фонаря, да еще в кустах азалий располагалась подсветка, совсем как на сцене, и бросала блики на ее цыганскую физиономию. Рут глазам своим не верила. Колонистов всех согнали во

двор и заставили рассесться на складных стульях, установленных в ряд, ну прямо шекспировская постановка под звездным небом. Три минуты на таком стуле равняются часу на дыбе, ей-богу. Возмутительно. Чего она добивается?

Рут в сопровождении Брай пришла, когда Септима уже пробиралась вперед, чтобы представить Джейн публике. Рут пренебрегла возможностью присоединиться к Сэнди, Айне и Регине, а предпочла сесть позади Миньонетты Тейтельбом и Орландо Сизерса, чье кресло на колесах оказалось в конце прохода. Последовали приглушенный обмен приветствиями и громкие, неодобрительные шлепки по комарам, после чего Рут смогла предаться разглядыванию этой пары со спины. Интересно, занимаются ли они любовью? Зависит от того, как низко у него поврежден позвоночник. Хотя Тейтельбом мало чего стоит. Старше Рут всего на пару лет, а выглядит!.. Вон у нее какие волосы, ну совсем как эта штуковина, что в ящики кладут, когда что-то упаковывают, как она называется? А морщины! Даже на шее! Какие там морщины — складки, рытвины, канавы, человек провалиться может!

От грез ее отвлек металлически усиленный голос Септимы. Микрофон! Она говорит в микрофон, этого еще не хватало! В «Танатопсисе» никто никогда не пользовался микрофоном, и вот теперь, из-за какой-то Джейн Шайн, Септима, движущая пружина всей колонии, ее основатель и арбитр высокого вкуса и традиций, говорит в микрофон. Какой кошмар! Преданы все принципы, на которых зиждется «Танатопсис». Рут просто не понимала, разве можно сидеть и молчать, будто так и надо, будто все эти средства: звукоусилительная установка, огни — будто это и есть профессиональное общение, когда делятся с коллегами своей текущей работой? У нее даже волосы на голове зашевелились.

— Это идиотство,— прошипела она на ухо Брай, когда светские модуляции Септимы, многократно усиленные аппаратурой, загрохотали над верхушками деревьев.

Брай обернулась — бессмысленное лицо сияет телячьим восторгом, огромные водянистые глаза под контактными линзами кажутся еще больше.

— Ты что говоришь! — прошипела она в ответ.— По-моему, это... это волшебно!

— ... с огромнейшим удовольствием и с глубоким душевным волнением,— гудело вокруг. Септима сжимала шею микрофона, словно душила кобру, которую обнаружила у себя в постели. Рут узнавала в ее глазах глаза Саксби, нос Саксби в ее заостренном старческом носе. Септима была в льняном костюме цвета чайной розы, на ногах — бежевые мягкие туфли, на шее — неизменное жемчужное ожерелье; она сделала себе свежую прическу.—... повторяю: с душевным волнением представляю вам необыкновенно одаренную молодую писательницу, автора сборника рассказов, удостоенных премии, а также романа, который выходит в...— Септима сделала паузу, заглянула в карточку, которую держала в слабой, венозной лапке, и назвала крупное нью-йоркское издательство; Рут сжала зубы от зависти и злобы.—... является самой молодой обладательницей престижной золотой медали Гутен-Уорбери по литературе, ежегодно присуждаемой в Великобритании за лучшее иностранное произведение, и столь же престижного...

Рут попыталась отключиться, не слушать; но усилители сделали это невозможным: громогласные восхваления отзывались у нее в грудной клетке, в легких, даже в кишках — все ее тело служило резонатором. Септима поставила Джейн в один ряд чуть ли не со всеми именитейшими писательницами в истории, от миссис Гаскелл до Вирджинии Вулф, Фланнери О'Коннор и Перл Бак, пользуясь эпитетом «престижный» как бормашиной (она употребила его, наверное, раз двадцать, Рут бросила считать на шестом). И наконец, после целой вечности славословий, закруглилась в манере ярмарочных зазывал:

— Леди и джентльмены, собратья-художники, танатопсиане! — так и сказала: «танатопсиане», подумать только! — Предлагаю вашему вниманию: ДЖЕЙН ШАЙН!

Взрыв аплодисментов. Рут чувствовала себя совсем больной. Однако где же она? Где достославная Шайн? Уж во всяком случае не сидит мирно в переднем ряду и не стоит скромненько сбоку от микрофона. Люди начали крутить головами, аплодисменты пошли на убыль. И вдруг среди сидящих поднялся ропот, снова гром аплодисментов, оглушительнее прежнего — как будто уже тем, что соблаговолила

явиться среди простых смертных, она заслуживает благодарность — и вот она, Джейн Шайн, распахнув балконную дверь, прошествовала во внутренний дворик.

Черные волосы — ее блестящие, наэлектризованные волосы испанской танцовщицы — взбиты так высоко, что напоминают гвардейские медвежьи шапки стражей Букингемского дворца. И сама вся в черном, в закрытом, под горло, псевдовикторианском одеянии, в каких она любит изображать из себя бедную принцессу-изгнанницу. Идет сквозь толпу, сдержанная, целеустремленная, глядя прямо перед собой и чуть поджав уголки губ — дело серьезное, играется высокая драма — спину держит ровно и семенит ногами мелко-мелко, крохотными, неуверенными шажками девочки, спешащей в школу. Испанская сирена, бедная принцесса, школьница. Кому она мозги пудрит?

Свет падает ей на лицо очень удачно, даже Рут не может этого отрицать. Луч сверху зажигает огнем волосы, превращает их в королевский венец, корону, в сверкающий клубок света; а второй источник, более мягкий, рассеянный, придает блеск неземным очам и подсвечивает снизу припухшие губы. «Коллагеновые маски»,— шепнула Рут простушке Брай, но Брай сидела, околдованная зрелищем божественной Джейн Шайн (хотя Шайн заработала всю свою славу в постели), и поэтому Брай ей ничего не ответила. Джейн поклонилась. Поблагодарила Оуэна и Рико и некоего Рауля фон Такого-то за освещение и аппаратуру. А затем устремила взор на слушателей и подержала паузу добрых тридцать секунд.

И вот она стала читать, безо всякого вступления, с места в карьер, подавая голос в микрофон умело и натурально, не то что Септима. Он звучал как ласка, как нежный шепот, он проникал в душу и там оставался. Рассказ был, конечно, о сексе, но секс преподносился в таких замысловатых, готических образах, тут что угодно может стать высоким искусством, от педикюра до месячных. Через три строчки Рут сообразила, что это вовсе не новое произведение, находящееся в работе, а рассказ, который Джейн напечатала два года назад и потом еще редактировала и доводила до ума, перед тем как включить в свой первый сборник. Работа давно сделанная. Старая работа. А вовсе не отрывок из романа, который «готовится к изданию», и не страницы, написанные здесь, в стенах «Танатопсиса». Вместо этого Джейн Шайн тут ломает комедию и зачитывает им обкатанный текст, уже читанный-перечитанный множество раз в аудиториях разных университетов. Осознав это, Рут до того обозлилась, до того завелась и озверела от ярости, что чуть было не встала и не ушла. Но, конечно, она не могла так поступить, ведь тогда бы все подумали, что она просто... ну да, завидует Джейн Шайн... в таком роде.., а этого она допустить ну никак не могла. Ни за что! Это — как упасть окровавленной посреди южно-африканской степи, чтобы над тобой кружили стервятники и в зарослях хохотали гиены.

Так что она осталась, но внутри у нее все кипело. Орландо Сизерс громогласно хохотал в тех местах, где у Джейн намечалось нечто вроде юмора, а ближе к финалу, когда злосчастные четырнадцатилетние любовники перед вечной разлукой покрывают лаком друг другу ногти на ногах, Миньонетте Тейтельбом даже пришлось взять его за руку, не то бы он разрыдался в голос. Бессовестная она, эта Джейн. Мало того, что угождает дешевым вкусам публики, завывая точно безумная и время от времени отбрасывая со лба аккуратно выгнутый завиток, но еще и подражает шведскому акценту, строит из себя скандинавскую кинозвезду (мальчишка у нее в рассказе швед, нордический полубог в коротких штанишках, а девица, разумеется,— простодушная американочка с черными кудряшками каталонской пастушки и очами инопланетянки). Когда Джейн дочитала, воцарилось потрясенное молчание, а потом кто-то — неужели Ирвинг? — крикнул: «Да!» — и загрохотала обвальная овация. У Брай были глаза полные слез, этого Рут ей никогда не простит. Сэнди свистел и докрасна бил в ладоши, его Рут тоже не простит никогда.

* * *

Потом был праздничный фуршет, который надо было как-то пережить. Меньше всего Рут сейчас хотелось толкаться около Джейн Шайн и поздравлять ее с успехом; но ничего не поделаешь. Остается сделать счастливое лицо и сыграть роль — невелика трудность, если уж на то пошло. Она так любит Джейн! Они ведь учились вместе. Она ей желает счастья.

Если бы только все это было так просто!

Кто-то поставил записи старых детройтских хитов — Марвин Гей, Марта и Ванделлы, «Четыре вершины» — и Рут чуть было не поддалась заразительному ритму, чуть не позволила себе расслабиться, но вовремя спохватилась, что эта музыка предназначена не для нее, а для Джейн, недаром она расхваливала эти записи в последнем номере «Интервью», который словно бы сам собой объявился на одном из столиков в гостиной. Джейн, оказывается, просто жила песнями этой группы, в очень ранней молодости, понятно, вернее сказать — даже просто в детстве (может быть, в детском саду?). У них такой, особенный какой-то, ритм и... как бы выразиться?.. Душевность, вот что в их музыке замечательно, Джейн в своем творчестве стремится к тому же, хотя ей, конечно, никогда не сравниться с «Новым папиным портфелем» и «Моим бубенчиком», но вот эта чувственность, эта живая плоть, je ne sais quoi [1],— это и есть ее конечная цель. Рут украдкой прочитала интервью. Рвотное.

Когда стихла овация, Рут вместе с Брай пошла в гостиную, куда Оуэн перенес — от комаров — столы с угощением, хотя все двери остались нараспашку и аппаратуру не выключали — на случай, если кто-то пожелает облегчить зуд в паху после прослушанного рассказа, вихляясь и обжимаясь под музыку. Но только не Рут. В ее намерения входило держаться в тени — присутствовать, конечно, все-таки знаменитая Ла Дершовиц, звезда вчерашнего драматического действа во внутреннем дворике; коронованная царица улья, создательница всего сценария с Хиро Танакой, естественно, ей принадлежит видное место, но не в центре общего внимания, сегодня — нет. Брай принялась качать головой в такт музыке, она уже немного выпила, и не успела Рут ее вовремя заткнуть, как она принялась охать и восторгаться.

— Ой, я такого в жизни не слышала! — лепетала она с придыханием.— Вот убей, вот разрази меня гром, это самый лучший рассказ изо всех, что я знаю. И самое лучшее чтение. На всем свете. Правда-правда.

Вытаращила глаза, разинула рот, глядит бессмысленно, на верхней губе — бисеринки пота. Рут остановилась, помолчала. И сказала как отрезала:

— Вздор. Дешевка. Это, по-твоему, чтение?! Знакомство с текущей работой?! А по-моему, это показуха. По-моему, это оскорбление.

Брай растерялась. Она смотрела ошарашенно, не знала, куда руки девать.

— И весь рассказ этот,— свирепо продолжала Рут,— мелодрама самого дешевого пошиба. Шведы четырнадцатилетние, я вас умоляю!

— Руу-ти,— с укором, на два слога, первый протяжный, под ударением, второй тихий и неодобрительный,— ты это, разумеется, не всерьез?

Ирвинг Таламус возник у нее за плечом, одетый в салатово-желтую рубаху с открытым воротом, хвастливо демонстрирующим черную спутанную поросль на груди. Рут с ужасом сообразила, что эта рубашка из комплекта, а шорты от нее она стащила для Хиро. Стоит рядом и улыбается, сардонически растянув в ниточку губы и острыми их уголками пронзая сердце Рут.

Брай стала ловить ртом воздух, словно оказалась по горлышко в воде.

— Вот и я тоже говорю, мистер Таламус...

Он остановил ее, подняв ладонь, а другой рукой нежно сдавив ей локоток, одновременно и по-отечески, и похотливо.

— Ирвинг,— поправил он.— Зови меня Ирвинг,— эдаким раскатистым, всеядным баритоном.

— Я то же самое говорю, Ирвинг,— с улыбочкой, вся такая из себя душечка,— я сколько раз слышала, как читают, еще в школе, и потом в университете в Нью-Йорке, но сегодня это было что-то особенное, меня будто подхватило и несет, нет правда, хоть побейте, она прямо как волшебница, колдунья, и если уж говорить о театральности, об актерской игре...

Брай так воодушевилась, что язык совсем перестал ее слушаться. Она выпучила глаза, то открывала, то закрывала рот, ну просто золотая рыбка в платье с голыми плечами.

— А ты как находишь, Рут? — глаза у Ирвинга прикрыты. Он между делом ухитрился одной рукой обнять Брай за талию. И вообще, кажется, ловил от всего этого большой кайф.

[1] нечто неуловимое *(франц.)*.

Но Рут не собиралась подыгрывать ему. И тем более у нее не было намерения говорить про Джейн Шайн, обсуждать ее надуманные рассказы и ее безмозглое эстрадное кривлянье. Рут сохранит полнейшее спокойствие. Олимпийское. Она выше всего этого.

— Уволь меня, Ирвинг,— проговорила она, глядя ему прямо в глаза.— Это не чтение, а предменструальная истерика.

И повернувшись на каблуке, оставила его с его лапами и волосатой грудью рядом с Брай.

За утешением она пошла к Сэнди, но и Сэнди оказался не лучше Брай. Он сидел на другом конце комнаты рядом с Бобом и барабанил пальцами под музыку, весь во власти впечатления от номера Джейн. Рут попыталась направить его в другую сторону, увести от идолопоклонства и посеять в его сердце семена критицизма. Но все бесполезно. Он блаженно потягивал пиво из банки и не отрывал глаз от небольшой группы вокруг Джейн — там толпились Сизерс и Тейтельбом, Септима, Лора Гробиан, Клара и Патси, и еще с полдюжины других, ну прямо ученики, окружившие самого Мессию. Саму Мессию.

Зато в углу она нашла Регину, та сидела одиноко и хмуро смотрела в бокал. Уж она-то не постесняется назвать дерьмо дерьмом, она понимает: Джейн Шайн — самозванка. Регина навела вокруг глаз черные тени и выкрасила волосы в цвет межпланетной ночи; и стала похожа на женщину Востока, с которой сорвали чадру.

— Ну, так как? — спросила Рут, присаживаясь к ней бочком,— будем хоронить ее рядом с Вордсвортом? Или все-таки ей Ф. Т. Барнум [1] более подходящая компания?

Рут безрадостно усмехнулась.

— Джейн? — уточнила Регина и раздавила окурок в кадке с пальмой у себя за спиной. Потом распрямила спину, пожала плечами и отвернулась.— Даже и не знаю. Она бывает совершенно несносной, корчит из себя примадонну, и вообще, но сегодня мне показалось, что она хотя бы добилась драматического эффекта...

— Драматического эффекта? — Рут была в недоумении.

— Если читать эту ее белиберду, я на пятом слове уже засыпаю. А ей все же вроде как удалось завладеть моим вниманием.

Тут уж Рут не смогла сдержаться, собственной голос вышел из повиновения.

— Да, удалось, но каким способом? Подделкой. Жульничеством. Высосанной из пальца ахинеей, которая скрывает тот простой факт, что скрывать-то и нечего!

Регина попробовала улыбнуться, но улыбка у нее не получилась и сползла с лица. Регина достала из кармана кожаного пиджака новую сигарету.

— Да черт возьми! — Рут лезла на рожон, пуская петуха, нельзя так, она знала, но была уже не в состоянии остановиться.— Неужели не очевидно, что Джейн,— она из последних сил постаралась хоть немного понизить голос, не довести до беды,— что Джейн Шайн — пустое место, дутая величина, ноль без палочки?

Тут только она заметила, что Регина смотрит мимо, ей за спину. И пытается что-то выразить, кривя рот и подмигивая подведенными глазами. Рут обернулась с усилием, будто погруженная в глину, в деготь, в тягучую смолу.

Сзади нее стояла Септима, и на лице у нее отражалась игра разнообразных чувств. А к Септиме подходила царственная Джейн Шайн, чуть заметно, изысканно поводя плечами, бедрами, переставляя ноги под музыку блюза, а лицо под высокой шапкой волос — каменное, ледяное. Между этими двумя женщинами выстроилось разомкнутое кольцо соглашателей и подхалимов, как на торжественной встрече. И все глаза устремлены на Рут.

Подойдя ближе, Джейн вытянулась, подобралась.

— Вот именно,— произнесла она стальным, как шампур, голосом.— Мы тут все, уверяю тебя, затаив дыхание, ждем, когда же почитаешь нам ты, Ла Дершовиц,— она выплюнула уважительное прозвище, как будто оно жгло ей язык, и замолчала на секунду, набираясь сил для нового выпада.— То есть если, конечно, у тебя есть хоть что-то людям прочитать. Найдется, я думаю? Над чем-то же ты тут все это время работала?

Рут растерялась. В голове у нее, заглушая все, звучала музыка Марвина Гея, и каждый взгляд в комнате был устремлен на нее. Первым порывом было нанести ответный удар, хряснуть кулаком по этим неземным очам, сорвать с шеи кружевной

[1] Ф. Т. Барнум (1810—1891) — американский импресарио и владелец цирка.

воротничок, испортить прическу, обозвать рассчетливой, бесстыжей литературной проституткой — а кто же она еще? — но она промедлила, и момент оказался упущен. У нее дергалось лицо, мысли неслись на повышенной скорости. А вокруг все как один человек ждали.

— Рути,— Септима взяла ее за руку по-дружески, по-светски, как будто вообще ничего особенного не случилось, словно эта холодная бездарная сука не оскорбила ее, не плюнула ей в лицо, не разнесла в щепы улей, а ее, царицу, не поразила смертоносным жалом! — Рути, дорогая, мы действительно все, Орландо и Миньонетта, и Лора, и я как раз говорили, с каким удовольствием мы теперь послушали бы вас, вы же понимаете, это здесь подразумевается, мы даем художникам бесплатный стол и кров, но рассчитываем, так сказать, на духовное вознаграждение...— Она, мечтательно улыбаясь, возвела глаза к потолку, словно различая сквозь него прекрасные дали былого.— Чего только не довелось нам слышать в этих стенах...

Вот оно. Вызов, пощечина, брошенная под ноги перчатка. Рут хотела отсидеться в тени, в углу, чтобы все сами увидели, что́ эта Джейн Шайн собой представляет; Рут хотела осилить ее исподволь, тонким маневром. Но ничего не вышло. У Рут бешено колотилось сердце, взгляд, наверное, был безумный, но слова своей роли она знала, знала твердо.

— Септима,— произнесла она ровным, спокойным голосом, глядя в мутные старческие серые глаза, словно вокруг никого нет, словно Джейн Шайн не стоит рядом, словно никакой Джейн Шайн вообще не существует, а просто у Рут происходит задушевный разговор тет-а-тет со старой дамой, вполне возможно, что ее будущей свекровью,— с огромным удовольствием!

Старейшина «Танатопсиса» до предела растянула древние губы в любезной улыбке.

— Тогда завтра же вечером? — нежно предложила она, и что-то ожило и блеснуло в мутной глубине полумертвых глаз.

Рут кивнула.

— В то же время, что и сегодня?

Как там поет Марвин Гей? «Нет таких высоких гор, нет таких глубоких рек...» Рут набрала в грудь побольше воздуха.

— Конечно,— сказала она.— Что за вопрос!

* * *

Утром она кляла себя на чем свет стоит. Надо же было оказаться такой дурой! Надо было так бездарно вляпаться! Джейн Шайн, видите ли. Рут ото всей души желала ей преждевременной смерти, обвислых грудей и парадонтоза, желала, чтобы она лопнула, как раздувшаяся лягушка из басни Эзопа.

Но от желаний проку мало.

В большом доме еще никто не проснулся и никто даже сквозь сон не успел ощутить ни малейшего намека на приход утра, и предстоящий завтрак, и рабочий день, и медлительное шествие солнца по небосводу, а Рут была уже у себя в студии, в трудах. Работалось ей так легко и сосредоточенно, что она бы и сама диву далась, будь у нее время задуматься, колотила по клавишам машинки, размахивала, как саблей, пузырьком с «забеливателем», и свежие, чисто, без единой помарки отпечатанные листы ложились перед ней в стопку один на другой. К десяти у нее уже были готовы переработанные отрывки из «Двух пальцев», и из «Прибоя и слез» — вовсе даже неплохо получилось, ей-богу — и плюс еще тот рассказ, что вернули из «Атлантика», ее вдруг осенило дать ему новое название: «Севастополь», с намеком на гибельную войну, которую ведут между собой герои, две пары. Она решила, что прочитает по куску из каждого, чтобы действительно получилось — над чем она теперь работает, а не то, что уже набрано, вылизано и одобрено, и на конец оставит главку из «Прибоя и слез», где изображен муж обреченной героини, списанный прямо с Хиро. А они все будут сидеть — Ирвинг, Лора, Септима, Сизере и Тейтельбом — и увидят, как она, Рут, победила шерифа, и Эберкорна, и того маленького наглого паршивца, который тогда во дворе, прямо у всех на глазах, дал им отведать подлинной жизненной драмы. И тут еще, конечно, сексуальное любопытство: что она знает о любви по-японски? спала она с ним? помогла ли ему бежать? А у нее только мелькнет на губах загадочная усмешка Ла Дершовиц, Ла Дершовиц,

царственной и недоступной. И думайте что хотите. Да, она им покажет, что значит авторское чтение.

Наступил час обеда, но Рут не прерывала работу. Не помешал ей и Паркер Патнем — или как его, Патнем Паркер? — который стучал, колотил, дребезжал, изо всех своих умеренных сил изображая плотника за работой. Он появился у нее на пороге часов в одиннадцать, сгорбленный, корявый, с исполинским ящиком инструментов в руке, и неуверенным, рокочущим басом хрипло сообщил, что «миз Лайтс» распорядилась привести коттедж в порядок. Возился целый день, но успел только вынуть обломки стекла из оконных рам да после часа трудов снял с петель сетчатую наружную дверь. Но Рут не обращала внимания. В другое время это вторжение довело бы ее до бешенства, но сегодня она была даже рада — он послан ей как испытание, как проверка, не перевернется ли ее тележка, если добавить еще один камень. Устояла тележка! Рут работала с полной концентрацией.

Было уже совсем поздно — четыре часа? пять? — когда он наконец собрал свой инструмент (на это тоже ушло не меньше получаса) и удалился. Смолк стук молотка. Не слышно было больше, как дребезжит обламываемое стекло, как он дышит со свистом и смачно сплевывает, как гулко колотит по железной двери. В студии воцарилась тишина. И тогда в душе у Рут шевельнулись первые ростки неуверенности. Что, если... что, если ее сочинения на самом деле никуда не годятся? Что, если они не понравятся в «Танатопсисе»? Что, если она выйдет перед публикой — и у нее язык к нёбу присохнет? Она представила себе торжество Джейн Шайн и почувствовала, как у нее сжалось сердце. Да нет же, это в желудке, это просто от голода, вдруг сообразила она, ведь она опять не съела обед.

Рут села за рабочий стол и методично сжевала все: крохотные круглые помидорчики, снятые прямо здесь, на огороде; заливную лососину с французской горчицей; хрустящие хлебцы, испеченные Арманом по собственному рецепту. И сразу почувствовала себя лучше. Подошло время обдумать макияж, прическу, решить, что надеть. Ничего претенциозного, понятно, никаких кружевных воротничков и старинных брошей. Джинсы и маечка. Серьги. На ногах — босоножки на платформе, в них пальцы на виду и подчеркивается подъем. Общий тон — простота. Все честно. Натурально. Все — в противоположность шайновским выкрутасам. И если рассказы еще не отделаны, не доведены до кондиции, то это совершенно неважно — она же прочитает только отрывки, а отрывки сильные. Рут ощутила возвращающееся воодушевление — ну конечно, все дело было в пище! — и новый прилив сил.

Она встала из-за стола, собрала свежеотпечатанные листки и засунула в большой потертый коричневый конверт. Кругом стояла глубокая тишина. В окна глядело клонящееся к закату солнце. Только теперь, впервые за весь день, она заметила, как, простреливая тень, в воздухе носятся птицы, рассаживаются по кустам, звонко распевают для нее одной. Она стояла спиной к двери, смотрела на них в окно и курила последнюю перед уходом сигарету, когда на крыльце вдруг послышался шум. Рут вздрогнула, резко обернулась, предполагая увидеть Паркера Патнема, возвратившегося за каким-то забытым инструментом, но с удивлением увидела, что это вовсе не Паркер Патнем. На крыльцо поднялась Септима.

Септима. Первой мыслью Рут было, что старуха заблудилась, в ее возрасте это бывает. Но взгляд владелицы поместья это допущение сразу опроверг: Септима с порога, поджав губы, оглядывала комнату. За плечом у нее маячила голова Оуэна. Одета Септима была как для работы в саду — соломенная шляпа, длинная рубаха поверх джинсов, мужские туфли.

— Рути,— произнесла она громким, принужденным тоном,— очень сожалею, что потревожила вас... Можно мне войти?

Рут от неожиданности растерялась и ничего не ответила. Септима придерживалась строгого правила никогда не заходить в студии, не нарушать творческого одиночества художников, и до «Харта Крейна» путь для дамы ее возраста был неблизкий. Рут молча пересекла комнату и распахнула перед нею дверь.

Что-то явно не так. Видно по лицу Оуэна и по тому, как Септима, отводя глаза, прошла мимо Рут и уселась в плетеную качалку.

— Уф-ф! — отдуваясь, произнесла она.— Ну и жара! Ей-богу, я никогда к ней не привыкну, никогда в жизни. Найдется у вас стакан воды напиться, Рути?

— Конечно.

Рут налила и Оуэну тоже, хотя он так и остался стоять на крыльце, не переступая порога.

— Спасибо, Рут,— сказал он, осушив стакан одним глотком.— Я, пожалуй, похожу тут снаружи, погляжу, что надо привести в порядок.— Это он объявил, ни к кому персонально не обращаясь, поставил стакан на подоконник и сказал Септиме: — Понадоблюсь — позовите.

Когда за Оуэном легонько стукнула сетчатая наружная дверь, Септима подняла голову и пристально, внимательно посмотрела на Рут. В неподвижном воздухе душно пахло предчувствием дождя. Наступившую паузу заполнили стрекочущие голоса леса.

— Я вижу, тут был Паркер,— проговорила наконец Септима.

Рут кивнула:

— Целый день стучал. Но мне это не мешало — совсем, можно сказать. Я была поглощена работой.

— Очень жаль,— вздохнула Септима, и Рут была с ней совершенно согласна, хотя и не знала, к чему относятся сожаления старухи: к неуместному приходу Паркера Патнема, или к погоде, или к самозабвенному увлечению работой? — Очень прискорбно, что они тут все так разорили, Тирон Пиглер со своими людьми. Могли бы, кажется, отнестись бережнее. И как они жестоко преследовали бедного японского юношу...

Рут опять кивнула. Снова наступило молчание. Под окном запела какая-то птица — беглые четыре ноты, вверх и вниз, вверх и вниз.

— Рути,— произнесла наконец Септима,— очень сожалею, что потревожила вас здесь, особенно когда вы так заняты подготовкой к своему творческому вечеру. Но возникла проблема первостепенной важности.

Рут, которая до сих пор смущенно по-хозяйски топталась по комнате, теперь взялась за подлокотники второй качалки и осторожно, опасливо опустилась в нее, словно боялась получить удар током в пятьдесят тысяч вольт.

— Я хочу спросить вас об этом молодом японце и надеюсь услышать от вас полную правду. Это происшествие внесло беспокойство в жизнь колонии, особенно после того, как он взял и убежал. Весь день как безумный звонит телефон, репортеры из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, со всего света. Так вот, я хочу знать степень вашего личного участия, Рути, насколько вы замешаны. Я полагаю, это мое право, вы согласны?

— Ну конечно,— приготовилась Рут.— Совершенно согласна. Но, как я уже вам объясняла...

Септима перебила ее:

— Вы знаете, у меня широкие взгляды, Рути, и вы знаете, как я отношусь к творческой атмосфере «Танатопсиса» и к личному поведению художников в том, что касается их морали и сексуальных правил...

Рут вытаращила глаза.

— Когда мой сын сообщил мне, что привезет домой еврейскую девушку, я и слова не сказала, вы же знаете, тут у нас столько еврейских талантов перебывало,— но я отвлеклась. Были ли вы в значительно более близких отношениях с этим иностранцем или не были, сейчас не обсуждается.— Старуха опять сделала паузу, и молчания хватило бы на то, чтобы потопить корабли и поглотить океаны.— Рут,— она так произнесла ее имя, что Рут, не совладав с собой, вздрогнула.— Рут, я хотела сообщить вам, что мне сегодня звонил Саксби.

Саксби звонил, звонил Саксби. Да? Ну и что?

— Он в тюрьме, Рут. В окружной тюрьме в Сисеровилле.

— В тюрьме? — услышь она, что он захвачен заложником в Ливане, Рут не могла бы удивиться сильнее.— Да за что же?

Септима бросила на нее искоса пронзительный взгляд.

— Это выяснят мои адвокаты, будьте спокойны. В настоящий момент он уже должен быть на свободе, и шериф со всей этой публикой будут рвать на себе волосы, что отважились связаться с Септимой Лайтс, можете мне поверить. Но дело не в этом. Дело в том, что его обвинили в пособничестве, якобы он помог японцу и отвез его в моей машине, в моем «мерседесе», в Окефенокские болота. Так вот, я хочу знать, Рути, кто запрятал юношу в багажник моей машины и что вы можете мне по этому поводу сказать?

Рут поразилась. Она просто остолбенела. Почувствовала, что почва «Танатопсиса» ускользает из-под ног, качается здание ее писательской карьеры, под ударом отношения с Саксби и черной дырой грозит из будущего беспросветная официантская судьба.

— Я врала,— вырвалось у нее.— Признаюсь в этом и прошу извинения. Но только насчет Хиро, то есть что помогала ему, пока... пока его не выловили. Но клянусь вам, что к его побегу я не имела никакого отношения и ничего об этом не знала. Ни я, ни Сакс.

Они просидели вдвоем добрых полчаса, и Рут пичкала старуху обрывками и крохами правды о Хиро — но близка она с ним никогда не была, на этом она настаивает! — все время возвращаясь к оправдательному тезису, что она его просто использовала, он был ей нужен для рассказа, для изучения, для искусства. Вот именно: все это делалось ради искусства. И она не хотела ничего дурного. Совершенно не хотела. Правда-правда!

Пока она кончила, тени за окном заметно удлинились, лес забормотал на вечерний лад, в общий хор влились звонкие голоса древесных лягушек и гулкие басы их прудовых сородичей. В дверях появился Оуэн. Септима откашлялась.

— Рути, вас приглашают завтра утром явиться к ним, мистер Эберкорн приглашает, и это не просто просьба, это официально. Мне известно о безобразной сцене, имевшей место во дворе, я простить себе не могу, что допустила людей такого пошиба в «Танатопсис», и я не знаю, как выразиться деликатнее, но я, со своей стороны, тоже хочу, чтобы вы поехали.— Септима посмотрела ей в глаза.— И это, к сожалению, тоже не просто просьба.

— Но... но они же... Меня схватили за волосы... грубо обзывали...— Рут обозлилась и ничего не могла с собой поделать. В то же время в желудке у нее сжался кулачок страха.— А что им от меня нужно?

Старуха ответила, аккуратно подбирая слова:

— Точно я не знаю, Рути, но, по-моему, хотя бы это вы обязаны сделать. Мой сын из-за вас попал в тюрьму.— Она переждала, пока весь смысл ее слов дошел до Рут, мгновенье повисло, разбухшее, враждебное.— В свете всего случившегося,— осторожно заключила Септима,— ввиду эмоционального стресса, я вас вполне пойму, если вы захотите отложить намеченное на сегодняшний вечер чтение...

Отложить чтение! Рут чуть не подскочила в кресле от радости и облегчения: избавилась! как удачно! — и тут же одернула себя. Если она не будет сегодня читать, по какой бы то ни было причине, ну, разве только начнется ядерная война, они растерзают ее, словно стая шакалов. *Рут струсила*, пойдут разговоры, *она только и умеет, что языком молоть. Слышали, что Джейн Шайн о ней сказала?*

— Вы уверены, что с Саксби все будет в порядке?

— Я знакома с Доннаджером Страттоном сорок два года, и он лично поехал улаживать дело Саксби,— вздохнула Септима.— Он ужасно упрямый, Саксби, я хочу сказать, с самого детства такой был. Сейчас ему понадобились белые рыбки, вы об этом знаете, Рути, и он намерен оттуда ехать обратно в Окефенокские болота, ловить их. А до полицейской облавы ему дела нет, так он мне сказал.

Рут опустила взгляд на коричневый конверт, по-прежнему покоящийся у нее на коленях. Когда она подняла глаза, решение уже было принято.

— Нет,— произнесла она твердо.— Я буду читать.

Власть человеческого голоса

Пусть только его вызволят отсюда; первое, что он сделает,— это найдет того бородатого убийцу-недомерка в одежде армейского образца и даст ему такого пинка под зад, что он у него перелетит в соседний штат. И Эберкорну, гаду, тоже. Может быть, с потными нелегальными иммигрантами, булькающими от страха в собственной луже, тактика заламывания рук и годится, но не с ним, он покажет всякому сукину сыну, как его мордовать! Его или Рут. И ведь в этом не было никакой необходимости, совершенно не было. Просто черт знает что. Безобразие.

Саксби Лайтс, отпрыск благородного клана землевладельцев с острова Тьюпело, сын покойного Мариона и Септимы Холлистер Лайтсов и любовник никому неизвестной сочинительницы из Южной Калифорнии, сидел в бетонном тюремном

боксе в окружной тюрьме города Сисеровилла, штат Джорджия, заточенный туда личными заботами шерифа Булла Тиббетса и специального агента Иммиграционной службы Детлефа Эберкорна. В его камере имелись: унитаз из нержавейки, привинченный болтами к полу, и койка, привинченная к стене. Три стены из четырех были ярко-зеленого цвета и покрыты внушительным слоем вдохновенно выполненных фресок двойной тематики: Спаситель наш Иисус Христос вместе с оценками вероятности Его пришествия, и половой акт, совершающийся между мужчинами и женщинами, мужчинами и мужчинами, мужчинами и мальчиками, мужчинами и всевозможными существами иных биологических видов. Примитивные портреты Иисуса, в комплекте с бородой и нимбом, перемежались с изображениями огромных вспученных фаллосов, плывущих поперек стен наподобие дирижаблей. Четвертую стену заменяла железная решетка от пола до потолка, как в обезьяннике. Вдоль решетки шла бетонная дорожка. Пахло хвойным освежителем и мочой.

Саксби стоял. Он был слишком зол, чтобы сесть. Когда злость на минуту отпускала, он то впадал в уныние, то беспокоился, волновался за Рут — и за себя. Что, если она вправду помогла ударать этому японскому малому? Что, если это она его упрятала в багажник? Разве с нее не может статься? Вот ведь скрыла же она от Сакса всю эту историю. Лгала же ему. Как тут не беспокоиться? Он не попадал за решетку с университетских времен, когда просидел ночь в кутузке за дебоширство в пьяном виде. Это еще не делает из него заядлого преступника, верно? Он признает, что вся японская история начинает выглядеть довольно подозрительно, особенно после того, что натворила Рут, и понятно, Эберкорн раздосадован, он оказался в дураках, все так. Но это ничего не извиняет. Они просто идиоты. Не видят, что ли, что он не преступник? Он же первым сообщил им про японца. А они, здрасьте пожалуйста, напустили на него десантников, вывихнули ему все позвонки, нацепили наручники, унизили его и приволокли в тюрьму, как какого-то сицилийского торговца наркотиками. Хотя ничего этого не нужно было. Он бы добровольно с ними поехал.

А может, и нет. Пожалуй, что и не поехал бы. Вот именно, что не поехал бы ни за что на свете, если бы его не заставили грубой физической силой. Вот только явится Доннаджер Страттон, он немедленно поедет обратно на остров Билли, и плевать он хотел на все полицейские кордоны. Подумаешь дело — сводить счеты с Эберкорном и его подручным. Успеется.

Причина, разумеется,— рыбка Elassoma okefenokee (или: Elassoma okefenokee lightsei — очень соблазнительно было добавить в название свою фамилию, соблазнительно, хотя и немного наивно). Она нашлась. Нашлась наконец! И как раз когда Саксби приступил к делу, забросил сети и напал на золотую жилу, этот безмозглый недомерок-коммандос навалился на него сзади. Выбрал время: Сакс только отыскал свою альбиноску, больше двухсот их попалось в сети за первые шесть забросов, и тут же их у него забрали. Вернее, его у них.

Но ведь что поразительно! Они там и оказались, где Рой говорил. А Рой не хотел, чтобы он ехал. Когда тот японский артист-эскапист вдруг выскочил из багажника и сиганул вперед головкой в болото, Рой говорит: «Это что это такое было?» И в затылке чешет, пялясь туда, где Хиро Танака прокладывает пенный след через гладкую заводь. Саксби поначалу в ответ слова произнести не мог. Он думал, галлюцинация. Словно бы запузырил мячик в небо, а он обратно не падает, словно открыл газ на плите, а прямо из пальцев — огонь. Смотрит, разинув рот, и руки висят, как белье на веревке. Но потом опомнился, увидел возможное в невозможном, сопоставил багажник, остров Тьюпело и землю у себя под ногами, и на него накатило бешенство, будто тысяча автомобильчиков, потеряв управление, понеслась по кровотоку.

— Сволочь! — заорал он и вбежал в воду, как бросается аллигатор на жертву, грозя кулаком быстро удаляющемуся пловцу.— Ты, ты...— он никогда раньше не употреблял таких слов, но теперь они посыпались у него с языка, словно впитанные с молоком матери,— ты, япошка, косой, желтомазый! — Он стоял по колено в воде, размахивал кулаком и орал,— Я тебя убью, слышишь? Убью-у-у!

Рой ухватил его за пояс и притянул обратно на берег. Немного спустив пары, Саксби объяснил Рою ситуацию, и тогда Рой сделал каменное официальное лицо как второй человек в Окефенокском государственном заповеднике и фактический его

комендант, имеющий офис в туристическом центре имени Стивена Ч. Фостера и безусловно преданный интересам всех млекопитающих, птиц, рыб и рептилий в болоте, а также интересам министра внутренних дел, который непосредственно занимается соблюдением мира и законопорядка.

— Теперь нам нельзя туда плыть,— твердо сказал Рой,— после такого происшествия.

— Это еще почему?

Рой насупился.

— Потому что мы обязаны уведомить шерифа, власти. Они, наверно, захотят организовать облаву, совместно с нашими людьми,— он уже не обращался к Саксби, а рассуждал сам с собой.—...понятно, он далеко забраться не успеет, его там в два счета изжалят, искусают и схарчат. Это — если он еще раньше своим ходом не потонет, что само по себе далеко не факт...

— Рой.

— Да?

— Я все равно еду туда.

Рой будто не слышал.

— Ты говоришь, он японец?

Саксби кивнул.

— Тогда, конечно, трудно сказать. Я слышал, японцы — нация предприимчивая, м-м? — Рой надвинул на брови козырек фуражки и поглаживал нос, будто что-то постороннее и чужое.— Только как ни взглянуть, такого ведь болота у них в Японии нет, а предприимчивость, она все же имеет пределы, ты меня понимаешь? — Он устремил взгляд на низкое дощатое строение туристического центра у Саксби за спиной, а потом перевел обратно на тот берег, где зелень укрыла Хиро в своих растительных объятиях.— Я думаю, к закату его выловят и доставят.

— Тем более мне надо ехать. И вообще, заповедник ведь пока не закрыт, верно?

Лодка была уже наполовину спущена с прицепа на воду в тихую крестильную купель заводи, лоснящаяся фиберглассовая корма покачивалась на слабой волне. Это была личная лодка Роя, его собственной постройки, специально для плаванья по болоту, чудо остойчивости и маневренности. По скуле выведено название: «Пекод П», вызывавшее улыбку. А вокруг были люди, изрядно людей с рыбачьими снастями и сумками-холодильниками в руках, с загорелыми воспаленными лицами и сощуренными в щелку небесно-голубыми глазами. Они поглядывали на Роя и Саксби: еще бы, плавучий японец — явление не менее поразительное, чем восьмидесятифунтовый сом или олень о трех ногах,— но продолжали заниматься своими делами, словно не случилось ничего из ряда вон. Взвывали моторы, от причала отходили лодки, взрезая килем воду коньячного оттенка. И Рой, на одну минуту сбросив официальный вид, сказал:

— Ну ладно, поезжай. Но учти, что ты теперь сам по себе, я тебе больше не помощник, ситуация изменилась. Если дела примут серьезный оборот, я сам приеду за тобой,— добавил он.

И Рой ушел в контору вызывать по телефону Булла Тиббетса, Детлефа Эберкорна и Льюиса Турко, а с ними целую толпу любопытствующих, тянущих шеи, дерущих подбородки — представителей не в меру любопытной национальной прессы; а Саксби в длинной, низкой, плоскодонной лодке Роя один отправился на остров Билли.

Было еще совсем рано. Стоило Саксби оставить за кормой рыбаков в соломенных шляпах, с удилищами наперевес и с утренней баночкой пивка под рукой, и его со всех сторон обступило глухое безмолвное болото, место неустанного тайного бдения под кисеей туманов. Направление Саксби выбирал безошибочно: при всех непринужденных замашках шалопая-южанина он был в сущности точен и четок, как нейрохирург. Он без труда разыскал узкую протоку, выводящую с тыла к острову Билли. По этой протоке без пропуска плавать не разрешалось, и к тому же широкие прокатные моторки по ней заведомо не проходили, так что она вся заросла и пряталась в пышной зелени жимолости и остролиста. Саксби вел лодку, отталкиваясь шестом и по временам останавливаясь, чтобы обрубить спутанные ветки,— мачете ему оставил предусмотрительный Рой. К девяти часам одежда на нем промокла от пота, носки прилипли к ступням, а в лодке образовался мокрый салат

из рубленых листьев, сучьев и жирных, растерявшихся пауков. Между тем распогодилось, изморось прошла, и солнце уже палило вовсю, когда Саксби вошел в обросшую кустами железняка заводь, которую Рой ему расписал со всеми подробностями, вплоть до последнего кувшиночного листа.

Заводь как заводь, пятьдесят футов в поперечнике, пять-шесть футов глубиной, с одной стороны — луг, наглухо заросший осокой и пушицей, с оторочкой из кувшинок вдоль воды, напротив — стена карибской сосны, остров Билли. Просто лужа, если честно сказать, только аллигаторам плескаться — один восьмифутовый как раз покачивался на воде прямо по носу, завис, как парашютист в затяжном прыжке: лапы растопырены, бахромчатый хвост не шевельнется. Да, вполне обыкновенная заводь, здесь таких тыщи, но для Саксби — совершенно уникальная, заводь из заводей, место, где таится карликовая рыбка-альбиноска во всей своей редкостной, недоступной славе.

Он едва сдержался — хотелось немедленно насадить приманки и протянуть невод, чтобы вскипела вода под ударами рыбьих хвостов; но он знал, что так нельзя. Хотя день был ясный, светило солнце и небо выгнулось над землей голубым шатром, но погода здесь переменчива, каждую минуту могут набежать тучи, поэтому прежде всего надо разбить лагерь, для верности. Больше получаса на это не уйдет.

Когда Саксби снова выплыл на середину заводи, вода ослепительно сверкала, подожженная лучами солнца. Аллигатор смылся — и слава Богу, не хватало еще, чтобы к нему в невод попался эдакий хищник. Саксби зарядил полдюжины ловушек, а потом протянул невод через всю заводь. Он не особенно полагался на невод: если зацепится за корягу, то может образоваться дыра, и рыбы уйдут, тут приходится уповать на удачу. Зато невод после динамитной шашки — самое верное средство узнать, что там под водой. А как замирает сердце, когда концы невода постепенно стягиваются, образуя словно бы мешок, и видно, как рыбы в нем бьются, баламутят воду, рвутся вон сквозь ячейки, а ты вытягиваешь мешок на сушу, и вот они, серебряные, золотые, будто целая груда драгоценных монет!

В первый раз невод не принес ничего — зацепился за утопленную ветку. Зато во второй Саксби сорвал банк! Он стоял, весь взмокший от пота и облепленный кашей из раздавленных комаров, по самые ягодицы в жидкой грязи, а сеть приближалась, горловина мешка затягивалась, и чувствовался в нем вес и кипение жизни. Наконец Саксби перевалил невод через борт в лодку, покачивавшуюся рядом, и увидел! Альбиноски! Две, три, пять, шесть, восемь, десять... Он взволнованно считал, выбирая их из бурлящего рыбьего месива, выкидывая, как мусор, пескаря и окуня, и ту же карликовую, но только обыкновенную, темную. А хороших альбиносок пускал в ведра с водой, которые установил в ряд на дне лодки. Потом забросил невод еще раз. И еще раз. И только когда солнце уже начало клониться к лесу, он заставил себя остановиться и перенес свои сокровища в лагерь. (Совсем как старатель-одиночка, обезумевший золотодобытчик, напавший на богатую жилу, он не хотел, не мог остановиться, но приходилось: вода в ведрах разогревалась, и как бы еще не потерять добытое). Так что он их вынес из лодки, чтобы расставить в тени под деревьями. Да. И тут на него набросился Турко.

Все время, пока его везли на катере на турбазу и пока сквозь строй фотографов и репортеров вели по лодочной пристани в контору, где восседал Булл Тиббетс, жуя свою жвачку и поглаживая брюхо, словно хрустальный шар, Саксби твердил о своей невиновности. Негодовал, подольщался, доказывал, молил, угрожал — Эберкорн ничего не слушал. Эберкорн был зол: скулы сжаты, розовые глаза смотрят неумолимо. «Довольно, мистер — сказал он.— Хватит из меня дурака делать». Он утверждал, что Саксби и Рут знают что-то, но от него скрывают. Поэтому против них теперь будут выдвинуты обвинения. Кое-кто сядет в тюрьму. Дело это нешуточное, пахнет крупными неприятностями. Но с другой стороны, если Саксби согласится на сотрудничество — если Рут согласится на сотрудничество,— можно было бы договориться снять обвинения. Все, что нужно Эберкорну,— это нелегальный иностранец. И он его добудет!

Саксби был раздосадован, взбешен, перепуган. Им что ни толкуй, они не верят! Ничего он не знает! Не знает? Пусть пороется в памяти! И сообщит точное местонахождение Хиро Танаки и объяснит, почему и как пособничал его побегу. А до той поры придется ему посидеть в тюремной камере, повспоминать.

Очень долго Саксби был просто не в состоянии ничего толком сообразить и думал только об одном: вот бы сейчас вскочить, одним усилием, наподобие какого-нибудь супер-героя, разорвать наручники и расквасить эту вареную пегую морду. А потом Эберкорн одним брезгливым жестом отправил его вон, и его доставили в окружную тюрьму в Сисеровилл и дали возможность позвонить по телефону. Он позвонил матери. Мать была для него фигура значительная, всемогущая, мать-заступница, у которой он искал защиты, еще когда мальчиком без отца, не изжив северо-восточного акцента, вел борьбу за выживание в южной школе. Мать выразила негодование в самых отчетливых и воинственных тонах:

— Не пройдет и часа, как Доннаджер Стреттон вызволит тебя из камеры, вот посмотришь, а к вечеру обо всем будет лично уведомлен губернатор — право, я до сих пор ушам своим не верю! — и тогда эти жалкие агентики у меня взвоют, можешь мне поверить.

— Мама,— перебил он ее тогда,— мама, они велят, чтобы приехала Рут.

— Рути? — повторила она, и он явственно услышал, как у нее в мозгу щелкнули переключатели.— Но они ведь не могут думать?..

— Могут, мама, они все могут. Они хотят, чтобы Рут приехала сюда и отправилась в заповедник с мегафоном, или каким-то там громкоговорителем, и принялась звать его по имени — они говорят, она единственная, кого он знает, единственная, кого он послушает...

— Но это абсурд.

— И я им то же говорю. (*Вы даже не представляете себе, как велика власть человеческого голоса,*— напыщенным, официальным тоном сказал ему Эберкорн.) Но это не просьба, мама. Они требуют, чтобы она явилась завтра утром, а иначе ее тоже посадят.— Саксби замолчал на минуту. Он находился в большом помещении, под потолком лениво крутились вентиляторы, на стенах висели объявления: «Разыскиваются...» Помощник шерифа не спускал с него глаз.— Ты ей так и передай.

* * *

Септима передала. Рут это очень не понравилось. Очень. Она почувствовала, что Саксби, и Септима, и «Танатопсис», и весь открывшийся ей в нем блистательный большой свет искусства и славы уплывают у нее из рук — она словно повисла над зияющей пропастью, а Джейн Шайн, и Детлеф Эберкорн, и даже Септима бьют ее по пальцам микрофонами и плоской несгибаемой скрижалью закона. Выбора у нее не было. Утром Оуэн отвезет ее в Окефенокский заповедник, и Детлеф Эберкорн с Льюисом Турко, и кого там еще они с собой захватят, повезут ее в самое болото, а там она должна будет выкрикивать имя Хиро и уговаривать его сдаться. Это ей предстоит сделать завтра — ради Саксби и ради Септимы. И может быть, даже ради самого Хиро.

Но это завтра. А сегодня вечером она выступит с чтением своих вещей.

* * *

К девяти часам колонисты собрались в передней гостиной и расселись по своим привычным креслам, диванчикам и кушеткам в неярком, будничном свете, исходившем от зажженных тут и там настольных ламп. Ни прожекторов, ни микрофонов. Ровно в девять появилась Рут, одетая словно бы на прогулку. Она затратила порядочно времени на свое лицо, ногти и прическу, но оделась просто: маечка, джинсы и платформы — как было задумано. В ее выступлении все, до мельчайшей детали, должно было контрастировать с тем, что происходило накануне. Никаких дешевых эффектов сегодня не будет — ни шведского акцента, ни слезливого кривлянья — а только работа, честная работа, честно представленная на суд коллег.

Первое, что Рут заметила, когда уселась в кресло под люстрой,— это что Септима к сегодняшнему вечеру не причесалась. Прическа у нее была вчерашняя, и хотя выглядела вполне элегантно, у нее все выглядит элегантно, однако с боков волосы слегка растрепались, смялись после ночи. Второе, что увидела Рут, была Джейн. Ла Шайн сидела на кушетке, втиснутая между Ирвингом и Миньонеттой Тейтельбом, а рядом стояло кресло с Сизерсом. Высокий усеченный конус волос она сегодня распустила в виде пелерины, черные пряди, как у Медузы Горгоны, цепляли

Ирвинга и Тейтельбом и свешивались на лицо, пряча неестественный ледяной блеск глаз. Из-под покрова буйной растительности просвечивал белый шелк жакета. Сидит непринужденно так, космы развесила, словно ее из пролетающего самолета выбросили. И на Рут посматривает с презрительной застывшей усмешкой.

А Рут на нее ноль внимания, она всех их в упор не видит. Хотя нет, так неправильно. Надо быть серьезной, милой, переполненной дружескими чувствами, радостью соучастия, общностью таланта. Она заставила себя обвести взглядом гостиную, заглядывая с улыбкой в каждую пару глаз.

Септима поднялась, сложила ладони и просто сказала:

— Рут Дершовиц.

Рут встала и поклонилась в ответ на вежливые аплодисменты. А затем снова села — она не собирается читать стоя, давить на слушателей, ломать комедию. Пусть видят, как должно проходить чтение, это будет демонстрация, исправление ошибок, возврат к исходной манере, и Джейн Шайн окажется поставлена на место раз и навсегда.

Сначала — «Два пальца на правой ноге», с небольшим вступлением, которое она начала негромким, ровным голосом, словно в легкой задушевной беседе. Но говоря, постепенно воодушевилась и, глядя на лица собратьев по перу, ощутила к ним нечто вроде любви. Объяснила происхождение сюжета — возможно, что с излишними подробностями, возможно, тут она ошиблась — рассказала про маленькую Джессику Макклюр, которую все помнили по газетным публикациям — как она совсем крошкой героически боролась за жизнь в темном колодце техасской шахты; описала свою скромную работу над пресуществлением голых фактов в произведение искусства. А затем начала читать, вкладывая все силы и непривычное трепетание в грудной клетке, которое означало некое подобие любви ко всем, кто слушал, включая Джейн,— вкладывая все это во властное звучание человеческого голоса — просто ровного человеческого голоса безо всяких эффектов.

Начать Рут решила с куска, где маленькая Джессика уже выросла и превратилась в трудного подростка, восстающего против бездушной техасской жизни после своего звездного часа, когда-то проведенного во фрейдистском черном туннеле глубоко под землей. Тут и секса было навалом, похлеще, чем у Шайн, и яростного неприятия действительности, которое должно вызвать у Таламуса и Гробиан с компанией бешеный энтузиазм. Затем она прочитала довольно длинный отрывок про то, как бывшая маленькая народная героиня, спасенная из шахты, оказалась замужем за хиппи со скотскими наклонностями и уголовными наколками, на пятнадцать лет старше себя. Кончив читать, Рут оторвала глаза от страницы и так душевно, так тепло улыбнулась, как не улыбалась, кажется, никогда в жизни. Но только почему-то энтузиазма не увидела, скорее наоборот. Все сидели с безжизненными, каменными лицами. «Осоловелые»,— пришло ей в голову слово. Да нет, она ошибается, не осоловелые, а потрясенные, вот какие у них лица. Она подержала улыбку, и раздались негромкие аплодисменты.

— Благодарю,— прошептала Рут и, блаженно зажмурившись, подогнула ноги, точно кошка на солнцепеке. Неужели это она, Рут Дершовиц, в роли простой и непритязательной художницы, упивающейся творчеством, приковала к себе все взоры?

— А теперь,— пролепетала Рут прочувствованно и кротко,— я хочу поделиться с вами моей текущей работой. Называется — «Севастополь»,— тут она прервалась на минуту и обратилась, сидя, к Ирвингу Таламусу: — Эту вещь я делала под великодушным и — как бы выразиться? — бережным наставничеством Ирвинга, за что я ему бесконечно благодарна. Спасибо, Ирвинг.

Ирвинг на миг вынырнул из-под черного каскада волос Джейн, оскалился в ответ, обнажив все зубы, и сказал что-то соседям, вызвав взрыв смеха, что именно, Рут не расслышала, но наверняка что-нибудь обаятельное и лестное для скромницы Ла Дершовиц, художницы, соратницы великих, верной служительницы искусства.

Рут продолжала говорить, сделала подробное — слишком подробное, как она потом, задним числом, поняла — вступление, а затем прочитала длинный кусок, целиком состоящий из внутреннего монолога. Жена по имени Бейб, женщина за тридцать, с тонким, красивым лицом, чистит креветки и отбивает щупальцы осьминога для супа буйабес, а сама размышляет о своем безрадостном браке с адвокатом Декстером, несостоятельным мужем, и о своей несостоявшейся любви

к адвокату Марвелу, мужу лучшей подруги Кларисы, каковые вместе образуют первую пару. В этой повести секса всякого понамешано дай боже — ее ведь и из «Атлантика» вернули за «смачность»,— но Рут прочитала отрывок, где почти ничего этого нет, нарочно такой подобрала. Джейн выдала им секс и ничего кроме секса, а Рут ответила на это отрывком из «Двух пальцев»... Перебарщивать ни к чему. Да и последняя вещь, ее шедевр, вершина, вся просто пропитана сексом.

Читая из «Севастополя», она немного отвлеклась — не забылась, не потеряла верную ровную интонацию, но мысли ее отлетели на несколько часов назад, когда она одевалась и готовилась к выступлению, и тут позвонил Сакс из Сисеровилла. «Сакс! — взволнованно произнесла Рут в трубку.— Как ты? Что у тебя?» Брай и Сэнди (уж нет ли чего между ними?) сидели в это время в вестибюле под окном и болтали про редакторов, и про знаки зодиака, и про знакомых писателей, которые разжирели, облысели и утратили всякую силу воздействия, и чтобы она могла вести интимный разговор, перешли почти на крик. То был ответственный миг в карьере Ла Дершовиц — на глазах у публики в ее жизни разворачивалась настоящая драма: любовник в тюрьме, на болоте облава, во все окна и двери стучится пресса (в тот день ей звонили из шести газет).

— Я в порядке,— ответил Сакс.— Страттон в два счета меня вызволил и теперь вчинит им иск за незаконный арест, всей банде.— Он замолчал, дыша ненавистью.— Но он все-таки считает, что нам следует вести себя с ними в открытую, то есть, ну ты понимаешь, сотрудничать. Против нас у них ничего нет — черт, я говорю, как в гангстерском кино,— мы ничего дурного не сделали, они, конечно, снимут обвинения и будут умолять нас забрать иск, но Страттон все-таки говорит, что мы должны сотрудничать.

— Но, Сакс,— не голос, а масло, мед, ладан и мирра,— при чем тут ты? Ты же ни в чем не виноват, и они это знают.

— Просто Эберкорну вожжа под хвост попала, вот и все. Он думает, что мы, ты и я, в сговоре с этим японским малым, что это мы как-то освободили его из кутузки позади студии Патси и упрятали в «мерседес». А мы никакого к этому отношения не имеем, правда ведь, Рут?

— Я тебя люблю, Сакс,— шепотом сказала Рут. Это был знак. Когда тебе говорят: «Я тебя люблю», ты тоже отвечаешь: «И я тебя люблю». Вроде «здравствуй» и «до свидания», «как живешь?» и «что слышно?». Но Сакс не ответил.— Сакс,— повторила она.— Я тебя люблю.

— Я тебя тоже люблю,— отозвался он наконец, но безо всякой убежденности в голосе, и это ее испугало.

— Я же сказала тебе, Сакс,— заторопилась она,— клянусь, я к этому никакого отношения не имею и хочу только одного: чтобы Хиро Танака оказался в тюрьме и чтобы всем неприятностям пришел конец.

Кажется, это его смягчило. Он останется тут в мотеле — он беспокоится за своих рыбок (голос оживился, он снова стал прежним Саксом, ее Саксом!),— он их наловил! И они остались на острове Билли в двух ведрах, он даже не успел поставить кислородный компрессор, так что завтра с утра пораньше он за ними туда отправится. Но конечно, до этого встретится с ней. Она ведь приедет?

— Да, Сакс,— все так же шепотом.— Ну конечно. Я для тебя на все готова,— совсем замирающим голосом.— Ты же знаешь.

Какой-то промежуток времени, одно затянувшееся мгновение, три страницы, Рут читала, немного — чуть-чуть — отключившись. Потом, на последней странице, опомнилась, пришла в себя и со скромным, деловым кивком дошла до финальной точки. Подняла голову. Улыбнулась. Раздались редкие хлопки, как шорох дождя в пустыне. Лица у слушателей были хмурые, измученные. Лора Гробиан будто успела пережить железнодорожную катастрофу. Орландо Сизерс не то покашливал, не то напевал что-то. Сэнди словно только проснулся. Не затянула ли она эту сцену? — мелькнуло у Рут опасение. Но она от него отмахнулась. Ведь главное, гвоздь программы, еще впереди. На закуску их ждет «Прибой и слезы»!

С этой вещью надо было пройти по лезвию бритвы между интересом к реальным позавчерашним событиям, происшедшим здесь, во внутреннем дворике (и как она завоевала все сердца: Хиро, Эберкорна, шерифа — и одержала победу), и ее эстетическим принципом: для нее, в отличие от кривляки Шайн, литература — это работа над глубинными залежами творческого вымысла. Сначала вступление, нефо-

рмальное, задушевное, как разговор с больным другом. Рут коснулась происшествий последних нескольких дней (а также и предшествовавших недель), не упоминая по имени ни Хиро, ни Сакса, ни сисеровиллскую окружную тюрьму, где час за часом надрывался телефонный звонок. Но о японцах вообще она немного порассуждала. Можно ли ее считать в этом деле авторитетом? Располагает ли она знанием из первых рук? Вместо ответа она, как и было запланировано, загадочно улыбнулась и приступила к чтению.

Где-то на середине рассказа Орландо Сизерс захрапел. Не так чтобы вызывающе громко, не трубил гулко носом, не вздувал мощно мехи легких, но тем не менее захрапел. Рут оторвала глаза от страницы: Сизерс откинулся в инвалидном кресле, как убитый наповал, задрав к небесам жесткую бородку, клетчатая фесочка, которую он никогда не снимал, держалась на его запрокинутой макушке вопреки действию силы тяжести. Храп был тихим, почти вежливым, но при всем том достаточно отчетливым. Его слышали все.

То есть все, кто не спал. Рут посмотрела на своих слушателей и была поражена в самое сердце. Септима клевала носом. Лора Гробиан погасила настольную лампу возле себя и завернулась в теплый шарф, устремив в пространство свои знаменитые загнанные глаза. Голова Брай покоилась на плече у Сэнди, а он никак не мог совладать со своей нижней губой. Лица Айны и Регины выражали смертную скуку. Прямо перед Рут, на диване, Ирвинг сопротивлялся из последних сил, Тейтельбом никак не могла решиться — не растолкать ли Орландо? — а Джейн, Джейн Шайн торжествовала.

Рут спохватилась, взглянула на стоячие часы в углу — нет, быть не может! — и с ужасом убедилась, что читает уже два с половиной часа.

— Боже мой,-- пробормотала она, и впервые за весь вечер в ее голосе прозвучало нескрываемое чувство,— я даже не представляла себе, что получится так долго...— Кое-кто из колонистов, почуяв перемену, почуяв кровь, встрепенулся, оживился.— Вы были очень терпеливы, и я всех благодарю,— сказала Рут, прикрывая, как могла, свое отступление, но уже слыша мысленно очередную остроту в бильярдной: *«Чтение Рут? Да, это было как три месяца каторги»*.

Сонные колонисты затрясли головами, зашаркали подошвами, принялись тереть покрасневшие глаза. Ирвинг попытался затеять аплодисменты. Рут самой себе не верила: вот только недавно она чувствовала любовь к этим людям и так радовалась, а теперь у нее в душе лишь стыд, унижение и ненависть. Она даже не дочитала до конца — обрадованные хлопки разбудили спящих, и в их глазах читалось: «Коктейли!», «Только один на сон грядущий!». Ирвинг встал и приступил к поздравлениям. Септима вздернула повисшую голову и с трудом сфокусировала мутные серые глаза.

— Ну, Ла Ди, Рути,— гудел Ирвинг, раскрывая объятия.— Это было здорово! Молодчина, крошка!

У него за спиной сонно улыбался Сэнди, а за рукав Сэнди, чуть не падая с ног, держалась Брай. Джейн Шайн поднялась с дивана, потянулась, демонстративно зевнула, тряхнула из стороны в сторону черной гривой и сказала что-то язвительно-шутливое Миньонетте Тейтельбом и мигающему, трущему глаза, сморкающемуся Орландо Сизерсу. Они втроем посмеялись между собой, словно заскрежетали железом по железу. Джейн откинула волосы за спину, открыв для обозрения белый шелковый пиджак.

Рут ощутила удар в самое сердце. На Джейн был вовсе не брючный костюм. Не пиджак. Не казакин. И не блузон. И вообще никакой не туалет, а чистое издевательство, плевок в лицо: ночная пижама. Убийственный ответ на жалкий выпад Рут. Джейн просто-напросто явилась уже готовая ко сну.

Рут отвела глаза, но поздно. Это был полный провал, и она, чадя, кувырком летела вниз с танатопсианских небес, точно жалкий, перегоревший метеор, а в мыслях у нее было только одно: как ее за это изничтожат в бильярдной.

Хаха

Джефкоуты скрылись, как приплыли: в дрожащем солнечном луче. Хиро смотрел им вслед, покуда сверкающие крылья весел, лоснящееся тело лодки и сильные,

ритмично работающие широкие плечи не поглотила алчная зелень. Они держали путь к пристани, назад, туда, где краснорожие *хакудзины* на корточках разбирают свой улов и шерифы со смотрителями, прячась под широкими полями шляп, поигрывают револьверами. Во имя милосердия Джефкоуты отступали от священных предписаний маршрутной карты, жертвовали своим оплаченным временем в заповеднике ради него, Сэйдзи Тибы, китайского туриста, на которого напали крокодилы.

У Хиро закружилась голова. Он грузно плюхнулся на доски рядом с грудой оставленного ему провианта и с тоской, понуро смотрел туда, где они исчезли за поворотом. Пройдет какой-нибудь час, и они его возненавидят. Подплывут, скользя, к причалу, лица нараспашку, взгляд спокойный, уверенный, веселый,— а там толпятся шерифы, заливаются лаем псы, ревут моторы катеров, и желваки ненависти играют на скулах. *Там человек терпит бедствие,* скажут они. *Где, где?* рявкнут шерифы, *где он? На платформе красного маршрута,* ответит Джеф Джефкоут. *А в чем дело? Убежал из тюрьмы,* прошипят шерифы. *Япошка, и к тому же еще поджигатель. Совершил нападение на нескольких людей, чуть было не убил ни в чем не повинного старика негра. Да нет же,* возразит Джеф Джефкоут. *Вы ошибаетесь, это турист, у него затонула лодка. И вообще, он китаец.*

Скоро сюда нагрянут, разыщут без проблем эту платформу, как ракеты с тепловым самонаведением, как ангелы мщения. Надо встать. Надо убираться отсюда, снова шлепать в жидкой грязи по колено в воде, по шею; снова заползать на карачках в черную глотку Первобытной Америки. Но он обессилел, утратил весь пыл, Дзётё виделся ему теперь просто полоумным, заговаривавшимся монахом. Поднес ладонь ко лбу — его жгла лихорадка. Потом она перешла в живот, полоснула резкой болью, как меч Мисимы, Хиро скрючило и стало рвать — мясной тушенкой, и кетчупом, и кофе, и яичницей, и вермишелевым супом из пакетика, и картофельными хрустиками, и кексом, рвало и рвало, пока не ощутился горький вкус фиолетово-черных ягод и горечь желчи. Хиро долго лежал на платформе, не в силах пошевелиться. Маленькие радужные мушки слетелись на блевотину, а она просачивалась в щели и капала в воду, где тоже теснились жадные, ждущие рты. Потом опять резануло в животе, и Хиро, еле встав, на дрожащих ногах пробрался в дощатую кабину туалета.

Мухи приветствовали его, вылетая из санитарного отверстия в облаке вьющейся мошкары, запахов химии и человеческих фекалий. Он сдернул штаны, лезвие клинка пронзало ему кишки, черная, восходящая вонь дерьма — американского дерьма, дерьма Джули Джефкоут — ударяла в ноздри. *«Американдзины»,*— выругался он вслух, когда живот его выстрелил вниз, грязные свиньи, садятся на пластиковые сидения, где до них уже сидели другие, и приносят на себе грязь за стол, будто так и надо, от их ягодиц и подошв исходит вонь уборной. Господи, какие свиньи, думал он, держась обеими руками за живот, почти теряя сознание от боли, животные, вот они кто, и он их ненавидит.

Сколько он так просидел, он не знал, задремал, должно быть, но когда очнулся, ощутил болезненное жжение в лодыжке и гнилую вонь собственных испражнений. Лоб и виски покрывал холодный пот. Ясно, что он болен, у него желтая лихорадка, дизентерия, энцефалит, глисты, малярия — грязные болезни, порожденные грязью; ему нужны лекарства, постель и его *оба-сан,* бабушка. Нет, не бабушка — ему нужна мать, умершая мать, мама. *«Хаха!* — позвал он, как маленький, и сам удивился своему странному, сдавленному голосу.— Мама!» А потом снова задремал, сидя на пластиковом сидении, где раньше сидела Джули Джефкоут, и Джеф Джефкоут, и Джефи, и еще тысячи безымянных маслоедов до них, и их белые лица заполонили его сон, как оккупационные войска.

Хиро очнулся снова, и оказалось, что он чувствует себя уже лучше. Он не сразу понял, где находится, но потом сообразил и его охватил страх. *Хакудзины* преследуют его, они где-то здесь, конечно, они уже здесь, он пропал. Тут ему вспомнился легендарный самурай Мусаси, который однажды спрятался от врагов в отхожем месте, погрузившись с головой в зловонную жижу, и только дышал через соломинку. Хиро сразу, как током ударенный, вскочил со стульчака, застегнул джинсы и затаив дыхание стал смотреть через щелку в двери. Он был готов увидеть демонов, длинноносых, *кэто,* увидеть страшный сон наяву, в который он угодил, спрыгнув с обсервационной палубы «Токати-мару», был готов к ружьям, к вою сирены,

к оголенным клыкам и рычанью собак... Но ничего этого не было. Ничего. Только болото, тонущее в солнечной одури,— материнское чрево и могила всего живого. Хиро приоткрыл дверь. Протиснулся наружу. Зной сразу ударил в лицо, заломило в висках, на глаза навернулись слезы — возвратилась лихорадка.

Дверь кабинки у него за спиной была закрыта, доски настила под ногами скрипели, и только теперь Хиро понял, что ошибался. Вместе с ним на платформе несомненно был кое-кто еще, кое-кто внушительных размеров, попробуй не заметь, холоднокровный, допотопный, мощный. И это чудовище медленно поворачивало в сторону Хиро длинную, ухмыляющуюся пасть, наставляя на него маленький холодный глаз. Оно лежало, протянувшись вдоль всего края платформы, свесив зазубренный хвост и одну когтистую лапу в воду, припав бородавчатым брюхом к доскам, а белесой нижней челюстью намертво придавив пакет с сандвичами и прочим провиантом. От этого зрелища Хиро похолодел, у него прошел жар, сердце яростно колотилось в ребра, виски ломило. Мысль с трудом укладывалась в голове: в шести шагах от него находится огромный, с лодку, крокодил и смотрит на него, а он, Хиро, смотрит на крокодила. И это нехорошо. Даже просто плохо. Опасно. Тут и сам Дзётё затруднился бы, как быть.

Какое-то время чудовище только смотрело на него одним немигающим глазом — застывшая длинная глыба, скульптура крокодила, высеченная в камне. До Хиро доходило источаемое им зловоние, запахи безжизненных глубин, гнили, распада, смерти и темного, тихого дыхания болотных газов. На минуту голова у Хиро прояснилась, и он стал быстро соображать: что делать? Отступить и запереться в уборной? Или взобраться на стропила и засесть до конца своих дней на крыше? А может, спрыгнуть с другой стороны помоста в воду и добежать по топи до деревьев? Ни один из вариантов как-то не прельщал. И Хиро остался стоять на месте, то приходя в себя, то возвращаясь в беспамятство — одну минуту его подмывало подойти, погладить животное, оседлать его и уплыть в прохладную глубину, поделиться с ним своей пищей; а в следующую ему виделась собственная смерть в этих стальных челюстях, своя растерзанная плоть, претерпевающая превращения и в конце концов становящаяся крокодильим калом. А кончилось тем, что огромная, неповоротливая рептилия, словно вся эта волынка ей прискучила, вдруг пришла в движение и с неожиданной грацией быстро соскользнула в воду, прихватив с собой нечаянно пакет с едой.

Ну и ладно. Хиро все равно не голоден.

* * *

Когда он снова очнулся, оказалось, что он лежит где-то в жидкой грязи у берега, и, как все эти дни, какие-то существа опять его едят. Он покосился на свои ступни: кроссовки на пупырчатой подошве потерялись, ноги распухли и воспалились, покрытые всевозможными укусами. Маленькие бесформенные твари, те самые, которых он когда-то, необозримо давно, отдирал от ног возле магазина, облепили его икры и ляжки. Хиро сел и стал отдирать их одну за другой, но после них оставались кровоточащие дыры, следы их работы. Хиро сложил ладони на животе, слишком слившись с природой, чтобы обращать внимание на комаров и зеленых мух, и стал наблюдать, как облака обступают умирающее солнце.

Ему надо было куда-то идти, что-то делать. Он это отлично знал. Но чувствовал необыкновенную легкость, не только в голове, но и в костях, он был пьян — блаженно, упоительно, прекрасно пьян. Выходит, он пил сакэ? Ну да. Он лежит на койке, его судно пересекает Тихий океан, затянутый зеленой ряской, а он и Адзиокасан пьют в кубрике сакэ и разговаривают об Америке, как там все здорово: кинозвезды, рок-н-ролл, и длинноногие женщины, и мясо. Не говоря об обменном валютном курсе. Простой матрос, даже уборщик, будет там богачом. И как там просторно! У всех *американдзинов* особняки с четырьмя уборными и «кадиллаки» с баром на заднем сидении. Сакэ было горячее, потому что налетел шквал, и Хиро продуло на вахте, вот он и напился.

Чудесное зрелище! Настоящий цирк у него перед глазами — птицы, у которых ноги больше крыльев, прыгали с одного листа кувшинки на другой, священные журавли висели в вышине, повсюду лягушки то надувались, то съеживались. Хиро лег щекой на подушку из жижи, и прямо перед ним — лягушка с толстым брюхом

поверх подвернутых лапок. Вдруг она раздула свою *хару*, а потом так гулко изрыгнула воздух обратно, что все остальные лягушки на миг онемели, но спохватились и тоже стали в ответ надуваться и рыгать. Хиро хохотал, пока не ощутил лезвие в кишках, а тогда сел и поторопился сдернуть штаны.

Но если днем была комедия, ночь оказалась трагедией. Она легла на Хиро черным покровом, призрачная и жуткая. Стало холодно, болото звенело возмущенными голосами, а у Хиро майка и джинсы были хоть выжми и не попадал зуб на зуб. Насекомые пировали на его коже, он теперь шлепал по ним ладонью, но все равно он был подушкой для булавок, баллоном с запасом крови, на коже вздулись холмы и горы, она стала как выпуклая точечная азбука для слепых. Позже, уже глубокой ночью, когда луна застыла льдинкой высоко в небе, какое-то пресмыкающееся толщиной с его ногу подползло к нему, принюхиваясь к теплу. Оно тыкалось ему подмышку, в пах, терлось лысой головой о ноздри, влекомое теплом его дыхания.

Утром ему стало хуже. Он дрожал в своей грязевой постели, пока не взошло спасительное солнце, а потом лежал под его лучами, как холоднокровное животное, как вытащенный на сушу аллигатор, и кровь у него в жилах кипела. На этот раз лихорадка унесла его в Киото, он был маленьким мальчиком, держащимся за руку бабушки, и они пробирались в пятницу вечером сквозь праздничную толпу на улице Кавaрамати. Сверкали неоновые вывески, упоительно пахло пельменями *гёдза*, лапшой *соба*, сладким жареным угрем, всюду толпились люди. *Оба-сан* вела его туда, где они должны были встретиться с дедушкой и вместе отправиться праздновать день рождения Хиро, его шестилетие. Сначала они закажут *удон* и *тэмпуру* в заведении у тетушки Окубо, а от нее перейдут в кофейню за углом, и там ему купят американские сладости — шоколадный пломбир с вафлями и фруктовый салат со взбитыми сливками. Свободную левую руку счастливец Хиро просунул за ремешок новой бейсбольной рукавицы, на ней по кожаной поверхности было слитными американскими буквами оттиснуто имя Регги Джексона. Салон игровых автоматов. *«Оба-сан,* пожалуйста, позволь мне поиграть, ну только один раз!» — он стал тянуть ее за руку, поскользнулся и налетел на проходящую женщину, старуху, одетую не по-западному, а в кимоно и пояс *оби*. Она смерила его свирепым взглядом. *«Сумимасэн,*— сказал он и низко поклонился.— Извините меня, пожалуйста». И *оба-сан* от себя добавила, рассыпавшись в извинениях. Но старуха вперила в него черные злые глаза, а потом прошипела: *«гайдзин»* и пошла было своей дорогой. Хиро полоснуло обидой как уксусом по открытой ранке, он забылся и ухватил ее за широкий рукав кимоно. *«Американдзин дэсу,*— произнес он с вызовом.— Я — американец».

Да только он не был американцем, ни тогда, ни теперь. Он видел ненависть в их глазах. Хиро поднялся со своего грязевого ложа. Пот жег ему виски. Где та бутыль с апельсиновой газировкой, которую ему оставили Джефкоуты? Раздавлена бессмысленным немым весом водяного чудовища, всползшего на платформу, динозавра, который и есть Америка. Хиро видел, как из-под бородавчатого брюха сочилась желтая влага, не то моча, не то бледная, разжиженная кровь. Но это была не кровь, а апельсиновый газированный напиток, и сейчас Хиро так его хотелось! Пот разъедал глаза, от жара спеклось горло, жажда не давала дышать. Он стоял, дурея, и видел со всех сторон вокруг себя воду, целый океан, целую планету воды. Наконец он наклонился и, хорошо понимая, что этого нельзя, что будет только хуже, принялся ее пить, и пил, пил, пока не забулькало уже прямо в глотке.

Позже, за полдень, на западе стали громоздиться тучи, и голые белые клубы посерели, засквозили синевой, померкли дочерна. Небо отступило, солнце растеклось и пропало. Поднялся ветер, не сильный, но ровный и принес с собой запахи моря. Хиро, испытывая боль в каждом суставе, весь искусанный, изодранный и обгорелый — как бы его не спутали теперь с негром,— лежал на грязи, и она принимала его форму: миской прогибалась под головой, двумя ложками под плечами, текучими углублениями — под непрерывно дрожащими отощавшими ягодицами и ляжками. Собирался дождь, а за ним — новая ночь, холод, сырость, грясучка и жар, и меч в кишках, но у Хиро не было сил тронуться с места. Да и что он будет делать? Поставит водонепроницаемую палатку и заберется в пуховой спальник? Разведет огонь в чугунной жаровне и поджарит чизбургер на добела раскаленных угольных брикетах? Сон, всего только сон. Хиро смотрел, как кучкуются, расходятся и снова кучкуются облака, смотрел, смотрел, а потом глаза его закрылись.

Он снова был в Киото, одиннадцатилетний,— мужчина, говорил *одзи-сан.* Бабушка ушла на работу, а Хиро с дедушкой смотрели по телевизору американский фильм про собаку колли с доблестной *харой,* эта собака уже которую неделю аккуратными получасовыми порциями спасала желтоволосого мальчика от несчетных ужасных напастей. «Дедушка,— попросил Хиро,— расскажи мне о моей маме». Ноги у дедушки под складками *юкаты* были тощие, как штакетины забора. Они с внуком сидели рядышком на застланном циновками полу. Вдоль стен стояли в два яруса шкафчики, плотно набитые одеждой, мылом, нитками, зеркальцами, гребнями и разными другими хозяйственными принадлежностями. «Нечего рассказывать»,— пожал плечами дедушка. «Она умерла»,— сказал Хиро.

Дед пригляделся к нему. На экране телевизора длинной извивающейся очередью выстроились на пляже по пояс голые белокожие мужчины, они держат каждый кружку пива «Кирин» и все синхронно подносят их ко рту.

«Она умерла»,— подтвердил он.

А потом, потому, что Хиро уже стал мужчиной, и потому, что телевизор отбрасывал на стену бегучие тени, и потому, что подошла старость и надо было выговориться, дед рассказал мальчику все, не умалчивая подробностей.

Сакурако оказалась неудачницей. Какой-то демон завладел ею, и она бросила учение, пренебрегла возможностью выйти прилично замуж, обзавестись семьей, пренебрегла любовью и уважением родителей, и все — ради иностранной музыки, а потом и иностранного мужа. Он был хиппи. Американец. Когда он ее бросил, что дед заранее предвидел, она погрузилась в порок еще худший, чем межрасовый брак, чем нож в спину своей семье. Стала «девушкой в баре», *«мама-сан»* для сотни мужчин. Когда она вела за руль свой велосипед по улицам старого Киото и за спиной у нее был привязан полукровка младенец, люди останавливались и смотрели ей вслед. Она была обречена и понимала это. Хуже, обречено было и дитя ее. Малыш был *каппа, гайдзин,* навсегда отверженный. Единственным спасением для нее было бы уехать в Америку, разыскать Догго и жить среди американских хиппи в безнадежном и беспредельном позоре. Но у нее не было ни денег, ни паспорта, ни сведений о ее инородце-муже. Она попыталась вернуться домой. Дед запер перед нею дверь.

Одиннадцатилетний Хиро, коротко стриженный, с глазами-бусинами, сидел как завороженный. Телевизор что-то говорил ему, но он не слушал. Это он был *Каппа.* Он обречен.

«И тогда,— продолжал рассказ *одзи-сан,*— тогда однажды ночью она сделала то, что должна была сделать». Хиро в тот же миг понял, о чем он говорит, это знание кануло в его кровь, как камень в пруд, и раз навсегда затопило зыбкую постройку бабушкиной лжи. Его мать не умерла от какой-то неопределенной — всегда неопределенной, безымянной — болезни. Нет. Она убила себя своей рукой. Но потрясение от этого знания было лишь слабым всплеском в сравнении с бурей дальнейшего открытия: она попыталась взять с собой и его, Хиро, попыталась совершить *ояко-синдзю,* самоубийство матери с ребенком; но потерпела неудачу даже в этом. Он знает сад у Хэйанского храма? — спросил дедушка.

Хиро отлично знал этот сад, бабушка водила его туда кормить карпов в пруду и любоваться скульптурным совершенством природы. Рты — дед рассказывал, а Хиро вспомнил их рты, высовывавшиеся из воды.

А мост?

Хиро кивнул.

Однажды вечером, очень поздно — ее одолевала бессонница, рожденная стыдом,— Сакурако вернулась к себе из бара пьяная и примотала к спине своего младенца. Ворота храма были заперты, бритоголовые монахи давно спали. Она приставила к стене велосипед и перелезла в сад. В темноте нашла дорогу к крытому мосту, сняла со спины и оставила ребенка. Обезумев, проклиная себя прерывающимся шепотом, спустилась обратно на дорожку и выкопала из земли живописный камень, положенный у обочины, выкопала одними ногтями, и камешки вокруг окрасились кровью. А потом вкатила его на мост, напрягаясь, толкая, пиная его и ударяя по нему кулаками. Наконец ей удалось втащить камень на то место, где лежал и спал ребенок Хиро. Последним сверхчеловеческим усилием она подняла камень на перила моста, всунула его за пазуху своего нарядного кимоно, прижала к себе ребенка и отдалась неумолимому действию силы тяжести и зову преобразующей черной воды.

Вода. Хиро проснулся и ощутил ее на своем лице, шел дождь. Его мать погибла, а он остался жив, от удара о воду он вылетел из ее рук и оказался в тине у берега, в той же самой тине, что и сейчас, раскричался отчаянно, и на его крик прибежали бритоголовые монахи. Он попытался сесть. Просверк молнии разодрал небо. Дождь просеялся на водную гладь свинцовыми пулями, взбивая пену, барабаня по его грязевой постели. Монахи, подумал он, когда они нужны, разве их дождешься? И рассмеялся сипло, бредящий, больной, голодный и загнанный, он смеялся, как школьник на субботнем дневном представлении.

Но что это? Там, за деревьями, за шумом грозы? Голос. Человеческий голос. Гром раскатывался по небу, жестокий и злобный. Искрила молния. Но вот он, вот он опять. Ему знаком этот голос. Ведь это же... это же...

— *Хиро, Хиро Танака, ты меня слышишь? Это Рут. Я — хочу — помочь тебе!*

Помочь мне.

— *Хиро. Послушай меня. Я — хочу — помочь тебе!*

Это же... это — его мать, его *хаха,* мама!

Он вскочил, дождь струился по его лицу, изодранная майка с дурацкой смеющейся рожей болталась, перекрученная, на животе.

— Мама! — закричал Хиро.— Мама!

Молчание, глубокое, выжидательное молчание отозвалось по всему болоту, не заглушенное бурей.

— *Хиро?* — позвал голос, раздаваясь отовсюду, раздаваясь ниоткуда, вездесущий ангельский голос.

— *Хаха, хаха!* — кричал и кричал Хиро. Он уже совсем задохнулся и дрожал от холода, в мозгу у него что-то зациклилось, и во всем языке осталось одно только это слово. И вот он увидел: как во сне, разрывая пелену тумана, выплыла большая лодка, направляясь прямо к нему, на носу — белое встревоженное лицо его матери — это она наконец явилась за ним,— а за ней, сзади и чуть сбоку, пригнувшись,— волосатый, бородатый хиппи, Хиро узнал его лицо, это Догго, да-да, Догго, его родной американский отец.

Он стоял под дождем и звал их, звал до хрипоты, звал маму, звал папу.

Часть III. Порт Саванна

Журналистика

Стоял ясный полдень, теплый без духоты, и в воздухе чувствовалась та благодатная сухость, которой славится Саванна. Была уже середина сентября, одно время года неохотно уступало место другому, бесконечные кипяще-влажные летние дни сменялись днями, полными мягкой задумчивости, днями долгого роскошного бабьего лета, которое будет теснить осеннее ненастье до самой календарной зимы. Рут распаковывала вещи, искала вешалки для платьев, отрывала ярлыки от нового итальянского полупальто с расширенными проймами и большими пуговицами, от обалденного белого костюма с черным рисунком, составленным плавными параболами и острыми треугольниками. Саксби окрестил его рыбьим костюмом. «Рыбий?» — переспросила она, гордо держа перед ним юбку в руках. Дело происходило в ее спальне в «Танатопсисе», она стояла в лифчике и трусиках, демонстрируя ему обновки. «Это же чешуя, детка»,— сказал он, вложив в последнее слово всю беспечную фривольность диск-жокея. «Ты и вправду, кроме рыб, ни о чем думать не можешь»,— заметила она, а он в ответ: «Нет, сейчас я как раз кое о чем другом думаю»,— а она ему: «Жду доказательств»,— и юбка упала из ее рук на пол.

Но теперь она была в Саванне, приехала на неделю погостить в светлом, со сводчатыми окнами и сверкающей полированной мебелью доме Дэйва и Рикки Фортуновых, доме, который мелькал на страницах «Аркитекчерел дайджест» и «Нью-Йорк таймс мэгэзин». Дэйв был приятелем ее отца еще по студенческим годам на юридическом и, приезжая по делам в Лос-Анджелес, частенько у них останавливался, так что Рут знала его с детства. Дом Фортуновых был расположен не ахти как удобно, целых полчаса на такси до больницы, где медленно поправлялся

Хиро — под охраной, отказываясь говорить и с репортерами, и с полицией, и с пятнистым мучителем из иммиграционного ведомства; но этот дом обладал одним очевидным преимуществом, а именно бесплатностью проживания. Гостиница встала бы ей минимум в шестьдесят-семьдесят долларов в сутки, плюс кормежка — такие траты она не может себе позволить. Пока.

Она задержалась перед зеркалом, раздумывая, не подкрасить ли волосы прежде, чем ехать в больницу. Это подчеркнет ее загар — кстати, и новый костюм будет лучше смотреться. Снаружи, за стеклянными створчатыми дверями, ведущими во дворик, лежало светлое полотно бассейна, а за ним тесно росли олеандры и стояли бегонии в горшках, тенью своей скрадывая игру солнечных бликов. Она пожалела, что рядом нет Саксби,— он остался дома, в «Танатопсисе», ждет ее возвращения и нарадоваться не может на свои аквариумы и прочие емкости, кишащие бледными рыбками, размерами и цветом похожими на ластики. Когда она уезжала в Саванну, он, напялив желтую каску, наблюдал за работами по углублению декоративного пруда, где в будущем должны жить его карликовые рыбки и их счастливое потомство. Он помахал ей вслед, и на лице его в этот миг было написано полнейшее блаженство.

Рут выкинула ярлыки в мусорную корзину и пошла вешать пальто в шкаф. Оно было кирпично-красного цвета — не неоново-красного, не огненно-красного, не цвета «привет, мы, кажется, знакомы»,— его оттенок был более сдержанным и напряженным. Зрелый оттенок. В течение прошлой недели с ней произошла перемена, которая заставила ее выбирать не такие кричащие цвета, как раньше, перемена, из-за которой она, собственно, и приехала сюда, в Саванну, заняв предварительно у отца полторы тысячи долларов на три новых костюма, две сумочки, пару глубоко открытых (но не легкомысленных) лодочек из змеиной кожи и итальянское пальто. А означало это вот что: она теперь журналистка. Работает по договору. Само собой, литература навсегда останется ее первой любовью, ее истинной профессией, и когда-нибудь она в нее вернется — не когда-нибудь, а скоро,— но сейчас она получила предложение, от которого невозможно отказаться.

А началось все с Хиро. Началось в то мрачное утро, когда ей пришлось поишачить на Иммиграционную службу, в то утро, что наступило после наихудшего в ее жизни вечера. Ничто в тот вечер не могло ее утешить. Ее чтение стало бедствием, катастрофой, ненасытной воронкой насмешки на все времена, пока будет стоять «Танатопсис», и как нарочно, именно Джейн Шайн вбила в крышку гроба последний гвоздь. Сэнди потом из кожи лез, чтобы ее развлечь, Ирвинг был внимателен, как никогда, но она чувствовала, что весь ее мир рассыпался в прах. Хуже: все, что ей теперь осталось в жизни,— это гнев Саксби, холодность Септимы и презрение незнакомых шерифов, пятнистого Эберкорна и его отвратительного маленького подручного. Она отправилась спать после первого же коктейля, сопровождаемая похоронными взглядами колонистов, темнота сомкнулась вокруг нее, и она рухнула в сон, как в бездонный колодец.

А наутро было болото. И Саксби. Он был зол, возмущен, обижен, в его глазах читались гнев и горечь. Они встретились у дверей мотеля «Веселые мормышки», и она кинулась ему на грудь, как солдатская невеста, под взглядами Оуэна и загорелого пузатого коротышки в трактористской кепочке. Надо было спешить, полицейские ждали, в покинутых ведрах чахли карликовые рыбки, но она не могла противиться соблазну войти в роль. Она унижена и не понята, полна самопожертвования и отваги, добровольно отдает себя во вражьи руки ради свободы любимого человека... Вдобавок выполняет гуманную миссию, бросается в самую бездну, сражается с комарами, змеями, карликовыми рыбами и бог знает чем еще, чтобы спасти несчастного, сбитого с толку японского мальчика. От невыносимой сложности жизни на глаза навернулись слезы.

— Пять минут удели мне, Сакс,— прошептала она.— Больше ни о чем не прошу. Пять минут наедине.

Он явно колебался. В глазах у него отражались одни рыбы — нет, что-то еще было помимо них, жесткое и мстительное. Но все же взял ее за руку, отвел в свою комнату и резко захлопнул дверь.

Для любви момент был неподходящий, хотя внутреннее движение такое было — легкий непроизвольный спазм, чуть заметное ускорение пульса. Она положила голову ему на грудь и дала волю слезам. Снова и снова заверяла его, что этот

эпизод с Хиро — чепуха, невинная шалость, ошибка, что она просто хотела вставить парнишку в рассказ, что у нее и в мыслях не было помочь ему удрать в багажнике машины. Саксби должен ей верить. Ты веришь мне, ну скажи, что веришь.

Три часа в окружной тюрьме не улучшили его настроение, но он был так поглощен своими рыбами, что не мог ни на чем сосредоточить гнев дольше, чем на одно мгновение. Они же там остались, его альбиносы, в пяти пластмассовых ведрах, совершенно беззащитные. Любой ценой надо до них добраться, а о прочем можно потом подумать.

— Я тебе верю,— сказал он.

И вот они вместе едут к болоту в «мерседесе», а Оуэн в своей «мазде» за ними следом. Рука Саксби даже не держит руль, а свободно на нем лежит, радио орет, и он понемногу отходит, уже пустился в рассуждения о рыбах, сетях, аквариумах, и Рут стала думать, что все, обошлось. Когда доехали, Эберкорн и Турко их уже ждали, а с ними — местный шериф, сотни две обгулявшихся на солнце зевак с трейлерами, прохладительными напитками и дымящимся мясом на вертелах, да еще толпа репортеров — лезут прямо на Рут с микрофонами наголо и блокнотами машут. *«И все это из-за бедного Хиро?»* — подумала она, и вот оно, первое шевеление, росток, зародыш: *«И из-за меня?»* Она поправила волосы, сделала ради фотографов сосредоточенное, целеустремленное лицо. Посыпались вопросы. Вы приехали, чтобы спасти Хиро Танаку? Правда ли, что у вас с ним роман? Он действительно так опасен? Эта-то роль была как раз по ней.

— Заявлений не будет,— бросила она и двинулась вперед крупными, уверенными шагами, полицейский кордон расступился, и репортеры разлетелись во все стороны, как мухи.

Не успев и глазом моргнуть, она уже стояла лицом к лицу с Турко и Эберкорном. Рут почувствовала, как Саксби напрягся, и сжала его руку, и он ответил пожатием. Эберкорн выступил чуть вперед, его лоскутное лицо и крашеные волосы не были видны из-под широких полей нелепейшей шляпы — таких шляп она и не видела нигде, кроме как в цирке. Он возвышался над толпой на целую голову.

— Очень хорошо, что вы смогли приехать,— сказал он недружелюбно.— Лодка вон там.

Она легонько поцеловала Сакса — поцелуй сопровождался щелканьем и вспышками фотоаппаратов из-за полицейского кордона — и двинулась за Эберкорном.

И вот болото. Ох уж это болото. Перво-наперво запах — вонь стояла, как на задворках рыбного базара. Потом насекомые, тучи всяких тварей всевозможных сортов и повадок, плюс притаившиеся на деревьях змеи и пузырящаяся пена на воде. Она перевела взгляд с мутной поверхности на невообразимые прибрежные заросли, потом на осенявшие их призрачные деревья, и еще деревья, и так далее до самого горизонта — и вспомнила виденную когда-то диораму, изображавшую динозавров в лучшую их пору. Но то была диорама в прохладном, сумрачном, стерильном музее, и деревья были не настоящие, а нарисованные.

А потом мужчина, которого она вначале и не заметила, помог ей влезть в лодку — чисто выбритый, не молодой не старый, в бейсбольной кепочке с прикрепленными к козырьку солнечными очками. Она прошла на нос, где был укреплен громкоговоритель — с такими любят разъезжать по улицам политики местного значения,— а мужчина в кепочке, забравшись на корму, занялся мотором. Лодка была широкая и длинная, с плоским дном, и казалась надежной и устойчивой. Пока Эберкорн устраивался посередине, а Турко в своем костюме покорителя джунглей садился прямо позади нее, она, не оборачиваясь, смотрела вперед. Мотор закашлял, зачихал, потом взревел, и они отчалили.

К одиннадцати она охрипла, обгорела, изошла потом, изнемогла от жажды, и на ней живого места не осталось от укусов. Едва она умолкала, чтобы перевести дыхание, глотнуть воды, как ее тут же понукал противный голос Турко:

— Нажмите, нажмите еще, не молчите — говорю вам, получится, ведь знаю я этих людей, знаю.

Это, конечно, была его идея, сразу ясно, из одной идиотской серии со звукоаппаратурой и модной одежкой. Она не отвечала ему и не смотрела в его сторону, даже головы ни разу не повернула, но кричала без умолку — ради Саксби, ради Септимы, ради самой себя и ради Хиро — кричала, пока совсем не лишилась голоса.

Часам к четырем небо стало затягивать — собиралась гроза. Эберкорн и человек в кепочке — Уатт или вроде того, он работал в команде шерифа — решили было закругляться, но Турко и слышать об этом не хотел. Весь как сжатый кулак, лицо темное, злое. Один голос чего стоил — чистая патология.

— Я носом, носом его чую,— шипел он.— Знаю, что он тут.— И командовал: — Нажмите, нажмите, черт побери!

Рут покорно подносила к губам микрофон и выкликала имя Хиро, вновь и вновь, хотя знала, что это нелепая, безнадежная затея — с таким же успехом можно было очаровывать насекомых Донной Саммер.

— Хиро! — кричала она древесным лягушкам и черепахам, птицам, медведям и немым неотличимым друг от друга деревьям.— Хиро!

Мошкара забивалась ей в горло, лезла в нос. Она не перестала вопить, даже когда разразилась гроза, когда струи дождя заплясали по их спинам, как плети. И вдруг Турко, вцепившись в ее руку, приказал молчать — и да, вот он, тонкий и жалобный, далекий, еле слышный в шуме дождя крик поражения и покорности:

— *Хаха! Хаха! Хаха!*

Хиро выбежал навстречу лодке, выбежал самозабвенно, как мальчик бежит к маме с детской площадки, весь в грязи, каждая клеточка тела кровоточит, одежда висит лохмотьями, из-под ног брызжет илистая жижа.

— *Хаха! Хаха!* — вопил он.— *Ока-сан! Ока-сан!*

Он сошел с ума, обезумел, она видела это ясно, видела по его лицу и по диким выпученным глазам. Турко затаился у нее за спиной, как паук, а Хиро бежал к ней, раскинув руки, спотыкаясь, поднимая брызги, и в эту минуту все в мире исчезло для нее, все, кроме несчастного измученного мальчика, ее мальчика, которого она прятала, кормила и любила, и она опять позвала его по имени: — Хиро! — но теперь, в первый раз за весь день, она вложила в этот зов душу.

Дождь не утихал. Кругом жужжала и тошнотворно пахла болотная жизнь. И вот Турко впивается в него, как злобный кровосос, душит, валит лицом в воду, скручивает руки до хруста. Потом его перекинули через борт, как пойманную рыбу, бросили на дно лицом вверх, и возбуждение его иссякло — он лежал еле живой, запрокинув голову, больные желтые глаза бессмысленно плавали. Ей и дотронуться до него не дали. А как она хотела приголубить его, положить его голову себе на колени — но нет, не пустили. Она тогда потеряла самообладание, на миг только, попыталась отпихнуть Турко, обругала его, но он так на нее посмотрел, что у нее екнуло сердце. Он и пальцем ее не тронул на этот раз, но его лицо в ту секунду врезалось ей в память навечно — словно его удерживала одна-единственная тонкая прядка почти уже перетертого каната. Всю дорогу до пристани она сидела как каменная, глядя в никуда, дождь хлестал по ней, и она чувствовала себя беспомощной и поруганной, чувствовала себя предательницей.

Это была низшая точка.

Но когда они причалили, когда толпа надавила и прорвала хилую цепочку полицейских, когда всем не терпелось увидеть Хиро Танаку, этого иностранца, беглеца и головореза, когда на всех загорелых незамысловатых физиономиях, во всех неподвижных бледных глазах читалось предвкушение сцены ярости и безумия, когда репортеров охватило форменное неистовство и даже полицейским стоило больших внутренних усилий, стиснув в зубах жвачку, сохранять самообладание,— вот тогда маятник пошел вверх. Со всех сторон на них лезли люди. Полицейские таранили толпу, расчищая прибывшим путь, освобождая дорогу для «скорой помощи», для одетых в белое санитаров с их быстрыми уверенными движениями, а дождь все лил, и лил, и лил. Включилась мигалка, завыла сирена, и машина тронулась, оставив в полуобморочном мозгу Рут образ простертого на носилках Хиро и мрачно нависшего над ним вампира — Турко. Ей дали пять минут, и в тумане она с трудом добралась до дамской комнаты в туристическом центре, где смыла с лица месиво из пота и комаров, повязала на голову косынку, которую ей дала работница парка, и вышла в вестибюль им навстречу.

Тогда, только тогда ощутила она весь масштаб этой истории. И всю важность своей роли в ней. И то, что многие обстоятельства кроме нее никому неизвестны. Ни Джессика Макклюр, ни женщина в океане не идут с этим ни в какое сравнение, это сенсация дня, и в сердцевине ее — она сама. Ей совали микрофоны, ее слепили вспышки фотоаппаратов, а она знала, что вот она, ее история.

не какой-то худосочный рассказ, не вымученные поиски смутной художественной правды, а настоящая, жесткая, крутая, взятая из подлинной жизни история, и она, Рут,— ее героиня. Это был взрыв, ослепительная вспышка прозрения.

Она улыбнулась, глядя в объективы.

* * *

На другой день Джейн получила-таки свое.

Рут вернулась в «Танатопсис», к милостям Септимы, к своему улью, иммиграционное ведомство получило разыскиваемого, а Сакси получил своих рыбок. Чтобы унять кожный зуд, она приняла сначала горячую, потом холодную ванну с английской солью, прижгла каждый из множества укусов спиртом и смазала лечебной мазью, после чего легла спать и спала до полудня. Когда она ела во дворике свой поздний завтрак — после такого испытания никто не мог ожидать, что она тут же кинется работать,— она вдруг увидела Таламуса, который лечил похмелье «калистогой» с джином и «Нью-Йорк ревью оф букс». Она подробно обсудила с Ирвингом свою идею — написать о случившемся большую вещь для журнала или даже книгу,— и Ирвинг связал ее со своим литературным агентом Маркером Магиллом из весьма уважаемого агентства «Магилл и Мадден». Это обнадеживало, но с другой стороны, ее все еще угнетало провалившееся чтение, хотя все, конечно, уверяли ее, что оно прошло прекрасно, пусть и было слегка затянуто; и еще сильнее ее угнетало случившееся с Хиро. У нее не шел из головы весь этот ужас, эти безумные глаза, исхудалые конечности, впалые щеки и израненная плоть, и пиявки, пиявки ошметками черного пластыря по всему телу, и то, как он к ней бежал. Вот это угнетало больше всего. Ведь он полюбил ее. Доверился ей. А она его предала. Но разве у нее был выбор? И в конечном счете, ему же будет лучше — никакая тюрьма не сравнится с этим болотом, он сгинул бы там бесследно.

Рут сидела в передней гостиной и ждала звонка от Маркера Магилла, когда внесли Джейн. Раньше, часа в три или около того, подняв глаза от журнала, который она рассеянно пролистывала, она увидела, как Джейн шествует через вестибюль в английском костюме для верховой езды — словно идет сниматься на обложку издания «Нэшнл велвет». Рут к тому времени уже успела ответить на звонки из «Нью-Йорк таймс», «Сан-Франциско кроникл», газет Атланты, Саванны и Чарлстона, радио Си-би-эс и от господина Сикумы из Общества японо-американской дружбы, который горячо благодарил ее за неоценимую помощь в задержании его непутевого соотечественника, пространно извинялся за все неприятности и неудобства, доставленные ей матросом Танакой и заверял ее в том, что подавляющее большинство японцев — буквально вся страна, за исключением психически больного матроса Танаки,— свято чтит закон и порядок. Звонки подняли ее настроение, она стала обдумывать план книги о Хиро и даже начала прикидывать, какой ей предложат аванс и что она на него купит,— но тут подняла глаза, увидела Джейн, и ее вновь испепелила ненависть.

Раб-северянин стоял у дверей — а почему не сказать дубина-швед? — и Джейн удостоила его прилюдных объятий, вся из себя как модная картинка в брюках-галифе, сапожках и этой забавной шапочке для верховой езды, похожей на салфетку в ливне волос. Кататься едет. Рут застигнута шквалом сенсации, Рут рискует жизнью в болотах, спасает безумного беглеца и играет в кошки-мышки с законом — а Джейн едет кататься. Злость разливалась, словно вскрылся гнойник, и всю ее Рут вложила в уничтожающий взгляд. Но Джейн и тут взяла верх — Рут уже готова была вновь опустить глаза в раскрытый журнал, когда Джейн повернула голову и взглянула на нее в упор,— ага, подглядываешь, шпионишь, завидуешь скандинавским объятиям; и губы Джейн тронула великолепная, ядовитая, торжествующая усмешка.

Через два часа ее внесли обратно. Лошадь сбросила ее, сломав ей правую ногу в трех местах. Лицо Джейн превратилось в комок боли, кровь проступила на брюках в том месте, где зазубренный конец кости вышел наружу. Дубина-швед и Оуэн торопливо втащили ее в гостиную и положили на диван, на рубашке у Оуэна краснело пятно священной крови. Джейн кричала так, словно рожала тройню, кричала без пауз для вдоха, лишь изредка перемежая вопль с потоком хриплых ругательств и судорожных всхлипов. Сбежалась вся колония, а Рут отступила подальше. Она была в ужасе, да, действительно в ужасе. Она в жизни

не могла бы порадоваться чужой беде, как бы ни презирала она того, кто в нее попал, и какой бы заслуженной беда ни выглядела. Нет. Не могла бы, нет. И все же какая-то тонюсенькая ниточка удовлетворения в ней подрагивала, даже когда Джейн корчилась, и вопила, и звала мамочку, и крыла своего дубину-шведа: «Ой-ой-ой-ой, господи, да не трогай ты меня, Олаф, скотина такая, ой, мама, мама, больно мне, больно!» — а ниточка распутывалась просто: Джейн-то выбыла из игры. По крайней мере на время. Жалко ее, конечно. Рут уже думала о том, как теперь пойдут дела в бильярдной.

Джейн увезли в больницу. Ужин в этот день вышел невеселый, колонисты сидели подавленные, обменивались приглушенными репликами и уклончивыми взглядами, вяло жевали омаров в тесте — очередное творение Армана — и приходили в себя после событий последних дней. Септима ужинала отдельно в старой части дома. Место Джейн зияло пустотой. Вполголоса передавались смутные слухи — о Хиро, о Рут, о Джейн. После ужина, когда Саксби, который один из всех сохранил мажорное настроение и энтузиазм, отправился к своим рыбкам, Ирвинг Таламус отвел Рут в сторонку.

— Ну, расскажи,— сказал он, покачивая янтарную жидкость в бокале,— как там у тебя с Маркером?

Магилл позвонил, как раз когда улеглась суета после происшествия с Джейн, и сказал, что принимает предложение Рут. Он уверен, что заказ будет получен. Он уже сделал несколько звонков и изучает информацию.

— Ой, Ирвинг,— захлопала она в ладоши, как наивная дурочка, как Брай,— берет, берет он меня! — И она подарила ему взгляд, исполненный такой томной благодарности, излучающий такое смиренное обожание, что он поставил бокал и взял ее ладонь в обе руки.

— Ирвинг,— повторила она с придыханием,— как я могу...

— Пустяки, пустяки,— пробормотал он и уставился на нее долгим, хитрым, изучающим взглядом из-под густых *таламудсских* бровей.— Ужас какой с Джейн,— сказал он, помолчав. Руку ее все еще держал.

Рут пыталась разгадать этот взгляд. Что он означает? Что Ирвинг втайне на ее стороне?

— Да,— согласилась она.— Ужасно.

Он отвел глаза в сторону, погладил ей руку и отпустил. Поднес бокал к носу, сделал глубокий вдох и поставил его на место.

— Рути,— произнес он неуверенно и вновь стал искать ее руку,— Рути, я хотел тебя спросить... Ты знаешь, что через две недели я уезжаю?

Рут кивнула. Сердце забилось быстрее. Рука Ирвинга жгла ей ладонь.

— Я вселяюсь в этот дом, который я снял в Ки-Уэсте,— благодатнейший климат на свете, три квартала всего от пляжа. Большие светлые комнаты, окна, окна повсюду. Хемингуэй прожил там одну зиму.

Она еще раз кивнула.

— Так вот,— продолжал он, глядя на нее глубоко посаженными глазами,— что я хочу тебе предложить: поезжай туда со мной. Живи себе — никакой квартплаты, никаких обязательств.— Он помедлил.— Со мной.

Она ничего не могла с собой поделать, в голове замелькали слова: Рут Таламус, миссис Ирвинг Таламус, Рут Дершовиц-Таламус. Она увидела себя фланирующей рука об руку с ним по литературным салонам Нью-Йорка, эффектно появляющейся, вместе с ним опять же, на ежегодной писательской конференции в Бред-Лоф, увидела себя с ним в постели — всю эту шерсть, эти крепкие белые нью-йоркские зубы. Сердце ее стучало, глаза сияли. Но тут же она вспомнила о Саксби, о милом Саксе с его рыбами, широкими плечами и этой особенной улыбкой, чуть трогающей один угол рта, подумала о «Танатопсисе» и Септиме, о Лоре и Сэнди, о всех остальных. Она — царица улья, и улей ее здесь.

— Ты лапочка, Ирвинг,— сказала она наконец,— и я всегда тебя буду любить. Ты навсегда останешься моим лучшим другом, моим учителем, наставником...

Ирвинг спрятался за панцирь глаз, поджал губы:— Но?

— Но,— вздохнула она, и теперь можно потупить глаза, потом взглянуть на потолок, оглядеть комнату, можно длить паузу, сколько душе угодно,— но как я брошу Сакса?

Первый же звонок на следующее утро был от Маркера Магилла. Он предлагал сделку и хотел знать ее мнение. Крупное издательство — сказал какое,— дает 500

тысяч долларов аванса и отчисляет автору пятнадцать процентов дохода; право первой публикации в периодике покупает один из ведущих женских журналов — назвал и его — за 75 тысяч, выплачиваемых в три этапа. Каково?

И вот она здесь, гостит у Фортуновых, контракты отосланы, обновки разложены на кровати, она — журналистка и собирается в больницу взять интервью у Хиро Танаки и сделать кое-какие заметки. Тепло, но пальто она все же наденет — осенний сезон как-никак — и, конечно, волосы надо чуть подкрасить, выявить, так сказать, осеннее золото и багрянец. Потом чулки, туфли, новый костюм, магнитофон, блокнот, ручки, и — в такси. У больницы, разумеется, будут ждать фотокорреспонденты, и выглядеть надо классно: обаяние — да, привлекательность — да, но и зрелость тоже, словом, шикарная деловая женщина. Как ни верти, а теперь она журналистка — как Джоан Дидион, как Фрэнсис Фицджеральд,— и надо все время быть в образе. Журналистика — она сказала это вслух, становясь под душ,— благородная профессия.

* * *

Приехав в больницу, Рут убедилась, что интерес публики к Хиро Танаке нисколько не угас. Повсюду сновали репортеры, пытаясь выудить у юристов, врачей, медсестер и даже швейцаров хоть что-нибудь о Хиро. Он упрямо отказывался говорить с кем бы то ни было, даже с адвокатом, назначенным по решению суда, и переводчиком. У него было заражение крови с высокой температурой, бактериальная дизентерия и глисты, и штат Джорджия предъявил ему двадцать два уголовных обвинения, а Иммиграционная служба — еще двенадцать.

Рут дала себя сфотографировать на ступеньках больницы — нет, не торговать собой, но не отказываться же, когда капитал сам идет в руки,— а интервьюеров она отшила. Зачем с ними делиться?.Это теперь ее хлеб. Конечно, она понимала, в какой переплет попал Хиро, и чувствовала себя нехорошо, и знала, что злые языки — всевозможные Джейн Шайн — будут говорить, что она именно торгует собой, наживается на его беде, сама от суда увильнула, а его оставила за все отдуваться. Особенно теперь будут говорить, когда обвинения против Саксби сняты и, согласно договоренности с Эберкорном и окружным прокурором, ее тоже не тронут. Но это будет поклеп. Злонамеренное искажение фактов. Виноватой перед Хиро она себя все же чувствовала, но в лифте постаралась взять себя в руки. В конце концов, никто не просил его прыгать с «Токати-мару» и лезть к ней в студию — это они все должны понять. *Он* должен понять. И если она согласилась давать показания в обмен на собственную неприкосновенность, то ведь она сделает все, что в ее силах, чтобы убедить их в невиновности Хиро, в том, что вся эта история — сплошная цепь недоразумений, что он не более чем мальчишка-переросток, дурачок, простофиля, предел мечтаний которого — клетушка в нью-йоркском «малом Токио» и растворение в толпе. Что тут преступного? Это трогательно — и только.

Лифт остановился на нужном этаже. Дежурная медсестра, коренастая негритянка с тугими косичками и тяжеленными, как пресс-папье, серьгами, окинула Рут с ног до головы таким любопытным взором, каким она могла бы посмотреть на Ди, Ферджи или саму Донну Саммер, и провела ее мимо скучающего помощника шерифа в палату Хиро. Он полусидел на своей койке и выглядел изнуренным, кожа и белки глаз у него были желтоватые, нездоровые. Лицо, которое в первый миг показалось ей застывшим, бесстрастным, каменным ликом Будды, при виде ее ожило.

— Русу,— сказал он, и как ни был он угнетен, как ни был изранен, болен и повержен, он не мог скрыть радости, по лицу его тенью прошла слабая кривая улыбка.

Рут не переоценивала значение всей этой истории — истории Хиро. Ее истории. Период полураспада подобной сенсации — от силы дня три. Это одна их тех историй, что по какой-то неведомой причине заставляют всю страну биться в истерике и очень быстро выдыхаются до нуля, до вчерашней новости, до тлеющего мерцания в глубинах коллективной памяти. Она понимала это прекрасно. Но притом была уверена, что книга будет готова через полгода — ведь это ее собственная история, Рут находится в гуще событий,— и с ее помощью она еще раздует это мерцание в яркое пламя. Ее уверенность явно разделяли издатели. Репортеры, толпящиеся у входа, создавали ажиотаж, которого не купишь ни за какие деньги.

— Хиро,— сказала она и двинулась к нему.

Она села у постели. Воцарилась тишина. Помощник шерифа просунул в дверь ничего не выражающее лицо и закрыл ее снова.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она наконец и, порывшись в сумочке, вынула маленькую красивую коробочку сладких пирожных из бобовой муки.— Вот принесла тебе,— положила пирожные на стол.

Помощник шерифа заглянул снова, потом решительно подошел к столу, забрал коробку и протянул руку за сумочкой.— Я вас не обыскиваю там, ничего,— сказал он,— но приказано смотреть,— и вернулся на свой пост.

— Ну, так как ты себя чувствуешь? — вновь спросила Рут.— Хорошо с тобой обращаются? Может быть, о чем-то хочешь попросить?

Хиро молчал.

— А как насчет бабушки? Хочешь, я ей напишу? Или позвоню?

Хиро не отвечал. Вновь наступила тишина. После долгого молчания он посмотрел на нее скорбными глазами и произнес: — Ты обманула мне, Русу.

Теперь настал ее черед замолчать.

— В доме,— сказал он, и голос его казался обескровленным, иссохшим, вывороченным корнями наружу,— ты была одна. Ты говорила им, сьто я там.

Так вот оно что. Ей не придется оправдываться из-за лодки, болота и Турко — этого он в памяти не удержал. Его мучает то, что было тогда, на острове. Все это время он думал, что она его предала.

— Нет,— сказала она.

— Да. Ты никогда не хотела возить меня на *матарика*.

— Нет. Это Саксби. Он увидел тебя на крыльце и сообщил в полицию, не предупредив меня. Когда я узнала, было уже поздно.— Она понизила голос.— Я действительно хотела тебе помочь. И сейчас хочу. Очень хочу.

Он посмотрел в окно. Пятый этаж. Ничего не видать, кроме мертвых облаков в мертвом небе.— Я устал,— сказал он после паузы.

Она хотела подбодрить его, пообещать, что все будет хорошо, что она о нем позаботится, что попросит отца помочь и Дэйва Фортунова подключит — у него в Саванне большие связи,— но не смогла. Что-то мешало. Он выглядел ужасно. Помощник шерифа смотрел на них.— Ну ладно,— она поднялась со стула.— Я все понимаю. Ничего страшного. Завтра опять приду, хорошо?

Он взглянул на нее снизу вверх, с трудом выпростал из-под одеяла руку и сделал прощальное движение ладонью.— Сейсас попросяемся.

Что-то шевельнулось в ней в этот миг, остро подступило к горлу, и она наклонилась к нему, дотронулась губами до его щеки, черт с ними, пусть смотрят.— Ну, до завтра,— сказала она.

Он не ответил.

Город Братской Любви

Снилось ему то, о чем и подумать невозможно: ужасы, муки, ненависть. Сны стали его одолевать, когда он плыл в каком-то бестелесном пространстве, где перед глазами вдруг вспыхивали цветные пятна, где лица перетекали одно в другое без всякого смысла и без всякой последовательности. Да еще это шипение, беспрерывное шипение, словно от воздуха, выходящего из проколотого легкого. Он увидел, как Тиба превращается в Вакабаяси, а Вакабаяси — в Угря, и почувствовал удары многочисленных рук. Он увидел свою мать на дне пруда — истлевшие пальцы, зияющий провал рта,— и шипение перешло в крик, беззвучный и нескончаемый. Он увидел Рут, и ее лицо было лицом его врагов и мучителей, и глаза ее пылали их ненавистью. А потом он увидел самого себя на дне мертвого, черного, бесконечного американского болота, плоть его обесцветилась и стала отслаиваться, отделяться от костей, и вдруг он начал всплывать, оставляя свое тело внизу, их всех оставляя внизу, всплывать к дрожащему, переливчатому сиянию поверхности.

Он очнулся в больничной палате в ярком свете дня. Над ним колыхался пузырь с прозрачной жидкостью, которая по трубке перетекала ему в руку. Он попробовал эту руку поднять и не смог. У двери стоял человек, долгоносый мужчина в форме. Над постелью склонилась медсестра-негритянка.

— Ну вот, наконец-то. Лучше нам теперь?

Лучше? Ему было никак, просто никак. Он был проглочен крокодилом и жил у него в брюхе. Он взглянул на медсестру, увидел ухмыляющуюся пасть и зазубренный хвост — и глаза его закрылись, и сновидения вновь нахлынули на него.

Но утром — по крайней мере, они ему так сказали, и, не имея возможности проверить их слова, он вынужден был принять их за истину — утром великий дар сознания к нему вернулся. Хотя не такой уж это был дар. Он взглянул на долгоносого у двери и понял, даже не припоминая всего, что произошло, понял чисто логически, что он проиграл, что он снова арестант, что мир и его существование в нем потеряли всякий смысл. Пришел врач, стал его обследовать, задавать дурацкие вопросы. Больно тут? Больно здесь? Знает ли он, где находится? Кто он такой? Да знал он, знал. Он находится под арестом в *хакудзинской* полиции. Он — *каппа*, маслоед, наполовину долгоносый. Он не удостоил врача ответом.

Во второй половине дня появился еще один долгоносый, очень хорошо одетый, и сказал, что он его адвокат. С ним был японец — чистокровный японец, не маслоед, первый представитель царственного и несравненного племени Ямато, увиденный Хиро после его прыжка с обсервационной палубы «Токати-мару». Он был маленький и толстенький, этот японец, с пухлым личиком, короткой стрижкой и в очках, которые казались слишком большими для его головы. Его фамилия была Ханада, в его речи слышались северный выговор и неуместная жизнерадостность. Но когда заговорил долгоносый, Ханада-сан вдруг превратился в автомат, произносящий перевод *хакудзинских* слов ровным механическим голосом. Хиро объяснили, что он слишком болен, чтобы идти на суд — об этом и речи быть не может,— так что обвинение ему будет предъявлено прямо тут, в больнице, и ответ его будет записан на видеопленку. (И пока Ханада говорил, в подтверждение его слов в палату протиснулись еще трое маслоедов — двое с портфелями, а третий с видеокамерой на плече.)

Хиро хотелось только одного — спрятаться. Он побежден, унижен, он неудачник, как его беспутная мать и хиппи-отец. Он не стал говорить ни с кем, ни по-английски, ни по-японски. Первый долгоносый, тот, который назвался его адвокатом, выслушал длинный перечень обвинений и сказал от имени Хиро, что его подзащитный не признает себя виновным.

Еще бы, разумеется, он невиновен — тут и говорить не о чем. Во всяком случае, невиновен в тех бессмысленных вещах, о которых он только что услышал. А виновен он в глупости, виновен в наивности — считал, видите ли, что *американдзины* примут его по-доброму, по-людски. Он ошибся, и в этом его преступление. Он проиграл, и судьба его решена.

Вечером нагрянули репортеры, и тут он единственный раз испытал минутную слабость — дрогнул и едва не нарушил молчание. Они хотели услышать его рассказ, и в какой-то миг он подумал — а что, расскажу всю правду, ткну их в нее длинными носами; на секунду он представил себе, как его история появляется в газетах и передается по телевидению, как где-то каким-то образом ее слышит Догго, пробуждается от спячки, вскакивает на коня и несется ему на выручку, как ковбой. Да нет, чепуха. Глупость. Головешка отпылавшего сновидения — пепел, вот что это такое. Помощник шерифа держал репортеров в коридоре, откуда они выкрикивали свои вопросы. Хиро взглянул мельком на дверь и отвернулся к стене.

А потом пришла Рут. Она села на стул у его постели, женщина с длинными белыми ногами, которые пленили и поработили его,— и она тоже была репортером. Он заглянул ей в глаза и понял, что она совсем его не знает. Она сказала, что не предавала его,— это Саксби, ее *бойфуренд*, маслоед поганый, как он не догадался сам,— и он дрогнул, почти оттаял. И все-таки это не была его Русу, ей, по сути дела, было все равно. Она просто играла новую роль, использовала его, как и раньше. Он сказал, что устал. Попрощался с ней.

Но вот чего не знала Рут, не знал адвокат, не знал маслоед у двери и не знала медсестра: у Хиро было кое-что на уме, не так уж он был повержен и раздавлен, он еще им всем покажет, он знал это и черпал в этом знании силу. Его кормили всякой обычной всячиной, *американдзинским* фруктовым желе, персиковым компотом, макаронами с сыром, но не давали ни палочек, ни ножа, ни вилки. Ему дали только ложку, жалкую ложку толщиной миллиметра в три, не больше. Но она была твердая, холодная и вполне могла сгодиться. Он спрятал ее под подушку.

Он дожидался ночи. Дожидался этих долгих пульсирующих тускло освещенных

часов, когда медсестры ходят неслышной походкой, когда стихает вся телевизионная стрельба и поножовщина, когда безнадежные больные устраиваются для своих угрюмых одиноких бдений. В эти часы *хакудзин*-охранник, как все предыдущие, начнет клевать носом и хоть на минуту да сомкнет глаза...

Да. И в течение дня, когда Хиро оставляли одного, когда охранник провожал по коридору глазами очередную пару ножек и ягодиц, когда он закрывал отяжелевшие глаза и грезил о жратве, сексе и насилии, когда медсестра выходила вынести судно, подкрасить ногти или съесть в столовке для персонала свой бутерброд с паштетом из тунца, Хиро точил холодную твердую ручку ложки о бетонную стену, у которой стояла кровать. Порой только одно движение и успевал сделать. *Шш. Шш, шш, шш.* Прочнейшая сталь издавала легкий, ласковый, любовный шепот. Да! Теперь это вовсе не ложка — это клинок, оружие, самурайский меч.

Впереди масса времени, говорил он себе, не спеши. Сделай все как надо. Сделай все с честью, с достоинством, сделай все красиво. Он сел на кровати и прислонился к стене. Его волосы выглядели ужасно, он знал это и сожалел об этом. И лицо тоже — надо было попросить у Рут какой-нибудь пудры или румян, чего-нибудь для улучшения цвета лица. Но чего вы хотите — ведь он болен, истощен, загнан и измучен. Он послюнявил ладонь и принялся приглаживать ею волосы, еще и еще раз, пока они не перестали топорщиться. Охранник сидел на стуле в коридоре у самой двери. Весь сгорбился, прислонил голову к дверному косяку. Полное впечатление, что спит.

Как там сказано у Дзётё? *Когда между жизнью и смертью шансы пятьдесят на пятьдесят, выбирай, не мудрствуя лукаво, немедленную смерть.* Пятьдесят на пятьдесят, ха-ха. Было бы пятьдесят на пятьдесят! Было бы в нем хотя бы столько же оптимизма, столько же бездумного спокойствия, как тогда, в миг прыжка в маслянистые черные воды Атлантики! Девяносто пять, подумал он, девяносто пять против и пять за. В общем, дела малозначительные.

Он еще раз провел по бетону стальным лезвием, извлекая мертвящий шепот. *Пока ты жив, смерть не имеет к тебе отношения; когда ты умер, ты уже не существуешь. Нет причин бояться смерти.* Дела малозначительные. Он еще раз посмотрел на затылок охранника, на руку, которая висела, как плеть, в тусклом свете коридора, потом сделал глубокий вдох, задрал тонкую хлопчатобумажную больничную рубашку так, что обнажилась *хара,* и нащупал место, *кикайтандэн,* где дух должен был выйти на волю. Он задержал воздух в груди и приставил свой клинок, свой меч к беззащитной плоти. Сердце ударило раз, второй, и он изо всей силы вонзил в себя острие.

Это было как удар молотом наотмашь — нет, хуже, много хуже, проникающий ожог и боль, какой он раньше не знал, он проглотил расплавленный свинец, кипящую лаву; пот и мозг — вот все, чем он теперь был. И еще воля. Он всаживал клинок глубже, глубже, так глубоко, как мог; он кромсал вдоль и поперек, как мясник, пока не отказала сведенная судорогой рука. И вглубь еще, превозмогая себя, вгрызаясь, едва не теряя сознание. И вот что-то, рождаясь, полезло из него наружу, бледные кишки стали вываливаться из разорванного живота, жар и боль, неподвижная отвисшая рука охранника, обрамленная нищенским светом... И тут в ноздри ударил запах, жаркая кровь и отвратительная, фекальная, вонючая болотная тина, которая затянула его и погубила...

Но вдруг он почувствовал, что *хара* взмывает вверх, и разом все стало неважно — жар, и кровь, и онемевшие руки, он стал невесомым, как воздух. Он двигался, удалялся, но не в город Мисимы и Дзётё, не в город, где жили *одзи-сан* и мама, и все поколения самураев и камикадзе, где обитало чистое, неподвластное скверне племя Ямато. Нет. Он направлялся в Город Братской Любви — туда, только туда.

Глаза его сомкнулись. Вот он и дома.

Из польской поэзии

У этих стихов разный тембр и разная литературная судьба. Яна Твардовского в Польше знают и любят; Томаш Глюзинский, подобно многим, кому выпало писать и печататься в провинции, при жизни к широкому читателю не пробился. Тем не менее его тоже знали, но больше в ином качестве (впрочем, как и Твардовского).

Ян Твардовский — ксендз, известный всей Польше священнослужитель, чьи проповеди даже изданы отдельной книгой. Глюзинский — не менее известный горнолыжник, тренер польской сборной. Священник и спортсмен. Казалось бы, у двух поэтов, таких разных, и жизненные пути, по расхожему выражению, далеки, как небо и земля. А между тем в их судьбе много общего, тяжкого, неумолимо навязанного временем. Оба были солдатами Армии Крайовой, пережили польскую трагедию, оба прошли через годы оккупации, подполья и сопротивления, а Глюзинский — и через годы послевоенных лагерей. «Мой смертный час, не дожидайся втуне и не спеши, я умер накануне»,— писал он.

Тягчайшим испытанием для Твардовского было, наверное, Варшавское восстание. Твардовский участвовал в нем, и на его глазах гибла столица, где в 1916-м он родился и где в 1935-м, тогда еще студент филфака, напечатал первые стихи. Быть может, именно в дни восстания он как никогда ощутил могущество зла и растущий сатанизм истории, и это ускорило его выбор. После войны Твардовский поступил в семинарию и в 1947 г. был рукоположен в сан священника.

Пока начинающий поэт Твардовский входил в литературу, начинающий пловец Глюзинский, еще подросток, тренировался в бассейнах Львова. Там в 1924-м он родился, и там же застала его мировая война. В 1942-м Глюзинский — уже партизан в горных Татрах. Освобождение он, подобно многим полякам, воспринял как новую оккупацию и остался с «лесными братьями» партизанить, был схвачен, осужден, а по выходе на свободу сумел совершить почти невозможное — вернуться в большой спорт. С тех пор он не покидал Татры, пока в 1986 г. не отказало сердце. В горах жил, в горах и умер.

Современная польская поэзия сплошь авангардна. Вообще-то революционный этот термин в конце века выглядит подозрительно, если не комично — странное новаторство, которое за столетие не продвинулось ни на шаг. В свое время Аполлинер отказался от знаков препинания потому, что прежде ставил их слишком много — больше, чем допускали французские нормативы. Им двигали страсть, творческий темперамент, стремление усилить и подчеркнуть интонацию, которую он в конце концов передоверил читателю. Потом отсутствие запятых стало модой, а ныне — чем-то привычным и обязательным, как джинсы, и часто единственным, что отличает стихи от прозы. Пресловутые «мировые стандарты» утвердились и в поэзии, особенно европейской и в частности — польской. Твардовский и Глюзинский отдали им дань, хотя отнюдь не чурались рифмы. Но дело не в рифмах и запятых. Внешне модернисты, внутренне оба поэта традиционней, чем кажется. И традиционные человеческие ценности в их поэзии не размыты и не переиначены.

Сквозная в стихах Глюзинского тема палачества рождена не только его лагерным опытом. «Тюремщики — мы сами»,— сказал некогда Франсиско Кеведо. И три века спустя Глюзинский констатирует: «Мы палачу всучили плеть и нас учили не жалеть». Боец и бунтарь, он издевательски безжалостен к людской трусости, потому что убежден — палачей плодит страх. И вдвойне нетерпим он к тем, кто малодушие возводит в житейскую мудрость. В героических нотках Глюзинского сквозит эхо польского романтизма, отзвук восстаний, исконно польское бунтарство. Вновь и вновь напоминает он о древнем и благородном искусстве умирать стоя.

Традиционность Яна Твардовского, наверное, следует возводить к евангельскому: «...не будете как дети, не войдете в Царствие Небес-

ное» — или к Святому Франциску Ассизскому и его молитвенному возгласу: «Господь мой и все на свете!» Стихи Твардовского негромки, и что-то детское есть в их образности, тоне, в их ненавязчивой и незлой иронии, а теплое внимание к мимолетным подробностям мира словно воскрешает забытое кредо средневековья nihil vacuum apud Deum [1]. Хотя думается, что Твардовскому ближе другой символ веры — то «благоговение перед жизнью», к которому призывал Альберт Швейцер. Кстати, красноречивая деталь биографии Твардовского — преподавание в школе для умственно отсталых. По его стихам трудно заподозрить в авторе проповедника, но, пожалуй, можно угадать учителя — по той терпимости, что рождена терпением.

Вероятно, все вышесказанное подталкивает к выводу, будто оба польских поэта вливают в новые мехи старое вино, что выглядело бы явным упрощением. Но как бы там ни было, это доброе вино, долгой выдержки.

А. ГЕЛЕСКУЛ

ЯН ТВАРДОВСКИЙ

Долго

Только и слышно
споры затянулись
гость засиделся да и был некстати
письмо шло дольше старой черепахи
как долги беды как долга разлука
как долог день наедине с собою
как долго терпит Бог
как долго коммунизм
как долго не давая спать сосед
крепил гвоздями кроткую иконку

О долгий век мой до чего ты краток
а все что кратко
может быть навек

[1] У Бога нет ничего пустого *(лат.)*.

© Jan Twardowski, 1989

Мольба

Господи всемогущий вечный и беспечальный
Ты сотворил ужонка зебру и попугая
Ты поселил на свете белку и бегемота
Ты богословов любишь пощекотать усами

В час когда жить не мило и тяжко ярмо земное
усмехнись надо мною

Над страницами церковного учения об ангелах

Кто животных поймет
их обиды и беды
укоризненный взгляд
шимпанзе-непоседы
обезьянью косматость
китовью усатость
и непуганых птах
птицеловам на радость
Кто постигнет
слоновьи предсмертные плачи
смех ягнят
одинокость извозчичьей клячи
Среди множества тайн
не сумев разгадать их
больше знаем об ангелах чем о собратьях

Вдоволь

Зверей на свете тьма и каждый при семье
а сколько в небе звезд и листьев на земле
цветам и ягодам давно потерян счет
хоть пара мотыльков да путь пересечет
и зол у нас вполне а горестей вдвойне
и столько видел пап и клиров белый свет

И только Бог один как будто его нет

Встречи

Такие встречи происходят сами
помимо нас и нам уже не странно
что кажется случайность неизбежной
что Бог опередил нас и любовь
продлится дольше чем намеревалась
И возвращает ниточка в клубок
к родителям что тоже повстречались
наверняка ведь не подозревая
что встречи той и смерть не перевесит
А выглядели оба так забавно
и радость до того их напугала
что мамина соломенная шляпка
как петушок отловленный на свадьбу
взмывала и рвалась навстречу ночи
давно забытой и навеки вешней
Те встречи что подстерегают сами

/

так непременны так непогрешимы
что неспроста вверяется им сердце
птенец оторопелый перед жизнью
и смертью без которой жизнь бы скисла.

Чтоб потерять
сперва себя найди

Звезды

Звезды чтоб раньше смеркалось
Очи чтоб дольше любилось
Слезы чтоб легче дышалось

Вера чтоб часом не верить
Боль чтобы крепнуть душою
Горе чтоб зря не мудрили
а разделили чужое

Точка чтоб повести длиться
Жизнь чтоб с родными прощаться
Плач чтоб утешиться снами
Смерть чтоб проверить на прочность
связь между миром и нами

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

Раз говоришь

Не плачься
не сетуй на удары судьбы
нет на земле безвыходных ситуаций
закрывая дверь — Бог открывает окно
выдохни посмотри
летят из заоблачной выси
большемаленькие несчастья необходимые для счастья

учись покою у простых вещей
забудь что ты есть раз говоришь что любишь

* * *

Спасибо Тебе за то что Ты есть
за то что Тебя не может вместить наше сердце
за то что Тебя не может постигнуть наш разум
за то что во всем иной Ты с нами но не здесь
за то что Ты уже обретен но до сих пор не найден
за то что пытаясь уйти от Тебя мы снова приходим к Тебе
за то что все чего нам не понять — все-таки не мираж
за то что Ты вечно молчишь. Только мы
треплем языком.

Перевод А. БАЗИЛЕВСКОГО

ТОМАШ ГЛЮЗИНСКИЙ

Расклад

Каждому дали
место на свете

грудь для медали
плечи для плети

чтоб очутиться
перед раскладом

сгинуть ли птицей
выжить ли катом

Все громче

Полно нам как незрячим
путать белое с черным
Ни смеемся ни плачем
горечь копим по зернам

Полно рыскать как нищим
от могилы к могиле
Все равно не отыщем
ту где правду зарыли

Что там мертвая людям
позабывшим живую
И все громче мы будим
глухоту гробовую

© Tomasz Gluzinski, 1982

Избавительница

Когда предложат чтобы сам
неволю выбрал или плаху
и поспешишь ты выбрать срам
и смерть не предпочтешь ты страху

ты подписал свой приговор
а палачи помочь сумели
Не всходишь вольным на костер
так истлевай же в подземелье

Смерть избавительница
с ней
конец приходит нашим узам
Сейчас умрешь или поздней
но ты умрешь

Неужто трусом?

Сколько еще

Сколько еще нам терзаться
сколькие жертвами лягут
чтобы спасали мы душу
не от одних только тягот

сколько еще убеждаться
что обнищавшие души
нам только правда насытит
а не мошна да потуже

сколько прольем еще крови
сколько съедим еще соли
чтобы понять наши нужды
уразуметь наши боли

* * *

За судьбой не бегай с лаем!
Пробавляйся втихомолку,
Приучай к упряжке холку —
И конюшня станет раем.

По себе, любезный, знаем,
Что в отваге мало толку.
Если что, забейся в щелку,
А геройства — грош цена им.

Словом, сын, чурайся стали.
У судьбы злорадства хватит
Отыграться на бахвале,

А смолчишь — авось не схватят.
Слишком мало, пустомели?
В самый раз, чтоб уцелели!

Как тогда

Я сжимал твои запястья
сердце каменное грея
и венки среди ненастья
ты плела мне из кипрея

Ты звезду дарила взгляду
в сердце вспыхивала жгуче
чтоб назло дождю и граду
видел солнце вместо тучи

Ты во мне жила и зрела
и сестрой была мне милой
на лету ловила стрелы
в сердце посланные с силой

Осень раною на ране
а когда посеют зиму
зерна инея в бурьяне
ты пройдешь Надежда
мимо

изменив как изменила
в черный день когда волками
страх с бедой мне рвали жилы
в ночь тащили на аркане

С той же верой сокровенной
хоть петли уже не скину
я шепчу тебе неверной
Не бросай пока не сгину

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

С мертвой точки

сначала речь шла
о принципах
потом
предметом спора
стала трактовка
когда наконец
перешли
к сути дела

оказалось
что мнения
диаметрально противоположны
в таких ситуациях
единственный
способ сойти с мертвой
точки
— компромисс
отказ от исходных
принципов
и деление
одной правды
на две
равно убедительных
лжи

Переписка

в ответ на ваше письмо сообщаем во-
первых нам об этом ничего не известно
во-вторых даже если все это правда то
вероятно суд был прав в-третьих если
суд был прав то приговор справедлив
в-четвертых если приговор справедлив
то осужденные виновны следовательно
нет оснований за них беспокоиться или
им сочувствовать советуем вам держать
себя в руках мы все проверим

Перевод А. БАЗИЛЕВСКОГО

Д. КАПЛАН и А. ДАБРО

Якудза

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с английского Е. БОГАТЫРЕНКО

ПОЧТЕННЫЕ ОТЩЕПЕНЦЫ

Горо Фудзиту можно назвать бардом якудза, и он не станет возражать против этого титула. Его визитная карточка, составленная витиевато даже по японским стандартам, представляет владельца с просьбой о снисхождении, скромно объясняя, что он — человек, преданный своей работе, хотя и любитель выпить. Горо Фудзита — низенький, полный человечек с густыми волосами, развевающимися вокруг лица, которое, в зависимости от выражения, можно принять и за лицо комика, и за лицо убийцы. На самом же деле он бывший гангстер, ветеран Тосэйкай, банды, состоящей в основном из корейцев и известной своим жестким контролем за ночными клубами в знаменитом токийском районе Гиндза. Но Горо Фудзита больше не патрулирует ночные улицы в составе «Полиции Гиндзы», как когда-то называли эту банду. Он стал своего рода знаменитостью среди якудза, летописцем, историком, хранителем легенд о преступном мире Японии.

Фудзита гордится авторством примерно тридцати книг о якудза, написанных в романтическом стиле и прославляющих мужество, отвагу и фатализм, эти традиционные японские ценности, восходящие к самурайским временам феодальной Японии. Названия этих книг весьма красноречивы: «Великий игрок», «Кладбище благородства», «Поэзия отщепенца», «Мне не нужна могила». Фудзиту считают мастером описаний сражений на мечах, знатоком тайных законов и архивариусом криминальной истории. Он сияет, показывая вам, помимо своих многочисленных романов, три энциклопедических тома, составляющих венец его трудов: в первом можно найти подробный генеалогический справочник сложных родственных связей среди якудза; два других, под общим названием «Столетняя история», описывают, по словам автора, историю правых политических движений и организованной преступности в Японии на протяжении последних 300 лет.

В комфортабельном доме Фудзиты на окраине Токио иногда проводятся семинары по истории якудза для особо почетных гостей. Хозяин любовно показывает старые фотографии прежних боссов мафии, заложенные между страницами дюжины толстых альбомов, стоящих на деревянных полках тонкой работы. В рабочей библиотеке Фудзиты находится уникальная коллекция японских книг о холодном и огнестрельном оружии, военном искусстве, общей истории и истории отдельных областей страны, о войнах и о правых политических течениях.

Фудзита может рассказать множество интересных историй и многословных анекдотов, он способен надолго удерживать внимание даже требовательных боссов якудза. Он пишет романы, потому что не любит называть настоящих имен. «Ко мне будет слишком много претензий»,— объясняет Фудзита. Тем не менее его персонажи каким-то образом передают его глубокие чувства к миру якудза, чувства, которые были с пониманием встречены читающей японской публикой.

Книги Горо Фудзиты принадлежат к тому жанру японской литературы, в котором уже издавна восхваляется романтический разбойник. В самом деле, якудза стали центральной фигурой японского фольклора, героями и антигероями бесчисленных фильмов, книг, баллад и рассказов. Для Фудзиты и его коллег история

© 1986 by the Center for Investigative Reporting

организованной преступности в Японии — это история, достойная уважения, полная преданий о робин гудах якудза, приходящих на выручку простым людям. Герои этих преданий — жертвы общества, творящие добро, проигравшие, которые в конце концов побеждают, люди, с достоинством несущие свой крест изгоев. Эти оценки передают самую суть мироощущения якудза и — к большому огорчению полиции — суть общественного мнения о них. Полиция оспаривает точность картины, описываемой историками якудза, то же самое делает и большинство серьезных японских историков; тем не менее японцы продолжают искренне верить, что у организованной преступности в их стране было благородное прошлое. Чтобы понять романтический ореол вокруг разбойников, нужно углубиться примерно на 400 лет назад, в период средневековья страны, источник бесконечных современных легенд, занимающий в японской культуре то же место, что и Дикий Запад — в культуре американской, с той лишь разницей, что шестизарядный кольт уступает место мечу, а ковбой — самураю.

САМУРАИ-БАНДИТЫ И РЫЦАРИ ИЗ ПРОСТОНАРОДЬЯ

В феодальной Японии люди знали их под именем *кабуки-моно*, безумцев, и уже в 1612 году они стали предметом внимания властей. Подобно мятежникам более поздних времен, они носили странные костюмы и прически, странным бывало иногда и их поведение. На их поясе висел меч необычайной длины, буквально волочившийся по земле, когда эти отщепенцы прогуливались по улочкам старых японских городков. Терроризируя беззащитных людей, они не останавливались перед тем, чтобы практиковать на них *цудзи-гири*, отвратительный обычай, согласно которому самурай мог испытать остроту нового меча на случайных прохожих.

Кабуки-моно собирались в легендарные разбойничьи шайки средневековой Японии, шайки эксцентричных самураев, известные также как *хатамото-якко* (приблизительный перевод — «слуги сёгуна»). Они общались между собой на жаргоне и придумывали себе неслыханные имена, например, Тайсё Дзинги-гуми (Шайка всех святых). Друг к другу члены шайки относились с невероятной преданностью, они клялись защищать друг друга в любых обстоятельствах, даже от собственных родителей.

Все это происходило в эпоху правления сёгуна Токугавы. Гражданские войны, длившиеся несколько столетий, подошли к концу, когда в 1604 году Иэясу Токугава объединил островное государство и стал первым великим сёгуном. Но ситуация в Японии была далеко не стабильной. Мир в стране означал, что почти 500 000 самураев внезапно потеряли работу, а единственным ремеслом, которым они владели, было ремесло солдат и военное искусство. Впоследствии, когда большие деревни вроде Осаки и укрепленные центры, такие, как Токио и Нагоя, стали шумными городами, большинство самураев влилось в растущий класс торговцев. Другие нашли себе дело среди новой городской бюрократии, в науках и в философии. Но повезло не всем. *Кабуки-моно* — почти все они были высокопоставленными самураями — оказались загнанными, как в ловушку, в жесткие рамки средневекового общества, стоявшего на пороге почти 200-летней самоизоляции, и перед ними не открывалось никаких иных возможностей, кроме уличных потасовок, грабежей и террора.

Такой образ жизни не был новым для *ронинов* [1], или независимых самураев. И в прошлом, когда их господа погибали в бою, они вставали на путь бандитизма и, бродя по стране, грабили города и села. Но если раньше, по традиции, этих отбившихся от рук воинов брали в свои армии феодалы, сражавшиеся друг с другом по всей стране, то теперь, в относительно спокойном обществе Токугавы, группы самураев, ставших вне закона, стали жить своей собственной жизнью. (Позже эти шайки бродяг-самураев давней эпохи будут воскрешены в японском фильме «Семь самураев», который, в свою очередь, вдохновит создателей американского вестерна «Великолепная семерка».)

Но хотя эти преступные «слуги сёгуна» — *хатамото-якко* — могут показаться настоящими предшественниками преступного мира Японии, сегодняшние якудза отождествляют себя не с ними, а с их историческими противниками, *мати-якко*, или «слугами города». Это были группы молодых горожан, которые объединялись по мере роста страха и возмущения, чтобы противостоять все возрастающей угрозе нападения *хатамото-якко*. Хотя лидеры этих групп иногда разделяли гнусные обычаи своих противников, их происхождение было совсем иным — это были служащие, владельцы магазинов и постоялых дворов, ремесленники. Были среди них и рабочие, собранные местными строительными боссами, иногда в группы

[1] Ронин — самурай, лишившийся хозяина-сюзерена и ставший бродягой. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

входили и бездомные бродяги, и оказавшиеся не у дел самураи. Подобно сегодняшним бандам, *мати-якко* любили азартные игры, а между их главарями установились тесные связи, которые вполне могут считаться прообразом крепких организационных связей якудза.

Разумеется, горожане поддерживали *мати-якко*, их восхищали мужественные соседи, решившиеся стать на пути самураев-убийц. И вполне закономерно, что «слуги города» вскоре стали героями фольклора среди жителей Эдо, как называли тогда Токио. Теперь становится понятно, почему якудза, которые считают себя отщепенцами, достойными всяческого уважения, выбрали своими духовными предками *мати-якко*. Однако на самом деле трудно найти прямую связь между ними. Канэхиро Хосино, криминолог из Японского научно-исследовательского института полиции, указывает, что обе группировки якко исчезли в конце XVII века, после неоднократных поражений в столкновениях с вооруженными силами сёгуна. Например, токийская Шайка всех святых прекратила существование в 1686 году, когда власти захватили 300 ее членов и казнили главарей.

ИГРОК КАК ГЕРОЙ

Игроки *бакуто* и странники послужили прототипами главных героев *матабимоно* (историй о странствующих игроках), очень популярного в начале века жанра японской литературы. Среди авторов этих историй был Син Хасэгава, плодовитый писатель, чьи книги пользовались широкой известностью и который примерно в 1912 году сделал из якудза народных героев. В его книгах игроки описывались как люди добрые и достойные доверия, чье одиночество и страдания были понятны лишь немногим. Как и в романах Горо Фудзиты, написанных 70 лет спустя, в историях Хасэгавы изображались люди с сомнительным прошлым, которые дрались так же азартно, как и играли, но при этом придерживались правила помогать обездоленным и никогда не обижать простых людей. Они всегда были верны тому, кто помогал им. Добродетельные бродяги были готовы пожертвовать жизнью ради *оябуна* [1], который однажды принял их в шайку.

Агрессивный, но способный к состраданию изгой, ненужный обществу, но готовый постоять за простого человека,— вот основные составляющие мифа о якудза. Такова традиция, унаследованная не только от *мати-якко*, но и от самураев и распространившаяся по всему преступному миру феодальной Японии.

Якудза особенно внимательно относились к ценностям, воплощенным в *бусидо*, кодексе чести самураев. Подобно воинам, они были готовы доказывать свою мужественность стоическим пренебрежением к боли, голоду или плену. Насильственная смерть была для якудза, так же как и для самураев, поэтическим, трагическим и почетным уделом. Однако система ценностей, разработанная первыми якудза, сохранилась надолго, потому что она стала не просто отражением кодекса самураев. Основу ее составили концепции *гири* и *ниндзё*, названия которых трудно перевести на другие языки. Идеи *гири* и *ниндзё* оказали невероятное влияние на самураев, а сейчас продолжают влиять и на все японское общество в целом.

Гири в самом широком смысле означает повиновение сильному чувству долга, и эта концепция связана со сложной системой ценностей, принятой в Японии и включающей понятия лояльности, благодарности и морального долга. В определенном смысле *гири* является той социальной оболочкой, которая связывает друг с другом многих японцев; соблюдение законов *гири* касается главным образом системы взаимоотношений *оябун-кобун*. Но все эти объяснения далеко не в полной мере могут передать сложные и запутанные понятия, связанные с этим словом. Обязательства, входящие в *гири*, охватывают все — от «благодарности за проявленную когда-то доброту до долга мщения».

Ниндзё означает в приблизительном переводе «человеческие чувства» или «эмоции». Среди многочисленных интерпретаций этого понятия — великодушие или симпатия к слабым и обездоленным и сопереживание другим. Обычно это понятие употребляется в сочетании с *гири*, и взаимодействие этих двух сил — долга и сочувствия — образует одну из центральных тем японской литературы. Приняв концепцию *гири-ниндзё*, якудза упрочили свое положение в обществе, показав, что они, подобно самураям, могут сочетать сострадание и доброту с военными доблестями.

Среди тех, кто следит за проблемой якудза, не прекращается горячий спор относительно того, сохранилась ли до сих пор эта система старых ценностей. По словам Какудзи Инагавы из «семьи» Инагава, вероятно самого могущественного

[1] Оябун — нечто вроде «крестного отца» (оя — «отец», «предок»), главарь банды. Соответственно кобун (ко — «дитя», «ребенок») означает рядового члена. Часть «бун» в этих словах — «доля», «роль».

оябуна сегодняшней Японии, «якудза пытаются следовать заповедям рыцарства и патриотизма. Наше главное отличие от американской мафии состоит в наших понятиях *гири* и *ниндзё*. Якудза стремятся заботиться обо всем обществе, если это возможно, даже если на помощь одному человеку приходится потратить миллион иен». Один из высших руководителей соперничающего синдиката Сумиёси добавляет: «Зимой мы уступаем солнечную сторону улицы простым людям, потому что мы живы благодаря их работе. Летом мы, якудза, идем по солнечной стороне, чтобы уступить им прохладную, тенистую сторону. Если вы посмотрите на наши дела, вы увидите, как сильно мы преданы *гири-ниндзё*». На самом деле, если иногда банды действительно совершают благородные поступки, их можно назвать, по словам одного ученого, «случайными шалостями». Однако, как большинство робин гудов в истории, *мати-якко* обязаны своей репутацией не делам, а легендам, в данном случае — многочисленным пьесам XVIII века, в которых они неизменно представлялись героями и защитниками слабых. Эти пьесы были так популярны в Японии, что и сам японский театр в значительной мере обязан своим развитием показу этих шаек разбойничающих сумасбродов. Еще больше прославляли их народные песни и сказки, которые по сей день остаются одним из самых любимых жанров в Японии. В этих историях и пьесах они представлены как *отокодатэ*, или «благородные простолюдины». Например, есть такая сказка об Удэ-но-Кисабуро, или Одноруком Кисабуро, которого обессмертила пьеса театра Кабуки.

Кисабуро, искусный боец, защищавший горожан, был изгнан своим учителем фехтования за любовные похождения. Чтобы добиться прощения учителя, он отрубил себе правую руку в знак раскаяния, а затем отправился на битву с разбойниками в Токио.

Легенды и традиции *мати-якко* были унаследованы более поздними поколениями «благородных простолюдинов». Среди них были старые японские пожарные — грубые, вспыльчивые парни, которые обычно работали на стройках, но также служили добровольцами в пожарной охране. Среди других народных героев были полицейские детективы, главари рабочих банд, борцы сумо и члены преступных синдикатов XVIII века.

Эти первые якудза появились в обществе, все еще построенном по феодальным законам сёгуна. Среди них были предприимчивые дельцы средневекового подпольного мира, которых можно считать истинными предками современных якудза: *бакуто*, или традиционные игроки, и *тэкия*, или уличные торговцы. Привычки этих двух групп были настолько разными, что и сегодня японская полиция разделяет большинство членов якудза на *бакуто и тэкия* (хотя после второй мировой войны появилась и третья группа, *гурэнтай*, или «хулиганы»). Ряды обеих групп пополнялись в основном за счет одних и тех же источников — бедняков, безземельных крестьян, а также преступников и обездоленных, которых можно найти в любом обществе. Однако каждая группа держала под контролем строго определенную сферу, так что они могли действовать на одной и той же небольшой территории, не вступая в конфликты друг с другом. *Бакуто* действовали вдоль крупных дорог и в больших городах, *тэкия* — на все растущих рынках и ярмарках.

Именно от этих банд бродячих торговцев и игроков Горо Фудзита прослеживает родословную якудза в своей «Столетней истории». Фудзита утверждает, что на основании своих бесед со стариками якудза, поисков в современных японских библиотеках и даже изучения надгробий бывших якудза он может установить происхождение сегодняшних «крестных отцов» якудза от криминальных группировок середины XVIII века. Генеалогические карты, приводимые в книгах Фудзиты, способствуют расцвету интереса к истории среди различных кланов якудза. Рядом с портретами «крестных отцов», украшающих стены штаб-квартир сегодняшних банд, можно видеть генеалогические древа, связывающие ту или иную группу с почтенными отщепенцами прошлого; впрочем, связи эти не всегда достоверны. Необычным в них является то, что они никогда не основываются на кровном родстве, но всегда на родстве приемном.

СИСТЕМА *ОЯБУН-КОБУН*

Подобно итальянской мафии, якудза начали объединяться в «семьи», во главе которых стоял «крестный отец», а вновь принимаемые члены считались старшими или младшими братьями или детьми. Однако якудза добавили к этой структуре специфическую японскую связь, известную под названием *оябун-кобун*, что в буквальном переводе означает «роль отца — роль ребенка». *Оябун* дает советы, помогает и защищает, а в ответ пользуется безусловной преданностью и услугами своего *кобуна*, когда в этом возникает необходимость.

В феодальном обществе Японии XVIII века система *оябун-кобун* часто была основой взаимоотношений между учителем и подмастерьем, между господином и вассалом, а в зарождавшемся тогда же преступном мире — между главарем банды и его подручными. Эта система была отражением традиционной японской семьи, в которой отец обладает огромным и непререкаемым авторитетом, распространяющимся даже на выбор брачных партнеров и рода занятий для детей.

Подобно другим группам организованной преступности, ранние якудза разработали целую церемонию для посвящения новых членов. В преступном мире Китая ритуал включал убийство молодого петуха, произнесение тридцати шести клятв перед алтарем и прокалывание среднего пальца новичка серебряной иглой. (Среди сицилийской мафии до 30-х годов нашего века широко практиковалось срезание куска кожи новичка, что символизировало кровное родство. Обряды старой мафии имели и религиозную окраску. В то время как на алтаре сжигалась бумага, олицетворявшая сожжение святого, новичок приносил присягу, обещая отдать мафии свою честь, преданность и кровь.)

Что касается якудза, то *бакуто* и *тэкия* стали проводить официальный обмен чашечками сакэ, что также символизировало кровную связь. Однако эти ритуалы означали не только вступление в банду, но и вступление в систему взаимоотношений *оябун-кобун*. Церемония имела и религиозный смысл — обычно ее проводили перед святынями синто, исконной японской религии. Количество сакэ в чашечке зависело от ранга участников церемонии. Если они приходились друг другу не «отцом» и «сыном», а «братьями» — например, при заключении договора между главарями двух банд,— в обеих чашечках было равное количество сакэ. Если участники церемонии считались «старшим и младшим братьями», то чашка старшего наполнялась на 6/10, а чашка младшего — на 4/10. Существуют и многие другие комбинации, и для каждого случая разработаны строгие руководства.

Подобные церемонии приема новых членов сохранились и по сей день, правда в сильно упрощенном виде.

Система *оябун-кобун* достигла наивысшего развития к началу XX века, она оказала влияние на структуру политических партий, общественных движений, военную сферу, бизнес и индустрию, а также и на преступный мир Японии. Сегодня эта система остается концепцией, духовно наиболее близкой большинству японцев, и, хотя отношение к ней стало гораздо менее серьезным, она по-прежнему оказывает определенное влияние на распределение обязанностей. Сейчас, например, *оябуном* часто считается старший по работе, с которым установились наиболее близкие отношения, примерно то же самое, что наставник на Западе. Система *оябун-кобун* практически не изменилась только среди якудза, именно в этой среде *кобун* по-прежнему готов убивать и даже отдавать собственную жизнь для блага *оябуна*. Старая пословица, все еще популярная среди членов банд, гласит: «Если старший скажет, что пролетающая ворона белая, ты должен согласиться с этим». Именно эта система взаимоотношений является ядром настоящего и будущего японской преступности.

ТЭКИЯ: БРОДЯЧИЕ ТОРГОВЦЫ

Существует множество версий о происхождении *тэкия*. Горо Фудзита полагает, что они начинали как бродячие разносчики, приносившие свои товары к стенам крепостей и на рынки. Другие теории основаны на слове *яси*, как называли бродячих торговцев. Поскольку слово *яси* означает также и «бандиты», не исключено, что первоначально речь шла о независимых самураях, занимавшихся «промыслом» в деревнях. Однако наиболее распространена теория, основанная на том факте, что богом-покровителем *яси* был *Синно*, китайский бог земледелия, который открыл медицину, чтобы помогать больным и бедным. По этой теории, *яси* были бродячими лекарями, в чем-то схожими с бродячими торговцами змеиным жиром на американском Диком Западе (слово *си* может означать «медицина», а *я* — «торговец» или «коробейник»). Со временем слово стало обозначать всех бродячих торговцев любым товаром.

Какими бы ни были их истоки, в середине XVIII века *тэкия* стали объединяться в банды, чтобы бороться за общие интересы и защищаться от опасностей, грозивших им в обществе времен Токугавы. Эти банды могли контролировать торговлю с лотков, перевозившихся с ярмарки на ярмарку около храмов и святых мест. В них входили мужчины с устоявшейся репутацией любителей сомнительных удовольствий и нечестных торговцев; эта традиция сохраняется и поныне среди примерно 24 000 японских *тэкия*. Первые бродячие торговцы пользовались хорошо разрабо-

танными приемами мошенничества: они лгали о качестве и происхождении товара, изображали пьяных и предлагали свои товары по низкой цене, чтобы покупатели думали, что они не понимают, что делают, или же обманывали покупателя с помощью таких изобретательных трюков, как, например, продажа *бонсай* (миниатюрных деревьев) без корней.

Тэкия были организованы по феодальному принципу, и члены банд делились обычно на 5 категорий: главарь, или *оябун*, помощник главаря, офицеры, рядовые члены банды и ученики. С некоторых точек зрения банда была сложным организмом: Дом *оябуна* служил одновременно и штаб-квартирой банды, и центром обучения новых членов, которые вначале жили в доме главаря и обучались там делу. Позже они присоединялись к рядовым членам банды, в задачу которых входило торговать товарами главаря по всей стране. Только после того как они возвращались с хорошей выручкой, они становились полноправными членами банды. Однако все члены банды были связаны между собой строжайшей организацией, где главенствующая роль принадлежала *оябуну*, и в большинстве группировок действовали «Три заповеди тэкия»:

Не прикасайся к жене другого члена группы.
(Это правило было введено потому, что жены часто
и надолго оставались одни, когда их мужья отправлялись
торговать.)
Не разглашай полиции секретов организации.
Сохраняй верность законам системы оябун-кобун.

Главарь контролировал не только своих *кобунов*, но и размещение торговых точек, и даже поставку некоторых товаров. Он собирал плату с торговцев и деньги за охрану, причем разница между собранной суммой и платой, взимавшейся храмом за предоставление торговых мест, шла в его карман. Происходило своего рода вымогательство, продолжающееся и по сей день: боссы *тэкия* требуют от уличных торговцев плату за право открывать свои ларьки. У тех, кто отказывался платить, отнимали товары, их покупателей разгоняли, и они рисковали подвергнуться физическому насилию со стороны членов банды, стремившейся сохранить свое господство в данном районе. Разногласия между главарями *тэкия* неизбежно приводили к частым стычкам между бандами по всей стране. Тем не менее существовала и своеобразная кооперация, потому что торговцы, переходившие с одной ярмарки на другую, неизбежно попадали в сферу влияния других главарей, и те, за соответствующую плату, следили за тем, чтобы они имели возможность получить хорошее место для торговли.

В отличие от игроков, *тэкия* в основном действовали совершенно открыто. Конечно, феодальные власти в значительной мере способствовали росту могущества *тэкия*, признав официально их существование в 1735—1740 гг. Для того чтобы сократить количество мошеннических махинаций, широко распространившихся среди *тэкия*, и предотвратить будущие столкновения, власти назначили некоторых *оябунов* «наблюдателями» и даровали им право на «фамилию и два меча», символы, приближавшие к самурайскому статусу. Благодаря такой легализации и по мере быстрого роста городов в следующем столетии банды стали разрастаться. Некоторые начали организовывать собственные дополнительные ярмарки, становясь, таким образом, своего рода японскими «скоморохами». Они устраивали праздники, собирали на них цирки с красочными представлениями, и во время этих праздников многочисленные *тэкия* продавали продукты, подарки, домашнюю утварь и все, что могло привлечь покупателя. Несмотря на новообретенную легальность, банды тем не менее продолжали заниматься и совершенно противозаконной деятельностью. Они принимали в свою разраставшуюся сеть разыскиваемых преступников и других беглецов; они занимались вымогательством и шантажом, вытесняя соперников со своей территории, а их частые столкновения с другими бандами превращали места встреч *тэкия* в вооруженные лагеря.

Хотя вначале *тэкия* состояли в основном из таких же обездоленных изгоев, как их собратья-картежники, *бакуто*, к ним тянулись также и члены старинной японской касты бездомных. Это были *буракумины*, или «люди деревни», составлявшие отдельную касту, наподобие неприкасаемых в Индии. В класс *буракуминов* входили различные люди, те, кто работал с тушами убитых животных, например, кожевенники, или те, кто занимался «нечистым» делом, например, похоронами. Дискриминация *буракуминов* была жестокой и непреклонной. В народе их называли *эта* (осквернённые) или *хинин* (нелюди). И точно так же, как самураи могли издеваться над простыми людьми, простые люди могли издеваться над *буракуминами*.

В эпоху Токугавы те, кто нарушал законы или обычаи, могли быть низведены до положения *эта* или *хинин*; таким образом, некоторые члены *тэкия* становились

«нелюдями». В то же самое время многие люди, родившиеся в семьях *буракуминов*, присоединялись к шайкам *тэкия*, что давало им возможность выхода из нищеты и унижения. Занятие бродячей торговлей давало *буракуминам* одну из немногих возможностей покинуть место, где они родились, где все знали, что они — отверженные. Этот слой общества был существенным источником потенциальных нарушителей закона: к концу эпохи Токугавы в 1867 году среди 33 миллионов жителей Японии насчитывалось примерно 400 000 *буракуминов*.

Легальной дискриминации *буракуминов* был официально положен конец в 1871 году на основании правительственного декрета, однако издевательства над этими людьми и их унижения продолжаются и сегодня, и это приводит многих *буракуминов* в ряды якудза.

БАКУТО: ИГРОКИ

В то время как японские отверженные помогали пополнять ряды *тэкия*, *бакуто* также не жаловались на недостаток новых членов. Первые шайки картежников были, по сути дела, наняты правительственными чиновниками и местными руководителями, которые в эпоху Токугавы отвечали за многочисленные проекты строительства и ирригации. Для осуществления этих проектов требовалось выплачивать значительные суммы работникам, и работодатели стремились вернуть себе часть этих денег во многом по той же схеме, что и Бандзуйин Тёбэй на век раньше: они нанимали разномастные шайки нарушителей закона, крестьян и чернорабочих, чтобы те затевали азартные игры с рабочими.

Группы нанятых игроков стали постепенно притягивать обманутых торговцев и ремесленников, а также и японцев, занимавших более высокое положение в обществе, например, самураев и борцов сумо. По мере того как случайные группировки превращались в организованные шайки, игроки нашли свое место на главных дорогах страны; их богатая событиями жизнь стала предметом описаний в бесчисленных преданиях старой Японии. Однако их вклад не ограничивался обогащением японского фольклора; *бакуто* стали тем, что токийский криминолог Хосино называет «стержнем организованной преступности» в Японии. Они принесли в преступный мир страны не только свою главную традицию — азартные игры, но и обычай отрубания пальцев, и слово *«якудза»*.

Дороги феодальной Японии открывали перед игроками широкое поле деятельности. Чтобы положить конец неповиновению в провинциях, правительство Токугавы объявило, что все феодалы должны приезжать в столицу раз в год, а их семьи должны постоянно жить в городе. Таким образом, основные дороги страны стали ее политическими артериями, по ним постоянно передвигались процессии знати и слуг, и в обоих направлениях шел непрерывный поток гонцов. Вдоль дорог на разумных расстояниях друг от друга располагались места отдыха, где путники могли остановиться на ночь и найти какие-то развлечения, в том числе и возможность сыграть на монетку-другую. Наиболее известная дорога в Японии, тракт Токайдо, была построена в 1603 году, соединив Киото, бывшую столицу и резиденцию императора, с Токио, местом пребывания сёгуна и настоящим центром власти правительства Токугавы. Всего вдоль этой дороги было 53 станции; к середине XIX века на большинстве из них обосновались шайки бакуто.

Именно на станциях Токайдо и других дорог игроки впервые стали употреблять слово *«якудза»*. Согласно широко распространенному мнению, это слово происходит от названия самого плохого из всех возможных результатов карточной игры *ханафуда* (цветочные карты). При игре каждому игроку сдается по 3 карты, и последняя цифра общего числа очков, набранного игроком, обозначает счет; таким образом, при счете 20 — самом плохом из всех возможных — игрок получает 0 очков. Среди проигрышных комбинаций есть и такая: 8—9—3, или по-японски *я-ку-са*.

Проигрышная комбинация *я-ку-са* вскоре стала обозначать для членов шаек картежников вообще нечто совершенно бесполезное. Впоследствии это название перешло на самих игроков, чтобы обозначить их бесполезность для общества; эти люди были рождены, чтобы проигрывать. На протяжении многих лет это слово применялось только для обозначения шаек *бакуто* — и сегодня в японском преступном мире есть свои пуристы, считающие, что настоящими якудза могут быть только картежники. Но в XX веке это слово постепенно стало применяться все шире и шире для обозначения *бакуто*, *тэкия* и многих других шаек организованных преступников в Японии.

Картежники сурово расправлялись с теми, что нарушал законы шайки. Трусость, непослушание и разглашение секретов шайки считались не только

предательством, но и позором для репутации и чести шайки. Некоторые преступления были совершенно недопустимы, например, изнасилование или мелкие кражи. Если не считать смертной казни, самым тяжелым наказанием было изгнание из шайки. Прокляв нарушителя, *оябун* сообщал другим шайкам, что данный игрок больше не входит в его группу; по общему соглашению, изгнанный не мог стать членом соперничающей шайки. Существовала одна традиция, сохранившаяся до наших дней. В случае изгнания одного из членов шайки остальные рассылали обычной почтой открытки в другие «семьи» преступного мира. В этих открытках сообщалось о самом факте изгнания и содержалась просьба воздержаться от союза с бывшим «коллегой».

В случае серьезных нарушений, не заслуживавших, однако, смертной казни или изгнания, *бакуто* применяли обычай *юбицумэ*, то есть торжественное отсечение верхней фаланги мизинца. Этот обычай был распространен не только среди *бакуто*. Позже его стали практиковать и в других низших слоях общества эпохи Токугавы. В частности, проститутки знаменитого токийского района Ёсивара считали такой ритуал проявлением особой преданности любовникам. Однако якудза использовали ритуальную ампутацию более практично. Есть свидетельства о том, что в ритуал отсечения пальца вкладывался особый смысл: таким образом рука человека делалась более слабой, то есть уже не могла достаточно крепко удерживать меч. Подобная операция, производилась она добровольно или насильно, делала непокорного кобуна более зависимым от защиты главаря шайки. Если фаланга пальца отсекалась в знак просьбы о прощении, она заворачивалась в тонкую ткань и торжественно преподносилась *оябуну*. *Оябун* обычно соглашался принять «дар», потому что это считалось большой заслугой. Однако в случае новых нарушений человеку могли отрубить следующую фалангу на том же пальце или же верхнюю фалангу другого пальца. Часто церемония *юбицумэ* происходила непосредственно перед изгнанием члена шайки в качестве последнего наказания.

Практика отрубания пальца распространилась среди *тэкия* и других криминальных группировок, и, если верить японским властям, со времен феодалов этот обычай не стал более редким. В 1971 г. правительственные исследователи отмечали, что у 42% современных *бакуто* были отрублены фаланги пальцев, а 10% из них перенесли подобную «операцию» по меньшей мере дважды.

Вторая отличительная черта якудза, татуировка, также широко распространилась среди *бакуто* феодальной Японии. Вначале татуировки якудза представляли собой знак наказания, таким образом власти клеймили преступников; за каждое преступление на руку наносили одно черное кольцо.

Однако традиции татуировки в Японии имеют старинные корни. Удивительные рисунки этой татуировки, которые многими признаются как лучшие в мире, известны сотни лет. Еще в III веке один китайский путешественник писал о Японии: «В этой стране и знатные, и простые мужчины татуируют свои лица и наносят рисунки на тело». С годами рисунки становились более сложными, в них причудливо сочетались изображения великих богов, народных героев, животных и цветов. К концу XVII века сложные рисунки на всем теле стали пользоваться популярностью среди игроков и чернорабочих, которые работали полуобнаженными,— носильщиков, конюхов, кровельщиков, каменщиков. Иногда гейши (женщины, чьей профессией является развлечение гостей) украшали таким образом свое тело; то же делали и проститутки в Токио и Осаке, наносившие на руку или на внутреннюю сторону бедра имя любимого клиента. Правительство Токугавы периодически пыталось запретить татуировку, но не смогло уменьшить ее популярности.

Традиционный процесс татуировки мучителен. С помощью специальной пластины из кости или дерева, усаженной тонкими иголочками, художник наносит на тело множество болезненных уколов. Процедура особенно неприятна, когда татуируют такие чувствительные части тела, как грудь или ягодицы. К тому же она довольно длительна. Полная татуировка спины, при которой рисунок занимает всю поверхность от шеи до копчика, может занять до 100 часов.

Такая изнурительная процедура стала своего рода испытанием силы, и игроки охотно подвергались ей, чтобы продемонстрировать миру свое геройство, крепкие нервы и мужественность. В то же самое время татуировка выполняла и другую, более скромную функцию,— это была рана, нанесенная самому себе, которая навсегда делала изгоя отличным от остального общества. Татуировка метила якудза как отверженных, которые никогда не смогут или не пожелают принять нормы окружающего их мира.

Как и в случае с ритуальным отрубанием пальца, обычай татуировки перешел от *бакуто* к *тэкия* и к другим японским бандам и стал широко распространенным явлением в преступном мире. Этот обычай настолько тесно связан в сознании людей с якудза, что и сегодня в публичных банях и саунах, хозяева которых хотят оградить

своих клиентов от гангстеров, можно увидеть объявление: «Татуированным вход запрещен». По сегодняшним подсчетам примерно 73% якудза имеют на теле какие-либо татуировки, хотя и нанесенные более современными способами, электроиглами, что менее болезненно и происходит быстрее. До сих пор среди преступного мира те, кто перенес традиционную процедуру татуировки, пользуются большим уважением.

Вклад *бакуто* в криминальную историю Японии не ограничивается традициями отрубания пальцев и татуировки. Некоторые шайки с самого начала пользовались благоволением властей и работали на них, хотя и не так формально, как *тэкия*. Некоторые *оябуны* даже становились депутатами. Соглашения с полицией позволяли шайкам сплачиваться и расширять сферу своего влияния. Однако другие шайки считали сотрудничество с полицией нарушением правил поведения игроков и часто нападали на *бакуто*-предателей. Тем не менее эти первые шаги властей к признанию, совместной работе и даже к сотрудничеству с преступниками нашли благодатную почву. Такого рода соглашения заложили впоследствии основу для политической коррупции, достигшей самых высоких этажей японского общества и правительства.

Несмотря на официальное сотрудничество между некоторыми группами и периодические кровавые стычки за раздел территорий между другими, первые *бакуто* обычно помогали друг другу. По временам они объединялись в своего рода подпольные общества взаимопомощи. Особого внимания заслуживает система «странников», принятая у *бакуто*, согласно которой бродячие торговцы посещали *оябунов* в каждой области, через которую проходили, останавливались в их домах на несколько дней и получали небольшую сумму денег на расходы. К ним относились с почетом, принятым для приглашенных гостей, потому что, хотя гость и хозяин не были знакомы друг с другом, это были люди одной профессии.

«Странники» были одной из наиболее колоритных фигур эпохи Токугавы; даже сегодня японцы сразу узнают их костюмы благодаря бесчисленным пьесам и фильмам об их жизни. Они носили шляпы из камыша, почти закрывавшие их лица, широченные плащи, развевавшиеся на ветру, соломенные сандалии и гетры; через плечо у них висела пара связанных ремней, а на боку — единственный меч, в отличие от двух, полагавшихся самураям.

Жизнь *бакуто* была насыщена ритуалами и обычаями, и «странники» не составляли исключения. Придя в дом *оябуна*, «странник» представлялся *кобуну*, открывшему дверь, по старинному японскому обычаю: «Я родился в таком-то месте. Я такой-то и принадлежу к такой-то группе. Я бедный человек, и раз мы теперь познакомились, я хотел бы, чтобы вы поддерживали и меня отныне и навсегда». После этого «странник» дарил *кобуну* полотенце для рук, и, согласно этикету, тот возвращал ему это полотенце, сопровождая его небольшой суммой денег и словами: «Достаточно и твоей учтивости». В качестве платы за еду и приют «странник» выполнял в доме *оябуна* какую-то работу, например, убирал дом или наливал в банный чан воду из колодца. Хозяин, со своей стороны, относился к нему как к гостю. Если же гостя — как это нередко случалось — разыскивала полиция, *оябун* брал на себя обязательство укрывать его.

«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» ХИРОТЁ

Нигде не найти такого яркого описания ценностей былых времен, как в сказке «Хиротё из Симидзу». Эту историю о человеке, который был, бесспорно, самым знаменитым разбойником в Японии, рассказывали миллионам японских детей.

Хиротё был третьим сыном в семье моряка. По преданию, он родился в первый день 1820 года в захудалом портовом городишке Симидзу. Это место находилось недалеко от знаменитого тракта Токайдо, на полпути между Токио и некогда маленькой рыбачьей деревушкой Иокогамой. Поскольку дети, родившиеся в Новый год, по примете должны были стать либо великими и гениальными, либо безнадежными негодяями, отец Хиротё решил не испытывать судьбу и отдал мальчика в семью богатых бездетных родственников. В юности Хиротё был страшным хулиганом, но потом образумился и стал торговать рисом, как и его приемный отец.

Когда Хиротё было 16 лет, отец его умер, и юноша унаследовал его дело. Он занимался им до 20 лет, и тогда в его дверь постучался странствующий монах. Монах предсказал, что Хиротё погибнет, не дожив до 26 лет, и это пророчество напугало Хиротё. Он решил бросить свое дело и присоединиться к шайке игроков, которых было немало в Симидзу и в других селениях вдоль Токайдоского тракта. После

пьяной драки с местными хулиганами он оставил жену и дом и отправился странствовать. В течение трех лет он был «странником». За это время Хиротё прославился своим умением драться, улаживать споры между людьми и командовать ими.

Вернувшись в Симидзу, Хиротё сколотил собственную шайку, к которой вскоре примкнули многие игроки и будущие игроки со всей округи. Среди них были уличные хулиганы, строительные рабочие, разорившиеся самураи; Хиротё стал главарем типичной шайки *бакуто*. Как рассказывается в легенде, одно время он возглавлял шайку из 600 человек и власть его распространялась на центральную часть дороги Токайдо — 8 станций от реки Фудзи вблизи Токио до реки Ои недалеко от Киото. Люди Хиротё стали настоящими хозяевами этого района, потому что полицейские эпохи Токугава не отличались дисциплинированностью и были известны своей продажностью. Под умелым руководством Хиротё его люди побеждали в отчаянных схватках с бесчестными игроками и ворами и охраняли простых людей от жестоких самураев и их господ.

Наибольший успех Хиротё пришелся на трудные годы середины XIX века. Власть сёгунов слабела и подвергалась нападкам со всех сторон. Могущественная знать и богатые торговцы требовали изменений в обществе; усиливались требования открыть страну для общения с Западом, подкрепляемые присутствием иностранных эскадр; все чаще вспыхивали восстания притесняемых крестьян, а императорский двор в Киото, чья власть все укреплялась, становился все более и более угрожающим.

Набирало силу движение за провозглашение императора подлинным главой государства. (До сих пор роль его была в основном символической.) Среди тех, кто поддерживал это движение, были сторонники сохранения «закрытой» Японии, тогда как сёгун уступил требованиям коммодора Перри, и с 1854 года порты Японии стали постепенно открываться для западных кораблей. Традиционалисты, провозгласившие лозунг «Почитай императора, изгоняй варваров!», могли, однако, лишь ускорить неизбежный конец двухсотлетней изоляции страны, потому что император впоследствии распахнул двери Японии так широко, как и не снилось сёгуну.

Начинался последний период могущества Токугавы, ознаменовавший конец долгой феодальной власти в Японии. Именно в эти дни смятения, буквально накануне гражданской смуты, Хиротё, как и многие якудза, выбрал свой путь и стал на сторону императора — божественного правителя Японских островов. Некоторые якудза пополнили ряды ослабленных сторонников сёгуна. Ни у одной из этих группировок не было идеологических мотивов поведения: игроки по натуре, *бакуто* действовали наугад, надеясь получить политическую выгоду от победившей стороны.

Хиротё сыграл правильно. Все его прошлые грехи были прощены, и он стал могущественным человеком в своей общине. Главарь *бакуто* помогал земледельцам и рыбакам, способствовал развитию городка Симидзу. Поддерживая стремление нового общества к модернизации, Хиротё открыл одну из первых английских школ в Японии. Он даже построил тюрьму, чем немало позабавил своих старых друзей. В то же время его последователи продолжали следить за порядком в районе Симидзу и контролировать игорное дело.

Хиротё умер в 1893 году в возрасте 73 лет. Он похоронен в местном храме вместе со своими последователями, и до сих пор тысячи людей ежегодно посещают его могилу. Говорят, что у подножия Фудзиямы стоит еще один памятник бывшему преступнику — синтоистский храм, посвященный Хиротё и построенный крестьянами, обрабатывающими земли, которые он некогда начинал осваивать.

Примерно в таком стиле описываются наиболее знаменитые якудза в бесчисленных японских сказках и легендах. Но легендам верят не все. Среди несогласных можно назвать и «Асахи симбун», самую влиятельную газету Японии, которая в январе 1975 года опубликовала статью, озаглавленную «Робин Гуд из Симидзу был самым обыкновенным разбойником». В статье говорилось, что в городке, расположенном вблизи Симидзу, были найдены официальные документы, из которых явствовало, что Хиротё вовсе не был предметом восхищения людей, а был «всего лишь бандитом, терроризировавшим крестьян». Документы свидетельствовали о том, что Хиротё, которому правительство доверило управление областью, оставался в душе главарем разбойничьей шайки и правил он с помощью насилия и угнетения. Но, как и большинство разбойников во всем мире, Хиротё больше известен по легендам, а не по документам.

ЯКУДЗА ОБНОВЛЯЕТСЯ

Ветры исторических перемен, овевавшие жизнь Хиротё, превратились в настоящий ураган в 1867 году, когда, уступив неизбежности, пятнадцатый, и последний, сёгун из рода Токугава отрекся и уступил место молодому императору Мэйдзи.

Началась эпоха Реставрации, принесшая расцвет подавляемым до тех пор коммерческим и интеллектуальным талантам японцев и положившая начало первому японскому экономическому чуду, когда были разорваны последние путы феодализма и страна быстро стала наращивать индустриальную мощь.

По мере модернизации страны якудза распространяли свое влияние на крепнущую экономику. Их банды окончательно взяли в свои руки организацию строительных бригад из сезонных рабочих и набор грузчиков для работы в портах, развивавшихся с невероятной скоростью. А после того как признание в Японии завоевали металлические колеса, преступный мир стал контролировать новую сферу деятельности — рикш-перевозчиков, которых к концу века только в Токио насчитывалось 50 тысяч.

Игорное дело оставалось основным занятием шаек *бакуто*, хотя усиление контроля полиции заставило их перенести игру в укромные места и в частные дома. Многие главари начали заниматься легальным бизнесом, чтобы прикрыть им истинные занятия своих банд, и в это же время было положено начало постоянной практике подкупа местной полиции. *Тэкия* также продолжали вести образ жизни уличных торговцев. Им было легче распространять свое влияние, поскольку, в отличие от игроков, они занимались внешне законным делом. Однако благодаря направленным усилиям полиции обеим группировкам дали понять, что новое государство не намерено мириться со всеми разборками, открытыми стычками и войнами за сферы влияния.

Шайки *бакуто* и *тэкия* продолжали вести политические игры, постепенно некоторые группы завязали тесные связи с важными официальными лицами. Эти группы хотели добиться некоторой легализации или, по меньшей мере, немного освободиться от давления властей, и в сотрудничестве такого рода они видели путь к достижению своей задачи. С другой стороны, правительство продолжало искать пути использования преступных группировок в своих целях, как делало это и во времена Хиротё.

Вначале это происходило спонтанно, как в случае с Хиротё и его людьми, и связи между политиками и «сильными» людьми не имели никакой идеологической подоплеки. С обеих сторон проявлялся чистый оппортунизм. Отношение к подобной связи оставалось достаточно сдержанным вплоть до конца XIX века, когда японский консерватизм стал приобретать все более правую окраску. Начинался подъем японского милитаризма, и в то же самое время усиливались репрессии внутри страны, потому что на фоне начавшегося национального эксперимента с демократией в стране родилась новая зловещая сила — ультранационализм.

ГАНГСТЕРЫ-ПАТРИОТЫ

Современный ультранационализм, сила, стоящая за правыми политическими движениями Японии, зародился в 80-х годах прошлого века. Впервые его проявления были отмечены на Кюсю, самом южном из четырех основных островов Японии, бывшем в то время бедным рыбацким и шахтерским районом. На Кюсю жило множество разоренных бывших самураев, и многие из них принимали участие в восстаниях против нового общественного порядка. Патриоты и политики, критически относившиеся к продажности нового режима и к забвению традиций, использовали недовольство этих людей в своих целях. Особенно сильно это проявлялось в городе Фукуока, расположенном в той части острова, которая наиболее близка к Азиатскому материку. Город превратился в центр распространения антиправительственных настроений и за несколько лет стал средоточием сил нового милитаризма и патриотизма в Японии.

В Фукуоке родился лидер, который навсегда изменил ход развития и организованной преступности, и политической жизни в Японии. Ему удалось объединить их, и связь эта сохранилась по сей день. Имя этого человека — Мицуру Тояма, он был третьим сыном в семье захудалых самураев. Сведения о первых годах его жизни проверить трудно. Говорят, что Тояма провел детство в нужде, что он продавал сладкий картофель на улицах Фукуоки и постепенно превратился в сильного, по-житейски умного подростка, преклонявшегося перед традициями самураев.

Примерно к двадцати годам Тояма стал интересоваться политикой. Он принимал участие в одном из последних восстаний самураев, за что был приговорен к трем годам тюрьмы правительством Мэйдзи. После освобождения юный патриот записался в первую националистическую группировку Кёсися (Общество гордости и патриотизма) и впервые начал сколачивать группу собственных сторонников. Он занимался уличной агитацией среди безразличных к политике хулиганов Фукуоки. Его люди стали одновременно дисциплинированной рабочей силой и мощной

боевой группой, которая использовалась, чтобы сдерживать рабочие волнения, по крайней мере на угольных шахтах вблизи Фукуоки.

Как и многие его предшественники, Тояма завоевал репутацию робин гуда. Он без счета раздавал своим сторонникам деньги прямо на улицах города. Его прозвали «императором трущоб», и он заслужил уважение местных политиков: они знали, что он не останавливается перед применением силы, и боялись его.

Национальная известность и власть пришли к Тояме в 1891 году, после того как он основал Общество темного океана (Гэнъёся). Гэнъёся, объединение уже действовавших националистических обществ, стало предшественником современных секретных организаций и патриотических группировок Японии. В его хартии было много установок: почитай императора, люби и уважай свой народ, защищай права людей. Однако амбициозный Тояма знал, для каких целей была в действительности создана его организация — для того, чтобы пробудить в бывших самураях стремление к господству за пределами страны и к установлению авторитарного режима внутри нее. Само название «Темный океан» наводило на мысль об экспансии, ибо для Тоямы и его сторонников оно символизировало узкий пролив, отделявший Японию от Кореи и Китая. Именно Тояма сумел предугадать и сформировать почти в одиночку новое общественное мнение, которое впоследствии стало использоваться для поддержки милитаризма японскими политиками. «Общество темного океана», чья деятельность основывалась на терроре, шантаже и убийствах, добилось исключительного влияния на членов офицерского корпуса Японии и правительственных чиновников, и именно это Общество сыграло ведущую роль в вовлечении Японии в конфликты в Восточной Азии и, в конечном итоге, в войну с США.

Члены Гэнъёся работали телохранителями у правительственных чиновников, могущественными советниками местных политических лидеров, а те из них, которые занимались профессиональной деятельностью — в качестве квалифицированных рабочих, каменщиков, водопроводчиков, кровельщиков,— привлекали профсоюзы к сотрудничеству с Обществом. Эти новые якудза считали, что они относятся к совершенно иному слою преступного мира Японии, нежели простые *бакуто* или *тэкия:* это были гангстеры высокого класса, поддерживающие правую ультранационалистическую политику Тоямы.

Общество засылало своих шпионов в Китай, Корею и Маньчжурию. Его члены руководили школами, где обучались новые поколения ультранационалистов. Благодаря изучению военного искусства, иностранных языков и техники шпионажа выпускники школ Гэнъёся стали основой нового интеллектуального слоя, сформировавшегося в Японии перед второй мировой войной.

Тояма удивительно умело использовал своих сторонников в Японии. С их помощью подогревались или подавлялись общественные беспорядки, его люди влияли на политиков и на избирателей, устраняли недовольных рабочих лидеров и были готовы наказать любого, кто вызывал неодобрение их руководителей. Общество темного океана и ему подобные организации были особенно ценны для горнорудных и производственных предприятий, которые использовали их членов не только в качестве штрейкбрехеров, но и как политическую основу для выдвижения новых политиков или для выведения из игры политиков, неугодных Обществу.

Тояма и его последователи из «Общества темного океана» пытались оказывать непосредственное влияние на политику. Используя деньги, полученные от все ширящегося рэкета, Тояма развязал кампанию террора и убийств, направленную на создание нового общественного порядка в стране. Активисты Гэнъёся бросили бомбу в экипаж министра иностранных дел Сигэнобу Окума, которому оторвало ногу; организовали покушение на либерального политика Тайсукэ Итагаки и убили Тосимити Окубо, бывшего, вероятно, самым блестящим государственным деятелем эпохи Мэйдзи.

В 1892 году в политической жизни Японии произошло совершенно новое событие: прошли всеобщие выборы. Тояма и его сподвижники отметили его созданием первого широкомасштабного объединения между правыми силами и силами преступного мира. Общество, уже налаживавшее связи с консерваторами, входившими в правительство Мэйдзи, развязало мощную кампанию в поддержку этих должностных лиц.

Опасаясь, что его сил окажется недостаточно, Тояма обратился к лидеру преступной организации близлежащего Кумамото, который послал в Фукуоку подкрепление из 300 бандитов. К этим объединенным силам националистов и преступников присоединилась местная полиция, которая, с благословения самого министра внутренних дел, помогала гангстерам терроризировать политиков, настроенных против правительства. Результатом стали самые кровавые выборы в истории Японии, сопровождавшиеся гибелью и ранениями сотен людей. Общество Гэнъёся не скрывало, что целью кампании, проводившейся в Фукуоке, было устранение всех демократических и либеральных организаций в области.

В дальнейшем общество Гэнъёся участвовало в еще более важных делах. Тояма получил секретное задание военного министра «раздуть огонь» в Корее, создав предлог для введения в эту страну японских войск. В 1895 году группа агентов Гэнъёся, обученных военному искусству ниндзя, убийц и шпионов, проникла в Императорский дворец в Корее и убила императрицу. Это событие стало одной из причин, ускоривших вторжение Японии в страну, откуда она ушла лишь спустя 50 лет.

С этого времени ультранационализм стал одной из неотъемлемых черт политического спектра Японии. «Общество темного океана» послужило моделью для сотен секретных организаций, проникших в каждый уголок Японии, а впоследствии — и в другие страны Восточной Азии. Эти организации носили звучные имена — Корпус кровавого обета, Группа лояльной искренности, Крестьянский корпус бросающих вызов смерти, Ассоциация за божественные действия. У некоторых групп были богатые покровители; другие обеспечивали финансирование своей деятельности за счет преступлений, которые до сих пор дают хлеб группировкам якудза: азартных игр, проституции, рэкета, штрейкбрехерства, шантажа и торговли. Секретные общества привлекали боссов местных банд *тэкия* и *бакуто*, и так начался процесс, который и теперь, спустя сто лет, стирает различия между правыми и преступниками в сознании японцев.

Среди групп, привлекавших якудза, была группа — преемник Гэнъёся — Кокурюкай, или «Общество реки Амур», основанное в 1901 году. Ее создателем стал Рёхэй Усида, правая рука Тоямы. Название этой полулегальной группы объясняло ее цели: распространение японского владычества до реки Амур, разделяющей Маньчжурию и Россию. Однако группа получила наибольшую известность под другим названием: иероглифы, образующие слово Кокурюкай, можно прочесть и как Общество черного дракона. Это громкое название привлекло многих западных журналистов.

Конечной целью Черных драконов было достижение полного контроля над Азией. Наиболее фанатичные из них считали, что Общество было достойно имени Хакко-ити-у — Восемь углов света под одной крышей. Крышей, разумеется, должна была стать крыша японского императора, прямого потомка богини Солнца. Общество черного дракона стало естественным преемником Общества темного океана Тоямы, унаследовав его сторонников, его политику, его цели. Под покровительством и под руководством Тоямы это общество подталкивало Японию к победоносной войне с Россией, совершало политические убийства, а также сделало с Китаем то, что активисты Гэнъёся сделали с Кореей,— создало предлог для японского вторжения. Организация процветала около 30 лет, возбуждая японцев призывами к священной войне против капитализма, большевизма, демократии и Запада. На протяжении всего этого периода Тояма и Усида были для ультранационалистов Японии тем же, чем были Маркс и Ленин для коммунистов.

Следующее достижение Тоямы в преступном мире — создание первой национальной федерации гангстеров — относится к 1919 году, когда было образовано Дай Ниппон Кокусуйкай (Великое общество национального духа Японии). Эта организация, в которую входили более 600 000 гангстеров, рабочих и ультранационалистов, была духовным детищем Тоямы и Такэдзиро Токунами, тогдашнего министра внутренних дел. Новая федерация заняла место, подготовленное за 40 лет до того «Обществом темного океана» Тоямы. В ее декларации говорилось в общих словах о почитании императора, о «духе рыцарства» и о старинных японских ценностях. На самом же деле Кокусуйкай была мощной организацией штрейкбрехеров, которая придала ультранационалистическому движению невиданный до тех пор уровень жестокости. Возглавляемая самим Токунами, с Тоямой в качестве главного советника, организация действовала точно теми же методами, что и ее современники-фашисты в Италии — чернорубашечники Муссолини. Министерство внутренних дел, полиция и некоторые высокопоставленные военные поддерживали деятельность Кокусуйкай. Ее членов натравливали не только на бастующих рабочих, но и на любого, кто казался Тояме и его сторонникам опасным подрывным элементом. Среди многочисленных акций группы — нападение на демонстрацию из 28 000 человек, участвовавших в забастовке 1920 года на металлургических заводах Явата. Банды Кокусуйкай действовали бок о бок с полицией, военной жандармерией, пожарниками, организациями ветеранов и силовыми элементами других организаций для подавления забастовки.

Кокусуйкай Токунами со временем превратилась в военизированное крыло Сэйюкай, одной из двух основных политических партий того времени. Видя перед собой этот пример, к концу 20-х годов партия Минсэйто, основной оппонент Сэйюкай, организовала собственную гангстерскую группировку, Ямато Минрокай, состоявшую из якудза, пришедших в основном из организаций строительных рабочих. Эти банды настолько тесно слились со своими политическими патронами, что

многие из главарей преступного мира стали успешно соперничать за посты на государственном уровне. Их присутствие в парламенте Японии было еще одним признаком того, что будущее не сулило стране ничего хорошего.

В 30-х годах правые силы в Японии невероятно окрепли. После убийств или ухода с политической сцены умеренных политиков ситуация в стране дестабилизировалась. С 1930 года и до конца войны японская полиция официально зарегистрировала 29 «инцидентов» с участием правых. Среди этих «инцидентов» были попытки государственных переворотов, предпринятые военными и ультранационалистами, и непрекращающиеся нападения на ведущих политиков и промышленников — в том числе убийства двух премьер-министров и двух министров финансов.

В то время как тревожные 30-е годы в Японии ознаменовались почти полным поражением демократии, звезда Тоямы разгоралась все ярче. Стареющий лидер, обладавший теперь большим богатством и престижем, организовывал убийства и формировал кабинеты министров. Его приглашали на обеды в Императорский дворец и в общества ультранационалистов. Он выступал на основных сборищах патриотов, и именно его просили провозглашать троекратное «ура» в честь императора. В 1937 году перед восемнадцатитысячной толпой он представил японцам их нового премьер-министра, принца Коноэ, что стало еще одним символом могущества Тоямы. К власти пришли многие из сторонников Тоямы, и страна все глубже увязала в пучине политических репрессий — десятилетие перед войной известно многим японцам как Курой Танима — Темное ущелье. В то время как в Германии к власти пришли нацисты, в Японии на передовые позиции выдвигался безжалостный милитаризм. Все японское общество было подчинено системе политической регламентации и пропаганды. Дело шло к эре Великого Сопроцветания Восточной Азии, когда Япония стала стремиться к захвату европейских колоний на Востоке. Мечты стареющего Тоямы и его друзей-ультранационалистов становились явью.

Различные организации якудза и банды сторонников сильной руки продолжали поставлять людей для «патриотов». Группы якудза помогали милитаристам, отправляясь в Маньчжурию или Китай, чтобы принять участие в программе «развития новых земель». Для японских гангстеров разработка богатых ресурсов Маньчжурии означала открытие «сезона охоты» на китайцев. Как сказал один ученый, это была «лучшая пора для якудза, возврат к старым добрым временам феодализма». Среди занятий, привлекавших якудза, было участие в работе правительственного Бюро по опиумной монополии, преследовавшее двойную цель: обогатиться и ослабить сопротивление общества, способствуя росту наркомании. Японцы хорошо усвоили уроки британских колонизаторов начала прошлого века. Военные оценивали свои доходы от политики наркотизации в Китае в 300 млн. долларов в год. Деньги, не потраченные на подкуп и взятки, шли на развитие промышленности на оккупированных территориях.

Помимо борьбы за достижение своих политических целей, более традиционно настроенные якудза были заняты упрочением своего финансового могущества в стране. Военная экспансия приносила Японии много денег, и якудза умели воспользоваться своим положением, чтобы загрести себе большую часть барышей. Подобно рабочим боссам Токунами с их бандами строительных рабочих, якудза создавали группировки на побережье страны. Например, в портовом городе Кобе шайки якудза собирали группы безработных и задешево продавали их рабочую силу докерским компаниям, нуждавшимся в покорных чернорабочих. Этот вид рэкета стал настолько выгодным, что *оябуны* сражались между собой за контракты и сферы влияния. В Кобе победила группировка Ямагути-гуми под умелым руководством Кадзуо Таоки. В последующие 25 лет он превратил свою прибрежную группировку в самый могущественный синдикат якудза в Японии, насчитывающий более 13 000 человек в 36 из 47 префектур страны. (Префектура в Японии — это примерно то же самое, что штат в Америке.) Слово «синдикат» стало в Японии повсеместно известным, а Таока стал бесспорным «крестным отцом» японской преступности.

Однако бомбардировка Пёрл-Харбора радикальным образом изменила ход жизни для американской и японской мафии. С объявлением войны западным странам роман японского правительства с крайне правыми и якудза пришел к концу. Правительство военного времени, зашедшее так далеко вправо, как того добивались крупный бизнес и армия, больше не нуждалось в независимых гангстерах или ультраправых силах. Самые могущественные деятели этих сил теперь или работали на правительство, или были заключены в тюрьму. Якудза также либо надевали военную форму, либо были вынуждены следить за ходом военных действий из-за решетки. Среди тех, кто коротал время именно в этих условиях, был и портовый босс Кадзуо Таока, который скрашивал свое заключение чтением книг о Тояме и Обществе темного океана.

Мицуру Тояма умер в 1944 году в возрасте 89 лет, но он еще успел увидеть, как его любимая Япония завоевала большую часть Азии и бассейна Тихого океана. Идеи Тоямы продолжают вдохновлять бесчисленных последователей его дела в правых и гангстерских организациях, и его портреты до сих пор украшают стены почти всех офисов правых группировок и штаб-квартир якудза. К сожалению, этот великий патриарх японских правых не увидел, к чему привели в конечном итоге годы его упорной борьбы. За четыре года войны Японии суждено было познать и высоты успеха, и глубины поражения. В августе 1945 г. американцы подвергли страну атомной бомбардировке, а Советский Союз занял Маньчжурию, и за несколько дней для Японии все было кончено.

СИНДИКАТЫ

Это был человек, которого на Сицилии называли бы *capo di tutti capi* — «глава всех глав». В 65 лет он был самым могущественным гангстером страны, а занял он это положение благодаря помощи друзей, таких, как Ёсио Кодама, и своим собственным выдающимся способностям. Его звали Кадзуо Таока, и он был третьим боссом Ямагути-гуми и верховным руководителем 12 000 якудза во всей Японии.

Сидя за столиком ночного клуба «Бель ами», Таока казался воплощением могущества и уверенности. Клуб находился в многолюдном торговом районе Киото, бывшей столицы Японии, культурном центре страны и многолетней цитадели Ямагути. Примерно 50 посетителей аплодировали танцорам, отплясывавшим лимбо на сцене клуба. Дело происходило ранним июльским вечером 1978 года, во вторник.

Молодой человек в белой рубашке встал со своего места и медленно пошел к столику возле сцены, за которым сидели Таока и пять его телохранителей. Он приблизился к ним футов на 15, вытащил револьвер 38-го калибра и выстрелил в Таоку. «Крестный отец» мафии был ранен в шею. В то время как нападавший бежал, спасая собственную жизнь, Таока в бронированном «кадиллаке» в сопровождении полицейского эскорта был отправлен в ближайший госпиталь.

Покушавшийся на Таоку 25-летний Киёси Наруми принадлежал к банде, входившей в синдикат Мацуда, соперничавший с Ямагути на западе Японии. После гибели босса Мацуда от рук убийц из Ямагути в 1975 году Наруми и другие члены синдиката дали клятву отомстить за него, проглотив при этом по щепотке пепла от сожженных останков своего *оябуна*. Впрочем, Таока сумел выжить и после этого покушения, и после многих других. Наруми был не так удачлив: спустя несколько недель его тело со следами жестоких побоев было найдено на склоне горы вблизи Кобе, где располагалась штаб-квартира Ямагути-гуми.

Война между бандами и покушения на убийство пришли в Японию из Чикаго 30-х годов. Гангстеры нападали друг на друга средь бела дня, убивали прямо на улицах, громили офисы противников. В ходе кровавых разборок погибло не менее 5 боссов якудза, входивших в состав Мацуда-гуми.

Описанное покушение вывело Таоку из строя на несколько месяцев, но, что еще важнее, оно стало первым признаком ослабления могущества великого «крестного отца» и, может быть, созданного им огромного синдиката. Вначале для Ямагути-гуми не составляло труда справиться с таким соперником, как Мацуда, но напряженность внутри самого синдиката изменила облик наиболее крупной преступной группировки Японии. Ямагути-гуми — объединение более 500 банд — было в значительной степени обязано своей силой харизматическому руководству Таоки, а он внезапно оказался уязвимым. На протяжении 10 лет Таока страдал от болезни сердца; к моменту покушения «крестный отец» уже знал, что в его окружении ведется борьба за его место.

Второй проблемой, с которой столкнулся синдикат, был все усиливавшийся конфликт поколений между старыми и молодыми членами клана, причем гангстеров среднего возраста, которые могли бы стать своего рода соединительным звеном между ними, было явно недостаточно. Старики якудза не только в Ямагути-гуми, но и в других японских группировках жаловались, что знаменитые традиции беспрекословного подчинения главарю уже не были обязательными для молодых. Сомнению подвергались и другие ценности якудза — вопросы стратегии и руководства, причем не только со стороны подчиненных, но и со стороны боссов. Только в Ямагути-гуми 23 главаря банд были изгнаны или наказаны за оппозицию политике синдиката. По мнению теоретиков из полиции, Ямагути-гуми, стоявший во главе современных преступных синдикатов Японии, попросту слишком разросся и стал слишком зависимым от руководства Таоки.

Еще одним новшеством стало перенесение борьбы кланов на улицы. На протяжении многих лет эта борьба, согласно идеологии якудза, должна была вестись за рамками законопослушного общества: неотъемлемой частью имиджа благородного преступника был запрет на вовлечение в дела банды простых людей. Но последние сражения между бандами разворачивались в открытую, без учета чьих бы то ни было интересов, и среди населения Японии росло раздражение этим насилием и пренебрежением к обычаям. Общественность была настолько возмущена, что полиция провозгласила 80-дневную кампанию с целью положить конец войне преступных группировок; в ней участвовало 1100 офицеров — самая масштабная мобилизация в послевоенной Японии. В первые 2 месяца противостояния властям удалось задержать 2000 гангстеров, в том числе 518 старших боссов Ямагути-гуми. Полиция смогла арестовать Кэнъити Ямамото, по прозвищу Ямакэн, правую руку Таоки, который был впоследствии приговорен к трем с половиной годам каторжных работ за незаконное владение оружием и нарушение общественного порядка. Судебные власти возобновили следствие по нескольким старым делам против Таоки, в том числе по обвинению в уклонении от уплаты налогов и в шантаже строительных и пароходных компаний.

В ответ на все усиливавшееся давление со стороны своего огромного синдиката менее чем через год после покушения Таока решился на непростой, но весьма эффективный шаг. Чтобы быть уверенным в том, что его обращение дойдет до общественности, Таока сделал то, что сделал бы на его месте любой современный уважающий себя «крестный отец» японской мафии: он созвал пресс-конференцию. Около 60 журналистов, набившихся в дом Таоки, сидели на циновках татами под светом телевизионных софитов. Им была предоставлена возможность общаться с Ямакэном и двумя другими лидерами клана (сам Таока предусмотрительно решил не показываться). Правая рука босса огласил заготовленное заявление, написанное официальным и цветистым языком. Журналисты могли сверить каждое слово с распространенными заранее копиями этой речи. В телевизионном обращении к стране Ямагути-гуми провозгласил окончание кровопролития и принес торжественные извинения обществу и полиции за причиненные им «неприятности». После этой пресс-конференции деятельность самой мощной преступной группировки Японии стала затухать — но не надолго.

ЯМАГУТИ-ГУМИ: СМЕРТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

На протяжении большей части следующего года Таока оставался в тени. В 1979 году он несколько раз появился на публике, чтобы рассеять слухи о своем пошатнувшемся здоровье, однако босс якудза был бледен и явно похудел. После этих появлений Таоки в падких на сенсации японских еженедельниках, описывающих события в обширном подпольном мире страны, стало появляться еще больше статей, в которых обсуждались кандидатуры возможных преемников Таоки на посту лидера Ямагути-гуми.

Несмотря на эти внутренние проблемы, Ямагути-гуми по-прежнему оставался самым знаменитым преступным синдикатом Японии. Как отмечала одна газета, золотая булавка в форме ромба — значок клана — все еще была «самым убедительным украшением лацкана». Эта булавка, иногда в сочетании с татуировкой на теле ее владельца, помогала проворачивать дела, облегчала расчеты, расчищала пути в любом районе страны.

Однако булавки Ямагути не всегда могли сыграть свою магическую роль, в особенности при встрече с представителями властей или других преступных кланов. Эта эмблема стала частью бросающегося в глаза костюма, в который облачились члены Ямагути во время широко известной попытки внедриться на Хоккайдо, самый северный остров страны, в 1980 году. Примерно 200 членов клана, одетые в белые блейзеры и черные рубашки-поло, собрались в столице острова — городе Саппоро — на официальное открытие штаб-квартиры Ямагути. В аэропорту их встречало примерно 800 членов местных подпольных группировок, объединившихся с целью не допустить вторжения Ямагути-гуми на свою территорию. Заметно нервничавшие полицейские — примерно 2000 человек — сумели предотвратить столкновение. Власти помешали клану Ямагути открыть офис, блокировав делегацию в отеле на лыжном курорте; спустя день, поняв, что их миссия провалилась, гангстеры вернулись в Осаку на зафрахтованном самолете японской авиакомпании «Ол Ниппон эйруэйз».

Вскоре руководство Ямагути столкнулось с более тяжелыми проблемами, чем провал на Хоккайдо. Через год произошло событие, которого давно боялись члены синдиката. Тридцатипятилетнее правление Кадзуо Таоки закончилось вместе

с последним сердечным приступом босса в июле 1981 года. Спустя неделю состоялась скромная заупокойная служба, на которой присутствовали только родственники и друзья умершего. Однако клан потребовал вторых похорон — официальных. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны полиции, после трехмесячной подготовки лидеры синдиката организовали пышную буддийскую церемонию погребения Таоки в лучших традициях якудза. В ответ на это полиция провела рейд по домам и офисам гангстеров по всей стране, арестовав около 900 членов синдиката. Были захвачены 102 единицы огнестрельного оружия, 192 кинжала, 2 фунта амфетаминов. Но это не остановило гангстеров; для членов Ямагути-гуми эти похороны были вопросом чести.

В воскресный октябрьский день почти 1300 якудза из 200 группировок собрались в Кобе, чтобы почтить память своего скончавшегося босса. Служба проходила в том месте, где впоследствии был построен «Таока мемориал холл», недалеко от дома «крестного отца» в богатом районе города. Через три дома от жилища Таоки располагается Окружной суд префектуры Хёго, а рядом с ним — офисы наиболее уважаемых юристов Кобе. Около 800 полицейских в шлемах, вооруженных металлическими щитами, окружили эти офисы и гангстеров. Еще 500 полицейских проверяли прибывающих на церемонию в 16 пунктах города, в том числе в аэропорту и на основных железнодорожных станциях.

Цветы поступали со всей страны — от лидеров других группировок, от процветающих бизнесменов и от старого друга Таоки, Ёсио Кодамы, медленно умиравшего в Токийской клинике. Полиция обыскивала всех, кто решил лично выразить свое почтение усопшему. Среди присутствовавших были звезды шоу-бизнеса Японии: певцы, актеры, музыканты. Как сказал один из «звезд», Ёсио Табата: «Да был ли хоть один артист в Японии за последние 20 лет, которому не помогал бы Таока?» На церемонии присутствовал и Кэн Такакура, один из ведущих японских киноактеров, который часто снимался в фильмах о якудза и сыграл самого Таоку в трилогии из жизни «крестного отца».

По слухам, Таока назначил своим преемником безжалостного Ямакэна, своего главного подручного. Но вскоре после пресс-конференции Ямакэн угодил в тюрьму, откуда должен был выйти только в конце 1982 года. В синдикате в это время царил такой хаос, что трудно было определить, кто за что отвечает. Поэтому полиция зорко наблюдала на похоронах, кто будет возглавлять церемонию; по традиции, эта роль отводилась новому главе синдиката. К великому удивлению, почетное место заняла вдова «крестного отца», 62-летняя Фумико Таока.

Вероятно, лидеры Ямагути были близки к панике, если вопреки всем правилам сугубо мужского мира якудза они открыто признали своим лидером Фумико, которая, впрочем, к тому времени уже стала незримой руководящей силой синдиката. Вначале ей отводилась роль промежуточного лидера, в ожидании появления сильного руководителя-мужчины. Однако в стране, где женщины редко занимали руководящие посты, а феминизм на западный лад не очень-то развивался, такое назначение было поистине невероятным. В мире якудза положение женщины было четко определено и ограничивалось ролями проституток, владелиц гостиниц и ведением домашнего хозяйства гангстеров. Однако изредка женщинам удавалось добиваться значительной власти в подпольном мире Японии. Как объяснил один гангстер японскому еженедельнику: «У нас есть женщины-*оябуны*, но они не показываются открыто в мире якудза. Женщины не могут бесстыдно вмешиваться в мир мужчин... (Фумико), наверное, будет исполнять чью-то волю, прикрывать кого-то, стоящего за ней».

Итак, на протяжении какого-то времени 12 000 мужчин — члены крупнейшего преступного синдиката Японии оказались под властью женщины. Сообщалось, что Фумико занимала место своего мужа на встречах лидеров Ямагути-гуми, выносила приговоры во время споров между группировками. Большинство членов синдиката ожидали, что через несколько месяцев, после выхода Ямакэна из тюрьмы, произойдет относительно спокойная передача власти. Однако они просчитались.

Еще до того как вероятный наследник Таоки смог выйти на волю, ему пришлось расплатиться за свою многолетнюю приверженность к спиртному. Спустя 7 месяцев после смерти босса скончался и он — от цирроза печени. Внезапно вся структура Ямагути-гуми оказалась в жестоком кризисе. Результат работы поколений гангстеров — сложное переплетение феодальных и корпоративных структур — оказался под угрозой.

На протяжении всех 35 лет, когда Таока стоял во главе синдиката, он управлял им в знаменитой японской манере — сочетая новаторские методы и традиционные ценности. Несмотря на то, что Ямагути-гуми контролировал более 2500 предприятий, сложную сеть игорных домов и ростовщические операции, несмотря на

инвестиции синдиката в спорт и индустрию развлечений, организация все еще действовала по законам, принятым 300 лет назад в эпоху феодализма. Повседневная работа синдиката — как и других группировок якудза — основывалась на старинных взаимоотношениях *оябун-кобун*, с фиктивными родственными связями, распространявшимися от самого высокопоставленного «родителя» до последнего «ребенка». Эти пережитки феодализма отнюдь не оскорбляли чувства членов синдиката, поскольку они были адаптированы к современному корпоративному миру. К моменту смерти Кадзуо Таоки его организация, по данным полиции, ежегодно добавляла к своему капиталу более 430 млн. долларов. Все американские администраторы, от руководства «Дженерал моторс» до мафиози, дорого дали бы за то, чтобы получить таких преданных работников, как члены Ямагути-гуми.

Таока властвовал как настоящий сёгун преступного мира. Однако, как это часто случается, «крестный отец» устранился от повседневных забот синдиката. Он передал их в ведение второго по значению человека в Ямагути — Ямакэна, который был своего рода председателем совета директоров «корпорации» Ямагути. В пятый день каждого месяца Ямакэн встречался с 12 ведущими боссами, которые, как настоящий совет директоров, принимали решения о деятельности синдиката и делили прибыли, полученные подручными.

В общей сложности в Ямагути входили 103 босса 500 разрозненных группировок. Боссы руководили своими подчиненными в соответствии с системой *оябун-кобун:* верховное руководство осуществлялось четырьмя *сятэй*, или «младшими братьями» Таоки; на вершине пирамиды власти было еще восемь «директоров», так называемые *вакасира-хоса* (молодые помощники руководителя), один из которых назначался *вакасира* (молодым лидером). В старшую консультативную группу входили также шесть человек, занимавшихся примерно тем же, чем и consiglieri (советники) итальянской мафии. Более низкое положение занимали другие руководители: по одному *камбу ацукаи* (исполнитель) и по 83 *вакасю* (молодые люди), каждый из которых командовал собственным отрядом *кобунов* (детей) или *куми-ин* (завербованных). В каждой из преступных групп существовали аналогичные взаимоотношения, все построенные на системе *оябун-кобун*. Помимо этого, в банды входили многочисленные ученики и прислуга, за которыми нужно было присматривать.

Через эти феодальные системы проходили огромные суммы денег. Основные группировки, так же как и сам синдикат, ежегодно издавали финансовый отчет. От банд требовалось ежемесячно посылать деньги, часто по нескольку тысяч долларов, в штаб-квартиру синдиката. Кроме того, взносы делались в виде подарков на Новый год, по случаю похорон (похороны Таоки обошлись в 500 000 долларов), в виде помощи каждому гангстеру, вышедшему из тюрьмы, а также для того, чтобы оплачивать инспекционные поездки руководства Ямагути. По данным одного полицейского отчета, Таока ежегодно получал от подчиненных ему банд более 500 млн. иен (2,2 млн. долларов).

Не жаловались на жизнь и боссы, занимавшие более низкое положение. Об уровне их жизни откровенно рассказал один из боссов Ямагути в интервью газете «Майнити» в 1984 году: «Босс среднего уровня получал ежегодно примерно 130 тысяч долларов, но когда он переходил в разряд «крестных отцов», то эта сумма вырастала до 400 тысяч долларов и более. Глава синдиката, в который входит 1000 человек, может рассчитывать на 43 тысячи в месяц... Даже если вы будете тратить, предположим, 13 тысяч на развлечения и деловые расходы, у вас все еще останется 30; а в год это дает целых 360 тысяч. Деньги эти можно тратить по своему усмотрению».

Эти цифры подтверждаются и данными, содержащимися в отчете Национального полицейского агентства за 1979 год; в нем содержатся также и сведения о доходах якудза низшего ранга. Типичный рядовой гангстер, по данным отчета, получает в год 13 тысяч долларов, примерно столько же, сколько средний рабочий в Японии. Члены синдикатов, контролировавшие бизнес, связанный с женщинами, то есть сутенеры и владельцы клубов, получали гораздо больше — более 43 тысяч долларов в год. А доходы старших членов синдиката, не достигших, однако, ранга босса, могли вырасти еще в два раза — около 87 тысяч. Конечно, большие деньги доставались большим людям, стоявшим на верхушке пирамиды.

Простому человеку в Японии действительно могло показаться, что Ямагути-гуми присутствует везде. Что касается традиционных сфер деятельности якудза, организация Таоки заправляла делами в западной части страны. Различные группировки контролировали работу в портах и на стройках; им принадлежала монополия на уличную торговлю; они взимали дань с местных баров и национальных корпораций; именно они держали в своих руках игорный бизнес страны — от мелких уличных шулеров до шикарных казино, где за ночь карточные игры приноси-

ли доход в миллионы долларов. Они организовывали политические партии и помогали в проведении предвыборных кампаний кандидатов правых сил. Наконец, они владели ночными клубами и кабаре вместе с работавшими там официантками и проститутками и вместе со всем тем, чего могли пожелать, но чем не располагали посетители этих заведений.

Таким образом, основным достижением Кадзуо Таоки было то, что он проложил быстро модернизировавшемуся преступному миру Японии дорогу в так же быстро развивающуюся японскую экономику. К началу 70-х годов Ямагути-гуми был связан с профессиональным боксом, борьбой сумо и борьбой западного стиля. Совместно с другими крупнейшими синдикатами он контролировал около 100 производственных компаний, связанных с шоу-бизнесом. Кроме того, якудза держали под контролем многочисленные актерские агентства и фирмы. Многие исполнители не могли выйти на сцену без благословения своих спонсоров-якудза. Кинокомпании, которые жаждали снимать все новые и новые фильмы о якудза, также попадали под влияние синдиката.

Но Ямагути-гуми стремился заниматься не только развлечениями. Несмотря на формальный запрет крупным синдикатам продавать наркотики, члены Ямагути обратились к этому бизнесу как к простому способу получения больших барышей. По оценкам полиции, к началу 70-х годов примерно половина доходов якудза была получена от продажи амфетамина, самого распространенного наркотика в Японии. Были и другие, не менее прибыльные источники доходов.

Преступные группировки занимались ростовщичеством, контрабандой и порнографией. Ведущие компании синдиката участвовали в осуществлении крупнейших проектов общенационального значения, включая строительство метрополитена и аэропортов. Члены Ямагути-гуми организовывали соревнования по бейсболу, бега на ипподромах, публичные аукционы конфискованной собственности. Агрессивная позиция синдиката и его ощущение вседозволенности вдохновляли целые поколения предприимчивых жуликов. Якудза стали внедряться повсюду, где им представлялась такая возможность. Они захватили контроль над больницами, английскими школами, концертными залами и салонами гадания. Они вкладывали деньги в недвижимость, видеоигры, грузовые перевозки, переработку отходов и службу безопасности. Они производили и распространяли фальшивые японские почтовые марки и банкноты, американские доллары, часы «Картье» и даже продукты питания известных марок.

Таким образом, смерть Таоки, а затем и Ямакэна нанесла ощутимый удар по сложному структурному соединению. Некогда непобедимый Ямагути-гуми внезапно оказался под ударами со всех сторон. Полиция воспользовалась удобным моментом, чтобы начать кампанию «искоренения» синдиката, и арестовала многих его лидеров. Внутри самой организации начались ссоры и распри по поводу того, как лучше распорядиться огромными ресурсами синдиката. В то же самое время соперничающие группировки, которым уже давно надоело находиться под властью синдиката, стали беспокоить членов Ямагути, вторгаясь на их территорию и устраивая столкновения.

Чтобы противостоять этим проблемам, была избрана группа из восьми человек, которая должна была заниматься делами синдиката под руководством и по разумению вдовы Таоки, Фумико. На протяжении определенного времени это коллективное руководство приносило хорошие результаты. Несмотря на все проблемы синдиката, за два года, прошедшие со смерти Таоки в 1981 году, численность его выросла до 13 346 гангстеров. В синдикат вошло рекордное число банд — 587, действовавших в 36 из 47 префектур Японии.

Тем не менее было очевидно, что организации вскоре предстояло избрать нового «крестного отца» и что им будет один из членов руководящей восьмерки. Каждый из этих мужчин, достигших 50 лет, страстно желал оттеснить других от руководящего кресла. Вспыхнула настоящая вражда. Когда напряжение достигло наивысшей точки, на авансцену вышли два ветерана темных дел. Первый — 58-летний Хироси Ямамото, человек относительно умеренных взглядов, близкий соратник Ямакэна. Послужной список Ямамото включал успешное внедрение синдиката на Кюсю, самый южный остров страны, в начале 60-х годов. Вторым кандидатом был 50-летний Масахиса Такэнака, очень агрессивный, но популярный лидер, многолетний друг семьи Таоки. По слухам, Фумико предпочитала воинственность Такэнаки *интери* («интеллигентности») Ямамото. Среди заслуг Такэнаки — 11 судимостей за вымогательство, избиения и другие преступления, а также условные приговоры за нелегальные азартные игры и уклонение от уплаты налогов.

В конце концов выбор был осуществлен 104 боссами в лучших традициях гангстерской демократии, под мощным давлением заинтересованных группировок, после нескольких голосований. Когда утихли взаимные обвинения в жульничестве

и нарушениях, был оглашен окончательный результат: победа досталась Такэнаке, 57 голосов против 19, при многочисленных воздержавшихся. Окончательный вклад в победу Такэнаки внесла Фумико, которая от имени семьи Таоки благословила нового лидера. Однако на этом сложности не кончились. Когда Фумико призвала побежденного Ямамото к сотрудничеству, босс якудза отказался подчиниться Такэнаке.

Спустя несколько дней Ямамото созвал собственную пресс-конференцию. В коротком вступительном слове он объявил японцам, что настал час истины. «... Я не могу согласиться с тем, что четвертым вождем Ямагути-гуми стал Такэнака,— заявил он.— Я говорил (г-же Таока), что я, к сожалению, не могу откликнуться на ее просьбу. Это мое честное и окончательное решение». Сделав это заявление, Ямамото пригласил 18 верховных боссов мафии в один из самых шикарных ресторанов Кобе 19 июня 1984 года, и там они провозгласили создание собственной организации, Итива-кай, в которую ушла примерно половина из 13 000 членов синдиката и которая сразу же стала одним из трех ведущих преступных синдикатов Японии. Боссы Итива-кай, одетые в темно-синие костюмы, скрепили свои новые взаимоотношения во время церемонии сакадзуки, выпив из общих чашек сакэ в знак кровного братства.

Не обескураженный этим, Такэнака провел еще более помпезную церемонию на острове Сикоку, чтобы подтвердить свое положение четвертого босса Ямагути-гуми. На этой церемонии присутствовали около 300 его товарищей по темным делам, все в безукоризненных черных костюмах с белыми галстуками, со сверкающими булавками Ямагути на лацканах. В зале традиционной японской гостиницы вдова Таоки торжественно передала новому боссу кинжал, что символизировало вступление Такэнаки на трон Ямагути.

На протяжении следующего полугода отношения между двумя синдикатами были напряженными. Однако постепенно Итива-кай стал терять почву под ногами. Старший синдикат — Ямагути — торжественно обещал прощение всем, кто решит вернуться. Синдикат даже учредил новый вид поощрения для своих членов — пенсионную премию, и первая такая премия, около 43 000 долларов, была выплачена 71-летнему букмекеру, члену синдиката с 1948 года. Эти усилия принесли свои плоды. В Ямагути-гуми постепенно стали возвращаться многие из перебежчиков, число его членов достигло 10 000 человек, и он снова стал крупнейшей преступной организацией Японии. В Итива-кай тем временем осталось всего 2800 членов. Перед лицом очевидного поражения Ямамото перешел в наступление.

Был организован заговор. Субботней ночью 26 января 1985 года по меньшей мере 4 члена Итива-кай подъехали в черном автомобиле к дому любовницы Такэнаки в Осаке. Когда Такэнака и сопровождавшие его два высших босса синдиката вышли из лифта, на них обрушился град пуль. Все они погибли от ран. Итива-кай одним ударом убрал всю верхушку Ямагути-гуми, и тем самым была развязана кровавая война между бандами.

Несмотря на все учащавшиеся нападения, члены Ямагути-гуми нашли время, чтобы воздать последние почести Такэнаке. Более 1000 гангстеров, одетых в черное, собрались вокруг резиденции убитого. Церемонию похорон транслировало национальное телевидение. Дом был украшен черными и белыми флагами, участники церемонии приехали в «мерседесах» и других роскошных иностранных автомобилях. Однако настроение бандитов было далеко не траурным. «Мы должны убивать»,— проревел один из них в микрофон корреспондента. «Убрать всех!» — рявкнул другой.

В начале февраля на собрании 83 боссов Ямагути-гуми новым вождем был единогласно избран 62-летний Кадзуо Оканиси. После этого была объявлена война Итива-кай. Немедленную кровавую бойню удалось предотвратить только благодаря тому, что спешно мобилизованные 660 полицейских окружили 184 дома и офиса главарей синдиката. В течение следующего месяца полиция арестовала более 990 бандитов, конфисковала около 50 автоматов и ружей. Тем не менее в течение года произошло более 200 вооруженных столкновений между синдикатами, в ходе которых были убиты 26 гангстеров.

События достигли апогея в сентябре 1985 года, когда секретные агенты США в Гонолулу арестовали могущественного брата Такэнаки, Масаси, и Хидэёми Оду — известного «финансового инспектора» синдиката — по подозрению в сделке с целью покупки 3 реактивных гранатометов, 5 пулеметов и 100 винтовок у людей, которых они считали представителями организованной преступности на Гавайях. По утверждению американских официальных лиц, в качестве части сделки члены Ямагути продали или собирались продать американцам 52 фунта амфетаминов и 12 фунтов героина (общая стоимость наркотиков составляла 56 млн. долларов). Кроме того, Такэнака и компания обвинялись в попытке нанять одного из секретных

агентов для убийства Ямамото, к которому члены Ямагути не могли подобраться. Для официальных органов США, которые на протяжении года вели разведывательную работу в Гонолулу и в Гонконге с привлечением 6 федеральных агентств и сил национальной полиции, это был грандиозный успех, вознаградивший их за все трудности работы. Для Ямагути-гуми, напротив, это означало страшный удар. Вместо того чтобы получить мощный арсенал и нанять иностранного убийцу, синдикат потерял огромную сумму денег, «репутацию» и двух членов самого высокого ранга, ожидавших теперь суда в американской тюрьме.

Этот эпизод, несомненно, стоил нескольким «братьям» по Ямагути отрубленных кончиков пальцев. Но страсти постепенно улеглись. Итива-кай добился первого успеха — Ямагути-гуми был отброшен далеко назад. В конце концов, могло показаться, что те, кто предрекал развал Ямагути-гуми после смерти Таоки, несколько поторопились с оценками, но не ошиблись в главном. К середине 80-х годов казалось, что самый крупный синдикат Японии уже никогда не сможет доминировать в мире якудза.

«СЕМЬИ», ФЕДЕРАЦИИ И СУМИЁСИ-РЭНГО

Хотя численность членов Итива и Ямагути составляла всего 13% от общего числа преступников в Японии, последствия войны между этими синдикатами были огромными. Во многих случаях рухнули тщательно разработанные планы развития преступных группировок; другие синдикаты, более стабильные по положению, сумели захватить более широкое поле действия. Война синдикатов оказала воздействие не только на Японию. Поскольку у каждой из сторон было немало друзей и врагов и в самой Японии, и на другом берегу Тихого океана, можно было говорить о переделе карты преступного мира. Для банд, сражавшихся друг с другом, приобрели огромное значение соглашения с бандами китайской Триады в Юго-Восточной Азии, а также с мафией и другими преступными группировками на Западе, потому что им необходимо было обеспечить постоянное поступление огнестрельного оружия и приносящих большие прибыли наркотиков в Японию.

Однако война банд в Осаке способствовала выходу на авансцену других крупных преступных формирований Японии, особенно базировавшихся в Токио и вокруг него. Внезапно большое значение приобрел второй по численности синдикат Японии — Сумиёси-рэнго.

Оябун Сумиёси-рэнго управлял своими подчиненными несколько иначе, чем боссы Ямагути-гуми. Кадзуо Таока правил своим синдикатом согласно древним традициям, и структура управления синдиката имела вид пирамиды, причем «босс боссов» сосредоточивал в своих руках огромный капитал. Напротив, Сумиёси-рэнго, или «федерация», была именно федерацией преступных кланов. Хотя у обоих синдикатов было много общего, они представляют собой два противоположных полюса организационных структур в мире якудза.

Сумиёси-рэнго — лига банд. Пирамида власти в Ямагути-гуми заканчивается точкой, в которой стоит один-единственный человек — глава синдиката. Верхушка пирамиды Сумиёси шире; хотя синдикатом управляет могущественный *оябун*, он является лишь одним из нескольких равных между собой боссов. Пирамида Ямагути-гуми схожа с пирамидой власти в традиционных кланах итальянской мафии в начале этого века, вся организация пронизана духом строжайшего повиновения и теснейшими связями. Стиль федерации Сумиёси более современен; на вершину пирамиды уходит меньше денег. «Крестный отец» обладает меньшей властью, и, следовательно, отдельные группы пользуются большей автономией.

Эта более децентрализованная структура не подорвала способности банд Сумиёси делать деньги; по достаточно консервативным оценкам властей, доход синдиката составляет более 276 млн. долларов в год. Интересно, что если Ямагути-гуми очень напоминает итальянскую мафию, то облик Сумиёси-рэнго скорее схож с обликом американских преступных групп, сложившимся после модернизации 30-х годов. Именно тогда, под руководством Лаки Лучано и других боссов, американские гангстеры впервые создали национальную федерацию преступных кланов. Представители судебных и исправительных учреждений Америки называют ее Коза ностра, но для самих бандитов это попросту Комиссия.

Несмотря на различие в структуре, основные законы жизни обоих типов синдикатов якудза остались теми же. Здесь опять-таки можно увидеть явное сходство между неписаными правилами подобного рода организаций в обеих странах:

1. Никогда не разглашать секретов организации.
2. Никогда не посягать на жену или детей другого члена организации.
3. Никогда самому не иметь дело с наркотиками.

4. Не посягать на имущество банды.
5. Безоговорочно подчиняться старшим.
6. Не иметь ничего общего с полицией или правоохранительными органами.

Мафия, традиционно опирающаяся на выходцев с юга Италии, представляет собой лишь одну грань организованной преступности на Западе. Как и сама страна, преступные синдикаты США многонациональны и многообразны, в них входят и банды мотоциклистов, занимающихся торговлей наркотиками, и букмекеры в маленьких городках.

Организации якудза, напротив, гораздо более однообразны, особенно когда дело касается традиционных *бакуто* и *тэкия*.

Даже в «современном» Сумиёси-рэнго, например, живут и процветают старинные традиции якудза. Сётаро Хаяси является восьмым боссом банды Досида, входящей в этот синдикат, и одним из основных руководителей Сумиёси-рэнго. «Семья» Досида — это клан, базирующийся в Токио и состоящий примерно из 200 человек. Таким образом, Хаяси связан узами родства с шестью другими боссами якудза; среди них — его братья, контролирующие примерно 100 из 6700 членов Сумиёси. Родная дочь Хаяси замужем за американцем; может быть, именно поэтому он с удовольствием встречается с иностранными журналистами.

В официальной резиденции — штаб-квартире банды — перед гостями расстилают красный ковер. Конечно, прежде всего следует снять обувь, после чего гостей проводят через обшитый панелями холл в достаточно просторную, по японским понятиям, комнату. На стенах висят фотографии прежних «крестных отцов», членов «семьи» Досида, самого Хаяси в компании с Масао Хори, главой Сумиёси. Тут же можно увидеть великолепную живопись, а также сложную схему, по которой можно проследить путь Досида-гуми на протяжении нескольких поколений игроков. Гости рассаживаются, скрестив ноги, на полу, за элегантным деревянным столиком в центре комнаты.

Вскоре появляется Хаяси-сан в традиционном японском костюме. Ему около 55 лет, но его возраст мало заметен — он все еще выглядит так, как будто может сам торговать на маленьких улочках Токио. У него грубоватое лицо и жесткие глаза, вглядывающиеся в вас из-за толстых стекол очков. Однако во взгляде босса можно уловить и тень доброты, это взгляд лидера, заботящегося о своей репутации.

Присутствующий «придворный историк» Фудзита обращает ваше внимание на царящую вокруг роскошь. Он сообщает, что Хаяси является одним из богатейших людей в Сумиёси-рэнго. Ведь помимо того что он руководит синдикатом, Хаяси владеет примерно сотней зданий вдоль загруженной железнодорожной линии в пригороде Токио. «Вы не найдете здесь ни одной станции, на которой у него не было бы собственности»,— замечает Фудзита.

После взаимных приветствий хозяин внезапно кричит несколько слов на гортанном японском языке, обращаясь к людям в соседней комнате. Тут же 16 безукоризненно одетых и гладко выбритых якудза — его главные адъютанты и помощники — входят в комнату и выстраиваются вдоль стены. Затем они садятся на пол, в позу, принятую для воинов. Все они одеты в костюмы-тройки, их лица бесстрастны. Хаяси начинает свой рассказ:

«Настоящие якудза существовали только до начала эпохи Сёва (1925 год). Сейчас они обучаются по-другому. Так что не факт, что сегодня вы можете увидеть истинных якудза. В те дни было больше благородства. Времена меняются...

С 18 лет я занимался карточной игрой. Мы все игроки. Но потом правительство приняло этот бессмысленный закон, поставивший группы игроков вне закона. Нам пришлось заниматься другими делами. Они внезапно лишили нас работы. Но это возымело обратный эффект. Игроки занялись делами *тэкия*, и все смешалось».

Становится ясно, что мы присутствуем на аудиенции, а не на интервью и что «крестный отец» играет в свою игру. Это удобная возможность для традиционалиста Хаяси объяснить перед членами клана, что же он считает важным для якудза. Его люди сидят неподвижно, молча, внимательно прислушиваясь к каждому слову.

«Моя жизнь в мире якудза начиналась трудно. Я был молодым правонарушителем, вступившим в шайку. *Оябун* не любил меня. Я хотел играть, но мне не позволяли. Долгое время после моего вступления в клан я помогал на кухне, убирал в доме, потому что тогда было мало женской прислуги. Мужчины выполняли всю работу по дому, за исключением мытья уборных,— этим занимались женщины. У босса было две спальни — одна для жены, другая для любовницы».

Как объясняли впоследствии Горо Фудзита и другие, период ученичества Хаяси не очень отличался от того, что происходит сейчас, хотя многие боссы — и сам Хаяси в том числе — жалуются, что обучение сократилось и молодежь недостаточно

серьезно относится к своим обязанностям. По сей день молодые якудза проводят от 6 до 12 месяцев в роли учеников, выполняя такие работы по дому, как обслуживание гостей, ответы на телефонные звонки, приготовление пищи, уборка помещений, работают шоферами для босса и его семьи. Чаще всего они жалуются на скуку. Главное различие между учеником якудза наших дней и его далекими предшественниками состоит, может быть, в том, что сегодняшний ученик носит с собой радиотелефон, позволяющий ему быстро отвечать на вызов хозяина шесть дней и ночей в неделю. Если босс вызывает ученика, а того не оказывается на месте, он запросто может лишиться кончика пальца. Руки Хаяси не изувечены.

«После нескольких месяцев работы по дому я получил должность *татибан* (сторожа), и в холодные дни это была нелегкая работа. Наконец, когда в нашу банду пришли новички, я дорос до *дзорибан* (слуга, расставляющий по порядку обувь). Эти этапы имели большое значение. Впервые я не был домашней прислугой, уборщиком. Не пройдя этих ступеней, вы не сможете стать настоящим игроком.

Вы начинаете заниматься этим делом, потому что вам нравится ваш босс. Что вы сможете сделать, если не будете уверены, что ваш *оябун* — второй по значению и власти человек в мире после императора?

В старое время вы должны были выпить настоящую кровь из чашечки для сакэ в знак вступления в банду. Тем самым вы вступали в мир отверженных. *Оябун* не мог научить вас ничему, если вы не учились сами. Однако вы должны были поклясться в беспрекословном подчинении. При этом сам босс подносил вам чашечку сакэ в присутствии одного свидетеля. Это очень важная церемония.

Традиции якудза никогда не умрут, потому что мы отличаемся от обычных людей. Вот почему мы пришли в этот мир. И мы убеждены в том, что, если мы совершим крупную ошибку, нам придется умереть всем вместе».

Аудиенция подходит к концу. Хаяси выглядит задумчивым. «Якудза — необходимый порок японского общества, но в будущем наша главная задача состоит в том, чтобы стать предпринимателями, не заниматься грязными делами и платить налоги. Век *тэкия* уходит; нужно вести себя по-другому. Но мы выживем, занимаясь бизнесом. Пока мы будем платить налоги, все будет в порядке».

Интервью окончено. Шестнадцать якудза — до сих пор сидевшие неподвижно вдоль стены — наконец-то начали подавать признаки жизни. Все переходят наверх, в длинную узкую столовую, где накрыт стол на 25 персон. Для гостей приготовлена обильная трапеза. Не прекращая угощать посетителей сакэ и ломтиками экзотических тихоокеанских рыб, Хаяси приглашает своих людей задавать им вопросы о мафии в Америке. Однако говорят немногие. Те, кто вступает в разговор, черпают свои сведения в основном из фильма «Крестный отец», который был очень популярен в Японии, в особенности среди якудза синдиката Досида-гуми.

Новичков часто привлекает в ряды якудза возможность вступления в новую «семью». Разнообразные банды всегда представляли собой некий предохранительный клапан для строго структурированного японского общества, в котором отсутствие постоянной работы или влиятельных семейных связей часто означало конец жизни. По данным Национального исследовательского института полиции в Токио, большинство новичков плохо образованны, им по 19—20 лет, и к моменту прихода в банду они живут отдельно от семьи. Очень многие — выходцы из неполных семей; 43% потеряли одного или обоих родителей.

Примерно треть новичков приходит в ряды якудза из печально известных *босодзоку*, или «банд горячих дубинок», результата послевоенного роста юношеской преступности в Японии. *Босодзоку* создали в своих группировках четкую организационную структуру, как в бандах якудза. В 1982 г. полиция насчитывала 712 шаек *босодзоку*, входивших в 5 общенациональных федераций; общее число малолетних бандитов достигало 42 150 человек. Подражая западным бандам мотоциклистов, они носили свастику и другую подобную атрибутику, называли себя Медузами, Черными императорами, Фашистами и Метеорологами, зачастую не очень понимая смысл этих «громких» названий. Специалист по *босодзоку* из Национального полицейского агентства объяснял токийскому репортеру Майклу Уэхара: «Они создали свой собственный мир. Он был совершенно не похож на мир других ребят того же возраста. У них были правила и законы, значки, униформа... Во многих группах даже собирали членские взносы и наказывали тех, кто нарушал правила».

Отношения между *босодзоку* и якудза не всегда были дружескими. Истинные японские гангстеры смотрели на молодых хулиганов сверху вниз, будучи уверенными в том, что именно они занимают верхушку преступной иерархии. Юные правонарушители часто называли себя словом *«тимпира»*, происходящим, судя по всему, от грубого названия мужского полового члена.

Медузы и другие банды *босодзоку* были не единственным источником новичков

в преступном мире страны. Ряды якудза пополнялись и за счет двух групп населения, подвергающихся безжалостной дискриминации в сегодняшней Японии: 676 тысяч этнических корейцев и 2—3 миллионов *буракуминов* — неприкасаемых. Эта проблема настолько сложна, что официально полиция не берется определить число выходцев из этих групп среди якудза. Но, по неофициальным данным, полиция полагает, что в Ямагути-гуми, например, около 70% членов — выходцы из буракуминов, 10% — из корейцев. Аналогичным образом в ряды якудза приходят и китайцы, живущие в Японии, хотя их число намного меньше. Для этих меньшинств, для *босодзоку* и для японской бедноты вступление в ряды банды может показаться единственным путем избавления от нищеты. Как и среди организованных преступных кланов в Америке, якудза играют определенную роль и в продвижении своих членов в высшие ряды общества. Дети удачливых гангстеров обязательно получают высшее образование и хорошую законную работу. Все это объясняет привлекательность «семей» якудза для новых членов.

Патерналистская структура преступного мира Японии не противоречит характеру всего японского общества. Американский антрополог Дэвид Старк, потративший целый год на изучение одной из японских банд, пишет, что «...многое из того, что кажется столь экзотичным в организации банды, характерно и для многих современных японских организаций». Старк приводит пример японского банка, управляемого по системе *дайкадзоку*, или «большой семьи». «На церемонии, напоминающей ритуалы якудза, которая сопровождает ежегодное поступление на работу новых сотрудников, родители новичков символически передают «семье» банковских служащих опеку над своим чадом. Новым работникам вручают значки банка, на которых, как и на значках якудза, изображен символ компании, указаны ранг и должность сотрудника».

Есть и другие сходства. Как и в японских корпорациях, якудза с гордостью демонстрируют свою принадлежность к той или иной банде; визитные карточки (используемые в Японии гораздо шире, чем в США) украшены эмблемой банды, и на них ясно обозначены синдикат, ранг и имя владельца. У каждой банды есть и другие символы, например, флаги и фонарики, и даже официальные гимны. В банде на побережье Внутреннего моря, которую изучал антрополог Старк, были распространены большие круглые диванные подушки с вышитой золотом эмблемой банды; одна из таких подушек красовалась в заднем окне «линкольна» главаря банды.

Якудза организованы настолько, что крупнейшие синдикаты даже имеют собственные печатные издания. Например, Ямагути-гуми выпускает ежемесячник «Ямагути-гуми дзихо», рассылаемый всем членам синдиката. Журнал напоминает издания такого же типа, выпускаемые для работников крупных корпораций и других организаций в Японии, в том числе и для полиции префектур. В одном из выпусков 1973 года была помещена статья на две страницы с фотографиями, рассказывавшая о собрании Национальной лиги за изгнание наркотиков и очищение родины — группы, состоящей из гангстеров Ямагути из западных областей Японии. Другой раздел, «Школа законов», посвятил четыре страницы юридическим консультациям. На двух страницах были напечатаны стихи членов синдиката, затем шли фотографии и объявления о церемониях посвящения новых членов, арестах, выходах из тюрьмы и похоронах. В одном из более поздних выпусков журнала «крестный отец» Таока объяснял моральные принципы синдиката: «Я призываю членов Ямагути-гуми делать все возможное, чтобы избежать ненависти со стороны простых людей,— писал он.— Старайтесь всегда быть любезными и спокойными, всегда улыбайтесь, и пусть ваши поступки всегда будут искренними».

Для сплочения членов синдиката используются и другие методы. Помимо различных ритуалов, на протяжении многих поколений был выработан особый жаргон — простым японцам трудно понять его; сегодня словарь двух различных групп может быть совершенно разным. Большую роль играют также и определенные обычаи, такие, как татуировка и отрубание пальцев, оставляющие пожизненный знак принадлежности к миру якудза. Чтобы продемонстрировать, что на нарушения законов банды никто не будет закрывать глаза, многие банды выставляют напоказ в своих штаб-квартирах заспиртованные пальцы непокорных членов.

ИНАГАВА-КАЙ: РАЗГОВОР С «КРЕСТНЫМ ОТЦОМ»

Журналы, значки и другие знаки принадлежности к жизни банды значат в Японии очень немного, если нет сильного босса, способного удерживать в своих руках всю группу. Если сила группы якудза в значительной степени зависит от ее способности исполнять роль приемной «семьи», должен существовать и приемный отец, который будет руководить всей жизнью этой «семьи».

После ухода Кадзуо Таоки — «крестного отца крестных отцов» — из жизни Ямагути-гуми, когда казалось, что никто из руководителей синдиката не может стать его достойным преемником, внимание знатоков мира якудза обратилось к лидерам других группировок. Немногие из них могли сравниться с Таокой по опыту и значимости в преступном мире. Еще хуже было то, что не было и нового Ёсио Кодамы, который мог бы свести друг с другом разные синдикаты и создать новые сильные союзы. Хотя огромные размеры и агрессивный стиль поведения Сумиёси-рэнго привлекали внимание к этой организации, ни сами якудза, ни полиция не принимали ее всерьез. Гораздо интереснее для них был многолетний токийский соперник Сумиёси-рэнго — предприимчивый синдикат Инагава-кай и его выдающийся лидер Какудзи Инагава.

Во время похорон Таоки Инагава был назначен руководителем комитета по организации церемонии; это назначение, уникальное для представителя другого синдиката, свидетельствовало о степени роста влияния Инагавы. Но у Какудзи Инагавы были все основания ожидать этого назначения. В стране, где к возрасту и положению в обществе относятся с должным уважением, 66-летний босс гангстеров казался воплощением всех традиций якудза. Именно Инагава помогал Кодаме организовать армию якудза во время визита Эйзенхауэра в 1960 году; именно он стоял во главе тринадцатитысячной федерации Кантокай — неосуществленной мечты Кодамы о национальном альянсе правых и гангстеров; именно он заключил в 1972 году историческое перемирие с Ямагути-гуми; наконец, именно Инагава, опытный боец и игрок, сумел сколотить четвертый по величине синдикат в Японии из банд уличных хулиганов, расплодившихся в стране после войны. Этот синдикат действовал в 12 префектурах и на обоих берегах Тихого океана. После смерти Таоки Инагава стал старейшиной якудза.

Так же как и в Ямагути-гуми, структура Инагава-кай построена по принципу пирамиды. Особое значение придается тесным родственным связям между членами. Хотя этот синдикат гораздо меньше, чем гигант Ямагути, в нем поддерживается не менее жесткая дисциплина и не менее четкая организация, но в то же время он более гибок. Инагава-кай никак нельзя назвать мелкой организацией. В нем насчитывается более 4000 членов — это ставит его на одну ступень с итальянской мафией в США.

Вторым фактором, усиливающим Инагава-кай, является состав его членов. Гангстеры Инагава обычно приходят из *бакуто*, картежников. В Ямагути-гуми, напротив, собираются гангстеры всех трех традиционных классов — игроки, уличные торговцы и хулиганы. Сумиёси-рэнго также гордится своими корнями *бакуто*, но, поскольку по своей структуре это объединение является федерацией банд, ему не хватает того, что один из представителей Национального полицейского агентства назвал «мощной связующей силой» пирамиды Инагава.

Основным источником доходов Инагава-кай остается игорный бизнес: букмекерство, казино, организация «выездных» шулерских туров. Долгое время синдикат занимался основными видами мошенничества — вымогательством, торговлей наркотиками, рэкетом. По данным полиции, в 1979 году банды Инагава контролировали 879 легальных предприятий, в том числе — строительные компании, увеселительные заведения, бары, кабаре и рестораны. По самым осторожным подсчетам, ежегодная прибыль синдиката составляла примерно 200 млн. долларов в год.

Как и в других синдикатах, в Инагава-кай широко используются денежные взносы членов. «Обязательные» пожертвования внутри синдиката составили, по данным токийской полиции, в 1974 г. не менее 5870 млн. иен (2,17 млн. долларов) — причем только в одном из банков, контролируемых бандой. Верховные руководители должны платить в месяц 250 000 иен (примерно 1100 долларов); от членов низшего ранга требуются меньшие суммы.

В синдикат входит 119 банд, а 12 главарей образуют «совет директоров». Среди них — сын самого Инагавы, возможный кандидат на место отца,— случай, нетипичный для современных якудза. Может быть, «крестный отец» Инагава собирается создать собственную династию, которая обеспечит появление нового поколения японских гангстеров с международным складом мышления. Его старый учитель Кодама был бы горд таким учеником.

Увидеться с человеком, которого многие считают самым могущественным «крестным отцом» японской мафии,— задача весьма сложная, иногда даже опасная. Необходимо получить рекомендации надежных посредников, а также пройти нелегкое предварительное собеседование с одним из главных адъютантов босса. Кроме того, все участвующие стороны заинтересованы в том, чтобы сохранить свое «лицо», а это тоже достаточно трудно, ибо не все, готовившие окончательную встречу, могут присутствовать на ней. Проблему усложняет еще и то, что некоторые

понятия, например то же «сохранение лица», и без того достаточно серьезно воспринимаемые в Японии, приобретают новое значение в мире якудза. Некоторые из обычаев этого мира так таинственны, что даже хорошо образованные японцы не всегда могут разобраться в хитросплетениях этой субкультуры. Пытаясь провести интервью с руководителями мафии, вы неизбежно погружаетесь в мир невидимых связей и обязательств, через которые зарубежный посетитель продирается с большим трудом.

Конечно, Инагава иногда встречается с журналистами, а интерес со стороны американских средств массовой информации возбуждает его собственное любопытство. Однако окончательным, решающим фактором, толкнувшим его на встречу с нами, был совет, данный, по словам одного из посредников, собственным прорицателем Инагавы, 78-летним мудрецом, заверившим его в благоприятных последствиях такой встречи.

Мы встретились с Инагавой на 39-м этаже шикарного 40-этажного отеля «Акасака принц» в Токио. Инагава-сан принял нас в представительском номере отеля, элегантном помещении, из широких окон которого открывался великолепный вид на центр города. Тут же присутствовали трое адъютантов Инагавы, проводивших предварительные собеседования, с непроницаемыми лицами и очень деловые.

Сам Инагава был настроен дружелюбно и тепло приветствовал гостей. «Крестный отец» великолепно сохранился для своих 70 лет и выглядит лет на 10 моложе. Он невысок, коренаст, с наметившимся брюшком и излучает уверенность в себе. Сразу можно понять, что перед вами — преуспевающий лидер. Его лысеющая крупная голова на короткой шее выглядит как наковальня. Как и адъютанты, Инагава был одет в темно-синий костюм-тройку.

Группа сидела вокруг широкого хрупкого стеклянного стола. Молодые коротко стриженные официанты — члены синдиката — подносили все новые прохладительные напитки и угощения: зеленый чай, сладости, кофе. Все угощение осталось нетронутым.

«Я люблю импровизированные беседы,— начал Инагава,— но давать интервью — дело нелегкое. Я не хочу выставлять себя напоказ. Мы — часть скрытого мира в обществе и не претендуем на большее».

Эта беседа, однако, отнюдь не была неподготовленной. Инагава-сан говорил в основном в традиционной конфуцианской манере, излагая ученикам свою философию, вставляя анекдоты и шутки собственного сочинения. Разумеется, «крестный отец» очень старался расположить гостей в свою пользу, показывал им многочисленные шрамы, полученные им за долгие годы. Вот, посмотрите на изуродованное ухо; а вот — шрам от ранения в грудь; а вот и самое главное — он показал на затылок: «У меня вытекла часть мозга, и я умер, но докторам каким-то образом удалось вернуть меня к жизни. После этого я начал новую жизнь, и в моем сердце произошли перемены. До тех пор я был очень силен физически — слишком силен в молодости,— а потом моя жизнь изменилась, я прошел через преображение».

С этого времени Инагава-сан стал пользоваться репутацией миротворца среди банд якудза. Его дипломатия в преступном мире принесла ему большое богатство, но закаленный в боях «крестный отец» не забывал о своем происхождении.

«Я вырос в бедном доме, у нас не было отопления и было очень мало удобств. Еда была скудной, только рис и соленья...» Его отец, выпускник престижного университета Мэйдзи, проиграл все состояние. Инагава, который так и не закончил начальную школу, говорит: «Теперь все иначе». Его отец участвовал также в деятельности левацкой группы фермеров, но это не оказало влияния на сына. Став подростком, Инагава начал изучать военное искусство в местной школе дзюдо, и в один прекрасный день учитель рекомендовал его местному боссу якудза, нуждавшемуся в сильных парнях. «В то время моим бизнесом были драки. Я мыслил очень просто — мне хотелось быть сильным».

Жизнь якудза поразила его. «Мне приходилось мыть полы. Я не думал, что якудза занимаются такими делами. Я вставал каждый день в пять утра, мне приходилось мыть входную дверь холодной водой и вот этими самыми руками в зимние холода. Раньше обучение у якудза было тяжелым. После войны наше дело сильно изменилось».

Инагава прослеживает родословную Инагава-кай вплоть до Хансёкай, группировки, которую он называет Токийским университетом якудза, чем-то вроде Гарвардского университета для мафии. Но лишь в 1945 году, после демобилизации, он организовал Какусэйкай, предшественника современного Инагава-кай.

Инагава с гордостью пересказывает анекдот о токийской городской полиции, отражающий новое положение самого босса: «Каждый год мы наносим визит в штаб-квартиру полиции, чтобы передать традиционный новогодний подарок. И каждый год полицейские спрашивают: «Когда вы собираетесь распустить свою

группу?» Но в 1983 году мне впервые пожелали долгих лет жизни и успешной игры в гольф (любимое занятие Инагавы). Интересно слышать, что полицейские желают мне долголетия. Они сказали, что сейчас только я могу управлять миром якудза и сохранять мир. Они хотят, чтобы я жил долго, потому что они зависят от меня, а я благодарен им за их пожелания и хотел бы им помочь». (Токийская полиция отрицает факт подобного разговора.)

Инагава любит гольф. В третий и в четвертый понедельник каждого месяца он финансирует соревнования по гольфу на стадионе Лейквуд в префектуре Канагава, куда приглашает профессиональных игроков в гольф и известных артистов. Он любит также поиграть сам и, чтобы принять участие в соревнованиях, едет с одного конца Японии на другой. Иногда его сопровождают до 70 подчиненных. Эти турниры не только улучшают технику его игры; они дают возможность продемонстрировать влияние Инагавы местным боссам мафии. На каждой остановке Инагава дает банкеты, на которые приглашаются главари местных якудза. Однако его поездки не ограничиваются турнирами по гольфу. Его часто можно увидеть в помещениях для особо важных персон на ипподромах. По данным «Уикли майнити», куда бы ни ехал босс якудза, его всегда сопровождает телохранитель с портфелем, набитым наличностью.

Инагава славится своей щедростью — он коллекционирует шляпы и белые рубашки, которые затем дарит молодым членам синдиката. Иногда он может дать 40 долларов тому, кто принесет ему пачку сигарет. Он дает своим посетителям следующий мудрый совет: «Заботьтесь о слабых, потому что сильные сами позаботятся о себе. И никогда не берите проценты со своих прямых подчиненных; не будьте скупыми».

Он размышляет о своем старом учителе Ёсио Кодаме: «Очень жаль, что Кодама-сэнсэй был замешан в дело «Локхид», потому что мы потеряли великого *куромаку* (буквально — человека, стоящего за занавесом, закулисного деятеля). Ёсио Кодама был великим человеком, мир уже никогда не увидит подобного ему.— Конечно, Инагава предвидит конец эпохи *куромаку:* — Скоро все *куромаку* исчезнут. Приходит время демократии. *Куромаку* были нужны нам в переходном периоде...»

Инагава-сан жалуется, что западная пресса никогда не писала ничего хорошего о якудза; он надеется, что положение изменится. «Мне нравятся книги, в которых показаны положительные стороны якудза»,— говорит он твердо и предлагает, чтобы авторы передавали ему свои рукописи. Он мог бы проверить их на предмет неправильных «высказываний». В качестве образца для подражания Инагава приводит бесконечную серию рассказов о нем самом, печатаемую в сенсационном еженедельнике «Асахи гэйно». Автор этой серии любезно предоставил Инагаве все рассказы до публикации. В одном из них, по словам главного героя, высказывания автора были настолько ошибочны, что ему пришлось вырезать половину текста. Серия «Асахи гэйно» во многом отражает рост авторитета Инагавы среди якудза, но, по мнению журналистов, знакомых с ситуацией, журнал не сможет прекратить публикацию серии, даже если пожелает. В данное время Инагава-сан располагает текстом уже тридцатого рассказа; его помощники заверяют его, что к публикации готовятся многочисленные продолжения.

Проходит более двух часов, и босс указывает, что аудиенция близится к концу. «Я убежден, что многое произвело на вас плохое впечатление, но мы стараемся исправить ситуацию. Сегодня наша задача состоит в том, чтобы общество полюбило нас, по крайней мере, чтобы перестало ненавидеть...»

Однако еще до окончания встречи Инагава посвятил значительное время обсуждению темы, весьма чувствительной для боссов якудза: проблеме молодых гангстеров — менее послушных, не подчиняющихся контролю. «Я могу воспитывать и учить молодых людей, и они, я надеюсь, будут делать то же самое со следующими поколениями, но вообще ситуация очень непростая».

Инагава — традиционалист, твердо убежденный в непреходящем значении ценностей *гири-ниндзё* и гангстерского благородства. Но он также сторонник изменения многих старых обычаев и стал своего рода реформатором среди «крестных отцов» якудза. Например, он укоротил церемонию посвящения с обязательным *сакадзуки,* торжественным обменом сакэ. Правда, некоторые ритуалы, например церемонии похорон, он трогать не собирается, а иные обычаи, такие, как отрубание пальцев, ему просто не удалось изменить. Как отмечалось ранее, Инагава-кай — типичный японский гангстерский синдикат, и примерно 39% его членов лишились по крайней мере одной фаланги. Ввиду большой текучки в рядах якудза многие бывшие гангстеры так и расхаживают по улицам Японии с девятью пальцами вместо десяти. Это относится и к самому боссу, который обожает рассказывать историю о том, как он пытался прекратить практику отрубания пальцев в рядах собственного синдиката.

Один из низших чинов в армии Инагавы совершил какую-то серьезную ошибку, и его непосредственный начальник потребовал, чтобы в знак наказания он отрубил себе мизинец. Узнав об этом, Инагава был взбешен и отругал начальника, отдавшего такой приказ. Униженный и пристыженный начальник ответил единственным доступным ему способом: он отрубил себе палец и преподнес его Инагаве.

«Крестный отец» был более удачлив в изменении других старых традиций якудза. Одной из реформ Инагавы, принесших ему известность в стране, была отмена позорной *дэмукай*, церемонии по случаю выхода из тюрьмы. Когда Инагава был в очередной раз арестован по обвинению в азартных играх и заключен в тюрьму, его освобождение, как почти все такие события, стало поводом для пышного празднества. Сотни членов синдиката прибывали в роскошных западных лимузинах к зданию тюрьмы. Там они выстроились в строгом соответствии с принадлежностью к той или иной банде, группировке и своим рангом. В случае с Инагавой, как и с другими якудза, занимающими высокое положение, присутствовали и представители других банд, стремившихся выразить свое уважение.

Дэмукай была одной из важнейших церемоний для якудза, символом того, что государству не удалось перевоспитать преступника. Обычно гангстер, выходящий из тюрьмы, получал повышение за то, что отбыл срок за других членов банды. Банды публично выражали преданность своим членам и в то же время проводили своего рода агитацию, призывая различных маргиналов и потенциальных преступников присоединиться к ним.

Возможно, еще большее значение имело то, что в ходе этой церемонии якудза выставляли напоказ свое могущество и богатство, приезжая в шикарных лимузинах. Кортежи длинных черных «кадиллаков» и «линкольнов» имеют что-то особо притягательное для якудза. Разумеется, в Японии, где после всех налогообложений и уплаты таможенных пошлин цена американских автомобилей удваивается, гангстеры являются лучшими клиентами Детройта. Американские автомобили настолько слились в сознании японцев с якудза, что многие стоянки отказываются принимать такие машины, а полиция, по слухам, призывает людей держаться подальше от тех, кто ими управляет.

Действительно, на японских дорогах легко узнать якудза в их наглухо застегнутых безвкусно-дорогих костюмах, с гладко прилизанными волосами, не признающих правил дорожного движения и управляющих дорогими западными автомобилями. В стране, где большой автомобиль обычно определяет правила поведения на дороге, водитель-якудза попросту командует движением, буквально сметая со своего пути обыкновенных шоферов грузовиков и тех, кто осмелится стать ему помехой. Кортежи преступников, подобно отвратительной похоронной процессии, обрушивались на ничего не подозревающие стоянки и окрестности, нарушая график движения и до смерти пугая местных жителей. Легко догадаться, как такие демонстрации власти бандитов раздражали полицию и общественность. Именно поэтому, по словам Инагавы, он и решил запретить эту церемонию.

В 1984 году на экраны Японии вышла картина, прославляющая роль Инагавы в мире якудза, основанная на реальных событиях из жизни «крестного отца», «Сюра-но мурэ» («Банда сорвиголов»). Как и в случае многих других фильмов о якудза, Инагава-кай оказывал содействие съемкам. Инагава-сан наверняка чувствовал, что пришла его очередь; ведь за десять лет до этого Ямагути-гуми помог снять фильм-трилогию о жизни Кадзуо Таоки.

История жизни Инагавы стала еще одним из многих фильмов, снятых в соответствии с основной традицией японского кинематографа — фильмов о якудза. Эти фильмы, ставшие продолжением фильмов о подвигах самураев, мало похожи на американские или европейские фильмы о гангстерах — боевики; они скорее напоминают вестерны, в которых ковбои и люди, отверженные обществом, определяют законы морали. Якудза унаследовали от самураев роль последних защитников от развала и коррупции, пришедших в страну вместе с модернизацией и расширением контактов с Западом.

В отличие от вестернов фильмы о якудза стилизованы под представления театра Кабуки столетней давности. По мнению режиссера Пола Шредера, автора статьи в журнале «Филм коммент», эти фильмы, «вероятно, относятся к самому ограниченному жанру, который до сих пор существовал. Характеры, конфликты, решения, темы — все известно заранее... Фильмы о якудза — это бесконечные литании тайного жаргона, искусного языка телодвижений, странных законов, тщательно разработанных ритуалов, иконографических костюмов и татуировок».

Многие фильмы так похожи, что их трудно отличить один от другого. К тому же в них часто снимаются те же самые актеры и излагаются те же самые сюжеты. Ведущий актер Японии Кэн Такакура, которому принесли славу роли гангстеров,

снялся, по данным Шредера, более чем в 12 фильмах на один и тот же классический сюжет — «Абасири бангаити» («Тюрьма Абасири»).

Обычно фильм о якудза начинается со сцены выхода гангстера из тюрьмы, где благородный правонарушитель отбывал срок, чтобы уберечь свою банду от преследований полиции. После этого следует ряд обязательных сцен: игорный притон, нанесение татуировки, ритуал братства по крови, появление злого *оябуна,* бесконечное отрубание пальцев и, наконец, заключительная битва с потоками крови через весь экран и звоном мечей. На протяжении всего фильма подчеркивается важность идей *гири-ниндзё,* поскольку герой-якудза постоянно разрывается между глубоким осознанием своего долга перед бандой жуликов и состраданием к несчастным. В конце концов он погибает страшной, но благородной смертью. Эти саги интересны тем, что в них почти всегда ощущаются наваждение смерти и фатализм. Как провозглашал с широкого экрана один гангстер: «Для якудза есть только два пути — тюрьма или смерть!»

Если коллизии этих фильмов еще как-то продумываются, то сценарии не выдерживают никакой критики. Фильмы о якудза — это самые низкозатратные поделки, которые японские киностудии штампуют за несколько недель. Шредер пишет о первом большом фильме этой серии, появившемся в 1964 году и носившем достаточно подходящее название «Бакуто» («Игрок»). Жанр быстро утвердился, и к середине 70-х годов в год выпускалось до 100 фильмов о якудза. Японцы любят такие фильмы. Приверженцев этого жанра можно встретить в любых слоях общества, от студенческих активистов-леваков до ультранационалистов из частной армии писателя Юкио Мисимы.

Студия Тоэй — это своего рода компания «Уорнер бразерс» в киноиндустрии якудза. На ней было снято более 300 фильмов, в основном на один и тот же базовый сюжет. Своим успехом студия в значительной мере обязана главному продюсеру, Коудзи Сюндо, пионеру жанра. Сюндо знает своих персонажей, что называется, из первых рук: он сам — бывший якудза. В кино работают и те, кто сегодня состоит в рядах бандитов. Многие японские актеры работают по контракту с одной из четырех главных студий страны: эта система достаточно схожа с той, которая существовала в худшие дни Голливуда. Чтобы подхлестнуть желание актеров работать, многие студии, как говорят, уже много лет прибегают к услугам гангстеров; в результате в Японии было много нашумевших случаев покушений на известных звезд.

Однако расцвет жанра уже позади, он пришелся на 60-е и на начало 70-х годов. Сейчас появляются картины нового типа, несколько более приближенные к реальности. Их можно разделить на два жанра — *дзицуроку эйга* (фильмы, основанные на подлинных документах) и более ортодоксальный *нинкё эйга* (фильмы о «благородстве»). В первых можно увидеть меньше честности и больше предательства, меньше поединков на мечах и больше стрельбы. География современных фильмов о якудза расширяется вместе с распространением сферы деятельности банд: в последних фильмах действие происходит на Филиппинах и в Гонконге. «Крестный отец» Инагава жалуется: «В сегодняшних фильмах якудза представлены очень интересно, но в конце они всегда проигрывают властям. Невозможно сделать фильм, который был бы на 100% на стороне якудза».

На самом деле Инагава может пожаловаться не только на то, как показаны якудза в кино. Подобно тому как блекнут их героические изображения на экране, настоящие преступники в Японии быстро теряют свой имидж уважаемых членов общества. Это в значительной мере связано с изменениями, происходящими в стране, где рост национальной экономики дает и новые возможности роста синдикатов. Безжалостная экспансия, начатая Таокой и Ямагути-гуми, продолженная Инагавой и другими, уже к началу 80-х годов привела к тому, что общественность стала возмущаться повсеместным проникновением бандитизма. Расширяющаяся торговля наркотиками, вымогательство, рэкет и насилие стали все больше тревожить людей. Но как раз тогда, когда японцы полагали, что их уже трудно чем-либо удивить, коррупция, взращенная якудза, проникла в такие сферы, где никто не предвидел ее появления.

КОРРУПЦИЯ ПО-ЯПОНСКИ

Подобно многим хорошим детективам, эта история началась случайно. В марте 1982 года немолодая женщина пришла в кабинет окружного прокурора Осаки и подала жалобу на избившего ее приятеля. Обвиняемый был отставным сержантом местной полиции.

Японские официальные лица не склонны смотреть сквозь пальцы на проступки

«своих» людей, будь то домашние потасовки или более серьезные преступления. С послевоенных времен уважение к закону в Японии стало предметом восхищения и гордости не только самих японцев, но и полиции во всем мире. Достижения японской полиции на первый взгляд идут «в ногу» с достижениями этой страны по части «экономического чуда». Женщины могут спокойно ходить по улицам Токио даже в полночь; показатели преступности и насилия в стране одни из самых низких в индустриально развитых странах; полиция стала высокодисциплинированной, надежной опорой профессиональных юристов.

Именно этот образ мог испортить какой-то отставной сержант, поколотивший свою подружку. В ходе расследования официальные представители выяснили, что бывший полицейский работал также и на компанию, сдававшую в аренду игровые автоматы, а именно управляемые компьютером машины для игры в покер. Само по себе это занятие не было нелегальным, хотя, как и в США, законодательство, касающееся такого рода игр, было с трудом принято японским правительством. В руках некоторых владельцев и при определенных усовершенствованиях эти игровые автоматы могут превратиться из средства простого увеселения в оборудование игорного дома.

Конечно, не было никаких причин видеть за неблаговидными поступками отставного полицейского какую-то нечестную игру. Однако именно этому случаю предстояло полностью разрушить благополучный образ полиции Осаки и впервые за последнее время напомнить о существовании в недрах японской правоохранительной системы настоящей сети коррупции; на эту коррупцию влияли, а иногда и вдохновляли ее якудза.

Итак, когда местные детективы стали изучать связи бывшего сержанта, они почуяли неладное. Подозреваемый, судя по всему, передавал через своих старых дружков сведения о предстоящих рейдах полиции в игорные заведения. По мере того как полицейские раскапывали это дело дальше, стало ясно, что назревает крупный скандал. Оказалось, что сведения подобного рода передавал не только отставной сержант, но и многие полицейские, продолжавшие нести службу. И им платили не только боссы игорных заведений, но и владельцы стриптиза. Оказалось, что уважаемые деятели образцовой префектуральной полиции Осаки работают рука об руку с местной преступностью, и это открытие вызвало шок в стране.

Осака — город, который, как Чикаго в США, всегда играл второстепенную роль при японском Нью-Йорке — Токио. Трехмиллионное население Осаки является частью 19-миллионной метрополии в одном из ведущих коммерческих центров Азии. Если на протяжении 300 лет политическая и культурная жизнь страны концентрировалась в Токио, то бизнес и индустрия сосредоточивались в основном в Осаке.

Следователям потребовалось 8 месяцев для того, чтобы выстроить свое обвинение, и к ноябрю 1982 года они были готовы. Первого ноября были сделаны первые шаги: по обвинению во взяточничестве арестовали одного из высших чинов полиции и менеджера игрового центра.

На следующий день покончил с собой старый сержант полиции, на первый взгляд непричастный к расследованию,— в предсмертной записке он заявлял о своей невиновности. В течение следующей недели были произведены новые аресты; среди задержанных был и отставной сержант, чьи подвиги на домашнем фронте дали толчок к расследованию.

В конце той же недели, утром 12 ноября 1982 года, Тадаси Сугихара, бывший шеф полиции Осаки, привязал свой кушак к центральной балке, проходящей по потолку в его офисе. Второй конец кушака он обмотал вокруг шеи и покончил с собой способом, наиболее распространенным в Японии. В отличие от самоубийцы-сержанта он не оставил никакого письма. Близкие Сугихары сообщили, что в последние дни жизни он много раз звонил в Осаку и все больше тревожился по поводу скандала в полиции.

Сугихара был шефом осакской полиции на протяжении двух лет. За три месяца до смерти он получил повышение и стал президентом Национальной полицейской академии. В момент смерти он был одним из наиболее высокопоставленных полицейских в Японии. Блестящий администратор с большим политическим будущим, Сугихара готовился к роли заместителя министра юстиции в кабинете Накасонэ.

Ветераны японской полиции сводили счеты с жизнью, потому что это был единственный «достойный» выход из невыносимой ситуации. Они покрыли японскую правоохранительную систему страшным позором, и их дальнейшая жизнь — не говоря уж об их свидетельствах — могла бы стать дополнительным источником унижения для тех, кому они так долго служили. Что же до Сугихары, то он явно находился под подозрением. Его видели вместе с другим высокопоставленным

полицейским, когда они посещали, в основном по ночам, дорогие бары в известном увеселительном районе Осаки. Если верить статье, опубликованной в «Бунгэй сюндзю», одном из ведущих ежемесячных журналов, ночь развлечений такого рода — включая посещение парочки ресторанов и ночного клуба — вполне могла обойтись им в 2 тысячи долларов. Позже один полицейский следователь, привлеченный к ответственности, показал, что дал Сугихаре взятку в 17 тысяч долларов, чтобы избежать нежелательного перевода по службе. Появились и сведения о взятках, полученных Сугихарой от владельцев турецких бань, контролируемых преступными группами. Эти, как их называют, туркос на самом деле являются публичными домами.

К началу 1983 года скандал о взятках стал разрастаться как снежный ком. Проверяя дела в полиции Осаки, следователи выяснили, что отдельные стражи порядка получали взятки до 20 тысяч долларов. Когда пыль окончательно улеглась, приказы об увольнении или иных дисциплинарных взысканиях получили 124 полицейских. Такого количества полицейских хватило бы для укомплектования офицерскими кадрами полиции в 70-тысячном городе. А до конца было еще далеко.

В декабре национальная ежедневная газета «Майнити симбун» сообщила, что два политика, принадлежащих к ЛДП — в том числе Акира Хатано, министр юстиции новосформированного кабинета Накасонэ,— выступали в качестве консультантов ассоциации игорных автоматов, члены которой были замешаны в деле о взятках в Осаке. Хатано громогласно заявлял о своей невиновности, настаивая на том, что он никогда не получал ни гроша за свои услуги и что, по его представлениям, эта организация «занималась какими-то развлечениями». Но несмотря на эти утверждения, министр юстиции, получавший деньги на проведение кампании по выборам в парламент в 1980 году от токийских правых, связанных с якудза, вызывал все больше подозрений. Бывший суперинтендант токийской полиции Хатано впоследствии утверждал, что требовать от политика твердых моральных принципов — это то же самое, что «требовать рыбу в овощной лавке».

В феврале 1983 года осакский скандал распространился на соседнюю префектуру Хиого, где размещалась национальная штаб-квартира Ямагути-гуми в Кобе. Был арестован 56-летний заместитель начальника полиции, и власти возбудили дело против десятка других офицеров. Следователи уже не удивлялись, узнав, что заместитель начальника за взятки по 1000—2000 долларов информировал владельцев игорных заведений о предстоящих полицейских облавах. Он же давал своим подчиненным по 50—100 долларов, чтобы те отказались от проверки этих заведений, и приглашал офицеров из соседних полицейских участков на обеды и выпивки с владельцами игорных автоматов. Для этого полицейского чина было привычным наносить визиты в эти участки, иногда в компании хозяев игорных заведений, нагруженных подарками для высших офицеров округа.

Массовость и степень коррупции были впечатляющими. Одна сеть игорных домов включала более 10 заведений, всего около 800 автоматов; на нее работало более 300 человек, а ежедневные доходы составляли, по грубым подсчетам, более 400 тысяч долларов. Более того, все заведения были открыты круглосуточно, многие из них располагались вблизи основных шоссейных дорог области. Проезжавшие водители издали видели сияющие неоном рекламы. Но несмотря на столь открытую деятельность, за три года существования только два заведения были проверены полицией. За день до широкомасштабного, тщательно подготовленного полицейского рейда в ноябре 1982 года владелец внезапно закрыл все заведения, вывез все автоматы и скрылся.

До того как материалы об осакском скандале начали сходить с первых страниц японских газет, произошло еще одно потрясшее всех событие. В марте репортеры «Майнити» обнаружили существование общенационального осведомительного синдиката, возглавляемого отставными офицерами полиции и бизнесменами и связанного с якудза. Этот синдикат сообщал о готовящихся полицейских облавах на игорные дома в 12 префектурах, включая Токио, Осаку и Хиого. Он существовал уже около 6 лет, и заинтересованные лица высоко ценили точность и своевременность поставляемой им информации — предупреждение о предстоящих рейдах делалось не менее чем за три дня, иногда даже за 10 дней до намеченной даты. Судя по полученным сведениям, один из контрактов, заключенных с токийской организацией, тянул на 13 тысяч долларов; помимо этого ежемесячно выплачивались суммы от 500 до 2 тысяч долларов. Среди организаторов синдиката был известный гангстер, владевший несколькими турецкими банями в районе Токио, которому журналисты присвоили титул «Император ночи».

ЛУЧШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В МИРЕ

Скандал о взятках в Осаке был не первым, связанным с японской полицией. Хотя система охраны порядка в Японии все еще составляет предмет зависти властей любого американского города, за последнее время стало известно о многих случаях, которые свидетельствуют, по меньшей мере, о появлении трещин в фундаменте этой некогда блестяще отлаженной системы. Особенно тяжелым выдался 1984 год: бывший сержант полиции в Киото застрелил полицейского и банковского служащего и скрылся с 2400 долларами; через месяц был арестован бывший полицейский капитан в Токио за двойное убийство и похищение драгоценностей на сумму около 80 тысяч долларов. В том же году было выдвинуто немало обвинений в мошенничестве, подлогах и похищениях с целью выкупа против ряда бывших и работающих полицейских. Оказалось также, что не только в Осаке полиция информировала местные бандитские группировки об угрожающих им облавах.

В американских отчетах о преступности в Японии обычно упоминается о проблеме якудза, но в целом они полны похвал в адрес японской полиции. Эти похвалы вполне обоснованны. Действительно, дисциплина в японской полиции поддерживается на очень высоком уровне, а показатели серьезной преступности в этой стране гораздо ниже, чем в США. Согласно данным официальной статистики, вероятность изнасилования в Америке в 12 раз выше, чем в Японии, а вероятность стать жертвой ограбления — в 25 раз. Можно сказать, что самым поразительным является факт постоянного снижения уровня преступности в Японии, начиная с 1955 года. Другими словами, в период беспрецедентного роста экономики и городов показатели преступности в Америке росли, а в Японии, наоборот, падали.

Полиция Японии могла заслуженно гордиться своей ролью в этом замечательном процессе и осознавать себя лучшей в мире. Однако при всем уважении к этим блестящим достижениям становилось все труднее ответить на один принципиальный вопрос: как при таком уровне охраны правопорядка на Японских островах могли сохраниться и процветать сотни тысяч гангстеров?

Ответ на этот вопрос частично кроется в уникальности взаимоотношений, сложившихся в Японии между полицейскими и бандитами. С западной точки зрения речь идет о коррупции, которая на самом деле зашла гораздо дальше и приняла более организованные формы, чем можно было предположить даже на основании упомянутых выше скандалов. Например, в течение многих лет полиция проводила массовые облавы на якудза. Достаточно регулярно проводимые рейды заканчивались арестами более тысячи гангстеров за один день. Читая газетные отчеты, можно было предположить, что власти повели решительное и безжалостное наступление на преступный мир. Но на самом деле эти полицейские рейды, о которых так интересно читать в прессе, представляют собой форму запугивания и своеобразной рекламы, заставляющей вспомнить приказы шефа полиции из классического фильма «Касабланка»: «Окружите постоянных подозреваемых!» Антрополог Уолтер Эймс, прослуживший 18 месяцев в японской полиции, задается вопросом об истинной эффективности этих облав. В вышедшей в 1991 году книге «Полиция и общество в Японии» Эймс писал, что «...эти облавы носят зачастую ритуальный характер, потому что большинство гангстеров выходят на свободу спустя несколько дней из-за отсутствия доказательств преступления или ввиду незначительности их проступков». Эймс также указывает, что обычно бандиты получают предупреждение за несколько дней до рейда полиции, поэтому задолго до прибытия карательных сил вся контрабанда вывозится, а все боссы прячутся в надежные места. Каждая облава обставляется с уникальной японской учтивостью: чтобы полиция могла «сохранить лицо», гангстеры обычно дают ей возможность конфисковать несколько единиц огнестрельного оружия.

Принимая во внимание, что банды в Японии действуют необычайно открыто, можно понять темные личные связи якудза и полиции: местные стражи порядка знают местных гангстеров по именам и легко находят с ними общий язык. Подобные приятельские отношения способствуют распространению коррупции среди полицейских. Например, уходящие в отставку полицейские чины округа по традиции получают от местных торговцев денежные подарки точно так же, как получают их уходящие на пенсию служащие контор и компаний от своих сослуживцев. Когда речь идет о шефе местной полиции, такие подарки могут выражаться в значительных денежных суммах от хозяев массажных кабинетов, игорных домов и других полулегальных заведений — однако только в том случае, если полицейский «не очень затруднял» жизнь богатейшим дельцам своего округа.

Впрочем, полицейских привлекает не только возможность получать взятки. Многие сотрудники правоохранительных органов Японии явно симпатизируют

консервативным взглядам якудза. При поступлении на работу в полицию кандидатов тщательно проверяют, в частности, на предмет связей с левацкими течениями. Неудивительно, что японские левые уже давно обвиняют полицию в том, что она смотрит сквозь пальцы на подозрительную политическую активность якудза среди правых сил.

Между полицейскими и бандитами можно найти немало сходства. Как и их криминальные сообщники, большинство полицейских получили в лучшем случае среднее образование и происходят чаще всего из весьма скромных семей. Многие японские полицейские восхищаются идеями *гири-ниндзё* и считают себя самураями наших дней, как и якудза. Уважение к этим традиционным ценностям находит отражение в трогательных балладах, часто на сюжеты о якудза или *оябунах и кобунах*, которые очень популярны среди полицейских.

Гангстеры, со своей стороны, уважают полицию и понимают, что ей приходится выполнять свой профессиональный долг и охранять закон. Например, после выяснения отношений между якудза, закончившегося смертью одного из участников, виновный обычно является с повинной в ближайший полицейский участок. Исполнив свой долг, он готов понести наказание за содеянное. Вот как объяснял босс синдиката Какудзи Инагава взаимоотношения между своей бандой и полицией: «Мы верим в японскую полицию. Если она говорит, что банда Инагавы плохая, значит, так оно и есть. Эти мои слова не нужно понимать буквально, но вообще там работают многие способные ребята. Следить за мной — это их работа. Я уважаю их. Пожалуйста, передайте им мои наилучшие пожелания».

Но, вероятно, самое удивительное во взаимоотношениях полиции и гангстеров — это деятельность якудза в качестве альтернативной правоохранительной силы. Криминалист Эрик фон Херст, проживший в Японии 15 лет, говорит: «Если японская полиция чего-то и боится, так это неорганизованной преступности. Поэтому там так мало уличной преступности. Гангстеры контролируют ситуацию и обеспечивают безопасность. Если какие-то типы со стороны начинают беспокоить людей, якудза первыми доберутся до них. Японская полиция предпочитает существование организованной преступности ее отсутствию».

ПОДПОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Уникальный симбиоз между японской полицией и преступниками указывает на существование куда более серьезной проблемы структурной коррупции в стране. В какой-то степени эта проблема очень похожа на старую традиционную американскую коррупцию в больших городах восточного побережья, где политики, боссы профсоюзов и гангстеры являются винтиками одной хорошо смазанной машины. Но в японской коррупции есть и другие элементы, делающие ее совершенно отличной от коррупции западного образца, и корни этих отличий уходят в те же традиции японской культуры, что и корни традиционных связей между гангстерами и правыми политиками.

Наблюдателю со стороны показатели преступности в Японии могут дать неправильное представление о стране как об абсолютно законопослушном обществе. Даже признавая существование и огромное значение якудза, полицейская статистика рисует нам картину страны, где люди просто не очень сильно нарушают законы. Однако японцы могут быть такими же продажными и порочными, как и американцы, а иногда — даже в большей степени. Показательным примером этого служит хотя бы тот факт, что они не очень стремятся сотрудничать с Национальным налоговым агентством, японским аналогом налогового управления США.

Как и американцы, японцы поддерживают сильную подпольную экономику. По оценкам, оборот так называемого «черного рынка» Японии составляет от 56 до 136 млрд. долларов, хотя официальные лица и утверждают, что это всего лишь предположительная цифра. По оценкам, оборот подпольной экономики в США в 1981 году составил примерно 250 млрд. долларов. Но даже японские официальные лица признают, что сборщики налогов сталкиваются с постоянным и все ширящимся сокрытием доходов как отдельных лиц, так и компаний. В 1982 году был поставлен своеобразный рекорд — сборщики налогов смогли выявить утаенные от них 529,3 млрд. иен (около 2,3 млрд. долларов) доходов. Список должников возглавляли владельцы частных клиник, за ними шли хозяева клубов патинко и ссудных касс, а эти две профессии весьма распространены среди якудза. (Патинко, японская игра в шарики, является, наверное, самым популярным видом досуга в Японии.) Не последнее место в списке занимали буддийские монахи.

Мошенничество распространилось настолько широко, что уже в 1983 году официальные представители налоговых служб Японии обвинили граждан в сокрытии более 40% доходов. Обвинения касались всех компаний, занятых обслуживанием населения,— от фирм, выпускающих программное обеспечение для компьютеров, и бейсбольных клубов — до туристических агентств и массажных кабинетов. В том же году власти выявили скрываемое увеличение капиталов (от продажи земли и строений) в размере 300 млрд. иен (примерно 1,3 млрд. долларов). Японские налогоплательщики, точно так же как их американские собратья, часто попросту врут об истинных размерах своих заработков, стоимости своей собственности и представляют фальшивые права на льготы. Особенно преуспевают в этом представители различных профессиональных групп. При расследовании, проведенном среди токийских врачей и артистов, удалось установить, что в среднем каждый из них утаил более 20 000 долларов.

Вняв призывам полиции, в начале 70-х годов правительство наконец стало облагать налогом доходы преступных группировок Японии. Эта идея не была чем-то совершенно новым. Власти США стали использовать налоговое законодательство в борьбе с преступностью с тех пор, как в 1931 г. Аль Капоне было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Но японские деятели, стремясь обеспечить всем гражданам равные права перед законом, в 1975 году объявили, что гангстерам можно не учитывать в налоговых декларациях «деловые расходы». Как сообщало Ассошиэйтед пресс из Токио, «в эти деловые расходы включались платежи за аренду игорных залов, суточные для гангстеров, высланных из страны за нарушение законов, плата «часовым», охраняющим игорные дома, и траты проституток».

Несмотря на возможность столь либеральной интерпретации налогового законодательства, большая часть доходов якудза так и осталась скрытой и неучтенной официальными аудиторами. Как и в США, гангстеры ничем не отличаются от остального населения и точно так же, как и все, прячут свои миллиардные прибыли от налоговых инспекторов. Но если это стремление уклониться от уплаты налогов полностью совпадает с американским, некоторые другие преступления в Японии имеют совершенно особую окраску. Особенно характерны для этой страны противозаконные действия «белых воротничков» и тесно с ними связанные взяточничество и вымогательство.

Взятки дают и берут по любому поводу — от улаживания сделок между корпорациями-мультимиллионерами до найма квартир и вступительных экзаменов в колледж.

Понятие взятки в Японии довольно расплывчато, в значительной мере потому, что там очень распространен обычай преподношения подарков, гораздо в большей степени, чем на Западе. Дарить подарки в Японии — это традиция, возведенная в ранг искусства. Она связана с обязательствами, заключенными в понятии *гири,* и от настоящей взятки подарки часто отделены только тончайшей чертой. Подарки делают, приходя в чей-то дом; подарки обязательно делают дважды в год — в июле и в декабре — сотрудникам и тем, с кем вас связывают отношения *гири;* служащим, уходящим на пенсию или меняющим место работы; тем, кто вернулся из путешествия, а также в целом ряде других ситуаций, в которых часто путаются даже сами японцы. Подарки могут быть разными — от недорогих сувениров до предметов роскоши; иногда это могут быть всего лишь хрустящие чеки, посылаемые в специальных денежных конвертах. Практика дарения и получения подарков так глубоко укоренилась, что во многих семьях ведутся специальные книги, куда заносятся сведения о подаренных и полученных подарках с указанием цены. Японцы считают эту традицию очень важной и говорят, что подарки — это *дзюнкацую* — «масло для смазки общества».

Как же японцы отличают подарок от взятки? Это непросто. Полиция и другие официальные лица говорят, что они считают взяткой подарок, который слишком дорог для данной ситуации. Однако оценки такого рода весьма и весьма относительны. Сами полицейские спокойно принимают бесплатные билеты от владельцев местных порно-шоу. Подарок в виде денежной суммы — иногда более 1000 долларов — родители вручают учителям во время выпускных экзаменов или при поступлении в учебное заведение; пациенты элитарных клиник — врачам, чтобы получить избранный вид лечения в специализированной японской системе медицинского обслуживания.

Иногда вручение взятки сопровождается таким ритуалом, что какие-либо вопросы были бы просто неуместны. Японская культура вообще не предусматривает возможности отказа от подарка. Хорошим примером этого служит игра ма-джонг. Во время обсуждения контракта между двумя фирмами представители одной из них часто приглашают партнеров сыграть в популярную азартную игру. Несмотря на

достаточно высокий класс игроков с обеих сторон, хозяева начинают проигрывать гостям одну партию за другой. Все понимают, что происходит, но вслух никто ничего никогда не скажет. Естественно, после игры победитель сделает все возможное для заключения контракта.

Так насколько же коррумпирована Япония? Антрополог Бэфу пошутил, что для настоящей защиты закона японскому правительству надо было бы создать огромный департамент по расследованию дел о взятках. Обычай взяточничества распространился настолько, что практически каждый крупный политический деятель страны по меньшей мере один раз за свою карьеру имел трения с послевоенным законодательством о взятках. Однако ряд ученых утверждает, что ситуация может измениться. Они говорят, что на протяжении многих лет японская общественность терпела продажность своих политиков, но скандал «Локхид» возвестил о начале новой эры, в которой старые способы действия должны войти в противоречия с новыми стандартами.

Если старые способы действительно отмирают, этот процесс будет долгим, потому что культурные традиции в Японии меняются небыстро. У тех, кто умел ловко пользоваться взятками в прошлом — будь то Ёсио Кодама в случае с «Локхид» или Ямагути-гуми в случае с осакской полицией, есть не менее ловкие последователи. Более того, к новым стандартам должно будет приспособиться не только взяточничество. В утонченной культуре Японии рядом со взяточничеством и рэкетом пышным цветом цветут такие виды правонарушения, как шантаж, вымогательство и запугивание.

САРАКИН И СОХРАНЕНИЕ ЧЕСТИ

По меньшей мере два раза в неделю в японских газетах появляются маленькие заметки примерно такого содержания: «Мицуру Такахаси, погрязший в долгах, больше не мог выносить позорную ситуацию. Не желая видеть, как его двое детей растут нищими, он убил их, а потом попытался покончить с собой, но неудачно».

С незначительными изменениями такие заметки кочуют из одной японской газеты в другую. Иногда речь идет о женщине — страховом агенте с западного побережья, которая направила свою машину к обрывистому морскому берегу и утопилась вместе со всей семьей, потому что не могла вернуть долг в 40 000 долларов. Или о семье из трех человек из города Нагано, которая в полном составе застрелилась из-за долга в 4000 долларов. В одной заметке рассказывалось о признании человека, убившего проститутку в Токио,— он совершил убийство, чтобы попасть в тюрьму и избавиться таким образом от кредиторов.

Все эти люди стали жертвами знаменитых японских *саракин.* Слово *саракин* обозначает человека, который профессионально занимается ссуживанием денег и взиманием долгов, а буквально это слово можно перевести как «долговая акула». На основании того, что случаи унижения и запугивания людей все учащаются, полиция сделала вывод о том, что *саракин,* подчиняющиеся якудза, довели до самоубийства в 1982 году примерно 2400 человек, что составило около 11% всех самоубийств в стране. Специалисты из Национального полицейского агентства считают, что в том же году еще 7300 человек скрылись от преследований *саракин,* покинув работу и семью,— поступок, который в Японии считается почти непростительным. Люди, совершившие этот поступок, называются «дзёхацу» — «пропавшие люди», буквально — «испарившиеся».

Считается, что в Японии действует около 42 000 фирм *саракин,* хотя многие полагают, что на самом деле число их доходит до 220 000. Многие фирмы такого рода предпочитают не «засвечиваться». Размахом и успехом своей деятельности эти «долговые акулы» в значительной степени обязаны тому, что до недавнего времени ведущие финансовые учреждения страны не стремились предоставлять кредит своим клиентам. Политика правительства и устоявшиеся привычки долгое время заставляли японцев жить по принципу «копи сейчас, покупай потом». Личные сбережения достигали примерно 20% от национального дохода, то есть были чуть ли не в 4 раза выше американского показателя. Однако ситуация изменилась, когда молодое поколение стало все больше отходить от старых обычаев и склоняться к американской привычке покупать в кредит. В результате кредитный потребительский рынок в Японии стал расти с ошеломляющей скоростью — 33% в год и с 1,03 млрд. долларов в 1973 году достиг 9,58 млрд. в 1981 году. Но в стране, где лишь немногие имеют контрольные счета (банки часто непосредственно оплачивают чеки потребителей), предоставление кредита все еще является новым явлением, и до сих пор главную выгоду от его внедрения получали *саракин,* пытающиеся превратить свою деятельность в уважаемый бизнес.

Но до сих пор, несмотря на возможность получения дешевых (18–29%) американских кредитов, большинство японских заемщиков предпочитают иметь дело с ни о чем не спрашивающими *саракин*. Практически любой взрослый японец может прийти в офис *саракин* и — просто предъявив удостоверение личности — уйти оттуда через 20 минут, получив 200 долларов наличными под 60% годовых.

Но власть *саракин* основывается далеко не только на угрозе насилия. Японцы очень боятся изводящих телефонных звонков и анонимок. Они очень боятся, что *саракин* могут снова и снова наносить удары по самому больному для каждого японца месту — по его репутации.

В самом широком смысле слова проблема «сохранения репутации», или, как говорят многие, «очищения имени», остается главной в повседневной жизни Японии. Бизнесмены тратят колоссальное время на поддержание своего доброго имени, и при этом многие западные коммерсанты могут лишь гадать, каким образом их японские партнеры смогли завоевать славу столь эффективных и надежных людей. При этом крайне важно, чтобы вся система общественных отношений находилась в равновесии.

Потеря репутации, да еще публичная, после демонстративных визитов *саракин* в чей-то дом или офис толкает японцев на уход из семьи и с работы, на самоубийство и даже на убийство. Вся тактика *саракин* направлена именно на разрушение репутации человека. Например, в 1983 году был случай, когда трое *саракин* ворвались в храм и потребовали, чтобы новоиспеченный вдовец заплатил свой долг, а не то они сорвут похороны. В том же году *саракин* направляли заказные письма с напоминанием об уплате долгов на адреса начальных школ, где учились дети должников.

Удивительно, что о сохранении репутации заботятся и сами *саракин*. Когда в июле 1983 года журнал «Гэндай» напечатал статью о Ясуо Такэи, ведущем лидере *саракин*, через три дня после выхода этого номера исчезли все 300 тысяч экземпляров. Издатели «Гэндай» обвинили рэкетиров в том, что те скупили весь тираж, дабы скрыть статью от общественности. В статье, озаглавленной «Король *саракин*», описывалась карьера Такэи — от малолетнего преступника, дельца черного рынка, до босса *саракин*.

Необходимость сохранения репутации создает в Японии совершенно особенную атмосферу, в которой возникают идеи самых невероятных преступлений. Точно так же как ритуал преподнесения подарков и отношения *гири* способствуют процветанию взяточничества, забота о репутации делает японцев особенно уязвимыми для шантажа, запугивания и т. п.

СОКАЙЯ, «СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБЩИМ СОБРАНИЯМ»

Однако деятельность *саракин* — вовсе не самый показательный пример преступного вымогательства в Японии. Наиболее характерным является существование совершенно особого, профессионального класса организованных рэкетиров, которые по традиции орудуют на встречах акционеров крупных компаний. Это так называемые *сокайя*. Точный перевод этого слова означает «специалисты по собраниям акционеров», но часто *сокайя* описывались в англоязычных изданиях как «финансовые рэкетиры», «торговцы на общих собраниях», «держащиеся в тени джентльмены в черном» и «наемные разбойники».

На протяжении многих лет практически каждой компании, занесенной в список участников торгов на бирже, приходилось иметь дело с *сокайя*. Их можно увидеть в длинных очередях перед дверьми отделов банков и страховых компаний. Большинство из них носят светлые деловые костюмы, как самые обычные служащие; другие предпочитают кричащие пиджаки и широкие галстуки. В крупных банках они проверяют, внесены ли их имена в специальный реестр, позволяющий получать выплаты по меньшей мере 2 раза в год. Некоторые совершают ежедневные поездки в деловые округа Японии, посещая за год сотни корпораций. Одну из крупных судовых компаний каждое утро посещали до 80 *сокайя*. Их обслуживал один из сотрудников фирмы, который имел дело с *сокайя* на протяжении 25 лет. В одном из ведущих банков около 2000 человек, в том числе известные гангстеры и правые деятели, получали в соответствии с записью в реестре дважды в год от 20 до 200 долларов; некоторым спокойно передавали до 15 тысяч долларов.

Хотя сейчас *сокайя* не действуют так открыто, как раньше, они остаются в деловом мире Японии. И если они не выстраиваются в длинные очереди перед дверями компаний, они все еще шантажируют крупнейшие фирмы, вымогая у них миллионы долларов ежегодно.

Почему же фирмы согласны платить этим вымогателям? Прежде всего для

того, чтобы они оставили компанию в покое, чтобы перестали баламутить устоявшийся мир японского бизнеса. Обычно группы *сокайя* скупают некоторое количество акций из фонда компании, затем раскапывают скандальную информацию и требуют за нее деньги. Они узнают сведения, порочащие руководство компании: об уклонении от уплаты налогов, о несоблюдении правил безопасности на предприятиях, о любовных связях. Если корпорация отказывается заплатить, на следующем же общем собрании акционеров *сокайя* во всеуслышание разглашают имеющиеся у них сведения. Официальные лица, постоянно заботящиеся о своей репутации, опасающиеся уронить себя в глазах подчиненных и общественности, по традиции уступают. Как сказал один представитель полиции: «Руководящие лица корпораций боятся не физического насилия. Они гораздо больше опасаются утратить свою репутацию в глазах друзей и членов семьи. Наша культура не позволяет перенести позор».

Крупные группировки *сокайя* ведут двойную игру — они предлагают компаниям свои услуги (естественно, за плату), чтобы гарантировать спокойное течение общих собраний акционеров, без обсуждения серьезных проблем. Акционера, осмеливающегося протестовать против каких-то действий компании, обычно выводят — и частенько избивают — боевые отряды *сокайя*, которые всегда находятся где-то поблизости. Иногда крупные компании натравливают одну группу *сокайя* на другую, что может привести к кровавым последствиям. Но чаще всего деятельность *сокайя* приводит к тому, что собрания акционеров японских компаний превращаются в бессмысленные смехотворные представления с заранее известными результатами, длящиеся не более 20 минут. Ёсио Кодама до самой смерти был одним из ведущих боссов *сокайя*. Говорят, что он занялся этим делом после 1965 года, создавая собственные группы рэкетиров и заключая союзы с другими. Руководствуясь примером Кодамы, основные синдикаты якудза с 70-х годов начали активно вторгаться в сферу деятельности *сокайя*. За период с 1972 по 1977 год оборот этого бизнеса вырос в 4 раза. В 1981 году полиция выявила существование 500 групп *сокайя* общей численностью 6800 человек, которые ежегодно вымогали до 400 млн. долларов.

Сегодня, по мнению полиции, около 70% ежегодного дохода *сокайя* оседает в руках синдикатов якудза. По данным расследования, проведенного радиовещательной компанией Эн-эйч-кей, каждый четвертый *сокайя* является членом банды якудза. По другим сведениям, число якудза среди *сокайя* еще выше. Однако один из *сокайя* предупреждает о необходимости делать различие между двумя преступными группировками. «Мне не нравится, что люди считают, будто термины «*сокайя*» и «*якудза*» взаимозаменяемы,— говорит Дзиро Моримото, главарь банды *сокайя* из 30 членов.— Якудза — это наследники старого *бусидо*, духа самураев, верные одному избранному принципу. А *сокайя* могут рассказать вам одну и ту же историю в десяти разных вариантах».

Приемы, разработанные этими преступниками на протяжении многих лет, так же изобретательны, как и прибыльны. Часто *сокайя* выступают в роли законных консультантов «научно-исследовательских институтов экономики», собирая сведения о корпорациях, и с помощью частных детективов заводят досье на ведущих деятелей этих корпораций — вплоть до имен и адресов их любовниц. Многие выдают себя за издателей маленьких журнальчиков и газет, которые с радостью принимают деньги «за подписку» и «рекламу» в обмен на отказ от публикации разоблачительных материалов. Руководство компаний относится к бульварной прессе с таким же ужасом, как к угрозам выступлений на общих собраниях. Обычно содержание подготовленных статей доводится до сведения компании до выхода тиража, и компании имеют возможность скупить все экземпляры, часто — по льготной цене.

Некоторые *сокайя* организуют рекламные компании, получающие взносы от фирм за ряд услуг, часто сомнительного характера. Популярной тактикой является проведение вечеринок, на которые бизнесмены должны приходить с денежным подарком для «хозяев». На одной подобной вечеринке, в мае 1975 года, собрались 600 руководящих работников 450 крупных компаний, и каждый из них принес «в подарок» от 100 до 400 долларов. Полиция подсчитала, что этот вечер принес 32-летнему хозяину мероприятия, Рюити Коикэ, более 130 тысяч долларов. Правда, сам Коикэ не смог присутствовать на вечеринке. Ранее в этот же день он был арестован за то, что угрожал президенту компании по производству винила.

Другие банды *сокайя* проявили еще большую изобретательность. Одна группа организовала конкурс красоты и убедила ряд компаний стать его «спонсорами». Другая провела турнир по гольфу для токийских бизнесменов — плата за участие была невообразимо высока. Третья организовала представление театра Кабуки — билеты на спектакль, не посмотреть который было просто невозможно, стоили в 5 раз больше обычного.

Людей, совершающих эти «подвиги», можно разделить на несколько категорий. Те, которые занимаются крупными организациями — работая иногда в тесном контакте с их руководством,— получают зарплату на уровне наиболее высокооплачиваемых сотрудников. Они пользуются личными автомобилями с водителями и поддерживают связи с влиятельными политиками. Однако в большинстве случаев *сокайя* — всего лишь мелкие мошенники, надеющиеся на легкие заработки. Члены этих групп происходят из разных слоев общества — есть среди них и бывшие таксисты, и торговцы. Встречаются так называемые *«сокайя*-буфетчики», бывшие бармены, подавшиеся в вымогатели после того, как подслушали беседы крупных *сокайя* за стойкой бара. К низшей категории относятся *«сокайя-бандзай»*, известные тем, что врываются в офисы компаний с криком «Бандзай!». Если у них спрашивают, что они делают и зачем пришли, они отвечают, что только что приобрели акции компании и выражают таким образом свою радость и желание поддержать работу сотрудников компании. Обычно, получив несколько тысяч иен, эти *сокайя* позволяют убедить себя в том, что радость лучше выражать где-нибудь в другом месте.

В определенной степени успех деятельности *сокайя* можно объяснить тем, что японские компании стремятся избегать каких-либо конфронтаций. Все решения принимаются в ходе закулисных переговоров; руководство готово пойти на большие затраты, лишь бы не выносить сор из избы. Поэтому *сокай* — общие собрания акционеров — являются, по сути дела, лишь формальностью, гармоничным финальным аккордом, необходимым для «узаконивания» уже свершившихся фактов.

В основе такой любви к порядку лежит концепция *ва*. Вообще слово *ва* можно перевести как «гармония», но этот перевод не всегда точно отражает его суть. *Ва* предполагает нечто большее. Эта концепция применима не только к бизнесу, но и вообще ко всей жизни в Японии и проявляется, например, в нелюбви японцев к отрицательным ответам. Если инакомыслящие акционеры будут задавать руководству компании слишком острые вопросы, это будет считаться нарушением гармонии — серьезным отклонением от принципов *ва*. Но если компания нанимает якудза для успокоения акционеров и поддержания тишины в зале — нарушения *ва* будут не так значительны.

К сожалению, такой образ мыслей дает широкую свободу действий многочисленным шантажистам и вымогателям. Хотя истории об их деятельности не входят в популярные книги о преуспевающих японских предпринимателях, с ней не могут не считаться многие корпорации страны.

КОРПОРАЦИЯ ВЫМОГАТЕЛЕЙ

Только после 20-летней борьбы за реформы, проводимой учеными и влиятельными журналистами, в 1982 году японский парламент принял наконец национальный Коммерческий кодекс. Новое законодательство объявило незаконным платное использование *сокайя*, если их действия не приносили явной пользы, а также ограничило число участников ежегодных собраний акционеров: в них имели право участвовать только те, кто владел определенным количеством акций. Более того, от руководства компаний требовалось, чтобы оно прекратило практику уклонения от ответов на вопросы простых акционеров на общих собраниях.

Вначале казалось, что новое законодательство заработало. Первые отчеты полиции свидетельствовали о том, что число *сокайя* резко упало (они стали чаще «уходить на пенсию», требуя и получая «выходное пособие» от своих коллективных жертв). Однако власти беспокоились, что *сокайя* смогут приспособиться к новым условиям. Многие рэкетиры стали снабжать газетчиков скандальной информацией. Некоторые обратили свое внимание на клиники, угрожая рассказать о случаях неправильного лечения, если им не заплатят. Были и те, кто попросту перенес свои усилия в заграничные отделения «своих» фирм или же стал получать вознаграждение не деньгами, а продукцией компаний. Наконец, были и такие *сокайя*, которые в лучших традициях, прошедших испытание временем, образовали политические группировки правого толка, превратив тем самым свои вознаграждения во взносы на проведение кампаний.

Деловому миру Японии также нелегко было менять старые привычки. Например, когда в 1983 году один из боссов *сокайя* угодил в больницу с гепатитом, в офисах крупных компаний Токио раздавались телефонные звонки, сообщавшие адрес клиники и часы посещения. По подсчетам полиции, около 100 корпораций направили своих представителей к постели больного, причем многие из них оставляли ему подарки в виде денежных сумм — от 100 до 200 долларов.

Однако Коммерческий кодекс помог некоторым компаниям разорвать узы, связывавшие их с традиционными *сокайя* — «специалистами по общим собраниям».

Во время острой конфронтации в начале 1984 года ежегодное собрание акционеров корпорации Сони продолжалось 13 с половиной часов — разозлившиеся *сокайя* и другие акционеры удерживали руководителей компании в зале до полуночи. В результате руководство Сони было так напугано, что стало предостерегать другие компании от разрыва с *сокайя*. К лету 1984 года «Эйшн Уолл-стрит джорнэл» сообщал, что «*сокайя* возвращаются» и что «большинство компаний, зарегистрированных на Токийской фондовой бирже, либо возобновили платежи *сокайя*, либо серьезно размышляют о необходимости такого шага».

Учитывая характер действий *сокайя*, от них будет нелегко избавиться. Подобно многим другим организованным преступникам, они выжили потому, что в их деятельности нуждаются, и многие обозреватели полагают, что в ней будут нуждаться еще долго, независимо от того, легальна она или нет. *Сокайя* занимают особое место в жизни Японии: это сила, которой пользуются корпорации для борьбы с забастовками, для возбуждения скандалов, для того чтобы противостоять слиянию конкурирующих фирм, наконец, для того чтобы обеспечить порядок и «гармонию» на собраниях акционеров.

Новые законы смогли вывести многих *сокайя* за пределы залов общих собраний. Но они занялись другими видами вымогательства, причем некоторые из них дошли до крайностей, шокировавших все японское общество. Среди таких инцидентов следует отметить покушение на бывшего министра иностранных дел Киити Миядзаву в 1984 году, в то время кандидата на пост премьер-министра. Покушавшийся был 54-летним рэкетиром, который ранее пытался шантажировать политика, публикуя истории о его частной жизни в газетенках *сокайя*.

На следующий день после нападения на Миядзаву одна из газет в резкой передовой статье назвала покушавшегося одним из «гиен Нагатотё» (Нагатотё — здание японского парламента). Редактор указывал, что «эти политические пиявки проникли в парламент» и что, хотя политики должны были бы разоблачать их, они «с готовностью используют этих пиявок, чтобы раздобыть немного новых сплетен и скандальных сведений и расправиться с противниками... Иными словами, сами политики раздувают огонь в очаге коррупции».

Спустя месяц после покушения на Миядзаву на первые страницы японских газет попала новая сенсация. Банда искусных вымогателей более года была настоящим наваждением для японских политиков и общественности. В письмах, адресованных издателям крупнейших газет, шантажисты называли себя «Человеком с 21 лицом». Это имя было заимствовано из популярных в 50-х годах книжек и телеспектаклей для детей. Требуя миллионы долларов в качестве выкупа, группа угрожала отравить цианистыми соединениями продукты шести крупнейших компаний, что привело бы к банкротствам и огромным финансовым потерям. По меньшей мере 18 коробок с отравленными сладостями были действительно найдены в магазинах различных городов. К каждой коробке был прикреплен ярлычок, отпечатанный на машинке: «Опасно. Содержит яд. Съешьте это, и вы умрете.— Человек с 21 лицом».

Японская полиция подвергалась беспрецедентной критике за свою неспособность справиться с бандитами. Растерянность полицейских и страх потерять репутацию усугублял и непрерывный поток писем от банды, в которых высмеивались все усилия стражей порядка. Письма были адресованы «Дуракам из полиции», и правоохранительные силы назывались в них не иначе как «бедные, глупые полицейские».

В одном из писем задавался саркастический вопрос — сколько людей можно было бы убить 30 граммами цианида, которые банда якобы отправила на телесеть Эн-эйч-кей. Ответы же предлагалось направлять в полицию. Сообщалось, что 10 победителей, имена которых будут определены с помощью лотереи, получат призы от кондитерской корпорации Моринаги — одной из жертв кампании шантажа. В другом письме вымогатели извинялись перед директором Национального полицейского агентства за то, что из-за беспокойства, причиненного их деятельностью, он потерял еще больше волос со своей лысеющей головы.

На протяжении пяти недель подряд к участию в расследовании привлекались более 44 тысяч полицейских. В конце октября 1984 года почти половина всех сил национальной полиции — 130 тысяч офицеров — участвовала в прочесывании 3,2 миллиона домов и контор в области Осака — Киото. Но лучшие из лучших японских полицейских были не в состоянии выследить вымогателей, и власти были вынуждены признать, что их бессилие в данном случае нанесло беспрецедентный удар по доверию к полиции.

КАК МНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КАК МНОГО ПРЕСТУПНИКОВ....

Репутация полиции, уже подорванная случаем с бандой «Человек с 21 лицом», постоянно подвергается все новым и новым испытаниям. С начала 70-х годов все большее число журналистов, юристов и социологов пытаются привлечь внимание общественности к проблеме, встающей в связи с существованием стотысячного преступного мира,— так ли свободна Япония от преступности, как утверждает полиция? Никто не станет возражать, что показатели преступности в стране гораздо ниже, чем в США. Американцу достаточно пройти по улице крупного японского города в полночь, чтобы заметить разницу. Но если число преступлений с применением насилия в Японии действительно гораздо ниже, чем в США, то как можно сравнить показатели преступности среди «белых воротничков» и других подобных групп, особенно если речь идет о взятках и вымогательстве, большинство из которых остается незамеченными?

Еще одним фактором, влияющим на показатели преступности в Японии, является стремление общественности выяснять отношения, не прибегая к услугам полиции и судов, а просто путем принесения взаимных извинений. Одному несчастному иностранцу пришлось узнать все прелести юридической системы Японии, когда на него и на его двоих друзей в 1981 году напала пара хулиганов, вооруженных бутылками из-под пива. Обратившись в полицию и добившись задержания обидчиков, иностранцы были удивлены тем, что полицейские офицеры почти не проявили интереса к этому делу. «Вы можете потребовать расследования, это ваше право,— объяснил полицейский трем пострадавшим.— Однако никто не гарантирует, что вам удастся доказать свою правоту... так что советуем вам поступить более по-японски и принять их извинения. Мы понимаем, что вы сейчас испытываете, и вам может показаться, что извинения не компенсируют нанесенного вам ущерба, поэтому вы должны потребовать самого искреннего извинения и раскаяния». Пострадавшие были сильно удивлены (это самое мягкое определение их чувств.) «Но у нас не было выбора,— говорит один из них.— Пришлось обменяться рукопожатиями с нападавшими и принять их «самые чистосердечные» извинения».

Так каковы же истинные показатели преступности в Японии? Конечно, этими цифрами, как и любыми данными статистики, можно манипулировать таким образом, чтобы они показали лишь то, что хотят показать заинтересованные лица. Власти признают, что в Японии, как и в Америке, многие преступления остаются не учтенными статистикой. Более того, они предупреждают, что их собственные данные о неучтенных преступлениях — показатели, получившие название «темных цифр»,— достаточно приблизительны и могут отражать неточности методов исследования. Тем не менее имеющиеся цифры достойны внимания. По данным Национального полицейского агентства, в 1970 году (последние из полученных показателей) действительное число случаев вымогательства было на 238% больше, чем сообщалось; мошенничеств было больше на 236%, а случаев вандализма и «разрушений» было больше, чем сообщалось, на 2536%. Статистических данных о взяточничестве, преступлении, о котором в Японии сообщается реже всего, нет.

Кэнъити Ино, вероятно ведущий специалист по преступному миру среди японских журналистов, полагает, что статистические данные о якудза, приводимые полицией, также неточны. Хотя для западных обозревателей число 100 тысяч гангстеров может показаться достаточно внушительным, по мнению Ино, если учитывать правые группировки, молодых бандитов, состоящих на службе у якудза, и другие связанные с ними группы, общая цифра будет в несколько раз больше, чем сообщает полиция. Ино резко осуждает тенденцию сообщать только число «зарегистрированных членов» якудза — то есть тех, чьи имена находят в списках, захваченных при облавах, или тех, кто имеет право носить булавки или значки банд.

Ино, автор 12 книг о якудза и правом движении в Японии, сомневается и в достоверности показателей общих доходов якудза. Он считает, что эти доходы достигают ежегодно более 16 млрд. долларов, то есть в три раза превышают показатель, приводимый полицией. Другие наблюдатели оценивают доходы якудза еще выше — в 22 млрд. долларов. Конечно, даже этим цифрам далеко до показателей доходов американской организованной преступности, составляющих ежегодно от 50 до 120 млрд. долларов.

Сомнительны также и другие цифры, приводимые официальной статистикой, а именно невероятно высокий процент вынесения обвинительных приговоров: в 1981 году этот показатель достиг якобы 99,88%. В этом случае невозможно провести прямое сравнение с американскими данными; обычно по уголовным делам выносится обвинительный приговор в 64—84% случаев. Невероятно высокий показатель обвинительных приговоров в Японии связан, главным образом, с тем

поразительным фактом, что почти все подозреваемые в ходе расследования подписывают признание. Например, в 1981 году признание подписали 89% подозреваемых.

Хотя признание проступков занимает важное место в японской культуре, некоторые обозреватели полагают, что власти заходят слишком далеко в своем стремлении заполучить такие признания. Критики обвиняют полицию в использовании физических методов воздействия во время допросов. По данным отчета, представленного группой токийских юристов, в 1984 году неоднократно имели место случаи «марафонских» допросов, продолжавшихся по 14 часов и более. После ареста подозреваемых помещают в крохотные, ярко освещенные камеры, известные под названием «птичьих клеток», где им приходится сидеть с поджатыми ногами, причем прислоняться к стене запрещается. Адвокатам не разрешают присутствовать при допросах. Более того, полиция может задерживать подозреваемых в течение 23 дней без предъявления им обвинения, и иногда людей арестовывают повторно по подозрению в новых преступлениях, продлевая тем самым срок заключения. (Следует отметить, что в некоторых странах Европы допускается предварительное заключение на срок до 6 месяцев, если речь идет о достаточно серьезном правонарушении.) Некоторые японские судьи даже отказываются отпускать задержанных под залог до тех пор, пока те не подпишут признание.

Есть, однако, вопрос, который заслуживает пристального изучения: каково число якудза, живущих за пределами Японии? Статистические данные Национального полицейского агентства дают четкий ответ: ни одного. На самом деле уже много лет Национальное полицейское агентство просто отказывалось признавать факт выхода якудза на международную арену. Признавая наличие связей с зарубежными преступными группировками, японские полицейские власти решительно отрицают факт распространения деятельности якудза за пределы страны. Эта позиция совершенно противоположна той, которую занимают полицейские службы США, Кореи и стран Юго-Восточной Азии, и находится в противоречии с новейшими данными и выводами, которые можно сделать из интервью, полученных на обоих континентах. Японские официальные лица обосновывают свои утверждения тем, что все покинувшие страну на длительное время уже не являются «зарегистрированными членами» своих синдикатов.

Но в конечном итоге всем этим неточностям и утверждениям можно найти одно объяснение — речь идет все о том же страхе утратить репутацию. После всех ударов, выпавших на долю гордящейся своим профессионализмом японской полиции, нелегко признать, что самая страшная криминальная проблема страны — якудза — стала предметом экспорта наряду с телевизорами и автомобилями. Но в будущем, наверное, это отношение должно измениться, потому что уже в конце 60-х годов японские полицейские власти знали о распространении якудза за пределы страны. То опоздание, с которым они признали международное распространение синдикатов, способствовало развитию подпольных зарубежных связей якудза не только на уровне торговли оружием, наркотиками и прочей контрабандой. К началу 70-х годов стало ясно, что якудза сумели обзавестись очень влиятельными друзьями за пределами Японии как в экономической, так и в политической сфере.

Эпилог

НОВАЯ ЯКУДЗА

«В конце концов якудза станет похожей на американскую мафию,— объясняет Какудзи Инагава, наиболее почитаемый «крестный отец» в Японии.— В будущем,— говорит он,— будет существовать одна общенациональная группировка. Крупные фирмы, вроде моей организации, победят. Уже сейчас можно увидеть тенденцию к созданию более общей структуры».

Впрочем, Инагава не очень радуется такому развитию событий. «Мафия будет убивать из-за выгоды,— предупреждает он.— Якудза должны чтить моральные правила и законы и подчиняться им — но эта традиция отмирает... Было бы легче, если бы мы могли повернуть время вспять. Меня очень беспокоит конфликт поколений».

Инагава не одинок в своих опасениях. Все чаще можно услышать жалобы главарей преступного мира Японии на то, что новые якудза стали более жестокими, менее послушными и более заинтересованными в получении крупной выгоды, нежели в соблюдении феодальных традиций. Самым тяжелым для Инагавы и его стареющих партнеров является их бессилие против этих новых тенденций. Они уже не обладают всей полнотой власти над поколением, выросшим в эпоху реактивных

авиалайнеров, телевидения, велосипедных банд, развитой индустрии досуга и растущего влияния потребителей.

Якудза оказались в самом центре происходящих перемен. Над их четко выстроенным замкнутым миром *гири-ниндзё,* татуировок, отрубания пальцев, беспрекословного повиновения и всех прочих атрибутов благородного бандитизма нависла смертельная угроза. В каком-то смысле эти изменения уже давно назрели. Очень немногие простые японцы продолжают жить по строгим феодальным заповедям, хотя какие-то осколки и отголоски старой системы *оябун-кобун* и сохранились в послевоенной Японии. Точно так же как сто лет назад самураи отбросили свои мечи и научились жить по законам прибыли и убытков, сегодняшние якудза готовы наконец расстаться со своим средневековым прошлым, и эти изменения могут иметь не меньшие последствия. Японские гангстеры недавно поняли, что преступный мир конца XX века не нуждается в какой-то особой идеологии, благородстве или абсолютной лояльности. Настало время изобретательных мошенников и жуликов, предприимчивых интриганов и авантюристов. В результате впервые якудза стали действовать не только в интересах банды, но и в своих собственных, и это полностью изменило облик организованной преступности в Японии.

Уже в 1954 году некий *оябун* предупреждал об опасностях, стоящих перед преступным миром Японии:

> Сегодня происходит то, чего раньше никогда не было. Прежние якудза иногда враждовали между собой, иногда даже воровали, но это было всего лишь частью их повседневной жизни. Если якудза причиняли вред простым людям, мы сразу же наказывали их. Наши правила не позволяли обижать слабых; но сегодня сплошь и рядом против слабых людей применяется сила, и в мире якудза больше не стало чувства порядка.

Конечно, скептики могут спросить, были ли якудза когда-то настоящими рыцарями. На протяжении всей своей длинной истории японские гангстеры действовали как безусловные преступники, уничтожая, запугивая и грабя тех, кто по злосчастью оказался на их пути. Но даже знаменитые японские полицейские готовы (конечно, по секрету) признать, что у их извечных противников были черточки благородства. Как и большей части традиционной японской культуры, организованной преступности страны присуща масса противоречий. Якудза всегда играли роль почетной оппозиции благопристойному обществу, роль отверженных, но в то же время неотъемлемых участников жизни этого общества, роль преступников, но преступников узаконенных. Ответ на поставленный вопрос будет, без сомнения, положительным — да, якудза были по-своему благородными преступниками, и именно эта сторона их облика претерпела драматические изменения. По мере того как банды вооружаются американским оружием и становятся все менее подотчетными своим главарям и обществу в целом, сама суть и облик почтенных отщепенцев постепенно исчезают.

Разрушение традиционных авторитетов в значительной мере отразилось на изменении структур многих синдикатов. На самом деле никто не может сказать, насколько прав Инагава, предсказывающий возникновение в будущем одного крупного общенационального синдиката. Но, подобно мафии, японские криминальные группировки объединяются в огромные централизованные организации. И моделью, по которой строятся эти организации, служит не строгая пирамида Ямагути-гуми; наоборот, они строятся по примеру более гибких, более свободных федераций типа Сумиёси-рэнго. Узкая и жесткая структура Ямагути-гуми всецело зависела от взаимоотношений *оябун-кобун,* пронизывавших синдикат сверху донизу и не оставлявших практически никакого места для инакомыслия. Смерть лидера синдиката — Таоки и последовавшая затем кровавая борьба за власть стали, вероятно, наиболее яркой иллюстрацией ослабления этих феодальных уз. Уходит в прошлое целое поколение японских преступников, и полицию это беспокоит не меньше, чем «крестных отцов».

Токийская городская полиция, считающаяся одной из наиболее авторитетных в вопросах борьбы с якудза, в 1984 году сделала достоянием общественности то, что уже давно понимали члены банд: «Существует явная тенденция к ослаблению солидарности и повиновения среди членов якудза. Это происходит вследствие ухода стареющих боссов, поддерживавших строгую дисциплину, и вследствие неизбежных перемен в характере рядовых бандитов. Судя по всему, уже недалек тот день, когда *кобун* не будет утверждать, что пролетающая ворона — белая, только потому, что так кажется *оябуну*».

С разрушением традиционных авторитетов связан и другой процесс — выход якудза за рубежи Японии. Об этом тоже говорит «крестный отец» Инагава. «На

Гавайях якудза чувствуют себя отверженными и ненужными», — утверждает он. Однако эти «отверженные» вывели якудза на международную арену. Многие из них принадлежат к новому, более легко адаптирующемуся поколению японских преступников, которые слишком заняты тем, чтобы делать деньги в Гонолулу или в Гонконге, чтобы думать об отрубании пальцев или церемониях *сакадзуки*. Независимо от того, являются ли они полноправными членами банд или всего лишь «сотрудничают» с ними, они работают в тесном контакте с якудза в родной Японии.

Впрочем, далеко не каждого якудза можно назвать несчастным отверженным. Многие просто принадлежат к другому поколению. Молодые якудза, пришедшие в преступный мир не из портовых и рабочих банд или с черного рынка, а из шаек уличных хулиганов и воришек, попросту незнакомы с традициями гангстерской жизни. Они вовсе не горят желанием подчинять каждый свой шаг желаниям босса; мало кто из них готов отдать жизнь за некое абстрактное понятие долга. Меняются и самые распространенные традиции: молодые якудза отвергают старинный обычай татуировки всего тела. Вместо этого они предпочитают выкалывать на плече простой рисунок или какое-нибудь изречение, как их западные сверстники. Причина этого, по мнению исследователя Хосино, совершенно не связана с эстетическими вкусами; татуировка в старинном стиле стоит целое состояние, и мало кто хочет тратить на нее деньги и усилия.

Точно так же более агрессивные якудза уже не считают необходимым отдавать дань старой традиции уважения к простым честным людям. Обычай не обижать простых людей стар, как и само существование якудза. Безвестный *оябун*, который в 1954 году сокрушался по поводу утраты чувства порядка среди якудза, просто не пережил бы сегодняшнего положения дел. Символом могущества в преступном мире Японии стало теперь быстрое получение прибыли с помощью всесильного оружия, а это привело к небывалому всплеску насилия. Только в 1983 году число перестрелок между бандами выросло вдвое, достигнув в Токио послевоенного уровня. Власти жалуются, что перестрелки средь бела дня приводят к жертвам среди невинного населения. Но насилие не ограничивается войной между бандами. Оружие стало применяться для улаживания любых разногласий, от конфликтов внутри банд до вымогательства, причем полиция прибегает к этому средству не реже, чем якудза.

Влиятельная японская газета «Асахи симбун» посвятила в 1983 году редакционную статью разоблачению волны бандитизма и насилия. Уделяя особое внимание росту числа вооруженных столкновений в маленьких городах, газета отмечала, что в основе насилия уже лежат не только традиционные споры за территории. Причиной перестрелки теперь может стать и дележ выигрыша на бегах, и спор о том, кто именно будет петь под музыку в баре.

Получает свою долю пуль и полиция. В августе 1983 года два лидера Каваигуми попытались ворваться в офис соперничающей группировки Кёкуто-сэкигути в токийском районе Икэбукуро. Когда четверо полицейских попытались остановить гангстеров, началась стрельба. Один офицер был тяжело ранен. В прошлом нападение на полицейского — в особенности по такому незначительному поводу, как проверка удостоверения личности и наличия оружия,— было не более вероятным, чем нападение якудза на императора.

Помимо изменений, затрагивающих структуру организованной преступности, систему ее авторитетов и отношение к насилию, якудза приобрела и еще одну общую черту с американской преступностью; все большее число гангстеров замешано в дела, требующие большой изобретательности. Конечно, по-прежнему достаточно велико число примитивно мыслящих мошенников. Но теперь появились *интери якудза*, так называемые интеллектуальные гангстеры: жулики в белых воротничках, финансовые рэкетиры и связанные друг с другом группы *сокайя*. Экономические преступления, совершаемые этими современными бандитами, трудно обнаружить и еще труднее расследовать — американской полиции это слишком хорошо известно. Подобные изменения идут параллельно с другими переменами, отражающимися на будущем бандитских группировок: новые якудза лучше образованны, больше путешествуют, все большее число их владеет английским языком — языком, принятым в коммерческих кругах во всем мире.

Однако все эти перемены в мире якудза можно рассматривать лишь как часть громадных изменений, происходящих во всем японском обществе. Меняется не только организованная преступность — меняется сам характер преступлений. Например, в 1979 году полиция сообщала, что число арестованных в связи с торговлей наркотиками увеличилось на 20%, все больше преступлений стало совершаться женщинами, а малолетние преступники становятся все моложе и моложе. Более того, преступления стали гораздо более жестокими, стало больше вооруженных ограблений банков — все это заставило японских журналистов провозгласить «пришествие» преступности западного образца. Хотя по меркам, принятым в США, все

показатели преступности остаются крайне низкими, многие из них сопоставимы с западноевропейскими. Для Японии же, разумеется, эти цифры очень высоки, и их продолжающийся рост ставит все новые неприятные вопросы о будущем общественной безопасности в стране.

В ответ на усиливающееся давление со стороны общественности, а также учитывая, что политические круги теперь не так уж рвутся защищать гангстеров, японская полиция более решительно взялась за серьезные криминальные проблемы. Но хотя официальные лица утверждают, что действия полиции почти вдвое уменьшили численность преступников по сравнению с 1963 годом, в настоящее время можно говорить о стабилизации числа преступных элементов, причем уцелевшие якудза — это наиболее хитрые, жестокие и богатые из всех. Кроме того, действия полиции неизбежно способствовали укреплению самых крупных синдикатов, потому что в борьбе за существование мелкие банды либо влились в них, либо объединились друг с другом. Еще одним непредсказуемым последствием стало то, что усиление давления на якудза внутри Японии дало толчок к росту их численности за границей, где они могли легко скрыться от властей.

После войны якудза долго медлили с выходом за пределы Японии. В этом они отстали от других преступных синдикатов — корсиканских, итальянских, американских и китайских. Частично это было связано с тем, что до 1952 года оккупация удерживала якудза в стране. Однако было совершенно очевидно, что рано или поздно якудза последуют за японскими бизнесменами в их триумфальном шествии по миру. Так и случилось. Если события, происшедшие после 1970 года, что-то и доказывают, так это лишь то, что якудза проявили готовность укорениться в любой точке, в которую обстоятельства могли их забросить. Они заняли свое место в японских общинах от Гонолулу до Сан-Паулу, вкладывая огромные суммы в самые различные проекты на обоих побережьях Тихого океана, вступая в сотрудничество с китайскими и американскими преступными синдикатами.

Помимо характерных для якудза действий по схеме «убийство-для-безопасности», заморских махинаций и контрабанды, большое беспокойство вызывают связи международных преступных групп. Появление якудза на международной арене совпало по времени с перемещением активности мирового рынка из Северной Атлантики на берега Тихого океана. Идея «Тихоокеанского века», приобретающая все большую популярность среди бизнесменов, быстро находит сторонников и в органах охраны порядка, потому что якудза и другие преступные организации уже подхватили ее.

Корни современной преступности в Тихоокеанском регионе уходят в торговлю героином, осуществляемую китайской Триадой и американской мафией. Но теперь криминальная торговля уже не ограничивается только контрабандой наркотиков. Опасность состоит не в том, что войны между подпольными группировками разных стран могут нарушить гражданский мир, она исходит от объединений нескольких мобильных, изобретательных группировок, противостоящих правоохранительным органам. Более того, эти криминальные коалиции отнюдь не ограничиваются рамками трех крупнейших синдикатов региона: американского, китайского и японского. Власти Южной Кореи опасаются возможного роста могущественных преступных синдикатов по мере быстрого развития индустриальной мощи страны. На Филиппинах местные преступные группы установили прочные связи с иммигрантами в США. Вообще во всей Юго-Восточной Азии, как, впрочем, и в Латинской Америке, постепенно возникает целая сеть трансокеанской торговли, контролируемая организованной преступностью. Наилучшим образом это можно увидеть на примере Гавайских островов, где тесно сотрудничают друг с другом восточные и западные гангстеры, чьи языки — китайский, японский и филиппинские — смешиваются с местным испорченным английским, образуя причудливое наречие дельцов наркобизнеса.

Торговля наркотиками остается самым надежным источником гангстерских доходов, и это положение вещей, по-видимому, сохранится еще надолго. Хотя китайские и западные партнеры в достаточной мере удерживают за собой эту сферу деятельности, мест на рынке еще много — особенно если занять их хотят более богатые, более сильные или более жестокие банды. Процветающая торговля амфетаминами, поддерживаемая якудза и когда-то совершенно не замечавшаяся за пределами Восточной Азии, способствовала тому, что в Японии образовалось более 600 000 наркоманов.

Именно потенциальная опасность массового импорта героина из Японии, наряду с уже имеющимися в Америке историческими прецедентами такого рода, заставила американские власти отнестись к якудза с большим страхом и подозрением, чем ожидалось. (Разумеется, пока что якудза не заняли в этой стране такого места, какое они занимают в Южной Корее или на Филиппинах. Но их присутствие

и активность уже стали очевидными на Гавайях, и первые признаки их проникновения уже дают о себе знать на основной территории страны.)

Национальное полицейское агентство Японии официально придерживается другой точки зрения. В многочисленных интервью представители правительства неоднократно отрицали проникновение якудза в Америку. Некоторые официальные лица дошли до того, что стали отрицать вообще какую-либо деятельность якудза за пределами Японии, хотя информированные японские юристы в частных беседах допускали возможность таких действий. Эта противоречивая позиция, частично объяснимая желанием «сохранить репутацию», типична для японской культуры, которая совершенно не похожа на культуру американскую, и американские полицейские власти должны понимать это, если они собираются налаживать деловые контакты с японскими коллегами. Следует заметить, что американские традиции и ценности также могут осложнить ситуацию.

Подобно слепцу, ощупывающему слона, наблюдатели, изучающие организованную преступность, могут познать лишь крохотный кусочек целого монстра. Понятно, что факты, которые время от времени становятся достоянием общественности, могут быть очень важными, а могут быть и тривиальными. Более того, очень часто граница между криминальной и легальной коммерцией стирается, меняется вместе с изменениями законов и времени. Расизм, ощущение собственной правоты, политический оппортунизм и страх по-своему окрашивают восприятие организованной преступности и придают многим оценкам неопределенность, предвзятость и подозрительность. Но организованную преступность характеризуют не только неразборчивость, оппортунизм и фанатизм. У нее есть и смысл существования, искать который следует под патиной колоритных характеров, экзотических ритуалов, прозвищ и легенд. В основе всего лежит один принцип — воровство. Гангстеры могут обеспечить блага и услуги, но цена за них будет всегда непомерно высокой. В самой примитивной форме организованная преступность — это всего лишь узаконенный грабеж.

Для среднего обывателя присутствие гангстеров в повседневной жизни — будь то в Америке или в Японии — добавляет невидимый налог на каждый доллар или иену. Азартные игры, взятки, вымогательство, проституция, наркотики — все это требует от общества дополнительных расходов экономических и человеческих ресурсов. В тех сферах деятельности, в которых особенно сильна организованная преступность — содержание баров и ресторанов, строительство, развлечения, вывоз мусора, погрузочные работы,— людям приходится платить непосредственно гангстерам. Преступники, в отличие от большинства бизнесменов, не довольствуются разумными барышами и очень редко возвращают обществу деньги в какой-то конструктивной форме. Им нужны астрономические прибыли, а платить за успех они не желают. Как выразился Джонатан Куитни в «Уолл-стрит джорнэл», они стали «классом, живущим по-королевски, но их вклад в развитие общества состоит лишь в усовершенствовании способов кражи тех богатств, которые созданы трудом сограждан».

Несмотря на все усилия полиции и общественности, это расхищение общественного достояния продолжается и проникает во все сферы жизни. Оказывая силовые услуги худшим представителям делового и преступного мира, организованные преступники препятствуют прогрессу во всех областях — от представительной власти до охраны окружающей среды. Они мешают созданию новых профсоюзов для защиты интересов рабочих и серьезно компрометируют многие из уже существующих. Они защищают корпорации от тех, кто требует пересмотра их опасной и безрассудной политики. Они работают в качестве вышибал и охранников при самых репрессивных правительствах и коррумпированных политиках. В Японии они, помимо всего прочего, захватили контроль над сферой наибольшего проявления мужского господства, покупая и продавая женщин в сексуальное рабство. И, опутывая весь мир смертоносной паутиной наркомании, они грабят целый народ, похищая у него не только деньги, но и молодежь. В буквальном смысле слова нет ничего, на что бы ни пошли организованные преступники ради денег.

Якудза представляют собой совершенно особенную форму организованной преступности. В XX веке они часто занимали ключевые позиции на подступах к вершине политической власти в Японии. Они нашли для себя безопасную нишу в обществе и сумели в открытую награбить больше богатств, чем гангстеры в любой другой стране. На Западе, пожалуй, лишь на Сицилии можно найти примеры такого же откровенного могущества фигур преступного мира. За многие годы японцы научились жить бок о бок с якудза и считать их почти обязательным условием сохранения мира в стране. В прошлом это в какой-то степени поддерживало гармонию в обществе, но в конце концов само общество расторгло этот контракт.

Невозможно предсказать, сумеет ли Япония воспользоваться периодом неустойчивости в преступном мире, чтобы попытаться коренным образом изменить некоторые из старинных связей между обществом и якудза и возвести надежную стену, разгораживающую эти два мира. За последние 40 лет организованная преступность в Японии стала особенно могущественной, и ее, как и организованную преступность в других странах, трудно искоренить; метастазы проникли уже во все сферы жизни. Но распространение ее еще можно сдержать, и нужно время, чтобы понять, удастся ли мировой общественности помешать якудза использовать уже испытанные методы в других странах. Ясно лишь одно — за последние 300 лет якудза стала одной из самых удачливых преступных организаций в мире, и, каковы бы ни были предпринимаемые против них действия, эти некогда почитаемые в Японии отщепенцы имеют все шансы на существование и в течение следующих 300 лет.

ВАСИЛИЙ ГОЛОВНИН

ЯКУДЗА ОТСТУПАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ

Япония пытается покончить с легальной уголовщиной

Сегодня в Японии нечасто можно увидеть уличные демонстрации, которыми страна славилась на весь мир во времена осенних и весенних наступлений пролетариата, марксистских бунтов в токийских университетах и многотысячных шествий встревоженной общественности против ядерных испытаний.

Теперь, увы, все не то: былые мятежники и вольнодумцы добились самой высокой в мире зарплаты и наслаждаются буржуазным покоем, пламенные профсоюзы и левые партии вянут на глазах, а юбилеи Хиросимы превратились в занудные фестивали уровня какого-нибудь краевого «праздника песни». На мирные тротуары японских городов сейчас лишь изредка выходит с самодельными плакатами в руках малочисленная и крайне специфическая публика — типа хамоватых крестьян, недовольных импортом более дешевого иностранного риса, или слегка чокнутых сторонников повального введения азбуки в Японии взамен иероглифов. Случаются и совсем замысловатые происшествия — скажем, агитационные пробежки голышом, которые периодически устраивают борцы с шубами из натурального меха. Однако, честное слово, самую фантастическую демонстрацию за последние годы мне довелось увидеть несколько месяцев назад перед вокзалом Икэбукуро на севере Токио.

Во главе этой редкой, но достаточно шумной кучки людей шагали худосочные ребята с красными стягами в руках, в низко надвинутых касках и закрывающих лица платках — короче говоря, с полным набором первичных признаков вымирающей породы троцкистско-маоистских радикалов. Рядом вразвалку шлепали их природные враги — коренастые крепыши в разномастной военизированной униформе, излюбленной ультраправыми националистами и прочими сторонниками возрождения Великой Японии на страх красной сволочи, спидоносным американцам и русским оккупантам «северных территорий». Пространство между этими идеологическими полюсами заполняли совсем уж причудливые молодцы с типичным обличьем японских воров в законе — с завитыми в колечки шевелюрами и толстыми золотыми цепями на запястьях и крепких шеях. Они двигались явно без привычки маршировать в стройных колоннах, несли с некоторым смущением шесты с плакатами. Корявые надписи на них не оставляли сомнения: и ультралевые, и ультраправые, и примкнувшие к ним урки сообща вышли на улицу, чтобы защитить свои гражданские права от «Ботайхо».

Этой аббревиатурой из трех иероглифов в Японии в просторечии именуют знаменитый Закон о мерах в отношении организованной преступности, вступивший в силу 1 апреля 1992 года. В сущности, он впервые

в истории страны нацелен на то, чтобы бороться не с отдельным, да еще пойманным на месте бандитом, а с уголовными объединениями как таковыми. Ультралевые и ультраправые с полным основанием считают, что при желании новый закон можно применить и против них. Абстрактно рассуждающие либералы-гуманисты поговаривают о том, что «Ботайхо» нарушает основополагающий принцип демократической законности: осуждать и карать можно только конкретного правонарушителя за конкретное преступление, полностью доказанное в соответствии с установленной процедурой. Однако нет сомнений, что принятие нового закона было с достаточным воодушевлением встречено пресловутыми «широкими массами общественности», перед которыми впервые замаячила заманчивая перспектива избавиться от одной из национальных достопримечательностей — мафии якудза с ее осточертевшими всем многовековыми романтическими традициями и самурайским кодексом чести на воровской лад.

«НАШ МАЛЕНЬКИЙ БАНДИТ»

«Терпите меньшее, чтобы не страдать от большего» — таков великий закон, который испокон веков правит в Японии. Именно он, например, заставляет ее жителей терпеливо платить за товары собственного производства во много раз дороже, чем они стоят за границей, что поддерживает на плаву национальную промышленность и в конечном итоге помогает стране в целом и каждому отдельному гражданину в частности. Великий принцип терпения и договоренности искореняет конкуренцию в самых доходных отраслях японской экономики, поскольку бизнесменам выгоднее по очереди получить свое сполна, чем биться за клиента и сбивать цены. Так не лучше ли дать жить и якудза, тем более что они до сих пор соблюдали правила игры и вели себя относительно тихо, не продавая, например, особо опасных наркотиков и практически не используя огнестрельное оружие?

Согласитесь, что в рассуждениях о выгоде обладания «своим маленьким городским бандитом» есть некоторый смысл. Однако он, естественно, существует только до тех пор, пока к вам самому не повадилась якудза. К тому же классическая японская преступность с ее клановыми традициями, многокрасочными татуировками, отрезанными фалангами пальцев и почитанием отца-главаря — это карикатурный слепок с организации традиционного японского общества, которое все больше уходит сейчас в прошлое. Многоквартирные дома с быстро меняющимся, хаотичным составом жильцов постепенно начинают доминировать над патриархальными деревнями и городскими кварталами, где испокон веков был «свой богач», «свой ростовщик», «свой портной», «своя проститутка» и «свой бандит». А на смену терпеливым и бедноватым творцам «экономического чуда» с их унылой, но беспроигрышной готовностью жертвовать малым ради большого приходят их дети, привыкшие с детства не удивляться обладанию автомобилем последней марки и возможности провести недельку отпуска на Гавайских островах.

Именно эти люди новой формации прокатили на всеобщих выборах правившую в Японии 38 лет подряд Либерально-демократическую партию, которая, кстати, была удивительно похожа на мафию якудза своей клановостью и тайными сговорами, пристрастием к традициям и культом беспрекословного подчинения старшим младших. Новое поколение жителей страны больше не пожелало терпеть эту погрязшую в коррупции организацию только за то, что она когда-то обеспечила стране стабильность и экономическое чудо. Японцы хотят, чтобы их страна была более современной и открытой, чтобы в ней уважались права каждого конкретного человека, а не общества в целом. Именно эти настроения и подрывают привычку «иметь своего маленького бандита», поскольку «новые японцы» с их пристрастием к личным свободам не желают сосуществовать даже с относительно тихими уголовниками и требуют тотального искоренения преступности.

ЧТО ТАКОЕ «БОТАЙХО»?

Введение в действие Закона о мерах в отношении организованной преступности и стало ответом властей на это требование публики.

Кардинальная суть «Ботайхо» в том, что он впервые в японской юридической практике ввел понятие «преступная организация». Такое определение в отношении открыто действующих банд выносят специально созданные в каждой префектуре страны Комиссии общественной безопасности с участием полиции, местной администрации и объединений местных жителей. Главный критерий — количество в той или иной организации лиц с судимостями, наличие жалоб со стороны граждан. Если все это складывается в определенную критическую массу, то комиссия объявляет юридическое лицо «преступным», что немедленно приводит к весьма печальным для него последствиям.

Например, такую организацию можно принудительно выселить из занимаемого здания, если оно находится в жилом квартале или, скажем, близко к средней школе. Можно заблокировать любую сделку о приобретении недвижимости, исходя из «общественных интересов». «Преступным организациям» запрещено выдавать банковские

кредиты на льготных условиях, они становятся объектом регулярных пристрастных проверок со стороны налоговой службы. За членами банд устанавливается легальный полицейский надзор. Наконец, если «преступную организацию» уличат в нарушениях уголовного кодекса, полицейские власти имеют право немедленно издать приказ о ее роспуске с замораживанием банковских вкладов, если у ее боевиков будет обнаружено огнестрельное оружие.

Но самое главное в том, что официально установленным бандитам категорически запрещено заниматься 11 видами деятельности: собирать плату за «охрану» и выделение «телохранителей», выступать в роли подрядчика или посредника, давать деньги в долг под проценты, собирать пожертвования любого рода и т. д. Все это полностью покрывает понятие вымогательства, устрашения или рэкета. Закон детально расписывает то, что нельзя, поскольку, как признаются полицейские, именно нечеткость прежних уложений давала уголовникам возможность вторгаться в жизнь простых граждан.

Короче говоря, ясно одно: новые меры призваны максимально пресечь вторжение организованной преступности в жизнь обычных граждан, загнать якудза в своего рода юридическую резервацию и постепенно свести на нет их влияние.

Наступление полиции было хорошо подготовлено, и результаты, в сущности, налицо. За два года существования «Ботайхо» неутомимо работающие комиссии провозгласили «преступными организациями» уже сотни банд якудза, которые охватывают 70 процентов воров в законе. Более 600 гангстерских группировок официально распущены. Экономический режим и сокращение доходов делают свое дело: за время действия нового закона официальная численность якудза сократилась на 11 тысяч человек за счет «завязавших» — подлинных и мнимых. Кстати, нынешние уложения специально карают уголовников за попытки помешать своим собратьям порвать с преступной жизнью.

В настоящее время, по данным полиции, в стране насчитывается чуть меньше 53 тысяч профессиональных преступников. Для сравнения можно сообщить, что в 1963 году, в период японского экономического чуда и всеобщего расцвета, в стране было около 180 тысяч воров в законе. Иными словами, успехи властей заметны невооруженным глазом, несмотря на то что им, естественно, помогает совершенно немыслимая в других странах законопослушность местных уголовников.

К примеру, сразу же после принятия «Ботайхо» многие потенциальные «преступные организации» направили официальные письма в полицию с обещанием вести себя хорошо и полностью соблюдать все новые правила. Десятки банд сложили свои пистолеты и винтовки в вокзальные камеры хранения, отправив ключи от них властям с припиской-обязательством никогда больше не стрелять, «раз это теперь нельзя».

Да и сражаются за свои права японские преступники зачастую только с помощью адвокатов, а вовсе не путем подкладывания бомб в прокурорские автомобили, как это делают их «коллеги» в Италии или России. Контролирующее более четверти гангстеров в Японии крупнейшее объединение якудза «Ямагути-гуми», например, ведет сейчас крупномасштабный судебный процесс, доказывая вредность «Ботайхо», который, по их мнению, нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом и право граждан на свободные ассоциации, а также дискриминирует людей с судимостями. Такие же иски возбудили еще три солидных объединения профессиональных уголовников. Однако японское судопроизводство — дело тонкое и длительное, рассмотрение иных дел занимает здесь долгие годы, а жить, как говорится, надо при любых обстоятельствах даже ворам в законе.

ИГРАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ ЯКУДЗА

Как мне рассказывали местные журналисты, сразу же после принятия «Ботайхо» банды якудза провели переговоры о пересмотре условий со своими привычными клиентами, десятилетиями платившими им деньги за «охрану». Кстати, говорят, подобному вымогательству подвергаются здесь практически все залы игровых автоматов, пользующиеся в Японии колоссальной популярностью, многие питейные точки и заведения с девицами. Однако после принятия «Ботайхо» все большее количество предпринимателей отказывается платить эту дань, чисто по-японски ссылаясь на нежелание нарушать закон. Выходы из такого положения находятся самые невообразимые.

Например, рассказывали мне журналисты из газетных отделов уголовной хроники, главарь одной банды, официально признанной «преступной организацией», после долгих переговоров вместо регулярной мзды за «охрану» получил от владельца опекаемого им игорного заведения право на владение одним из игральных автоматов, запрограммированным на частые выигрыши. Он просиживает за ним по семь-восемь часов в день, зарабатывая почти миллион иен в месяц (более 9 тыс. долларов). В сущности, это даже больше, чем выходило раньше, однако новая форма соглашения практически приковала гангстерского босса к игровому залу, лишив возможности искать другую наживу. В результате его банда практически парализована, а все ее попытки найти какие-либо новые формы бизнеса пока кончаются неудачей.

Однако, конечно, не все так печально: крупные организации типа Ямагути-гуми сей-

час достаточно успешно передислоцируют своих боевиков в легальные частные компании, заблаговременно созданные якудза для прикрытия кадров и отмывания денег, что в какой-то мере похоже на лихорадочную перекачку в коммерческие структуры средств КПСС в конце 80-х годов. Поговаривают, кстати, что большая часть из 11 тысяч уголовников, «завязавших» после принятия «Ботайхо», на самом деле просто сменили «крышу», оставаясь под контролем боссов мафии.

Полицию, естественно, волнует этот процесс, однако она полагает, что нажим на традиционные «легальные банды» в конечном итоге приведет к их ослаблению и лишит созданные гангстерами частные компании координирующего центра и источника финансирования. В результате они либо разорятся, либо постепенно втянутся в сферу деятельности нормального бизнеса. Используя все возможности «Ботайхо», японские власти усиленно выбивают якудза из сумеречной зоны вымогательства, «посредничества», «охраны и покровительства», стремясь завести их в сферу чистой уголовщины.

В конце прошлого года в префектуре Сайтама к северу от Токио состоялась конференция паханов основных объединений якудза, признанных властями «преступными организациями». На встрече было решено по возможности уклоняться от торговли наркотиками, чтобы не навлечь на себя еще больший удар полиции. «Однако,— приводит газета «Майнити» слова одного из главарей якудза,— в наше время одни лишь наркотики дают стабильный доход, и отказаться от них невозможно».

По официальным данным, ежегодный доход всех якудза в конце 1980-х годов составлял около 1,3 триллиона иен (около 12,3 млрд. долларов), из которых 35% приходилось на торговлю галлюциногенами, а 17% — на поступления от игорного бизнеса. Остальное давал рэкет, «посредничество» и операции на грани уголовного кодекса. Сейчас власти отсекают эти доходы, резко ограничивая деятельность якудза в сфере азартных игр. В результате гангстерам остается либо ждать экономической смерти, либо бросить все силы на операции, которые безусловно запрещены законом.

Расчет властей здесь прост, но рискован: именно в зоне прямого действия уголовного кодекса они рассчитывают отловить и уничтожить наиболее активные элементы преступного мира, одновременно лишив их подпитки через полулегальный бизнес и жестко пресекая приток в банды свежих сил. Кстати, вербовка молодежи в «преступные организации» категорически запрещена все тем же «Ботайхо». Власти делают ставку на просвеченность существующих организаций якудза, которые за десятилетия вольготного существования потеряли бдительность, отвыкли от конспирации и теперь фактически нашпигованы осведомителями.

Однако многие эксперты уже сейчас предсказывают, что «Ботайхо» вряд ли приведет к уничтожению организованной преступности, хотя и способен ее основательно ослабить. Действие нового закона уже вызвало резкое укрупнение организаций якудза. Мелкие банды в условиях нехватки кислорода расстаются с самостоятельностью и волей-неволей вливаются в огромные синдикаты типа уже упоминавшейся Ямагутигуми. Ну а такие гиганты практически непотопляемы, поскольку они обладают достаточной финансовой мощью, связями в правящих кругах и разветвленной сетью подставных компаний, контролировать которые через «Ботайхо» невозможно.

СМЕРТЬ ДИРЕКТОРА «ФУДЗИ ФИЛМ»

Ясно и другое: японская полиция недооценила возможности по формированию в стране нового, глубоко законспирированного преступного подполья, которое не боится нарушать Уголовный кодекс, идет на прямую конфронтацию с властями, отличается жестокостью и дерзостью. В сущности, это уже не традиционные якудза, а преступники российского или американского типа.

О своем появлении они заявили во всеуслышание, убив одного из самых высокопоставленных бизнесменов Японии Дзюнтаро Судзуки, управляющего директора гигантской корпорации «Фудзи филм» — всемирно известного производителя видео- и фотопленки. Он был зарублен самурайским мечом на пороге собственного дома в конце февраля этого года с особой жестокостью: бизнесмену сломали руку и разрубили обе ноги, прежде чем раскроить ему череп ударом клинка.

Судзуки в своей фирме отвечал за меры по пресечению рэкета и, как говорят, справлялся со своими обязанностями довольно успешно, особенно после принятия «Ботайхо». Он был убит после того как в очередной раз «послал куда подальше» явившихся к нему вымогателей, угрожавших сорвать очередное общее собрание акционеров «Фудзи филм», если им не выплатят приличную сумму денег. Расправа с крупным менеджером должна была показать всей Японии: уголовный мир вовсе не напуган, у него есть силы, и ему лучше не противостоять.

Кстати, в процессе расследования власти признались, что история с Судзуки — вовсе не единичный инцидент. С 1989 года, оказывается, было зафиксировано 15 нападений на ведущих сотрудников крупных компаний или членов их семей — от избиений до удара бритвой по лицу. Однако жестокость этих налетов резко повысилась с принятием «Ботайхо». В августе 1993 года вымогателями был убит вице-президент банка «Ханва», но тогда полиция и родственники скрыли,

что он пал жертвой якудза, чтобы не привлекать к семье внимание прессы. Характерно, что раньше в Японии вымогатели никогда не шли на «мокрые дела», а классические якудза, по традиции, вообще избегают убивать людей вне своего круга.

С другой стороны, вызванный «Ботайхо» паралич традиционных преступных организаций уже привел к выходу на уголовную арену массы любителей, стремящихся поправить свои дела с помощью грабежа или воровства,— особенно в связи с нынешней полосой самого затяжного застоя в японской экономике за весь послевоенный период. Дня не проходит, чтобы местные информационные агентства не сообщили об удачной или сорвавшейся попытке ограбления какого-нибудь супермаркета или закусочной, а то и небольшого банковского отделения. Как правило, на такие отчаянные налеты пускаются дилетанты с кухонными ножами, однако некоторые из них в случае удачи, бесспорно, переходят в разряд бандитов-профи.

Раньше такую самодеятельность во многом пресекали традиционные якудза, которые не терпели вторжения наглых новичков на свою территорию. Теперь же уголовный бизнес в какой-то степени оказался открытым для всех, и последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Впрочем, японская полиция убеждена, что у нее хватит сил, чтобы справиться с преступностью. К тому же власти и не думают полностью отказываться от теории «своего маленького домашнего бандита». Традиционные синдикаты якудза не уничтожают, их просто плотнее обкладывают флажками. Что же касается простых японцев, то, к счастью, большинство из них по-прежнему существует вне сферы действия уголовников и до сих пор спокойно гуляет по ночам и не имеет понятия о необходимости снабжать свои двери крепкими замками. В ходе недавнего опроса общественного мнения жителей страны 70 процентов сообщили, что ни разу в жизни не сталкивались с якудза и даже плохо представляют, как они выглядят.

Мне, кстати, «повезло» больше. Некоторое время назад я пытался договориться об аренде квартиры с хозяином одного из доходных домов в Токио. Переговоры шли вполне успешно, однако внезапно меня уведомили, что сделка не состоится. На мои удивленные расспросы хозяин потихоньку сообщил, что некий квартирующий у него «господин бандит» не хочет жить рядом с российским журналистом, поскольку не любит русских и вообще иностранцев. Что поделаешь — якудза по-прежнему считаются солидными членами японского общества, несмотря на все происки «Ботайхо».

Токио

Возвращаясь к напечатанному

С. ФАЙБИСОВИЧ

ВЫЗОВ

Постмодернизм — наш современник, и поэтому очертания его в нашем восприятии размыты, а слова для последнего определения пока не найдены. Публикуя литературный гид «Постмодернизм: подобия и соблазны реальности», мы рассчитывали на читательский резонанс — и отклики последовали. Уверены: различие в подходах, несостыкованность мнений, несовпадение углов зрения придают нашему взгляду на это многозначное явление бо́льший объем.

Любая идеология убедительна, в этом ее коренное свойство, только изнутри. Если удается каким-то образом дистанцироваться, выйти из ее заколдованного круга, взглянуть со стороны, убедительные тезисы начинают выворачиваться не менее убедительными антитезами. Нам ли, пожившим внутри одной из самых убедительных идеологий, не знать, как это бывает. Но попытки перелицевания не дают обнадеживающего результата. Выясняется, что одной версии нельзя противопоставить другую, правильную, построенную от противного. Противостоять ей, коли возникает потребность, можно только личностно, полагаясь на бог знает откуда взявшиеся внутренние ориентиры, как-то: совесть, интуицию, стыд, здравый смысл, чувство юмора, а то и веру, если повезет.

* * *

Постмодернизм обладает особенными пространственными качествами, он обитает одновременно везде и нигде: любая апологетика утверждает, что везде, а любая критика оказывается не по адресу. Такая всеобъемлемость в сочетании с абсолютной неуязвимостью настраивает на трансцендентный лад, космос ведь тоже везде, а пальцем не ткнешь. Но если исходить из того, что постмодернизм хоть в какой-то мере посюсторонняя данность, обладающая параметрами не вовсе универсальными, как-то локализованными и потому как-то уловимыми, можно все же попытаться их нащупать.

Материалы «Литературного гида» также, на первый взгляд, призваны укрепить нас в ощущении вездесущности постмодерна, взять хотя бы тандем статей В. Халипова и А. Якимовича. Первая посвящена утверждению постмодернизма как «светлого, аполлоновского» искусства, по всем правилам известной теории колебания маятника истории культуры противопоставленного «темному, дионисийскому» авангардизму (или модернизму, как величает его автор), а вторая, напротив, посвящена основательному доказательству авангардистской природы постмодерна и приводит автора к выводам, что «культура авангардизма на западе научилась тому, что стало впоследствии прерогативой постмодерна» или «...авангардизм и постмодернизм принадлежат вдвоем к одной и той же большой стадиальной общности».

Можно, конечно, упрекнуть Якимовича в ряде подтасовок. Одна из них призвана принизить значение созидательной составляющей авангардизма, присущую ему тенденцию «нового упорядочения», выраженную не только в конструктивизме и абстракционизме, но и в кубизме, футуризме, функционализме, опущен обновленческий, социальный пафос Баухауса, Мондриана и Корбюзье, Малевича и Хлебникова, Мейерхольда и многих других, и, таким образом, как бы разобран пламенный мотор авангардизма, раскрутивший тоталитарные силы, оказавшиеся достаточными для практического установления «новых порядков». В другом случае автор в качестве «кредо новой культуры России» противопоставляет западному постмодернистскому «не верю» здешнее «верю» не вполне актуальных в сегодняшней культурной ситуации Шестова, Малевича и Венедикта Ерофеева, игнорируя вполне актуальное и еще какое «не верю» Пригова, Сорокина, Виктора Ерофеева и многих других, да хотя бы уважаемого мэтра Кабакова, как бы старательно ни клеил ему Якимович «надежду и свет».

Следя за добросовестными экстраполяциями Халипова, можно все же усомниться в корректности полученных результатов: будучи выраженным поборником «аполлоновского» искусства и обитая в реальной куль-

турной ситуации, испытываешь на своей шкуре чувствительные прикосновения какого-то другого постмодернизма. С другой стороны, трудно не согласиться с автором, относящим к характерным чертам постмодернизма «...переосмысление, многоуровневую организацию, прием игры, построение произведения из элементов культуры прошлого», к его особенностям: «рациональность, аналитичность».

Также трудно не согласиться с Якимовичем, что «искусство устраиваться в адских провалах и зияниях с неким как бы комфортом, нормальный деловой подход к дьявольщине» — это тоже постмодернизм. Настораживает только, что, рассуждая вроде бы об одном и том же предмете, авторы получают диаметрально противоположные результаты: у одного он «светлый, упорядоченный, гармоничный», у другого «с готовностью погружаться в безумное неразличение смыслов (жизнь и смерть, добро и зло)».

Также в контрастном во многих отношениях соответствии находятся статьи отцов постмодерна Ж.-Ф. Лиотара и Ж. Бодрийара, с одной стороны, и роман Джулиана Барнса — с другой. Надолго задумаешься, к какой части человечества отнести писателя: к той, постмодернистской, что «принимает вызов сложности», или к остальной, принимающей «тот древний и грозный вызов, что связан с выживанием рода человеческого». Задумаешься и о том, не является ли эта дилемма несколько надуманной. Во всяком случае, возникает ощущение, что нас морочат, что речь идет о каких-то разных постмодернизмах. Если исходить из Лиотара, Бодрийара и примкнувшего к ним Деррида, то так и должно быть — реальности не существует, а симулякров не счесть. Но если исходить из собственного ощущения, восстающего против этого морока, возникает желание разобраться. Версию трансцендентной природы постмодерна мы уже оставили в покое, хотя, быть может, поторопились, что-то гуманоидное в некоторых его носителях, безусловно, есть. Но это уже область теософии, где что ни скажешь без специальной подготовки, выйдет глупо и неприлично. Вернемся на землю.

Является ли постмодернизм настолько фикцией, что позволяет так с собой обращаться, или речь в разных случаях идет все же о разных детях, получивших лишь одинаковое имя, то есть о недоразумении? Думаю, ни то ни другое. Скорее, это похоже на достаточно близких родственников, находящихся в не совсем душевных, не вполне близких отношениях. Попытки оконтурить постмодернизм как с эстетического, так и с этического ракурсов дают раздвоенное изображение, где достоверность каждого члена пары вызывает меньше сомнений, чем сходство между ними.

Один эстетический ракурс обнаруживает преимущественно наследственную связь со стилем «модерн» и псевдостилем конца прошлого и начала нынешнего века. Его отличительные черты: затейливые стилевые комбинации и наслоения, цитатность, переосмысление исторических традиций и канонов, ирония, игровое начало, виртуозное владение формой, ремеслом, материалами. Как и в начале века, этот ракурс лучше всего проявлен в архитектуре, прикладных искусствах, литературе, театре, дизайне, моде.

Другой эстетический ракурс наследует главным образом левому, авангардному искусству. Его наследственные и специфические черты: отказ от традиционных эстетических критериев, каких-либо правил эстетического поведения, пренебрежение к качеству во всех его традиционных смыслах. Проблема профпригодности вообще выносится за рамки обсуждения, а сам процесс обсуждения, взаимоувязка текстов и контекстов и прочая языковая работа возводятся на престол, на вершину новой ценностной иерархии, становясь главным эстетическим предметом. Для такого рода деятельности, изначально ориентированной на результат, связанный в первую очередь с суждением профессионалов-оценщиков, характерен рациональный, рецептурный подход, прецедентное мышление, затрудненность для эмоционального, а также для любого непосредственного, внеконтекстуального восприятия, активное освоение технологических, пространственных и иных новых возможностей для искусства. В этом направлении лидируют различные элитарные искусства — та же литература. Подборка иллюстраций к номеру вполне показательна в этом отношении.

Этическая двойственность постмодерна обозначена той же дилеммой Лиотара, предполагающей деление человечества на две группы, принимающие различные вызовы. Будь такое противопоставление вполне корректным, постмодернизм рекрутировал бы только представителей первой группы, но он оказался привлекателен своими новыми возможностями для многих творческих личностей синтетического склада, способных принять оба вызова сразу.

Обозначим (в некотором приближении, огрубленно) два этических ракурса постмодерна: эволюционный, позитивистский, примерно соответствующий первому эстетическому, и революционный, негативистский, соответствующий надэстетическому. Апологетом первого представим Барнса:

— Мы должны в это верить, иначе мы пропадем, нас поглотит обманчивая относительность, мы не сможем предпочесть слова одного лжеца словам другого, спасуем перед загадкой всего сущего... Но мы все-таки должны верить в любовь, как верим в свободную волю и объективную истину.

Апологетами второго — отцов-основателей.

— Не существует позитивной ориентации, которая могла бы открыть перед нами какую-то новую перспективу. (Это Лиотар.)

— Соблазнение... триумфально пользуется слабостью, превращает ее в игру, правила которой само и задает. (Это Бодрийар.)

Эволюционистский постмодерн ведет партию способствования, споспешествования и не нуждается в «какой-то новой перспективе», его удовлетворяет наличная, он ее видит. Эволюцию устраивает естественный порядок, революцию — только свой. Эволюция может признавать или нет власть трансцендентных сил, но никогда сама не стремится к ней, революция признает только свою, демиургическую власть и всегда стремится к ее захвату, как к самоцели. Соответственно, имеют место два типа отношений к культуре, да и вообще к подлунному миру — пиететное или спокойное, с одной стороны, и пренебрежительное или ревнивое — с другой.

В сферах искусства, обслуживающих по

преимуществу культурные потребности общества, в том числе связанные с формированием среды обитания человека, возможности «крутого» постмодерна ограничены рядом обстоятельств, теми же законами рынка. Здесь существуют литература, театр, кино, владеющие постмодернистскими дискурсами, играющие в его игры, пробующие все на зуб, но не перекусывающие, не отказывающиеся вовсе от эстетических и этических постулатов того вечного разговора, который всегда был и пока еще есть искусство. Но в сфере идеологического обеспечения, в пространствах элитарного искусства, отчасти в кино и литературе, крутой постмодерн берет свое, тут стоит хруст костей: в луже крови, лимфы, спермы и мочи он заканчивает выяснение отношений с тем, что прежде называлось искусством, а также со всем прочим, что может дать человеку надежду, опору и утешение.

Теперь, немного поработав над классификацией, попробуем пустить все же несколько стрел в неуязвимый постмодерн, в его главную (в соответствии с внутренней иерархией), надэстетическую, внеэтическую, тотальную ипостась. Дмитрий Александрович Пригов, правда, отметает все возможные нападки как ретроградные по своей сути. Для апологетов тотального постмодерна вообще характерен знакомый нам по истории партии большевиков стиль: измышлять претензии оппонентов «под удобную руку», а затем с легкостью этой рукой их отбрасывать. В приведенных статьях основоположников и комментариях этот прием используется не раз. Так, например, постмодернистской свободе противопоставляется религия, а не вера; сложности — простота, а не ясность, то есть идет борьба не с актуальными альтернативами, а с теми, что победить ничего не стоит, даже и не надо вовсе побеждать.

Ключевым постулатом тотального постмодернизма является отказ реальности в праве на существование, ее дезавуирование, симулякрирование, то есть погружение в сонм бесчисленного множества «алиби» для знаков и знаковых систем. Такая отмена является, в сущности, тотальной культурной революцией, поскольку вышибает Создателя из ситуации, как пьяного бузящего матроса из портовой таверны. Воспринимая эту акцию как тот самый «грозный вызов, что связан с выживанием рода человеческого», попробуем его принять.

* * *

Синдром Аполлона и синдром Диониса существуют только во взаимосвязи. Отклонение от нормы, вызов ей, прорыв за ее рамки невозможны, когда норма упразднена. Пространство утерянной нормы или отвергнутой нормы — это пространство не карнавала, а хаоса, пространство диктатуры свободы. «Истинный» постмодернизм потому и противопоставляет свою сложность воле к выживанию, что в его специфической сложности заложен императив отказа от выбора, от позиции, от любой координатности, от чувствительности, заложена воля к хаосу и самоуничтожению. Такого рода освобождение создает энергетическое поле, атрофирующее волю к выживанию, действует как вирус СПИДа, разрушая иммунную систему цивилизации, ее способность отличать свое от чужого и бороться за свое с чужим.

Хорошо, кого-то тянет в бездну, но ведь не всех, кого-то не тянет. Почему именно последние, недостаточно продвинутые к краю, должны чувствовать себя на этом основании ретроградами, ущербными и виноватыми перед первыми и только потому давать им карт-бланш тащить за собой других?

* * *

Постмодерн сказал свое веское слово в развитии революционной теории и тактики. В прежние времена сначала объявляли наличную реальность не имеющей права на существование, требовали замены ее на другую, идеальную, а затем, под столь благовидным предлогом, брались за ее разрушение. Постмодерн объявил реальность несуществующей априори и де-факто, не могущей существовать в принципе, ни в каком осязаемом, достоверном виде, следовательно, не надо разрушать и, соответственно, созидать, не за что отвечать ни в том ни в другом разе, то есть в принципе невозможна никакая ответственность: нет преступления, нет и наказания — все лишь игра, и нет ничего, ее кроме. Он насаждает мультипликационное сознание, ощущение, что все понарошку, и что бы ни сделал Джерри с Томом, а Том с Джерри, через секунду можно будет начать все сначала — это и есть лиотаровские «стрелки на нуле».

Французским революционным террористам-шестидесятникам не удалось столкнуть, как они надеялись, мир в пропасть посредством терактов, и они пошли другим путем, объявив его уже летящим туда, то есть невесомым, эфемерным и обреченным независимо от чьих бы то ни было усилий любой направленности.

Постмодернизм продолжает традицию перманентного коллективного бросания вызова буржуазному миру и в этом наследует авангардизму, коммунизму, фашизму и терроризму (бомбометание — лишь одна из форм бросания). Как война — продолжение политики другими средствами, так постмодернизм — продолжение другими средствами революции. Поэт и эссеист А. Сопровский, по-моему, очень правильно говорил, что Маркс был по сути гениальным демиургом-разрушителем. Он просто хотел все взорвать, а на языке политэкономии изъяснялся как на расхожем языке своего времени, чтобы быть лучше понятым, то есть для него политэкономия была дискурсом бомбометания. Сегодня можно сказать, что игровой и предельно свободный от всего язык постмодерна — дискурс грядущего бомбометания, например, для лидера ЛДПРПЖ.

Бодрийар указывает на сферу соблазна как на единственную, в которую можно выйти из постмодернистского пространства симуляции, вот отпрыск юриста и выходит: из пространства симуляции в сферу соблазна, а оттуда в зону провокации — продолжатель дела...

Предвижу возражения, суть которых в том, что никакое направление в искусстве не должно отвечать за последствия своей культурной деятельности, что экстраполяция художественных установок в политику и жизнь некорректны.

Не стану оправдываться, пеняя авангардизму, что тоталитаризм победил в самых

«авангардированных» странах, не стану ссылаться на специфическое российское взаимопроникновение искусства и жизни — поди разбери, где одно переходит в другое (к этому вопросу мы еще вернемся), приведу лишь две цитаты и предоставлю читателю судить о степени выраженных в них постмодерновых амбиций и претензий и их направленности. Это выдержки из статьи 1990 г. членов знаменитой группы «Медгерменевтика» С. Ануфриева и П. Пепперштейна, опубликованной в журнале «Место печати», № 3 за 1993 г.:

«ПМ (постмодернизм.— *Ред.*) обрывается в точке реализации своих метафор, когда стилистические фантомы становятся политическими и экономическими институтами. Такое «осуществление» «постмодернизма» произошло за последние годы в СССР, где соцреализм (то есть социалистическая сверхреальность) перешел в состояние соцарта (то есть «социалистическое нереализуемое»), то есть, иначе говоря, реализовался в качестве конца, краха, исчерпанности и распада. (...)

Один из наиболее странных порывов «нового» был осуществлен фашизмом... Будучи «пиком модернизма», наиболее радикальным его осуществлением, фашизм не мог в силу маниакальной последовательности и верности собственной программе эволюционировать в постмодерное состояние. Он был задавлен модернистами, перерождающимися в постмодернистов, за то, что оказался не способен к перерождению... Он отказался от культурных возможностей шизофрении и поплатился за это, погибнув героической смертью среди монументов своей тотальной паранойи».

* * *

Постмодернизм дает установку на восприятие мира, а это, как ни крути, идеология. Когда Бодрийар заявляет, что войны в Персидском заливе не было (вслед за ним юные московские последователи радостно сообщили, что Октябрьской революции тоже не было), он формулирует кредо нового ценностного пространства, в котором старые иерархии растворяются без остатка. Разговор об этике постмодернизма как о способе бытования в пространстве, самая большая ценность которого — отсутствие всяких ценностей, представляется вполне уместным.

Как показывает наружное наблюдение, истинный постмодернист все же обладает некоторым запасом положительности, но вынужден тратить ее на бытовые нужды. Правила поведения требуют безусловного отказа от положительности в процессе творческого функционирования; ведь этическая чистота постмодерниста определяется тем, насколько он освобожден от всего изнутри, вычищен, выскоблен, как матка после аборта.

Поэт А. Цветков в одном из интервью заметил, что постмодерн объявляет игру, отменив всякие правила, тем самым сводя дистанцию между великим и смешным с одного шага до нуля, делая легкодостижимым для всякого желающего статус победителя: достаточно с максимальным напором объявлять каждый свой ход удачным, удар точным, а улучив момент, нацепить лавровый венок.

Этот отказ от риска, от вероятности проигрыша стал возможен благодаря работе и роли апологетической критики постмодерна. По существу, она выполняет функции страховой компании, дающей определенные гарантии, но требующей за них определенную и немалую цену. В пластической зоне искусства критика, в том числе и в форме кураторства, фактически правит бал.

Дистанция между художественной практикой и критикой в свободном обществе, их относительная автономность призваны были служить гарантом объективности и корректности последней при традиционном приоритете художника как главного персонажа культурной ситуации. Постмодернизм перевернул ее с ног на голову. Критик обжил роль куратора — идеолога, наставника, организатора имиджа как самого художника, так и его творчества, как в процессе, так и в стадии презентации, стал Главным Гением и с большим комфортом выступает в роли оценщика собственных усилий. Внутреннее оплодотворение, как мы знаем, дает результат, близкий к ста процентам, то есть искушение объявить себя победителем в этой ситуации становится почти непреодолимым. Художник зачастую уходит на второй план, становясь в сознании критика-куратора инструментом Истинного Творчества, добавляя к ощущению славы и успеха ощущение власти. В наших условиях зависимость художника от воли, благорасположения нового демиурга создает симбиоз, чем-то напоминающий нравы провинциального обкома, круговую поруку власти, не без интриг и подсиживаний, с оглядкой на метрополию, но с сознанием общих целей.

Самодостаточность такого альянса нашла убедительное выражение в прецеденте «каталожного искусства», предназначенного как бы исключительно для услаждения жреческого круга участников процесса, полностью устраняющего непосвященного, то есть зрителя, из процесса потребления — искусство уже и не для искусства, а лично для товарищей искусствоведоделов (ну и для покупателей — им эта демонстрация могущества призвана внушить почтение и уверенность, что предлагается стоящий товар).

Такого рода соития порой доводят участников до глубокого экстаза и исторгают из их уст трогательные откровения. Так, третий видный медгерменевтик Ю. Лейдерман заявил с экрана телевизора, что все искусство было лишь предысторией настоящего искусства, которое только теперь и начинается. То же самое, но несколько раньше и в несколько иных обстоятельствах возвещал гений международной тусовки Африка [1]. Ну что ж, простодушие не грех, особенно в искусстве, нарциссизм здесь вещь и вовсе обыкновенная. Даже приятно, что крутой постмодерн, вопреки собственным заверениям, не вовсе чужд созидательного пафоса.

Демонстрация голого короля — это демонстрация власти с одновременной проверкой ее на абсолютность. Постмодернизму такие акции, как правило, удаются: мальчики с указующими пальчиками что-то поперевелись. Чего стоило хотя бы обнаружение «новой искренности» в пространстве, куда старую и к порогу не пустили и долго тщательнейшим образом следили, чтобы ею нигде не пахло, как и вообще любыми проявлениями

[1] С. Бугаев (Африка) — рок-музыкант, снискавший известность после участия в фильме С. Соловьева «Асса».

чувства, любой попыткой высказывания от имени собственного, не вовсе симулированного «Я». Хотя, может быть, «новая» это совсем не то, что старая, ничего даже общего с ней не имеет? Как новое искусство Лейдермана и Африки? Тогда нет проблем. Тогда не за горами очередные открытия: новой сентиментальности, новой наивности, новой добродушности...

Бесстыдство правоверного постмодернизма питается не только упоением властью и заветами отцов-основателей, но и как раз отсутствием чувствительности, апологеты рекрутируются не в последнюю очередь и по этому признаку или добиваются необходимых кондиций тренажем. В молодости встречи с абсолютно бесстыжими, бессовестными, «непробиваемыми» людьми были большой редкостью, поражали, как встреча с диковинными зверем в зоопарке; в нынешнем культурном постмодернистски ориентированном пространстве они, ну, не сказать, чтоб доминируют, но, скажем так, сконцентрированы. Партийная постмодернистская апологетика, воркующая на эфемерном эсперанто, принципиально недоступном пониманию непосвященных (часто недоступном пониманию самих авторов), но пользующаяся при этом хорошо отработанными и вполне осязаемыми приемами борьбы за чистоту культурного пространства от всего чуждого,— один из примеров специфической постмодернистской свободы от внутренних ориентиров.

* * *

Еще несколько лет назад приходилось постоянно слышать и иногда читать, что постмодернизм пришел всерьез и надолго, что ему присуща способность к самонастройке, что он обречен на долгое и продуктивное саморазвитие и, в отличие от всех предшествовавших «измов», есть не стиль и не направление, а венец культурного развития человечества, его единственный в своем роде сверхэтап.

Важно отметить, что этот упоминаемый В. Халиповым «постмодернистский герметизм» со своей системой аргументации а-ля коммунизм идет рука об руку с легендой о том, что постмодернизм давно умер. Или вот только что преставился, или при смерти.

— Да, что-то такое было в 70-е, ну, немножко в 80-е, а теперь нет, почил, о чем вы говорите?

— Как почил, а это что, и это, и вот это?

— Ну, это так, вообще, остаточные явления, рябь по воде.

— А что же теперь?

— А ничего.

— А что же будет?

— Да непонятно, ждем.

— А почему тогда все говорят и пишут только о нем: хоронят, воскрешают, объявляют бессмертным, снова хоронят, говорят его языком, стирают его именем и с его позиций в порошок все остальное?

— А о чем еще говорить, тем более писать? Да, он умер, но дело его живет.

Вполне логичное с точки зрения постмодернизма бытование: если нет ничего реального, достоверного, то его собственная достоверность также должна вызывать большие сомнения, он не может сильно отставать по части призрачности и зыбкости от созданного его силовым полем миража. Этакое присутствие с отсутствующим видом. И потом, ведь о мертвом (тем более умирающем) — либо хорошо, либо никак.

* * *

Нельзя не коснуться разницы между способами бытования тотального постмодерна у них и у нас. Эта разница определяется и более высокой степенью структурированности западного социума, и главным образом исторически сложившимися принципиальными различиями в характере взаимодействия искусства и жизни.

На Западе та самая объективная, нормативная реальность, которую так усердно и сладострастно дезавуирует постмодерн, всегда существовала и существует. С начала века искусство там только тем и занимается, что бросает ей вызовы — скучной, буржуазной, размеренной, самодостаточной, устроенной жизни большинства своих граждан. Естественным результатом таких отношений стала ненависть консерватора-обывателя к продвинутому искусству, которое все время что-то в него бросает, третирует и провоцирует его. Таким образом, существует зона принципиально внеартистического существования, сопротивляющаяся поползновениям левого искусства.

С другой стороны, западный художник, строя свои отношения с реальностью на провокативной основе, все-таки имеет в виду, что она никуда не денется. Ему нужна норма, чтобы преодолевать ее, пренебрегать ею, дразнить ее, возноситься над ней и поносить ее. То есть в известной степени можно говорить о конвенции, предопределяющей игровой, симуляционный характер таких отношений.

У нас и творцы, и потребители находятся и друг с другом, и с искусством в очень серьезных и принципиально иных отношениях — и те и другие свято верят в его возможность воздействовать на жизнь, преображать и менять ее, и потому наше искусство таки имеет опыт другого рода — перманентной победы над жизнью, опыт принуждения реальности к существованию по своим законам. У нас и сегодня, как было давно заведено, идеи, овладевающие массами, становятся материальной силой. Страна почти век прожила в пространстве победившего тотального авангардизма, а теперь ей бросает вызов другая левая тотальная идеология, и она не воспринимает этот вызов как игру, симуляцию, соблазн или провокацию, она относится к нему деловито: менять авангардное параноидальное пространство простых решений и навязчивых идей на постмодернистское шизоидное пространство без решений, но с бесконечным множеством взаимоисключающих идей или ну его. У нас именно широкие народные массы, люмпен-обыватели, живут в уже давно симулированной реальности, и воля к выживанию, ко внеартистическому существованию у них, как показывает жизнь, атрофирована. Ощущение постсоветским человеком окружающей действительности гораздо ближе к Лиотаро-Бодрийаро-Дерридовому, чем к буржуазно-обывательскому. Поэтому функция, интенция и значение постмодернизма в нашей культурно-жизненной ситуации иные.

Если исходить из традиционного положения художника (в широком смысле) по отношению к жизни, из западной модели противостояния и вызова, здешний творец должен был бы занимать позицию тамошнего буржуазного обывателя, то есть стоять в своем творчестве на здравом смысле, называть вещи своими именами, настаивать на вечных ценностях, на жизни с открытыми глазами, на координатности и гармонии и т. д., то есть быть апологетом «аполлоновского» искусства, но традиционная провинциальность нашего культурного сознания игнорирует такую возможность самобытного развития, выбирает путь следования в фарватере искусства культурной метрополии. Разумеется, как и положено в таких случаях, старается быть святее папы римского.

Поскольку искусство у нас ничем, ни конституционально, ни в головах граждан, не отделено ни от политики (взять хотя бы список депутатов Думы), ни от жизни, в последнее время наблюдается выраженная диффузия постмодернизма в нашу реальность, иначе говоря, все брошенные им вызовы шмякаются прямо в толпу ошалевших обывателей. Послушайте их, поговорите с ними — сколько людей, столько реальностей: симулякр на симулякре сидит и симулякром погоняет, и над бесчисленными миражами висит свинцовое облако эсхатологических предчувствий. В известном смысле мы живем в пространстве побеждающего постмодерна, обвыкаем в нем, готовимся к полету в бездну. Политические шуты — лишь концентрированное выражение этого состояния и его провокаторы: посредством иллюзии новых простых решений они помогают адептам старых простых решений адаптироваться в пространстве без решений и без выбора — в иллюзорном пространстве постмодернистской свободы.

Потому мы и живем в самом опасном месте для жизни, не только своей, но и вообще для жизни на земле. Нам бы найти точку опоры, с четверенек бы встать, нам бы что-нибудь человеческое сообразить, на что-нибудь решиться, да кругом если не коммуно-патриотические вой и заклинания, так обязательно постмодернистское ерничанье или высокомерное наплевательство: голоса, зовущие ответить на «грозные вызовы», слышны слабо.

Соответствующая жизненной ситуация в искусстве как в капле воды отражается в телесюжетах, посвященных искусству, и особенно в разделах искусств периодических изданий: либо стёб без конца и без края, либо духовность, тоже разливанная.

* * *

Постмодернизм проделал огромную культурную работу по снятию шор, глушителей, фильтров и прочих ограничителей, препятствовавших свободному творческому выражению, дал ему новые импульсы, новые методологии, новые огромные возможности. Он, безусловно, освободил искусство, но все же какую свободу он ему дал — свободу выбора или свободу от выбора?

Здесь, по этому «или», и проходит водораздел между двумя постмодернами. Разумеется, такой водораздел давно существует в искусстве, в разных его временных и пространственных срезах. Просто постмодерн поставил «бестенденциозность», то есть «глубокое — решительно ко всему — равнодушие» [1] и цинизм во главу угла, оснастил новой идеологией, языком и инструментарием, сделал достоянием широких творческих масс.

Возможно ли для постмодерна слегка умерить амбиции, немножко недовылезти из бутылки, не до победного конца дезавуировать реальность, или он не мыслит себя иначе как рекрутирующим нового человека для осуществления окончательного пираньизма?

Ответ будет зависеть от того, насколько художник (опять же в широком, включающем всякое культурное функционирование смысле) окажется готов и способен демонтироваться изнутри, упразднить в себе оппозицию добра и зла, преступления и наказания, правды и лжи, любви и ненависти и прочие пережитки допостмодернистского, пиететного не только к собственному творчеству и партийной идеологии существования, то есть в какой степени Бодрийару с Лиотаром, Африке с Лейдерманом, Тупицыну с Тупицыной [2] удастся убедить человечество в том, что все его культурное прошлое было лишь присказкой и не в счет, а сказка только теперь и начинается, то есть в какой степени убедительным и победительным окажется пафос неуважения — презрительное искусство.

Судя по публикациям в первом номере «ИЛ», да и по другим наблюдениям, альтернативный постмодерн все же существует. В подборке он представлен романом Джулиана Барнса. Есть еще поэзия Льва Рубинштейна и Тимура Кибирова 80-х. Есть «бумажная архитектура» и инсталляции Александра Бродского и Ильи Уткина, живопись Эрика Булатова, серии и проекты Ивана Чуйкова, пластика Бориса Орлова и многое другое, я говорю просто о том, что хорошо знаю, что мне ближе.

Мне импонирует эскиз будущего постмодернизма, набросанный В. Халиповым: переход от темного начала к светлому, слияние постмодернизма и реализма в некое единое целое, усиление в нем «классико-реалистических» тенденций — объективности, гармоничности, пропорциональности. «Станет ли постмодернизм,— вопрошает Халипов,— воплощением того равновесия, взаимодополнения, гармонического сочетания «темного» и «светлого» начал, которое, по мысли Ф. Ницше, было бы идеальным?»

Нет, конечно, не станет. Идеал тем и хорош, что недостижим. Но почему бы не стремиться к нему, ведь в этом и есть наша перманентная перспектива. Мы в этом стремлении не первые и, хочется верить, не последние.

---

[1] Из воспоминаний З. Гиппиус о В. Брюсове.

[2] Маргарита и Виктор Тупицыны — американские художественные критики — наиболее авторитетные в Америке специалисты по современному русскому искусству.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

7 ½ ЗАМЕЧАНИЙ О РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА

1. БАРНС — ЭТО КЛАСС

Напомню, что рецензируемый роман Джулиана Барнса называется «История мира в 10 ½ главах». Подвох тут чувствуется сразу: и дело не только в том, что это вовсе не роман, но и в том, что глав в нем *не* десять с половиной. (А сколько? Двенадцать с половиной, если считать седьмую главу за три? Девять с половиной, если не считать последнюю за главу вовсе? И вообще, почему автор остановился на какой-то цифре? Почему вообще остановился? Можно было продолжать и дальше, и пусть трагедия нескончаемо переходит в фарс, жуки-древоточцы подтачивают сюжетную связность, а битум, который используют для производства черной краски и смоления днищ, скрепляет все воедино.)

Наверное, у книги просто неправильное название. Автор с его псевдополиглотскими штудиями наверняка предчувствовал и русский перевод и, следовательно, те возможности, которые открываются для расшифровки тайного имени его творения. В предложенном отечественному читателю названии это имя тонко зашифровано: книга Барнса, конечно же, должна называться «Десять с половиной мировых историй».

«Мировых» в разговорном, полузабытом смысле — оценочном. Говоря современнее — «классных».

2. МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И БАЙКОЙ

«Истории» — удачное слово для определения того, что пишет Барнс. «Текст», конечно, точнее, но вместе с тем тавтологичнее. «Постмодернистский текст» и того круче: будто бы «постмодернистичность» (postmodernity) является свойством текста, а не его восприятия. Да покажите мне такой текст, который, будучи помещен между Лиотаром и Халиповым, не покажется постмодернистским!

То, что требуется от романа или сборника рассказов, необязательно для историй. Истории не должны быть ни новыми, ни тем более глубокими — зато они должны быть интересными и занимательными. Такими, чтобы их было приятно рассказать и забавно слушать.

Впрочем, в слове «история» все же есть какой-то оттенок преднамеренности: истории рассказывают, не только чтобы развлечь, но и чтобы научить, объяснить или убедить. История, рассказанная без задней мысли, превращается в байку, и, возможно, это слово точнее описывает то, что делает Барнс [1].

Впрочем, байка во многом антипсихологична, она обычно делает упор на события и слова, тогда как история зачастую интересуется психологией персонажа не меньше, чем его поступками.

Психология — палка о двух концах, и от того, у какого конца захочет стать читатель, зависит, как он расценит рассказываемое, поскольку та эстетика, которой пользуется автор «10 ½ глав», не позволяет различить психологию и ее стилизацию.

Вот вторая глава, «Гости», рассказ о телевизионщике и специалисте по сравнительному анализу культур Франклине Хьюзе, пошедшем на сотрудничество с террористами для спасения своей подруги. Душевные движения нового Ноя выписаны столь подробно, что трудно не заподозрить подвоха: перед нами не психологическая зарисовка, а тонкая стилизация «экзистенциального рассказа» — пограничная ситуация, свобода, выбор, ответственность, абсурд. От того, насколько читатель захочет разглядеть «сделанность» вещи, зависит — расценит он ее как байку или как историю.

3. ПОЛ И ЛИНДА, ДЖОН И ЙОКО

Почему все-таки только десять с половиной глав, а не, скажем, тысяча и одна глава? Ведь какие возможности открывались перед автором, сколь много кораблей еще бороздило поверхность и глубины вод! Если уж Барнс не брезгует пересказом старых сюжетов, то почему, упоминая Иону, он обходит молчанием то великое множество китов, описанных Мелвиллом в эпиграфах, примечаниях и отступлениях? Почему, рассказывая об одиссее корабля еврейских беженцев, не упоминает «Корабль дураков», книгу К. А. Портер и фильм С. Крамера — а заодно и поэму Брандта? Со снобистским

---

[1] Феноменальный успех книг Довлатова служит еще одним доказательством, что в последние годы в России культура байки подменила традиционную советскую культуру анекдота. Анекдот опрокидывает традиционные семантические оппозиции, байка игнорирует их. Анекдот весь устремлен к ударной концовке, байка прежде всего демонстрирует определенный способ эстетизации жизни.

презрением отвергает все четыре вечных сюжета, увиденных слепым классиком, притом, что два из них напрямую связаны с морем, а один еще и воспет другим классиком, соотечественником незадачливого Франклина Хьюза? [1] С небрежностью, недопустимой для человека 80-х, обходит молчанием милые сердцу каждого образы массовой культуры — почему, ну почему не упоминает о том, что Дональд Дак служил на флоте?!

Впрочем, один реверанс в сторону движущихся и рисованных картинок Барнс все же сделал: вспомни, внимательный читатель, как звали двух кошек, спасенных уцелевшей героиней четвертой истории, и еще раз посмотри на заголовок настоящей главки. Да-да, это, по-моему, субмарина. Причем желтая.

Кстати, почему забыт подводный корабль капитана Немо, и если уж мы два предложения назад процитировали «Нового Жюля Верна», то и осьминог Ося, внутренности которого были столь детально описаны его тезкой? Нет, видимо, Барнс все-таки не читает по-русски (а английский перевод появился слишком поздно) — он бы как пить дать оценил изобретательность давнего поклонника Одена [2].

Иначе говоря, как положено писать в рецензиях, «обсуждаемая книга не свободна от недостатков». Например, она недостаточно энциклопедична. Впрочем, полного сборника баек в природе и быть не может: хорошо рассказанная байка неизбежно порождает несколько новых.

4. МЕЖДУ ПОСТМОДЕРНИЗМОМ И ПОУ-МОУ

Еще Джон Барт говорил, что удел постмодерниста — рассказывать истории и травить байки (впрочем, он не употреблял не только слова «байка», но и слова «постмодернизм») [3]. Спустя два десятилетия Барнс прилежно выполняет его завет.

Еще раз отметим: байка — идеальный жанр бытового постмодернизма. Она не навязчива, не моралистична и — цитирую — «основана на новом понимании соотношения между индивидуальным и типовым, неповторимым и всеобщим» [4]. (Говоря об отечественных авторах — байку лихо постмодернизирует Кривулин в «Шмоне», Пелевин в «Синем фонаре», Кибиров в «Сортирах»!)

К сожалению одних и радости других, различных подходов к постмодернизму столь много, что десяти с половиной глав явно не хватает, чтобы отразить их все. Тем не менее нам успевают продемонстрировать «деантропоцентрализацию», «деконструкцию бинарных оппозиций», «понятие энтропии на бытовом уровне» и т. д., и т. п. И это не говоря об экологии и феминизме, активно к постмодернизму привязываемых.

Разумеется, и отношение к истории, которое демонстрирует автор, и способ нелинейного повествования, организуемого за счет мотивных перекличек между главами, тоже традиционно постмодернистичны. Достаточно вспомнить, что когда автору «Истории мира...» было всего шестнадцать, вышел в свет первый роман Томаса Пинчона «V.», в котором история предстала заговором без цели и организатора, неким параноидальным коллажем в пяти с половиной главах. Можно упомянуть также «Хазарский словарь» М. Павича и другие книги.

Когда постмодернистский прием становится слишком узнаваемым, то он превращается в поп-постмодернизм, постмодернизм для масс, в то, что молодые американцы называют «Поу-Моу» («Ро-Мо»). Хотя *насколько* превращается — зависит от каждого отдельно взятого читателя.

5. С ГОРНИХ ВЫСОТ — НА ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

И не пытайтесь нас уверить в том, что темы для глав выбраны Барнсом случайно,— как бы не так! Все самые модные вопросы перечислены через запятую: терроризм, ядер-

---

[1] В разных рассказах Борхес приводит разный перечень этих сюжетов; в самом известном из них — «Четыре цикла» — он говорит о четырех вечных сюжетах: «о городе, который штурмуют и обороняют герои», «о возвращении», «о поиске» и «о самоубийстве Бога». Второй и третий — классические истории о путешествиях; первая из них и использована Джойсом.

[2] Столь любимому Барнсом «1 января 1939 года» Бродский посвятил специальное эссе, а в своей маленькой поэме «Новый Жюль Верн» превратил историю «Наутилуса», принимаемого за гигантского спрута, в историю осьминога, принимаемого за подлодку. Тем самым только подразумеваемый в «20000 лье...» сюжет об Ионе, проглоченном китом, еще больше актуализируется. Выписываю процитированное место, отсылая интересующихся к «Вестнику РХД», сборнику «Урания» и многочисленным отечественным перепечаткам:

> «Ирина!» «Я слушаю». «Взгляника сюда, Ирина». «Я же сплю». «Все равно. Посмотри-ка, что это там?» «Да где?» «В иллюминаторе». «Это... это, по-моему, субмарина». «Но оно извивается!» «Ну и что из того? В воде все извивается». «Ирина!» «Куда ты тащишь меня?! Я раздета!» «Да ты только взгляни!» «О Боже, не напирай! Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это... Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!..»

[3] В 1966 году Барт писал: «Теперь я возвращаюсь к Сервантесу, Филдингу, Стерну и «1001 ночи», к искусственному обрамлению и повествованиям, связанным друг с другом. Мне интересны повествовательные приемы; меня интересует то, что можно делать с языком». («Героическая комедия». «Newsweek», 1966, Aug.)

[4] А. Зверев. Послесловие к рецензируемому роману.

ная угроза, неравноправие полов, женщина и природа, искусство и действительность, вера и наука... Почему-то отсутствует тема ответственности ученых за свои исследования — она, вероятно, оставлена на съедение крайтоновско-спилберговским динозаврам.

Зато обойдены молчанием все «вечные» вопросы, напрашивающиеся при одном только воспоминании о всемирном потопе, уничтожении Ниневии и прочих массовых акциях. Конечно, проблема дискриминации трансвеститов, заставляющая восьмидесятилетнего Бизли скрывать «правду» [1] о своем спасении с «Титаника», куда как важнее вопросов теодицеи, Афин и Иерусалима, божественной справедливости и т. д. О последних, как известно, в приличном обществе не принято говорить уже лет двадцать.

Впрочем, при желании кое-что можно обнаружить в глубине — сколь бы двусмысленно ни звучало это слово применительно к книге, толкующей про потопы и кораблекрушения. Так, возможно, в восьмой главе пародически слиты в один несколько увенчанных лаврами фильмов: «Миссия» Ролана Жоффе (иезуиты, индейцы, Амазонка) и «Агирре, гнев Божий» Вернера Херцога (Амазонка, индейцы, плоты). Деспотизм Херцога, загнавшего всю съемочную группу в дебри Амазонки, и его конфликты с игравшим главную роль Клаусом Кински давно уже стали одной из легенд современного кино.

Но к чему я это? Ах да, «гнев Божий», скрытая аллюзия на ту же Ниневию и тот же Потоп.

И если эта интерпретация не смела и не произвольна, то похороните меня на склоне горы Арарат.

Интермедия
(С горных вершин — на зияющие высоты)

Дело не в том, что история повторяется дважды, и второй раз — как фарс; и уж вовсе не в том, что она рыгает съеденным два столетия назад сандвичем с луком; просто, как сказал Александр Зиновьев, фарс, повторенный многократно, — это и есть трагедия.

Когда он говорил «многократно» — он имел в виду «много больше, чем десять с половиной раз».

6. ЧТО ДВИЖЕТ СОЛНЦЕ И СВЕТИЛА?

Однако жанр байки тем и хорош, что снимает как несущественные все описанные выше оппозиции, превращая негативную оценку в свою противоположность.

Легкость восприятия — одна из характернейших черт байки: перекрестные ссылки подчеркнуты, аллюзии опознаваемы.

Цитаты ловятся с лету. Байка держится не на идеях, а на изящности и тематике — поэтому ей противопоказана речь от «всамделишного» первого лица, которую мы слышим в «Интермедии» или истории Ионы, где претензия Барнса на новизну несколько раздражает своей неоправданностью.

Но в большинстве случаев отсутствие претензии и новизны становится тем самым битумом, который скрепляет рассказываемые истории воедино: вот мы все собрались на кухне (или где они там собираются, в своей Англии?) и стали травить друг другу байки, которые — в силу политической корректности и общего круга чтения — сопрягаются не столько заявленными мотивами потопа, ковчега, горы и т. д., сколько общим культурным фоном, на котором рассказ о суде над жуком-древоточцем неизбежно вызывает байку про экологически чистую душой Кэт Феррис, слишком любившую северных оленей.

Каждый расскажет что может и как может: один — просторечиво и красноречиво (вот и задана тема!), другой — сдержанно и напряженно, третий — скрупулезно и специально (такие-то дела и разбирают в Раю юристы), четвертый — впрочем, скорее, четвертая — предменструально и сентиментально (и очень трогательно: имена всех людей я вспоминал по тексту, а кошек запомнил сразу)...

Каждый — как может. Конечно, байки приятнее слушать, чем занудное эссе, на некоторое жалко даже полновесной единицы — пусть себе стоит, как половинка дома, которой словно не существует на самом деле. У того, кто его построил, не выдержали нервы — и он стал говорить нам о любви, что, как пытается нас уверить через пару десятков страниц А. Якимович, скорее «русская болезнь», чем западный синдром. То есть читатель оказывается в очередной раз обманут: сохранив весь инструментарий постмодернистского романа и нападая на историю с деконструктивистским пафосом автономного человека, Барнс взамен подсовывает «любовь и правду». Как говорится, клин клином. Точнее, хрен редьки.

Если он может произносить «любовь и правду» абсолютно серьезно, то остается ему позавидовать и удивиться, как он умудрился написать остальные десять глав. Та ситуация постмодернизма, в которой «нам выпало жить» [2], не позволяет нам употреблять подобных слов без кавычек: не случайно для своего хрестоматийного примера Эко выбрал именно объяснение в любви [3].

---

[1] Все-таки никак не могу в рецензии на ПМ-роман писать это слово без кавычек.

[2] Редакционная врезка к «Литературному гиду».

[3] «Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы — прерогатива Лиала. Однако выход есть. Он должен сказать: «По выражению Лиала — люблю тебя безумно». («Заметки на полях «Имени розы», «ИЛ», 1988, № 10).

Барнсовская «Интермедия» превращает здоровый постмодерн всего романа в какой-то «постмодернизм с человеческим лицом», который рядом с Бодрийаром и Лиотаром смотрится столь же беззащитно и нежизнеспособно, как Дубчек на фоне брежневского танка.

Впрочем, для многих его беззащитность и нежизнеспособность оборачивается успокаивающей безобидностью. Так что, расходясь по домам, мы чувствуем, что мы все — свои ребята, нас когда-то волновали одни и те же проблемы, мы не прочь их обсудить и сейчас, мы все еще читаем книжки и можем легко процитировать хрестоматийного Одена, вечер удался, и жизнь прожита не зря.

7. ПРОБУЖДЕНИЕ

И все-таки — зачем Барнсу понадобилась десятая глава, в которой нет ни горы, ни ковчега, ни воды? Мне кажется, именно в ней следует искать ответ на вопрос, почему автор вдруг остановился, когда можно было насочинять еще столько баек.

Эстетика, выбранная автором, помещает читателя в подобие описанного им Рая: неприятности не портят удовольствий, а ужасы — не пугают. И — ради Бога — никаких «вечных вопросов», религиозных терзаний и неразрешимых моральных дилемм. Но хотя каждый день, проведенный в этом Раю, почти совершенен, чем дольше в нем находишься, тем сильнее ощущение неудовлетворенности и скуки. Десяти тысячелетий вполне достаточно. Еще пятьсот лет будут излишними.

Но, с другой стороны, мы же хотим именно этого. Лично я, сколько бы ни бранился на Барнса, ничего другого и читать не буду.

Так что — приятного отдыха. Мы по горло сыты настоящими страданиями и всамделишным ужасом. Мы хотим отдохнуть в приятной компании, чувствуя легкое интеллектуальное напряжение и необременительную обеспокоенность глобальными проблемами. И — слава Богу — нам предлагают не суррогат, а настоящее райское наслаждение. Заряжает энергией на целый день. Барнс — это класс.

■

ДЖОН АПДАЙК

Бразилия

John Updike. Brazil. «Knopf»

В очередном романе Джон Апдайк сменил привычные для его читателей метафизические пустыни и джунгли американской семейной жизни на вполне реальные — действие разворачивается в загадочной Бразилии. Главные герои, девятнадцатилетний Тристан и восемнадцатилетняя Изабел, напоминают не только влюбленную пару из старинной легенды, но и таких шекспировских персонажей, как Отелло и Дездемона или Ромео и Джульетта.

Темнокожий бедняк Тристан впервые встречает белую красавицу Изабел на знаменитом пляже Рио-де-Жанейро, Копакабане, и сразу влюбляется в нее. Изабел отвечает взаимностью, хотя для нее, дочери богатого дипломата, сын полунищей-полупроститутки, мелкий вор, да еще с другим цветом кожи — совсем неподходящая партия. Тем не менее эти две судьбы соединяются, и Тристан в знак помолвки дарит избраннице кольцо — разумеется, ворованное. Изабел начинает потихоньку таскать из дома фамильные вещи, а когда отец и дядя грозят разлучить ее с черным босяком, Тристан и Изабел бегут в Сан-Паулу. Там их ловят, но после двух лет разлуки они вновь бегут, уже на запад страны, где в глухих джунглях таинственный шаман меняет им обоим цвет кожи на противоположный. Вернувшись в новом обличье в город, герои все же теряют друг друга, ибо расовые и классовые различия берут верх.

А. С. БАЙАТТ

На фоне Матисса

A. S. Bayatt. The Matisse Stories. «Chatto and Windus»

Летописец викторианской эпохи Антония Байатт неожиданно вернулась в современность. Но все три сюжета сборника касаются и прошлого, ибо связаны с творчеством Анри Матисса. Герои рассказов зажаты в тисках психологических проблем. Сюзанна из рассказа «Лодыжки Медузы» страшится увядания; она ищет поддержки у своего парикмахера. Его отеческий тон, красноречие, а также репродукция Матисса действуют на клиентку успокаивающе. Однако от новой прически она приходит в бешенство — и напрасно: муж очарован преобразившейся женой.

Другой истории («Произведение искусства») предпослан анализ картины Матисса «Тишина в обитаемых домах». Затем читатель попадает в особняк некоего художника, терзаемого муками творчества. Заправляет в доме экономка, в прошлом художница-авангардистка. Удел Дебби, хозяйки,— выполнять материнский долг и издавать журнал, преклоняясь перед гением супруга. Драма ее жизни — моральное рабство.

Действие последнего рассказа («Омар по-китайски») происходит в китайском ресторане. Общественная деятельница — глава союза студенток — и именитый искусствовед обсуждают за трапезой щекотливый вопрос: последний обвинен в сексуальном преследовании студенткой, страдающей нервными расстройствами. Бесплодность беседы подчеркивает витрина ресторана, где агонизируют омар и два рака.

ТАХАР БЕН ДЖЕЛЛУН

Стойкий человек

Tahar Ben Jelloun. L'homme rompu. «Seuil»

По распоряжению индонезийских властей известный писатель Прамудья Ананта Тур лишен права покидать Джакарту и публиковать свои книги. Свое уважение и солидарность с собратом по перу марокканец Тахар Бен Джеллун выразил, как и подобает литератору, языком искусства. «Стойкий человек» — это роман о трагическом единоборстве порядочного человека с коррумпированным обществом.

Такой личностью выступает в романе марокканский инженер Мурад. Занимая высокий административный пост, Мурад упорно — почти двадцать лет — сопротивляется попыткам вовлечь его в махинации. Сослуживцы-чиновники презирают его за эту непонятную им честность, а жена изводит за нежелание жить, как все, за отказ от легкой наживы, которую в их нищей стране считают просто компенсацией за грошовое жалованье. Враждебность женщины, на которой он в молодости женился по любви, тем горше, что деньги нужны, кроме всего прочего, для лечения их дочери. Мурад ведет изнурительную борьбу: на чашах весов — отцовские чувства и человеческая совесть.

Обрести новые душевные силы герой надеется с другой женщиной, но очень скоро понимает, что и та не вынесет безденежья. Между тем ржавчина механизма коррупции подтачивает его железную волю. Он обречен либо стать его винтиком, либо сломаться. Третьего как будто не дано, однако в конце романа автор находит иное решение для сдающего позиции бунтаря-одиночки.

МАРГЕРИТ ДЮРАС

Сочинительство

Margerite Duras. Ecrire. «NRF/Gallimard»

С высоты своих 80 лет Маргерит Дюрас размышляет о таинстве рождения произведений в сборнике из пяти эссе. Их основу составляют тексты к трем короткометражным фильмам. Свою новую книгу писательница посвящает памяти английского летчика, очерк о котором открывает сборник.

Двадцатилетний У. Клифф был сбит около нормандской деревушки Вовиль в мае 1944 года. Эта печальная история вызывает у М. Дюрас целый поток чувств: восхищение героизмом, ненависть к фашизму, скорбь обо всех рано ушедших, в том числе и о родном брате. Воспоминания переносят ее в родной дом. Там она некогда почувствовала себя настоящей писательницей, пережила счастливые минуты сотворения мира своих книг.

Новинка Гонкуровского лауреата сразу привлекла внимание читателей: в первые же три дня во Франции было раскуплено около 40000 экземпляров. Возможно, создавался сборник не менее стремительно: по признанию сочинительницы, ей вообще неведомы муки творчества, ей всегда пишется, если есть о чем.

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА

Литума в Андах

Mario Vargas Llosa. Lituma en los Andes. «Planeta»

После пятилетнего молчания Льоса-романист вновь обратился к теме современного терроризма и доколумбова варварства в Перу, которой посвятил одно из своих предыдущих произведений («История Алехандро Майта»). На сей раз вместо бандита Майта действует целая организация — «Сендеро луминосо», а главный герой — инспектор Литума — перекочевал из книги «Кто убил Паломино Молеро?». Сюжет нового романа вырос из очерка автора «Кровь и грязь Учураккай» об убийстве в 1983 году восьми журналистов в Андах и статьи «История одного убийства». За эту книгу М. Варгас Льоса был удостоен премии «Планета».

В горном районе Наккос таинственным образом исчезают три человека. В результате расследования Литума устанавливает, что преступление совершили не террористы, как он полагал, а местные жители. Собственно это не просто убийство, а жертвоприношение, дабы задобрить горных духов и уберечься от стихийных и экономических бедствий и тех же террористов. Злодеяния последних составляют вторую сюжетную линию. Чтобы рассеять мрачную картину событий, автор перемежает повествование веселыми рассказами о любовных похождениях помощника Литумы.

Жизнелюб Томас и правдоискатель Литума имеют в романе антиподов в лице хозяина таверны и его жены-колдуньи. Эта чета — символический тандем варварства и чудовищной жестокости местных обычаев, несущих смерть и страдания.

РОЗА РЕГАС

Лазурь

Rosa Regás. Azul. «Destino»

В 1994 году обладательницей престижной испанской премии «Надаль» стала шестидесятилетняя Роза Регас. «Лазурь» — ее второй роман; первый — «Лазурные вазы Вирхинии» — появился почти сорок лет назад и прошел незамеченным.

Главный герой книги — море. Именно в море, на яхте «Альбатрос», разворачиваются основные события, перемещаясь вместе с ней то в Барселону, то в Нью-Йорк, то на крошечный греческий островок Мейисти близ южного побережья Турции. (Там в 1990 году Роза Регас начала писать этот роман.) Персонажей в книге немного: это владелец судна Леонардус, его очередная подруга, его штурман Том, юноша Мартин и «дочь моря» Андреа. В ее облике угадываются черты Афродиты и Афины. В поисках иной доли эта женщина (как в свое время и автор) оставляет мужа и детей. Она отдает свою любовь сначала Мартину, который намного моложе ее, а затем киномагнату Леонардусу, для которого сама слишком молода. По сути, действие в романе сводится к череде вспышек непредсказуемых страстей; хронология событий расплывчата и охватывает как прошлое, так и будущее персонажей.

ФЭЙ УЭЛДОН

Страдание

Fay Weldon. Affliction. «Harper Collins»

Женские судьбы неизменно находятся в центре внимания английской писательницы Фэй Уэлдон (переводы ее повести «Поларис» и рассказа «Лишний! или Месть жены» см. «ИЛ», 1988, № 5 и 1993, № 3). Главная героиня Аннет работает редактором и заканчивает свой первый многообещающий роман. Она беременна и полностью зависит от своего мужа Спайсера, причем нисколько не тяготится такой зависимостью. И в этом ее главная ошибка, ибо когда семейная жизнь со Спайсером дает одну трещину за другой, Аннет испытывает целый набор отрицательных эмоций: растерянность, страх, гнев, а в конце концов и депрессию. Хотя для обоих супругов этот брак — второй, предыдущий опыт их (особенно Аннет) ничему не научил.

Дабы избавиться от нервного расстройства и вернуть былое, супруги обращаются к медикам. Здесь Фэй Уэлдон дает волю едкой иронии: дипломированные и щеголяющие званиями психотерапевты, гипнотизеры, астрологи и прочие «доктора» и «целители» — прежде всего сами превосходные кандидаты в пациенты для тех «центров», где они «трудятся». Оккультно-медицинская болтовня разрушает остатки горемычного брака, хотя для Аннет все кончается не так уж плохо: у нее появляется новый мужчина. Однако в финале новая семейная жизнь складывается по старой схеме: вся власть находится у мужа.

■ Великобритания

НЕ «КОНЕЦ», НО «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»

Два года назад издательство «Уорнер букс», рискуя навлечь гнев поклонников Маргарет Митчелл, опубликовало продолжение ее романа «Унесенные ветром». Но затея удалась: книга «Скарлетт» Александры Рипли разошлась тиражом в 2,3 млн. экземпляров. В нынешнем году телевидение Великобритании решилось на демонстрацию телесериала, снятого по бестселлеру-продолжению рискуя, в свою очередь, разочаровать кинолюбителей: ведь Джоанн Уолли-Килмер и Тимоти Долтон — все же не Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Впрочем, сами исполнители не смущены: Джо-

Джейн Остин
(Журнал «Ньюсуик»)

А. Конан Дойл
(Журнал «Ньюсуик»)

анн уверена, что работа актера и состоит в собственной интерпретации роли, а Тимоти, сыгравшему Джеймса Бонда, к сравнениям вообще не привыкать. Эту работу смогут оценить те-

Дафна Дюморье
(Журнал «Ньюсуик»)

лезрители и США, Италии, Франции.

Триумф «Скарлетт» окрылил сторонников жанра «продолжение следует»: он переживает настоящий бум. Роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин получил два продолжения — у Эммы Теннант («Пемберли», издательство «Сент-Мартин пресс»), а также Габриэллы Донелли и Джулии Браун Кесслер («Предположение», издательство «Эванс»), подписавшихся псевдонимом Джулия Барретт. Продолжить цикл о Шерлоке Холмсе взялись сразу три автора: Никлас Мейер («Укротитель канарейки»), Сена Наслунд («Шерлок влюбился») и Марк Фрост («Список из семи пунктов»).

Эти новинки меркнут перед «Миссис де Уинтер» Сьюзен Хилл, посчитавшей, что история рода Уинтеров с гибелью Ребекки — героини одноименного романа Дафны Дюморье — далеко не исчерпана. Книга вышла уже на девятнадцати языках, причем первый тираж в «Морроу» составляет 200 000 экземпляров! Кстати, это издательство находит, что и к «Потерянному горизонту» Джеймса Хилтона есть что прибавить. Словом, издатели приучают авторов к финальному клише «продолжение следует» вместо традиционного «конец».

■ Ирландия

ПОМНИТЬ — ЗНАЧИТ ПРОСТИТЬ

Абсолютно реальный мир, о котором мог бы написать романист,— это, конечно же, автобиография. Мемуарная пора у каждого своя; член Ирландской академии Уильям Тревор вступил в нее в 66 лет. Впрочем, его «Встречи с непридуманным миром» (издательство «Кнопф») не подавляют академической солидностью: в очерках сборника, по воле авторской памяти, не строго следующей хронологии, поведано порой о самом будничном, о мелочах жизни.

Уильям Тревор Кокс родился в маленьком городке в графстве Корк. Небогатой протестантской семье в католической Ирландии жилось неуютно. Отец, банковский служащий, довольствовался и малым, но мать — первая женщина-клерк в Ольстерском банке — хотела слишком многого. Их супружеская дуэль с горьким исходом описана в очерке «Поле брани».

Понятие «земной рай» пришло к юному Уильяму, когда он впервые попал в город Корк. От вида роскошных отелей, ресторанов и туалетов захватывало дух. Затем, с переездом в Дублин, мальчик познал земной ад:

Уильям Тревор

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

им для братьев Тревор стал пансион, где «каждый мучил другого», а от школьных обедов выворачивало наизнанку. Но писатель вспоминает прошлое без обиды, а первых учительниц — с былым детским благоговением. Обо всех встречных, прохожих или попутчиках в своей жизни Уильям Тревор отзывается тепло, легко «отпуская грехи». Пусть фермер Генри О'Райлли считался первым лентяем в Ирландии — а по Уильяму, лучше его не найти: ведь он научил мальчика ставить ловушки на кроликов. Конечно, Марчант Смит был горьким пьяницей и дебоширом, но ведь он давал работу клерку-стажеру Уильяму и другим безработным, когда всюду отказывали. Да, бродяжка Саци в конце концов стала невыносима, но неприкаянная и в зрелом возрасте полуитальянка была чиста душою, а это свойство натуры писатель ценит особенно высоко.

■ Испания

КУЛИНАРНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ДОН КИХОТУ»

Во что был одет и как вообще выглядел герой бессмертного романа Сервантеса, представляют себе все, кто так или иначе прикоснулся к этому шедевру мировой классики. А вот чем питался знаменитый идальго и прочие персонажи? Исследованием этого любопытного вопроса обстоятельно занялся большой знаток как кулинарии, так и литературы Лоренсо Диас.

В результате его предыдущих гастрономических экскурсов появилась мини-серия из беллетризованных поваренных книг — таких, как «Кухня Марселя Пруста» и «Кухня мадам Мегрэ». Теперь к ним добавилась «Кухня Дон Кихота» (издательство «Комунидадес де Кастилья-Ла-Манча»). В ней автор подробно рассказывает о вкусах, обычаях и традиционных блюдах жителей области Ла-Манча, обращаясь за примерами к эпизодам романа.

На десерт «миссионер кулинарии» угостил читателей обширной, на ста с лишним страницах, подборкой рецептов, за что удостоился особой похвалы своего именитого соотечественника Мануэля Васкеса Монтальбана. В самом деле, каких только яств здесь нет! Старинное блюдо из яиц, кушанье из потрохов, знаменитое испанское гаспачо... На родине Дон Кихота его подают на тарелке-лепёшке, которую, естественно, тоже съедают. Все рецепты выверены по фундаментальным кулинарным трудам, среди которых «Кухня города Альбасете» Кармен Усильос. Словом, для гурманов, желающих потрапезничать а-ля Дон Кихот, его кухня широко распахнула свои двери.

■ Италия

КТО УДЕРЖИТ ГОРЯЧУЮ КАРТОФЕЛИНУ?

В списке бестселлеров по разделу нехудожественной прозы появилась книга с довольно необычным названием: «Ромео и Джульетта обручились втихаря» (издательство «Мондадори»). Впрочем, «нехудожественной» книгу можно считать лишь условно: она представляет собой сборник текстов, написанных итальянскими (точнее, н е а п о л и т а н с к и м и) школьниками,— нечто вроде антологии школьных сочинений на заданную тему.

Их собрал и подготовил к публикации Марчелло Д'Орта, бывший учитель из Неаполя. «Ромео и Джульетта обручились втихаря» — это очередная книга (и очередной бестселлер) из целой серии. Две предыдущие антологии имели поразительный успех в Италии (продано более миллиона экземпляров), были экранизированы и переведены в различных странах. Секрет успеха прост: именно дети прозорливо, оригинально и зачастую с юмором говорят и пишут о серьезных личных и социальных проблемах.

Вот и на сей раз школьники сосредоточили внимание на непростой теме. Как можно догадаться по названию книги, речь

Марчелло Д'Орта с фотографией своих соавторов, учеников из Неаполя

(Еженедельник «Стампа-Туттолибри»)

идет о любви и сексе. «Просвещение в вопросах пола,— это обжигающая руки картофелина, которой без конца перекидываются семья и школа»,— остроумно замечает Марчелло Д'Орта. В результате подрастающее поколение оказывается совершенно сбито с толку, о многом знает понаслышке либо вовсе не имеет представления. И это сейчас, когда считается, что подростки хорошо осведомлены благодаря фильмам, видео и прочим атрибутам современной жизни. Однако итальянский опыт доказывает, что даже самая изысканная, со вкусом сделанная откровенная эротика неравнозначна половому просвещению и одно здесь может лишь дополнять другое.

Так шутливая по сути книга высветила нешуточную проблему. Но Марчелло Д'Орта меньше всего стремится настаивать и поучать кого-либо: «Ведь мы, неаполитанцы,— южане, солнечное и чувственное племя, и юмор — наша стихия».

■ Канада

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ — ЛИСТУ ПЕЧАТНОМУ

В 1937 году в Канаде была учреждена премия Генерал-губернатора, которая сегодня является (наряду с Квебекской) высшей литературной наградой страны. Периодически сменяемое писательское жюри присуждает ее за лучшие произведения в области прозы (англо- и франкоязычной), поэзии, драматургии, а также документальной прозы.

В 1993 году премию за роман на французском языке получила сорокалетняя Нэнси Хьюстон. Уроженка Калгари уже более 20 лет живет во Франции и прекрасно владеет французским. Под руководством Ролана Барта она написала диссертацию, а на ее основе — трактат о ругательствах «Выразиться и выражаться». На ее счету добрая дюжина книг, а роман «Гольдберг-вариации» (1981) был отмечен парижской премией «Контрапункт». Нынешних почестей Нэнси Хьюстон удостоилась за свой четвертый роман «Песнь прерии». Его героиня Пола еще в детстве поклялась осуществить мечту своего деда, неудавшегося философа,— написать научных труд о Времени. Но вместо этого молодая женщина, углубившись в мысленную беседу с покойным, становится его невольным биографом.

Премию за роман на английском языке получила Кэрол Шилдз («Каменные дневники», см. предыдущий номер «ИЛ»). По разделу документальной прозы на английском языке лауреатом стала Карен Коннелли (путевые заметки-мемуары «Потрогай дракона»). Карен, как и ее землячка Н. Хьюстон, уехала во Францию. Затем жила в Испании, Греции и Таиланде. Последней из стран и посвящена книга-призер. В Таиланде в крестьянской общине Карен нашла приют и отдохновение. Она изучила их кулинарное искусство, их фольклор и язык с алфавитом из 80 букв. Первой книгой Карен был сборник стихов «Живущие во мне словечки», который принес ей премию Пэт Лоутер за 1990 год, присуждаемую канадским поэтессам.

■ Куба

ПОДВЕРГАЯ СОМНЕНИЮ ДОГМЫ

В 1980 году четверть миллиона кубинцев через порт Мариель эмигрировали в США, покинув страну, издевательски называвшуюся «островом Свободы». Среди них был и Диего — главный герой повести «Волк, лес и новый человек». Ее автор, кубинский писатель Сенель Пас, создал два варианта произведения: в традиционных подпольных литературных салонах Гаваны известен более смелый вариант, в то время как другой, обработанный цензорами, получил международную премию и был опубликован в официальной кубинской прессе. Повесть Сенеля Паса послужила литературной основой для сценария фильма «Земляника и шоколад», удостоенного специального приза на Берлинском кинофестивале 1994 года.

Герои повести и фильма представляют собой — в миниатюре — кубинское общество пятнадцатилетней давности (действие происходит за несколько месяцев до массового исхода через порт Мариель). Влюбленный в искусство фотограф Диего — гей, что вынуждает его в конце концов эмигрировать: социалистическая Куба, как известно,— одна из тех немногих стран, где практика преследования сексуальных меньшинств (вплоть до пыток и концлагерей) официально узаконена. Другие персонажи: активист-комсомолец Давид, полный предрассудков, но способный измениться к лучшему; его друг Мигель — студент, который жаждет упрятать за решетку Диего за его связи с посольствами; проститутка-спекулянтка, живущая за счет «черного рынка».

Актеры Владимир Крус и Хорхе Перугорриа в фильме «Земляника и шоколад»

Диего и Давид случайно знакомятся в кафе «Коппелия» — знаменитом месте встреч кубинских геев. Знаток ночной жизни Гаваны Сенель Пас использует особые символы. Так, Диего заказывает себе земляничный шербет (откуда и название фильма), а это, как и земляничное мороженое, означает: «Я — один из наших». Знакомство перерастает в дружбу; фотограф — без особого успеха — оказывает знаки внимания красивому Давиду; тот, в свою очередь, получает сверху задание: втереться в доверие к «антиобщественному элементу» и, как минимум, раскрыть контрреволюционную шпионскую сеть. Однако чем ближе Давид сходится с Диего, тем яснее убеждается в абсурдности войны против инакомыслящих и инаколюбящих. У Давида нет повода — а затем и желания — писать донос на своего нового друга, и человек в нем одерживает верх над стукачом.

Экранизацию осуществил шестидесятипятилетний кубинский режиссер Томас Гутьеррес Алеа, которому помогал Хуан Карлос Табио. Т. Г. Алеа — автор десяти полнометражных фильмов, многие из них удостоены престижных призов на кинофестивалях в Европе и США. По словам режиссера, моральный посыл его нового фильма — показать, как губительна для любого народа не-

терпимость, как опасны те, кто считает себя носителями единственно верной идеологии, морали или сексуальности. Т. Г. Алеа призывает зрителей «думать своей головой», подвергать сомнению догмы и чужие приказы. Лишь тогда на Кубу вернется нормальная человеческая жизнь, уверен режиссер.

Португалия

ЛУЧШЕЕ В ПОРТУГАЛИИ — ОНА САМА

Чести быть культурной столицей Европы 1994 года удостоен Лиссабон. Программа португальского сезона обширна и разнообразна: театральные и оперные спектакли, концерты симфонической музыки, художественные выставки, книжные ярмарки, кинопрограммы — в частности, премьера фильма «Рассказ о Лиссабоне» немецкого режиссера Вима Вендерса.

Чем же приглянулась европейскому жюри Португалия? Ведь среди ее литераторов, например, нет ни одного Нобелевского лауреата. Более того, кандидат прошлых лет Жозе Сарамаго покинул воспетый им Лиссабон и поселился на Канарских островах, после того как в апреле 1992 года власти запретили публикацию его последнего романа «Евангелие от Иисуса», в котором писатель-атеист создал лучший из образов Спасителя, увиденного глазами безбожника.

Возможно, разгадка состоит в том, что португальские творцы не завоеватели, а первооткрыватели. Еще в эпоху Возрождения португальская литература (прежде всего поэма «Лузиады» Луиса де Камоэнса) наряду с итальянской утвердила новый взгляд на человека и мир — точнее, определила место человека в жизни. В XVII веке Португалия открыла для себя красоту бразильских баллад «лундум» и взрастила новый фольклорный жанр — современные «фадо». В 1965 году Португальский союз писателей, невзирая на указующий перст салазаровской диктатуры, открыл ангольского автора Луандино Виейру, присудив ему главную премию в области прозы. Ныне Лиссабон стал центром развития португалоязычной литературы, у которой уже появились свои знаменитости: Миа Круто (Мозамбик), Пепетела и Мануэл Лима (Ангола), Жермано де Алмейда (Кабо-Верде).

Африканское национальное движение и португальская «революция гвоздик» 1974 года определяют преобладание в современной португальской романистике историко-биографического жанра (в котором успешно работают Лидия Жоржи и Марио Клаудио). Желание и необходимость переосмыслить историю возникли и у профессоров Лиссабонского университета: ведь до 1974 года современная история в вузах вообще не преподавалась, а события прошлых веков трактовались с позиций национализма. Уже вышли первые тома «Истории Португалии» под редакцией академика Жозе Маттосо.

Пока ученые мужи трудятся, «светлячки» каламбурят и потешаются над авторитетами — будь то поэты-корифеи Эужению де Андраде, Антонио Рамош Роза или прозаики Мигел Торга, Жозе Кардозо Пиреш, не тронули лишь Фернандо Пессоа. «Светлячки» — неформальное культурное движение, вариант европейского андерграунда; оно возникло лет шесть назад в противовес официозной, чиновничьей культуре. «Светлячки» прочно обосновались на радио и телевидении, заполонили газеты, добравшись даже до «Публико» и «Диарио де нотисиаш». Главный очаг их культуры — еженедельник «Индепенденте», вице-директор которого Мигел Эстевеш Кардозо придумал название этому явлению. В самом деле, в Португалии много культурных достопримечательностей, и первая из них — она сама.

Луис Камоэнс. Гравюра А. Паулуша

(Газета «Паис»)

США

КАК СИЛЬНОМУ ПОЛУ НЕ СТАТЬ СЛАБЫМ

Сильная половина человечества все серьезнее задумывается над тем, как уберечь свою мужскую закваску от посягательств феминизма и нового матриархата. В американской литературе вслед за Филипом Уайли и Джеймсом Тэрбером на ущемление мужчин обратил свой взгляд радиожурналист Гаррисон Киллор. В двадцати двух рассказах и очерках его сборника (который выпустили два издательства — американское «Вайкинг» и британское «Фабер») мужской разговор ведут разнообразные персонажи, начиная от мифологического Диониса и кончая Джорджем Бушем. Их можно объединить емким английским словом «гай», что в современном русском соответствует скорее расхожему «мужик», нежели пресловутому переводческому «парень». Заглавие сборника звучит, как «Книга притчей о мужиках».

В чем же суть мужской закваски? Она — в сохранившейся с детства тоске по свободе от приличий и бабьих занятий. В будущем мужике живет этакий маленький дикарь: он не хочет умываться, причесываться, надевать галстучек, дабы не

прослыть маменькиным сынком,— классический портрет Гека Финна. Мужская закваска — единственная собственность мужчины, и он вынужден держаться за нее даже в ущерб своим интересам и благополучию. Об этом — рассказ о футбольной суперзвезде Хербе Джонсоне. Во время матча он повредил ногу. Тренерша уговорила Херба продолжать играть, а за победный гол посулила осчастливить узами брака и неземным блаженством. Херб поразил ворота противника — и, сломав при этом поврежденную ногу, остался калекой. Обещанные узы супермен получил, но в придачу — неутихающую боль и славу толстяка-уродца. Такова расплата за торги с женщиной там, где ее монета не должна иметь хождения.

Впрочем, «Книга притчей о мужиках» не столько о ненависти к женщинам, сколько о сострадании к мужчинам. Но для читательниц, наверное, и этого достаточно, чтобы предпочесть ей другую литературу.

Рисунок Ж. Боргеша к сборнику притчей Э. Галеано

вестный уругвайский писатель, журналист и публицист Эдуардо Галеано. (Перевод его книги «Первые голоса» см. «ИЛ», 1992, № 8-9.) Иллюстрации к книге «Странствующие слова» выполнил бразильский художник Ж. Боргеш.

■ Уругвай

ЗАЧЕМ НУЖНА НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА?

...Она брезжит вдали, как линия горизонта. Приблизишься к ней на два шага — она на столько же отступит. Сделаешь десять шагов — и она убежит на десять. Сколько ни шагай к ней — никогда не дойдешь. Зачем же она, несбыточная мечта, нужна? А затем, чтобы человеку идти вперед.

...Крестили одного малыша в прибрежных волнах и напутствовали в жизнь так: подарили большую морскую раковину — чтобы научился любить море. Выпустили на его глазах птицу-пленницу из клетки — чтобы научился любить небо. Положили ему на одну ладошку цветок герани — чтобы научился любить землю. А на другую положили закупоренную бутылочку: никогда-никогда не открывай ее, малыш,— только так ты научишься любить неведомое.

Эти и другие притчи рассказывает в своем новом сборнике миниатюр «Странствующие слова» (издательство «XXI век») известный уругвайский писатель, журналист и публицист Эдуардо Галеано. (Перевод его книги «Первые голоса» см. «ИЛ», 1992, № 8-9.) Иллюстрации к книге «Странствующие слова» выполнил бразильский художник Ж. Боргеш.

■ Франция

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА АННЫ И МАРИНЫ

Ахматова и Цветаева. Две звезды русской поэзии, две ярчайшие личности. Их судьбы — источник неиссякаемого интереса исследователей, в частности французских. Подтверждение тому — новинки 1994 года.

«Роман о Марине» Доминик Дезанти (издательство «Бельфон») имеет подзаголовок «Документальный роман». В нем автор в хронологической последовательности свела воедино собственные интерпретации и биографические факты, художественно восстановила былое — разговоры, встречи, примирения, размолвки, душевные состояния поэта. Многочисленные цветаевские строфы украшают повествование, не утяжеляя и не разрывая его. Благодаря этому «Роман о Марине» привлекателен и для тех, кого его героиня интересует просто как человек.

Вероника Лосская — другая, весьма известная исследовательница творчества Марины Цветаевой — выбрала на сей раз вариант сравнительной биографии. У ее книги «Анна Ахматова и Марина Цветаева» (издательство «Ле кри») также есть подзаголовок — «Женская песнь». Хронологические ступеньки служат у В. Лосской лишь своеобразной лестницей Иакова, которая ведет читателя вслед за песнью и скорбью обеих героинь. Эта невыразимая скорбь — то немногое, что объединяет такие непохожие судьбы двух женщин, жизненные пути которых пересеклись всего однажды: 6—7 июня 1941 года в Москве. Песнь каждой звучала по-разному: Цветаевой — «для несчастных, попавших в бурю, которым помогала найти точку опоры». Меж тем Ахматова сама была «точкой опоры, воплощением человеческого представления о гармонии». Она создала универсальный поэтический образ, в котором собственное «я», перерастая в «я» лирической героини, становится «она», затем «мы» и, наконец, «все».

По материалам газет «Паис» (Испания), «Глоб энд мейл ов Кэнада» (Канада), еженедельников «Стампа-Туттолибри» (Италия), «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), «Кензен литтерер» (Франция), еженедельника «Ньюсуик» (США)

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

Т. КОРАГЕССАН БОЙЛ (T. CORAGHESSAN BOYLE) — американский писатель. Автор романов «Музыка вод» («Water Music», 1982), «Пробуждающиеся надежды» («Budding Prospects», 1984), «Конец мира» («World's End», 1987; премия имени Фолкнера, присуждаемая Пен-клубом), «Восток есть Восток» («East is East», 1990), «Дорога в Уэлвилл» («The Road to Wellville», 1993) и трех сборников рассказов. Перевод романа «Восток есть Восток» печатается по изданию New-York, Viking Penguin, 1990.

ЯН ТВАРДОВСКИЙ (JAN TWARDOWSKI; род. в 1916 г.) — польский поэт. Автор поэтических сборников «Возвращение Андерсена» («Powrót Andersena», 1937), «Знаки доверчивости» («Znaki ufności», 1970), «Небесные очки» («Niebieskie okulary», 1980), «Ты, сотворивший ягоды» («Który stwarzasz jagody», 1983), «Не горюй» («Nie martw się», 1992) и др.

ТОМАШ ГЛЮЗИНСКИЙ (TOMASZ GLUZINSKI; 1924—1986) — польский поэт. Автор сборников стихов «Стихи» («Wiersze», 1964), «Нить» («Wątek», 1968), «Возвратные сонеты» («Sonety zwrotne», 1972), «Под печатью» («Pod pieczęcia», 1974), «Ход событий» («Przebieg wydarzeń», 1977), «На жерновах мира» («W żarnach świata», 1986).
Публикуемые стихи взяты из антологии польской поэзии, подготовленной к печати московским издательством «Вахазар» (серия «Коллекция польской поэзии»).

ДЭВИД Э. КАПЛАН (DAVID E. KAPLAN) — американский журналист, работает в Центре расследований и информации.

АЛЕК ДАБРО (ALEC DUBRO) — сотрудник того же Центра и писатель-прозаик.
Д. Каплан и А. Дабро собрали самое большое в Соединенных Штатах досье на якудза. Книга «Якудза. Сенсационные записки о японском преступном мире» вышла в США в 1986 году. («YAKUZA. The Explosive Account of Japan's Criminal Underworld». New-York, Addison-Wesley Publishing Company.)

ФАЙБИСОВИЧ СЕМЕН НАТАНОВИЧ (род. в 1949 г.) — художник. Автор живописных циклов «Рейсовый автобус», «Праздничная демонстрация», «На вокзале», «Очередь за водкой» и др. Начиная с 1987 года — участник многих экспозиций за рубежом. Семь персональных выставок в Нью-Йорке, Чикаго, Кёльне и Москве. Многие работы находятся в известных музейных и частных коллекциях США и Западной Европы. С 1993 года выступает как публицист.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1966 г.) — переводчик с английского; автор работ, посвященных творчеству поэта Иосифа Бродского, Т. Пинчона и проблемам культуры. Статья «7½ замечаний о романе Джулиана Барнса» — его первая публикация в «ИЛ».

■ Переводчики:

БЕРНШТЕЙН ИННА МАКСИМОВНА — переводчик с английского. В ее переводах публиковались романы Г. Мелвилла «Моби Дик», Т. Мэлори «Смерть Артура», Дж. Гарднера «Осенний свет», И. Во «Возвращение в Брайдсхед», Айрис Мердок «Черный принц» («ИЛ», 1974, № 8—11; совместно с А. Поливановой), Тома Вулфа «Костры амбиций» («ИЛ», 1991, № 10), повесть Грэма Грина «Десятый» («ИЛ», 1986, № 12) и др.

МОТЫЛЕВ ЛЕОНИД ЮЛЬЕВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с английского. В его переводах напечатаны: романы Ф. Д. Джеймс «Неестественные причины» («ИЛ», 1992, № 11—12; совместно с И. М. Бернштейн и Г. Чхартишвили), П. Акройда «Завещание Оскара Уайльда» и (совместно с В. Вороним) «Письма О. Уайльда разных лет» («ИЛ», 1993, № 11), книга американского историка Дж. Стефана «Русские фашисты» (М., 1992), рассказы А. Конан Дойла, Г. Бейтса, стихи Киплинга и др.

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род. в 1956 г.) — литературный критик, переводчик с английского и японского языков. В его переводах публиковались романы Юкио Мисимы «Золотой храм» («ИЛ», 1989, № 5), Кэндзи Маруямы «Сердцебиение», («ИЛ», 1991, № 5), главы из книги Такэси Кайко «Все дальше и дальше!» («ИЛ», 1986, № 3), произведения Ясуси Иноуэ, Кобо Абэ, Такако Такахаси и др.

БОГАТЫРЕНКО ЕЛЕНА ДАНИЛОВНА — переводчик с французского и английского языков; занимается переводом работ по медицине, в основном по кардиологии.
Перевод книги Д. Каплана и А. Дабро «Якудза» — ее первая работа в области литературного перевода.

МОРИС НИКОЛАЕВИЧ ВАКСМАХЕР

Ушел из жизни Морис Николаевич Ваксмахер — переводчик, профессиональная деятельность которого была связана с нашим журналом с первого его номера. Почти сорок лет работал он с нами рядом, более ста раз выступал на страницах «ИЛ».

Имя Мориса Ваксмахера стало для нашего читателя синонимом французской поэзии XX века, а его переводы — прививкой свободы и достоинства для нескольких читательских поколений. Это его голосом заговорил с нами Поль Элюар:

Я рожден чтобы встретить тебя
Чтобы имя твое назвать
Свобода

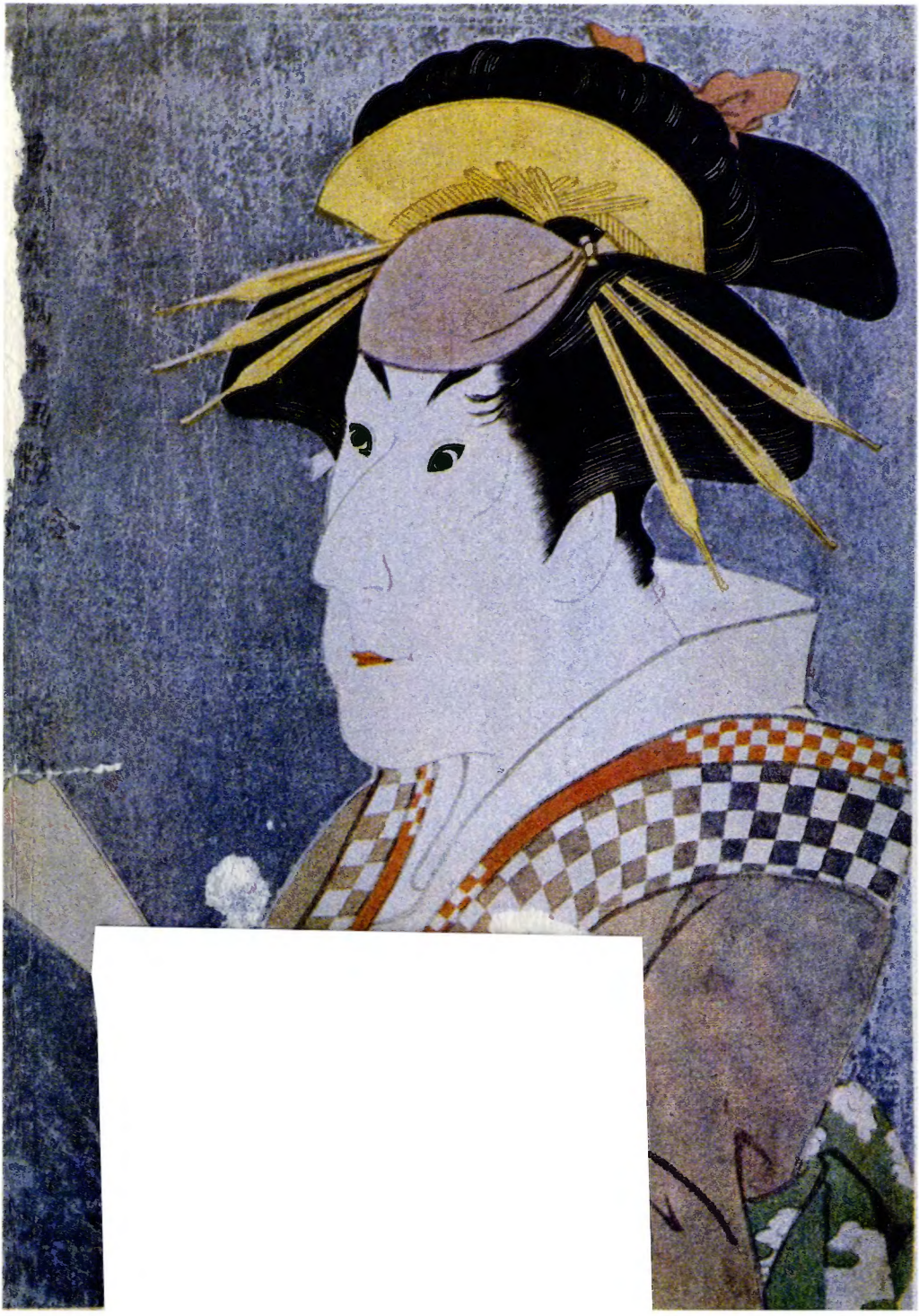
В то же время Ваксмахер — автор русских интерпретаций произведений поэзии бельгийской, греческой, немецкой, испанской, югославской, африканской и переоценить значение его работы для обогащения нашей поэзии, для русской переводческой культуры невозможно. А ведь была еще и проза: А. де Сент-Экзюпери, А. Робер, Р. Шатонё, Л. Арагон, М. Юрсенар, Р. Мерль...

Перу Ваксмахера принадлежали также десятки предисловий и вступительных статей к поэтическим сборникам и стихотворным подборкам, десятки рецензий на книги, опубликованные у нас и за рубежом. Он был составителем и редактором многих антологий, и сколько молодых переводчиков ощутили на себе его внимание и поддержку.

В последний раз мы виделись с Морисом на нашем редакционном празднике по случаю присуждения премий «ИЛ»: он был среди лауреатов 93-го года. Застенчивый, милый, очень мужественный человек, Морис давно уже из-за болезни не выходил на люди. Вот он поднял бокал и с чувством сказал: «Братцы, как хорошо вместе!»

Так и стоит картина в глазах: Морис, любящий нас, и мы любящие Мориса...

Редакция «Иностранная литература»



Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный **"ИНДЕКС"** с 500 000 ссылками, бесплатный **"ЕЖЕГОДНИК"** с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические **"ЕЖЕГОДНИКИ"**.

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка WEBSTER'S в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира "BRITANNICA". Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Оруэлла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - "Britannica Discovery Library" в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",

эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
Телефон/факс в Москве (095) 162 32 41 и 298 61 17
E.-mail: mir@znanija.msk.su

Индекс 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1994, № 8. 1-256